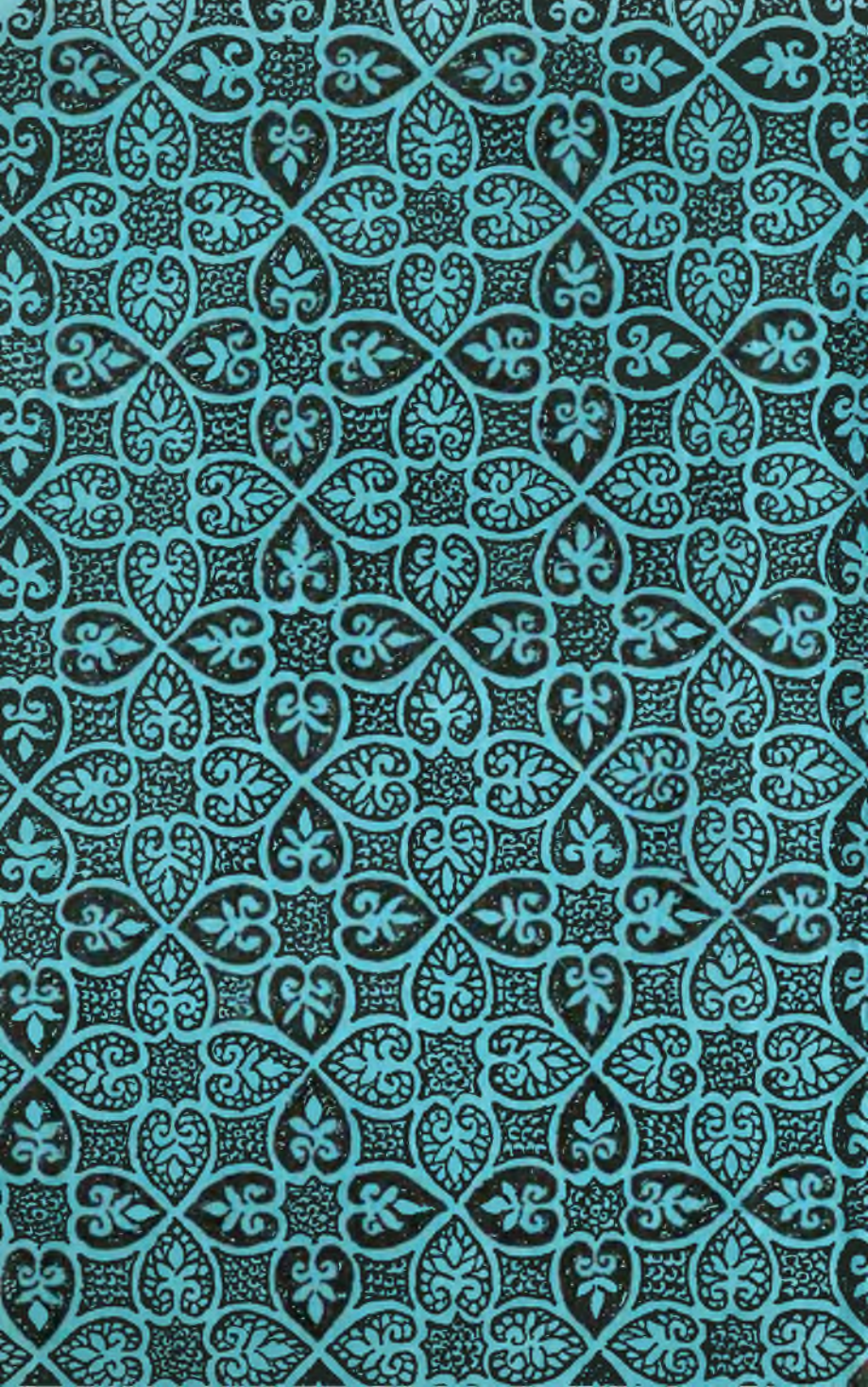
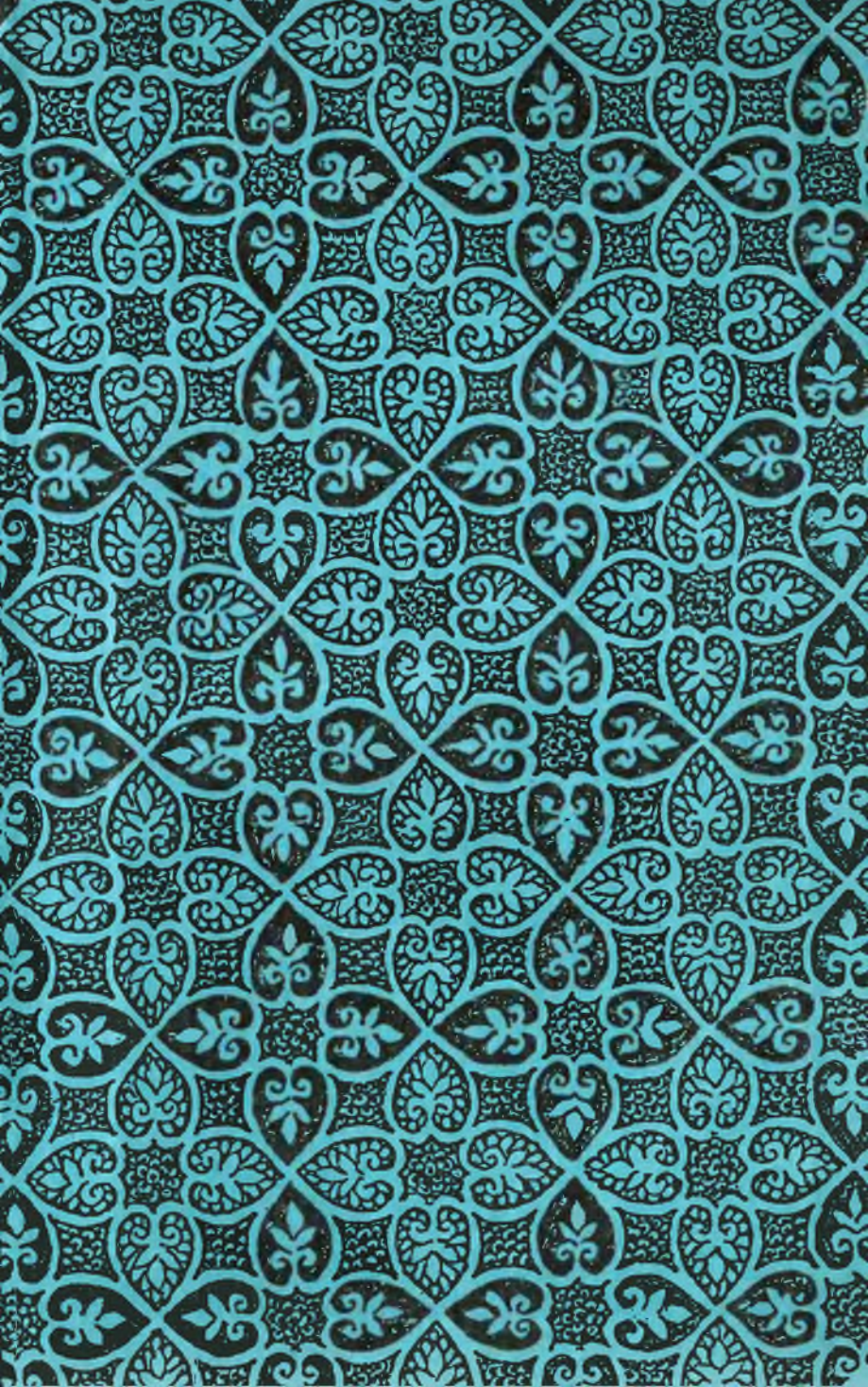

ГИБЕЛЬ
ВИЗАНТИИ






ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

# ПАДЕНИЕ ВЕЛИКИХ ИМПЕРИЙ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

# ГИБЕЛЬ ВИЗАНТИИ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

ББК 84.44 е

*Серия основана в 1993 году*

Гибель Византии: **Г. Ле Ру.** Норманны в Византии. Пер. с франц. **К. Диль.** Византийская императрица. Пер. с франц. **И. Перваноглу.** Андроник Компен. Пер. с нем. **И. Безобразов.** Император Михаил. **П. Филео.** Падение Византии. **Ч. Миятович.** Константин, последний византийский император. Пер. с сербо-хорватского. Исторические романы.— М.: Новая книга, 1994.— 736 с. («Всемирная история в романах»: «Падение великих империй»).

Десять столетий величественной и драматичной истории, зарождение, становление, падение Византийской империи отразились в романах, вошедших в книгу.

ISBN 5—8474—0204—x
ISBN 5—8474—0220—1

© Составление В. Козаченко, В. Нежданов, С. Тимченко, 1994
© Оформление Н. Егоров, 1994
© Название серии «Всемирная история в романах», издательство «Новая книга», 1993

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Г. ЛЕ РУ

# НОРМАННЫ В ВИЗАНТИИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

# 1

Наступал холодный, туманный день. Слабый свет бледной зари едва скользил по сердитым волнам. Казалось, что сам Бальдер, отец света, нехотя, только на одно мгновение, решился расстаться с глубиной морской пучины.

Пользуясь коротким временем рассвета, жрец Имера вышел из храма и стал всматриваться в туманную даль.

Кругом было пустынно и безжизненно, даже лишаи не оживляли бесплодных гранитных скал голого острова. Птицы, водившиеся в изобилии на других островах Лофоденского архипелага, никогда не посещали этого дикого места. Огромные тюлени, выплывая подышать воздухом на поверхность воды, быстро ныряли в глубину, заметив горящий на острове огонек.

Живя в этом страшном одиночестве, служитель богов совершенно одичал, стал нелюдимым и встречал тех, кто рискуя погибнуть в бурных волнах, бьющихся о гранитные скалы острова, чтобы услышать предсказания оракула, дикими проклятиями, угрожающе потрясая кулаками и ожесточенно кидая в них камнями.

Это были времена, когда среди насилия, господствовавшего в мире, самым черным пятном выделялся север. Иормугандур, змея вражды, обвившая весь свет, красовалась на щитах викингов. Отвратительная пасть ее зияла на носу их боевых кораблей, яд отравлял течение рек, по которым они ходили, дыхание извергало пламя, пожиравшее христианские города, а кровавая слюна, разливавшаяся морем отчаяния по свету, колебала веру в сердцах неофитов нового учения, обещающего людям царство небесное, и заставляла их, в сомнении, спрашивать: «Уж не лучше ли было бы разделить с поклонниками Локи господство на земле?».

Жрец Имера остановился на самом краю обрыва, одетый в требуемый правилами культа костюм: большую шапку с наушниками, сделанную из шкурки черного ягненка, балахон из куницы и белого зайца, с нашитыми на нем хвостами диких кошек, на ногах — высокие, из меха выдры, сапоги, вокруг шеи развевались легкие перья гаги, сливаясь своей сверкающей белизной с его длинной, белоснежной бородою. Опираясь на огромный посох из слоновой кости, покрытый руническими письменами, стоял он, подняв руку, и как бы отталкивал ветер, с силой вздымавший волны, которые, разбиваясь об утес, обдавали старика хлопьями белой пены.

Долго стоял он и смотрел на бушующее море. Видневшийся издалека скалистый утес, казалось, то утопал, то вновь всплывал над белыми гребешками волн. Его остроконечная вершина скрывалась в синеве тумана. Волны вздымались и, набегая на темный гранит, зловеще чернели, а потом, кружась и падая, блестели и искрились мелкими брызгами. В изменчивом полусвете тумана они принимали самые причудливые, фантастические формы, поднимались, прыгали, вертелись, как ведьмы на шабаше, а когда, вскинувшись высоко, они с ревом ударялись о берег, тогда старый жрец дико хохотал им в ответ. Налюбовавшись бушующим морем, жрец пошел было обратно к храму, как вдруг раздался резкий крик, донесшийся из волн. «Это кричит чайка»,— подумал он, но скоро изменил свое мнение, так как среди жалобного воя ветра ясно послышались призывные звуки рога. В то же время у берега показалась лодка, в кото-

рой стоял высокого роста мужчина, ловко работая веслом. Заметив старца, он легким прыжком перескочил на берег, при этом бесчисленное множество погремушек, привешенных к поясу, плотно обхватывавшему его стройный стан, и к браслетам на руках, зазвенели. Во время прыжка лосиная куртка его распахнулась и старик заметил на могучей груди татуированное изображение лодки. Он понял, что перед ним викинг.

Безмолвно смотрели они друг на друга.

Жрец видел, что за выражением беззаветной отваги, сквозившим во всех чертах викинга, проглядывает спокойствие и отсутствие того суеверного страха, который охватывал даже самых смелых людей, когда они вступали на волшебный остров. Казалось, что какая-то напряженная мысль, поглощает все внимание молодого человека. Внутренняя, душевная работа сделала его нечувствительным к внешним впечатлениям. Скорее от усталости, чем из страха перед пристальным взглядом служителя грозных богов, он опустил глаза.

Подняв, наконец, голову, он гордым и небрежным жестом указал на огромного лосося, лежавшего в лодке.

— Это все, что ты жертвуешь оракулу? — сердито спросил старик.

— И вот еще это,— отвечал викинг, снимая со своей руки, вздувавшейся громадными мышцами, золотой обруч.

Взвесив его в руке и оставшись, по-видимому, довольным его значительным весом, жрец приказал воину следовать за собой к капищу.

Массивные сосновые бревна, грубо сложенные в венцы, составляли храм. Покрытый целым рядом нагроможденных одна на другую крыш из деревянных плашек, смазанных для защиты от порчи дегтем, он блестел среди бурых скал. Изображение двуглавого дракона возвышалось на самой верхней крыше.

При своем гигантском росте молодой воин должен был согнуться чуть ли не вдвое, чтобы войти в святилище. Оно было пусто, только вдали, на жертвеннике, сложенном из камней, тлел огонь, да посредине стояла большая медная чаша с водой, прозрачной как кристалл. Входя в храм, старик прошептал какие-то слова, послушный его

заклинаниям огонь тотчас же разгорелся, а вода в чаше, до того совершенно спокойная, заколыхалась.

Без всякой боязни смотрел молодой викинг на совершающиеся перед ним чудеса и спокойно остановился перед чашей, в которой вода продолжала волноваться. Служитель Азов * поместился на седалище, устроенном из пня гигантской сосны, исчерченного какими-то надписями. Вдохнув в себя несколько раз дым, подымавшийся от огня, старик впал в забытье; глаза его закрылись, голова бессильно упала на грудь, он едва слышно проговорил:

— Что преследуешь ты? Добычу?

Воин наклонил голову.

— Мести, мести жаждешь ты!

— Я хочу знать,— сказал воин,— куда я должен идти, в сторону заката или на восход солнца, чтобы найти ее?

Окруженный клубами дыма, жрец размышлял. Викинг же, сообразно распространенному тогда поверью, напряженно сосредоточивал мысли на своем желании, стараясь этим направить и поддержать в предсказателе силу ясновидения.

А снаружи бушевала буря, потрясая крышу храма и раскачивая изображение двуглавого дракона.

Жрец продолжал:

— Вижу, вижу седьмую волну... Вот она, как высока, как волшебна, таинственна! Вот она катится... Вот подступает к твоим ногам... Скорей, скорей нагнись, зачерпни рукой и выпей, это — целебный напиток!.. Он даст тебе знание...

Так. Теперь иди в лес, в самую непроходимую чащу, к фиорду, к которому приходят купаться лоси. В лунную ночь подстереги их; пусти метко стрелу — и вот один убит... он лежит на земле. Сосчитай отростки на его рогах, и если они будут парными, иди к восходу. Если же будет нечетное число, иди к закату солнца. Иди, иди, она в твоих руках. Месть, освежающая как утренняя заря, кровавая как костер Бальдера!

Огонь уже давно погас и вода стала по-прежнему

---

* Азы — общее название четырнадцати богов и восемнадцати богинь в мифологии древних скандинавов.

спокойна, когда жрец открыл глаза, сошел с седалища и, подойдя к воину, спросил:

— Как твое имя?

— Дромунд,— ответил воин.

— Желаешь ли ты, чтоб Боги еще чем-нибудь проявили свое могущество?

Выйдя из святилища, жрец ударил своим посохом о землю. В ту же минуту из углубления, оставшегося от удара жезла, вырвался резкий звук, будто заключенный в скале гигант с пронзительным свистом задышал в это отверстие, вслед затем из него стали подниматься клубы белого, горячего пара, скрывшего от викинга храм и его служителя. Тогда Дромунд пошел обратно к краю скалы, где находилась его лодка, прыгнул в нее и одним сильным взмахом весла направил ее навстречу буре.

## II

Старая вражда, существовавшая между потомством Гаральда Гарфагара и Иомсбургскими викингами, прекратилась к тому времени, так что Гакон, гроза восточных морей, мог зайти в гавань Трондгейм, чтобы исправить повреждения своего судна.

В своем дворце, расположенном на берегу фиорда, конунг Триги Олафсон и его супруга Астрида с почетом приняли дорогого гостя. В его честь они устроили роскошные пиры, на которых опорожнивались рога с пенистым медом и жарились на гигантских вертелах целые туши лосей.

Оживленно и весело пировали гости. Шум веселья доносился до гавани, в которой работали над починкой судна норманнские плотники. По громадным сосновым бревнам они выкатили на берег «Золотого Дракона».

Это было судно такое большое, что подобного ему еще не видывали на Западе. Оно ходило и на веслах, и на парусах, вмещая сто человек, не считая гребцов. Все страшились его, как сверхъестественного чудовища, и трепетали даже за стенами городов. Обитатели Аланд-

ских островов, Эзеля и Даго, обращались с мольбой о защите к Азам, лишь только его грозный силуэт показывался на горизонте, а жители Ферроэ воспевали его в своих сагах.

Относясь с уважением и трепетом к этому гиганту, Олафсон приказал для его починки привезти из Нидаро знаменитого мастера Торберга Шафтинга, который слыл за человека, обладавшего тайной заклинаний, заставляющих легко сгибаться доски и придающих особенную силу и прочность судну.

Работа кипела на «Золотом Драконе». Отовсюду слышалось визжанье пил и грохот молотков, так что мастер из Нидаро едва поспевал следить за рабочими. Спеша дать какое-то указание, он шел с одного конца судна на другой, как вдруг почувствовал, что кто-то похлопал его по плечу. Быстро обернувшись, он радостно воскликнул:

— Дромунд! Ты откуда?

— С западных морей, Торберг.

— А куда направляешь свой путь?

— На восток.

— Зачем это тебе нужно?

— Так указал оракул. Получилось парное число... на роге убитого при луне лося...

— А твой брат Эрик?

Дромунд не ответил и задумчиво стал слушать стук молотков, колотивших по бортам судна.

— Боги указывают тебе бревно, в которое ты можешь вколотить гвоздь,— тихо проговорил Торберг и спросил: — С каким же конунгом думаешь ты отплыть?

— Я бы желал, чтоб Гакон позволил мне плыть на «Золотом Драконе»,— отвечал Дромунд.

— Он возвращается в Иомсбург, в сторону Вендов, а это — дверь, через которую нужно пройти, чтобы достигнуть великого греческого пути.

Пока приятели беседовали, на судно прибыл Гакон. Тончайшая кольчуга, не стеснявшая движений, красиво обрисовывала его могучий стан; прикрепленная к плечам шелковая мантия широкими складками свешивалась сзади; вороненой стали шлем, с возвышающимся на нем золотым драконом, украшал его гордую голову.

Все находили Гакона красавцем и любовались его длинными усами, сильными ногами и руками.

Увидав свое любимое судно, красиво покачивавшееся на волнах, таким обновленным, таким блестящим, Гакон с радостным криком крепко прижал к своей широкой груди Торберга Шафтинга. Потом снял со своей руки самое дорогое кольцо и, отдавая его мастеру, сказал:

— Чем могу я еще тебя отблагодарить? Скажи, я исполню всякое твое желание.

— Я просил бы, чтобы ты дал позволение моему товарищу Дромунду проплыть до Иомсбурга на «Золотом Драконе».

Викинг Гакон грозно нахмурил брови и, указав на крест, нарисованный на своем щите, спросил:

— А он христианин? Преклоняется ли он перед этим изображением?

— Я служу великим Азам! — запальчиво ответил Дромунд.— И в день, когда окончу свою жизнь, валькирия подаст мне кубок.

— Я поклялся древом святого креста в том, что ни один язычник не будет никогда держать весла на моей ладье. И я охотнее пролью мою кровь в море, чем заслужу упрек в нарушении клятвы. Но Торберг Шафтинг тоже должен быть удовлетворен. Я обещал ему исполнить все, что он пожелает, и не возьму своего слова назад. Для него я беру тебя под свою защиту. Ступай на корму и ухаживай за моей собакой!

Дромунд побледнел от оскорбления, но лишь сказал:

— Тебе, викинг Гакон, не прошло бы это безнаказанно, но Дромунд не свободен больше: он принадлежит мести. Эта месть теперь служит тебе лучшей защитой, чем твой щит. Из-за нее я принимаю твое предложение. Я буду так ухаживать за твоей собакой, как если б это был волк Фенрис, который в день светопреставления пожрет солнце и погрузит в вечный мрак поклонников учения Белого человека.

Гордо взявшись за меч, проговорил все это Дромунд, вполне готовый поплатиться сейчас же за свои слова жизнью.

Но Гакон, любивший смелость в людях и находившийся в это время в особенно радостном настроении,

только засмеялся и удалился в сопровождении Торберга.

В то утро, когда «Золотой Дракон» должен был покинуть Трондгеймский фиорд, море было так тихо и ясно, как будто хотело поспорить своей спокойной красотой с великолепием прощальной процессии.

Конунг Олафсон и супруга его Астрида с почетным конвоем сопровождали гостей в легких ладьях.

Весь фиорд был покрыт разукрашенными судами. При выходе в открытое море, все сопровождавшие Гакона суда приспустили, в знак прощального приветствия, свои флаги; после чего «Золотой Дракон», повернув на юг, пошел полным ходом, постепенно скрываясь из вида.

Нос этого величественного судна был в виде громадной головы чудовища Иормугандура, шея которого была покрыта чешуей из массивных золотых пластинок. На корме, над рулем, из таких же золотых пластинок был сделан хвост, скользивший по поверхности воды и как бы управлявший ходом корабля.

На всех парусах, под блестящим северным солнцем, шло в открытое море это великолепное судно, представляясь одним из тех видений, которые восстанут в те дни, когда царство Азов проявится в своем полном величии.

Сойдя с палубы, Дромунд отправился в трюм и подошел к воинам Гакона, ожидавшим своей очереди грести. Все они были родом из Ютландии и ближайших островов.

Голубоглазые, рыжеволосые, очень болтливые, они хотя и были крещены по воле своего предводителя, но стремились только к разбою и грабежу. А религия, запрещавшая всякое насилие, раздражала и приводила их в ярость.

Они передавали друг другу чудесные истории, слышанные от тех, кто побывал в Византии. Небо там, говорили они, синее как сапфир; золотые купола, блестящие процессии, яркое солнце и много, много вина. «Нельзя ли доплыть морем в эту чудную Византию?» — спрашивали они. «Пусть бы «Золотой Дракон» перенес нас туда, чтоб хоть раз вдоволь упиться вином и кровью, прежде чем настигнет смерть». С завистью вспоминали они своих товарищей, побывавших в Византии, поступивших в царскую гвардию. Они жили во дворцах, пили сколько хоте-

ли вина и браги. Каждый день дрались они с чернокожими людьми, приезжавшими откуда-то на кораблях. И в конце концов возвращались опять на север с огромными богатствами, говоря на чудном языке, которого никто не мог понять.

Наслушавшись этих необыкновенных рассказов о золоте, солнце, вине и крови, Дромунд совсем позабыл о цели своего путешествия и с восторгом предался мечтам об ожидающих его пирах и обогащении. Но вдруг, словно разбуженный мыслью о мести, он содрогнулся от таких мечтаний, и эти датчане стали ему так противны, что он, не сказав ни слова, встал, позвал собаку Гакона и вышел на палубу.

Была уже ночь, и при свете восходившей луны фантастично вырисовывалась на палубе гигантская, страшная тень собаки. Громадный серый датский дог, подняв свою свирепую пасть, глядел на звезды и выл.

Дромунд взглянул на него с суеверным страхом, думая, что перед ним находится сын Локи и Ангурбоды.

— Фенрис,— шептал он,— Фенрис, скажи, верный ли путь избрал Дромунд?

Сердито поглядела на него собака своими свирепыми глазами и, подняв морду, стала снова ожесточенно лаять на луну.

## III

Прошло уже более восьмидесяти лет с тех пор, как новгородцы, призвали к себе могучего Рюрика.

По его примеру многие из знатных варягов тоже переправились через Балтийское море и, чтоб не возвращаться назад, даже сожгли свои суда. По течению Днепра и Дона, между Болгарией и землей печенегов, основывали они княжества, жившие только насилием, обогащавшиеся грабежом; эти княжества росли или гибли сообразно предприимчивости своих вождей или просто благодаря капризу случая.

По их землям, из глубины Азии, тянулись караваны с разными восточными товарами. До самого Мемеля доезжали послы калифа багдадского и других властите-

лей Востока за знаменитым желтым янтарем, который находили только на берегах Балтийского моря. За дорогую цену выменивали они его. Янтарь считался у них обладающим чудесной магической силой: исцелял всевозможные болезни, возбуждал любовь и возвращал старикам юность.

По непроходимым лесам и необозримым степям пролегал этот великий торговый путь.

Окончив плавание по Балтийскому морю, проехав Вислу и Минские болота, Дромунд стал встречать людей, говорящих, как и он, по-варяжски.

Эти люди не везли с собой никакой утвари, даже котла для приготовления пищи. Они довольствовались кониной или какой-нибудь дичью, поджаренной на горячих угольях. Спали на голой земле, без палаток, подложив седла под головы и подостлав звериные шкуры.

Все они были широкоплечие, с бычиными шеями, голубыми глазами, густыми бровями, длинными усами. Некоторые из них оставляли на бритых головах длинный чуб в знак благородного происхождения, а в одном ухе носили продетое золотое кольцо, украшенное драгоценным камнем или жемчужиной.

Дромунд узнал, что они составляли часть дружины киевского князя Святослава, сына княгини Ольги, принявшей христианство. Они звали и его в свою дружину и рассказывали про набеги на печенежские земли. Как много доставалось добычи на долю каждого! Какое раздолье страстям! Никто не препятствовал воинам резать и распинать пленников, сажать на кол женщин, вешать детей вниз головой, превращая их в мишень для стрел.

Дромунд притворился, что охотно принимает это предложение, дошел с ними до Печерской горы, находящейся под Киевом; но тут, достав себе челнок, тайком покинул своих товарищей, пока они отдыхали, и пустился вниз по течению реки.

Проплыв два дня и две ночи вдоль ее восточного берега, он встретил странную ладью, плывшую на веслах вверх по реке, к столице Ольги.

Похожая на башмак, ладья эта, выдолбленная из одного толстого бревна, была так глубока, что в ней свободно помещались двенадцать человек.

На таких ладьях руссы обыкновенно ходили в походы и при всяких затруднениях в плавании — порогах, мелях или для того чтобы сократить путь, когда река петляла — вытаскивали их из воды, взваливали себе на плечи и продолжали путь через леса и степи до того места, где река опять становилась судоходною.

Присмотревшись, Дромунд ясно различил в ладье восемь человек гребцов, по-видимому руссов, и еще двух вооруженных копьями людей, между которыми сидел на подушке великолепно одетый человек и держал на коленях свитый в трубку пергамент. Кормчий, который управлял ладьей, не был в шишаке, как остальные руссы; его голову покрывал такой же двурогий шлем, какой носил и сам Дромунд.

Облокотившись на руль, кормчий запел по-норвежски: «До начала веков, когда жил божественный Имер, не было ни океана с его песками и студеной водой, ни земли, ни неба, а везде и повсюду одна темная бездна».

Услыхав песню, священную для его родного края, Дромунд вместо того чтобы спрятаться поглубже в тростники, одним сильным ударом весла выплыл на середину реки и, стоя в своем легком челноке, во весь голос запел: «Когда жил божественный Имер...»

Испуганные этим, руссы тотчас же подняли весла; двое вооруженных людей, бывшие в ладье, угрожающе выставили копья, а великолепно одетый человек, который сидел со свитком в руках, тревожно взглянул на кормчего.

Строго сдвинув брови, он спросил Дромунда:

— Ты, отвечающий на мою священную песнь, кто ты такой?

— Сын северных фиордов! — отвечал Дромунд.

— Ты идешь из Норвегии?

— Я покинул ее с наступлением зимней ночи.

— А куда ты направляешься?

— В Византию.

— Один, в этом челноке?

— Оракул направил мой путь.

— Скажи спасибо, что оракул направил тебя к нам навстречу, так как сам Тор не прошел бы те пороги, которые мы прошли.

— Моя судьба уже определена.
— Не хочешь ли разделить с нами нашу?
— Но вы идете на север.
— Мы завтра же возвратимся.
— И отправитесь опять вниз?
— В Византию.
— Значит, сами Азы посылают мне вас,— воскликнул Дромунд и, ухватившись за борт ладьи руссов, впрыгнул в нее, несмотря на то, что сидящий на подушке человек, продолжал недоверчиво его оглядывать.

Это был один из посланников, которых будущий император византийский, Роман, поспешил послать повсюду, узнав от придворных врачей, что отец его, Константин, прозванный Порфирородным, не увидит новой луны.

Под предлогом просить друзей молиться о здоровьи отца, Роман разослал всех знатных вельмож и придворных, по своему сану достойных такого поручения. Иностранные государи, правители областей, полководцы армий, начальники крепостей и флота, были предупреждены что скоро предстоит смена императора.

В память дружеских отношений, которые существовали между княгиней Ольгой и умирающим теперь императором, Роман отправил к ней, в ее отдаленную столицу Киев, протоспафария * с письмом, написанным золотыми письменами, одна печать которого весила восемнадцать золотых. В этом письме просил он княгиню, которая в царствование Константина не побоялась приехать в Византию для того, чтобы принять святое крещение от патриарха Полиевкта, молиться за своего отца. В то же время будущий император хотел предотвратить волнения и устранить какие-нибудь дерзкие надежды, которые могли явиться у беспокойных и смелых руссов при вести о перемене императора. Поэтому он обещал Ольге оказывать ту же поддержку, какой она пользовалась в Византии в царствование Константина.

Но все эти подробности были, конечно, неизвестны норвежскому гиганту, правившему рулем. В немногих словах объяснил он Дромунду, что находится на службе

---

* Протоспафарий — начальник телохранителей при византийском дворе и верховный судья.

в Византии, в дворцовой страже, под начальством норманна Ангуля, что зовут его Гаральд, и что его, как искусного кормчего, много плававшего по Днепру раньше, когда он служил у одного важного боярина, русса, назначили сопровождать в Киев посланника.

— Если бы ты пожелал поступить на службу в наш отряд,— прибавил он,— то тебя охотно бы приняли, так как новый император не очень-то доверяет византийцам, предпочитая им норвежских волков, и щедро оплачивает нашу службу.

— В отряд Ангуля? — переспросил Дромунд.

— Да, Ангуля, который раньше плавал с викингом Олафсоном.

— Давно ли он покинул ладью, чтобы принять командование императорской стражей?

— Уже около двух лет,— отвечал Гаральд.

— Около двух лет...— повторил задумчиво Дромунд.

## IV

Так Дромунд, вместе с послом, доплыл до Киева. Миновав предместье, он достиг холма, на котором возвышался деревянный дворец. В этом дворце ему удалось увидать княгиню Ольгу, в то время когда ей подносили императорское послание. Но несмотря, на новую обстановку и на интересные зрелища, он почувствовал себя довольным лишь тогда, когда ладья опять стала скользить по волнам Днепра и перескакивать через пену порогов, названия которых указывали на страх, внушаемый ими путешественникам: «Не спи!», «Гремящий», «Ненасытный»...

Быстро плыла ладья по глубоким водам Понта Эвксинского. Яркое солнце весело играло в его легкой зыби, а белоснежные облака, плывя в голубом небе, красиво отражались в воде. По мере приближения к Босфору посланник стал резче и самоувереннее, и Гаральд заметил вполголоса:

— А видно, что мы ближе к Византии, чем к Киеву...

Наутро, среди легкого тумана, поднимающегося с Пропонтиды, показалась, как бы всплывая из воды, царица мира — Византия.

Целый лес мачт высился в порту Буколеона. Через завесу снастей Дромунд различил окруженный зеленью садов двуглавый купол большого дворца. Громадный траурный флаг развевался на нем, то приоткрывая, то снова закрывая золоченую крышу и как бы выражая этим, точно жестами отчаяния, глубокую печаль всего города, оплакивающего смерть Константина.

По вымощенной, тенистой аллее роскошного сада Дромунд со своим товарищем спешили добраться до дворца. Они пристали к Буколеону как раз тогда, когда могли еще застать и посмотреть на печальную церемонию погребения Константина Порфирородного.

— Мы увидим процессию,— сказал Гаральд,— с террасы Кабаллария.

Это был императорский манеж, в котором, под присмотром избранных норманнов, содержались любимые лошади императора и тех послов, которые приезжали в Византию со всего света.

Как и всюду, толпа была здесь огромная, но перед Дромундом и сопровождавшим его воином она расступилась, давая им проход. Они подошли вовремя, и увидели погребальную процессию, выходящую из ворот дворца.

Целых два дня перед тем придворные врачи, евнухи и кубикулярии * были заняты тем, что обмывали, наполняли благовонными травами и раскрашивали тело покойного. Наконец, приведя его в надлежащий вид, они с воплями и стенаниями вышли из дворца, а за ними следовало тело Константина, положенное на траурный катафалк, блестящий как яркое солнце.

Привыкший к простому погребальному обряду, совершаемому над умершими конунгами, при котором тела их, украшенные лишь рубцами от полученных в бою ран, сгорая на костре, разложенном посредине палубы, исчезали в облаках дыма, Дромунд с удивлением смотрел на эту церемонию.

---

* Кубикулярий — человек, исполняющий обязанности камердинера.

Лицо покойного было раскрашено самыми живыми красками, борода расчесана волосок к волоску. Золотая с эмалью диадема украшала его величественное чело. Блестящая золотая порфира покрывала бренные останки. А ноги, в высоких сапогах, покоились на подушке, украшенной жемчугом.

Гаральд и Дромунд присоединились к кортежу, сопровождавшему через внутренние дворы дворца тело покойного в парадный зал. В конце его был приготовлен украшенный цветами помост.

Два стража, не смея переступить порога зала, неподвижно стояли, вперив глаза в виднеющиеся подошвы пурпурных сапог, да наблюдали за удивительным блеском диадемы, которая, будучи освещена огнем висячей лампады, как ореол разливала свои радужные лучи. И среди всего этого великолепия пурпура, самоцветных камней и золота покоилось лишенное внутренностей, набитое травами, почти высохшее уже тело самодержца.

Когда все участвующие были на назначенных распорядителями местах, оглушительный звук труб возвестил о прибытии императора, спешившего отдать последний долг покойному отцу, после которого занял он престол свой.

Самодержец Роман ко дню смерти отца достиг уже двадцати одного года.

Шестилетним мальчиком в праздник Пасхи, по желанию Порфирородного, был он коронован и принужден принимать участие в делах управления государством.

Склонный больше к охоте и игре в мяч, он мало интересовался изучением основ политической науки, специально составленных для него покойным.

Когда Роман вошел в зал, то громадная толпа народа и придворных так заслонила его и его жену, что Дромунд, несмотря на свой высокий рост, увидал только два профиля в коронах, как бы изображенные на медали. Одно лицо — хотя очень еще юное и безбородое, но уже поблекшее от излишеств, и другое — лицо молодой женщины поразительной красоты, тонкие и правильные черты которого дышали такой гармонией, что возбуждали всеобщий восторг.

— Слава! слава! Роману слава! Теофано слава! —

кричала жаждавшая богатых милостей от нового императора толпа, как будто бы все присутствовали не на похоронах.

В это время толпа была отодвинута к стенам сильным натиском конвоя. Этот отряд, как стая верных псов, всюду следовал за государем. В состав его входили: наголо бритые болгары, хазары, печенеги, одетые в звериные шкуры, руссы, в шлемах с шишаками, подобные тем, каких встречал Дромунд на великом греческом пути. Не видя среди них норманнов, он с удивлением спросил своего товарища:

— Что же нет наших?

Но Гаральд был слишком поглощен тем чтобы не отстать от процессии и добраться до церкви Всех Святых, где предполагалась раздача милостыни народу.

— Идем, идем,— отвечал он, увлекая за собой Дромунда.

Кортеж подходил к церкви.

Впереди его дворцовые певчие пели дрожащими, печальными голосами погребальные гимны. Все улицы, перекрестки, портики благочестивой столицы были украшены дорогими материями. Дорога была покрыта зеленью, ветками и золотым песком. Отборная стража из руссов, армян, скандинавов, венецианцев и амальфитян, стояла вдоль нее, держа в руках кривые сабли, обоюдоострые алебарды, копья и луки. Большая часть этих воинов была лично известна покойному императору, пользовалась его благоволением и получала от него подачки. Поэтому, во время шествия похоронной процессии, стража выражала свое горе такими громкими и дикими криками, что испуганные лошади кидались в сторону.

Перед входом в церковь, Дромунд был охвачен суеверным страхом, при виде духовенства, выходившего навстречу, чтобы благословить тело покойного.

Во главе старцев, шествовавших в золотых одеяниях, с бородами доходящими до пояса и распущенными по плечам густыми волосами, шел патриарх Полиевкт. Он был духовником Порфирородного и он же обратил в христианство княгиню Ольгу. Из всех присутствовавших только одна Теофано подняла голову и могла спокойно

выдерживать необыкновенно проницательный взгляд благочестивого монаха.

Духовенство разместилось около патриарха и образовало полукруг, расположенный у изголовья катафалка.

В ногах покойного стоял великий евнух, с белым жезлом в руках. Он следил за всем происходящим, распоряжался церемонией последнего прощанья с усопшим и допускал, смотря по чину и рангу, кого только до поклона, кого только до целования руки.

Когда все отдали последний долг покойному, главный распорядитель погребальной церемонии, выдвинулся из-за колонны и громовым голосом воскликнул:

— Выходи отсюда, о, Константин! Царь царствующих и Господь господствующих тебя призывает.

Это служило сигналом для взрыва всеобщей скорби. Загремели серебряные трубы; волны дыма аравийского ладана как туманом наполнили весь собор; пение придворного хора то раздавалось жалобными печальными стенаниями, то бурным воплем и отрывистыми восклицаниями возносилось к сводам храма, а бесчисленная толпа народа, наполняя улицы, дворы, террасы, сады, палубы кораблей, потрясала воздух отчаянным криком, доносившимся по воде Босфора до азиатского берега.

Потом толпа обратила свои жадные взоры и приветственные восклицания к новому самодержцу, от которого ждала удовлетворения вечной своей жажды «хлеба и зрелищ».

Возникла давка. Оставшиеся на ногах ходили по теплым трупам упавших. Всякому хотелось быть поближе к молодому самодержцу, встретиться с ним глазами, обратить на себя его внимание.

## V

Берега Средиземного моря в то время трепетали от постоянных разбоев, производившихся сарацинами, которые дошли до такой дерзости, что безнаказанно разоряли даже города, подрывая этим веру в могущество

Византии. Острова Архипелага, берега Греции особенно страдали от их набегов. Неприступная греческая цитадель Хандакс, на острове Крит, была взята ими и превратилась в громадный притон разбойников, куда стекались богатства всего Востока. Пираты вели там открытый торг христианскими невольниками, а поставщики гаремов приезжали запасаться живым товаром.

Измученный постоянным насилием и грабежом, народ возлагал свои упования на юного самодержца, надеясь, что он отомстит туркам и прекратит их набеги.

Желая успокоить своих подданных и заодно удалить из Византии распущенных наемников, державших в страхе всю столицу, Роман решил снарядить в Средиземное море экспедицию. Командовать ею он поручил знаменитому полководцу Фоке, который в это время только что прославился своими победами в Малой Азии, на сарацинской границе.

Роман дал ему титул сиятельнейшего господина, главнокомандующего армиями Восточной провинции и приказал немедленно организовать экспедицию на Крит.

Эта новость с восторгом была принята и во дворце, и в армии. Воины любили Фоку за то, что он делил с ними их труды и опасности. Они складывали в честь него даже песни. Самое острое соперничество возникло среди варварских отрядов, когда узнали, что император предоставлял право сиятельному Фоке по своему усмотрению составлять из наемников свою армию. Все мечтали о громадных богатствах, собранных в Хандаксе, и уже видели себя возвращающимися на свою далекую родину с сундуками, полными золота.

Только в норманнском стане было страшное недовольство, когда узнали что император исключил из числа этих счастливцев всю скандинавскую дружину.

Привыкший к строгой дисциплине, Дромунд изумлялся распущенности своих земляков.

Норманны, как разъяренные волки, рыскали по Кабалларию. Во все горло пели они на своем родном языке оскорбительные для императора песни, а по ночам забирались в сады и нижние кварталы Буколеона, где буянили и бесчинствовали.

По старой традиции, византийские императоры все

прощали своей любимой гвардии. Император только смеялся, когда кто-нибудь из придворных доносил ему о проделках совершаемых по ночам этими пьяными варварами. Он хорошо знал, что дикая свора норманнских волков, слушавшаяся своих начальников только во время битвы, моментально стихала и переставала выражать какое бы то ни было неудовольствие при одном виде самодержца. Его радовала уверенность в том, что эти буяны ежеминутно были готовы своей могучей грудью прикрыть его трон. И в награду за такую верность он отдавал в их распоряжение Византию, как какой-нибудь покоренный город.

Но за удовольствие императора приходилось дорого платить жителям Царицы мира, в особенности содержателям питейных заведений и мужьям. По преданию, самые знатные византийки и даже те, которые были приняты при императорском дворе, не отказывались участвовать в ночных похождениях норманнов.

Соскучившись среди изящных, изнеженных мужчин своего круга, эти дамы искали по ночам новых сильных впечатлений в Буколеоне.

В гавани, рядом с судами, которые привозили из страны руссов хлеб, норманны собирались в одном кабаке и там, в честь Азова, выпивали рога с пенистой брагой.

Опьяненные, забывали они прелести греческого моря, лазурь небес, легкость своей жизни, и из глубины их широкой груди вырывались гимны, полные мрачного отчаяния, или меланхолично звучали грустные песни любви.

Дромунд слушал их с напряженным вниманием и, казалось, подстерегал какую-то тайну. Он жил среди них не как товарищ, с открытой для всех душой, но как притаившийся охотник, выслеживающий добычу.

Благодаря присущей людям его народа способности быстро запоминать, так же как и врожденному музыкальному слуху, Дромунд уже начал хорошо говорить на мелодичном языке византийцев. Даже на египетском наречии он мог отвечать на вопросы пристававших к нему девиц, которые торговали своей красотой.

Но Дромунд оставался холоден, как кусок льда, который не могли растопить самые жаркие лучи солнца,

и ни игры, ни любовь не затрагивали его души, где царила лишь одна занимавшая его мысль.

Однажды, когда он стоял на часах, Гаральд сказал ему:

— Когда больной чувствует, что тело его переполнено кровью, то он велит открыть себе вену, и это его облегчает. Не решишься ли ты так же излить свою печаль?

Дромунд, продолжая грустно смотреть в землю, ответил:

— Ну, хорошо, я поделюсь с тобой моим горем. Два года тому назад при входе в фиорд я нашел тело моего брата. Оно еще содрогалось в предсмертных судорогах от полученной в спину раны. Убийца унес с собой меч...

— Ты предполагаешь, что твой враг служит в нашей дружине? — спросил Гаральд.

— Оракул сказал мне это.

— Какой знак был на мече твоего брата?

— Рукоятка его,— отвечал Дромунд,— представляет собой медвежий коготь.

При этих словах брови Гаральда нахмурились, и Дромунд, заметив это, воскликнул:

— Ты знаешь этого человека?

Гаральд отвечал с осторожностью:

— Да, он среди норманнов, но слишком высоко стоит, для того чтоб ты мог достать его.

## VI

По традиции, исстари существовавшей в Византии, каждый самодержец должен был, по прошествии трех месяцев после вступления на престол, делать смотр своей армии. Это событие давало повод императору превзойти щедростью своего предшественника.

Роман тоже намеревался воспользоваться парадом, чтобы щедрыми подарками упрочить к себе верность норманнской дружины. В порыве гнева он сместил благоразумного Сициния, предложившего ему быть экономнее.

На его место Роман назначил одного монаха-расстри-

гу, Иоанна, прозванного Хориной. Этот ловкий человек хорошо понимал, как легко может нажиться тот, кто распоряжается подарками, украшениями и продовольствием народа. Хорине, например, была дана модель щита, окованного серебром, а из его рук норманнская дружина получила щиты, у которых вместо драгоценной была стальная оправа.

Утром, в день предполагавшегося праздника, весь норманнский отряд был озабочен приготовлениями. Всякому хотелось явиться на парад в блестящем вооружении. Большинство носили вороненой стали кирасы, наручи из золоченой меди и такие же шлемы.

Освещенное лучами солнца, их вооружение было так ослепительно, что вся дружина сливалась в одно общее сияние и казалась каким-то чудовищным драконом, извергающим пламя.

Развеселившиеся от приготовлений к празднику, воины пели песни и показывали боевые приемы, возбуждая себя воинственным криком. Некоторые, особенно искусные в стрельбе, забавлялись тем, что пускали стрелы в тело мертвого раба, отнятое у могильщиков. Каждую попавшую стрелу они приветствовали радостным восклицанием.

В стороне от толпы, соединенные взаимной клятвой помогать друг другу, сидели Дромунд и Гаральд, ожидая удобного момента для отмщения.

Решив с делом, которое было главным в их жизни, они не хотели ни о чем говорить и молча предались каждый своим мыслям. Они думали о битвах, о геройской славе, им вспоминалась их далекая родина. Мысль о мести, обещающая блаженство рая, которое они уже предвкушали, наполняла их сердца.

Когда под сводами Кабаллария раздались звуки рога, призывающие воинов, то Дромунд и Гаральд содрогнулись, как будто это был призыв валькирий, открывающих им дверь на небо.

Начальник норманнской дружины, Ангуль был ростом много выше своих товарищей. В последние годы царствования Порфирородного, он прибыл, вместе с другими скандинавцами, по великому пути в Грецию, не имея с

собой ничего, кроме куртки из звериных шкур да бедного вооружения.

Поступив в отряд Фоки, сражавшийся в Малой Азии, он успел там отличиться, а по возвращении из похода стал пользоваться щедрыми подарками одной знатной госпожи.

Чтобы ей понравиться, он расстался со своей курткой из шкуры моржа и стал надевать под кирасу короткую тунику, а наброшенный на плечи разноцветный плащ, прикрывал его щит.

Он был суров и беспощаден; воины про него говорили: «Ангуль — это настоящий сын Локи...» Он был более коварен и хитер, чем храбр.

Настал, наконец, момент появления императора.

Колесница, в которой Роман приехал на смотр, изображала собой квадригу Аполлона. Император стоял на ней во весь рост, опираясь правой рукой на копье, древко которого было обвито пурпурной тканью.

Литая золотая корона, с горевшим на ней, как звезда, громадным рубином, венчала его голову.

Другой не меньшей величины рубин пристегивал свето-лазуревую мантию, под которой была надета темная, как аметист, накидка.

Золотыми пряжками, золотыми наручами и поясом прихватывалась к стану туника. Мелкие жемчужные пуговки застегивали до самых колен его пурпурные сапоги.

Роман сделал сначала смотр своей коннице, состоявшей из венгров, печенегов, хазар, руссов и тавроскифов.

Ржание горячих диких коней было так оглушительно, что прирученная пантера императора, которая всюду следовала за ним, как собака, с испуга поджав хвост, бросилась бежать.

Когда самодержец достиг порога Кабаллария и приветствовал свою верную норманнскую дружину, то такое воодушевление охватило этих до безумия поклонявшихся ему воинов, что двое из них, в знак преданности, вышли вперед из рядов и пронзили себе сердца. А вся дружина в это время неистово кричала свой грозный боевой клич, который когда-то испугал даже римлян.

Громче всех кричал Ангуль:

— Честь самодержцу! Да предшествует ему слава! Да сопутствует ему щедрость!

При этом он так подобострастно изгибался и протягивал вперед шлем, что Роман снял со своей руки драгоценное кольцо и бросил его Ангулю.

Наконец, колесница выехала из Кабаллария, а громкие крики, усиленные этой монаршей милостью, все еще продолжались. Не слушаясь команд начальников, норманны кинулись через дворы, портики и лестницы, чтоб посмотреть на императорскую свиту.

Этой минутой воспользовался Дромунд, чтоб напасть на Ангуля, который забавлялся примериванием императорского подарка. Услышав, что его спрашивают по-норвежски, он обернулся, сурово сдвинув брови.

— Одно только слово! — сказал Дромунд.— Знаешь ли ты, что скандинавские волки все равны между собою?

Гордо подбоченясь, Ангуль отвечал:

— Да, я знаю это. Что же тебе нужно?

— Я хочу правосудия,— сказал Дромунд и продолжал: — Из глубины Норвегии прибыл я, чтобы отомстить за смерть любимого брата.

Надменность Ангуля сменилась осторожностью, он спросил:

— По какому признаку ты можешь узнать убийцу?

— Тот, кто убил моего брата, воспользовался его мечом. Медвежий коготь был изображен на рукоятке... Смотри, вот такой же, как этот!..— он выхватил меч, привешенный к боку Ангуля.

Сложив руки на своей широкой груди, Ангуль пробовал сдержать его гнев:

— Азы тебе помогают Дромунд. Вложи меч в ножны и скажи, чего ты требуешь. Я заплачу за кровь, как велит правосудие и наши законы...

Но он не успел договорить своего лживого обещания, как Дромунд два раза вонзил меч в грудь своего врага; потом, попирая ногами скатившееся в песок тело, запел гимн, который обыкновенно поют воины, удовлетворившие свою месть: «Меня окружала темная ночь, а теперь засиял день! Я смотрел на прах, теперь я созерцаю звезды! Руки мои обагрены кровью, но моя честь белее снега!»

# VII

Право мести было признаваемо у норманнов всеми без исключения. Их первобытный мозг так же привык к жестокостям, как тело к сырому мясу. Убийство, совершенное на земле из-за мести, давало доступ в Валгаллу. Но смерть Аигуля задела интересы слишком многих. Дромунд и Гаральд, защитивший своего друга от нападения толпы, должны были нести ответственность за совершенное ими убийство.

Распри среди наемников улаживались в Византии просто. Виновных приводили к судьям и те предлагали заплатить выкуп за убийство. За такого важного начальника, каким был Ангуль, надо было заплатить сто сорок золотых, более чем годовое жалованье наемного норманна.

Дромунд открыл перед судьями свой пустой кошелек...

— Ты знаешь закон? — сказал ему переводчик. Топор правосудия должен пасть на твою голову.

— Да будет так, но этот человек не участвовал в убийстве,— сказал Дромунд, указывая на Гаральда.

— Он защищал тебя от возмездия,— отвечали судьи,— так пускай и разделяет твою участь.

— Я это ожидал,— сказал Гаральд.

Тотчас же по окончании суда назначена была и казнь.

Дворцовый сад заканчивался на востоке большой террасой, которая господствовала над Босфором.

Эта терраса была для элегантной толпы знати, имеющей доступ ко двору, излюбленным местом прогулок и любовных свиданий.

Вечером сюда приходили пары любоваться заходом солнца.

С этой террасы открывался вид на порт, где передвигались по глади залива суда. Внизу слышались брань и крики; наверху же раздавались веселый смех, звуки поцелуев, шорох вееров.

У подножия этой террасы Дромунд и Гаральд были прикованы к позорным столбам. Приставленный для

наблюдения за ними воин то и дело отгонял зевак, которые приходили посмотреть на приговоренных к казни, и пугал шалунов-мальчишек, при одном виде его копья обращавшихся в бегство.

Равнодушные к взорам любопытных и к детским проказам, оба воина безмолвно сидели у своих столбов. Их сердца бились спокойно. Но все же, когда на заливе показалось судно, плывущее на всех парусах в сторону Понтийского моря, Гаральд глубоко вздохнул. Однако не страх смерти закрадывался в его душу при потухающих лучах заходящего солнца. Не питая ни к кому ненависти, он не испытывал удовлетворения от совершившегося убийства. Ему просто было грустно. С тоской вспоминал он свои полные приключений плавания среди беспредельной свободы морей; ночи, проведенные в борьбе с волнами и непогодой; бури и грозы, которым так радовалась его смелая душа. Сквозь высокие мачты судов грезились ему острые скалы, бездонные пропасти, снежные вершины и громадные сосны, тесно стоящие друг около друга, как гиганты, готовые выдержать приступ; все эти воспоминания о милом севере так переполнили его сердце, что он запел старую скандинавскую песню.

Он воспевал зиму с ее глубокими снегами, весну, которая ломает твердый лед, согревает землю, зеленит ветви сосен, освобождая их от ледяной одежды: «В этот час спешит Урда, одна из трех красавиц Норн, за весенней водой к ручейку, чтобы напоить свежей влагой могучий бук Идразиль...»

Гаральд напевал тихо, голос его звучал жалобно, как ветер, колеблющий снасти судна.

Услышав эту песню, Дромунд бросил на землю горсть игральных костей, которыми забавлялся с ловкостью жонглера, перекидывая их с руки на руку. Затем нетерпеливо рванул свою цепь и обратился к стражу:

— Приятель,— сказал он,— скажи, когда нас поведут на казнь?

Посмотрев через лес мачт на запад, воин отвечал:

— Когда солнце совсем опустится в море, тогда и ваши головы будут плавать в крови.

— Благодарю,— спокойно сказал Дромунд.

Увлеченный своим пением, Гаральд не обратил никакого внимания на слова воина. Помолчав какое-то время, как бы для того, чтобы прислушаться к грустным чувствам, царившим в его душе, он снова запел: «Вода течет и преобразуется в мед, которым питаются пчелы. Норны не оставляют своими заботами бук, отягощенный блестящими плодами, и он растет и тянется к небу...»

Вдруг Дромунд вскочил на ноги и, подойдя, насколько позволяла цепь, крикнул ему:

— Чтоб когти Фенриса вонзились тебе в кожу! Прекрати ты этот волчий вой! Возьми кости, давай лучше сыграем. Что с тобой? Уже не сожалеешь ли ты о Византии?

Со спокойствием человека, не боящегося, что в его мужестве усомнятся, Гаральд отвечал:

— Я мечтал, что возвращусь на родину с нагруженной золотом ладьею. Мне хотелось отправиться на конец моря, на запад, и посмотреть на других богов, кроме Азов, охраняющих мир. Я завещал сжечь себя на своем судне. Вот над своей головой я слышу шелест флага, которого я уже больше не разверну...

Дромунд, желая убедить его, что судьбы людей заранее предначертаны в небе, сказал:

— Что из того, что несколькими годами больше или меньше морской ветер будет дуть тебе в лицо? След самой знаменитой ладьи исчезнет в океане; дым самого славного костра рассеется в воздухе. Предоставь женщинам оплакивать утраченную молодость и купцам сожалеть о жизни. Неведомый мир находится не на западе, а над нами. Через несколько часов мы пройдем этот таинственный путь! Двери уже отпираются перед нами! Свет воссияет в наших потухших глазах!

Голос Дромунда славился среди моряков. Говорили, что он надувает паруса, доходит до неба, что сами Азы наклоняют ухо, чтоб наслаждаться, слушая его пение. В этот же вечер, когда Дромунд, вдохновленный верой и предстоящей смертью, обращая к небу свое лицо, спокойное, как у самого Бальдера, торжественно запел похоронный гимн, голос его звучал, как никогда прежде, и вся фигура как бы дышала гордым осознанием близости к Валгалле.

# VIII

Из придворных дам, окружавших императрицу Теофано, более всего она любила за веселость, живое воображение и изобретательность в развлечениях Евдокию, молоденькую вдовушку, удивлявшую всю Византию своими разнообразными фантазиями и любовными причудами.

Она, например, открыто проявляла какую-то необъяснимую привязанность к бывшему придворному писцу, выгнанному Константином Порфирородным со службы за взятки. Она употребила все свое влияние, чтобы избавить этого негодяя, Иоанна, прозванного Хориной, от казни, устроив ему убежище в монастыре. При восшествии на престол Романа, именно благодаря ее стараниям Хорина, сбросив монашеский клобук, пристроился опять ко двору.

Горячее рвение, выказанное Евдокией в заботах о Хорине, неприятно действовало на императрицу и заставляло ее хмурить брови. Но Евдокия, поведя плечами, с улыбкой, подкупающей как мужчин так и женщин, воскликнула:

— Государыня! Неужели ты ревнуешь меня к евнуху?

Благодаря таким шуткам и постоянной веселости, она не только сохранила благоволение императрицы, но и сумела добиться для своего приятеля назначения начальником над наемным отрядом, который должен был охранять священную особу самодержца.

Расположение Евдокии к Хорине объяснялось отчасти тем, что этот евнух забавлял ее складом своего ума и циничными разговорами, а отчасти общей выгодой. Честолюбивые, расчетливые, несмотря на кажущееся легкомыслие, они прекрасно понимали, какую силу может приобрести среди придворного общества союз хищного человека с обольстительной женщиной, только для вида прикрывающейся мнимой пустотой своего характера.

Состояние, которым обладала Евдокия, увеличивало число почитателей ее ума и красоты людьми, поклоняющимися исключительно богатству. Но из этой громадной толпы обожателей она особенно выделяла двух братьев-

близнецов, Троила и Агафия. Их поразительное сходство служило предметом постоянных насмешек и шуток.

Эта игра природы забавляла и Евдокию. Ей нравилось путать близнецов друг с другом и этим вызывать в них ревность.

— До сих пор я всегда любила сразу нескольких мужчин,— говорила она,— что, конечно, грех. Но небо хочет моего спасения и, создав этих близнецов, дает мне возможность прийти к верности легким путем...

В тот день, когда император в Кабалларии делал смотр норманнской дружине, Евдокия дольше обыкновенного занималась своей прической.

Сидя перед зеркалом, следила она за движениями рабыни, связывавшей лентами пышную массу ее золотистых волос.

В это время слуга, пользовавшийся ее доверием, вошел без стука в комнату.

— Что тебе нужно, Пастилас?

— Снова,— отвечал он,— эти близнецы врываются силой и говорят, что ты их ожидаешь.

— Они лгут! Но все равно, пускай подождут в саду.

Евдокия, не спеша, заканчивала свой туалет. Удовольствие, которое она получала от созерцания в зеркале своих глаз, подобных цветкам лотоса, заняло еще много времени; а потом ей нравилось заставлять ждать своих обожателей, как заставляла она своих лошадей подолгу стоять перед крыльцом, для того, чтоб, застоявшись, они потом ретивее бежали.

Когда, наконец, близнецы были допущены, то они ворвались как какие-нибудь школьники и остановились, пораженные, среди комнаты.

Евдокия, ради шутки, приняла позу богини. Свои красивые ноги она поставила на скамеечку из слоновой кости; придерживая одной рукой складки прозрачной туники, другую она откинула назад, как бы доставая стрелу из невидимого колчана.

— На колени! — приказала она.— На колени, или я вас убью.

С веселым смехом близнецы растянулись на полу, и когда она, сияющая и оживленная, сошла со скамьи, они

стали кружиться около нее, как борзые собаки, и, завладев ее обнаженными ногами, слегка кусали их.

— Довольно! — кричала она.— Вы разве созданы с собачьими душами? Я хочу, чтоб вы занимали меня разговором, а не звериным рычаньем. Ну поднимайтесь! Оба! И покажите ваши лица, чтобы я узнала, наконец, который же мой возлюбленный.

Они по-братски обещали друг другу сообща пользоваться расположением могущественной женщины и вскочив на ноги, продекламировали обращение к богине Диане, которое произносил один актер из Каррадоса в роли Актеона:

— О царица ночей! Белоснежная! Сладкая как молоко! Я любуюсь только твоим лицом; рассей же облака, тебя окружающие, чтобы я мог наслаждаться созерцанием твоих чудных форм и чтоб мое желание упилось вполне твоею красотой...

Протянув обе руки, Евдокия зажала им рты и, потрясая своим ожерельем, сказала:

— Агафий!

— Приказывай,— сказал один из близнецов.

— Как сильно ты меня желаешь?

Молодой человек взглянул на нее с бесконечной страстью, окинул глазами комнату и, увидав висевшую на стене мягкую ткань, которой вытирала Евдокия свое божественное тело после ванны, он приник лицом к ее складкам и стал безумно целовать еще влажную ткань, хранившую запах тела.

Точно в припадке сумасшествия, он целовал, целовал ее без конца, завертывая свою голову в материю и крича страстным голосом:

— Моя любовь меня сожгла! Я погребальная урна! Я полон пепла!..

Евдокия весело расхохоталась и, дотрагиваясь до плеча Троила, спросила:

— Ну, а ты, как ты меня любишь?

Склонив свою кудрявую голову, грациозно, как лебедь, спустился он с мраморной ступени к бассейну, где любила купаться Евдокия и, зачерпнув рукой воду, разом выпил ее, воскликнув:

— Восторг, опьянение! Моя любовь меня освежает, моя любовь меня опьяняет! Освященная вода удваивает силы моей любви!

Держа Агафия за руку, Евдокия другой рукой взяла руку Троила и, обращаясь к ним, спросила:

— Какой же поцелуй лучше: тот, что освежает, или тот, который жжет? Я не могу сделать выбор, объясните еще раз.

Они тяжело вздохнули, и Троил сказал:

— Вот слушай, как я буду тебя любить...

— Ну, я слушаю...

— Нет, ближе, ближе склонись ко мне, не нужно, чтобы Агафий слышал.

Смеясь, она наклонилась к нему и он стал тихо говорить, касаясь губами ее душистых волос.

Агафий видел улыбку молодой женщины, становившуюся все более и более напряженной. Глаза ее выражали ожидание подтверждения услышанного. Но вдруг Евдокия вскинула своими блестящими плечами и воскликнула:

— Обманщик! Это уже мне знакомо.

— Ты еще не знаешь моего секрета! — вставил Агафий. Я его не доверял никому. И если бы богини узнали его, то сошли бы со своего старого Олимпа, чтоб испытать мою любовь.

— Посмотрим,— сказала Евдокия.

И она стала слушать нашептывание влюбленного с таким же выражением лица, какое бывает у детей, когда они хотят знать и в то же время боятся быть обманутыми. Наконец, краска разлилась по ее лицу, краска стыда, удовольствия и усталости от напряженного внимания; она опять разом прервала объяснения Агафия и, всплеснув руками, сказала:

— Дорогие друзья, я отказываюсь вас разделить. Отдадим этот вопрос на решение судьи.

— Хорины? — спросил недовольным тоном Агафий.

Но Евдокия насмешливо взглянула на него, как бы говоря: «Ты тоже ревнуешь меня к моему евнуху?»

И, польщенная всем происшедшим, добавила:

— Нет, не Хорине, мы лучше Ирине поручим это дело...

# IX

Дружба скромной Ирины с сумасбродной Евдокией, так же как и расположение последней к евнуху Хорине могли бы удивить Византию, если бы привыкшая к самым разнообразным интригам и невероятным приключениям Царица мира вообще могла чему-нибудь удивляться. Близость этих двух столь непохожих друг на друга женщин придавала своеобразную прелесть каждой из них. Евдокия блистала веселостью и детскими причудами, а грациозно-снисходительная, задумчивая Ирина — правдивым, искренним сердцем, что в то время в Византии встречалось так же редко, как живой цветок среди каменных плит набережной. Мужчины относились с уважением к этой привлекательной женщине, в которой не было ни кокетства, ни напускной добродетели, которая никого не обижала, так как никому не давала предпочтения. Женщины любили Ирину за то, что, будучи самым лучшим украшением празднеств, она не внушала им ревности. Ирина была гречанка из Милета, сестра Троила и Агафия, сирота, разоренная, так же как и они, своим бесчестным опекуном, и мечтала поступить в Каниклионский монастырь; но в это время один, уже не молодой, богатый купец сделал ей предложение. Уступая мольбам своих братьев, соблазнившихся деньгами Никифора, роскошью его жизни, она дала свое согласие на брак, смотря на него, как на обет самоотречения.

Серьезность, чистота устремлений и желание посвятить себя Богу придавали ее постоянной тоске возвышенный характер. Брюнетка, с голубоватыми, прозрачными веками, она всей своей изящной фигурой напоминала те статуи, какие создавали великие художники, изображая вечную, божественную красоту.

Став жертвой старческой похоти, она относилась к этому как к испытанию, посланному судьбой, и безропотно переносила его. Только высеченная из камня печатка, изображавшая смятую лилию, заказанная ею в одну из тяжелых минут ее печальной жизни, намекала на правду этой жизни; но Ирина всем говорила, что печатка эта осталась ей от матери.

По прошествии четырех лет замужества она совершенно примирилась со своей тяжелой долей, и это сделало ее еще привлекательнее и еще милее. Она спокойно улыбалась своему старому супругу, и когда он упрекал ее в излишних тратах, виновниками которых были ее братья Троил и Агафий, то она покорно отвечала:

— Надо же, чтобы каждая женщина кого-нибудь да баловала — или дитя или возлюбленного. А у меня только и есть, что братья...

Старый ворчун замолкал при этом, боясь, чтобы она не завела себе любовника, так как не мог уже дать ей сына.

Он уважал в ней способности, которые так украшали его дом: умение устраивать празднества, наблюдать за прислугой, и отпускать от себя своих знакомых вполне довольными и угощением, и разговорами.

Когда Евдокия, в сопровождении своих поклонников, вошла в комнату, где Ирина проводила все свободное от визитов время, занимаясь рисованием, она запечатывала письмо, поспешно написав на нем несколько строк. Легкий испуг Ирины от неожиданности ввел в заблуждение Евдокию и ее обожателей.

— А, я тебя поймала! — воскликнула Евдокия.— Вот скромница! Ты пишешь своему возлюбленному! Как его зовут?..

Ирина с меланхолической улыбкой подала письмо, и Агафий прочел: «Августе Софии, игуменье Каниклионского монастыря».

Все вскрикнули от удивления, и Троил спросил:

— Что же это значит? Ты просишь приготовить тебе там келью?

— Я писала Августе и просила, чтобы она передала это письмо царевне Агате.

— Разве Агата в монастыре?

— И Агата и ее сестры — Анна, Зоя и Феодора! Это — самая свежая новость. Откуда вы явились, милые друзья, что ничего не знаете?

И она рассказала происшествие, о котором все говорили.

Утром, еще перед смотром, самодержец призвал к себе вдовствующую императрицу и своих молоденьких

сестер и повелел им в тот же день покинуть дворцовые покои, отправиться в монастырь и принять постриг.

Повеление брата, как громом, поразило царевен, которые готовились совсем к другой жизни. Они получили прекрасное воспитание; сам покойный император, страстно любивший своих дочерей, заботился о нем.

Царевны, рассказывала Ирина, помешались от горя. Они на коленях умоляли Романа о помиловании и не хотели добровольно оставить дворец, и были насильно увезены из него. Теперь они уже пострижены.

Евдокия сказала:

— Хорина мне рассказывал, что молодая императрица хотела отомстить своим золовкам, но я не думала, чтоб ее гнев был так страшен и так беспощаден!

— В чем же могла упрекнуть Теофано этих прекрасных девиц? — спросила Ирина.

Евдокия, тревожно оглянувшись на дверь, продолжала:

— Они слишком громко повторяли историю, о которой уже давно говорят во дворце и которая очень не нравится императрице.

— Какую же?

— Есть люди, которые помнят, как десять лет тому назад в гавани жил кабатчик по имени Кратерос. Его дочь, Анастазо, разливала вино матросам. Она была удивительно красива и на пятнадцатом году куда-то исчезла. Первые ее поклонники не забыли, однако же, прекрасной кабатчицы, и в тот день, когда императрица Теофано взошла на золоченое ложе наследника престола, матросы Буколеона разинули рты от удивления: так поражены они были ее сходством с Анастазо...

— Ну и что?! Теофано могла быть сестрою прекрасной кабатчицы,— сказала Ирина.

— Или, может быть, ею самою!

Все смолкли в комнате Ирины, а Агафий сказал:

— Да, это такая история, которую я постараюсь навсегда позабыть... Бедная Феодора! Она так гордилась своими волосами... Как она плакала, должно быть, видя их на полу! Честное слово, это — преступление против красоты,— закутать в монашескую одежду девушку царской крови, которая так умела носить свои туалеты!

— А бедная Зоя! — сказал Троил.— Зоя, которая так любила покушать! Зоя, которая, как никто другой, умела устроить полдник в саду! Зоя, которая надевала перчатки, чтобы наготовить кушанья вместе со своими прислужницами! Как она справится с монастырскими постами, где воздержание повторяется шесть раз в неделю?

— Я знаю,— сказала Ирина,— что Агата питала в своем сердце любовь и пользовалась взаимностью человека, вполне ее достойного. Мне страшно, что она принесет к престолу Всевышнего свое разбитое сердце... Без ропота она не подчинится, а ропот сделает ее жертву бесполезной.

## X

Наступал час захода солнца, когда, после полуденного жара, вся знатная молодежь столицы собиралась в ту часть дворцового сада, которая всегда была открыта для посетителей. Там показывались новые моды, там завязывались новые связи. Семейные, занятые люди появлялись там редко, и сад всецело принадлежал холостой молодежи, франтам и кокеткам.

Евдокия любила показываться на этих прогулках, окруженная своими поклонниками. Ирина же не любила этого, так что и в тот вечер Евдокии с трудом удалось уговорить свою подругу сопровождать их в сад.

— Я верю,— говорила Ирина,— что искренняя любовь дала бы мне все, но мое сердце разрушено! Зачем же понапрасну тревожить моего мужа? Спокойствие, исходящее из равнодушия, это — единственное благо, которым я дорожу.

Отчасти из любезности, отчасти для того, чтобы рассеять тяжелые мысли о заточенных царевнах, она согласилась, однако же, пройтись по саду вместе с Евдокией и своими братьями.

Когда они были уже в саду, Троил ласково взял сестру под руку и сказал:

— Дорогая Ирина, помоги мне убедить твою капризную подругу, скажи ей все хорошее, что ты обо мне ду-

маешь, и даже то, чего и не думаешь, и уверь ее, что если бы твоею душою не руководила такая сверхъестественная добродетель, то ты влюбилась бы в меня, несмотря на то, что я твой брат.

Агафий же, в свою очередь, взяв сестру за другую руку, стал говорить ей:

— Милая сестра, Евдокия говорила нам, что ты ее советница; вот случай испытать, слушает ли она тебя. Хорина принес ей, в конце концов, только вред, да и нельзя не смотреть дурно на женщину, когда она ценит в мужчине только мужество и умение разговаривать. Если небу было угодно сделать из твоего друга соблазнительную вдовушку, то это значит, что оно решило превратить ее в общее достояние, так как такая красота не может принадлежать никому в отдельности.

При этих словах Евдокия смеясь отвернулась от них, а близнецы стали убеждать ее:

— Ну что может дать вам любовь к кому-нибудь одному, если вы будете ему верны? Бабочка и та должна порхать с цветка на цветок...

— Любовь появляется и исчезает в одном взгляде.

— Влюбляются...

— Расстаются...

— Плачут...

— Вот это жизнь!

Оживленные жесты молодых людей заставляли трепетать, как крылья, тонкую ткань их плащей, и они сами казались вольными птичками, которые присаживаются на минуту к фонтану, чтобы напиться, и тотчас же улетают освеженные и веселые.

Конечно, Евдокия была также непостоянна, как и они; одно слово могло привлечь ее внимание, и одного каприза достаточно было, чтобы отвернуться и искать других впечатлений. Но она не могла еще сделать выбора и потому отвечала шутя:

— Ты молчишь, Ирина, и я тебя за это одобряю. Ты — единственный человек на свете, совету которого я последовала бы. Тот, кто сам вне влияния любви, не заслуживает доверия, если советует ею пользоваться. Бог видит, до какой степени ты упорна в этом отношении! Твои братья показывают, что любят тебя! А знают ли

они, что про тебя говорят в обществе? Оно уже устало хвалить тебя за твою добродетельность и высказывает теперь о тебе два мнения: или у тебя совсем нет сердца, или Никифор держит его в своих руках.

Ирина меланхолично улыбнулась и сказала:

— Никифор — один из тех мужей, каких очень много. Он смотрит на меня как на предмет роскоши в своем доме, которому другие знают цену. Если б он был для меня снисходительным отцом, то я бы нежно скрашивала его старость. Но он предпочел быть тюремщиком, в то время, как я и не думала вырываться на свободу; он не понял, что я жду одного только визита — визита ангела, который закроет мне глаза.

Ирина произнесла все это с таким волнением, что все трое перестали смеяться. Евдокия ласково возразила:

— То чудо, которого ты ждешь от смерти, может тут, на земле, дать любовь...

Ирина ответила:

— Я тоже так думала и признаюсь, что глаза мои искали среди людей, ухаживающих за мной, человека, которого бы я могла полюбить. Я готова была совсем отдаться этому чувству, но я не могла не видеть, что никому не нужна была моя душа. А отдаться одному опьянению наслаждением я боялась и предпочла свои вечные слезы.

При ее последних словах Евдокия сделала такую жалкую мину, что оба брата не могли оставаться более серьезными.

— Где же ты родилась? — спросила она.

— В Милете,— ответила Ирина.

— Не может быть! Ты не могла родиться в такой жаркой стране, где лучи солнца дают силу любить; ты родилась, вероятно, в грустной стране, освещенной холодной луною; твоя мать зачала тебя в ласках северного воина, носившего на шлеме снежный султан.

Разговаривая, они дошли до того места, где сад заканчивался набережной Буколеона и где привязанные к столбам норманны ожидали своей казни. Приблизившись к балюстраде, они услышали пение Дромунда.

Устремив глаза на заходящее солнце, он пел: «В изукрашенном алмазами покое, на роскошном брачном ло-

же Валькирия с возлюбленным своим горят в вечном пламени любви, излечивая поцелуями страдания...»

Ирина остановилась:

— Слушайте,— сказала она.

Между тем, Дромунд продолжал: «Их души слились воедино, как два луча в один свет, и взаимное чувство согревает больше их сердца, чем их молодые тела.»

## XI

День склонялся к вечеру. За высокими куполами большого дворца постепенно пряталось солнце; косые лучи его скользили по крышам Буколеона, золотили снасти бесчисленного множества судов, стоявших в водах Босфора, и тонули в его колеблющихся волнах.

Остановившись у балюстрады, Ирина стала любоваться морем.

Неподвижный в жаркие часы дня, Босфор терял свое спокойствие, вечерний ветерок давал волнам жизнь, которая, как казалось Ирине, пробуждалась и в ее душе.

Эту жизнь вызывал в ней голос полный веры и грусти, говоривший о чем-то постоянном, что не гаснет, как веселье и радость, переживает смерть и сливается с вечностью.

С горячим порывом, вырвавшимся, как вздох, из ее груди, она спросила:

— Кто это поет?

Наклонясь через балюстраду, Евдокия отвечала:

— Песня мужественна и певец очень красив! Троил, мой друг, поди узнай у воина, который стоит на страже, за какое преступление выставлены эти два человека к позорному столбу.

Услужливый поклонник ловко сбежал по лестнице, рассчитывая произвести на Евдокию впечатление своей любезностью и элегантностью.

Все внимание Евдокии было поглощено, однако же, двумя воинами; она и не заметила, как энергично растолкал Троил толпу зевак, которая собралась вокруг

осужденных. Как ребенок горела она нетерпением удовлетворить свое любопытство и крикнула с балкона Тролилу:

— Кто же они такие?

— Норманны...

— Они украли?

— Убили.

— Их заклеймят за это?

— Им отрубят головы.

— Когда?

— Сегодня, после захода солнца.

Евдокия всплеснула руками и, обратясь к подруге, сказала:

— О, Ирина, посмотрим на их казнь... Говорят, что они с удивительным мужеством подставляют головы под топор и что даже улыбка блуждает на их мертвых губах!

— Несчастные! — прошептала Ирина,— они умрут так далеко от родного края. Пойдем, скажем им несколько ласковых слов.

Она первая спустилась с лестницы и направилась к тому, чей голос еще звучал в ее душе. Она шла прямо к Дромунду, так же легко и свободно и почти так же бессознательно, как в сладком сне.

Подойдя поближе, она пристально на него посмотрела. Вся фигура его и лицо выражали полное спокойствие. Могучие руки были сложены на груди, сдерживая ее дыхание, как берега сдерживают бурные волны. В глазах, светлых как скандинавское море и устремленных вдаль, сквозили видения рая.

Ирина увидала в этой ясной лазури отражение незнакомого неба и сказала:

— Я полюбила твой голос и твое благородное мужество... Скажи мне как твое имя?

— Дромунд.

— Сегодня ты должен умереть?

— Я это знаю, что же из этого!

— Ты ни о чем разве не сожалеешь на этом свете?

— Да, ни о чем.

— И тебя никто не будет жалеть?

— Никто.

— Ни одна женщина не поцелует твою голову, отделенную от тела?

— Звери меня растерзают,— ответил Дромунд. И он засмеялся, представив, как в лунную ночь собаки будут делить его труп.

Не все ли ему равно, возьмут ли тело его на ремни для бичей, или разорвет свора царских собак, матрос ли из Буколеона выбросит в море, или же азиатский маг проткнет его сердце для своих заклинаний? Чем больше будет на нем крови и ран, тем с большим почетом и любовью будет он принят в Вальгалле.

Ирине стало тяжело от его равнодушия и она заплакала:

— Никто не оскорбит твоих кровавых останков... О Дромунд, я их выкуплю слезами...

Она так волновалась, как будто этот человек был ей брат или возлюбленный, проживший с ней всю жизнь. Любовь, которая зародилась в ней у порога смерти, имела уже свое прошлое, свои воспоминания. В этой любви уже были и заря счастья, и надежды, и пережитые бури чувства, и восторги обладания, и все страдания, которыми судьба, законы, ревность и людская ненависть омрачают сладкие минуты, переживаемые на земле влюбленными в объятиях друг друга.

И вот теперь она стояла перед ним, протягивая руки, и умоляла сохранить воспоминание о ней, остающейся такой одинокой на земле, тогда как он идет к райским видениям.

Дромунд оставался все так же неподвижен, хотя выражение лица его совершенно изменилось. Его глаза уже не равнодушно смотрели на Ирину.

Забыв место и время, обмениваясь простыми словами, они слышали музыку, звучавшую в их сердцах.

Сострадание и участие этой женщины не оскорбляло воина. Оно вливало в его душу неиспытанную радость, которая осветила его мужественные черты почти детски-счастливой улыбкой; потупив глаза и отдаваясь блаженству, которое должно было окончиться навсегда с наступлением ночи, он сказал:

— Радостно покидал я жизнь, чтоб занять за столом

Одпна место достойное героя, но ты предстала глазам моим — и теперь я встречаю смерть с сожалением расставаясь с тобой.

## XII

Охваченная чувством любви, Ирина перестала замечать все окружающее, и это было так очевидно для посторонних глаз, что стало вызывать всеобщее внимание и насмешки.

— Ах, Боже мой! — воскликнул Троил,— теперь я не удивляюсь, что эти варвары похитили у стольких мужей их жен! Они так же хорошо работают языком, как и веслами. Им и копья не нужно, чтобы достать до сердца женщины. Что ты об этом думаешь, милая сестра?

Ирина и не почувствовала в его речах насмешки. Она отвечала ему словами, которые выливались прямо из души:

— Друзья мои, надо спасти этого человека от казни. Где судьи? — я пойду их умолять... Где палач? — я удержу его...

Евдокия и близнецы сначала стали смеяться над нею, но потом Агафий сказал:

— Не следует тебе так открыто себя компрометировать. Твои братья, Ирина, устроят это. Они не дорого возьмут за это дельце с тебя.

Он обратился к воину, сторожившему приговоренных к казни.

— Послушай! Не знаешь ли ты средства избавить этого человека от смерти?

— Можно дать выкуп.

— А ты знаешь сумму выкупа?

— Двести золотых.

Агафий нахмурился. Фантазия сестры показалась ему слишком дорогой.

— Если вам угодно выкупить его,— добавил наемник,— то спешите. Его голова падет раньше, чем наступит ночь.

Эти слова возвратили Ирину к действительности. Евдокия ободряла ее:

— Пойдем, пойдем! Успокойся, чувствительная ты душа! Поверь, я удержу именем Хорины уже поднятый топор. Палач не может не знать начальника, которого он обязан слушаться. А ты достань нужную сумму денег. Мы же проводим твоего Дромунда в тюрьму, где он и будет терпеливо ожидать, когда любовь ему откроет двери.

Навернувшиеся на глаза слезы придали лицу Ирины особенную привлекательность, она нежно сказала:

— Евдокия, ты знаешь, какое большое место занимала в моей душе твоя дружба. Твое участие теперь к моему горю увеличивает его еще больше.

— Перестань! — отвечала, смеясь, молодая женщина.— Теперь не время отводить нашей дружбе еще большее место. Любовь, которая вошла в твое сердце, не найдет его слишком для себя большим, если судить по тем размерам, в каких ты ее получила, даже в настоящую минуту.

Слово «любовь», которое произнесла Евдокия, поразило Ирину, как открытие. Не испытав никогда этого чувства, она не понимала его. И, как бы пробуждаясь от сна, тихо сказала:

— Неужели ты думаешь, что я...

— Влюблена,— подсказала Евдокия.

Ирина повторила:

— Влюблена в этого человека...

Часто, стоя в строю своей дружины, Дромунд с презрением смотрел на проходящих мимо византийских женщин, которые были так не похожи на женщин его родины. В ту минуту, когда любовь одной из них возвратила ему жизнь, он не забыл своего друга, который вместе с ним был обречен на казнь, и потому, указывая на Гаральда, он сказал:

— Этот человек так же, как и я, приговорен к смерти. Сегодня же вечером должны были мы оба сидеть за столом Одина; и он не отправится туда один, без своего товарища.

— Я позабочусь и о нем,— сказала Евдокия. Как его зовут?

— Гаральд.

— Он тоже, как и ты, поет?

Троил и Агафий не дали ей продолжить шутки, воскликнув:

— Как! У нас на глазах! Ты с ним заигрываешь?

Ирина опять подошла к Дромунду: ей хотелось, чтоб он заговорил с ней.

Он почувствовал это и сказал с улыбкой:

— Если когда-нибудь будет нужна тебе, красавица, моя рука, то знай, что кровь Дромунда прольется за тебя с любовью.

Как нежная песня звучали его слова для Ирины. Тронутая его благодарностью, она чувствовала, как опять зазвучал в ее душе только что слышанный гимн о наслаждениях Валгаллы и вечной любви. Она уже не могла больше противиться овладевшему ею желанию. Не замечая ни Евдокии, ни братьев, ни толпы, ее окружавшей, она положила свою руку на руку любимого ею человека и бессознательно шептала:

— Спой, спой еще!

## XIII

Муж Ирины был богатый купец, довольно пожилой и весьма некрасивый. Жадность и страсть к накоплению денег помешали ему окончательно разжиреть. Венчик вьющихся седых волос окружал его блистающую лысину. Желчный цвет лица, нос слегка согнутый крючком, намекавший на финикийское происхождение, зрачки, не круглые, а вытянутые в горизонтальные черточки и совсем черные, были отличительными чертами его лица.

При такой физиономии Никифор обладал несоразмерно длинной талией и очень короткими ногами. Всем жителям Византии он был хорошо известен и слыл за смешного, но опасного шута. Обитатели Буколеона прозвали его «Приапом», так как он таскал всегда с собой толстую трость, казавшуюся его третьей ногой, а патриции, побывавшие в его когтях, между собой называли его «Грифом».

Никифор начинал свою торговлю за простым прилавком, на перекрестках улиц. На его переносном столе появлялись бриллианты, золото, серебро и драгоценные вещи. Клиентами его были куртизанки, дружинники, не знавшие, куда девать свою добычу, и негодяи, спешившие сбыть краденые вещи. Как след слишком горячих объяснений с кем-то из клиентов, Никифор носил шрам над бровью, который при каждой вспышке злобы становился кроваво-красным. Этот шрам служил на его лице, оживленном единственной страстью — страстью к любостяжанию, неизгладимым свидетелем совершенных им в прошлом дурных дел.

В царствование Порфирородного Никифор состоял постоянным казначеем патриарха Феофилакта, нагло эксплуатировавшего набожных жителей Византии. Он же заведывал жалованьем танцовщиц, которых Феофилакт любил видеть участвующими в церковных церемониях, и держал поставку фуража для двух тысяч лошадей, помещенных патриархом, большим их любителем, рядом с собором.

Когда Феофилакта постигла смерть во время прогулки верхом на лошади, положение Никифора было уже упрочено. Он выстроил себе около дворцовых садов такой великолепный дом, что уже никакая молва не могла проникнуть за его стены. Кроме того, он заставил ее молчать своею щедростью.

Так, например, когда патриарх Полиевкт, стараясь вычеркнуть из памяти народа злоупотребления своего предшественника, переделал конюшни на приют для беспомощных стариков, Никифор предоставил к его услугам свой неистощимый кошелек.

Мало-помалу он стал известен как выдающийся филантроп, покровитель сирых и беспомощных, находя, что дружба с людьми уважаемыми и живущими в Боге в высшей степени ему полезна, так как, заручившись ею, он мог с презрением относиться к враждебной молве и скрытой злобе аристократов. Он не боялся своими странностями давать пищу разговорам, отвечая на ненависть смехом.

Женитьба на Ирине была тоже делом расчета...

Имея огромное состояние, он не нуждался в прида-

ном; но зато, достигнув видного положения, хотел иметь возможность похвастаться перед другими красотою и элегантностью своей жены, выводя ее на придворные празднества. Потому-то его выбор и пал на сироту Ирину, замечательно красивую и очень умную.

Он рассчитывал, что она, из чувства долга будет относиться к нему так, как другие жены относятся к своим мужьям из чувства любви.

Впрочем, и сам-то Никифор пользовался своими супружескими правами, больше из свойственной его натуре жадности, так как всякие другие желания давно потухли в нем от прежних излишеств.

Он не мог вообще не извлечь всей возможной выгоды из того сокровища, которое ему принадлежало, и наслаждался только одним сознанием, что красота, молодость и девственность Ирины принадлежат ему безраздельно, ревниво оберегал их, как слитки золота, наполнявшие его сундуки.

Он дрожал от страха, когда Ирина выходила из дома точно так же, как когда ему приходилось подписывать чек на сумму, нужную для передачи другому.

Между прочим, с тех пор, как эта прелестная женщина поселилась в его доме, Никифор не считал нужным отвлекать внимание общества от своих темных дел, как прежде, разными странными выходками. Образцовая добродетель Ирины и без того давала для пересудов общества неистощимую пищу.

Одни говорили:

— Верно, Никифор напоил ее приворотным зельем.

Другие утверждали, склоняя многозначительно голову:

— Она хитра и ловко скрывает свою игру.

А скептики, между тем, повторяли:

— Подождем, увидим...

Итак, добродетель Ирины служила ширмой низости ее мужа.

Все взоры были обращены теперь на его жену. И пока кругом все занимались отыскиванием имени незнакомца, который мог бы еще более усилить интерес сплетен, Никифор спокойно набивал свой карман.

## XIV

На третий день после того, как вмешательство любви освободило от цепей Дромунда и Гаральда, Ирина вместе с Никифором сидела в столовой своего богатого дворца.

Длинные часы обеда были для Ирины всегда тяжелой пыткой.

Но с тех пор, как она полюбила Дромунда, в ней появились необыкновенная сила и способность все выдержать.

Смущавшаяся прежде, при полной невинности, от одного подозрительного взгляда Никифора, Ирина теперь находила наслаждение совершаемого подвига в том, чтобы, не смущаясь, смотреть мужу в глаза.

Она с трудом сдерживала вырывавшееся наружу выражение радости и едва скрывала его. Щадя ревность мужа, она по-детски сожалела, что не могла сделать его поверенным своего счастья.

В тот день она ждала к себе Евдокию и мечтала узнать от нее все подробности случившегося и услышать о страстном нетерпении, с которым норманнский воин должен был ждать блаженной минуты, когда ему можно будет броситься к ногам возлюбленной, вырвавшей его у смерти.

Охваченная этим чарующим волнением, Ирина рассеянно слушала мужа.

Никифор предполагал, что Хорина думает предложить ему участие в одном очень крупном деле. Оно заключалось в том, что нужно было взять в свои руки поставку муки для армии Фоки в Сицилии. Это предприятие было столь дерзким, что даже сам Хорина не решился открыто вести его и рассчитывал на Никифора, как на подставное лицо.

Успех в этом деле разом мог удвоить состояние. Обольщенный такой заманчивой перспективой, Никифор был любезен и ласков.

Заметив, что Ирина намеревается уйти, он загородил ей дорогу и сказал:

— Что ты так спешишь меня покинуть сегодня?

Ирина рискнула сказать неправду и отвечала:

— Мне нужно сегодня выехать..

— Куда же ты собралась?

— В Каниклионский монастырь.

— Чтоб исповедоваться?

Покраснев от сознания греха, растущего в ее душе, Ирина едва проговорила:

— Я хочу навестить царевну Агату, которая не может утешиться в своем несчастии.

— Вот как! — воскликнул он.— Я не считал тебя такой безрассудной. Хорошо же употребляешь ты свое время, тратя его на выражения соболезнований царевне! Что нам за дело до отчаяния этой девчонки. Она же предпочитает императорский пурпур грубой власянице! Сладость царской кухни — постному, монастырскому кушанью! Не очень умно было бы с нашей стороны, из-за сочувствия к такой дурочке, лишить себя милостей самодержца и ласки Теофано. В ком же твой муж найдет себе защиту от зависти общества к успехам его в делах? У монахини Агаты или у царствующей Теофано? Я хочу, чтоб тебя чаще видали не в Каниклионе, а во дворце, в свите юной императрицы, с обращенным на нее взором, с готовой для нее похвалой на устах. Бесцельно терять время с теми, кто плачет! И я не из числа тех, которые допустят похоронить себя под обломками.

Несмотря на то, что такие слова не были новостью в устах Никифора, Ирина все-таки вслушивалась в них с чувством полного ужаса. И если бы в ее сердце любовь оставила место каким-нибудь угрызениям совести, то она тотчас же бы умолкла.

Но решимость молодой женщины не нуждалась в поддержке; она сухо ответила:

— Я пойду во дворец, как только меня позовут.

— Я хочу,— возразил Никифор,— чтобы сегодня же тебя видели среди жен патрициев в приемной императрицы. Чтоб обратить ее внимание на себя, среди всего этого блестящего общества, ты должна надеть ожерелье из сапфиров, которое я тебе подарил.

Она смутилась и дрогнувшим голосом сказала:

— Такую драгоценность... Надеть днем!..

— Почему бы нет?

— Предоставь мне этим распоряжаться; мужчины не понимают ничего в дамских нарядах; ты сделаешь меня смешной, желая видеть слишком богато одетой.

Подозрение вкралось в душу Никифора, он спросил:

— Где ожерелье? Я хочу его видеть!

— Это невозможно.

— Ты его потеряла?

— Нет.

— Продала, может быть?

— Я его заложила.

Никифор схватил Ирину за руку так крепко, что она закричала, а его шрам между бровей стал кровавым.

Гнев и грубость мужа ободрили Ирину.

Она холодно сказала:

— Я его заложила, чтоб одолжить Евдокие, которой Хорина отказал в уплате одного долга. Если ты осуждаешь мой поступок, то упрекай самого себя. Твоя скаредность приучила меня скрывать от тебя многое; берегись, чтоб твоя грубость не научила меня остальному...

Он выпустил ее руку и с выкатившимися от ревности глазами проговорил:

— Я взял тебя без приданого... за красоту и за то, что ты слыла умною. Я дал тебе счастливую жизнь, так как ты в точности исполняла брачный договор. Тебе завидовали даже в императорских покоях. Твоя роскошь заставляет бледнеть от досады жен патрициев. Достаточно одного моего слова, чтоб засадить тебя в келью, еще более тесную и ужасную, чем те, в которых сидят монахини Каниклионского монастыря. Я узнаю от Хорины и о долге, и о закладе. Дай Бог, чтоб ответ его удовлетворил меня. Доверие Никифора приобретается медленно, а потерять его можно в одну минуту.

Он вышел из залы. Поставка хлеба требовала его присутствия за городом. Ирина знала, что до завтрака она избавлена от его общества.

Она улыбнулась, глядя ему вслед. Уверенность, что Евдокия не выдаст тайны своей подруги, придавала ей спокойствие. К тому же она считала, что недоверие мужа, после стольких лет верности, избавляло ее от всяких к нему обязательств. Она спешила изгладить из сво-

ей памяти образ Никифора, чтоб всецело отдаться мечтам о любви, которые, благодаря появлению Дромунда, готовы были стать действительностью.

## XV

С того самого вечера, когда друзья были вырваны из рук палача, Ирина получила от Евдокии лишь одну короткую, уведомляющую о совершившемся записку. Но такой лаконизм не мог удовлетворить жажду влюбленной женщины, которой хотелось знать все дорогие для нее подробности происшедшего. Три дня тревожного ожидания, протекшие без новых известий, только увеличили и усилили зародившуюся в ней любовь.

Изнемогая в томлении, Ирина вдруг заметила в конце сада, на аллее, которая вела к дворцу, показавшиеся среди зелени носилки Евдокии. Потеряв всякое самообладание, она не могла уже ждать, когда носилки приблизятся к дому, и бросилась сама к ним навстречу и, отдернув занавеску, прошептала на ухо Евдокии:

— Благодарю тебя, милая, дорогая! Где он теперь?

Нежно поцеловав свою подругу, Евдокия веером указала на слуг, несших ее.

Ирина поспешно увела приятельницу в уединенное место сада, где пальмы, обильно орошаемые протекавшим ручьем, разрослись и составили как бы непроницаемый свод. Там, усевшись на бронзовую скамейку, Евдокия залилась веселым смехом.

— Где он?..— повторяла она.— Какая же ты, право! Ты думала, что я спрятала его в своих носилках? А разве хотела бы ты увидать на подушке его голову рядом с моей?

— О Евдокия!..

— Ты увидишь его сегодня вечером.

— В котором часу?

— В сумерках.

— Где же?

— У меня, если желаешь.

— О моя милая!

Тронутая до глубины души, Ирина обняла свою подругу и разрыдалась.

Она плакала и о своей прошедшей жизни, и о надеждах, готовых осуществиться. Она плакала, как узник, выпущенный на волю, после долгого заключения.

Евдокия поддерживала ее с материнской нежностью, хотя, может быть, немножко и завидовала ей.

Но слезы Ирины, казалось, могли течь так же бесконечно, как журчащие волны ручья, и потому она сказала:

— Ну, если ты так много будешь плакать, то покажешься ему совсем некрасивой, с красными глазами и побледневшими щечками.

— Прости меня, Евдокия; в моей груди теснились слезы, как вино в переполненном сосуде. Теперь я готова следовать за тобой, куда тебе угодно. Но не хочешь ли ты подождать назначенного часа, за который я так обязана твоей дружбе, под сенью этих деревьев? Ожидая свидания, мы тут свободнее можем разговаривать о нем; да к тому же ты мне еще ничего не сообщила, как это все тогда обошлось?..

Евдокия начала рассказывать, как при наступлении ночи пришел палач со своими помощниками и собрался исполнить приговор; как Троил показал ему перстень с печатью Хорины, который Евдокия всегда носила на руке; как, несмотря на это, палач долго не соглашался, отложив казнь, отвести воинов в тюрьму, и как, наконец, это было исполнено.

— Там-то,— говорила Евдокия и находился твой обворожительный певец до сегодняшнего утра, так как Хорина,— веришь ли ты? — вздумал ревновать! Он решил, что я выкупаю этого воина для себя. Сам позволяет себе всякие проделки, а к моим невинным фантазиям строг, как человек, дорожащий своим общественным положением! Все же я добилась его согласия, не выдав тебя. Но скажи мне, пожалуйста, откуда достала ты такую сумму? Сомневаюсь, чтобы она составилась из одних сбережений. У Никифора глаза так зорки, что он увидел бы золото и через крышку сундука.

Ирина не раскаивалась в том, что обманула мужа, но

воспользоваться без позволения именем Евдокии ей было стыдно. Покраснев, она призналась в своей хитрости, и с радостью увидела, что поступок ее нисколько не огорчил Евдокию, так как последняя, выслушав ее признание, захлопала в ладоши.

— Браво! — вскричала молодая шалунья.— Твои способности мне были хорошо известны, но твои успехи превзошли мои ожидания. Никифор уже обманут! Когда же у него вырастут рога?

— Я свалила вину на тебя так же спокойно, как будто бы это была правда. Не знаю, происходит ли такая бесцеремонность от веры в твою дружбу или от силы моей любви? Я, впрочем, не хочу и знать. Я наслаждаюсь теперь тем, что ничего не понимаю... Я чувствую презрение к той замкнутой в себе жизни, которою я прежде так гордилась! Не может быть, чтобы любовь могла считаться грехом, так как она вырывает нас из самолюбованья и заменяет гордость готовностью уступать и подчиняться!

— Только постарайся,— серьезно добавила Евдокия,— не отрекаться слишком скоро от своих убеждений. Раскаяние в грехах очень хорошее занятие в часы скуки. Я думаю, что оно дает душе тоже много приятных минут. Верь моей опытности, моя милая. И еще не спеши отдавать всю себя, чтоб сильнее могло разгореться пламя в том, кто тебя любит. Да, медленнее уступай, чтобы твоя любовь могла дольше нравиться и тебе самой.

## XVI

Приехав в свой дом, Евдокия проводила Ирину в уединенный покой для того, чтоб укрыть от посторонних взглядом. Из этого покоя был выход в комнату с ванной. Мозаика на его полу изображала Часы, запряженные в колесницу Любви. Помещенная среди колонн постель возвышалась над полом на две ступени, сделанные из редкого мрамора.

Прямо напротив нее находился бассейн с постоянно

бьющей струей прозрачной воды. Все говорило здесь о восторгах любви. Ее чары наполняли воздух, опьяняли и кружили голову.

Войдя в комнату, Ирина подошла к зеркалу, села на египетский треножник, который Евдокия употребляла вместо табурета, и стала поправлять волосы, растрепавшиеся во время пути. Но лишь только начала она причесываться, как Евдокия облила ее голову ароматичным, возбуждающим чувства, бальзамом.

Слегка испугавшись, Ирина вскрикнула:

— Что ты делаешь?

— Я приготовляю жертву для жертвоприношения,— отвечала смеясь Евдокия.

Опьяненная своими мечтами, Ирина в первый раз подумала о том, что рискует своею стыдливостью, оставаясь наедине с незнакомым ей человеком, и потому торопливо сказала:

— Ты будешь с нами?

— Нет, я предпочту вас оставить одних.

— Но я прошу тебя...

— Ты мне этого не простишь после!

— Евдокия!

— Ну, без ребячества! Я слышу, он идет... Пусти меня...

Вырвавшись из рук Ирины, она убежала.

Приближавшиеся твердые шаги раздавались так громко, как будто металлическая статуя спускалась по ступеням пьедестала.

Когда Ирина увидала входившего Дромунда, волнение ее было так сильно, что она даже не знала, человек ли перед ней или само божество.

В то время, когда героическая душа воина, привязанного к позорному столбу, созерцала свет Валгаллы, образ Ирины казался ему сверхъестественным, злым гением, враждебным ему, появившимся для того, чтобы соблазнять в эти последние минуты.

При приближении Дромунда, свидания с которым она так жаждала, Ирина почувствовала страх и затрепетала так же, как агарянские девушки, которых она видела в цирке, трепетали перед выпущенными на них львами. Ей хотелось бежать, но взгляд воина приковывал ее

к месту, да и всякое движение только бросило бы ее в его объятия. Она готова была просить о помощи и боялась, в то же время, как бы кто-нибудь не стал между нею и ее счастьем.

Как два противника смотрели они друг на друга, а любовь, которая готова была вознести их на вершину счастия, билась в их сердцах страстным порывом.

У Дромунда и в разговоре на византийском языке слышалось северное произношение — звучное и чистое, которое привлекало и пленяло сердца женщин. Звук его голоса пробуждал в их душах покой и чувство защищенности, так что с первых же слов воина и в Ирине совершенно рассеялся всякий страх.

— По решению Азов,— говорил Дромунд,— еще вчера я бы должен был быть мертв. Но передо мною предстала женщина, дочь неба, и моя судьба тотчас же изменилась по ее желанию. И вот я опять совершаю жизненный путь, я вижу свет, Ирина, я вижу тебя!

Такие именно слова и мечтала Ирина услышать от него. Но ей тяжело стало при мысли, что благодарность может быть преградой к сближению между ними.

— О Дромунд! — отвечала она ему.— Ты мне дал больше, чем получил сам. Ты говоришь, что я спасла тебя от смерти? Ты же вызвал меня к жизни. Будешь ли ты добрым властителем сердца, которое тебе отдалось? Помнишь ли, я полюбила тебя за твою веру, за твои страдания и за то, что и перед казнью в тебе жила вечная любовь!

Он улыбался, так как теперь чувствовал и видел в ней только прелестную женщину. Уступая своему радостному, почти детски-веселому восторгу, он прикинулся ревнующим и отвечал на вопрос вопросом, пользуясь вызовом, который ему был сделан.

— Уж не любишь ли ты тех молодых людей, таких красивых, таких смелых в разговоре, которые пришли с тобой тогда на набережную Буколеона? — спросил Дромунд тоном, выражавшим больше любезности, чем упрека.

Ирина почувствовала себя счастливой, что имеет случай высказать ему, как чиста была до сих пор ее душа, и отвечала:

— Те, про кого ты говоришь,— мои братья. Их братская любовь оберегала свежесть моей души, сохранившей все силы любви, готовые излиться теперь на одного тебя!

Неудержимое опьянение волновало ее грудь и вызывало блеск в глазах.

Оно сообщилось также Дромунду, и он, торжественно подняв руку к небу, вскричал:

— Я проводил целые годы на море. Я плавал по рекам с цветущими берегами... Я жег незнакомые мне города... Я брал в плен женщин, как часть добычи... Я видел дев, принявших крещение и в объятиях моих товарищей забывавших все, даже само имя Белого Человека. Я принуждал невольниц вышивать мне туники. Я их менял на оружие и браслеты... Но я никогда не любил!

## XVII

Полулежа на постели, Ирина смотрела на Дромунда, который сидел на ступенях у ее ног, обратив к ней свое мужественное лицо. Она жалела, что они не могут остаться так навсегда, в виде двух мраморных статуй, увековечивающих минуты несказанного счастья.

Глядя на Ирину своим светлым взглядом, Дромунд сказал:

— Не снится ли мне все это? Живу ли я? Не прикован ли я еще к столбу? И у твоих ли я ног? Твое ли дыхание чувствую на своем лице?

Радость переполняла сердце Ирины. Голова сладко кружилась. Через полузакрытые, отяжелевшие веки она смотрела на воина. Волнение ее росло, стесняло дыхание, уносило в неведомую даль, лишая сил и самообладания. Отдаваясь уносившему ее потоку, она страстно захотела еще раз услыхать голос, который вызвал в ней жизнь, дал увидать свет неба, дал ей столько счастья!..

— Спой! — нежно попросила она Дромунда.

Поднявшись, он улыбнулся, видя то, как исчезала в ней последняя тень сопротивления.

Стоя на ступеньке и опираясь рукой на меч, он запел звучным голосом гимн, сочиненный одним варяжским князем в честь несчастной любви.

В нем говорилось, как во время плавания, среди тумана, окружающего корабль темнотой могилы, тоска любви охватывает сердце гребца: «Мы дрались мечами! Мое судно оставляло за собою кровавый след, змеившийся по реке, как пурпурная лента. И несмотря на это дева из племени руссов меня отвергает.

Мы дрались мечами! Печенежские стрелы образовали над нашими головами свод, затемнявший солнце. Я сразился с князем, схватил его за волосы и свернул ему голову. А дева из племени руссов все же меня отвергает!

Мы дрались мечами! Тысячи людей убивал я. Когда-нибудь убьют и меня... Тогда я буду встречен с улыбкой Валькирией, а дева из племени руссов будет меня оплакивать!»

Переживая радости любви, Дромунд пел о смерти и страданиях.

Подавленная избытком чувств, Ирина хранила молчание. Она не могла вернуться к действительности, в ее ушах все еще раздавалось бряцанье мечей, в глазах стояли льющиеся, как вино, наливаемое в кубки, потоки крови.

Ей было страшно. Она не могла понять, осталась ли она прежнею Ириною — женою Никифора, Ириною — крещенною патриархом Полиевктом, ставшей христианкой, верящей в истинного Бога и ожидающей будущей жизни; или превратилась в ту самую богиню, украшенную шлемом, вооруженную копьем и встречающую поцелуем своих алых уст освобожденные от тела души героев.

Она придвинулась к Дромунду и прошептала:

— Моя душа вливается в твою, как весенний ручей в широкую реку... Я хочу забыться в твоем поцелуе, с которым любовь и возникает и кончается. Твой голос меня чарует и восхищает!..

Сильными, могучими руками, столько раз избавляв-

шими воина от смертельной опасности, привлек он к себе Ирину.

Ирина покорно отдавалась его объятиям и, не в силах отвести глаз от его горячего взора, едва шептала:

— Ты дал мне душу, и я твоя, твоя!..

Как буря на море, готовом поглотить все в своих грозных волнах, бушевала любовь в сердце Дромунда.

Забыв, что может причинить ей боль кольцами своей кольчуги, он прижал ее к своей груди, весь отдаваясь своему счастью, своей любви.

Любовь уносила их от земли. Им казалось, что сама жизнь должна окончиться с их счастьем, с их поцелуем...

Последние лучи вечерней зари погасли. Темная, южная ночь окутала своим таинственным покровом Босфор, дворцы, сады, покои, где кипело так много желаний, монастыри, где схоронено столько разбитых надежд. Окутала она и счастливых влюбленных, забывших весь мир в объятиях друг друга.

## XVIII

Дромунд с Ириной забылись в сладкой дремоте, которую ничто не нарушало.

Ирина унеслась в тот волшебный край, где нет всеразрушающего времени, где цветы не отцветают, поцелуй не прерывается и любовь живет вечно.

Дромунд тоже находился в том ожидаемом раю, где Валькирии встречают лаской героев.

Воспоминания о жарких битвах и веселых оргиях заменились в его душе блаженством близости чистого, любящего существа.

Сам побежденный своим торжеством, он наслаждался покоем, при котором в душе чувствовалось так много сил и жизни.

Журчание фонтана пробудило Дромунда. Он не сожалел о приятном забытье, так как ясное сознание давало ему еще большее счастье. Не отрываясь от уст

Ирины, он улыбнулся своему блаженству. Разбуженная этим движением, Ирина медлила открыть глаза, чувствуя себя как бы в плену в сильных руках Дромунда; она боялась, что вместе с прерванным сном исчезнет и милая неволя.

В саду, между тем, еще полном волшебных теней, готовилось то, что ускорило их пробуждение.

Не способная удержаться от шутки Евдокия подговорила Троила и Агафия спрятаться за деревьями и оттуда следить за влюбленной парочкой.

К дружбе, которую питала Евдокия к благоразумной Ирине, примешивалось некоторое чувство зависти и желания увидеть падение этой образцовой добродетели. Она страдала от необходимости с уважением преклоняться перед женщиной, которую любила.

Неспособная удержаться от каприза или прихоти, она с удовольствием увидела теперь это. Ирина не нашла счастья в своей сдержанности и в конце концов отдалась любви так неудержимо и так страстно.

Падение сестры хотя и веселило Троила и Агафия, но и внушало им некоторое беспокойство. Они так безгранично пользовались ее расположением, что появление в ее сердце другой любви пугало их. Несмотря на это, они не могли лишить себя маленького развлечения, подшутить над сестрой.

Спрятавшись в тени деревьев, они следили за нею и подслушивали.

— Что там делается? — спрашивал Троил.

— Все еще шепчутся,— отвечал Агафий.

— Да это журчит вода.

— Нет же!

— Я тебе говорю наверное: вода.

— Дайте же послушать! — нетерпеливо прервала их Евдокия.

Услыхав пение Дромунда, они притихли, очарованные его удивительным голосом; но когда, после пения, в покое наступила долго длившаяся тишина, трое шалунов весело переглянулись!

— Наконец-то! — сказал Агафий.

— Ну, слава Богу! — добавил Троил.— А то этот северный великан мне становился подозрителен.

— Нет, я в нем никогда не сомневалась! — воскликнула Евдокия смеясь.

Внезапно у них явилась мысль спеть под окнами серенаду, причем Евдокия взялась аккомпанировать их пению. Агафий и Троил должны были петь по очереди, так как голоса их не подходили друг к другу: Агафий пискливо визжал, а голос Троила напоминал собою звук падения в воду.

Услышав пение, Дромунд приподнялся и стал искать свой меч.

Ирина удержала его в своих объятиях, сказав:

— Не бойся, это поют они, все обращающие в шутку,— Троил, Евдокия и Агафий.

Ирина успокаивала Дромунда, хотя сама чувствовала боль от этой неуместной шутки.

Между тем они продолжали:

«Скоро день настанет,
Все тогда поймешь,
Пожалеешь поцелуя,
Что теперь даешь!»

Дромунд едва сдерживался, прислушиваясь к словам песни.

Ирина прижалась к его плечу, как бы ища защиты от нахлынувших тяжелых мыслей и предчувствий, которые заставляли ее так сильно страдать. «О Боже!» — шептала она,— «почему эта песня еще сильнее заставляет меня любить и еще больше желать тебя?»

А песня продолжала дальше свои жестокие предсказания:

«Переполненные кубки
Фалернского вина
Печали, муки сердца
Лишь утолят тогда.»

Это было больше, чем могла вынести взволнованная Ирина. Точно желая избавиться от невыносимой мысли, она приподняла голову и с силой стукнула ею о грудь Дромунда.

Из ее уст, только что улыбавшихся от наслаждения счастьем, вырвался крик отчаянной тоски.

## XIX

С гневно нахмуренными бровями прислушивался Дромунд к раздававшимся аккордам, едва сдерживая желание наказать обидчиков. Плач и горе Ирины лишили его последнего самообладания. Бережно положив свою возлюбленную на подушки, он вышел на террасу ярко освещенную луной.

Его появление заставило смолкнуть один за другим голоса братьев.

Испугавшись разгневанного Дромунда, они, как школьники, пустились бежать, и их веселый смех слышался уже далеко в конце аллеи.

Оставшись одна, Ирина заплакала еще сильнее. Она как бы уже переживала то, что предсказывала песня. Но страх потерять любимого человека, заставил ее сдержать горе.

Полная луна щедро разливала кругом свой мягкий, волшебный свет. Деревья в саду бросали таинственные тени. Купола и крыши искрились и блистали, стены зданий казались молочно-белыми. Над Босфором торжественно сиял лазурный свод небес, а на горизонте виднелись стоявшие как призраки темные леса.

Дромунд продолжал стоять на залитой лунным светом террасе и тревожно смотрел на звезды. Днем, среди обычного оживления Буколеона, под горячими приветливыми лучами солнца, озарявшего дворцы и улицы, Дромунд не чувствовал обыкновенно присутствия богов. Без сомнений и трепета вел он веселую жизнь воина; но таинственный свет луны заставил его вспомнить верования своей родины.

Считая земную жизнь преддверием рая, он боялся оскорбить будущую вечную любовь горячностью нынешней страсти.

Ирина подошла и склонила свою голову к нему на грудь, на которой было вытатуировано изображение ладьи, обвила его стан руками и со страданием смотрела в его глаза, обращенные к небу. Она не боялась, что какая-нибудь женщина отнимет его у нее; но она чувствовала существование неземной соперницы, с которой у нее не хватило бы сил бороться.

Она воскликнула:

— Вернись ко мне, или я умру!

Он медленно опустил голову, и только тогда заметил, что Ирина спряталась у него на груди, и взглянул на ее грустное лицо, казавшееся от тени распущенных волос страшно бледным. Она показалась ему каким-то неземным существом, и он невольно подумал:

— Она недолго будет жить.

Тысячу раз со своими товарищами он проливал кровь. Ничто их не останавливало, ни ужас женщин, ни беззащитность детей. Они смеялись над мольбами, над отчаянием. Никогда ни одна слеза не навернулась на его светлых глазах, и никогда сожаление не лишало его сна.

Теперь же при виде этой женщины, готовой отдать за его любовь жизнь, он почувствовал, как больно защемило сердце; женщина эта стала ему так дорога. Это новое чувство, нарушившее покой Дромунда, давало его душе неизведанную сладость.

Он подумал, что никакие клятвы существу, которого любовь уже наполовину разбила, не стеснят его и не поставят ему в вину. Завтра же звук рога и призыв полководца Фоки возвратят его на настоящий путь. И потому он может убаюкать тоску этой женщины лаской и любовью, не изменяя своим надеждам и своим богам.

— Ирина,— сказал он, бросая последний взгляд на звезды, как бы прося у них прощения,— позволь своей любви свободно нестись навстречу моему поцелую...

Он старался заглушить в ней ревность новыми ласками, вливая в них всю возвращающуюся силу своей любви и страсти.

Ему вспомнилось, как овладел он этой душой, и что, должно быть, сами Азы сделали его пение таким чарующим, раз так всецело отдалось ему сердце Ирины.

Опьяняя свою возлюбленную самыми горячими ласками, Дромунд тихо запел:

«Если б перед моими ослепленными очами показалась гордая богиня и молвила: Твой час настал! Один открывает для тебя двери рая! Я бы отвечал тогда Валькирии: Из-за любви к смертной я отказываюсь от вечной девы. Я на земле нашел мой рай!»

Ирина не могла различить в душе этого богатыря чувства, отождествляющего ее с загробными тенями, чувства, в котором ее земное счастье должно было погибнуть.

Напротив, ее сердце наполнилось сладкой уверенностью, что теперь он сам ее невольник..,

## XX

Луна ярко сияла в вышине и освещала забывшихся в объятиях друг друга Дромунда и Ирину.

Кругом царила торжественная тишина. Лишь иногда доносился из отдаленных улиц Буколеона лай собаки, или в кипарисовой аллее слышались торопливые шаги запоздалого прохожего. Иногда мимолетное облачко закроет диск луны, и опять наступает тишина и опять светло, опять ясная южная ночь хранит покой и счастье влюбленных.

С первым прокравшимся в комнату лучем утренней зари Дромунд и Ирина проснулись. Из мира очаровательных грез и восторгов опять пришлось возвращаться к действительной жизни. Они оба чувствовали, что нечто прекрасное прошло и уже никогда более не возвратится.

Целуя глаза своей возлюбленной, Дромунд стер слезу с ее длинных ресниц.

— Это роса, которую ночь оставляет в каждом цветке,— сказала Ирина, протягивая к нему, как ребенок, свои руки.

Он нежно поднял ее и, поддерживая, подвел к бассейну.

Но когда Дромунд увидал ее спускающуюся с последней ступени мраморной лесенки и совсем готовой погрузиться в прозрачную воду, в которой дрожал, отражаясь, ее чудный образ, он не мог удержаться от крика восхищения:

— Подожди, подожди меня! Я хочу вместе с тобой погрузиться в воду...

Улыбаясь, она смотрела, как спешил он распустить пояс, отвернувшись, она подала ему руку.

Посредине бассейна Евдокии стоял столб, служивший убежищем для голубей. Купающейся приятно было видеть в зеркале воды свое отражение, окруженное этими снежно-белыми птицами. Но скромная Ирина, смущенная прозрачностью воды, поспешила взволновать ее гладкую поверхность, хлопая по ней руками, испуганные голуби разлетелись в разные стороны.

Последние звездочки давно уже погасли на небосклоне, когда влюбленные вышли в сад, освежившись прохладной водой и подкрепясь фигами, полную корзину которых, поставленную заботливым слугою Евдокии, они нашли на балконе. На дне корзины лежала записка, вполне изглаживающая неприятное впечатление серенады. Евдокия писала:

«Хорина обещал мне удержать твоего мужа за городом до завтра. Не прерывай своего счастья. Я уступаю тебе мой дом. Вечером приходи в сад, где я буду ждать тебя с носилками, в которых мы и отправимся в твой дворец, так что никто нас не увидит».

Успокоенные такой заботливостью, Ирина и Дромунд направились в таинственную глубину сада. Никогда до сих пор не испытав любви, Дромунд никогда прежде не замечал красот природы и не любовался весенней утренней зарей. Теперь же он чувствовал, что аромат проснувшихся цветов, пение птиц, журчанье ручейков,— все сливалось в один стройный хор, воспевавший его счастье.

Долго гуляли влюбленные под тенью кипарисов, упиваясь новыми для них ощущениями, и, наконец, по лабиринту извилистых аллей, поднялись на возвышенную террасу, с которой открывался восхитительный вид на город.

В прозрачном утреннем воздухе ярко сияли золоченые крыши и круглые купола церквей, которые казались грандиозными хрустальными шарами, громоздившимися один над другим. Внизу расстилался Босфор, как бы опоясанный бледным поясом тумана. Бледно-розовый цвет зари понемногу принял оттенок пурпура и небо на востоке, казалось, горело ярким пламенем.

Это огненное зарево, разливаясь по городу, придавало зданиям красноватый оттенок и как бы обхватывало их пожаром, в котором колонны большого дворца казались огненными столбами.

Пораженный этой волшебной картиной Дро́мунд воскликнул:

— Смотри! Пожар! Весь город в огне!

Но зарево восхода отразилось и на их лицах. Взглянув на своего возлюбленного, Ирина с радостным восторгом увидала в его расширенных зрачках всю силу этой норманнской души, в которой опьянение убийством, битвами, дикими оргиями и бурными порывами страсти заменилось теперь чувством восторга перед красотой, перед прекрасным.

Она забыла весь мир и сосредоточилась на одном желании доставить ему полное счастье, познакомить его с блаженством, даваемым мыслью, сильным чувством, красотой, страданием...

В эту минуту в ней сказалась душа византийки, выросшей среди золота и мишурного блеска, среди красоты и растления, среди аскетизма монастырей и разврата гинекеев, и со страстным жестом, как бы желая обнять весь горизонт со всеми церквами, садами, дворцами и даже хижинами азиатского берега, она бросилась на шею норманна, воскликнув:

— Море с его кораблями, город со всеми его сокровищами, весь Божий мир,— все, все твое!

## XXI

Никифор, между тем наблюдал в порту за разгрузкой судов с зерном.

Вдыхая испарения морского берега, он заразился тяжелой лихорадкой. Мучимый, попеременно, то ознобом, то жаром, он то приказывал разводить огонь в жаровнях, чтобы согреть коченеющие члены, то кидался раздетый на каменный пол, желая хоть немного охладиться.

Несмотря на то, что жадность к деньгам сделала его жизнь совсем жалкой, Никифор страшно боялся уме-

реть. Может быть, его пугало возмездие, которое на том свете, как обещали священники, ожидало всех скряг, а, может быть, он был уверен, что в раю не позволяют копить золото; и этой уверенности уже было достаточно для того, чтобы не желать попасть туда.

Болезнь настигла его при ссыпке испорченного зерна, которым он намеревался кормить солдат Фоки; поэтому он принял ее как наказание Божье, но, не в силах отказаться от возможности увеличить свое богатство, он вздумал войти с небом в сделку.

Для этого Никифор отправился в молельню патриарха, где Полиевкт принимал избранных овец своего духовного стада, и со свойственной торговым людям манерой утаивать положение своих дел сказал ему:

— У меня есть проект, благодаря которому положение стариков в приюте очень бы улучшилось, и если бы только Господь Бог исцелил меня, то проект этот тотчас же был бы выполнен. Мое выздоровление и небу принесло бы пользу.

— Бог,— строго сказал набожный монах,— не нуждается ни в какой выгоде. Молись ему, смиряя свою гордость, и он поможет, если ты будешь достоин спасения.

— Благодарю за добрый совет,— отвечал Никифор.— В таком случае я отправлюсь в монастырь и буду молиться о своем выздоровлении, а на приют все же прошу принять мою лепту.— И он дал Полиевкту довольно значительную сумму денег.

Принимая презрение патриарха к золоту за проявление этикета, обязательного для духовных лиц, Никифор был уверен, что Полиевкт все же помянет в своих молитвах такого щедрого благотворителя.

С такими набожными мыслями Никифор сел в носилки и отправился на богомолье.

Весь бледный от страха, поднимался он по крутому подъему священной горы.

Посетил все монастыри, побывал во всех кельях и молился вместе с отшельниками, подвергая себя благодетельным влияниям воздержания и пребывания на чистом воздухе.

Пользуясь его отлучкой, Ирина со своим возлюбленным отдавалась восторгам любви...

Они ходили гулять в отдаленные кварталы, где их близость не обращала на себя ничьего внимания. Охотнее всего они взбирались по горе до церкви Всех Святых, находя среди могил нужное им уединение.

Вокруг старинного храма, который был сооружен еще Юстинианом, находилось царское кладбище. Тут лежали все умершие императоры, как храбрые и воинственные, проведшие свою жизнь на поле брани, в заботах о защите и укреплении своего государства, так и мудрые правители, не покидавшие своих дворцов.

Гробницы были расположены и около церкви, в кладбищенском саду. Они были сделаны из прекрасного мрамора, привезенного из отдаленных провинций.

На их крышках высечены были кресты и тексты из Св. Писания. Гробницы были богато украшены и обнесены золочеными решетками.

Дромунд, как ребенок, с наслаждением проводил рукой по крышкам саркофагов и разглядывал высеченные на мраморе изображения.

Ирине нравилось кладбище, так много говорившее о смерти, в силу контраста с тем ярким и живым чувством, которое горело в ее душе, а кроме того под портиками было так тихо, так уединенно. Ничто не нарушало молчаливого покоя гробниц, только ветер, доносившийся с Босфора, легкой дрожью пробегал по траве и густой зелени кипарисов.

Однажды вечером, сидя перед совершенно новым и роскошно украшенным саркофагом, высеченным из редкого бледно-розового мрамора Сангорских копей, Ирина спросила:

— Знаешь ли ты имя императора, который покоится в этой гробнице?

— Тут лежит Порфирородный,— отвечал Дромунд.

— Кто же сказал тебе это?

— Я сам видел его похороны. При мне сняли с его чела корону, и я слышал, как патриарх воскликнул три раза: «Отыди с миром, Константин! Царь царствующих, Господь господствующих тебя призывает».

— И я тоже была при погребении,— сказала Ирина.— Я находилась в свите, сопровождавшей Теофано. Все подробности этого дня я живо помню. Будто и те-

перь стоят перед глазами ряды императорской стражи из руссов, армян, скандинавов, венецианцев и амальфитян. Будто вижу двойной ряд заостренных с обеих сторон секир, изогнутые сабли, щиты, пики. О мой милый! Как же случилось, что я не заметила тебя!.. Почему мои глаза не увидали твоего лица среди толпы? Как время, канувшее в вечность, потеряны для нас часы, когда мы не знали друг друга, не сливались в поцелуе любви!

И Ирина прижалась к Дромунду, желая вознаградить и утешить себя лаской; но густые брови ее возлюбленного нахмурились, в глазах его блеснул огонь, выдававший всю дикость этой нетронутой натуры, и он сказал:

— Ты помнишь, конечно, и Ангуля? Женщины всегда обращают внимание на знатных начальников. Не стыдишься ли ты, что полюбила меня, шедшего тогда пешком, в строю воинов? Не желала ли бы ты, чтоб друзья твои, видя проходящую дружину, с завистью восклицали: «Вот избранник Ирины, этот воин, блистающий красотой и силой».

Чувствуя страдание под жесткостью его тона, Ирина не оскорбилась этими словами и мягко ответила:

— О, Дромунд! Не по зависти других наша любовь дает нам счастье! Я люблю тебя и не нуждаюсь в том, чтоб другие женщины находили тебя достойным любви. Я упиваюсь твоей красотой, твоей силой не потому, что все превозносят их. Я ставлю тебя выше, чем может это сделать мнение людей,— так высоко, что никакая земная власть не в силах поставить тебя на такую высоту, ничей взгляд, горящий завистью или восхищением, не достигнет до тебя. Ты владеешь мною безраздельно, в мечтах и на деле, на земле и на небе, между небом и землей, так же далеко от Бога, как и от людей, в уединении нашей взаимной любви.

Дромунд опустил голову. Он желал, чтоб Ирина любила его иначе. Его дикая душа гордилась победой над женщиной, как удачной добычей.

Он желал бы хвастаться ею, как богатым чеканным вооружением, браслетами, кольцами, подаренными ему возлюбленной.

Он много раз просил Ирину отправиться с ним в таверну, где собирались норманны играть в кости и пить пиво. Отказы Ирины ему оставались непонятны. Он не допускал в ней чувства самолюбия, считая ее совершенно завоеванной.

Скромность же ее души была для него загадкой, перед которой он терялся, впадая в бессознательное беспокойство, тяготившее и вызывавшее в нем гнев. Ирина между тем сказала:

— Я оставлю тебя на минутку...

— Куда же ты пойдешь?

— В церковь.

— Что ты там будешь делать?

— Я хочу помолиться Богу о нашей любви.

— Какому Богу?

— Моему Богу.

— Это Белому человеку? — спросил Дромунд, с презрением пожав плечами, и добавил: — Ты увидишь, как поможет тебе твой Христос, когда разразится гнев Азов и когда норманны сделают из Царицы мира кладовую для солонины!

Это дикое восклицание вызвало краску на лице Ирины. Ей вспомнились те львы, которых она видала в цирке. Усталые от продолжительного морского пути, едва успевшие расправить свои члены, утомленные долгим сиденьем в клетках, они вдруг выпрямлялись и злобно рычали при виде оскорблявшей их своею близостью толпы.

Слезы брызнули из глаз Ирины от обиды, что в своей страсти к разрушению он совсем забывал о ней.

— Тогда я не от моего Бога буду ждать защиты, а от тебя! — сказала она.

При этих словах детски-милая улыбка мелькнула на губах дружинника. Он сжал Ирину в объятиях и своим музыкальным голосом, звучавшим как лира в душе его возлюбленной, промолвил:

— Прости меня, если я ревную тебя к твоему Богу! Я отказался от своего рая ради тебя. Не открывай же мне двери и в твой... Мы знаем такое небо, где мы царим одни. Унесемся же туда!..

# XXII

Радостная весть о взятии Хандакса была очень приятна императору, проводившему все свое время в объятиях красавицы Теофано. Чем менее эта удача была им заслужена, тем более она его радовала. Мысль о дерзости сарацин как кошмар давила Романа и пробуждала его среди ночи, мешая спокойно отдаваться своему счастью. Теперь же Хандакс был превращен в развалины, в которых догоравшие пожары тушились кровью.

Воины Фоки, ворвавшись, как ураган, в побежденный город, прошли по всем его кварталам и побывали в каждом доме. Двести женщин были истерзаны и задушены. Маленьких детей разбивали о камни. Стариков убивали на улицах, а людей способных работать приводили в порт и продавали в рабство.

Старый эмир Корунас с сыновьями и с женами ожидали позорной казни, которая должна была украсить триумф победителей.

Богатство добычи превзошло все ожидания. В продолжение полтораста лет пираты Средиземного моря собирали в свое логово награбленные в тысячах городов богатства.

Только одна продажа невольников, наполнила золотыми денариями шлемы воинов. Целое судно со священными реликвиями, некогда взятыми из святых храмов и хранившихся для того, чтоб при случае продать их за большие деньги, было послано в Византию.

По старому обычаю полководец, возвращающийся из похода увенчанным славою победы, должен был войти в город с большим триумфом и пышностью; для него устраивалась торжественная встреча.

В ожидании этой встречи, император Роман предложил Фоке занять свой загородный дворец, который соединялся с городом непрерывным садом. По своей подозрительности и малодушию Роман боялся, однако, отдать полководцу надлежащие почести. Во дворце вообще не любили военачальников, которых боготворило войско, и потому Фоке пришлось обойтись без триумфальной колесницы. Но он не страдал от этого. Он

знал, что народ воздаст ему все почести, в которых отказывал император. И как Роман ни окружал самого себя пленными сарацинами, народ знал, кто победил и привел их в Византию.

Праздник, который должен был окончиться представлением в цирке, начался церемонией на форуме. Опоясанная со всех сторон портиками, эта площадь, находящаяся между дворцом, сенатом и собором, была самым сердцем Царицы мира и носила название Августеона. На ней возвышалось множество колонн из разноцветного мрамора, стояли статуи императоров и императриц, отлитые из золота и серебра, а также редкие египетские изваяния.

Яркое солнце заливало Августеон, когда около полудня император взошел на верхнюю ступень пьедестала колонны, поставленной в память Константина, где над его головой возвышался крест со святой надписью.

Направо от императора, на паперти собора, находился патриарх, окруженный духовенством, а обе стороны площади были заняты толпою сановников.

Роман сделал знак копьем, которое держал в правой руке, и привели старого эмира Корунаса с сыновьями и других пленных сарацин. Закованные в цепи, как дикие звери, они медленно подвигались к середине площади, их белые одежды ярко блестели на солнце.

Несмотря на то, что их унижение радостно возбуждало всех присутствующих, на площади господствовала полная тишина. Все ждали, когда запоют триумфальный гимн:

— Господь моя крепость и сила!..— раздалось, наконец, в тишине.

Напев гимна был торжественный, слова полны глубокого смысла. Голоса придворных певчих, а с ними и всего народа слились в один восторженный хор.

Тогда, среди воинов сопровождавших сарацин, произошло неудержимое волнение. Победители побуждали побежденных пасть ниц к стопам императора. Только старый эмир настойчиво пытался приподнять голову, которая была насильно пригнута к подножию трона.

За исключением таких неустранимых жестокостей,

вся церемония представляла собой веселый, оживленный праздник.

Дворцы и дома исчезали под массой гирлянд из зелени, под драпировками из азиатских тканей. Лавровые деревья, душистые цветы, ароматичные куренья наполняли воздух благоуханием. Обитатели домов выставляли на балконы и окна золотые и серебряные вещи, посуду и дорогое оружие. При ослепительном блеске солнца повсюду горели жаровни и факелы.

Взоры всех были обращены на Фоку.

Императрица Теофано со своими приближенными любовалась церемонией из-за решетки церкви Святой Марии и, когда Фока проходил мимо, она очень волновалась. Стараясь получше рассмотреть героя, избавившего ее от постоянного страха, она приподняла голову и заглянула ему в глаза. Фока ожидал этого взгляда, и потому ни одна черта не дрогнула в его лице, когда он встретился с нею глазами.

Для внимательного наблюдателя, однако, этот маленький эпизод мог выдать тайну честолюбия Фоки, в котором Теофано была самой высшей ступенью...

В эту же минуту нетерпение другой женщины жаждало появления другого воина.

Ирина рассеянно смотрела на шествие. Ее мало занимали блеск золота и серебра, восточные редкости, пурпур Дамаска, персидские ковры, изделия из слоновой кости и черного дерева, из раковин и перламутра; ее не интересовали сабли, палаши, инкрустированные золотом щиты. Мало возбуждали в ней любопытства и пленные принцессы. Не прельщали ее ни арабские лошади с их завитыми гривами и хвостами, ни вереницы верблюдов с их качающейся, стройной походкой и неприятным ревом, пугавшим дружины руссов.

Ирина ждала триумфа своего возлюбленного, так как он должен был появиться на квадриге, на которую возвела его ее любовь.

Наконец, показался могучий торс Дромунда, в накинутом, поверх серебряной кольчуги, хитоне. В правой руке Дромунд держал пику с ярко-красным норвежским значком. В левой были вожжи, которыми он так ловко правил, что, казалось, квадрига плыла как ладья по вол-

нам, а он при этом походил на одно из тех золотых изваяний, которыми украшают носы кораблей.

В тот момент, когда Дромунд проезжал мимо ложи Ирины, выражение его лица на мгновение изменилось. Его светлые глаза, смотревшие на лошадей, поднялись и обратились на ложу. Он взглянул на свою возлюбленную. Этот взгляд вознаградил ее за все...

## XXIII

В разношерстной армии, которую вел за собой Фока, особенной страстностью отличались норманны.

В их могучих телах таился большой запас нетронутых сил.

Выросшие в борьбе с природой, приученные к полному воздержанию условиями морской жизни, попадая на почву Византии и сталкиваясь с ее соблазнами, они обыкновенно смущались. Но смущение это рассеивалось от первой же чаши вина. Вино вызывало наружу тлевшее в них пламя и отражалось в их светлых глазах пурпурным отблеском. Оно горячило их кровь и доводило их нетронутые души до буйного помешательства. Оно возбуждало норманнов как напиток, который прибавляют к пище диких зверей, желая придать им больше ярости.

Но в буйстве их оргий тоска по родине была постоянным припевом. Часто северные великаны чувствовали усталость от знойного солнца, пурпура и блеска Царицы мира; им надоедало даже искрящееся в кубках вино. Родные сосны и снега вставали перед их очами; зеленые волны моря, бьющиеся об острые скалы, утлые ладьи, в которых гребцы наслаждались страхом гибели и жаждой крови, вновь манили их к себе.

За дворцами и виллами, на окраине города, находилось выстроенное норманнами из украденных бревен, обширное помещение, темное и закопченное, как междупалубное пространство на судне. Там собирались они по ночам и усаживались вокруг огня. Там осушали они

переходящую по кругу чашу, сделанную из дерева, с высокой ручкой в виде лошадиной головы, или кубок в форме рога, оправленный металлом.

Упиваясь пивом, тут же сваренным из египетского ячменя, норманны ссорились за игрой в кости; их громкая брань нарушала ночную тишину и походила на рычанье волков, грызущихся в конюшнях цирка.

Вечером, после торжества, все свободные от караула в большом дворце норманны собрались в этой таверне, чтоб промочить свои пересохшие от неистовых криков глотки и обменяться впечатлениями от богатства добычи, которая возбуждала до головокружения их страсть к грабежу.

После грубых упреков императору за то, что он не отпустил свою самую верную дружину в поход на Хандакс, воины вспоминали парад норманнов в цирке.

— Дромунд,— сказал один из дружинников,— был настоящим триумфатором. Придет ли он сегодня выпить с нами?

Возлюбленный Ирины был очень популярен в таверне, так как недолго берег сокровища, которыми снабжала его любовь. Все уходило на игру в кости и на выпивку.

Вся дружина имела свою долю в его счастье.

— Дромунд,— возразил один из играющих в кости,— принадлежит сегодня своей возлюбленной.

— Той, которая заплатила за колесницу.

— Да, Дромунд очень любим.

Шум раздавшихся шагов заставил всех оглянуться на двери таверны.

Дромунд и Гаральд входили в сопровождении Ирины и Евдокии.

По манерам, по драгоценностям, украшавшим руки этих женщин, закутанных в легкие вуали, все поняли, что это были не цыганки, а кто-нибудь из патрицианок, которых они видали ежедневно посещавшими императорский гинекей.

Привыкшие в своем родном краю к полному равенству, норманны даже не привстали со своих мест, и только полная тишина наступила в ту минуту, когда две женщины вошли в таверну.

Пользуясь гордостью, охватившей Ирину в цирке, Дромунд упросил ее довершить его триумф, побывать в таверне и показаться его товарищам.

Евдокия, увлекаясь новизною этого безрассудства, постаралась победить нерешительность своего друга и сказала:

— Исполни его просьбу. Я тоже буду сопровождать вас.

— Ты обещаешь?

— Мне только нужно провожатого.

— Возьми Троила...

— А как же Агафий?

— Возьми их обоих...

— Нет, ни того, ни другого. Они будут дуться, так что с ними как раз попадешь в неприятность. Я возьму лучше друга твоего возлюбленного, молчаливого Гаральда, которого ты тогда выкупила.

Счастье Ирины возбуждало некоторую зависть в Евдокии. Она не понимала, что оно зависело от чувства самой Ирины, и приписывала его качествам возлюбленного, такого первобытного и сильного. Потому-то она надеялась и сама испытать новые ощущения от нетронутости Гаральда.

Поэтому все маленькие приключения в дороге — перепалка с лодочником, резкость Дромунда с пьяными рабами,— все, что неприятно сжимало сердце Ирины, служило развлечением Евдокие.

Она черпала наслаждение в том, что не находило отголоска в душе ее подруги.

Переступая порог таверны, Ирина чувствовала себя неловко, Евдокия же, напротив, оживленно смеялась, довольная новизною забавы.

Только они сели, как один дружинник, осушив громадный рог, покачиваясь, отважно подошел к ним и, хлопнув по плечу Дромунда, крикнул:

— Откуда ты? Мы тебя звали, а ты и не откликнулся на свое имя.

Дромунд нахмурил брови; он не любил, чтоб даже в шутку поднимали на него руку

— Не хочешь ли попробовать моего меча? — сказал он, вставая, чтоб оттолкнуть нахала.

Ирина заслонила его собой и прошептала:

— Дромунд!

Под складками вуали она протянула к нему руки, так умоляюще, так любовно, что он не мог удержаться, чтобы не поцеловать ее дрожащие от испуга уста, и, переходя от гнева к ласке, сказал:

— О моя Ирина, чего можешь ты тут бояться! Эти люди мои братья. Тысячу раз пируя за счет твоей щедрости, они желали увидать красоту твоего лица. Откинь, ради моего удовольствия, свое покрывало. Я хочу, чтоб они видели мою царицу и чтоб их сердца переполнились восторгом.

Колеблясь между неловкостью и желанием угодить своему возлюбленному, Ирина воскликнула:

— О Дромунд!

Но было уже поздно противиться его настойчивому желанию. Когда все обернулись на ее крик, газ, закутывавший фигуру Ирины, лежал у ее ног.

## XXIV

Желая угодить Дромунду, Ирина осталась в том же наряде, в котором была в цирке.

Не имея права носить пояс патрицианок, она заказала лучшим мастерам сделать себе тунику, подобную той, в какой была изображена святая Ирина на фреске в ее молельне.

Эта длинная туника, вышитая по серебряному фону цветным шелком, красивыми складками драпировала фигуру Ирины, а край ее был перекинут на руку, по образцу древних тог, что придавало особую привлекательность.

Густые, темные волосы Ирины красивым, пышным узлом были собраны на затылке; и словно ореолом окружали бледное лицо красавицы.

Когда вуаль, отброшенная как облако, открыло это чудное лицо, норманны вскочили с криком дикого восторга. Им казалось, что перед ними появилась божест-

венная дева, которой, по их религии, следовало поклоняться во время полнолуния.

Дав товарищам налюбоваться этим волшебным видением, Дромунд, как хранитель святыни, опять опустил вуаль и сказал:

— Твоя красота служит мне оправданием! А вы, мои дорогие товарищи, не упрекайте меня за то, что часто не разделяю вашего веселья и меняю его на такое сокровище, которого не превзойдет ни стоимость триумфа, ни все золото агарян.

Взволнованная удовольствием и страхом, Ирина, сказала Евдокии, поправлявшей на ней газовую вуаль:

— Как могу я отказать ему! Сегодня утром, когда он появился в цирке и отыскал меня глазами, я едва удержала готовое сорваться с моих губ восклицание: «Смотрите! Он мой! Я засыпаю у него на груди! Я целую его губы!»

В первый раз Ирина свободно говорила с подругой о своей страсти.

Евдокия, покачав головою, заметила:

— Берегись, чтоб твоя радость не открыла для завистливых глаз твоего секрета! Я же, которой нечего бояться на этом свете и которая не променяет ни на что свободу своих желаний, пойду и постараюсь побольше понравиться моему сегодняшнему возлюбленному.

Подойдя к Гаральду, она сказала:

— Ну, молчаливый красавец, надо поучить тебя. Женщины любят, когда ими любуются! Смотри же на меня.

С этими словами она вышла на середину залы.

Евдокия славилась уменьем танцевать. Часто Теофано, устав от болтовни придворных и от сплетен безбородых евнухов, приказывала Евдокии развлекать себя танцами. Скука, невеянная придворным этикетом, тотчас же проходила, лица оживлялись, в глазах вспыхивал огонек страсти, разбуженной грациозными, соблазнительными движениями танцовщицы.

Позы и движения эти, увлекавшие и возбуждавшие принцесс, взволновали толпу варваров, как бурное море. Они пришли в полное смятение. Каждый хотел прикоснуться к такой красивой женщине.

В стороне от этого общего неистовства, Дромунд бросал кости. Ему не везло.

— Я проиграл! Получайте! — вскричал Дромунд, сорвав с себя ожерелье, которое Ирина повесила ему на шею на другой день после их первого свидания, и бросил его на стол.

Выигравший воин спросил его:

— Не хочешь ли еще раз попробовать счастья?

— Да, хочу.

— Ну, бросай.

— Шесть!

— Десять...

Ирина смотрела на играющих и не могла прогнать грустного выражения со своего лица, так что Дромунд с мольбой взглянул на нее и сказал:

— О моя возлюбленная, боги против нас! Дай мне твои браслеты... Я должен отыграться...

Ирина носила очень дорогие вещи; снимая и подавая ему их, она мягко сказала:

— Все, что у меня есть,— твое, Дромунд. Но перестань играть. С тех пор, как ты добиваешься выигрыша, ты ни разу не взглянул на меня...

Не в состоянии удержаться от желания играть, Дромунд стал шептать ей на ухо:

— Дорогая моя, я клялся твоим поцелуем, что забуду на твоей груди и океан, и родину, и Валгаллу; но перестать испытывать счастье — это для меня то же, что погасить огонь на вершине мачты, то же, что вытащить судно на сушу... Ирина, жизнь тоже игра!

Ирина склонила голову.

— О чем ты сожалеешь? Твои браслеты? Я их выкуплю. Долги? Гаральд нашел у кого занять денег, у одного купца... Он будет тут сегодня вечером, он снабдит нас ими.

Успокоив возлюбленную, Дромунд возобновил игру.

Ирина не смотрела больше на играющих. Она думала только о том, что Дромунд не обратил внимания на ее просьбу.

Одна Евдокия получала больше удовольствия, чем даже ожидала.

Раздав по кусочкам этим диким, восторженным по-

клонникам свою вуаль, она продолжала танцевать с открытой шеей и с распустившимися волосами.

Отступая к рядам стоявших зрителей, чтоб дать себе больше простора для танцев, она почувствовала на своем плече чью-то руку и, думая, что это Гаральд, обернулась, но готовая сорваться с ее уст вызывающая шутка заменилась криком ужаса:

— Никифор! — воскликнула она, пораженная неожиданностью.

## XXV

Неожиданное возвращение Фоки прервало богомолье Никифора и прекратило его лихорадку. Мысль, что он может пропустить такой удобный случай, восстановила его силы. Он не сомневался в том, что награбленное золото, денарии с изображениями калифов, драгоценности и лошади недолго удержатся в руках торжествующих победителей. Все эти богатства скоро утекут в чаду вина и шумных оргий.

Никифор любил, вместе с Хориной, обделывать крупные дела, которые ставят на карту большие деньги, захватывают всего человека, овладевают его вниманием и мечтами. Но он отдыхал от этих дел в мелких аферах, которых не мог больше открыто вести, с тех пор как променял свой прилавок на перекрестке на мраморный дворец.

Его продолжало тянуть к низменным, подлым сделкам среди солдат и простых людей, которых он обирал. Тут, среди наемников и простого народа, муж Ирины был так же известен, как среди аристократии.

Удовольствие, которое испытал он, застав в таком месте подругу своего компаньона, чуть было не заставило его позабыть цель визита в таверну.

— Где же Хорина? — насмешливо спросил он Евдокию.— Моя милая, Никифор — скромен. И твоя честь в моих руках будет неприкосновенна.

Евдокия, уже успевшая оправиться от удивления, спокойно отвечала:

— Так же, как и твоя в моих! Такая любопытная женщина, как я, легко может разыграть роль цыганки из Египта, когда такой человек как ты, становится мелким закладчиком. За скромность — двойная скромность. Не будем же стесняться своих дел. Мы преследуем тут слишком разные цели. Я ищу удовольствия, а ты — вероятно, золото?

Никифор отошел от нее и, подойдя к играющим, спросил:

— Кто просил у меня денег?

— Я,— сказал Дромунд вставая и заслоняя собой Ирину. Но Никифор уже успел заметить молодую женщину. По красоте дружинника, по богатству его вооружения, он заключил, что тут кроется интрига какой-нибудь знатной патрицианки, и улыбнулся, предвидя выгоду от предстоящей сделки.

— Сколько же тебе нужно? — спросил он шепотом.

— Сто денариев.

— Почему же не двести? Когда предлагают такой залог, можно просить целое состояние!

Никифор старался получше разглядеть молодую женщину, но каждый раз Дромунд стоял перед ним, заслоняя собой Ирину.

Наконец, Никифор тихо спросил:

— Она замужняя?

— Какое тебе до этого дело?

— Я не хочу больше ссужать куртизанок. Хороший муж, прекрасная незнакомка,— лучшее ручательство для заимодавца.

Эти слова Никифора вызвали в окружающей толпе взрыв веселости; среди хохота Евдокия крикнула ему в ответ:

— Наш супруг из купцов...

— А, коллега! Тем лу́чше! — И, обращаясь к Ирине, он добавил:

— Когда настанет срок платежа, а ваш кошелек окажется пустым, вы, красавица, сумеете, конечно, его наполнить. Вы знаете любимые кушанья вашего ревнивца! Не жалейте только вина и пряностей, угощая его. Потом, не дав ему совсем осоветь от сытных блюд, возьмите его нежно за подбородок и проводите к себе в спальню. Ва-

ши требования будут исполнены. Какой муж устоит перед такой любовной комедией?..

— А ты не боишься, старый шут, что в один прекрасный день твоя собственная жена устроит тебе такое же представление? — сказала Евдокия.

— Моя жена?

Несмотря на то, что Ирина никогда не давала серьезного повода к ревности, Никифор в эту минуту страшно испугался, так что даже мысль о барыше выскочила у него из головы. Едва сдерживая дрожь, Нирифор, сказал:

— Хорошо! Ты просишь у меня взаймы сотню?

— Или две сотни,— небрежно прибавил Дромунд.

Никифор не стал спорить, и отвечал:

— Так! Но я ставлю одно условие.

— Скажи, какое?

— Я хочу, чтоб эта незнакомка на минуту открыла свое лицо,— сказал Никифор, протягивая руку, чтоб сорвать покрывало с Ирины.

Но Дромунд с такою силой отшвырнул его, что он ударился о стену.

— Я, во что бы то ни стало, узнаю, кто эта распутница, взявшая тебя в любовники! — сказал разъяренный Никифор.

Испуганная Ирина, покидая таверну, едва успела заметить, что Никифор, бросился на Дромунда. И тот задушил бы Никифора, если б товарищи не высвободили последнего из тисков норманна. Они хохотали и кричали»:

— Ура, Никифор! В атаку на Дромунда! Вот храбрый ростовщик! Покачаем его на щите. Ура, ура, Никифор!

И, перевернув большой щит, они бросили на него Никифора. Не обращая внимания на крики и мольбы своей жертвы, норманны подбрасывали его до потолка таверны.

Барахтаясь, с выпученными глазами, взбешенный от злобы, Никифор все еще искал Дромунда с его таинственной спутницей. Но их уже не было. Тогда Никифор гневно взглянул на Евдокию, которая танцевала, чествуя его шутовской триумф.

При выходе из таверны, она обернулась и игриво сказала ему:

— Будь скромен, Никифор! Честь — самое дорогое сокровище для купца, так же как и для женщины.

## XXVI

Перепуганная насмерть Ирина, поспешно бежала по темным улицам, и когда Дромунд настиг и остановил ее, то долго еще вырывалась из его рук.

Наконец, увидав, что ее отчаяние приводит его в ярость, она покорилась. Дромунд был человек настолько горячий, что способен был возвратиться назад и убить Никифора, как некогда убил Ангуля.

Неспособная к уловкам, Ирина не могла долго переносить затруднений, в которые вводила ее эта связь; она не сомневалась, что их встречи неминуемо должны окончиться, и только желала, чтобы время разлуки наступило не так скоро. Сердце Ирины готово было разорваться от горя, когда, подходя к саду ее дворца, Дромуд простился с ней, решив возвратиться в Кабалларий.

Напрасно всю ночь Ирина в слезах обращалась с наивной мольбой к Богу о ниспослании ей спокойствия для того, чтобы перенести первую минуту встречи со своим супругом. Высказывая, в порыве отчаяния, такие желания, противоречившие всякой святости, она была, однако же, настолько искренна, чтобы не обещать, в знак благодарности за поддержку, принести в жертву свою любовь. Грех был для нее еще слишком мил, чтоб от него отказаться.

Заря застала Ирину коленопреклоненной в своей молельне.

Но прошел день, а Никифор не появлялся; прошла еще ночь, и еще день, и так целая неделя.

Он укрылся на одной вилле на левом берегу, которая примыкала к загородному дворцу. Поселившись там, чтоб переждать пока исчезнут следы побоев с его лица, он страшно мучился мыслью, что Ирина узнает обо всем

с ним случившемся. К тому же он слышал, что Фока жаловался на испорченный провиант, которым снабжали его армию; при этом Никифор, конечно, не сомневался, что Хорина не пощадит его, если император настоит на отыскании виновного. Он знал, что и общественное мнение обрадуется его несчастию. Поэтому придумывал уловку, с помощью которой можно бы было отвлечь внимание от совершенного им мошенничества при поставке хлеба.

Обуреваемый беспокойством он находил даже некоторое удовольствие в измене жены. Он узнал, что Дромунд встречался с Ириной во дворце Евдокии.

Затруднение, в котором они очутились, благодаря громадному долгу, сделанному на устройство триумфальной колесницы, заставляло их поступать неосторожно. Их тайна была в руках ростовщика, который конечно не пощадит и непременно потребует полной уплаты своей ссуды.

Ожидание этого момента было приятно Никифору. Скандал, который произойдет при обнаружении проступка Ирины, слывшей такой благоразумной, даст пищу толкам и утолит ненасытную злобу общества.

Привыкший постоянно вызывать смех своими странностями, Никифор не останавливался ни на минуту на каком-нибудь резком решении. Жестокое убийство, например, могло удовлетворить его ревность, но он мало думал об этом.

Ему нужен был кричащий скандал, который бы привлек всеобщее внимание. Тогда все клиенты обратятся к Никифору ради одного только любопытства, чтобы посмотреть на его унижение; и он давал себе слово заставить их дорого поплатиться за насмешки и намеки, какими награждают, обыкновенно, обманутого мужа.

Никифор хорошо помнил набожность Ирины и знал, что это качество, свойственное ее мягкой натуре, сильно развилось еще от постоянной грусти. Он не сомневался, что даже в пылу любовного увлечения оно не могло в ней не сказаться. Он знал, что, дав религиозный обет, она никогда бы его не нарушила, а потому остановился на решении обратиться к патриарху. Один Полиевкт мог принудить Ирину к полному покаянию.

Его монашеская строгость к грешнице не смягчится

никакими мольбами. Он был способен потребовать от преступной супруги публичного покаяния на паперти большого собора.

Придя к такому решению, Никифор терпеливо ждал пока его лицо не приняло приличный вид, и отправился к патриарху, сказав ему, что молитвой святых отцов поправился от болезни, что жертвует на приют для старцев еще большую сумму денег в память своего выздоровления, и просил Полиевкта почтить своим присутствием праздник, устраиваемый в честь благополучного своего возвращения.

## XXVII

В то утро, когда Никифор вошел в свой дворец, Ирина была еще в постели. Запретив ее будить, Никифор отправился на кухню, чтоб обсудить со своими слугами все подробности роскошного пира.

Такое поведение Никифора не внушило Ирине ни малейшей тревоги. Она только поспешила написать приглашение своим братьям на предполагаемое пиршество. В этот день Ирине пришлось встречаться со своим кредитором и упрашивать его подождать уплаты долга. Она обращалась с ним мягко, как с отцом, снисходительно улыбаясь его цинизму. Оставив же его, почувствовала себя такой униженной, что не могла пойти на свидание с возлюбленным, а, напротив, отправилась в церковь и там, прижавшись в темном уголке и не смея молиться, обливалась слезами.

При входе в парадный зал, лишенная своих драгоценностей, она робко встретила проницательный взгляд Никифора.

Патриарх Полиевкт был уже там. Отказавшись от всякой роскоши, которою его предшественники так оскорбляли набожных прихожан, он вне церковных церемоний носил поверх лилового подрясника темно-коричневую рясу, на которую спускалась его длинная седая борода. Белоснежные локоны его еще густых волос ниспадали по плечам. Даже на пиру он был крайне воздер-

жан и пил простую воду. На его исхудалом лице цвета старой слоновой кости жили только глаза. Проницательные, они как стрелы пронизывали сердца людей.

Когда обед кончился и Полиевкт прочел благодарность Богу и хозяевам, Никифор пригласил его посидеть на закрытой террасе, выходящей в сад.

Там, усадив патриарха на кресло, он скорбно и смиренно стал излагать ему свое горе.

Никифор умел придавать своему лицу любое выражение. Но в эту минуту, когда успех готов был увенчать все его хитрые замыслы, под притворным смирением на его лице промелькнула такая жестокая ненависть, что Ирина угадала, о чем он заговорит, и сердце у нее похолодело.

— Владыко,— сказал Никифор,— прости, что обращусь к тебе с затруднением, которое меня гнетет. Один мой друг женился на бедной девушке-сироте. Она была беззащитна и одинока. Этот человек думал, что угождает Богу, давая ей приют. У нее не было друзей, он окружил ее целым двором. Он ей не отказывал ни в чем, ни в драгоценностях, ни в нарядах, во всем, что составляет удовольствие всякой женщины. И как же был он вознагражден?

Никифор остановился на минуту. Не сводя своего пристального взгляда с лица патриарха, он наслаждался страхом Ирины. Помолчав немного, он продолжал:

— Эта женщина не только посягнула на честь своего супруга, но готова была разорить его. Она довершила свое падение тем, что выбор ее пал на низкого человека, продающего свои ласки за деньги!

При перечислении преступлений Ирины глаза Никифора блеснули таким огнем, который был зажжен не одной только ревностью. Его рука поднялась было, чтобы указать на виновницу; но этот мстительный жест не был произведен, так как чья-то рука, дрожавшая от гнева, опустилась на его плечо.

— Кого касается эта история?

— Тише, Агафий! Она касается нас всех. Твоя сестра назовет нам имя своего любовника...

Высказав это, он как бы освободился от тяжести, его

давившей. Но Троил, в свою очередь, бросился к нему со сжатыми кулаками:

— Видит Бог! Ты оскорбляешь нашу кровь.

— Успокойся, Троил.

— Владыко, я требую правосудия!

— Того же хочу и я... Пусть патриарх рассудит мужа с его преступной женой.

Тогда близнецы обратились к сестре:

— Ирина, милая сестра, оправдайся же.

— К чему?

Ее губы, сохранившие следы поцелуев возлюбленного, отказывались произносить ложь.

Минута, приближения которой Ирина так боялась, настигла ее уже подготовленной, как тех, которым единое, великое чувство дает силы переносить страдания мучениц.

Полиевкт задумчиво смотрел на расстилавшийся перед ним город. Казалось, что только тело его было тут, на этом кресле, душа же находилась там, перед алтарем, в большом соборе, главы которого виднелись с террасы.

Не удостаивая взглядом Никифора, он произнес строгим голосом:

— Никифор, обвинение — тяжелая вещь. Дашь ли ты доказательства, которые я от тебя потребую?

— Я удовольствуюсь признанием самой виновной. Допроси ее сам, владыко, заставь ее поклясться спасением души. Если мои подозрения окажутся несправедливыми, то я готов искупить свою ошибку, раздав бедным столько, сколько ты на меня возложишь; но если, из страха попасть в ад, как она того и заслуживает, Ирина признается в своей преступной любви, то дай мне сейчас же развод, чтоб я мог выбросить за дверь виновницу моего бесчестья.

— Согласен,— сказал, вставая со своего места, Полиевкт.

## XXVIII

Никифор не ошибался, полагая, что уважение к религии и вера в будущую жизнь восторжествуют в душе

Ирины над всеми чарами страсти. С этой стороны она была более всего беззащитна, хотя и думала, что любовь сделает ее неуязвимой.

Последние слова мужа вызвали в ней чувство негодования, и только примешавшееся к гневу презрение заставило ее сдержаться. Опустив голову, пошла она за Полиевктом в домашнюю молельню.

Молельня эта была настолько обширна, что годилась бы и для церкви.

В ней висел большой образ святой Ирины, которая была страстной гонительницей иконоборцев и повелела ослепить даже своего родного сына, чтобы прекратить его развратную жизнь.

Много раз горячо молилась Ирина перед этим святым изображением, отстраняя от себя кровавые воспоминания и умиляясь терпению, которое святая проявляла в распрях со своим супругом, императором Львом. Перед ней воскресали дни, когда, свергнутая с престола великим логофетом, она с полной покорностью воле Божией, вместе с простыми женщинами Лесбоса, пряла шерсть.

Но с тех пор, как страсть к Дромунду овладела сердцем Ирины, она перестала посещать молельню.

Ей трудно было переносить пристальный взгляд, смотревший на нее с этой иконы.

Поднимаясь после земного поклона перед святой мученицей, патриарх оперся рукой на налой, и его пальцы стерли легкий слой пыли, покрывавший верхнюю доску, обернувшись к Ирине, он сказал:

— Ты перестала молиться?

— О, Владыко!

Его взор пронизывал ее еще сильнее, чем глаза, смотревшие с иконы. Ирина предпочла бы лучше открыть свое сердце перед святой: она понимала ласки любви, так как переживала их до того времени, пока различие верований не восстановило против нее супруга. В строгости же патриарха было нечто другое, большее чем целомудрие: в ней чувствовалась ненависть к наслаждениям плотской любви, о которой он знал только понаслышке и которую проклинал с презрением, усиливавшимся от чувства зависти.

Приказав Ирине стать на колени, он сказал:

— Правда ли, что забыла ты свой долг?

Едва дыша, она прошептала:

— Владыко, Никифор так ревнив и жаден.

Патриарх резко отвечал ей:

— Как бы я ни был далек от сплетен, которыми вы, женщины, друг друга осыпаете, я все-таки слышал много дурного о твоем поведении. Тебя встречали слишком часто вне дома, по вечерам, под арками, в уединенных садах и кладбищах...

Ирина стояла, опустив глаза на мозаичный пол, рисунок которого прыгал в ее глазах.

Невольно, желая только выиграть время, она сказала:

— Владыко, мне дурно, не могу ли я выйти на минуту?..

Полиевкт, решась овладеть этой душою, которая ускользала из его рук, гневно сказал:

— Не лги, женщина, своему пастырю! Если Христос обещает милосердие кающимся грешникам, то ад готовит огонь вечный для тех, кто не хочет отказаться от греховного наслаждения. Бойся гнева Господня!

Уже давно ад не представлялся Ирине огненным жерлом, но он казался ей теперь темной ночью, где голос возлюбленного не будет раздаваться, где ее объятия не найдут его и где разум ее постоянно будет сознавать ужасную истину: «Века пройдут и я больше его не увижу!»

Вот этот-то ужас и заставлял ее стонать. Она протянула руки, как бы желая отстранить эту вечную разлуку, и залилась слезами, протестующими против неумолимого правосудия, стремящимися умолить палача.

Но эта слабость продолжалась одну лишь минуту. Ирина была готова принять всякие страдания после смерти, только бы доставить лишний день счастья своему Дромунду.

В глазах ее не стало больше слез, рыдания прекратились, и, отняв руку от лица, она опять была готова на борьбу.

Полиевкта это рассердило. Он не мог себе представить, чтобы преступная любовь совершала такие чудеса! Он видел в этой любви только эгоизм и испорченность,

совершенно не считая ее способной быть источником самопожертвования и героизма.

— Вот что я от тебя требую,— сказал он: — Ты проведешь сегодняшний день в посте и молитве; эту ночь — перед святой иконой. Завтра же на заре, одетая, как вдова, в черное платье, ты выйдешь из дома в сопровождении мужа, братьев и других родственников. В моем присутствии на паперти церкви дашь обет исправиться. Тогда и Господь тебя простит.

Зрачки Ирины расширились. Руки вытянулись вперед, как бы желая оттолкнуть открывшееся перед ней ужасное видение.

Раньше она видела выполнение таких церемоний, при подобных же обстоятельствах. Потому ей казалось, что она уже стоит перед патриархом, слышит грубые замечания толпы, чувствует, как дрожат святые мощи в ее клятвопреступных руках. И у нее вырвался крик отчаяния:

— Владыко! Святой отец! Только не это! Я поклянусь перед тобою! Не требуй от меня бо́льшего. Не выставляй меня на площади! Бог тут, так же, как и там. Он услышит меня. Если я солгу, он низвергнет меня в ад... Зачем ты хочешь моего публичного унижения?

На ее мольбы Полиевкт строго сказал:

— Довольно слез! То, что чисто, может предстать безнаказанно перед глазами людей. А что грязно,— то должно очиститься перед всеми! Придешь ли ты?

Заметив, что она молится, он удержался от проклятия, которым хотел поразить ее в случае отказа, и стал ждать, что Господь наставит на добро ее сердце.

Ирина возбужденно молилась, слова отрывочно вырывались из ее уст, будто волны, гонимые бурей.

Она не думала уже больше ни о Боге, ни об аде. Она искала возможности спасти свой разум от последствий такого потрясения.

У нее была только одна настоятельная мысль: остаться одной и все обдумать. И потому она произнесла слова, необходимые для того, чтобы патриарх мог уйти:

— Я повинуюсь.

# XXIX

Удалявшиеся шаги Полиевкта уже перестали раздаваться, а Ирина все оставалась на том же месте, где он ее оставил.

Все сознание ее сосредоточивалось только в одном протесте против насилия: «Нет, так не может быть!»

Часто чувствуя упреки совести, Ирина сравнивала свою слабость с жестоким эгоизмом Никифора. И, как бы ни чувствовала она себя униженной своим проступком, какой-то внутренний голос говорил ей: «Я все же лучше этого человека!».

Она знала, что милосердие Никифора есть не что иное, как лицемерие, что пожертвования делаются им только из тщеславия или трусости. Не могло же такое притворство обманывать Бога, как оно обмануло Полиевкта.

«Господь справедлив»,— думала она. «Он читает в сердцах людей. Он не принесет ее в жертву Никифору».

Ирина была воспитана своею матерью в страхе Божием и преклонении перед вечной правдой его.

В память матери, она жила эти годы, строго следуя правде и своим обязанностям, как река, которая бежит по привычному руслу, не ища другого пути для своего течения. Но Никифор, подобно камню, упавшему в чистый поток, вызвал мутную тину лжи, которая теперь так загрязнила эту благородную натуру. Он купил ее, как покупают христианских невольников, которых агаряне выводят голыми на рынок, чтобы покупатель мог лучше рассмотреть товар.

Мысль, что, замышляя ее погибель, Никифор воспользовался собственным ее признанием, возбудила в Ирине такое негодование, которое вывело ее из оцепенения.

Она поднялась на ноги, и ломая руки, стала говорить, как будто сам Бог стоял перед ней на том месте, с которого только что ушел Полиевкт:

— Нет, нет, Господи, ты не допустишь такой несправедливости! Ты не для того установил клятву, чтоб она служила орудием пытки в руках палача! Ты — защита страждущих, Ты снисходительнее к любви, чем к нена-

вести! Ты обещал милосердие сознающим свою слабость перед искушениями дьявола! Ты знаешь, что я была чиста; я мечтала посвятить Тебе свою жизнь, я хотела предстать перед Тобою невинной, я отказалась от этого только ради братьев. Не моя вина, что чувство во мне возмутилось от насилия, сердце взволновалось от страдания... Я полюбила, потому что не пощадили меня. И если забыла свой долг, то потому, что и купивший меня в полное рабство злоупотребил своим правом!

Ирина смолкла. Выражение досады на ее лице, вызванное воспоминанием о Никифоре, сменилось нежностью. Любовь, опять наполнившая ее душу, вызвала перед ней дорогой образ Дромунда. Он представлялся ей таким, каким она видела его в первый раз на набережной Буколеона, привязанным к столбу, полным мужественного спокойствия, мечтательно-грустным перед надвигавшейся смертью, освещенным сиянием золотых лучей заходящего солнца.

Он был там и она стояла перед ним. Как могли очутиться они друг перед другом, если не было на то воли Божьей? Когда Евдокия с братьями пришла за ней в ее спокойное жилище, не была ли она тогда занята своими домашними хлопотами? Не достаточно ли было какой-нибудь случайной встречи в дворцовом саду, другого пути, которое они могли легко принять, машинально избирая только более удобный для ходьбы склон, чтобы никогда не увидеть того, кто изменил ее судьбу? Бог, которому она ежедневно молилась, не мог отвернуться от нее в такую решительную минуту! Если он покинул ее в слабости, то как же может теперь так осуждать?

Она жаждала опять услышать тот голос, то пение, полное мольбы, мужественной решимости, которому отдалось ее сердце. Да, ее унесло тогда словно ветром, подняло в высь над миром, в царство любви, где не нужно видеть, где не хочется понимать, где можно носиться как вольное, счастливое облачко.

В этом милом голосе выражалась вся душа возлюбленного, вся его нравственная сила. Он ласкал и в то же время повелевал; он сжимал как объятия и вдохновлял как призыв к свободе; в нем слышалось и страстное томление, заставляющее закрывать глаза на весь мир и энер-

гичный порыв дикой воли, влекущей к подвигу. Геройство и наслаждение, сладострастие и самопожертвование, радость господства и радость подчинения — все, все совмещал в себе этот чарующий голос, начало и конец, жизнь и смерть, блаженство любви и горе разлуки...

Воспоминания о счастье, испытанном на груди Дромунда, так переполнило ее душу, что даже мысль о раѐ без него ей стала невыносимой. За поцелуй своего возлюбленного она охотно заплатила бы вечной гибелью своей души. Но мысль о таком нечестивом желании, в котором она невольно признавалась в этой молельне, перед святой иконой, среди молитвы, вызвала в душе молодой женщины новый порыв страстного раскаяния. Сознавая глубину своего падения, она вскричала:

— Выбор! Надо сделать выбор! Боже мой! Не допустишь же Ты, чтоб из любви к нему я лишилась радости лицезреть Тебя! Что выбрать: вечное блаженство или вечную казнь? Его любовь, здесь на земле, или созерцание Твоего величия в жизни будущей!

С мольбой протянула Ирина руки к иконе, как будто находясь уже перед судом Божьим и оправдываясь в своем преступлении.

Приближающиеся шаги заставили ее обернуться.

— От Евдокии,— сказал вошедший слуга, подавая Ирине записку. На самом деле, она была от Дромунда и заключала только одну строчку: «Если ты промедлишь прийти еще один час, то я явлюсь сам».

## XXX

В сумерки Ирина направилась по дороге к базару.

Каждая подробность этого пути напоминала ей те волшебные минуты, которые она испытывала в первом опьянении своей любви, беззаветно отдаваясь Дромунду. На каждом шагу вспоминалось беспокойство, тогда ее охватывавшее, тот ужасный и вместе с тем чудно-радостный страх, сквозь который просвечивало ожидающее впереди счастье.

Сегодня же она шла как сомнамбула, руководимая прежней привычкой. Возможность быть узнанной нисколько ее не заботила. Ей было бы все равно, если б кто-нибудь указал на нее пальцем, говоря:

— Это Ирина!

Мнение людей для нее не существовало больше. Она чувствовала себя дошедшей до того поворота на жизненном пути, который скоро сокроет ее от всех взоров.

Дромунд нетерпеливо ждал Ирину. Они не виделись больше с того вечера, когда простились у входа во дворец Никифора — Ирина совсем потерянная от испуга, а Дромунд — взбешенный необходимостью отказаться провести эту ночь, после триумфа, вместе со своей возлюбленной.

Взволнованный Дромунд не заговаривал с Ириной и даже не посмотрел на нее; она сама бросилась к нему на шею, но, боясь встретить взгляд упрека, неутешно зарыдала и спрятала свое лицо на его груди.

Излив в обильных слезах свое горе, она смолкла. В объятии, которым поддерживал ее Дромунд, ей почувствовалась нежность, и ощущение это придало ей силу, которой не хватило бы для того, чтобы перенести упреки. Приподняв свое бледное лицо, Ирина, как цветок к солнцу, протянула к нему свои губы, еще мокрые от слез.

— Не будем омрачать,— сказала она,— упреками и досадой этот последний луч нашего счастья. Я пришла, чтоб сказать тебе: прощай навсегда...

Вместо того чтобы взглянуть в лицо Ирины и лучше понять то, что она сказала, Дромунд порывисто оттолкнул ее от своей груди:

— Что ты сказала?

У Ирины опять не хватало силы выдержать этот взрыв гнева, и она поникла.

— Отвечай же! — жестоко требовал он.

Распростершись у его ног, она сказала:

— О мой возлюбленный, не увеличивай моих страданий твоим гневом. Между мной и тобой те, которых я ненавижу, поставили Бога! Они знали, что я пожертвую всем на свете ради тебя, что для меня перестала существовать разница между справедливостью и несправедливостью, между правдой и ложью; чтобы тебя сохранить,

я сделала бы все, что только было бы нужно; я могла бы унижаться и возмущаться, могла быть покорной слугой или показывать когти как львица. Вот и решили они поставить меня перед лицом Божьим! В присутствии священников и народа я должна буду поклясться, что не принадлежу тебе больше!

— Ну, что же... поклянись!..

Он приподнялся и потянулся к ней.

Ирина изумленно глядела на него, так как в улыбке на этом дорогом ей лице промелькнуло выражение чего-то страшного, непонятного, что больно кольнуло ее душу.

— Сами Азы,— воскликнул Дромунд,— учили людей обманывать своих врагов! Я тебе скажу, какими словами поклясться.

Любя, она не могла его осуждать.

Только в печальных глазах возлюбленной Дромунд мог бы прочесть еще большую грусть.

— О, Дромунд! — сказала Ирина,— все счастье, какое отпущено на мою долю в земной жизни, я отдала тебе. Остальное принадлежит моей душе. Снисходя к нашей любви, она принесла себя в жертву. Она согласилась страдать из-за нашего счастья, надеясь искупить этим все, что было в нем нечистого. Но принесение ложной клятвы, как ты требуешь, нельзя ни искупить, ни очистить страданиями; оно низвергнет виновную в огонь вечный. Против этого душа возмущается и протестует; отделяясь и от меня и от тебя; она оставляет в твоих объятиях, Дромунд, лишь одну только мертвую оболочку нашей любви!

Дромунд часто страдал от мысли, что эта христианка заставляет его нарушать верования, от которых он не мог отказаться. Он знал, что если не умрет случайной смертью, то окончит жизнь не под жгучими лучами солнца Византии, а на холодном севере, распростертым на костре, при магическом свете луны. Почувствовав в Ирине веру, отличную от своей, Дромунду было очень тяжело, это уменьшало в его глазах ценность жертвы, принесенной ею его любви.

Он вспыхнул от досады и сказал:

— Ты любишь свой рай больше, чем меня!

Подняв на него свои глаза, Ирина ответила:

— Бог свидетель, что душа моя не побоялась бы никаких мук, если бы за общее блаженство она разделила бы с тобой и общее страдание. Она забыла бы свою скорбь, сокрушаясь о твоей, так же как моя радость удвоивалась, видя тебя счастливым; но в той жизни наши дороги различны: христианка, преступившая клятву, не может рассчитывать на отеческое милосердие Всевышнего, которое ожидает такого темного и неведующего человека, как ты, Дромунд! Тут же, на земле, должно окончиться наше общее счастье и страдание. Неумолимый Судья не исполнит моей просьбы и не соединит наши страждущие души в одном пламени!

Он слышал в ее словах только сопротивление и воскликнул:

— Оставь их и следуй за мной!

Любовь в ней заговорила, заслонила собою все ее набожные размышления, понесла, как волну, гонимую силою ветра, и она вскрикнула в порыве полного доверия:

— Дромунд! Ты этого хочешь? Мы скроемся где-нибудь. Жить в шалаше под твоей защитой, любить тебя!..— Но она остановилась, так как брови Дромунда нахмурились.— О я сумасшедшая! Не для того ты покинул свой край, чтобы вести такую тихую, бедную жизнь! Твое счастье в боевой славе, в победном звуке труб. Я более не та Ирина, которая могла украшать тебя как божество и силою своей любви возвышать над толпой и завистниками. Теперь я буду для тебя только облаком, затемняющим твою судьбу... Посмотри же ласково на меня еще раз, прежде чем я удалюсь. Любовь сделала меня и скромной и вместе с тем гордой и дала мне испытать такие страдания, что я жду, как освобождения, той минуты, когда даже воспоминания о счастье не обеспокоят меня больше...

Тьма спустилась над их догорающей любовью. Поникнув, Ирина ждала от Дромунда, последней ласки, которая облегчила бы хоть немного ее душу.

Но этой ласки не было.

Воин оставался неподвижным и молчал. Он обдумывал положение, которое удовлетворило бы его гордость. Он уже не думал больше о блаженстве, так жадно от него ожидаемом.

## XXXI

Была уже ночь, когда Дромунд вышел на улицу. Проходя по форуму, он с ожесточением погрозил стоящей на нем церкви. Под этими сводами находилась непонятная ему сила, которая покушалась отнять у него возлюбленную. Но он решил оспаривать ее у этого таинственного влияния; любовь и гнев наполняли его душу, все силы его дикой натуры готовы были сопротивляться неумолимому року.

Он прошел ворота Кабаллария, не разбудив псов, которых часто кормил в честь Локи. Товарищи его уже спали, когда он вошел в залу, служившую им общей спальней.

По обычаю севера, они спали на своем оружии. Постоянная готовность вступить в борьбу выражалась даже в их привычке спать — прижав руки к груди.

Почти все норманны казались сраженными в борьбе, и спальня походила на поле битвы, усеянное телами мертвых богатырей.

Светившая в открытые окна луна таинственно бросала длинные полосы света на эти распростертые тела.

Дромунд осторожно прошел между спавшими товарищами и, подойдя ближе к окну, стал искать среди них того, с которым хотел поделиться своей заботой. Едва сдерживая свое волнение, он разбудил Гаральда.

— Мне сейчас снилось,— сказал тот, проснувшись,— что я уже восседаю среди избранных воинов... И Ангуль делает мне вызов...

— Кто знает, может быть, эта ночь будет последней, какую мы проведем на службе у императора. Но вставай же... То, что я тебе должен сказать, не должны слышать чужие уши.

Они вышли из залы и направились по аллее Кабаллария. Луна и звезды ярко освещали их взволнованные лица. Лучи играли и блестели в застежках шлемов, а гигантские тени воинов дрожали и двигались вслед за ними.

— Возникла борьба между Азами и Белым Человеком,— сказал Дромунд.— Хитрость его священников

оспаривает у меня женщину, которую я победил. Завтра они поведут ее к порогу собора. Они хотят подвергнуть ее магическому заклинанию. Они наполнили ее душу таким страхом, что она готова признаться в нашей любви, и эти люди унизят и завладеют ею, если я не спасу ее.— Брови его нахмурились от страдания при мысли, что могли вырвать из его рук залог, данный ему любовью.— Как думаешь ты: пойдут ли защищать меня дружинники? Сколько раз я поил их вином; мое золото и драгоценности перешли в их руки. Оставят ли они меня теперь в беде? Достаточно будет им показаться в полном вооружении на площади, испуская наш боевой клич,— все здешние монахи разбегутся перед нами, форум опустеет, и мы победоносно унесем невольницу моей любви, которую Белый Человек хочет забрать в свой гарем.

Дойдя до конца аллеи и усевшись на скамью, Гаральд сказал:

— Хорина истощил терпение нашей дружины. С тех пор, как император сделал его казначеем, все наше жалованье идет на штрафы и мы должны были бы жить как бедные гребцы, если б византийки не влюблялись в наши белокурые волосы. Да еще этот расстрига осмеливается говорить, что запретит выходить из казарм под страхом штрафа в двадцать золотых! Его посланный ушел вчера, с разбитым в кровь лицом, и наши волки заснули со злобой на сердце. Разожги ее, когда они проснутся... Скажи им, что Хорина притесняет тебя и твою возлюбленную. Они с радостью восстанут. Твоя щедрость так же памятна им, как и обиды Хорины; да к тому же кровь кипит в их жилах с тех пор, как пришлось стоять на гипподроме позади воинов Фоки.

— Я так и думал,— сказал Дромунд.— Не для того же, чтобы только держать караул у входа в покои, да сторожить этих евнухов, мы покинули наш край, и выдерживаем палящую жару и притупляем зрение, смотря на это море, которе синее самого неба. Мы желали обогатиться на счет агарян, но так как по воле императора мы остались в Византии, то, поживимся тем, что есть под руками!

Рассказы о тех мятежах, при которых некоторые кварталы города предавались огню и мечу, были всегда

самой любимой темой разговора между норманнами. Хотя каждый раз после мимолетных успехов восстания зачинщики бывали казнены, это соображение нисколько не изменило решимости Гаральда и Дромунда. Они даже улыбнулись при мысли о такой смерти.

— Хочешь: мы спросим луну, чтобы знать, покровительствуют ли нам Азы?

Начертав на песке перед Кабалларием магические фигуры, которые луна должна была последовательно осветить, они присели на корточки, один против другого, и стали ждать указаний оракула.

Гаральд начал напевать заклинание, которое заставляло звезды нисходить с неба.

Оба друга избегали поднимать глаза к небу, боясь оскорбить недоверием божество, которое вопрошали. Когда тень меча, воткнутого в землю, посреди магических кругов, упала, наконец, на тринадцатый из них, то оба друга притаили дыхание, и Гаральд, перестав петь, прошептал едва слышно:

— Она нисходит...

## XXXII

Посреди форума, между императорским дворцом, сенатом и большим собором, часовня Св. Константина прилегала своей задней стеной к площади. На этом месте всегда толпилось много народа.

Много было тут путешественников из провинции, приехавших осмотреть достопримечательности Византии, много богомольцев, желающих приложиться к святым мощам, и просто зевак, рассказывающих друг другу новости дня.

По пятницам толпа удваивалась благодаря приливу простого народа из отдаленных кварталов, являвшегося затем, чтоб посмотреть на церемонии очистительных клятв, которые, обыкновенно, совершались на этом месте. Все уже знали час, когда патриарх сопровождал вынос мощей Св. Ирины в часовню. Однообразие этой церемо-

нии не мешало любопытству толпы, которая любила видеть значительных людей, склонявших свои головы наравне с простолюдинами, в набожном покаянии.

Каждый раз сторожам церкви и прислуживающим монахам приходилось отталкивать своими белыми жезлами любопытную толпу. Они чертили на мраморных плитах мелом черты, которых народ, под страхом греха, не должен был переходить, а перед открытием церковных дверей объявляли обвинительную жалобу и имя того, кто должен принести очистительную присягу.

Слух о том, что Никифор требует свою жену к такой присяге, наделал большого шума. Все, даже простые люди, хорошо знали его, кто лично, кто по слухам; все слыхали про удивительную красоту Ирины, про ее ум, ее приветливость, которая согревала и ласкала всех окружающих.

Потому в толпе слышалось много замечаний:

— Неужели и эта обманула мужа, как и другие?

— А Никифор еще удивляется!

— Из-за таких пустяков беспокоить святые мощи!

— Придется выставить мощи на площади, если все негодяи полезут к Богу со своими несчастьями.

В толпе интересовались именем ее любовника, но никто не мог назвать Дромунда, так как никогда Ирина не подражала тем бесстыдницам, которые афишируют свою любовь, прибавляя к греху еще и скандальную славу.

Приближающаяся от одной из улиц группа вызвала всеобщее молчание. К месту, занятому монахами, медленно двигались мужчины и женщины, печальный вид которых напоминал похоронную процессию.

В толпе пронесся шепот:

— Никифор идет впереди...

— А кто же эти молодые люди?

— Это Троил и Агафий.

— Братья Ирины?

— А за ними кто?

— Это сама Ирина.

— Кто же это ее поддерживает.

— Евдокия.

— Подруга Хорины!

— Тише, вот они подходят!

— Господи, как она бледна!

— Боже, как она прекрасна!

Черное покрывало, которое Полиевкт приказал ей надеть, наполовину прикрывало ее бледное лицо. Она как бы уже уходила от взоров окружающих людей, с готовым вырваться из ее груди последним вздохом, который освободил бы ее душу.

Евдокия смотрела на толпу с гордым, вызывающим видом, готовая отразить оскорбления...

Но на лицах окружающих она увидала лишь выражение участия.

Женщины плакали, как над покойником, очарованные нежной красотой Ирины, досадовали на ревнивца, который разбил жизнь такого чудного создания.

Троил и Агафий с удовольствием прислушивались к такому сочувствию толпы. И когда процессия достигла священного места, они приступили к Никифору с угрожающими жестами.

— Ну,— сказал Троил,— вот достигли мы, наконец, вершины нашей Голгофы! Твоя жена обесчещена твоим несправедливым обвинением!

— Трепещи,— воскликнул Агафий,— чтоб тебя не отдали на растерзание этой толпы! Не Ирину тут судят, а тебя, Никифор!..

Никогда Никифор не рассчитывал на расположение толпы и хорошо знал, какую ненависть питали к нему братья Ирины.

Поэтому он разместил по площади своих должников, которые в случае опасности, могущей угрожать ему, были бы готовы его защитить.

Чувствуя, таким образом, некоторую безопасность, он смело отвечал братьям.

Между тем Ирина боялась упасть от сильной слабости, раньше чем вынесут на паперть мощи.

Она шептала:

— Евдокия, поддержи меня, идущую на казнь...

Рука ее, обхватившая шею подруги, бессильно упала.

Евдокия положила ее руку на свое плечо и нежно сказала Ирине:

— Будь тверда! Подними глаза свои! Посмотри, эта толпа презирает и ненавидит только одного Никифора!

Едва переводя дыхание, Ирина промолвила:

— Мне нет дела ни до Никифора, ни до всего этого народа! Я думаю только о Боге, который читает в моей душе и перед которым я готова произнести клятву!

Евдокия так же легкомысленно относилась к добродетели, как и ко всему другому. Чтобы быть около Ирины, она даже не обратила внимания на гнев Хорины.

Без всякого страха она готовилась встретить негодование толпы, но не могла допустить, чтобы Ирина отказалась принести ложную клятву. Она стала убеждать ее в неизбежности такого греха, в необходимости его для соблюдения приличий и даже то усилие, какое приходится делать для этого христианской душе, возводила в искупление и заслугу. Ведь не могла же Ирина предать Дромунда злословию врагов.

— Думай,— нашептывала Евдокия Ирине,— думай о твоем возлюбленном.

Глубокий вздох вырвался из груди Ирины и она промолвила:

— О, для него я подвергаю себя вечному проклятию. Он, как дитя, любит все блестящее; ему нужны драгоценности, лошади, колесницы. Игра его опьяняет... Золото возбуждает его... А я за его радость плачу погибелью своей души!..

## XXXIII

По принятому обычаю, во все время очистительной присяги колокола должны были звонить как по покойнику.

Много раз прежде, когда Ирине, занятой своими скромными, домашними работами, приходилось слышать этот однообразный звон, сердце ее сжималось от тоски и жалости. Теперь же первый удар колокола, как громом, поразил ее. Ей показалось, что произошло землетрясение и что стены церкви колеблются. Глаза Ирины закрылись; она не различала уже больше ни гула толпы, ни разговора своих братьев, продолжавших упрекать Никифора, ни нашептывания Евдокии.

Ее унесла эта волна звуков, и когда за закрытыми еще дверями собора раздалось пение хора, она не могла различить, были то голоса певчих, звучавшие под сводами, или сама душа ее рыдала, переполненная страданиями.

Пение хора продолжалось, сопровождаемое редкими ударами колокола. Казалось, что не под сводами собора звучали эти невидимые голоса, а неслись с выси небесной; точно сами святые и ангелы, знавшие тайну смерти и справедливость Судьи, просили за жертву, переносившую тяжелое бремя. Даже слова псалма легко можно было расслышать: «О Господь Милосердный! О Христос, простивший разбойника на кресте, поддержавший Магдалину в ее отчаянии, Ты даешь нам всем надежду на спасение!»

Когда открылись церковные двери, то вся толпа народа опустилась на колени. Голос патриарха, поддерживаемый пением хора, произносил слова псалма:

«Ты еси Бог милосердный и человеколюбивый!»

Ирина старалась почерпнуть надежду на прощение в этих словах, звучавших для нее таким утешением. Но ряд священников, стоявших на паперти, напомнил ей неумолимую действительность.

Милосердие, которое славил патриарх, было обещаемо только раскаявшимся душам, отрешившимся от греха и добровольно умершим для всех земных радостей, чтоб возвратить потерянный ими рай.

Никогда Ирина не могла смотреть без страха на патриарха, даже и тогда, когда совесть ее была чиста как кристалл, но в эту минуту, когда предстал он перед нею, среди раздававшегося пения и ударов колокола, в митре, с посохом в руке, она онемела от ужаса, остановившего все ее мысли.

Патриарх благословил народ, который, кланяясь своему любимому пастырю, кричал:

— Многие лета преосвященному владыке, благочестивому, достойному святых апостолов! Да прославится православный патриарх! Да укрепит он веру среди христиан! Да поможет ему Христос!

Склонив свою почтенную голову, патриарх отвечал:

— Любезные христиане, собравшиеся перед святою церковью, изгоните из сердец ваших праздное любопытство. Молитесь вместе с вашим пастырем Богу. Взывайте в общем крике к Его вечному милосердию.

Патриарх стоял во входе часовни. Величественным жестом приказал он открыть ее двери.

Они открылись, и четыре дьякона торжественно вынесли раку со святыми мощами, приподняв ее над головами.

Рака, в виде тех гробниц, в которых у церкви Всех Святых покоились останки императоров, была сделана из прозрачного хрусталя, и через узор украшений из золота и каменьев ясно было видно лежавшее в ней нетленное тело святой.

Как только дьяконы опустили рядом с патриархом свою священную ношу, в народе поднялась страшная давка.

Женщины протягивали детей, безногие калеки едва протискивались на своих костылях, увечные потрясали своими обезображенными руками,— все хотели избавиться от страданий близостью к чудотворным мощам.

Один из монахов отстранил толпу и, очистив дорогу, коснулся белым жезлом плеча Ирины, приглашая ее подойти.

Ирина не противилась. Сделав два шага вперед, она упала на колени.

Рака ослепляла ее своими блестящими украшениями. Патриарх подавлял своим величием.

Он громко провозгласил:

— Вот женщина, которую муж обвиняет в измене. Помолись,— обратился он к Ирине,— так как ты принесешь сейчас присягу, которая решит твою участь. Если ты безупречна, то Бог докажет твою невинность. Если же ты преступна, то он ниспошлет тебе прощение за искреннее признание.

Но если ты солжешь перед глазами всего народа, Он низвергнет тебя в огонь вечный!

Ирина, казалось, ничего не понимала.

Потом патриарх твердым голосом сказал:

— Подойди.

И в ту минуту, как обвиняемая поднялась на ноги, хор священников запел.

В их голосах и лицах не было больше милосердия. Они призывали торжество правды. Их грозное пение могло вырвать душу из недр греха и в страхе и ужасе повергнуть перед судом Божьим.

Ирина не понимала смысла гимна, так же как утопающий не слышит грохота волн, стараясь справиться с их свирепостью. Она не спускала глаз с Полиевкта, и его взгляд прожигал ее, как жертву вечного огня.

Возложив руку на святые мощи, патриарх сказал:

— В этой раке из чистого кристалла, которой касается твоя голова, покоятся мощи Святой Ирины. С высоты небесной она незримо присутствует при испытании. Положи руку твою на ее святые мощи и повторяй за мной клятву!

Кристалл раки, к которому прислонялась Ирина, освежил ее горячую голову, как свежая роса. Ей хотелось забыться, заснуть вечным сном, пока ее губы не произнесли проклятой ложной клятвы.

Молчание Ирины приводило патриарха в нетерпение. Он повторил:

— Ну, повторяй же! Устами, которые приносят свидетельство...

Голос Ирины был так слаб, что народ его не слышал вовсе.

Голоса из толпы кричали:

— Смотрите, она колеблется!

— Повтори,— приказал Полиевкт.

Она заикаясь начала:

— Устами, которые принесут свидет....

Силы ее оставили.

Народ заволновался:

— Она боится! Она дрожит!

Но голос патриарха заглушил эти замечания.

Он продолжал:

— Этим сердцем, в котором горит божественная любовь, я клянусь...

Ирина не пробовала даже повторить всю молитву. Она едва прошептала:

— Я...

В глазах у нее потемнело, язык онемел; и она не услышала торжествующего возгласа Никифора, обращенного к народу:

— Она призналась!

Как будто тяжесть покрывала стала ей не под силу, и Ирина опустилась на мраморные плиты.

## XXXIV

Страшный шум поднялся на площади. Должники Никифора воспользовались этой неожиданностью, чтобы выразить свое негодование.

Они стали кричать:

— Изменница!

— В монастырь ее!

— Побить каменьями!

— Втоптать в грязь!

Эти крики заставили некоторых подумать, что тут скрываются еще и следы какого-то другого преступления, поэтому шум еще больше усилился.

Другие же выражали сострадание. Это были бедные, которым Ирина прежде помогала, женщины, которых ужасала строгость наказания за проступок, совершающийся из-за любви.

Мужчины, растроганные нежной красотой Ирины, падшие девушки, рыночные торговцы, побывавшие в когтях Никифора и жестоко пострадавшие. Их негодование усиливалось еще от грубого торжества Никифора при виде бесчестия своего дома, и только присутствие святой раки удерживало их от расправы с ним.

Уверенный в своей безопасности, Никифор торжествовал над женой, ее братьями и народом.

Он разговаривал с духовенством, сопровождая свои слова жестами менялы, доказывающего фальшивость документа, визгливым голосом он кричал:

— Развод! Владыко! Развод!

— Ты имеешь на это право,— отвечал Полиевкт, де-

лая торжественный жест разъединения тою самою рукою, которая некогда соединяла супругов.

Это послужило сигналом, которого как будто только и ждала толпа, всегда готовая к буйству. Языческая жажда крови пересилила в ней христианское милосердие. Некоторые уже поднимали с земли камни, забыв и благодеяния Ирины, и ее красоту, и долговременную безупречную жизнь. Толпа образовала круг готовый поглотить свою жертву.

Полиевкт остановил ее грозным взглядом:

— Прочь вероотступники, язычники! Недостойные христиане, думающие заменить своею местью Божественное правосудие! Удалитесь, пока преступление этой грешницы не привело вас самих к преступлению. Бейте этими камнями себя в грудь за жестокосердие, с которым судите слабость ближнего.

По обычаю требовалось, чтобы виновную после признания отпевали так же, как покойника при погребении. А потом родные и даже муж, которого она оскорбила, должны были подходить к виновной и веткой вербы, помоченной в святой воде, окропить ее. Это служило как бы знаком прощения и доказательством того, что на раскаявшуюся уже нисходит милосердие Божье.

Дьяконы молча отнесли в часовню святые мощи. Наконец, около распростертой у ног Полиевкта Ирины остались только братья, Никифор и Евдокия. Принесли в урне святую воду. Полиевкт первый омочил в ней ветку и, делая ею крестное знамение, окропил лежащую у его ног страдалицу.

— Братья мои,— начал он, пронизывая своим взглядом сердца близнецов, Евдокии и Никифора.— Братья! Бог требует, чтобы вы с милосердием и прощением отошли от той, которая обесчестила родных и близких своих. Простите же ее от всего сердца, чтоб самим стать достойными милосердия на страшном суде Господнем!

Муж Ирины, привыкший к лицемерию, подготовился к этой трогательной минуте, но все же не мог скрыть торжествующей радости, под маской смирения.

Ирина не чувствовала больше отвращения, только сердце ее сжалось от тоски, когда Полиевкт подозвал ее братьев.

Не ожидая признания, они теперь негодовали на Ирину. Они забыли ее прежнюю к ним любовь, ее страдания из-за них, ее заботы; они сознавали только, что теперешняя ее слабость многого их лишала. Поэтому сделанное ими веткой, омоченной в святую воду, крестное знамение скорее походило на удары бичем, чем на символ прощения.

Евдокия подошла последнею. На ее вечно смеющемся лице была смесь презрения, досады и жестокости.

В поступке Ирины, в ее признании Евдокия видела только неприятный скандал, упреки Хорины и убытки, какие это повлечет за собою. Слишком вспыльчивая Евдокия не хотела подчиниться требованию патриарха и, оттолкнув ветвь, предлагаемую ей прислужником, она приблизилась к Ирине и гневно крикнула ей в лицо:

— Упрямая правдолюбица, что ты этим доказала?..

## XXXV

Теперь, когда любовная связь разбилась перед страхом ложной клятвы, Ирина опять стала для Полиевкта достойной христианского милосердия. Он забыл в ней ту грешницу, которая упорствовала в своем грехе, а видел теперь только душу, готовую к очищению. Он обратился к Ирине со словами ободрения и утешения:

— Дочь моя, раскаяние низвергло тебя на эти мраморные плиты,— сказал он,— но вспомни, что Господь простил падшую женщину за одни только слезы раскаяния, которыми она оросила Его ноги. Как и она, ты можешь вымолить Его прощение.

После всего происшедшего Ирине показалось, что все ее горе было только дурным сном.

Никогда не была она женой Никифора; никогда не испытала к нему физического отвращения; не была обманута ветреной дружбой; никогда злой демон не соблазнял ее гордиться страданиями своей души, и никогда она не знала того, которому сейчас изменила. Ей

казалось, будто вся ее жизнь прошла в тиши монастыря, и теперь не холодный мрамор студит ее колени, а пол монашеской кельи. А этот священник, находящийся около,— ее духовник, который повелительным жестом указывает ей небо.

Она прошептала:

— Отец, подними меня, сложи мои руки, так как силы оставили меня. Мое сердце слышало слова твои, и я вполне отдаюсь твоей воле.

Она упала на руки патриарха, склонив свою бедную голову на панагию, висевшую у него на груди.

— Осанна! — вырвавшаяся из уст владыки, пронеслась по паперти церкви, была радостно подхвачена дьяконами и всем клиром и казалась голосом Самого Бога.

Припав бледным лицом к груди Полиевкта, Ирина почувствовала, как это чудное пение утешало боль ее сердца. Она жила теперь без сожаления, без воспоминаний, проникнутая словами Божьими. Райские мелодии раздавались в ее ушах, звуки арф, пение ангелов, победные трубы архангелов доносились сначала издалека, а потом все ближе и ближе. Все ближе и ближе слышались шаги небесного воинства...

Вот оно уже тут, близко, на форуме, на котором раздается топот лошадей, бряцание оружия и звуки медных фанфар...

Ирина содрогнулась.

Она подняла голову, и из уст вырвался крик любви, взволновавший ее грудь; закинув руки за голову, как бы от невыносимой муки, она в неудержимом порыве, голосом, покрывшим торжественное пение воскликнула:

— Дромунд!

## XXXVI

Да, это был он! В блестящем шлеме, в наброшенном, как в день торжества, поверх серебряной кольчуги, золотом хитоне, расшитом гроздьями винограда и листьями папоротника, с мечом в руке, сидя верхом на сирийском

жеребце. Рядом с ним был Гаральд, тоже верхом, держа в руке норманнское знамя. За ними толпились норманны, опьяненные пивом, которым на славу угостил их Дромунд.

При виде этого явления Ирина совсем потерялась. Принятое ею решение заставляло ее следовать за патриархом, а непреодолимое очарование влекло к воину. Она долго боролась с собою, но, наконец, как бы моля о прощении за то, что ее губы произнесут еще раз имя, которое должно быть забыто, она воскликнула:

— Прости меня, Дромунд, я разбила нашу любовь!

Натянув поводья, Дромунд осадил своего жеребца на задние ноги; звеня оружием, от неожиданности сталкиваясь друг с другом, воины остановились.

С паперти церкви патриарх следил, как дружина наполняет форум. Он стоял впереди других священников и, обращаясь к норманну, сказал:

— Удались, язычник! Не совершай нечистого дела. Эта женщина больше не принадлежит тебе; она возвратилась к Христу.

Взрыв хохота опрокинул назад его голову, увенчанную шлемом; потом, бросив поводья так быстро, что никто другой не успел их подхватить, Дромунд соскочил с лошади и, подняв свой меч, бросился на Полиевкта, но принужден был остановить свой удар, так как Ирина стояла между ними.

Он смотрел на Ирину, скрестив руки на своей широкой груди. Дромунд казался ей в эту минуту призраком прошлого.

Он сказал:

— Ты мне дала слово!

Ирине было горько сознавать, что он считает ее обманщицей.

— О Дромунд! — сказала она,— никогда я тебя не обманывала! Я действительно любила!

В голосе воина послышалась нежность, когда он сказал:

— Пока не перестанет биться мое сердце, и я буду любить тебя!

Невыразимым утешением пролились эти слова в душу Ирины, после стольких тяжелых испытаний.

— Но я умираю, Дромунд! — сказала она, нежно улыбаясь.— Примирись с тем, что я раньше тебя пойду умолять Судью Всевышнего, чтоб Он соединил наши души в жизни вечной.

Это еретическое желание Ирины рассердило патриарха, и он резко сказал:

— Выбирай же!..

Ирина прошептала:

— Я ваша.

Дромунд схватил ее своими железными руками. Он не желал причинить ей боль, он только хотел заставить ее посмотреть себе в глаза и нежно шептал ей:

— Ирина, вспомни...

Она умоляла:

— Пощади!..

Он продолжал:

— Вспомни эту волшебную ночь... первую в саду... при луне. Ночь, когда наши души слились навсегда.

— Сжалься!

— Вспомни!..

Он смолк, оставляя воспоминаниям оживать в ней.

Полиевкт почувствовал, что любовь победит эту страждущую душу, и воскликнул:

— Прочь, сатана!

— Ирина...

Она не могла оторвать глаз от лица Дромунда, но все же прошептала:

— Владыко! Не оставляй меня! — И, бросившись на руки Полиевкту, прижалась щекой к его жесткой седой бороде.

Желая вызвать в Ирине сознание, которое в ней понемногу затемнялось, патриарх спросил:

— Кого же выбираешь ты, Бога или этого человека?

Дромунд стоял, наклонившись над Ириной и, пристально смотря в лицо, ждал ответа. Она прошептала как в агонии:

— Бога...

— Умри же! — воскликнул Дромунд, вонзая в ее грудь свой меч.

Смертельный удар поразил Ирину, и в предсмертном забытье она улыбалась воспоминаниям, которые сливались с ослепительным светом небес.

## XXXVII

Страшное смятение произошло на паперти большого собора. Священники, дьяконы, монахи, насмерть перепуганные, закрывались стихарями и эпитрахилями. Дикие крики ужаса вырывались у певчих. Скрываясь от неравной, оскорбляющей духовный сан, борьбы, священники бежали через открытые двери в церковь. Более храбрые из них останавливались на минуту, умоляли Полиевкта следовать за ними и искать спасения в бегстве.

При виде меча, вонзившегося в грудь Ирины, патриарх в ужасе отступил. Он хотел благословить ее, но было уже поздно. Ирина упала к ногам Дромунда, стоявшего в торжествующей позе победителя, готового наступить ногой на голову побежденной.

Молодой норманн и старый патриарх смотрели друг другу в глаза.

Старец не выдержал и, думая лишь о спасении своей жизни, поспешил скрыться через двери, которые перепуганное духовенство немедленно затворило за ним.

Оставшись один, Дромунд опустил глаза вниз и содрогнулся от ужаса, словно только что увидав лежащую перед ним Ирину.

— Ирина!..— нечеловеческий крик вырвался из груди его.

Но вслед затем, в страшной ярости, он скомандовал своим воинам:

— Ко мне, дети Локи! Огня! Грабьте! Жгите! Прислужник Белого Человека, ты мне заплатишь за все!

Смерть Ирины, как порыв ветра, разбудила ярость норманнов. Неистово бросились они вперед, с громкими криками опрокидывая все на своем пути.

Первый удар топора в двери большого собора звучно пронесся по пустой церкви и эхом раздался под высокими ее сводами. Казалось, базилика жаловалась и негодовала на нечестивое оскорбление. Вдруг, как пыль от разбившейся волны, поднялось облако дыма. Огонь охватил кедровые двери собора. Еще минута, и все слилось в общем пламени — дворец, часовня и вся площадь исчезла в облаках дыма.

Стоя на коленях перед телом Ирины, Дромунд заботливо поддерживал ее, орошая ее бледное лицо своими слезами.

Освеженная ими как росой, Ирина открыла глаза, протянула к нему руки и нежно посмотрела на него. Улыбка счастья, сменяясь тенями смерти, играла на ее устах. Она чуть слышно прошептала:

— Мое сердце стремится к тебе, душа улетает в пространство. О, удержи ее, сожми меня в своих объятиях и дай так уснуть. Твоя грудь будет для меня зеленым лугом, твое сердце — глубокой могилой, где я хочу отдохнуть.

Слившись с милым в поцелуе, Ирина перестала и жить и страдать.

Голос Гаральда вывел Дромунда из забытья:

— Нас окружают! Хочешь, чтобы враги взяли тебя живым!

— Помоги мне,— сказал Дромунд.

Они вместе положили Ирину на щит. Сорвав с себя золотом вышитый хитон, Дромунд подложил его под голову своей любимой. Лавровый венок, венчавший его в день триумфа, он возложил на чело Ирины, а в похолодевшую руку вложил меч, прервавший эту чудную жизнь.

Четыре воина, взявшись за углы щита, подняли на свои плечи эту легкую ношу.

Дромунд вскочил опять на коня. Он продолжал смотреть на Ирину, наклоняясь так близко к ней, что мог бы поцеловать ее лоб, но теперь он думал лишь о битве, о смерти, которую желал в ней найти.

Подняв взор на охваченный пламенем купол церкви, он с вызывающим видом, как тогда у столба, ожидая казни, запел торжественный гимн:

«В минуту, когда мое дыхание замирало на твоих

губах, я на твоей груди уже мечтал, что та вечная дева, которая меня ожидает,— будешь ты.

Я насладился играми и битвами! Из-за твоей сверхъестественной любви я охладел к радостям жизни!

Войдем же вместе в таинственный мрак! Прими же меня Валгалла!»

Бросив последний взгляд на свою возлюбленную, лежавшую на щите, Дромунд пришпорил коня и бросился в кружившееся вихрем пламя, в котором Валькирия уже манила его к себе...

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

К. ДИЛЬ

# ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

В первые годы шестого столетия танцовщица Феодора пользовалась в Константинополе громадным успехом.

О том, где она родилась неизвестно. Некоторые из позднейших историков называют ее родиной остров Кипр, знойную и страстную страну Афродиты; другие утверждают, что она родилась в Сирии. Как бы там ни было, она была привезена в Византию ребенком и выросла в атмосфере шумной и развращенной столицы. Но в продолжение целой жизни сохранила замечательную черту: в то время, как Юстиниан, уроженец дикой скалистой верхней Македонии, был вполне проникнут римским духом, Феодора всегда представляла чистейший восточный тип, преисполненная всеми фантазиями, всеми привычками, всеми предрассудками Востока.

Из какой она вышла семьи, также неизвестно. Легенда, проникнутая вероятно уважением к императорскому сану, до которого возвысилась позднее Феодора, сочинила для нее впоследствии целую генеалогию, знаменитую, или по крайней мере более или менее приличную, и дала ей в отцы почтенного сенатора. На самом деле она была, по-видимому, гораздо более скромного происхождения. Если же верить «Тайной истории», отец ее был бедняк по имени Акаций, сторож при амфитеатре, присматривавший за медведями; мать ее отличалась довольно легким поведением, как это часто случалось в закулисном мире цирка. У этой пары было три дочери: Комито, Анастасия, Феодора. Последняя дочь — будущая императрица, родилась приблизительно в 500 году.

Старожилы цирка нередко вспоминали потом, при каких обстоятельствах Феодора впервые появилась на арене. Акаций умер, оставив в большом горе и нищете вдову и трех дочерей, из которых старшей было всего семь лет. Чтобы сохранить за собою должность мужа, а с нею единственный кусок хлеба для всей осиротевшей семьи, мать не нашла другого средства, как сойтись с одним из своих знакомых, который, заняв место покойного, мог бы взять на себя роль главы семьи. Для того, чтобы привести этот план в исполнение, мать Феодоры должна была заручиться согласием Астерия, главного управителя, которому уже дали взятку со стороны, собираясь пристроить на место Акация другого кандидата. Стремясь восторжествовать над этой интригой, мать Феодоры решилась обратиться с просьбой о покровительстве к публике, и во время одного из представлений, когда в цирке было масса народа, она появилась на арене, ведя за руки трех украшенных живыми цветами крошек, которые с умоляющими жестами обратились к публике. «Зеленые» ответили на эту мольбу только громким смехом; к счастью, другая партия цирка «голубые», всегда ловившая малейший предлог, чтобы составить оппозицию первой, поторопилась принять участие в семье покойного надсмотрщика медведей и сохранить за ней должность. Таково было первое соприкосновение Феодоры с народом, который она была призвана очаровать впоследствии; никогда не забывала она этого знаменательного дня своей

жизни и, став императрицей, заставила «зеленых» дорого поплатиться за надменность, с которой они отклонили ее детские мольбы.

Итак Феодора росла под присмотром матери, свободной от всяких нравственных предрассудков, в довольно сомнительном обществе посетителей закулисного мира цирка и получила таким образом достойную подготовку для своей будущей карьеры. Вдова Акация, чрезвычайно практичная женщина, предугадав будущую красоту дочерей, пристроила их к театру. Комито первая появилась на подмостках и ее встретил блестящий успех. Феодора последовала за нею. Она рано выступила на сцене, еще несовершеннолетней, исполняя при старшей сестре роли наперсниц. Она появлялась вместе с Комито и в обществе, где красота артистки возбуждала всеобщее внимание. Попав почти ребенком в эту среду прожигателей жизни, Феодора рано познакомилась с ухаживанием мужчин.

Феодора была очень хороша собою. Ее почитатели утверждают, что она славилась безукоризненной царственной красотой, которая была выше всяких слов. По портрету, сохранившемуся в церкви св. Виталия в Равенне, нельзя конечно судить об этой обольстительной красоте, доставившей столько побед ее обладательнице. В длинной императорской мантии она кажется выше и строже, под тяжелой диадемой, почти совершенно скрывающей лоб, под неуклюжим париком, из-под которого едва виднеются черные косы, ее маленькое лицо с тонкими чертами, с несколько обострившимся прямым и тонким носом, носит на себе отпечаток какой-то суровой печали. Одна черта вполне отвечает описанию в этом поблекшем лице: под черной, почти соединяющейся вместе, прямой линией бровей сияют на портрете прекрасные черные глаза, о которых говорит Прокопий, освещая своим блеском все лицо.

Но кроме красоты Феодора обладала еще и умом, живостью, умением занимать другие умы и сердца. В ней было много природного комизма, она охотно шутила по поводу своих товарок по сцене, умение подмечать в каждом его смешные стороны обеспечивало ей привязанность самых непостоянных ее поклонников. Она далеко

не всегда была добра и ее страсть к насмешке не останавливалась перед хлестким словом, если только оно было забавно. Но она умела также быть необыкновенно привлекательной, когда ей это было нужно. Предприимчивая, смелая, вызывающая, она не ждала, пока успех придет к ней, но умела сама создавать его и возбуждать своей дерзкой веселостью. Так как она мало стеснялась какими-либо нравственными побуждениями, как мы видели, ей негде было и почерпнуть их и обладала кроме того очень чувственным темпераментом, она быстро приобрела известность и в другой, ничего общего не имевшей с театром, сфере.

Она предпочитала выступать в живых картинах, где могла не стесняясь показывать свою красоту, которой очень гордилась, и в пантомимах, где могла дать полную свободу своей комической жилке и своей веселой грации. Золотая константинопольская молодежь, успевшая уже достаточно пресытиться подобными вещами, оценила тем не менее смелость ее рискованных поз, новизну театральных эффектов, которыми она старалась возбудить внимание зрителей. Бешеные аплодисменты встречали ее, когда она появлялась на сцене полуодетая, или, участвуя в грубых комедиях, переполненных драками, очаровывала публику веселой грацией своей манеры и выразительной мимикой, с которой получала и раздавала пощечины. Но особенным успехом пользовалась она в интимном кругу.

Историк Гиббон утверждает, что благосклонность Феодоры не знала пределов; поэтому она скоро прославилась по всей Византии своими роскошными ужинами, смелыми разговорами и невероятным количеством своих возлюбленных. По окончании спектакля, она нередко изображала за кулисами в самом непринужденном костюме «танец живота» перед своими восхищенными поклонниками и очень гордилась пожинаемыми ею в таких случаях лаврами. Мессалина в сравнении с нею, должна была бы показаться почти вполне благопристойной женщиной. Вот именно, благодаря этим выходкам, порядочные люди и сторонились при встречах с Феодорой, чтобы не осквернится прикосновением к ней, и даже просто встреча с ней считалась дурным предзнаменованием.

Едва ли Феодора особенно заботилась об общественном мнении; но подобный образ жизни доставил ей немало других, более значительных для нее неприятностей. Несмотря на все принимаемые ею меры предосторожности, она однажды забеременела и, несмотря на попытку освободиться от нежелательных осложнений, произвела на свет сына, которого назвали Иоанном. Она так холодно и недружелюбно встретила это дитя, так много и громко жаловалась на эту неожиданную для дальнейшей ее карьеры помеху, что отец его не счел возможным оставить ребенка у Феодоры, и так как должен был сам в это время ехать в Аравию в качестве государственного чиновника, то предпочел взять дитя с собою. Иоанн впоследствии доставил немало хлопот своей матери. Но в ту минуту она была в высшей степени довольна, что освободилась от него. У нее была затем еще дочь, к которой она отнеслась по-видимому более благосклонно.

## II

Константинополь начала VI века, был самым развращенным городом в мире. Порок царствовал в нем совершенно открыто: известные дамы занимали целые улицы и ютились даже под сенью монастырей и церквей; продавцы женщин по всей империи вербовали несчастных, которых соблазняли нарядами и блестящими безделушками; часто жертвами этих негодяев становились даже дети. Множество женщин поддавались этим соблазнам и, становились пленницами своих вербовщиков, нередко даже обязываемые контрактом не оставлять отныне ремесла, на которое себя обрекали.

Благочестивые люди, исполненные страха Божия, не менее чем на разврат негодовали на страсть к азартным играм. Играли в Константинополе с утра до ночи и в общественных собраниях и в частных домах; ставки достигали колоссальных размеров и поглощали целые состояния; зло сделалось настолько распространенным, что его не избегли даже духовные лица. Священники посещали

игорные дома, бросая завистливые взгляды на груды золота, которые рассыпались с гармоничным звоном, отравляя их взгляды и слух, оскверняя своим прикосновением их горячие руки. Но главный соблазн заключался в ипподроме и театре.

«Зрелища необходимы,— говорил Юстиниан,— чтобы развлекать народ». И одной из важнейших обязанностей правительства считалось стремление занимать любопытство толпы пышными представлениями и праздниками: бега на колесницах, бои диких зверей, гладиаторские поединки, театральные постановки, среди которых народ особенно любил фарсы, балеты и пантомимы, упражнения акробатов и выходы клоунов вечно сменяли друг друга, приноравливаясь ко вкусам толпы. Наступление нового года праздновалось семидневными непрерывными увеселениями, и один из этих дней носил характерное название «день проституток». Все новые и новые развлечения привлекали народные массы в цирк и театр, и Юстиниан не нашел лучшего средства завоевать симпатии толпы, как устроить в цирке состязания двадцати львов и тридцати леопардов сразу, распределить богатые награды победителям на скачках, предложить публике пышный пир и истратить в три дня более четырех миллионов.

Вся Византия посещала цирк и театр; и хотя обычай запрещал появляться там порядочным женщинам, они не менее своих мужей интересовались всем, что касалось скачек, лошадей и возниц. Никогда еще никакой народ в мире, не интересовался так ипподромом, как интересовались им византийцы VI века. Возницы-победители становились героями дня; император считал своей обязанностью лично приветствовать их; правительство воздвигало им статуи, поэты изощрялись в составлении в честь их лестных стихотворных од; самые серьезные люди объявляют, что в них одних заключается радость жизни, толпа следит за ними со страстным вниманием и разделяется на партии согласно цвету курток. «Зеленые» и «голубые» в продолжение целых веков бьются в честь их между собою, словно дело идет о спасении отечества.

Цирк являлся обыкновенной темой великосветских разговоров: весь Константинополь толковал о своих лю-

бимых возницах и держал пари по поводу предстоящих скачек. Самые серьезные люди охотно задавались вопросами о происхождении цветов, которые носили возницы, отыскивая их символическое значение. Всякий знал, что так как зеленый цвет есть аллегорическое обозначение земли — победа «зеленых» предвещала плодородный год; так как «голубой» — является цветом моря — победа «голубых» обозначала успех мирных мореплаваний и, разумеется, земледельцы держали за «зеленых», мореплаватели за «голубых».

Цирк задавал тон моде. Молодые люди, завсегдатаи ипподрома, усвоили себе даже особые манеры и костюмы, весьма эксцентричного фасона, желая отличаться от остальных. Они носили, подобно персам, длинную бороду и усы; подобно гуннам, они брили свои головы спереди, а сзади отпускали длинные волосы, ниспадавшие на плечи. Они носили туники, которые создавали иллюзию сильных мускулов, когда их обладатели поднимали в цирке руки, аплодируя возницам; на плечах их были пышные, богато расшитые плащи.

## III

Феодоре удалось уже составить порядочное состояние, когда с ней случилось несчастье. У нее был возлюбленный, сириец, по имени Гесебал, состоявший на государственной службе. Это было лицо довольно значительное; он получил в конце концов должность губернатора в провинции Пентаполе в Африке. Феодора решила последовать за ним. Она устала от постоянной перемены мимолетных привязанностей и жаждала более постоянной любви, к несчастью и этот роман оказался довольно кратковременным. Неизвестно по какой причине влюбленные поссорились. Гесебал бесцеремонно прогнал Феодору и бедняжка долго скиталась по востоку, терпя крайнюю нужду. Ее встречали в Александрии и Антиохии и многих других городах, где она добывала себе кусок хлеба своим жалким ремеслом. «Как будто,— говорит

Прокопий с наивной серьезностью,— сам дьявол позаботился о том, что весь мир узнал о порочности Феодоры».

По-видимому, довольно долгое пребывание Феодоры в Египте и Сирии не осталось без серьезного влияния на всю ее жизнь.

В это время (521 г.) Александрия была не только богатым городом, купцы которого проникали в Китай, где покупали шелки, и в Индию, откуда привозили пряности и камни, не только колоссальным складом, откуда расходились по всем берегам Средиземного моря египетский хлеб и другие восточные и западные продукты и товары. Это был не только элегантный и богатый уголок мира, известный своими легкими нравами, пристанище знаменитых куртизанок вроде Таисы и Хризисы. Начиная с четвертого века, столица Египта становится также значительнейшим христианским центром. Нигде борьба различных христианских сект, нигде жаркие теологические споры, нигде фанатизм не достигал такой остроты, как в Александрии; нигде не было такого количества монастырей и церквей, а Ливийская пустыня давала приют стольким отшельникам, что ее справедливее было бы назвать «священной пустыней».

В момент пребывания в нем Феодоры, Египет волновался более, чем когда-либо. Это была эпоха, когда император Юстин, стремившийся во что бы то ни стало воссоединиться с Римом, начал в Сирии ужасное гонение на вероотступников. Все те, кто не хотел присоединиться к исповеданию веры, установленному на Халкедонском соборе, все те, кто по примеру Евтихия допускали в Христе только одно божество и получили поэтому название монофизитов — были нещадно преследуемы. Наиболее известные члены, ставшие во главе новой секты, антиохийский патриарх Север, Юлиан Галикарнасский, Петр Апамейский и другие, более пятидесяти епископов были лишены сана, изгнаны, избиваемы, сирийские монастырские общины были рассеяны силой, монастыри закрыты, монахи перебиты или разогнаны. Многие из них нашли убежище в Египте, где патриарх Тимофей, опиравшийся на целую армию преданных ему монахов-фанатиков, продолжал упорно держаться монофизитских доктрин. И из Александрии, где он укрылся, Север, самый талантливый

из вождей монофизитов, «скала христианства», как называли его современники, «непоколебимый страж правой веры», зажигал страстным огнем своих проповедей и упорством постоянное глубокое волнение во всем религиозном мире Востока.

В ущелья ливийских гор, в монастыри, затерянные в пустыне, люди знатного происхождения, светские женщины, воодушевленные мистической жаждой уединения и аскетизма, являлись искать забвения и спасения души. Блаженный Фома, принадлежал к аристократической семье, имел неисчислимые богатства, был окружен толпою слуг, получил такое воспитание, которое дается только королевским детям. Он привык к такой роскошной жизни, что по десяти раз на дню умывал себе лицо и руки. Но когда гонение достигло Сирии, он последовал в Египет за Марасом, святым епископом Амиды. Трудами рук своих прежний аристократ добывал себе кусок хлеба, плетя корзины из пальмовых ветвей. Ради спасения своей души он решил окончательно отказаться от мира и удалился в пещеру, где прожил целые годы, умерщвляя свою плоть, беспрестанно молясь и оплакивая свои грехи. Наконец тело его стало черным, как уголь, и совершенно высохло, длинные нечесанные волосы развевались по его плечам; он прикрывался ужасными лохмотьями, и прежние друзья, самые близкие, перестали узнавать его. Но Фома был счастлив: он спас свою душу от вечного адского огня.

Патрицианка Цезария происходила из рода императора Анастаса. Она также покинула свой родной дом и уехала в Александрию, где жила в уединении и, выросшая среди блеска и роскоши, удивляла всех строгостью своей жизни и своим благочестием. Она питалась одними только овощами и виноградом, отказываясь даже от хлеба, да и такую пищу принимала через день, или каждые два дня. Она спала в мешке, лежавшем на голой земле. Сами священники осуждали ее исключительный аскетизм и советовали ей прибавлять по праздникам немного масла к своему обеду; они указывали ей, что расстроенное такими лишениями здоровье помешает ей исполнять ее религиозные обязанности. Но Цезария отвечала: «Пусть Господь нашлет на меня вечную телесную

болезнь, лишь бы душа моя была спасена!» Прекрасно образованная Цезария целые дни и ночи проводила за чтением св. Отцов и охотно вступала в нравственно-догматические толки с самыми смиренными слугами Божиими, жаждя услышать из их уст отзвук слова Господня. Но главным ее желанием была мечта покинуть совершенно мир и удалиться в пустыню, и она очень огорчалась, когда ее удерживали от этого намерения, указывая на ее преклонный возраст и немощи. Целых пятнадцать лет прожила она в Александрии, служа всем примером, благодаря своему благочестию, смирению и благотворительности. В монастыре, который она основала, она выразила желание быть последней из сестер, подавая всем пример смирения и послушания.

Многие шли по ее стопам. Пустынник Марас предался аскетизму с самого раннего возраста, проводя все свое время в непрерывной молитве, едва посвящая отдыху каких-нибудь час-два в день. Он ходил босой в лес за дровами, оставляя за собой кровавые следы от израненных ног. Но женщины в особенности славились беспримерными подвигами. Блаженная Сусанна отказывалась от всякой самой простой пищи, требуя только, чтобы ей приносили по воскресеньям кувшин воды и каждые два дня немного хлеба, и всю свою жизнь проводила в пустыне, борясь с соблазнами дьявола, всегда выходя победительницей из этой ужасной нечеловеческой борьбы, до такой степени, что сами дьяволы кричали ей: «Ты не женщина, у тебя в груди камень вместо сердца, железо вместо плоти!» Сусанна ходила всегда под плотным покрывалом, не желая видеть ни одного человеческого лица и вводить своим лицом кого-либо во искушение. Тем, кто приходил к ней, она проповедывала о суетности света, о слабости плоти, возмездии последнего страшного суда; она исцеляла людей от телесных болезней и врачевала души, поддерживая ревность к вере в своих соседях пустынножителях, подкрепляя их высоким примером своего религиозного усердия и своей добродетели.

Со всех сторон благочестивые люди стекались в пустыню за советом к святым подвижникам, испрашивая их благословения, дивясь их аскетизму, поучаясь у них в назидательных беседах тайнам веры. Другие толпами при-

ходили к антиохийскому, подвергнувшемуся гонению, патриарху Северу, который славился повсюду своей ученостью и красноречием. Женщины в особенности подпадали под неотразимое обаяние этого человека.

В тяжелые минуты своей жизни Феодора не могла не подчиниться влиянию среды, в которую забросила ее судьба. Во время своего пребывания в Александрии, она встречалась с патриархом Тимофеем, и он произвел на нее глубокое впечатление; она называла его впоследствии своим духовным отцом и, принимая во внимание ее к нему уважение, нет ничего невероятного в том, что, благодаря патриарху, раскаявшаяся куртизанка обратилась, хотя, может быть, ненадолго, к более нравственной и христианской жизни. Феодора посещала и Севера антиохийского и его урокам обязана была без сомнения своим знакомством с религиозными вопросами, которое не раз выказывала впоследствии. Во всяком случае, она сохранила на всю жизнь глубокую привязанность и уважение, почтительное благоговение к этому столпу монофизитского учения. Если она явилась впоследствии естественной покровительницей гонимых, как «императрица, посланная Богом, чтобы поддержать, по словам одного из современников, гибнувших во время бури», если она открыто встала на сторону Севера и его интересов, принимая во дворце его друзей и давая им средства проводить в жизнь их учение, если она старалась внушить Юстиниану сочувствие к их идеям, если она с такой страстью вмешалась в теологические споры своей эпохи — то не только, как это мы увидим, из политических интересов, прорицательно подметив дух времени, а также в силу глубочайшей благодарности к людям, которые приютили и нравственно возродили погибшую женщину.

Но Феодора была слишком женщиной, натурой подвижной и страстной; она была честолюбива и стремилась вернуть свое состояние и свое положение в обществе. В Антиохии, куда она направилась, покинув Египет, в большом сирийском городе, где страсть к роскоши и блеску, борьба церковных партий и театр задавали тон жизни, она по-видимому больше посещала кулисы ипподрома, чем церкви, больше обращалась к гадалкам, чем к назидательным поучениям священников. Одна из тан-

цовщиц — Македония, принадлежавшая, подобно Феодоре, к партии «голубых», подружилась с последней, утешала ее, предсказывала ей блестящее будущее. Мало-помалу Феодора увлеклась сладкими надеждами: однажды ей приснилось, что, возвратясь в Константинополь, она сделалась возлюбленной князя-дьявола, которого она заставила жениться на себе, захватив в свои руки все сокровища мира.

Танцовщица Македония была по-видимому знакома с Юстинианом, и, оказав ему однажды какие-то услуги, получила доступ ко двору. Воспользовалась ли она этим, чтобы свести с Феодорой наследника престола? Неизвестно. Но, во всяком случае, возвратясь на первоначальную арену своих житейских подвигов, Феодора, возмужавшая, утомленная своими странствиями, обуреваемая желанием пристать раз и навсегда в какую-нибудь надежную пристань, зажила новой жизнью, более нравственной и уединенной. Еще в одиннадцатом веке держалась в Византии молва о том, что, по возвращении из Азии, Феодора, оставив все свои старые привычки, жила вполне прилично и скромно в маленьком домике, занимаясь хозяйством и пряжей шерсти по образцу самых уважаемых матрон доброго старого Рима. Позднее, сделавшись императрицей, прибавляет легенда, Феодора не только не старалась скрыть этого периода своей жизни, но, напротив, хотела увековечить его. На месте, где стоял скромный домик, живя в котором она добывала себе пропитание пряжей шерсти, она выстроила церковь во имя св. Пантелеймона-милостивого. Святой вполне заслужил свое прозвание, если, благодаря его покровительству, Феодора встретилась с Юстинианом.

## IV.

В год встречи с Феодорой, приблизительно в 522 году, будущему императору могло быть от тридцати восьми до сорока лет. Он был очень представителен: высок, строен, обладал изящными манерами, прекрасным цветом лица,

вьющимися волосами, хотя они и начинали уже седеть. Его обычная вежливость, любезность и мягкость, спокойное изящество его обхождения придавали ему еще более привлекательности. Он был очень богат и хорошо воспитан; кроме того, благодаря придворным интригам, посадившим на престол его дядю Юстина, он считался в это время одним из первых лиц в государстве. Награжденный титулами патриция и князя, начальник константинопольского гарнизона, он самым блестящим образом исполнял должность консула, и с каждым днем возраставшее к нему расположение императора все более и более приближало его к ступеням трона. Феодора нашла, что им стоит заняться серьезно.

Честолюбивый и ловкий, Юстиниан был, прежде всего, по-видимому озабочен своей карьерой. Он сумел, не без некоторого коварства, отстранить соперников, которые могли бы стать ему поперек дороги и не менее искусно приобрести себе всеобщее расположение. Набожный и строго преданный истинной вере, он заслужил своим благочестием и рвением полное одобрение духовенства. Толпа обожала его за его щедрость и доступность; нравился он также и аристократии, так как он обладал ко всему этому большим опытом, громадной работоспособностью, проницательным пониманием правительственных нужд. Император относился к нему с особенным доверием, и Юстиниан, в сущности, был настоящим правителем государства, властелином которого являлся только номинально старый и довольно ограниченный Юстин. С виду очень спокойный, прекрасно владевший собою, Юстиниан, казалось, был человеком железной воли, с характером вполне определившимся и большим умом. Этот серьезный человек, дипломат и тонкий политик, безумно увлекся Феодорой.

Эта связь, окончившаяся браком, казалась современникам столь странной, что они объясняли власть, которую Феодора имела над своим возлюбленным, действием ее волшебных напитков и колдовства. Юстиниан обладал по-видимому весьма увлекающимся характером; под его солидной внешностью скрывалась слабая, колеблющаяся душа, способная быстро подчиниться чужой энергичной воле. Феодора была красива, очень умна, об-

ладала врожденной грацией и непринужденной веселостью, которая привлекала к ней самых непостоянных ее поклонников. Характера у нее было, в особенности, достаточно: все свидетельствует о том, что это была натура решительная, страстная и деспотичная. Юстиниан был побежден сразу и бесповоротно и до самой смерти Феодоры любил ее с той безграничной слепой страстью, которую она сумела внушить ему в дни своей молодости.

Она была для него, по словам одного из историков, «самым сладким очарованием жизни», она была для него, как сам Юстиниан говорил, играя символическим значением ее имени, «даром Господа Бога». Сжигаемый самой пламенной страстью, он уступал всем ее требованиям. Она любила деньги, и он осыпал ее богатствами, она была честолюбива, и он выхлопотал для нее у своего слабохарактерного дяди титул патрицианки. Она была деспотом по натуре, и он руководствовался ее советами и внушениями, став послушным слугой ее симпатий и антипатий. Она упорно и страстно ненавидела до конца жизни «зеленых». Юстиниан, желая угодить ей, покровительствовал «голубым» так ревностно, что доходило до скандала. Из своих странствий по востоку Феодора привезла с собой глубокую благодарность к гонимым монофизитам; Юстиниан, желая нравиться ей, поступился для нее православием и стал держать сторону «еретиков».

Связь наследника престола с Феодорой скоро стала известной всей Византии, а затем и в отдаленных провинциях, в Египте и Сирии, не без удивления узнали, что бывшая бедная куртизанка, заблудшая овечка, прибегавшая к помощи Тимофея и Севера, стала блестящей патрицианкой, официальной возлюбленной Юстиниана. В этом неожиданном чуде благочестивые души не преминули увидеть перст Божий, позаботившийся избрать своему народу верную и надежную покровительницу; разумеется, к Феодоре тотчас же обратились с просьбой смягчить участь мучеников за веру и ослабить само гонение. Она охотно откликнулась на этот призыв. Марас, епископ Амидский, выслан был со своими священниками в Петру. Несчастных ожидала верная смерть в суровом климате Аравии, в жестоком изгнании. В минуты безысходного горя они вспомнили о Феодоре и один из них

явился к ней в Константинополь с просьбой о заступничестве от имени всей маленькой общины. Надежды не обманули их. Феодора не только убедила своего возлюбленного ходатайствовать за несчастных перед императором, но и сама не пожалела ни просьб, ни слез, чтобы склонить к милости Юстина. Замечательнее всего, что она выиграла это принятое ею на себя дело. Изгнанникам позволили вернуться в Антиохию, где они могли жить в полном спокойствии, окруженные своей паствой.

Влияние Феодоры на Юстиниана было так велико, что наследник престола принял мало-помалу решение во что бы то ни стало жениться на своей возлюбленной. Добрый Юстин по-видимому не слишком противился этому браку и очень скоро дал на него свое согласие любимому племяннику; он и не видел особенных причин отказывать ему. Старый солдат весьма скромного происхождения, император мало придавал значения дворянским традициям; он и сам женат был на бывшей рабыне, которую некогда всюду таскал за собою во время походов, и, сделавшись императором, возвел без всяких колебаний на трон Цезарей эту женщину, такую же простую и грубую, как и он сам. Сопротивление явилось с той стороны, откуда его всего менее можно было ожидать. Обладавшая в высшей степени трезвым взглядом на вещи, императрица Евфимия, рабыня, превратившаяся в повелительницу, оскорбилась тем, что на троне Цезарей ей наследует какая-то Феодора, и, несмотря на свою искреннюю любовь к племяннику и обычную готовность исполнять все его прихоти, она и слышать не хотела об этом браке. К счастью для Юстиниана, Евфимия скончалась в 523 году и дело быстро уладилось. Закон запрещал лицам аристократических семейств жениться на девушках низших сословий: актрисах, куртизанках, служанках в гостиницах. Ради Юстиниана император уничтожил этот закон. Как он объявил, желая подражать божественному милосердию, которое прощает при должном раскаянии всякое преступление грешнику, он постановил, что если бывшие артистки покинут свое ремесло и покаятся, они имеют право выходить замуж за кого им заблагорассудится, при условии получения на это согласия императора. Так как эта просьба задела бы вероят-

но слишком больно щекотливое самолюбие Феодоры, закон гласил, что если артистка получила уже от императора какое-либо почетное звание, то это обстоятельство само собою устраняло всякое препятствие к браку с человеком высокого положения и не требовало никакого особого разрешения. И чтобы окончательно привести в порядок это дело, император прибавлял, что дочери артисток, рожденные ими до или после их раскаяния — у Феодоры была дочь — также имеют право вступать в брак с аристократами без всяких препятствий. Юстиниан женился таким образом на своей любовнице и Византия была по-видимому не особенно шокирована этим. Лишь некоторые недовольные умы, размышляя о том, что будущий император мог бы жениться на юной, чистой и благовоспитанной аристократке, замечали, что подобный поступок достаточно ярко характеризовал душевные качества и нравственные воззрения Юстиниана. Ни сенат, ни армия, ни церковь не выразили ни малейшего протеста, и народ, еще не забывший о том, как он встречал аплодисментами артистку, не замедлил повергнуть к стопам будущей императрицы свои верноподданнические чувства.

Связав таким образом свою судьбу с судьбой наследника престола, любимая старым императором, который по-видимому очень ценил ее, Феодора с каждым днем все смелее вмешивалась в дела правления. Со многими недостатками она соединяла одно большое достоинство: она оставалась навсегда верной тем, кого раз полюбила. Она очень скоро доказала это монофизитам. Чувствуя опасность, которой угрожали монархии эти вечные религиозные распри на востоке, она искусно подготовляла отмену религиозного гонения. Она поддерживала отношения с патриархом Севером и талантливым оратором Иоанном Телла; она внимательно присматривалась к умным людям в вероотступнических общинах, которые могли бы предуготовить для своих единоверцев лучшее будущее. Одним из наиболее подходивших для этого был Иаков Барадей, будущий апостол и восстановитель монофизитской церкви. Его знания, благочестие, строгость нрава, пренебрежение к суетным благам мира пользовались всеобщей известностью. Далеко гремела слава о чу-

десных исцелениях, которые он совершал даже заочно. Ореол святости окружал юную голову сирийского монаха. Феодора выразила желание познакомиться с ним. Она, рассказывали благочестивые люди, видела его во сне с золотыми чашами в руках, наполненными живой водою, которой он поил народ. И в 527 году Иаков, вместе с другим монахом Сергием, прибыл в Константинополь. Его уже ожидали; молва о его славных деяниях предупредила его появление. Народ толпами встречал его. Феодора, обрадованная его приездом, устроила ему и его спутнику торжественный прием во дворце, отвела им дом, снабдила их всем необходимым, открыто приняла их под свое покровительство. Нужно было немало смелости, чтобы решиться на подобный шаг при этом строго православном дворе. Но Феодора знала силу своего влияния, которое не переставало расти.

В самом деле, с момента своего брака Юстиниан все более возвышался: Юстин сделал его «нобилиссимом» и в апреле 527 года провозгласил базилевсом в большом триклинии дворца, в присутствии сената, гвардии и представителей армии. Патриарх Епифан, стоявший по правую руку восседавшего на троне императора, прочел установленные торжественные молитвы, на которые присутствующие благочестиво ответили общим: аминь! Затем Юстин сам возложил корону на голову своего соправителя-императора, в то время как собрание приветствовало этот акт троекратным многолетием, и новый император, приветствуя свой народ, обещал, согласно обычаю, награды армии. Три дня спустя, в день св. Пасхи, в соборе святой Софии, сиявшей тысячью свечей, патриарх торжественно помазал на царство священным мирром нового императора. Во всем величии и блеске, в императорской тунике, окаймленной богатой вышивкой, в пурпурных сапогах, в богатом, покрытом драгоценными камнями поясе, в пурпурной мантии, в царской диадеме и во всех императорских регалиях Юстиниан вступил на престол, которого так давно добивался. Рядом с ним в длинной фиолетовой бархатной мантии, богато расшитой по краям золотым сияющим шитьем, с жемчугами и драгоценными каменьями в волосах, ниспадавших на плечи, в драгоценной диадеме, Феодора, разделяла пышный

триумф своего мужа. Торжественно коронованная вместе с ним в базилике, новая августа появилась, согласно обычаю, которому следовали все византийские императрицы, в цирке, который видел некогда ее первый артистический дебют. Сон ее сбылся.

Когда, несколько месяцев спустя после этого события, престарелый Юстин скончался, Юстиниан без всяких препятствий наследовал ему, и Феодора разделила с ним власть. В продолжение двадцати одного года она считалась самодержавной повелительницей самой обширной и блестящей империи в мире.

## V

Такова история Феодоры, рассказанная Прокопием. В последнее время некоторые историки вновь обратились к легенде о Феодоре, отказывая в правдоподобии рассказу памфлетиста. Каким образом, не без основания спрашивали они, если Феодора действительно на глазах у всех начинала свою сомнительную карьеру, столь шокировавшую Константинополь, среди ее современников отыскался всего лишь один, сохранивший воспоминание об юности императрицы? Действительно, кроме Прокопия, ни один историк не рассказывал ничего подобного о Феодоре, не намекал ни одним словом на ее скандальное прошлое. Нельзя объяснить этого осторожного молчания и уважением к императору, или страхом навлечь на себя гнев императрицы: многие из историков, в особенности среди духовных лиц, не остановились бы перед всевозможными оскорблениями по адресу императрицы-еретички, не побоялись осыпать ее проклятиями. И если даже предположить, что современники молчали из страха, то смерть Юстиниана и Феодоры могла бы развязать языки. А если они этого не сделали, то какого доверия заслуживает, в виду всеобщего молчания, единственное свидетельство Прокопия? Если перед тем, как стать императрицей, Феодора была действительно знаменитой куртизанкой, каким образом в день мятежа 532 года,

когда взбунтовавшийся народ бросал в лицо Юстиниану самые ужасные оскорбления, не сказано было ни одного дурного слова в адрес Феодоры? Каким образом, наконец, Юстиниан, которого даже его противники изображают человеком с характером, мог дойти до того, чтобы назвать сначала своей возлюбленной, а потом женою женщину, от которой сторонились на улицах прохожие? Он слишком рисковал бы в таком случае своей популярностью, подобным поступком он закрывал себе дорогу к трону; а в момент встречи с Феодорой он не был уже юношей, способным на всевозможные безумства.

Как бы ни были с виду справедливы подобные замечания, какими бы основательными ни представлялись сомнения в свидетельствах Прокопия — не следует однако стараться слишком обелить ту, честь которой он так оскорбительно запятнал; и хотя, начиная с VI столетия, находилось немало писателей, которые в угоду Юстиниану открывали его супруге чуть ли не двери в рай — слишком парадоксально было бы изображать ее добродетельной. Достойно сожаления, что Иоанн, епископ Ефесский, который близко знал Феодору, воздержался из уважения к силным мира повторить все оскорбительные слова, которыми благочестивые монахи, исполненные грубой правдивости, не раз осыпали, по его свидетельству, императрицу. Одно несомненно, что среди современников находились порицатели Феодоры и кроме Прокопия и что лица императорской свиты, секретарь Приск, Иоанн Каппадокийский знали за ней немало слабостей.

Многие черты в характере Феодоры — снисходительность, с которой она относилась к несчастным девушкам, погибавшим скорее в силу нужды, чем из любви к пороку, меры, которые она принимала для их спасения, пытаясь освободить их от «ига постыдного рабства», как выразился один из историков VI века, несколько надменная суровость, с какой она всегда относилась к мужчинам — как бы указывают на то, чем она была сама в молодости. Кроме того, многое, что кажется непорядочным и невероятным, гораздо менее оскорбляло нравственное чувство византийцев VI века. Сохранилось немало свидетельств о том, что многие порядочные люди, из чувст-

ва чистого сострадания, не раз выкупали из известных домов несчастных девушек и женились на них, и общественное мнение скорее склонно было удивляться, чем порицать подобный образ действия. Понятно, что при подобных взглядах на вещи Юстиниан свободно мог жениться на Феодоре, не слишком поразив своих современников. Не может быть также сомнения, что Феодора в момент своей встречи с Юстинианом уже имела за собой сомнительное прошлое: после двухлетнего отсутствия Феодору просто успели забыть в Константинополе.

Как бы там ни было, необыкновенная судьба Феодоры, вознесшая ее на престол, поразила воображение народа. Молва особенно живо занялась ею после ее смерти и, уже начиная с IX века, легенда прославляла кроме ее красоты, чистоту ее души, величие ее ума и безукоризненность ее нравственных правил и, не стесняясь сравнивать ее с благочестивой матерью Константина, святой и блаженной Еленой, легенда видела в Феодоре «настоящее воплощение всех благих Божиих даров».

Точно также легенды XII и XIII столетия, не довольствуясь прославлением ее необыкновенной красоты, выставляли ее самой умной, образованной и выдающейся женщиной своего века. Сирийские варианты относятся к ней еще более благосклонно. В своем стремлении возвеличить покровительницу их толка, монофизиты XII века называли отцом Феодоры, вместо бедного сторожа при цирке, благочестивого старца, ревностно стоявшего за монофизитские идеи, и прибавляли, что когда Юстиниан, увлеченный красотой и умом молодой девушки, явился просить у отца ее руки, этот почтенный человек дал согласие наследнику престола только с условием, что он никогда не попытается принудить Феодору принять исповедание веры, установленное на нечестивом, по их мнению, халкедонском соборе. Громкая слава Феодоры не миновала и самых отдаленных монастырей запада. Хроникер XI века Эмон де Флери рассказывает, что Юстиниан и Велизарий, связанные в свои юные годы самой тесной дружбой, встретили однажды двух сестер, Антонию и Антонину, происходивших из рода амазонок, но принужденных, после того, как они попали в руки византийцев, заняться постыдным ремеслом. Велизарий сошелся

с одной из них, Юстиниан полюбил другую; последняя, которой была предсказана гадалкой блестящая судьба, ожидавшая ее возлюбленного, заставила его дать ей обещание, что сделавшись императором, он женится на ней. Вскоре Юстиниан и Антония расстались, но будущий император дал своей возлюбленной кольцо в залог исполнения своего обещания. Прошло время, Юстиниан стал императором, и однажды у ворот дворца появилась богато одетая женщина необыкновенной красоты, потребовавшая аудиенции у Юстиниана. Император не сразу узнал ее, но она показала ему кольцо, напомнила о прежнем его обещании, и Юстиниан, охваченный прежней страстью, провозгласил тут же императрицей прекрасную амазонку. Народ был несколько удивлен этим внезапным браком. Но недовольных казнили и Антония разделила трон с Юстинианом.

В этой истории легко узнать Феодору: очевидно необыкновенная судьба императрицы не давала покоя праздным умам ее современников. Но хотя легенда и не может претендовать на беспристрастность истории, она все же дает так или иначе представление о юных годах Феодоры.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## I

К востоку от святой Софии, на склонах спускающегося к морскому берегу холма, возвышался в VI веке дворец византийских императоров.

Дворец византийских базилевсов состоял из множества разнообразных построек, разбросанных на обширном пространстве, приемных палат и церквей, бань, ипподромов, парадных и жилых покоев, всевозможных террас, с которых открывался вид на море и на азиатский берег — это была целая группа зданий, больших и малых, соединявшихся между собою длинными мраморными коридорами и лестницами. Это был как бы отдельный город в столице, таинственный и живописный, прятавший в зелени своих садов и парков золоченые купола своих церквей и павильонов, охраняемое от нескромных взоров, замкнутое и уединенное убежище, приют пышных пиров и праздников, церемониальных торжественных приемов, которые заполняли жизнь византийского двора.

Ничто не могло сравниться с роскошью, изяществом, ослепительным убранством дворца. За тяжелой бронзовой дверью, открывавшейся на площадь Августеона, начинался притвор, заново отстроенный Юстинианом, чудо архитектуры, поражавший своим великолепием. Под высоким куполом, который увенчивал круглую залу, разноцветные мраморы и золотая мозаика сливались вместе в пестрые узоры; пол из порфиритовых, яшмовых, ониксовых, серпентиновых и других плит казался драгоценным ковром, на зеленом фоне которого ярко выделялись пурпурные цветы. Стены были украшены громадными мозаичными картинами, представлявшими императорские победы, полководцев, приводивших к базилевсу покоренных царей и подносивших ему завоеванные сокровища,

императрицу в парадном облачении, возле царственного супруга. Следующий за приемной «консисторий» отличался не меньшей пышностью, это была тронная зала, где император давал торжественные аудиенции, принимал послов и подарки иноземных властителей. В ней находилось три двери из слоновой кости, украшенные великолепными шелковыми портьерами; по другой стороне расположены были бронзовые двери с художественными барельефами. Пол был покрыт громадным богатейшим ковром, в глубине комнаты возвышался императорский трон, на который вели три ступени из порфирита; по обеим его сторонам стояли две фигуры «победы» с распростертыми крыльями, с лавровыми венками в руках; над самым троном, из золота и драгоценных камней, возвышался на четырех колоннах золотой купол. Рядом открывался обширный «триклиний», где давались пиры и обеды во время парадных приемов. В такие дни на столах, покрытых пурпурными скатертями, расставлялись драгоценные столовые приборы, дорогие вазы, сиявшие драгоценными камнями, золотые блюда, на которых выбивалось изображение императора. Великолепие обстановки, пышность нарядов, изысканность обедов до такой степени ослепляли варваров, которым базилевс давал здесь аудиенции, что, переступая порог дворца, они думали, что перед ними открывается небо.

Над этими апартаментами — Халкеем, соединяясь с ними целой системой галерей, дворов и широких лестниц, расположенных под открытым небом, возвышался другой дворец — Дафней, двухэтажный, украшенный высокими террасами. Внизу расположены были многочисленные императорские службы; в первом этаже парадные залы оканчивались длинными галереями, уставленными мраморными статуями; отсюда открывался великолепный вид на сады и море. Дальше в полнейшем уединении располагались апартаменты византийских властителей: таинственный гинекей, населенный женщинами и евнухами, где проходила интимная жизнь императриц. Здесь завязывались самые сложные любовные и политические интриги, в тени садов и уединении многочисленных покоев разыгрывались драмы, о которых часто не имел понятия и сам император. Когда отцы вселенского собора 536

года низложили заподозренного в ереси константинопольского патриарха Антимия, которому угрожал жестокий гнев Юстиниана, Феодора не побоялась спрятать у себя в гинекее гонимого церковью пастыря, чтобы спасти его от преследования. Антимий прожил во дворце целых двенадцать лет и никто не знал о его присутствии, исключая двух приставленных к нему служителей; вся империя и сам Юстиниан были уверены, что он уже мертв, или скрывается где-нибудь вдали; велико же было всеобщее удивление, когда после смерти императора открылось, что святой отец спокойно совершал свои молитвы и подвиги благочестия и аскетизма в гинекее императрицы

«Священный дворец» был наполнен всевозможными церквами, часовнями и крестовыми палатами, посвященными фанатически-набожными византийцами своим наиболее чтимым святым. Бесконечные портики и галереи соединяли дворец с одной стороны со святой Софией, с другой с пышной трибуной, на которой располагался двор, присутствуя на играх и бегах ипподрома. Таким образом «священный дворец», центр политической жизни Византии, соприкасался с двумя главными ее артериями: великой церковью, центром духовной жизни, и цирком с его шумной ареной, откуда народ нередко диктовал монархам свою волю.

Более десяти тысяч человек населяли этот дворец-город. Это были лица из свиты императора, стольники, «веститоры», в ведении которых находился гардероб, молчальники, которые водворяли тишину при появлении императора, секретари, заведывавшие корреспонденцией; пестрый мир чиновников и евнухов, подчиненных главному смотрителю. Это был штат императрицы, находившийся под присмотром главной кастелянши и бывший в зависимости от самой государыни. Далее следовал штат императорских конюшен, множество гражданских чиновников, работавших в придворных конторах, солдаты императорской гвардии, слуг и парадных свитских в ослепительных одеяниях, производивших необыкновенный эффект в церемониальных шествиях своими длинными белыми туниками, на которых блистало золотое шитье, своими золотыми щитами с выпуклыми монограммами Христа, своими золотыми шлемами с красными перьями,

своими золочеными пиками; вестники, горничные — огромная разношерстная толпа, находившаяся под присмотром главного управляющего дворцом. Тут же теснились священники и монахи, многие из которых жили в великолепном дворце, резко выделяясь своими странными одеждами, а нередко даже лохмотьями, на блестящем фоне элегантного и утонченного дворцового штата.

Все это множество народа в пышных одеяниях присутствовало во дворце исключительно для того, чтобы увеличивать роскошь придворных праздников и живописное великолепие императорских выходов. Чуть ли не каждый день имел свой особый церемониал. При наступлении нового года император нередко появлялся народу облеченный достоинством консула. На курульном кресле *, в древне-римском консульском одеянии, монарх торжественно принимал в одной из дворцовых палат поздравления и новогодние приветы своих подданных; он принимал сенат, выслушивал панегирики риторов, смотрел на длинную, молчаливую ленту являвшихся перед ним придворных и всем раздавал чеканные серебряные вазы, золотые монеты, целые горы которых стояли в корзинах у его ног, приветствуя соответственно положению каждого. Затем следовало шествие к Августеону, в собор, или на Капитолий, сверкая золотом нарядов и сталью оружий, приветствуемое криками народа и гимнами цирковых партий; на Капитолии базилевс садился на триумфальную колесницу и объезжал украшенные зеленью, роскошными коврами и разноцветными шелками улицы.

В другие дни в «священном дворце» происходили торжественные аудиенции, раздача чинов и наград, приемы правителей варваров, которые нередко являлись на поклон к Юстиниану в сопровождении своих жен и детей; живописные их одеяния всегда возбуждали нескромное любопытство народа. Тут же Юстиниан принимал иностранных послов, подносивших ему подарки от имени своих государей. Для их приема устанавливались особо торжественные церемонии в обстановке, поражавшей сказочной роскошью, с целью поразить этим представи-

---

* Курульное кресло — трон римских императоров.

телей других народов и с особенной яркостью запечатлеть в их воображении представление о необыкновенном могуществе и богатстве византийского двора. В пространстве между Халкеем и большим консисторием стояла гвардия в парадных одеяниях, сверкая обнаженным оружием и между ее рядов медленно двигалось посольство по громадным, великолепным, раззолоченным залам. Император, застыв в торжественной позе на драгоценном троне между двумя «победами», державшими над его головой лавровые венки, молча ожидал их, окруженный гвардией, евнухами, высшими сановниками в парадных одеяниях. Внезапно распахивались шелковые занавеси, раздавались звуки органа, аккомпанирующие гимнам цирковых партий; послы трижды преклонялись перед базилевсом земным поклоном и не имели права подняться, пока император не приглашал их встать. Затем они преподносили ему различные драгоценные или диковинные подарки, и тогда начинался по установленному церемониалу обмен обоюдными приветствиями, со стороны императора всегда коротких и высокомерных. Послам предлагали обед с великолепными винами из императорских погребов. Всех своих гостей: аваров с суровыми лицами, с длинными змеевидными косами, длинноволосых гуннов с огромными усами, полуголых абиссинцев, увешанных экзотическими драгоценностями смуглых арабов и стройных иберов, император наделял подарками, отпускал с приветствиями. Особенно доволен и счастлив бывал базилевс, если ему удавалось обратить кого-либо из пришельцев в христианскую веру и дополнить картину торжественного приема крещением варвара в св. Софии, причем сам император никогда не отказывался от чести быть крестным отцом новообращенного.

Таким образом строго установленный церемониал играл большую роль в жизни византийского монарха. Случалось, однако, что иногда неожиданные нарушения этикета, скрашивали монотонность показной стороны жизни императора. Сохранилось свидетельство о поступке одного из таких нарушителей — Марасе. Это был пустынник — египетский монах, духовидец, которого в минуты экстаза не могли остановить от неожиданных выходок никакие этикеты в мире. Изгнанный за ересь из своей

кельи, он явился в Константинополь и дерзновенно предстал перед Юстинианом и Феодорой. Уже одного одеяния его было довольно, чтобы возбудить всеобщий ужас во дворце: ряса его вся состояла из разноцветных заплат, кое-как приметанных разноцветными нитками, и выглядела такой грубой, грязной, неопрятной, что описывавший это происшествие историк говорит, что даже последний константинопольский нищий отказался бы от такой одежды. Но еще более чем ряса, поразили византийцев его речи: он принялся с таким жаром порицать императора и его супругу, что летописец из почтения к сильным мира сего не решился записать его оскорбительные речи, столь непристойные, что последний императорский слуга не смог бы хладнокровно перенести их. Всего удивительнее было, что Юстиниан и Феодора с удивительным терпением выслушали этого человека, которого не смутило ни величие обстановки, ни царственное достоинство хозяев дворца, и исполненные уважения к его смелым речам, они провозгласили его глубокомысленным философом. Больше того, император обещал по-видимому принять во внимание его советы, а Феодора оставила его во дворце, желая поучаться в беседе с ним слову Божию.

Подобно Марасу, Зоорас, гонимый за свои религиозные воззрения монах, счел своей обязанностью явиться с несколькими своими учениками в столицу перед лицом «тирана». Очень хорошо принятый Юстинианом и приглашенный изложить свои требования на соборе епископов, он не преминул разразиться обличениями против монарха, подвергшего гонению истинную церковь, проливавшего кровь верных слуг Божиих и подчинявшегося решению Халкедонского собора. «Во всех мучениях,— кричал он,— которым подверг ты истинных христиан, дашь ты ответ Господу в день судный». Император разгневался: он не посмел остановить монаха, но угроза сорвалась с уст его: «Это вы гонители церкви,— отвечал он.— Собор прав и я не допущу, чтобы о нем отзывались в подобном тоне. Если вы возвещаете истину — Господь Бог пошлет мне знамение, если нет — всякий, кто непристойным словом оскорбит собор — будет приговорен к смерти». Зоорас отвечал не смущаясь: «Сами ангелы небесные отвращаются от твоего собора. Верующие не нуж-

даются в знамении. Но будь спокоен! Господь пошлет тебе знамение: ты испытаешь его кару на себе самом!». На следующий день, говорит летописец, Юстиниана постигло безумие; он ослеп и казался скорее трупом, чем человеком. По счастью, осторожная и предусмотрительная Феодора тотчас же приняла свои меры. Она заперла больного в одно из потайных помещений дворца и, чтобы весть о его болезни не распространилась по Константинополю, приставила к нему всего только двух слуг и двух докторов. Потом она поспешно послала за монахом, обещая, что если государь выздоровеет по его молитве, то он возвратит мир смятенной церкви. Зоорас, входя к больному, сказал: «Вот знамение, которого ты просил», и в горячей молитве испросил у Господа исцеление умирающему. Юстиниан, возвращаясь к жизни, узнал стоявшего у его постели старца и впредь, устрашенный Божией карой, почтительно слушался советов монаха.

Таков был священный дворец византийской империи в тот момент, когда в нем царила Феодора. Честолюбивая, смелая и высокомерная, она твердой рукою взяла бразды правления, к которому так страстно стремилась. Вместе с тем в высшей степени женственная, кокетливая, полная стремления нравиться, она очень скоро освоилась со своей новой ролью и окружающим величием.

## II

Едва ли какая-либо другая императрица из царственного рода любила больше Феодоры роскошь, великолепие, веселые празднества, пышные церемонии и лесть — необходимую принадлежность ее высокого титула. Она всегда любила показной блеск и пышность. В священном дворце она ввела самое утонченное изящество и сказочную роскошь обстановки. Ей нравились великолепно убранные покои, драгоценные наряды, ослепительные дорогие украшения. Особенно неутомимо заботилась она о сохранении своей красоты. Она подолгу оставалась в постели, чтобы сохранить свежесть и бодрость; чтобы не

потерять удивительный цвет лица, она часто принимала разнообразные ванны, которым предшествовали долгие часы отдыха. Это было присущее всякой женщине желание нравиться, но также и тонкий расчет: Феодора знала, что ее красота — главнейшее средство удержать за собой власть и влияние.

Стол ее отличался также изяществом и изысканностью сервировки. В отличие от Юстиниана, который любил необыкновенно простые блюда, никогда не пил вина, очень мало ел, довольствуясь несколькими овощами и часто вставал из-за стола, не притронувшись к подаваемым блюдам, проводя нередко дни и ночи в самом строгом воздержании и посте, Феодора требовала самых тонких обедов, самых лучших вин.

Еще больше жаждала она внешнего блеска, ослепительной обстановки. Ей нужна была многочисленная свита, гвардия, церемониалы; как настоящая выскочка, она обожала исключительные утонченности этикета. Тогда как Юстиниан был чрезвычайно доступен, никому не отказывал в аудиенциях, нимало не оскорбляясь нарушениями установленного церемониала в речах и манерах являвшихся к нему лиц, фамильярно разговаривал с ними, Феодора доходила в своих требованиях в этом отношении до крайности. Она сохранила, вынесенную ею с арены, любовь к театральным эффектам, но, в особенности, преисполненная смешной гордости, она любила подчеркивать свое величие и держать на почтительном расстоянии имевших с нею дело лиц, в высшей степени польщенная, вероятно, в глубине души тем, что столько знатных сановников, столько аристократов смиренно склонялись теперь перед той, с которой они не церемонились когда-то.

Уже в течение нескольких веков царствовал при византийском дворе чрезвычайно сложный этикет, сменивший умеренную простоту жизни и приемов первых римских цезарей. В эпоху Юстиниана, в особенности благодаря Феодоре, придворная жизнь еще более усложнилась всевозможными церемониями. Подобно тому, как при дворе Людовика XIV, монарх окружил себя высшими сановниками и аристократами и сделал двор центром всей политической и общественной жизни, центром, где

решались все важнейшие дела, где подданные осыпались милостями, при византийском дворе не было недостатка в блестящей свите, состоявшей из представителей знатнейших родов, к тому же на лиц, уклонявшихся от придворной жизни, смотрели подозрительно. Строжайший этикет регулировал при этом отношения монарха и придворных. Всякая простота обращения исчезла. Прежде, когда сенаторы представлялись цезарю, они ограничивались низким поклоном и, положив руку на сердце, принимали поцелуй монарха; другие члены совета преклоняли перед базилевсом колено; для императрицы же не было установлено никаких особых официальных приветствий. Перед Юстинианом же и Феодорой знатнейшие сановники простирались ниц, касаясь земли губами, называя Юстиниана величеством, а себя смиренными его рабами, и в этом отношении Феодора в особенности не допускала ни малейшего нарушения этикета. Лицо, не исполнившее требований церемониала, изгонялось из приемной, при свисте и хохоте окружавшей императрицу свиты. Перед приемом лица, представлявшиеся императору, обыкновенно подолгу дожидались в передней и Феодоре чрезвычайно нравилось затягивать это время ожидания. Впрочем, она добилась этим только особенно рабского поклонения: все знали ее честолюбие, тщеславие и могущество, все знали также, что милость, в обход нее выхлопотанная у императора, имела опасные последствия. И потому каждый день ее покои наполнялись просителями, которые теснились тут, как толпа рабов. Знатнейшие византийские сановники ожидали по несколько дней высокой чести предстать пред очами императрицы и приподнимались на кончики пальцев, стараясь, чтобы их заметили хотя бы евнухи из свиты Феодоры. Представ перед нею, они согласно церемониалу могли только отвечать на ее вопросы, никогда не позволяя себе обращаться к ней. Аудиенция длилась обыкновенно несколько минут и носила официальный характер.

Феодора необыкновенно быстро освоилась со своим новым положением: с удивительной непринужденностью, сидя на троне, рядом с императором, раздавала она знатным патрицианкам длинные белые вуали, эмблемы их аристократического происхождения, с той же непринуж-

денностью давала она аудиенции послам, чего никогда не делалось при предшествовавших императрицах, и правителям варваров, которых она осыпала подарками; очаровательная, любезная, она собственноручно раздавала дорогие дары. Она всегда подчеркивала свое могущество и влияние на государственную жизнь.

Она окружала себя блеском и пышностью всегда и везде. Когда она покидала Константинополь, отправляясь на Питианские воды, ее сопровождал многочисленный кортеж, состоявший из двух министров, толпы патрициев, четырех тысяч придворных слуг и гвардейцев, и ее переезд походил на триумфальное шествие. Страсть ее к роскоши увеличивалась с каждым днем. Юстиниан подарил ей громадные поместья в Каппадокии, Понте и Пафлагонии, для управления которыми создано было целое министерство; они приносили ей колоссальные доходы. Но ей хотелось большего: она любила деньги и изыскивала все новые и новые источники доходов; она любила роскошь и перемены: священный дворец скоро надоел ей, старинное традиционное жилище императоров показалось ей слишком тесным и скромным. И Юстиниан выстроил в угоду ей в окрестностях столицы несколько огромных вилл, стоивших колоссальных денег; здесь проводил двор некоторую часть года. Больше других любила Феодора виллу Херию, возвышавшуюся на азиатском берегу Босфора. Современные поэты с восхищением воспевали это очаровательное местечко. «Нимфы и наяды,— писал один из них,— нереиды и гамадриады оспаривают здесь друг у друга господство. Грация является между ними третейским судьей, и она не может решить, кому отдать первенство: столько наслаждений таится в этом очаровательном уголке».

Двор очень часто посещал прелестную виллу. Император являлся сюда осенью справлять праздник сбора винограда, императрица еще чаще посещала этот уголок, ища уединения. Но так как даже на отдыхе она не хотела отказаться от церемониала придворной жизни, то эти путешествия приводили в отчаяние свиту. Многочисленный штат постоянно жаловался, что, живя на великолепной вилле, нуждается иногда в самом необходимом. Плавание по морю сводило их с ума: уже около полувека

Босфор жил под вечным страхом — в море поселился чудовищный кит, длиною около пятнадцати метров, который опрокидывал суда и топил путешественников. Напрасно старались уничтожить его. Все приказы императора не привели ни к чему и несчастные придворные трепетали от ужаса, перебираясь через Босфор. В конце концов чудовище все-таки изловили. Преследуя стадо дельфинов, кит заплыл в устье Сангариоса, откуда не смог выбраться. Местные жители, которые сбежались при вести о его появлении, зарубили его топорами и, вытащив на землю, с триумфом протащили по своим деревням. Таким образом Босфор обрел спокойствие.

Феодора, впрочем, не обращала ни малейшего внимания на тревоги своих придворных. Раз она принимала какое-либо решение, а в особенности раз дело касалось ее удовольствия, ничто на свете не могло ее заставить изменить свое намерение. Поэтому ничего нет удивительного, что она пригласила к себе во дворец некоторых из своих прежних подруг, например, танцовщицу Хризомалло, актрису Индаро и других, и сохранила к ним искреннюю привязанность. И может быть стремясь подчеркнуть свое презрение к общественному мнению, она дала этим женщинам места в своем совете. По свидетельству «Тайной истории», она любила разнообразить смешными выходками самые серьезные дела, прием, когда-то с таким успехом удававшийся Феодоре-актрисе. Чтобы навсегда избавиться от надоедливых просителей, она дурачила их, разыгрывала с необыкновенным талантом всевозможные фарсы и поднимала на смех.

Один из патрициев, человек пожилой, занимавший когда-то самые ответственные должности в государстве, задолжал довольно крупную сумму одному из слуг императрицы; денег у него не было, и он, испросив аудиенцию у императрицы, употребил все старания, чтобы склонить ее в свою пользу.

Феодора была в этот день в особенно хорошем расположении духа: она собрала вокруг себя всех своих евнухов, назначив каждому роль, которую он должен был разыграть в предстоявшей комедии. Патриция ввели в гинекей, и несчастный старик, распростершись в слезах у ног императрицы, принялся в длинной речи из-

лагать свои печали: «Бедность — худшее несчастье для патриция, ваше величество; бедный человек простого сословия пользуется всеобщим участием; нищета для аристократа — источник всевозможных насмешек и издевательств. Обедневший патриций, которому нечем заплатить своих долгов, стыдится такого признанья, да и трудно уверять ему кого-либо, что человек в его положении может дойти до нищеты: его ждет бесчестье. Итак, ваше величество, у меня есть и должники и кредиторы. Но я не могу продать с молотка имущество своих должников, а мои кредиторы, отказываются ждать. Я нахожусь таким образом в очень затруднительном положении и умоляю прийти ко мне на помощь и избавить меня от моих страданий».

Феодора не прерывала его; когда он закончил, она воскликнула самым ласковым голосом: «Мой милый патриций...» хор евнухов докончил фразу: «вы страдаете ужасной грыжей».

И каждый раз, когда несчастный принимался за свои мольбы, Феодора и ее придворные хором повторяли свой припев. В конце концов несчастный патриций, положив перед Феодорой установленные церемониалом поклоны, должен был удалиться. И весь дворец остался в восторге от превосходной комедии, разыгранной монархиней с просителем.

Надо прибавить однако, что подобные шутки, которые далеко не кажутся нам смешными, разыгрывались Феодорой очень редко. Если она сама не забывала своего прошлого, то не любила во всяком случае напоминать о нем другим и не допускала, чтобы вокруг нее кто-либо слишком открыто вспоминал о нем.

Умная и практичная, она старалась поэтому насколько возможно величественней драпироваться в свою новую императорскую тогу. В силу этого она не намеревалась, чтобы там о ней ни говорили, компрометировать какими-либо любовными интригами высокий титул, который она завоевала. И насколько танцовщица Феодора была смела и порочна, Феодора-императрица всегда держала себя с присущим ей достоинством, отличаясь безукоризненной нравственностью.

## III

Каждый день под сводами императорского портика в Константинополе происходил обмен сплетнями в толпе праздных зевак, прикрывавшихся громким именем философов, рассуждавших, не колеблясь, о чем угодно: теологии, медицине, политике, религии, придворных и общественных делах. Они пользовались большим уважением в народе, благодаря своему внушительному виду, напыщенному красноречию, высоким темам, которых они касались, легкости, с какой они объясняли решительно все. И несмотря на то, что это были большею частью бедняки, с разгоряченным выпивкой воображением, народ почтительно преклонялся перед их умом. Светские люди смотрели на них, как на шутов, с довольно шаткими нравственными правилами, стремившихся пристроиться приживальщиками в какой-либо богатый дом и, забавляясь их нелепыми выходками, обходились с ними с самой бесцеремонной фамильярностью. Толпа же слушала с жадностью их пустые речи, их хвастовство близким знакомством с сановниками и патрициями, беспрекословно верила их россказням о диковинках, которые они будто бы перевидали, странствуя по свету. Когда Ураний, медик и философ, чрезвычайно гордившийся дружбой Хозроя, небрежно вытаскивал из кармана письма, полученные им от великого короля, когда он публично припоминал интимные разговоры, которые вел с государем в Стезифоне — толпа была убеждена, что подобному человеку досконально известны все политические тайны. И чем чудеснее и неправдоподобнее были его рассказы, тем охотнее верил им толпившийся вокруг него народ.

Константинополь, как всякая столица, являлся естественным убежищем всех праздношатающихся, воров и нищих. В этой праздной толпе, волнующейся и недовольной существующими порядками, с жадностью подхватывались всевозможные сплетни, если только они заключали в себе что-либо пикантное, чудесное или поразительное; с удивительной быстротой подобные новости переходили из уст в уста. Когда Антемий Тралесский, знаменитый архитектор изобретал какое-либо новое из-

девательство над своим соседом, адвокатом Зеноном, рассказ об этом моментально распространялся по всему городу, увеселяя праздную толпу. Вся Византия знала, как однажды этот человек, желая подшутить над своим соседом, установил в низенькой комнате вазы, наполненные водою и прикрытых медными трубами, концы которых проведены были в отверстия стен жилища Зенона, и как, разведя под ними огонь, ему удалось, благодаря выделению паров, произвести нечто вроде землетрясения в доме своего соседа. И вся Византия с восторгом представляла себе испуганную мину адвоката, бросающегося на улицу с расспросами, кто еще пострадал? Не меньшим успехом пользовалась другая выходка Антемия, когда он с помощью недвижных зеркал и особого прибора, им самим изобретенного, произвел у своего соседа, дом которого был полон гостей, настоящую грозу; находили удачным и выражение Зенона, который в своей жалобе императору объявил, что он, простой смертный, не в силах бороться сразу против Зевса-громовержца и Посейдона, потрясающего землю.

Суеверный народ с радостью воспринимал также всевозможные явления, являвшиеся предзнаменованиями будущего. Константинополь представлял настоящий музей, в котором Константин собрал все чудеса языческих святилищ и в особенности массу статуй. С каждой толпа связывала какую-либо чудесную легенду или особое свойство. Каждый знал, например, что если замычит огромный медный бык, стоявший около цирка — городу угрожает большое несчастье, или что таинственная надпись, выгравированная на одной из статуй ипподрома, предвещала ужасные катастрофы. Всякому было известно, что в целой серии различных фигур на форуме скрывались таинственные предзнаменования будущего и что Аполлоний Тианский, знаменитый астроном, прочел в них имена будущих императоров. Астрологи были желанными гостями в столице и пользовались большим влиянием, и Юстиниан, который не верил им и находил, что они напрасно волнуют и без того впечатлительную толпу, приказал строго следить за ними.

Интересовалась толпа и всевозможными россказнями, касавшимися придворной жизни и лиц императорской

фамилии. В народе о жизни государей, мало что знали, их видели только мельком среди ослепительной роскоши парадных выходов, но тем сильнее работало воображение. Об императоре ходили диковинные рассказы, сообщавшие о его сношениях то с ангелами, то с демонами. Охваченный лихорадкой работы, в высшей степени подвижный и деятельный, Юстиниан поздно ложился и вставал с рассветом, часто даже среди ночи покидал постель и садился за работу. На тему этих ночных занятий народная фантазия сочинила множество небылиц. Говорили, что когда базилевс бродит ночью по комнатам, то двигается обыкновенно по пустым комнатам одно лишь его обезглавленное тело, а голова его вдруг проносится неведомо откуда по воздуху, быстро присоединяясь к телу, которое время от времени она покидает таким необыкновенным образом. Рассказывали, как лица свиты, окружавшие императора, вдруг замечали странную перемену в его лице: брови его и глаза вдруг исчезали, все черты расплывались и в лице его не оставалось ничего человеческого: в подобный момент и исцелил его однажды монах Зоорас своими святыми молитвами. Рассказывали еще, что святой Сабас, известный палестинский аскет, введенный однажды в кабинет Юстиниана, убежал оттуда как сумасшедший, к ужасу находившихся в комнате евнухов, и рассказывал потом, что видел самого дьявола на императорском троне и в императорском одеянии. И чтобы подкрепить эту басню, приводились самые неопровержимые доказательства: свидетельства самых близких к императору дворцовых слуг, которые видели все это собственными глазами. Утверждали, что мать императора рассказывала сама, что почувствовала однажды во сне прикосновение какого-то сверхъестественного существа и от страха потеряла сознание. От этой связи и родился Юстиниан.

Таким же чудесным образом объяснял себе народ колоссальные траты императора. Однажды, рассказывали в толпе, император, крайне опечаленный недостатком в деньгах, мрачно осматривал недостроенную новую св. Софию. Взобравшись на леса, он чуть не со слезами думал о том, что грандиозная постройка останется сделанной лишь наполовину. В эту минуту подошел к нему

один из дворцовых евнухов. «Не тревожьтесь, ваше величество,— сказал императору евнух,— пошлите завтра со мной кого-нибудь из ваших сановников: я дам им столько денег, сколько вы пожелаете». Удивленный этим предложением, Юстиниан отправил с евнухом многочисленную свиту и двадцать сильных мулов. Евнух вывел их за черту города и вдруг перед ними предстал дворец необыкновенной красоты, очевидно не созданный обыкновенными человеческими руками. Евнух предложил сановникам войти в одну из зал, в которой лежали груды золота. Затем, вооружась лопаточкой, таинственный евнух нагрузил на каждого мула по четыреста фунтов золота, и отослал всех прибывших с ним к императору, говоря, что сам закроет залу. Юстиниан, увидев все это золото, заставил самым подробным образом рассказать ему обо всем случившемся, и так как евнух не возвращался, немедленно послал за ним. Но на том месте, где только что возвышался дворец, посланный нашел уже пустыню, а евнух исчез. Император прославил разумеется Господа за это необыкновенное чудо.

По поводу несметных императорских сокровищ ходило немало и других рассказов, которых не решались однако повторять особенно громко. Говорили, что император составляет массу подложных завещаний, прибирая к рукам особенно богатые наследства, что он спекулирует на ржи, шелке, и на увеселениях своего народа, что ради обогащения он не останавливается ни перед убийствами, ни перед несправедливыми обвинениями. Сплетничали, разумеется, и о Феодоре, ее семье и происхождении. Все знали, что она богата, что она любит деньги. Рассказывали, как она сговаривалась с императором обобрать тех из своих приближенных, которым они позволили предварительно обогатиться, или присвоить, под видом конфискации за нарушение закона, предметы роскоши, драгоценные камни, роскошные ткани, которые она так любила. Рассказывали, что того, кто имел несчастье не понравиться ей, она тайно приглашала во дворец, где его заковывали в цепи и, окутав голову плотной тканью, отправляли в сопровождении надежной охраны в изгнание, а там он попадал в руки палачей, по приказу императрицы готовых на все. Праздные умы столицы вообще

страшно занимало все, что творилось за непроницаемыми стенами гинекея. На женской половине дворца, говорили в народе, находятся подземные тюрьмы, ужасные темницы, где Феодора заставляет томиться и пытает свои жертвы: в вечном мраке и безмолвии сидят они там, на таких коротких цепях, что с трудом могут нагибаться, сидят долгие месяцы и годы; как животным бросают им туда время от времени кое-какую пищу; если они случайно попадали на свободу из этого ада — они выходили оттуда обезумевшие и ослепшие. Многие совершенно исчезали в этих тюрьмах. Так однажды к Феодоре явился будто бы ее сын, рожденный ею в ранней молодости. Отец его, умирая, открыл ему тайну его рождения и он вернулся в Константинополь. Императрица, встревоженная его появлением, страшась, как Юстиниан отнесется к этому воспоминанию ее бурного прошлого, приняв юношу, поручила его одному из своих слуг, обычному исполнителю ее секретных предписаний. И с тех пор никто уже не видел несчастного.

Нельзя, разумеется, доверять всем этим россказням. Сам Прокопий, который старательно собрал все эти сплетни, рассказывает, что Феодора чрезвычайно ловко умела прятать концы в воду, когда хотела что-нибудь скрыть от посторонних глаз. Отсюда ясно, что Прокопий менее чем кто-либо мог проникнуть в эти темные дела, слишком интимные и тайные, в эти ночные убийства, подземные тюрьмы и страшные пытки. Необходимо прибавить, что, по его собственному признанию, жертвы ускользали оттуда довольно часто, и многие из них, знатнейшие византийские сановники, в общем чувствовали себя превосходно и ужасное заключение не мешало им делать самую блестящую карьеру. По-видимому, в этом священном дворце происходили самые удивительные в мире вещи и приключения патриарха Антимия дают некоторые понятия о тайнах гинекея. Несомненно также, что, охваченная ненавистью или гневом, Феодора не отступала ни перед лживым обвинением, ни даже перед убийством. Она была злопамятна: всю свою жизнь она мстила «зеленым» за оскорбления, которыми они ее осыпали в юности, не простила она и Иоанну Каппадокийскому то, что он пытался однажды подорвать ее влияние.

Во имя приобретения безграничной власти, она разрушала все преграды, воздвигавшиеся на ее пути, устраняла все происки, посредством которых враги старались столкнуть ее с пьедестала. Хитрая, грубая, даже жестокая, когда дело шло об ее интересах, она думала только о том, чтобы выбрать достойные орудия для своей мести. Но по признанию Прокопия эта страстная и непреклонная женщина была доступна и сожалению, и состраданию; этим объясняется сравнительная легкость наказания, которому подвергались ее враги и заговорщики, пытавшиеся низложить ее: наказание это ограничивалось изгнанием. Также нельзя отрицать, что часто императрица осыпала впоследствии милостями людей, которых сначала ненавидела, и если обладала на самом деле холодной и деспотичной душою, умела тем не менее платить самой горячей привязанностью людям, ее любившим, друзьям или верным слугам. И наконец все рассказы об исчезновении ее сына являются чистейшей выдумкой уже потому, что дочь ее, которая точно также могла напоминать Юстиниану ее небезупречное прошлое, нисколько не стесняла ее и она ничего не пожалела, чтобы обеспечить блестящее будущее своему внуку Афанасию.

Злые языки Константинополя не рассуждали об этом. Раз Феодора пользовалась таким влиянием над Юстинианом, слишком банально было бы объяснять это влияние какими-либо обыкновенными причинами. То, что она была умна и красива, казалось им недостаточным. Раз император исполнял все ее капризы, это не могло обходиться без вмешательства дьявола. Напрасно стали бы вы уверять эту толпу, что Юстиниан отличался слабохарактерностью, волей настолько шаткой, что достаточно было дуновенья ветерка, чтобы изменить его намерения. Народ предпочитал видеть в Феодоре сообщницу нечистой силы, и чтобы окончательно рассеять на этот счет всякие сомнения, молва гласила, что еще в дни ее юности демоны боролись за ее милостивое внимание и выгоняли из ее комнат ее возлюбленных.

Все это передавалось, разумеется, втихомолку. Императрица всюду содержит шпионов, говорила молва, и беда тому, кто навлечет на себя ее гнев. Во всяком случае, следует заметить одно: если бы императрица продол-

жала на троне свои прежние похождения, слухи о ее порочной жизни неминуемо доставили бы самый богатый материал для пересудов и сплетен болтливой столицы, далеко не отличавшейся уважением к своим повелителям. В Византии охотно обсуждали все рискованные поступки знатных людей, в особенности дам, доказательством чему может служить следующий пикантный анекдот.

В одном из кварталов, на краю Золотого Рога, стояла на пьедестале знаменитая статуя Венеры; под ее покровительством находился один из наиболее известных в столице публичных домов. Статуя Венеры обладала еще одним весьма замечательным свойством: мужья, сомневавшиеся в верности своих жен, говорили им: «Пойдем к статуе Венеры; там ты можешь доказать свою невинность на деле». И действительно, только одни честные женщины могли безнаказанно проходить перед статуей: с других, по мере приближения к ней, какая-то таинственная сила моментально срывала одежду. Подобное несчастье постигло одну из племянниц Феодоры. Она проезжала мимо статуи на лошади и была всенародно совершенно раздета. Оскорбленная и разгневанная, она приказала столкнуть с пьедестала предательскую статую, рассказ об этом приключении долго потешал византийцев.

Если, при таких условиях, хроника не приписала никакого любовного похождения Феодоре-императрице, если не существовало никаких данных, которые позволили бы сомневаться в ее безупречности, очевидно Феодора была в этом отношении выше всяких подозрений.

## IV

Общепринятое мнение утверждает, что Феодора, сохранив на троне свободные воззрения своей юности, не отказывала себе, в качестве куртизанки, какой она осталась в душе, в удовольствии вернуться к своим старым грехам. Однако рассмотрение фактов говорит скорее в пользу Феодоры.

Прежде всего ни один из историков, упрекавших императрицу в жадности, деспотизме, запальчивости и дурном влиянии на Юстиниана, в скандалах, которые вызывала ее склонность к монофизитскому учению, ни один не делает ни малейшего намека на ее легкомысленное поведение после замужества. Сам Прокопий, приписавший ей столько любовных похождений в юности, с таким удовольствием останавливаясь на ее жестокости, коварстве и других пороках, не приписывает этой женщине ни одного любовника после замужества. Ясно, что если бы императрица подала малейший повод обвинить ее в какой-либо любовной интриге, памфлетист ее не удержался бы от искушения самым пространным образом рассказать об этом.

Феодос был возлюбленным Антонины, жены Велизария и любимицы Феодоры. Связь их продолжалась более десяти лет. Феодос последовал за Антониной в Африку, а затем в Сицилию и Италию: слабохарактерный и влюбленный Велизарий, несмотря на неоднократные предостережения, продолжал слепо доверять жене. В конце концов, однако, обманутый муж, чувствуя, что становится слишком смешон, прибег к решительным мерам: он запер жену и поручил своему пасынку Фотию расправиться с любовником его матери. Недолго думая, молодой человек задержал Феодоса в церкви св. Иоанна в Ефесе, где последний искал убежища и заключил его под стражу в одном из уединенных замков Сицилии. Все это было проделано так ловко, что никто не знал об участи Феодоса. Тут вмешалась Феодора. Она всегда покровительствовала роману своей фаворитки, что позволяло ей держать в своих руках Антонину, а с ее помощью и Велизария. Однажды императрице удалось уже вернуть Антонине ее возлюбленного, который удалился было из страха мести со стороны разгневанного мужа. Она поступила еще решительнее, узнав о новых замыслах Велизария. В эту минуту она считала себя очень многим обязанной Антонине, которая оказала ей немаловажные услуги в деле опалы Иоанна Каппадокийского. Беспокоясь за участь своей подруги, Феодора поторопилась убедить императора вернуть Велизария в Византию, где она могла более деятельным образом вступиться за Антонину, и

принялась уговаривать полководца примириться с женой. Она сделала больше: отыскав Феодоса, укрыла его во дворце и на следующий день, призвав Антонину, сказала: «Моя милая, вчера в мои руки попала драгоценность, равной которой нет в целом мире; если хочешь, я с удовольствием покажу ее тебе». Подстегнув таким образом любопытство Антонины, она вывела к ней Феодоса из помещения для евнухов, где он был спрятан. Можно себе представить удивление, радость и благодарность фаворитки. «Моя спасительница, благодетельница, милостивая госпожа!» — не переставала повторять она. Из осторожности, стараясь усыпить подозрение Велизария, Феодора продолжала скрывать Феодоса во дворце, следя за тем, чтобы он ни в чем не нуждался. Она уже подумывала о том, чтобы дать ему одну из высших военных должностей, когда он внезапно скончался от дизентерии. Так рассказывает об этой истории Прокопий, и отсюда никаким образом нельзя заключить, что императрица похитила возлюбленного у своей наперсницы.

Говорят, что возлюбленным Феодоры был также Петр Барцимес, сириец, положивший начало своему состоянию в рискованных денежных операциях и прославившийся той ловкостью и беззастенчивостью, с которыми он вел свои дела. Поступив впоследствии на службу в преторианскую префектуру, он был, благодаря своей ловкости, замечен Феодорой и она охотно приняла его в свое окружение. Под ее покровительством он быстро достиг высокого положения и толпа по своему объяснила это быстрое возвышение, рассказывая, что он околдовал императрицу волшебными напитками и другими чарами. Между тем, Петру не было никакой нужды прибегать к подобным средствам. Благодаря своей финансовой изобретательности, этот услужливый человек всегда умел находить деньги по первому требованию своих властелинов: вот первое, что вполне обеспечивало ему благосклонность Феодоры. Человек без предрассудков, жестокий и ловкий, он действовал крайне самовластно, прибегая к самым рискованным средствам, с такой беззастенчивой смелостью спекулировал на ржи, что под угрозой народного волнения Юстиниану пришлось дать ему отставку. Покровительство императрицы, которая напрасно пыта-

лась спасти своего любимца, несколько утешило его. Вскоре после своего падения этот человек был распорядителем императорской казны, и на этой должности оказал немало услуг своей покровительнице. «Феодора,— говорит Прокопий,— была глубоко привязана к Барцимесу», разумеется, не в смысле романтической привязанности; памфлетист тут же приводит нам и причины этой симпатии императрицы к Барцимесу. Она любила его за его жестокость, за суровость, с какой он управлял ее подданными, а также за его познания и уменье распоряжаться различными магическими средствами, которые она сама охотно пускала в дело. Вот все, что говорится по этому поводу в «Тайной истории» и этого, разумеется, слишком мало, чтобы считать Барцимеса возлюбленным Феодоры. То, что он возвысился, благодаря совершенно другим причинам, доказывает его дальнейшая карьера, которой нимало не повредила смерть императрицы. Семь лет спустя после ее кончины, он опять занял прежний пост в преторианской префектуре и, несмотря на ненависть народа, Юстиниан продолжал поддерживать этого незаменимого и преданного слугу.

Что касается Ареобинда, то это был юный варвар, очень красивый мальчик, игравший роль пажа при дворе императрицы, и Прокопий говорит, что многие подозревали императрицу в любовной связи с ним. При этом необходимо заметить, что автор «Тайной истории», обыкновенно очень скорый на заключения, не ручается в этом случае за достоверность передаваемого им известия, а при ближайшем рассмотрении факта становится и совершенно ясно, насколько неправдоподобны те сведения, которые Прокопий называет «слухами». Во всяком случае из его рассказа можно заключить, что если Феодора и увлекалась несколько юным варваром, то она сделала все, чтобы жестоким обращением с ним, а впоследствии окончательным его изгнанием смыть с себя всякое обвинение в какой бы то ни было интриге.

Из этого вовсе не следует, что Феодора обладала твердыми нравственными правилами. Прежде всего она уже далеко не юной взошла на престол: в момент ее коронования ей было около тридцати лет, а этот возраст является уже началом старости для женщин Востока;

еще менее юной была Феодора в эпоху своего знакомства с Феодосом и Петром Барцимесом,— а именно ей было тогда уже сорок пять лет; а главное она была слишком умна и честолюбива, чтобы скомпрометировать себя любовными интригами, поставив на карту все свое будущее. Высокое положение обязывало ее к известной сдержанности и достоинство, с которым она себя держала, вытекало скорее из сознания практического его значения, чем из твердости ее нравственных принципов.

Но вместе с тем, если глубже рассмотреть нравственный облик императрицы, многое указывает на то, что ее тактичность и сдержанность проистекали не из одного лицемерия; в них можно скорее подметить некоторое раскаяние по поводу ее бурного прошлого, усталость и отвращение ко всевозможным легкомысленным похождениям. Она показала себя суровым стражем общественной нравственности, и немало заботилась о том, чтобы внушить своим подданным должное уважение к брачным узам и весьма немилостиво относилась ко всевозможным любовным интригам. Особенно покровительствовала она несчастным женщинам, которых скорее нищета, чем врожденная порочность, толкала на путь погибели, она употребляла все средства для их спасения, всеми силами старалась освобождать и поддерживать их. Всю свою жизнь заботилась она, по словам одного из современников, о том, чтобы приходить на помощь угнетенным и обиженным женщинам. Не потому ли, что она сожалела о собственной печальной юности, беззащитной среди соблазнов суетного света, брошенной в жертву нищете и позору? По-видимому Феодора вовсе не с таким удовольствием отдавалась ремеслу куртизанки, как это описывал Прокопий. Произошло это потому, что было обыкновенным и неизбежным уделом всякой актрисы. Очень рано религия привела ее к раскаянию; всю свою последующую жизнь сохраняла она глубокое благочестие. Честолюбие окончательно переродило ее. Взойдя на трон, эта необыкновенно умная, необыкновенно энергичная и стойкая женщина, деспотичная и страстно привязанная к власти, увлеклась совсем иными, гораздо более серьезными заботами, чем страсть к пошлым любовным интригам. В ней было много несомненных достоинств, которые могут

до некоторой степени оправдать эту жажду власти и величия, а именно честолюбивая непреклонная воля, почти мужская твердость характера, холодное спокойствие, спасавшее ее в самых затруднительных обстоятельствах. Она хотела быть настоящей повелительницей, а не только императрицей по имени. На протяжении более чем двадцати лет она правила государством вместе с Юстинианом, странным образом совмещая в себе добродетели и порочность, чисто женские страсти и способности зрелого государственного деятеля.

## V

В январе 532 года борьба цирковых партий более чем когда-либо обострилась.

Со времени своего вступления на престол Феодора из ненависти к «зеленым» совершенно распустила «голубых». Напрасно гневался Юстиниан; он всегда уступал в конце концов настояниям своей жены, а если принимал время от времени решительные меры, то скоро отменял свои распоряжения под влиянием упреков и гнева императрицы. Убежденные в своей безнаказанности, «голубые» день ото дня становились смелее: как только какой-либо сановник был им неугоден, или какой-либо из должностных лиц пытался ограничить их произвол — вся партия возмущалась и являлась к императору с требованием сместить или наказать их противника. Когда один из восточных правителей осмелился высечь некоторых из вожаков бунтовавшей кучки «голубых», он сам был подвергнут такому же унизительному наказанию на одной из антиохийских площадей. Один из сицилийских префектов, казнивший двух «голубых», напавших на него с оружием в руках на одной из аназардийских улиц, был по приказанию Феодоры распят на кресте в главном городе своей провинции, пав жертвой своего стремления соблюсти закон. В Константинополе людей убивали среди бела дня; «голубые» бросались с ножами на своих противников у самых ворот дворца, чуть ли не в присутствии

императора. И если базилевс медлил подчас с исполнением их просьб, если он собирался по-видимому покровительствовать лицу, которым они были недовольны, они сами совершали без дальнейших размышлений расправу, нападая на своего врага в момент его возвращения с аудиенции у императора, жестоко избивая его, нередко до смерти.

Серьезность положения усугублялась тем, что «зеленые», возмущенные поведениям двора, стали придавать своей оппозиции политический оттенок. Многие из них сохраняли привязанность к семье бывшего их покровителя, императора Анастаса, племянники которого, Гипатий и Помпей, жили в столице, и открыто высказывались против новой династии. Правительство, находившееся между двух огней — тиранической и требовательной дружбой «голубых» и тихо скрываемой ненавистью «зеленых» — с большим трудом поддерживало порядок и вполне справедливо опасалось восстания и кровавого столкновения партий, которое могло вспыхнуть по самому ничтожному поводу.

К тому же нетактичное поведение двух императорских чиновников, квестора Трибониана и префекта Иоанна Каппадокийского, вызывало всеобщее недовольство. Один из них, человек очень ученый, но продажный и необыкновенно падкий на деньги, беззастенчиво торговал правосудием, извращая законы в зависимости от получаемого им за это вознаграждения. Другой, замечательный администратор, но грубый, лишенный всяких нравственных правил, угодливый слуга императора, не останавливался ни перед какими мерами, чтобы выжать из подданных возможно больше денег, необходимых Юстиниану и Феодоре для покрытия их расходов, замучивал нередко до смерти тех, кого подозревал в укрывательстве своего состояния, и позволял своим подчиненным прибегать к самым непозволительным приемам при сборе податей. Оба они возбуждали к себе дружную ненависть народа, оба были в большой милости у императора, который высоко ценил их услуги и был убежден в их безусловной преданности. Но все это, вместе взятое, поддерживало и разжигало народное волнение, разразившееся наконец бунтом, известным в истории под именем вос-

стания Ника, которое, начавшись в цирке, охватило в конце концов весь город и чуть не опрокинуло трон Юстиниана.

11 января 532 года, в воскресенье, на ипподроме происходили по обыкновению бега. Император присутствовал на них так же, как, вероятно, и императрица, со всей своей свитой, знатными патрицианками, скрытая за решетчатыми окнами церкви св. Евгения, выходившими на ипподром: этикет византийского двора не позволял государыне, согласно обычным традициям Востока, слишком часто показываться народу. Присутствовавшие на бегах были настроены особенно враждебно. За последние дни в городе произошло несколько убийств. «Зеленые», кроме того, считали себя вправе, протестовать против несправедливого к ним отношения одного из свитских офицеров, Калоподия, поэтому с трибун, на которых они расположились, поминутно раздавался свист и сердитые восклицания, так что, в конце концов, раздосадованный Юстиниан приказал стоявшему возле него слуге обратиться к народу с вопросом, в чем заключается его недовольство. Сохранился любопытный документ, передающий слово в слово переговоры, которые завязались между императором и представителем партии «зеленых», документ в высшей степени характерный для того, кто пожелал бы составить себе понятие о византийских нравах VI века, и ярко изображающий ту свободу, с которой этот народ, сохранивший еще свежее воспоминание о традициях республиканского Рима, держал себя на ипподроме в присутствии своего императора.

«Зеленые», сохранявшие вначале должное уважение к священной особе императора, едва решавшиеся темными намеками упомянуть о своих гонителях, мало-помалу вошли в азарт. Они громко назвали наконец Калоподия, и угрожали божественным правосудием всякому, кто вперед решится притеснять и обижать их. «И так вы явились сюда,— воскликнул задетый за живое Юстиниан,— не для того, чтобы присутствовать на представлении, а для того, чтобы оскорблять правительство!» Началась перебранка. «Молчите,— кричал императорский представитель.— Молчите, или я сниму с вас головы!» «Иуда, палач, убийца!» — отвечали доведенные до отчаяния

«зеленые».— Лучше бы не родиться твоему отцу Савватию, он не произвел бы на свет палача! Пусть уничтожат нашу партию — правосудию только и остается одно — сложить руки!» И бросив в лицо Юстиниану обвинение в убийствах, совершенных «голубыми», «зеленые» восклицали: «Ты позволяешь убивать нас и допускаешь, чтобы нас же наказывали!»

Цирк пришел в полнейшее смятение. «Голубые», спустившись на арену, кричали: «Вы, висельники, богохульники, богоотступники, замолчите ли вы, наконец?» «Если вы, наш император, приказываете,— возражали «зеленые»,— мы замолчим, но, конечно, против нашей воли. Свершилось: нет больше правосудия. Лучше сделаться язычником, чем перейти в стан «голубых!» И «зеленые» толпами покидали ипподром. Это было самое ужасное оскорбление, какому мог подвергнуться император.

В то время как, выходя из цирка, взволнованная толпа рассыпалась по улицам, Юстиниан возвратился во дворец, рассчитывая, что, преданные ему «голубые» скоро усмирят недовольных. К несчастью Евдемон, префект Константинополя, сделал неожиданную глупость. Он захватил нескольких мятежников и, не осведомляясь о том, к какой партии они принадлежат, приговорил четверых к повешению. Палач на этот раз плохо справился со своей задачей: три раза обрывалась веревка под тяжестью приговоренных. Тогда присутствующая на казни толпа стала требовать помилования осужденных. В конце концов их вырвали из рук палача и монахи обители святого Конона укрыли их в ближайшей церкви. Тут оказалось, что один из осужденных был действительно из партии «зеленых», но другой принадлежал к «голубым». Это выяснилось на следующий день в цирке. «Голубые» и «зеленые» с одинаковым упорством стали просить императора о помиловании осужденных. Юстиниан не хотел и слышать ничего подобного. Это была большая неосторожность с его стороны: теперь в цирке к старому обычному приветствию: «Победа императору Юстиниану!» присоединились грозные крики: «Многие лета «зеленым» и «голубым», соединенным во имя милосердия!» И покинув цирк, с боевым лозунгом: «Ника!» — то есть победа, откуда и получил свое название этот бунт в истории —

мятежники бросились в город. Они потребовали у префекта освобождения заключенных, и когда тот отказал, взломали тюрьмы, выпустили на свободу пленных, перебили солдат, пытавшихся восстановить порядок, и затем рассвирепевший народ целую ночь бушевал на улицах, отыскивая и убивая ненавистных ему чиновников.

На следующий день, 14 января, взбунтовавшийся народ осаждал входы во дворец, требуя низложения префекта Евдемона и удаления двух советников императора: Иоанна Каппадокийского и Трибониана. Юстиниан уступил: он призвал в квесторы Базилида, а во главе преторианской префектуры поставил Фоку, и, казалось, когда приветствия и радостные клики народа встретили новых правителей — мятеж готов был утихнуть. Но в действительности распоряжение императора запоздало: оно только поощрило к дальнейшему бунту народ, который увидел свою силу.

До той поры умеренные держались в стороне, и казалось — не все еще было потеряно. Юстиниан решил попробовать меры строгости. 15-го он выслал против бунтовщиков гвардейские полки из варваров под начальством Велизария. К несчастью, во время сражения эти наемники потеснили духовенство, вышедшее из св. Софии с хоругвями и знаменами и пытавшееся разнять дерущихся. Благочестивое византийское население окончательно рассвирепело при виде этого святотатства. Из окон, с крыш и балконов на солдат дождем посыпались черепки и камни, и женщины, которые были особенно возмущены, приняли участие в побоище. Солдаты, терпя поражение, отступили к дворцу, и свалка достигла своего апогея, когда бунтовщики зажгли на их пути все здания. Сенат, общественные бани, Софийский собор были охвачены пламенем. Опасность грозила и самому дворцу: сгорел Халкей и часть гвардейских казарм. В продолжение трех дней бушевал в Константинополе пожар, раздуваемый сильным ветром, сгорело множество великолепных зданий, Александрийские бани, Самсониевский госпиталь со всеми находившимися в нем больными, базарные лавки, множество частных домов, выгорел дотла один из лучших городских кварталов между Августеоном и форумом Константина. Четверть города

превратилось в пепел, и среди кучки почернелых холмов, в облаках дыма, в удушливом запахе гари, на улицах, покрытых трупами, среди которых встречались и женщины, битва продолжалась. Грабеж и огонь царствовали всюду, и мирные жители бежали от надвигающейся опасности на ту сторону Босфора.

Во дворце царило смятение. Несмотря на пришедшие из соседних гарнизонов подкрепления, войск было мало. Гвардейцы, так блестяще выглядевшие на парадах, не выражали ни малейшего желания подвергаться избиению; кроме того, большая их часть, благоразумно выжидая, на чью сторону склонится победа, равнодушно бездействовала и вносила этим еще большее смущение в ряды защитников. Юстиниан мог положиться только на несколько полков, только что возвратившихся из Персии с Велизарием, на ветеранов, которые составляли личную охрану полководца, да на весьма ограниченное число придворной стражи. Но это была капля в море. И Юстиниан, все более и более волнуясь, подозревая в каждом встречном убийцу и предателя, окончательно терял голову.

18 января, на шестой день после начала бунта, Юстиниан, который не спал целую ночь, предпринял последний шаг. По внутреннему ходу, соединявшему дворец с императорской ложей, он вышел на ипподром и, приказав открыть главные бронзовые двери, которые вели на трибуну, появился в цирке с евангелием в руке и обещал всеобщую амнистию, если бунтовщики сложат оружие. «Я сам виноват во всем,— смиренно говорил он.— Дух греха соблазнял меня, когда я отказал вам в вашей просьбе о помиловании преступников». Несколько робких голосов встретили приветствием его слова, но бурные протесты тотчас же совершенно заглушили их: «Лжец, клятвопреступник!» — ревела толпа; в императорскую ложу полетели камни, со всех сторон осыпали бранью Юстиниана и Феодору. Императору осталось одно — бежать.

И то, что можно было предвидеть, наконец, случилось. Народ, озабоченный избранием нового повелителя, в продолжение недели повторявший на все лады имя Гипатия, племянника Анастаса, пришел к дворцу послед-

него, куда отослал его Юстиниан. Напрасно жена его, Мария, цеплялась за края одежд мужа, восклицая, что его ведут на смерть, и умоляя своих друзей прийти к нему на помощь. Напрасно сам он отбивался от толпы. Опьяненный победой народ насильно увлек его на форум Константина, где его подняли на щите. Вместо императорской диадемы на голову ему возложили золотую цепь одного из солдат, облекли его в порфиру, которую вытащили во время грабежа в одном из дворцовых хранилищ, и вручили ему эмблемы императорской власти. Потом, увлекая за собой нового правителя, толпа ринулась на ипподром, посадила Гипатия в императорскую ложу и вожди восстания, пренебрегая советами некоторых здравомыслящих людей, принялись обсуждать план нападения на императорский дворец. Таким образом к возмутившимся примкнули теперь все недовольные и бунт разростался: большое число сенаторов открыто высказывались в пользу племянника Анастаса, уже разнесся слух, что Юстиниан бежал вместе с Феодорой. Молодежь из партии «зеленых» блуждала вооруженная по городу, окончательно уверовав в победу, и даже встреченный Гипатий начинал успокаиваться на свой счет.

Наступил решительный момент. «Самой империи грозило, казалось, падение», как выразился один из современников. Константинополь горел, на ипподроме ликующий народ приветствовал Гипатия и осыпал оскорблениями имена Юстиниана и Феодоры, дворец был осажден. Не видя никакого выхода, император уже отчаялся в том, что может подавить мятеж, и начинал бояться за собственную жизнь. Второпях со стороны садов, выходивших на море, преданные слуги сносили на корабли императорские сокровища; Юстиниан собирался бежать. Наскоро созван был совет из оставшихся верными императору: Велизария, Мундуса, Константиолиса, Базилида и нескольких придворных. Феодора присутствовала на совете.

В этот трагический день, когда Юстиниан, окончательно потеряв голову, видел спасение только в бегстве, когда его придворные разделяли его растерянность, лишь она одна не потеряла присутствия духа. Молча сидела она в начале совещания, но потом поднялась и, возму-

щенная непростительной слабостью императора и его друзей, напомнила им о долге. «Если бы, действительно, нам не оставалось ничего, кроме бегства,— объявила она,— то и тогда я не прибегла бы к этому средству. Тот, кто носил однажды царственный венец, не должен пережить своего бесславия. Я, по крайней мере, не доживу до того дня, когда меня перестанут называть императрицей. Если ты хочешь бежать, цезарь, ничто тебе не препятствует: у тебя достаточно денег, корабли готовы, море свободно. Что касается меня, то я остаюсь. Я люблю старую пословицу, которая гласит: «пурпур — прекрасный саван». В этот день Феодора спасла трон Юстиниана в решительной борьбе, где ставкой была ее корона.

Под влиянием ее энергичных речей Юстиниан и его советники воспрянули духом. В то время как ловкий Нарзес, один из приближенных императрицы, приложил все старания, чтобы отвлечь «голубых» от мятежа, и достиг этого с помощью золота, в то время как, благодаря этому ловкому ходу, мятежный народ снова разделился на партии и уже раздавались голоса, повторявшие старый лозунг: «Да здравствует Юстиниан! Да защитит Господь Бог Юстиниана и Феодору!» — Велизарий и Мундус приготовлялись идти на приступ ипподрома. Среди горящих развалин Велизарий направился было к императорской ложе, где находился Гипатий, но часть войск отказалась повиноваться ему. Полководец в отчаянии вернулся во дворец, считая дело проигранным, но на этот раз сам Юстиниан подбодрил его. В конце концов Велизарию удалось с величайшими усилиями проникнуть на арену через выходы, которыми пользовались «голубые», и он завязал битву с мятежниками. Деятельный Мундус, который только и ждал этого сигнала, появился в свою очередь со своими варварами с противоположной стороны ипподрома, прорвавшись через так называемые «двери мертвых». И в то время как с верхних коридоров амфитеатра императорские войска осыпали мятежников тучей стрел, внизу солдаты Мундуса прокладывали себе кровавый путь среди тесной толпы. Весь цирк охватила неописуемая паника. Напрасно мятежники пытались бежать: они были окруже-

ны со всех сторон. Напрасно пытались они защищаться и протестовать: солдаты Велизария рубили всех сплеча, никому не давая пощады. Это длилось целый день. К ночи, когда избиение было остановлено, более тридцати тысяч трупов, по словам одних, более пятидесяти, по подсчету других, устилали омытую кровью землю ипподрома.

Гипатий, схваченный двумя племянниками императора, был приведен к Юстиниану вместе со своим двоюродным братом Помпеосом. Помпеос молил о пощаде со слезами на глазах. Гипатий, более мужественный, доказывал свою невиновность, клялся, что народ насильно заставил его, прибавляя, что, приказав мятежникам двинуться на ипподром, он имел в виду только одно — предать их в руки Юстиниановых войск. Он говорил правду; к несчастью, посланный им человек заблудился во дворце и не нашел вовремя императора. Но Юстиниан, успев оправиться, с иронией ответил Гипатию: «Прекрасно. Но раз вы пользовались таким влиянием над этими людьми, почему не остановили вы их, прежде чем они зажгли Константинополь?» И на следующий день издал приказ казнить их. Трупы бросили в Босфор.

Главной виновницей этих казней считают Феодору. Она поклялась, по словам одного из ее современников, не щадить вождей восстания и вырвала у императора согласие на смертный приговор. Несколько сенаторов и патрициев, замешанных в мятеже, были приговорены к смерти, а имения их отобраны в казну и распределены в виде награды между преданными Юстиниану придворными. С особенной суровостью преследовали тех, кто изменил «законному правительству»; придворных, усомнившихся в его прочности, солдат, которые не торопились защищать членов партии «голубых», примкнув к «зеленым». По приказанию императора префект начал преследования и террор охватил Константинополь.

Мятеж был подавлен, и Юстиниан мог с полным правом объявить в манифесте, разосланном во все концы империи, о том, что он восторжествовал над восставшими против него узурпаторами. Но в сущности он был обязан своей победой Феодоре: вот почему в жизни императрицы мятеж «Ника» явился одним из самых ярких

событий. В эти опасные минуты она выдвинулась среди императорских советников своей энергией и решимостью; она показала себя настоящим государственным деятелем, более хладнокровным и дальновидным, чем сам император. Таким образом с того дня она по праву завоевала себе выдающееся положение в императорском совете, каким до той поры она была обязана только слабости Юстиниана. Она навсегда сохранила его за собой и благодарный ей Юстиниан не оспаривал у нее этого первенства. И так как она обладала дальновидностью настоящего дипломата, знала толк в государственных делах и судила умно и здраво, то управляла, в качестве главного и первого советника императора, не по-женски твердо.

## VI

Павел Силентиерский, поэт и придворный, говорит в одном из стихотворений, посвященных Юстиниану, пятнадцать лет спустя после смерти его супруги, что Феодора, «прекрасная, премудрая и благочестивая императрица, память которой он восхваляет, была деятельной сотрудницей императора во всех государственных делах». И все современники ее повторяют в один голос, что она без всякого стеснения пользовалась безграничной властью, предоставленной ей императором, что она была едва ли не более самодержавна, чем он, и Юстиниан сам признавал это. В одном из манифестов 535 года, реформировавшего администрацию, ему угодно было засвидетельствовать, что и на этот раз, прежде чем принять окончательное решение, он советовался с «благоверной своей супругой, ниспосланной ему Богом». Страстно влюбленный в женщину, которую он обожал в юности, очарованный ее недюжинным умом, подчиненный ее твердой и спокойной воле — он не отказывал ей ни в чем: ни в почестях, ни во внешних знаках безграничного господства. В продолжение своего двадцатилетнего царствования она оказывала свое влияние на все: на администрацию, на политику, на церковь. И если

иногда ее влияние приносило нежелательные плоды, если ее жадность, вспыльчивость, честолюбие, разжигавшее жадность и честолюбие императора, приводило нередко к сомнительным результатам, все же нельзя не сознать, что она смотрела большей частью на государственные дела с самой здравой точки зрения и что политические ее виды, если бы они осуществились, должны были возвеличить византийскую империю, изменив, может быть, самый ход исторической жизни.

Внешние доказательства выдающейся роли, которую она занимала в качестве правительницы Византии, сохранились еще и поныне: на стенах церквей, выстроенных Юстинианом, над воротами укрепленных им крепостей имя Феодоры высечено рядом с именем Юстиниана. На императорских печатях изображение Феодоры выбито вместе с изображением ее супруга. По всей империи города и местечки добивались чести называться: Феодориатами и Феодорополями. Вместе со статуями Юстиниана воздвигали памятники и Феодоре, сановники присягали и ей на верность, как соправительнице императора. Они клялись «всемогущим Богом, единородным сыном его Иисусом Христом и святым Духом и чистой и непорочной Девой Марией, четырьмя евангелистами и св. архангелами Михаилом и Гавриилом служить верою и правдою благочестивейшим и благоверным государям: Юстиниану и Феодоре, его августейшей супруге». Таким образом повелительница империи, уверенная в своем могуществе и влиянии, Феодора распоряжалась делами церкви и государства вполне по своему усмотрению; и даже в те минуты, когда нерешительная душа Юстиниана ускользала из-под ее власти, когда обстоятельства складывались не в ее пользу и она чувствовала над собой перевес чьей-нибудь посторонней силы — смелая и ловкая, она с честью выходила из затруднительного положения и подготовляла себе верный успех в будущем. Честолюбивая и хитрая, она поставила себе целью жизни оставлять за собою всюду решающее слово, и она преуспела в этом. Она с одинаковой силой ненавидела и любила, как бы ни было высоко положение того или другого сановника, как бы ни были велики его заслуги, как бы ни был дорог императору он сам — падение его

было неминуемо, если он имел несчастье не понравиться Феодоре. Если какой-нибудь важный государственный деятель достигал помимо нее высокого положения — рано или поздно неожиданное падение показывало ему, что вне ее воли не может быть прочных путей к почести и славе. С другой стороны «верная императрица», как ее называли друзья, не щадила себя для тех, к кому однажды привязалась, не требуя от них взамен ничего, кроме слепой преданности. Все должностные лица знали, что, приобретя ее расположение, они были застрахованы от всяких случайностей, открывали себе верную дорогу к блестящей карьере, и все вели себя по отношению к ней сообразно этому.

Мы уже упоминали, каким образом ей удалось выдвинуть в префекты Петра Барцимеса; евнух Нарзес был также обязан ей своей карьерой. Бывший придворный служитель, тщедушный, хрупкий с виду, элегантный и вкрадчивый, он скоро был замечен императрицей, которая оценила его недюжинные способности, его свободный ум, его изумительную ловкость, его холодную и непоколебимую энергию. Она сделала его своим доверенным лицом, орудием для выполнения своих замыслов, она сделала его выдающимся дипломатом, в совершенстве справлявшимся с самыми щекотливыми ее поручениями; она сделала его полководцем, который являлся соперником великого Велизария. Конечно она иногда ошибалась в выборе, так, например, поддерживая, несмотря ни на что, молодого, не обладавшего никакими способностями Сергия, только потому, что он женился на одной из ее любимиц и родственнице Антонине, после того, как она добилась его назначения на важный пост в Африку, он едва не пошатнул там, благодаря своей бестактности, авторитета императора. Но в общем те, кому она покровительствовала, показали себя достойными ее милостей и ревностно исполняли те обязанности, которые она на них возложила.

И в делах церкви проявила она ту же настойчивость, защищая своих ставленников, или проводя их на высшие должности: Антима сделала она Константинопольским патриархом, Северу Антиохийскому, Феодосию Александрийскому, Иакову Баррадею открыла путь к

блестящей карьере. С особенной настойчивостью, достойной лучшей участи, преследовала она тех, кто, казалось, ускользал из-под ее влияния и пытался подорвать ее авторитет — полководцев Велизария и Бутзеса, которые недостаточно рабски преклонялись перед нею, Иоанна Каппадокийского и Приска, которые отваживались открыто оспаривать у нее власть, даже патриархов, например, Сильвера, которые отказывались повиноваться ей. Против подобных ослушников пускала она в ход решительно все: грубость, коварство и жестокость, и благодаря этим красноречивым примерам, все поняли, что нельзя пренебрегать приказаниями Феодоры, и даже если они противоречили распоряжениям Юстиниана, что случалось нередко, благоразумнее было повиноваться скорей Феодоре, чем Юстиниану.

Действительно, Феодора, в случае необходимости, не стеснялась открыто восставать против желаний мужа. Один из ее приближенных, монофизитский священник Юлиан, находившийся в числе друзей Феодосия, низложенного Александрийского патриарха, составил проект обратить в христианство нубийских язычников. Императрица всячески покровительствовала его замыслу, но узнав о нем Юстиниан решил вверить эту миссию православным священникам и снарядил посольство, которое должно было явиться к повелителю Нубии с драгоценными подарками и крестильными одеждами. Вместе с тем послано было приказание князю Феваиды поддержать насколько возможно своей властью императорских послов. Что же предпринимает в этом случае Феодора? Она посылает в Феваиду короткое, но энергичное письмо. Оно гласило, что миссионер императрицы должен был во что бы то ни стало явиться в Нубию раньше посольства Юстиниана, а если не сумеют под каким бы то ни было благовидным предлогом задержать послов императора, пока Юлиан не будет доставлен в Нубию — ответят своей головой. И правитель Феваиды недолго колебался между этими двумя противоречивыми, но одинаково авторитетными для него приказаниями. Миссионеры Феодоры первые появились в Нубии с большим блеском и пышностью. История умалчивает, добился ли какой-нибудь награды правитель Феваиды, сослуживший

такую службу императрице: вероятнее всего, да. Но такие факты, конечно, поднимали престиж императрицы на недосягаемую высоту.

Феодора не только озабочена была доставлением важных мест своим любимцам и поддержанием своего авторитета в глазах подданных. Она принимала близко к сердцу и действительные нужды своего государства, имела собственные воззрения на систему управления, вела собственную политику и дипломатию. В законодательстве Юстиниана насчитывается целый ряд мер, несомненно проведенных благодаря ее влиянию. Одни имеют в виду постоянный предмет ее исключительных забот: улучшение положения женщины; другие, еще более значительные, относятся к реформе административной. Одаренная чисто мужским умом, Феодора хорошо понимала что подтачивает благосостояние империи: кризис религиозный и финансовый. Несмотря на то, что она постоянно нуждалась в деньгах, она чувствовала, как и Юстиниан, насколько опасно было слишком беззастенчивое выколачивание налогов из подданных, вызывавшее постоянное недовольство. И она подсказала императору ряд мер в 535 году, которые вносили известную упорядоченность в отношения чиновников и народа, предписывая честность, благосклонность, отеческое отношение к управляемым. На этой почве произошло ее столкновение с безнравственным и грубым Иоанном Каппадокийским, немилостивым по отношению к своим подданным. Не меньше интересовали ее религиозные вопросы. В то время как Юстиниан, увлеченный былым величием римских императоров, бредил восстановлением единой римской империи, в которой хотел он через союз с Римом ввести православие, Феодора, более дальновидная, обратила внимание на Восток. Она предчувствовала, что богатые и цветущие провинции Азии, Сирии, Египта заключают в себе богатый материал для поддержания могущества монархии: она понимала опасность религиозных распрей, в которых обнаруживался сепаратизм восточных народов; она чувствовала необходимость умиротворить с помощью терпимости возраставшее в их среде недовольство и, приведя в исполнение свои благия намерения, тем самым доказала, что она смотрит на

вещи с более здравой точки зрения, чем ее царственный супруг.

До последних дней своей жизни, с неослабевающим вниманием, с удивительной настойчивостью стремилась она к разрешению религиозных вопросов. Она делала это не ради любви к религиозным умствованиям, как Юстиниан, она принадлежала к тем византийским императорам, которые под видом теологических споров умели угадать глубокую важность политических проблем. Вот почему она, во имя политических интересов, упорно шла к своей цели, открыто покровительствуя еретикам, держа себя вызывающе по отношению к папству и увлекая на тот же путь нерешительного Юстиниана. До последних дней жизни боролась она за свои верования, с настойчивостью, со страстностью увлекающейся женщины, мягкой или дерзкой и суровой, смотря по обстоятельствам.

С неменьшим вниманием занималась она государственными делами. Она охотно принимала послов, которые, сознавая всю глубину ее влияния на императора, усердно ухаживали за ней. Она вела переписку со многими иностранными государями, и последние, ради различных выгод, охотно льстили ее тщеславию и ее страстной жажде власти.

Когда Юстиниан задумал перенести войну в Италию и подготовлял для этой цели разрыв с готским королем Феодотом, византийский посланник Петр, на которого была возложена обязанность передать императорский ультиматум варварскому королю, был преданным слугой Феодоры, и секретная корреспонденция, которую Феодора вела в это время с Равеннским двором, указывает, что императрица преследовала и тут другие цели, отличные от проектов своего супруга. Можно ли доверять известию, что она явилась, как это сообщает автор «Тайной истории», главной подстрекательницей убийства Амалазунты, дочери Теодориха Великого, так как эта принцесса, умная, даровитая и прекрасная собою, казалась ей опасной соперницей, которая могла бы похитить у нее сердце ее мужа? Ничто не подтверждает этого. Из ее писем ясно одно, что она охотно готова была пустить в ход свое влияние на Юстиниана, чтобы изме-

нить его дипломатическую миссию. Она приглашала Феодота направлять через нее все бумаги, с которыми он намеревался обратиться к императору; казначею персидского шаха она писала: «Император не решает ничего, не посоветовавшись предварительно со мною».

Несомненно, что влияние Феодоры не всегда бывало благотворным, и многие нередко смеялись над империей, которой правила женщина. В самом деле, Феодора, несмотря на талант государственного деятеля, оставалась женщиной со всеми ее слабостями; вот почему ее капризы, страсти, любовь и ненависть часто вносили лишние волнения в мирное течение государственной жизни. Она любила деньги и, чтобы доставать их, прибегала нередко к насильственным и сомнительным мерам. Она любила своих друзей и нередко чересчур настойчиво занималась ими. Она старалась обеспечить будущность своих родных, в пылу родственной любви, с исключительной щедростью. Она выдала свою старшую сестру Комито, бывшую актрису, за высокопоставленного военного Ситтаса, друга детства императора и его любимого советника. Она пыталась женить своего внука, Афанасия, на дочери Велизария и прибрать к рукам колоссальное богатство полководца. Когда этот план рухнул, она все-таки позаботилась о блестящей карьере для Афанасия и наградила его несметным богатством. Она выдала замуж свою племянницу, Софью, за племянника Юстиниана, Юстина, предполагаемого наследника. Дядя ее Феодор, брат ее матери сделан был патрицием, членом сената; во время персидской войны он занимал несколько ответственных должностей. Много других родственников Феодоры сделали, благодаря ей самую блестящую карьеру.

В продолжение всей жизни Феодора не переставала горько сожалеть о том, что у нее не было сына, к которому мог бы перейти по прямой линии византийский престол. Когда в 530 году великий палестинский пустынник св. Савватий явился в Константинополе, где его принимали почти с царскими почестями, Феодора вместе с Юстинианом смиренно преклонились перед блаженным старцем, испрашивая его благословения. Однажды Феодора обратилась к св. Савватию наедине, прося его по-

молиться о даровании ей наконец потомства. Св. Савватий отказал ей: «эта женщина,— грубо возразил он,— родила бы только врагов церкви».

## VII

Из ближайших родственников императора самым выдающимся и наиболее популярным являлся Германос, племянник Юстиниана. Храбрый воин, энергичный полководец, ловкий дипломат, он с успехом выполнял всевозможные возлагаемые на него императором миссии. Особенно отличился он в Африке, где сумел подавить возмущение и восстановить порядок. Всюду, где бы он ни появлялся. он оставлял самые лучшие воспоминания. Солдаты обожали его; едва возникал слух о его назначении полководцем, как воины стекались под его знамена, и даже варвары считали за честь служить под его командой. Его любили за храбрость, справедливость и его заботы о правосудии и благе вверенных ему областей, а также и за то, что имя его наводило ужас на врагов империи. Стремясь внушить доверие к правительству, строгий исполнитель законов, он отличался среди придворных и общественных деятелей того времени спокойным и горделивым достоинством, и держался в стороне от всевозможных интриг, так часто взрывавших двор Юстиниана. Обладая крупным состоянием, он отличался щедростью, охотно давал взаймы тем, кто просил у него, не требуя даже процентов. Общительный и веселый, он не любил замыкаться в нелепое величие, он был всем доступен, охотно принимал у себя, двери его дома были почти всегда открыты. Словом, это была одна из благороднейших личностей среди окружавших императора придворных и сановников.

Именно поэтому на него косо смотрели при дворе. Слишком популярный, слишком любимый народом, он причинял немало беспокойства подозрительному императору; слишком глубокая натура, слишком щедрый, слишком порядочный, он еще менее нравился импера-

рице, потому что его поведение казалось очевидным порицанием высокомерных привычек императора и Феодоры. Кроме того в его лице Феодора ненавидела предполагаемого наследника той самой империи, трон которой она жаждала оставить за своим потомством. Может быть, ей была также не по сердцу его женитьба на внучке Теодориха Великого, появление которой при дворе слишком подчеркивало происхождение императрицы. Но прежде всего она видела в нем возможного соперника, влияние которого следовало во что бы то ни стало уничтожить.

Мало-помалу, благодаря наветам Феодоры, Юстиниан, который вначале охотно полагался на своего даровитого племянника, отстранил Германоса от дел, оставив его без должности, почти в немилости, а двух его сыновей, честолюбие и пылкий нрав которых внушал ему опасение, держал в черном теле. Вскоре выражения немилости императора проявились еще резче. У Германоса был брат Бораидес, который, умирая, оставил Германосу и его двум сыновьям большую часть своего состояния. Юстиниан тотчас же вскрыл завещание под тем предлогом, что у покойного остались жена и дочь, которых он лишал таким образом наследства, и нарушил волю завещателя. Ненависть Феодоры высказывалась еще очевидней, так что все боялись в конце концов сблизиться с семьей Германоса. Кроме сыновей у него была еще дочь, которая до восемнадцати лет оставалась незамужней. Наконец руки ее стал добиваться один из офицеров Велизария, Иоанн, племянник Витальена, того самого, который однажды стал при дворе Юстина поперек дороги Юстиниану. Не пользовавшийся, благодаря этому родству, особенной любовью при дворе, но храбрый, смелый и честолюбивый, он рассчитывал, что раз ему нечего было ждать от правительства — он ничего не проигрывал, примкнув к оппозиции: напротив, это могло скорее открыть ему дорогу к блестящей карьере. Для дочери Германоса это была не Бог знает какая партия, но опальный отец с восторгом принял предложение Иоанна, и оба в страхе, что один из них может передумать и отказаться — подкрепили свои переговоры торжественной клятвой. Узнав это Феодора вышла из себя

и пустила в ход все, чтобы помешать этому браку: интриги, угрозы, коварство. Ничто не помогало. Тогда она во всеуслышание объявила, что Иоанн рискует поплатиться головой за свою смелость, а так как молодой офицер был с некоторых пор не в ладах с Велизарием, то вернулся после женитьбы в армию, полный самых тяжелых предчувствий. Там он встретился с Антониной, фавориткой Феодоры; никто не сомневался, что императрица возложила на эту ловкую интриганку выполнение своих мстительных замыслов. Следует однако прибавить к чести Феодоры, что зять Германоса не слишком поплатился за свою смелость, с какой он пошел против воли императрицы. Германос и его сыновья были менее счастливы. До тех пор, пока Феодора была жива, они оставались в немилости, и благодаря ее беззастенчивым интригам, Юстиниан проникся к ним таким недоверием, что даже после ее смерти император долго сторонился их, не решаясь вернуть им прежнее положение.

Таким образом, чтобы держать в руках Юстиниана, Феодора с величайшим старанием отдаляла от него всех, чье влияние над ним могло соперничать с ее влиянием.

В 542 году, когда Юстиниан заболел чумой, которая опустошала тогда Константинополь, и слух о его смерти распространился в народе, многие сановники, стремясь воспользоваться выгодами, которые сулила перемена правления, объявили, что если император умрет, то они не позволят императрице и двору провозгласить нового императора. Подобного Феодора никогда не прощала. Как только здоровье базилевса несколько окрепло, она вызвала в Константинополь главнейших вдохновителей этого замысла, на которых указали ей ее шпионы — Велизария и Будзеса. Первый, внезапно лишенный звания полководца, чуть-чуть не поплатился жизнью за свою смелость. Второй, приглашенный Феодорой в ее гинекей, был арестован и ввергнут в подземную тюрьму, куда императрица, по словам современников, обыкновенно отправляла свои жертвы. Более двух лет провел он в этом аду, среди полнейшего мрака и безмолвия, не слыша человеческого голоса; слуги, приносившие ему пищу, получили приказание не разговаривать с ним. Все считали его уже умершим и никто не осмели-

вался даже произносить его имени, как вдруг Будзес снова появился в Константинополе. Феодора сжалилась в конце концов над своей жертвой; но из подземной тюрьмы Будзес вышел совсем другим человеком; он почти совсем лишился зрения и здоровье его было окончательно подорвано.

Подобной же немилости подвергся Приск, который, благодаря личному расположению Юстиниана, достиг высокого положения командира гвардейских полков, и, гордясь дружбой императора, счел возможным бороться с Феодорой. Приск был довольно ничтожный человек, который, благодаря своему положению, втерся в число близких к императору людей и сумел понравиться Юстиниану, выказывая преувеличенное усердие и преданность. Прежде всего он воспользовался своей блестящей карьерой, чтобы составить себе солидное состояние. Но виды его простирались гораздо дальше. Доверяя весьма неосторожно расположению к себе императора, возбужденный уже достигнутым им неожиданным успехом и почетным званием консула, которое он тогда носил, он стал вызывающим образом держать себя по отношению к императрице, позволяя себе даже отзываться о ней в весьма оскорбительных выражениях. Феодора была не из тех, которые прощают подобные вещи. Но влияние Приска на Юстиниана было настолько значительно, любовь императора к своему советнику была настолько искренна, что императрица долго не могла ничего добиться от супруга. Тогда она решилась на смелый шаг — она насильно отослала своего врага в Кизик, где он был пострижен в монахи. Перед свершившимся фактом Юстиниан смирился со своей обычной слабостью. Никогда уже больше не справлялся он о судьбе Приска; он удовольствовался тем, что конфисковал в свою пользу состояние своего прежнего любимца.

Немало лиц испытало на себе ненависть Феодоры. Бассианас, подобно Приску, позволил себе непочтительно отозваться об императрице. Это была большая неосторожность, в особенности со стороны человека, принадлежавшего к партии «зеленых». И Бассианас, понимая, что ему грозит, укрылся в церкви св. Михаила Архангела. Феодора, не обращая на это внимания, приказала

арестовать его. Но императрица выставила поводом к его аресту не личное свое оскорбление — угодливым судом Бассианас обвинен был в безнравственном поведении и приговорен к казни, полагавшейся за подобные проступки.

С такой же стремительностью Феодора мстила за оскорбления своих друзей. Когда Фотий, пасынок Велизария, счел своей обязанностью вступиться за поруганную супружескую честь своего отчима и осмелился публично среди бела дня похитить из Ефесской церкви возлюбленного Антонины — он дорого заплатил за свою дерзость. Арестованный, подвергнутый как какой-нибудь раб телесному наказанию, Фотий перенес самые ужасные пытки, с помощью которых у него хотели вырвать признание, куда он спрятал своего пленника; но этот человек, обладавший слабым здоровьем, так дороживший некогда своей физической красотой, показал под пытками удивительную стойкость. Он не сказал ни слова. Тогда Феодора упрятала его в одну из подземных тюрем. Он бежал и укрылся в Феокасской церкви. Арестованный во второй раз и снова посаженный в тюрьму, он бежал опять и искал на этот раз убежища в св. Софии, рассчитывая на то, что никто не осмелится поднять на него руку в этом всеми почитаемом убежище. Но ненависть Феодоры не знала преград. По ее приказанию, соборное духовенство выдало Фотия, и он в третий раз возвратился в свою тюрьму. Он просидел в темнице три года и уже отчаялся в спасении, когда с ним случилось, по словам современников, чудо: пророк Захарий явился ему во сне и обещал помочь в побеге. Фотий еще раз решился покинуть свою темницу и на этот раз счастье не отвернулось от него; ему удалось пробраться в Иерусалим, где он поступил в монастырь, найдя, что это единственное средство спастись от преследований Феодоры. Позднее, после ее смерти он вернулся ко двору и сделался в конце концов любимцем императрицы Софии, племянницы его прежней гонительницы.

Все те, кто помогал Фотию привести в исполнение его замысел, разделили его печальную участь. Некоторые из его родственников были по приказанию Феодоры наказаны розгами и изгнаны, другие исчезли еще более

таинственным путем. Друг его, сенатор Феодос, который принял в нем участие в Ефесе, поплатился особенно жестоко. Брошенный в подземелье, он был как зверь прикован к стене на короткой цепи, которая не позволяла ему нагнуться. Принужденный вечно оставаться на ногах, он жил как животное, спал и ел стоя; спустя четыре месяца он дошел до помешательства. Тогда его выпустили, но он вскоре умер, а имущество его конечно было конфисковано.

Приходилось изредка и Феодоре отказываться от своих мстительных планов. Диоген, человек знатного происхождения, был очень популярен в столице, и хотя принадлежал к партии «зеленых», был любим императором. Поэтому императрица ненавидела его и прилагала все усилия, чтобы его погубить. Неизвестно почему она отказалась на этот раз от своих обычных приемов: Диоген был обвинен перед судом в безнравственном поведении. Феодора позаботилась выставить целый ряд свидетелей из числа рабов подсудимого. Однако судьи, отнесясь на этот раз вполне серьезно к своим обязанностям, не нашли обвинение достаточным. Тогда Феодора призвала одного из приближенных Диогена, Федора, и с помощью угроз и увещаний старалась добиться от него согласия лжесвидетельствовать на своего господина. Когда ей не удалось и это, она захватив Федора, приказала пытать его, обвязав его голову веревкой с узлами, и стягивая ее до тех пор, пока глаза не вышли у него из орбит. Верный слуга не сдался. В конце концов суд, найдя обвинение недоказанным, отпустил Диогена на свободу к величайшему неудовольствию Феодоры.

Конечно, не преувеличивая числа ее жертв и ее жестокости, не следует изображать Феодору слишком кроткой и милостивой. Когда дело шло о ее интересах — она не останавливалась ни перед чем: убийство не испугало бы ее, если бы оно казалось ей необходимым. История с Приском и Германосом показывает, на что она была способна, когда что-либо угрожало ее власти. История с Иоанном Каппадокийским еще более характерна; приподнимая несколько завесу над обычаями и нравами византийского двора, постоянно волнуемого всевозможными заговорами и интригами, она в то же время освеща-

ет довольно ярко честолюбивую и коварную душу императрицы Феодоры, ее беззастенчивую и страстную энергию, ее изобретательный ум.

## VIII

В течение десяти лет Иоанн Каппадокийский занимал должность начальника императорской стражи. Человек темного происхождения, среднего образования и весьма сомнительного воспитания, он приобрел мало-помалу расположение Юстиниана, благодаря своему выдающемуся уму и удивительной практической сметливости. Он заинтересовал императора, вечно нуждавшегося в деньгах, грандиозными планами финансовых реформ, обещавших большие выгоды, и сделал поэтому быстро блестящую карьеру.

Современная пословица так характеризовала жителей Каппадокии: «Каппадокиец дурен от природы, достигнув положения, он становится еще хуже, а пронюхав о возможности нажиться, он становится невыносим», и своей жадностью, жестокостью и беззастенчивостью Иоанн вполне оправдал эту народную молву. Выжимая деньги и для себя, и для императора, он без всякой жалости жертвовал людскими жизнями и разорял целые города, он все позволял своим чиновникам, лишь бы они ему приносили деньги. Он сам показывал в этом пример и учил собирать подати. В подведомственных ему тюрьмах он ввел целую систему разнообразных пыток, и те, которых он подозревал в укрывательстве состояния, хорошо узнали там, к чему ведет стремление ускользнуть от податей.

Безнравственный и грубый Иоанн Каппадокийский, работая для императора, не забывал и собственного благосостояния. Вор в душе, как сказал о нем один из современников, он пускался во всевозможные спекуляции. Снабжая провиантом отправляемую в Африку армию, он поставлял скверные сухари, которые сгнивали в пути и вызывали эпидемии в войсках; зато Иоанн Кап-

падокийский нажился на этой операции. Он плутовал при выдаче жалования и пенсий и, обирая таким образом бедняков и сея разоренье, он скопил колоссальные богатства. Все ненавидели его, но в глазах Юстиниана Иоанн стоял очень высоко: при первом требовании он снабжал императора необходимыми суммами. Император не интересовался, каким образом достигал Иоанн этих блестящих результатов и, может быть, в самом деле не имел понятия о его жестокости. Во всяком случае, благодаря своей изобретательности, с какой он добывал деньги, своим постоянным заботам о финансах, за что император даже благодарил его публично, Иоанн сумел стать необходимым и все ему прощалось. Хороший администратор, несмотря на свои пороки, он обладал многими качествами настоящего государственного деятеля, энергией, смелостью, с какой высказывал свои убеждения и, несмотря на ненависть, вызываемую им, весь двор дрожал перед могущественным фаворитом, заискивал перед ним и в угоду Юстиниану хвалил его ловкость и прекрасные результаты его деятельности.

Мятеж «Ника», вызванный отчасти и его притеснениями, чуть не испортил ему карьеру. Он был удален при восторженных аплодисментах столицы, но император уже не мог обойтись без него. Очень скоро он вернулся к власти более жестокий и жадный, чем когда-либо, вполне убежденный в расположении к нему императора. Он был сделан патрицием и консулом и Юстиниан, который в официальном рескрипте благодарил его за то, что он принял так близко к сердцу спасение императора, окончательно слепо доверился этому преданному и полезному слуге.

Завладев таким образом расположением государя и разбогатев, Иоанн мало-помалу дошел до ослепления своим всемогуществом. Обладая душой низменной и чувственной, он всегда любил власть и материальные выгоды, которые она ему приносила. Он любил хороший стол, тонкие вина: за какое-нибудь особенно удачное блюдо он раздавал своим поварам высокие общественные должности. Он выписывал самых редких рыб с берегов Геллеспонта и Черного моря. В веселой компании он проводил за пирами целые ночи и не любил, чтобы его

тревожили даже ради дел государственной важности. Нередко по утрам его находили мертвецки пьяным или до такой степени объевшимся, что он заболевал. Его безнравственность была притчей во языцех. В своем зеленом платье, которое резко подчеркивало мертвенную бледность его лица, он рыскал по улицам столицы, окруженный разными прожигателями жизни и куртизанками. В прозрачных одеждах, которые не скрывали их прелестей, эти веселые женщины окружали носилки всемогущего сановника, ублажали его ласками и поцелуями в то время, как Иоанн, небрежно опершись на плечо одной из своих фавориток, охотно допускал все это, надеясь ослепить умы своих современников этой показной роскошью, этим скандальным, но блестящим зрелищем и завоевать себе то будущее, которое нашептывали ему его честолюбивые мечты.

Как и большинство его современников, Иоанн Каппадокийский был очень суеверен, он верил в предсказания, призывал гадалок, и они напевали ему, что в будущем его ждет царская порфира.

Стремясь облегчить себе доступ к ней он прибегал к колдовству, не страшась ни Бога, ни дьявола; подозреваемый даже в язычестве, он осмеливался открыто презирать благочестивые обычаи православного двора, редко появлялся в церкви, и присутствуя на богослужении, бормотал языческие молитвы. У себя дома он восстановил служение древнегреческим богам: в одежде верховного жреца он умолял богов сохранить ему доверие императора, пока не приблизился час окончательного падения Юстиниана. Наконец, так как он обладал в достаточной мере практическим смыслом, он употреблял свое богатство на приобретение себе сторонников и с большой пышностью путешествовал по провинциям, стремясь к возможно большей популярности.

Расчищая себе дорогу к трону, он не побоялся бросить вызов Феодоре. Вместо того, чтобы угождать и льстить ей, окружать ее тем подобострастием, которое она так любила, Иоанн обходился с ней небрежно и дерзко; больше того: он открыто клеветал на нее императору, надеясь превратить в ненависть ту великую любовь, с которой Юстиниан относился к своей жене. Та-

ких вещей Феодора не прощала. Между Иоанном и императрицей разгорелась ожесточенная беспощадная борьба. Готовая на все, Феодора только ждала удобного случая, чтобы уничтожить своего соперника. Иоанн в свою очередь, сознавая, что она является главным препятствием на его пути, не останавливался ни перед чем, чтобы столкнуть ее. Он хорошо сознавал, с каким опасным противником он имеет дело. Он знал, что она способна прибегнуть к убийству, чтобы освободиться от врага, и по ночам не мог спать спокойно, несмотря на то, что был окружен многочисленной стражей; вздрагивая каждую минуту, он напряженно вглядывался в темноту, ожидая увидеть у своей постели наемного убийцу, и сам осматривал запоры у дверей. С наступлением утра страх проходил. Он знал, до какой степени он необходим Юстиниану, знал, каким он пользуется влиянием на императора; он надеялся также на ужасный беспорядок, который намеренно допускал в административных делах и в котором трудно было разобраться кому-нибудь, кроме него. И не заботясь о возмездии или о том, что зло порождает зло, он продолжал свой обычный образ действия, обогащая близких к нему лиц, наполняя администрацию своими ставленниками, расхищая казенные суммы.. Все преклонялись перед его всемогуществом и никто не произносил иначе как с похвалой имени этого «врага законов» и «худшего из людей».

Но Иоанн Каппадокийский не принял во внимание коварство Феодоры. Сначала императрица попыталась открыть глаза Юстиниану на те бедствия, которым подвергались подчиненные под его управлением, на серьезное недовольство, которое это управление вызывало, на опасность, которой подвергалась сама монархия. Весьма умно императрица не касалась своих личных интересов и взывала к здравому смыслу базилевса, к его страстной любви к порядку и точности, к заботливости о благосостоянии народа, которым он всегда гордился. Но ничто не действовало. Юстиниан не решался расстаться с человеком, которого даже враги его называли «могущественнейшим гением своего времени» и для которого «не существовало затруднений». Тогда Феодора попробовала возбудить подозрительность Юстиниа-

на, указав на опасность, которой, в виду честолюбия Иоанна, подвергался авторитет и самая жизнь императора. Юстиниан, который обыкновенно быстро сдавался на подобные доводы, спеша при малейшем поводе отделаться от своих лучших друзей, возбудивших его опасения — на этот раз не хотел ничего слышать. Подобно всем слабохарактерным людям, он колебался внезапно расстаться с человеком, к которому привязался в силу долгой привычки, к которому питал искреннее расположение. Феодора терялась. Она не могла прибегнуть к каким-нибудь насильственным мерам по отношению к всемогущему Иоанну, как это она сделала с Приском. Его слишком хорошо охраняли: почти невозможно было отделаться от него с помощью тюрьмы, или убийства. Но Феодора была изобретательна. Она придумала, как погубить Иоанна.

Антонина, жена Велизария, возвратилась в это время из Италии в Константинополь. Эта умная и смелая женщина, страстная и сдержанная в одно и то же время, лучше чем кто-либо была способна провести самую сложную интригу. Уже не раз она доказывала в этом отношении свое уменье и приходила в затруднительных случаях на помощь императрице. На этот раз ей было особенно выгодно оказать услугу императрице, которая знала ее тайны и покровительствовала ее роману. К тому же она искренно ненавидела Иоанна. Она знала, до какой степени слава Велизария колола глаза Иоанну, как страстно тот завидовал полководцу, его значению и его популярности. И хотя она не была особенно верной женой — она боялась немилости мужа, которая отозвалась бы больно и на ней. И она охотно пошла навстречу желаниям Феодоры и приложила все свои старания осуществить задуманную интригу.

У Иоанна была дочь Евфимия, наивный и чистый ребенок. Она была гордостью своего отца и счастьем всей его жизни. Антонина сошлась с ней. Видясь с ней ежедневно, она сумела вкрасться к ней в доверие и сделала вид, что открывает ей свою душу. Однажды, когда они болтали наедине, Антонина стала рассказывать своей молоденькой подруге о недовольстве Велизария, она горько жаловалась на то, что после завоевания Италии

и Африки, приведя в Византию двух плененных царей и доставив несметную военную добычу, знаменитый полководец видит со стороны Юстиниана одну неблагодарность, и, воспользовавшись удобным моментом, принялась хулить правительство. Евфимия, ничего не подозревая, с интересом выслушивала ее и, ненавидя со своей стороны императрицу, как злейшего врага своего отца, она наивно спросила: «Но, дорогая моя, чего ради терпите вы все это, раз армия в ваших руках»? Антонине только того и было надо. «Мятеж в армии не приведет ни к чему, если у нас не будет сторонников в столице. Ах, если бы твой отец примкнул к нам, тогда с Божьей помощью нам удалось бы довести дело до конца».

Евфимия, конечно, передала отцу этот разговор, и обрадованный Иоанн, предвидя уже исполнение предсказания, сулившего ему трон, объявил, что готов завтра же переговорить с Антониной. Чтобы отклонить от себя хотя бы малейшее подозрение в коварстве, жена Велизария отказалась явиться к Иоанну для переговоров. «Это слишком опасная игра,— объявила она,— в столице, кишащей шпионами, недалеко до виселицы». Но через неделю она должна была покинуть Константинополь, направляясь к мужу в восточную армию. Выезжая из Византии, послала она сказать Иоанну, что она остановится в принадлежавшей Велизарию уединенной вилле в предместьях Руфинианы на азиатском берегу. Под предлогом прощального визита Иоанн может посетить ее там, и они поговорят без помехи о своем плане и предполагаемом союзе. Эта осторожная тактика понравилась Иоанну, и он назначил день для переговоров. Феодора тем временем, осведомленная обо всем, предупредила Юстиниана.

Император все еще сомневался; он не мог допустить мысли, что Иоанн изменял ему. Не без труда удалось императрице убедить его послать на виллу, в день свидания префекта с Антониной, двух доверенных лиц — Нарзеса и Марцела, начальника стражи на вилле Велизария. Спрятанные Антониной, они должны были присутствовать при разговоре и получили приказание, в случае если предательские замыслы Иоанна станут им достаточно ясны, арестовать его; а если бы он стал сопротив-

ляться — то и убить его. Феодора надеялась, что враг ее погибнет таким образом во время схватки, не успев оправдаться.

Но уступая настояниям императрицы, Юстиниан, из любви к своему прежнему другу, предупредил его об опасности, угрожавшей ему на уединенной вилле. Иоанн Каппадокийский не обратил внимания на этот совет и ночью, как было условлено, соблюдая осторожность, переплыл Босфор и явился в Руфиниану. Он захватил с собой сильную охрану. Принятый Антониной в саду виллы он согласился на все, что она ему предложила, и торжественно обещал содействовать гибели императора. В эту минуту Нарзес и Марцел, спрятанные за изгородью из стриженых деревьев, кинулись со своими людьми на Иоанна, пытаясь задержать его. На шум прибежала стража Иоанна. Завязалась схватка. Марцел был ранен, а Иоанну удалось ускользнуть, и, вернувшись в Константинополь, он спрятался в священном убежище, в св. Софии.

Это и погубило ловкого сановника, который обыкновенно отличался большим хладнокровием и присутствием духа. Если бы он дерзнул смело явиться к императору — ему, может быть, удалось бы убедить Юстиниана в своей невиновности. Спасаясь бегством, он тем самым признал свою вину. По обычаю низложенные сановники постригались в Византии в монахи. Иоанна постригли в монахи наскоро в самой св. Софии, несмотря на его сопротивление, и так как под рукой не оказалось монашеских одежд, на него накинули подрясник одного из ключарей, который был при пострижении. Прокопий рассказывает, что ключаря звали Августом и что таким образом гадалка, предсказавшая префекту, что он будет некогда носить одежду Августа, не солгала.

Иоанн Каппадокийский не смирился. Он никогда не исполнял монашеских обязанностей, не желая окончательно закрыть себе доступ к прежнему положению. Веря в свое счастье, он не терял надежды на то, что ему удастся вернуть милость императора. Юстиниан действительно обошелся с ним необыкновенно мягко. Изгнанный в Кизик, Иоанн получил по распоряжению императора назад большую часть своего состояния.

И так как, в более счастливые дни, он осмотрительно отложил кое-что из своих сокровищ — он был по-прежнему богат, и живя в своем мирном и роскошном убежище, он чувствовал бы себя вполне счастливым, если бы не сожаление о прошлом величии. Общественное мнение в Византии было страшно возмущено тем, что такой дурной человек с такой легкостью загладил свою вину и больше чем когда-либо наслаждался жизнью.

К счастью для правосудия и справедливости Феодора не дремала. Во время этого опасного момента, важнейшего в ее жизни, не раз пришлось ей дрожать за свое могущество. Никогда не прощала она людям, которые угрожали пошатнуть ее власть. Ненависть ее к Иоанну не ослабела; упрямо выжидая случая окончательно погубить своего врага, она преследовала его до самой своей смерти.

Во главе Кизикской церкви стоял епископ Евзебий, ненавидимый всеми. Напрасно просили императора о его низложении; он упорно держался, благодаря своим интригам и доверию, которым пользовался при дворе. В конце концов всеобщее негодование против него возросло настолько, что на жизнь его было совершено покушение; он был убит среди бела дня на форуме. Все знали, что Иоанн Каппадокийский не ладил с Евзебием. Феодора с радостью схватилась за удобный случай скомпрометировать его в этом деле. Сенаториальная комиссия отправлена была в Кизик для розыска. Иоанна арестовали, бросили в тюрьму, наказали розгами, как вора или разбойника с большой дороги. Невиновность его, однако, была настолько очевидна, что невозможно было приговорить его к смерти. В угоду императрице у него отобрали все его имущество, отняли у него даже его одежды, оставив ему только бедную тунику, и изгнали под стражей в Египет. К довершению унижения, капитан корабля, увозившего его в Египет, получил приказание высаживать Иоанна на берег в каждом порту, мимо которого они проходили, и заставлять его просить милостыню у прохожих. И бывший начальник императорской гвардии, бывший патриций, бывший консул, превратившийся в нищего, действительно протягивал руку за подаянием. В конце концов его поселили в Ан-

тиное, но и тут Феодора не забыла его. Она отыскала убийц кизикского епископа и угрозами и обещаниями принудила одного из них сказать об участии в убийстве Иоанна. Но другой, несмотря на все пытки, не хотел лгать и спасти себя, оговорив невинного. Таким образом Иоанн уцелел; но до самой смерти своей гонительницы он пробыл в изгнании.

Тем не менее, в самые тяжелые минуты, этот энергичный человек не падал духом, не потерял веры в себя и дерзости. Этот человек, вспоминая о прежнем своем положении, не отказывал себе в удовольствии напоминать александрийцам о том, что они должны казне. Этот изгнанник еще мечтал о престоле. В день смерти Феодоры, он появился в Константинополе, с прежней верой в свою звезду. Но было слишком поздно. В продолжение семи лет Юстиниан успел забыть о прежнем любимце. Иоанн не вошел снова в милость, и умер в той монашеской одежде, которую надел против воли.

В этом всемогущем сановнике, честолюбивом, умном и беззастенчивом, таком же как и она, Феодора нашла себе достойного врага. И она имела все основания гордиться победой, доставшейся ей с таким трудом.

История отношения Феодоры к Велизарию и его жене Антонине не менее поучительна для выяснения характера императрицы, чем ее борьба с Иоанном Каппадокийским.

## IX

Благодаря своей славе, популярности, влиянию и богатству, Велизарий, подобно Иоанну Каппадокийскому, мог казаться Феодоре серьезным соперником, и, может быть, еще более опасным, потому что в руках его была многочисленная армия, главный фактор государственных переворотов в Византии.

Велизарий был гениальнейшим полководцем своего времени. Победитель персов, остогов, вандалов, покоритель Африки и Италии, он привел в Константинополь двух плененных царей, привез Юстиниану сокровища Ген-

зериха и Теодориха, расширил границы империи. После падения Карфагена, во время блестящего празднества на ипподроме он в последний раз воскресил в памяти византийцев воспоминания о прошлой славе Рима. В продолжение нескольких часов развертывались перед глазами восторженной толпы пышные трофеи покоренной им Африки: золотые троны, драгоценные вазы, роскошные блюда, груды драгоценных камней, пышные экипажи, длинная процессия пленных варваров в живописных одеждах, среди которых находился Гелимер, в своей королевской пурпурной мантии, с печальной и иронической полуулыбкой на бледных губах. С высоты своей триумфальной колесницы Велизарий щедро наделял толпу серебряными вазами, золотыми поясами, монетами, которые бросал целыми пригоршнями. И благодарный Константинополь воздвиг победителю золотые статуи, и на медалях в память события, воскресившего «римскую славу», поместил изображение Велизария рядом с Юстинианом. После взятия Равенны Константинополь в продолжение нескольких недель только и толковал о его славе. Когда он проходил по улице, сопровождаемый своей охраной в живописных готских костюмах или одеждах персов, мавров и вандалов, толпа не переставала восторгаться его прекрасной фигурой, его внушительным видом, его благородной осанкой. Всюду восхваляли его добродетель, храбрость, победы; его восторженно приветствовали, вокруг него теснились, считая за честь поздороваться с ним. Велизарий доступный, ласковый, находил каждому в ответ доброе слово, и окруженный преданной ему всей душой армией и охраной в семь тысяч человек казался могущественным государем, возвращавшимся в собственную столицу.

Он был всеобщим кумиром. Солдаты обожали его за беспримерную храбрость, с какой он во главе своих войск бросался в сражение как простой воин, и также за его щедрость, с какой он раздавал деньги и награды. Считалось исключительной честью состоять в его свите; храбрейшие из побежденных охотно служили ему. Ради одного слова одобрения, его гвардейцы считали за счастье умереть за своего вождя. В провинциях он был любим за то, что в войсках его царствовала образцовая

дисциплина, за то, что он не позволял без нужды разорять страну. В Константинополе народ забыл о кровавом усмирении им мятежа «Ника» и, помня только о его победах, провозглашал его величайшим полководцем в мире. Одно его имя сулило победу. Он мог стать королем Италии, царствовать над теми самыми готами, которых он победил и которые — знатоки в военном деле — предлагали ему трон. Окруженный ореолом громкой славы, обладавший несметными богатствами Велизарий был настоящим господином Византии.

Принимая участие во всех важнейших государственных делах, ближайший советник императора, Велизарий, не желая того, беспокоил всех тех, кто жаждал власти. Иоанн Каппадокийский ненавидел его, видя в нем опасного соперника, Феодора также его не любила, страшась, как бы в один прекрасный день он не произвел государственного переворота. Сам Юстиниан, несмотря на доверие, с каким относился к своему другу детства, опасался, как бы он не вырвал у него из рук корону. И в Византии ходили слухи, будто Велизарий ожидал только удобного случая, чтобы погубить правительство.

К счастью для императора Велизарий не был дипломатом: это был храбрый воин, искренно преданный и честный; иной славы он не жаждал. Земляк императора, привязанный к нему с самого вступления его на престол — он считал, что узы, соединявшие его с его повелителем, гораздо крепче и искреннее, чем отношения подданного к своему государю вообще. И когда Юстиниан заставил его поклясться, что никогда, пока он жив, Велизарий не будет стремиться к престолу, он охотно дал и сдержал свою клятву. Он не предавался честолюбивым мечтам. Любя почести, славу и популярность, он не жаждал власти. Он был рожден, чтобы быть добросовестным исполнителем предначертаний свыше. Его величие подчас смущало его и чтобы заставить простить себе эту славу, он смирялся иногда больше, чем это было нужно. Он знал, что императрица не любила его. Чтобы ее обезоружить, он старался всячески служить ей. Он знал, что Юстиниан завидовал его славе, богатству и влиянию, он всеми силами старался успокоить его.

Храбрый солдат часто выказывал недостаток гражданского мужества. Всю жизнь он боялся Феодоры, всю жизнь он слишком вмешивался поэтому из любезности в женские интриги.

Всю жизнь приходилось ему терпеть всевозможные мелочные уколы. Рядом с ним находились в африканской кампании шпионы, доносившие в Константинополь о каждом его шаге. Во время итальянской кампании к нему приставлен был в качестве соглядатая Нарзес, доверенный Феодоры, снабженный письменными полномочиями, которыми полководец отдавался ему в распоряжение. Три или четыре раза он был внезапно отозван от армии; дошло до того, что у него отнимали свиту и часть его имущества. После первого блестящего похода в Италию ему отказали в триумфе. Так поступали в исключительных случаях. Но Феодора нашла более верное средство держать его в руках; она действовала через Антонину.

Если верить «Тайной истории», Антонина, подобно Феодоре, была женщиной с бурным прошлым. Дочь куртизанки и кучера, она вела прежде самую распущенную жизнь; потом вышла замуж, довольно неудачно, и в этом браке прижила нескольких детей, между прочим Фотия. Овдовев, она встретилась с Велизарием и, хотя была уже далеко не молода, во время вступления Юстиниана на престол ей было около сорока лет, пленила сердце полководца. Он женился на ней и всю жизнь любил ее так страстно, что константинопольские кумушки не могли себе объяснить этого иначе, как колдовством. Как бы то ни было, он обожал ее, не имея мужества расстаться с ней, он увозил ее с собою, отправляясь на войну в Африку, в Италию, на восток, и всегда советовался с ней, не предпринимая без ее ведома ни одного важного дела. Ради нее он забывал иногда о своем долге и высших государственных интересах. Ради нее он всю жизнь вмешивался во всевозможные интриги и не останавливался ни перед чем, чтобы удовлетворить ее капризам, ненависти, или любви. Даже друзей Велизария шокировала эта страсть.

Следует заметить, что Антонина была умна, смела и давала отличные советы. Во время осады Рима она,

сопровождаемая небольшим конвоем, пробралась через осадную линию, чтобы поторопить резервы. Во время второй итальянской кампании она присутствовала при приступе. Ее пытливый ум не упускал из виду никаких важных мелочей. Во время плавания эскадры, направлявшейся в Африку, она одна сумела изобрести способ сохранять в амфорах пресную воду, зарывая их в песок в трюме. В особенности близко к сердцу она принимала всегда славу Велизария, она не колебалась пускаться в утомительное путешествие из Италии в Византию, когда требовались подкрепления, она употребляла в пользу Велизария все свое значение при дворе.

Прибирая к рукам Антонину, Феодора держала тем самым в повиновении Велизария. Императрица быстро сообразила это. Вначале она по-видимому не чувствовала особенной симпатии к жене знаменитого полководца. Она даже довольно откровенно ненавидела ее. Смотрела ли она на нее косо, благодаря ее скандальным романам, которые сделали Велизария посмешищем двора? Возможно. А может быть она опасалась, что Антонина, пользуясь своим влиянием на Велизария, подтолкнет его на какой-либо шаг, опасный для Юстиниана. Антонина была в самом деле помешана на интригах, умела ловко плести их, не особенно останавливаясь перед сомнительными средствами. Она была натурой страстной, честолюбивой, жадной до власти и более смелой и умной, чем Велизарий. Феодора не без причины боялась, что подобная женщина заставит как-нибудь Велизария изменить своей клятве.

У Антонины были свои слабости.

22 июня 533 года, когда византийский флот покидал Константинополь, направляясь в Африку, патриарх Епифан, желая, чтобы благословение свыше осеняло благочестивое предприятие, отправил на адмиральском корабле только что крестившегося молодого воина. Его звали Феодосом и Велизарий и Антонина знали его и прежде и даже были его восприемниками. Антонина не замедлила заинтересоваться им. За время длинного плавания она успела влюбиться в него, и так как в подобных случаях не останавливалась ни перед какими предрассудками — стала тут же его возлюбленной. Сначала она

держала эту связь в тайне, но мало-помалу совершенно перестала стесняться. Все домашние знали об ее романе, исключая самого Велизария. Тем не менее однажды в Карфагене Велизарий застал влюбленных в одной из нижних комнат дворца в таких одеяниях, которые не позволяли сомневаться, в чем было дело. Велизарий вышел из себя. Но Антонина с апломбом объявила: «Мы просто собирались припрятать некоторые драгоценности, чтобы скрыть их от императора». Славный полководец любил деньги. Он еще больше любил свою жену. Он охотно позволил провести себя, предпочитая не верить собственным глазам. Ободренная этим ослеплением, Антонина совершенно распустилась и когда Велизарий вернулся в Византию, и когда на следующий год он опять уехал в Сицилию — она всегда возила за собою своего любовника и даже добилась от мужа назначения Феодоса начальником его двора.

В Сиракузах она вела себя скандально. Тем не менее никто из окружающих не решался громко порицать ее; все знали о слабости Велизария к своей жене, все знали и о том, как опасно было возбуждать гнев Антонины, умевшей так ядовито мстить врагам, и все предпочитали лучше жить в согласии с нею, чем открывать на нее глаза Велизарию. Однако, одна из ее прислужниц, Македония, которая была почему-то недовольна ею, решилась объявить Велизарию о его позоре и в подтверждение истинности своих слов выставила свидетелями двух постоянно находившихся при Антонине рабов. Велизарий в порыве гнева приказал было умертвить Феодоса; но солдаты, которым было это поручено, сочли нужным предупредить юношу об угрожавшей ему опасности. Он бежал и скрылся в Ефесском святилище. Что касается ловкой Антонины, то она сумела выпутаться и на этот раз. Она убедила Велизария, что стала жертвой гнусной клеветы, и без особого труда доказала ему свою невиновность. Затем, чтобы уберечь себя от подобных случаев, она упросила мужа выдать ей доносчиков. Чересчур болтливая горничная и неверные рабы понесли должное наказание: им отрезали языки.

Антонина не менее жестоко разделалась и с остальными своими врагами. Один из старших офицеров, Кон-

стантин, осмелился сказать: «на месте Велизария, я оставил бы в покое любовника, но убил бы изменницу!» Антонина не забыла этих слов. Терпеливо, настойчиво старалась она погубить Константина во мнении мужа. И так как офицер отличался большим самолюбием и был очень вспыльчив, Антонине скоро удалось поссорить мужчин, тем более, что Константин во время итальянской кампании имел неосторожность взять какие-то драгоценности у одного из равеннских нотаблей и, несмотря на все настояния Велизария, не захотел их вернуть потерпевшему. Велизарий вышел из себя и позвал стражу. «Чтобы убить меня, конечно!» — воскликнул Константин, который знал, что Антонина ненавидела его. Не ожидая, пока его схватят, он бросился с кинжалом на Велизария. Он был арестован и казнен. Антонина торжествовала.

Разумеется, по просьбе своей жены, Велизарий поторопился вернуть Феодоса. Велизарий взял с собой в Италию сына Антонины, Фотия, к которому был искренно и глубоко привязан. Фотий ненавидел Феодоса, которого подозревал в связи с матерью и отчасти ревновал к Велизарию; и Феодос, не обладавший, по-видимому, особенной храбростью, объявил, что не вернется, пока Фотий будет находиться при полководце. Антонина не колебалась в выборе между сыном и возлюбленным. Она так повела дело, что Фотий устал бороться с ее мелкими вздорными выходками, разбитый и разочарованный вернулся в Византию. И на глазах снисходительного Велизария Феодос и Антонина без помехи продолжали свой роман. Когда после взятия Равенны знаменитый полководец вернулся в Константинополь, торжествующая Антонина смело вступила в столицу между своим мужем и любовником.

Феодора очень скоро узнала об этой связи, длившейся целых семь лет, вызывавшей всеобщие толки, и Антонина поняла, что все ее похождения известны императрице. На этой почве сблизились обе женщины. Чтобы окончательно обезоружить Феодору, Антонина отдала себя в распоряжение императрицы, и с обычной ловкостью ей удалось, во время пребывания в Италии, подставить ножку врагу Феодоры, Сильверу. Феодора, ценившая по

достоинству подобные услуги, поняла со своей стороны, что, покровительствуя любви жены Велизария к Феодосу, она легче всего сумеет сделать ее орудием своей политики и залогом верности Велизария трону. Заключив союз на почве общих интересов, обе женщины скоро сошлись ближе и наконец подружились. Антонина сделалась фавориткой Феодоры и ее поверенной. Она получила высокую должность при дворе.

Феодоса тем временем начинала беспокоить его слишком громкая связь; может быть, требовательная любовница уже наскучила ему. Он расстался с нею и, чтобы она оставила его в покое, удалился в монастырь. Антонина пришла в отчаяние, облеклась в траур, не хотела никого видеть и не переставала вздыхать и плакать, даже в присутствии Велизария, по поводу разлуки с преданным дорогим другом. Она сумела устроить так, что покладистый Велизарий, испросив аудиенцию у Юстиниана и Феодоры объявил, что не может обойтись без Феодоса и умолял позволить ему вернуться. Уезжая в Персию, он согласился оставить Антонину в столице. Едва он успел пуститься в путь, Феодос, который объявил было, что не желает оставлять монастырь, поспешил возвратиться к своей возлюбленной.

Страсть Антонины доводила ее до безрассудства.

Предоставленный самому себе, Велизарий начинал, наконец, понимать истинное положение вещей. Фотий принял на себя обязанность окончательно открыть ему глаза. Чувствуя тяготевшую над ним ненависть матери, которая всеми силами старалась погубить его в глазах отчима и даже, по слухам, собиралась совершенно устранить его, Фотий решился на отчаянный шаг. Он доказал Велизарию, до какой степени недостойно вели себя по отношению к нему его жена и Феодос. На этот раз, чувствуя поддержку, великий полководец, наконец, окончательно рассердился. Он умолял Фотия помочь ему отомстить за его поруганную честь, но даже в эту минуту он не хотел причинить какое-нибудь зло Антонине. «Я по-прежнему люблю жену,— сказал он.— Я хочу только наказать человека, который опозорил меня, но пока Феодос жив, я не могу относиться к ней по-

прежнему». Несмотря на все эти недомолвки, несмотря на то, что Фотий не мог рассчитывать на Велизария, молодой человек решил помочь ему. Отчим и пасынок поклялись над Евангелием поддерживать в этом деле друг друга и даже умереть один за другого, если это будет нужно. Они стали выжидать удобного случая.

В 541 году Антонина как раз только что оказала Феодоре громадную услугу. Она была душой интриги, погубившей Иоанна Каппадокийского, и значение ее при дворе все возрастало. Уверенная в своей безопасности, она, отослав своего любовника в Ефес, поехала к мужу. Вопреки ожиданию, она нашла Велизария в отчаянии. Узнав о ее приезде, он позабыл обо всех своих делах. Первый раз в жизни он плохо принял Антонину. Он тайно заключил ее под стражу и собирался даже убить ее. В то же время Фотий подверг допросу одного из евнухов своей матери, узнал от него, где скрывается Феодос, и захватил с помощью местного епископа возлюбленного Антонины в церкви св. Иоанна в Ефесе, откуда Феодос отправлен был в Киликию.

Велизарий и Фотий плохо рассчитали. Феодора вовсе не собиралась давать в обиду свою подругу. Взволнованная известием об аресте Феодоса, она поспешно призвала Велизария в Византию. Читателю уже известно, как жестоко она отплатила Фотию за его расправу с любовником его матери и с какой спокойной смелостью она соединила свою фаворитку с ее драгоценным возлюбленным. В то же время она помирила супругов. Великая любовь полководца к своей жене смягчила его чувства по отношению к Антонине и Феодора без труда водворила мир и согласие в доме Велизария. Он вновь принял к себе Антонину и забыл о судьбе Фотия и его друзей.

В угоду императрице Велизарий нарушил клятву и показал свою слабохарактерность. Эта история набросила тень на его имя и он надолго затаил в душе глухой гнев против обеих женщин, так жестоко унизивших его. Вернувшись в 542 году к своим полкам, он довольно небрежно вел кампанию и даже позволил себе оскорбительно отозваться об императрице. Феодора нашла нужным преподать ему хороший урок. Велизарий был не-

ожиданно вызван в Константинополь, получил приказание сдать одному из евнухов императрицы находившиеся при нем суммы и отослать в армию несколько офицеров из его личной свиты, в верности которых сомневались при дворе. Холодно принятый Юстинианом и Феодорой, почти позабытый своими друзьями, которые боялись скомпрометировать себя, Велизарий попал, казалось, в полную немилость и жалко было смотреть на славного полководца, всеми оставленного, одиноко скитавшегося по улицам Константинополя, трепетавшего за свою жизнь и ожидавшего каждую минуту, что его окружат убийцы.

Тем временем влияние Антонины при дворе возрастало. Она продолжала считаться подругой, поверенной императрицы. Ловкая Феодора решила окончательно примирить супругов, рассчитав, что если Велизарий будет обязан Антонине своим прощением, то он до конца жизни сохранит благодарность и преданность к той, которая спасла его. Так, однажды, после того, как Велизарий, явившись на аудиенцию во дворец, встретил особенно холодный прием и лег дома в постель, дрожа от страха, поздно вечером в дверь его неожиданно постучали. «Бумага от императрицы»,— воскликнул лакей. Велизарий, убежденный, что пришел его последний час, лежал неподвижно, готовясь встретить смертельный удар. Но вместо палача перед Велизарием стоял один из прислужников императрицы с письмом. «Ты хорошо сознаешь свою вину перед нами,— гласило письмо,— но я обязана твоей жене многими серьезными услугами и ради нее прощаю тебя, Велизарий. Знай, что ты обязан жизнью Антонине, от нее же зависит твое будущее, сообразно тому, как ты будешь вести себя с нею». Антонина, которой было известно содержание письма, с любопытством ждала, какое впечатление произведет оно на Велизария. Впечатление было потрясающее. Велизарий с криком радости поднялся с постели и, чтобы показать посланнику императрицы свое послушание и смирение, упал к ногам Антонины, целовал ей руки, сжимал ее в своих объятиях и клялся, что впредь будет для нее не только преданным мужем, но и верным рабом. Так он добился возвращения его прежних привиле-

гий и звания полководца. Его послали в Италию, но без денег и армии; ему пришлось даже, по словам молвы, занять некоторую сумму для путевых издержек.

Во время второй итальянской кампании, когда дело шло о спасении «вечного Рима», он плакал как ребенок, подозревая, что жена его попала в руки остготов, и, чтобы спасти ее, отступил и бросил все. Поэтому легко себе объяснить, что он не мог сурово покарать ее за измену. Даже после смерти Феодоры он был по-прежнему слепо предан ей.

Напрасно надеялись в Византии, что, покинув Константинополь, Велизарий отомстит восстанием за свое унижение. Антонина поехала с ним и одного ее присутствия было достаточно, чтобы удержать его.

Феодора, уверенная в преданности своей фаворитки и ее влиянии на Велизария, составляла еще более широкие планы. Полководец был сказочно богат. Он любил деньги и не останавливался ни перед чем, чтобы приобретать их. Принимая участие в свержении Сильвера, он не погнушался принять подарки от его врагов; он не пренебрег и более богатым даром: дворцом Иоанна Каппадокийского, который ему пожаловали за то, что Антонина была главнейшим действующим лицом в затеянной против Иоанна интриге. Словом, его состояние чуть ли не равнялось императорскому. Поэтому Юстиниан и Феодора были бы не прочь каким-нибудь образом наложить на него руку; но из уважения ли к заслугам Велизария, или за недостатком удобного случая, они не имели возможности конфисковать его и даже делали вид, что не замечают, как пополнялось это состояние за счет казны. Императрица думала прийти к намеченной цели другим путем.

У Велизария была единственная дочь, Иоанна, к которой должно было перейти все это богатство. Феодора решила выдать ее замуж за своего внука Афанасия. Проект этого союза предложен был Феодорой Велизарию в числе условий примирения во время его внезапной опалы. Несмотря на то, что этот предполагаемый брак в высшей степени огорчал полководца, он вынужден был согласиться на обручение. Но в Италии он передумал, и Антонина была на этот раз на его стороне: видела ли

она, что Феодоре, в то время уже разбитой и больной, осталось недолго, или по другой причине, но она нашла нужным протестовать против желания императрицы. Напрасно Феодора писала письмо за письмом, прося ускорить свадебную церемонию; родители отговаривались различными предлогами, уверяя, что желали бы сначала вернуться в Византию... и не возвращались, изобретая различные причины. Феодора тревожилась. Она знала Антонину. Она знала, что после ее смерти фаворитка забудет все свои обязательства, принятые ею на себя из благодарности к своей покровительнице. Она хотела предупредить события.

Она свела Афанасия и Иоанну, и дела приняли такой оборот, что женитьба являлась лишь необходимой формальностью. Афанасий и Иоанна настолько увлеклись друг другом, что жили вместе под покровительством императрицы. Связь их длилась целые восемь месяцев, когда Феодора скончалась. Вскоре после ее смерти Антонина вернулась в Византию и события показали, насколько верно понимала ее Феодора. Забыв все, что было, она и слышать не хотела о женитьбе Афанасия на Иоанне, и не заботясь о скомпрометированной репутации своей дочери, не обращая внимания на отчаяние влюбленных, она грубо разлучила их, объявив, что не желает называть своим зятем потомка Феодоры. Велизарий, возвратясь из Италии, одобрил поступок своей супруги.

Но если в этом случае смерть помешала осуществлению планов Феодоры, то положение дел, которое она создала по отношению к Велизарию, сохранилось и после ее кончины. До последнего дня Велизарий жил под подозрением в честолюбивых происках и жажде популярности. Осыпая его почестями, Юстиниан не щадил его в старости. Почти на следующий день после того, как знаменитый полководец оказал императору неоценен-ную услугу, спася столицу от нашествия гуннов, Юстиниан, с обычной подозрительностью, объявил его руководителем только что открытого против императора заговора. И хотя участие в нем Велизария оказалось больше чем сомнительным, но базилевс в пылу гнева во второй раз отнял у Велизария его почетную стражу, ли-

шил его всех его почестей и арестовал в собственном дворце. Таким образом дух Феодоры сохранялся в поступках Юстиниана с его подданным.

В то же время, в память императрицы, император необыкновенно милостиво относился к Антонине, подруге покойной. Она до конца сохранила свое влияние при дворе. Таким образом дипломатия императрицы продолжала действовать по инерции: Велизарий оставался смиренным, преданным и безгласным рабом Антонины.

## X

В громадном городе, подобном Константинополю, нравственность далеко не процветала: измены и супружеские несогласия встречались на каждом шагу; Феодора все это охотно прикрывала своей императорской порфирой. Если какая-либо из ее приближенных обзаводилась любовником и, не умея вести свои дела, была замечена в этом, она тотчас же кидалась во дворец и при помощи императрицы всегда, так или иначе, выпутывалась из истории благополучно. Горе мужу, заводившему бракоразводный процесс, если он не мог представить суду неопровержимых доказательств измены. Его присуждали, во-первых, выплатить жене сумму, равную принесенному ею в его доме приданому, а, во-вторых, он рисковал тюрьмой и плетью в то время, как изменница спокойно наслаждалась своим счастьем. Поэтому большинство мужей благоразумно закрывали глаза на проделки своих жен, и безнравственность, благодаря Феодоре, процветала.

Но если обратиться к официальным документам, выяснится нечто совершенно противоположное. В многочисленных законах относительно развода, нарушения супружеской верности и тому подобного, высказывается постоянная заботливость императора об общественной нравственности. Многие из подробностей византийской жизни кажутся императору верхом неприличия: муж имеет право требовать развода, если жена его пошла в

общую для мужчин и женщин баню, если она ужинала с иностранцами, если она, против желания мужа, посещала театры, балы, бои диких зверей. Нечего и говорить, что муж имел тем большее право расходиться по более серьезному поводу: если жена ночевала вне дома, если при жизни мужа она замышляла другое замужество, в особенности, если она обзаводилась любовником. В этом случае муж, после троекратного предупреждения, имел право распорядиться собственной властью, если заставал жену и ее соблазнителя в собственном доме, или в гостинице. Если они попадались вне дома, например, в церкви (что случалось в Византии очень часто), он имел право предавать их на суд общества, и в случае, если измена была доказана, сообщник изменницы предавался смерти, а с женщиной поступали по закону. Закон же был далеко не мягкий: после развода ее запирали в монастырь и если, по прошествии двух лет, муж не изъявлял согласия принять ее обратно, ее окончательно постригали.

Император старался всеми силами упрочить незыблемость брачного союза, «святейшего начала в мире»; он запретил супругам разводиться по взаимному соглашению, как слишком упрощенному способу порывать святые узы, уменьшил число законных поводов к разводу, находя многие из них недостаточно обоснованными в старинных законах. Он не желал, чтобы пленение одного из супругов или обвинительный приговор служил достаточной причиной для расторжения брака. Он уничтожил возможность получения развода, если супруг-воин пропадал без вести. Вдова его могла выходить замуж, только получив точное удостоверение смерти мужа. Он предписал всевозможные наказания тем, кто под каким бы то ни было предлогом освобождался от супружеских обязательств. Одно только пострижение освобождало от брачного союза; но и тут закон наказывал тех, которые, спустя короткое время, выходили из монастыря, чтобы вернуться к светской жизни.

Жена могла находить себе защиту от дурного обращения мужа. Она не только имела право требовать развода в случае распущенного поведения своего мужа, но даже и тогда, если муж склонял ее к участию в его

развратной жизни. В случае развода, поводом к которому являлась измена жены, закон требовал неопровержимых доказательств, чтобы не обвинить невинной, и если обвинение признавалось недостаточным и являлось клеветой на жену, она имела право в свою очередь требовать развода, не представляя других к нему поводов, а муж нес установленное наказание. Муж не смел без достаточных поводов бить жену, выгонять ее из дома, причем закон не без иронии прибавлял, что если вынужденное пребывание жены вне дома приводило к каким-нибудь нежелательным для мужа последствиям, он должен был винить в этом случае только одного себя. Но несмотря на это благодетельное вмешательство Феодоры в судьбу несчастных в замужестве женщин, императрица, как показывают факты, с неменьшим уважением, чем император, относилась к святости и незыблемости брака и вместе с ним заботилась об общественной нравственности.

Так однажды Артабан, красивый армянский офицер, происходивший из царской династии Аркассидов, приобретший большую популярность в Византии, благодаря своей храбрости и щедрости, находясь в Африке во время военного мятежа, воспылал любовью к жене наместника Ареобинда, погибшего от руки мятежников. Прежекта, так звали молодую женщину, захваченная было вождем бунтовщиков, приходилась Юстиниану племянницей, и честолюбивый армянин рассчитал, что оказав услугу такой важной даме, он может извлечь для себя всевозможные выгоды. Он не ошибся. Спасенная им Прежекта не могла отказать ни в чем своему заступнику; она не только осыпала его дарами, но и обещала вскоре свою руку. Опьяненный счастьем, Артабан уже надеялся с помощью этого блестящего брака проложить себе дорогу к трону. Прежекта вернулась в Константинополь, и Юстиниан, желая угодить влюбленным, разрешил Артабану последовать за ней. Он осыпал его почестями, назначил главным начальником иностранных войск гвардии и консулом. Но тут явилось неожиданное препятствие. Артабан совершенно забыл, что уже однажды женился в Армении: он давно расстался с первой женой и не имел о ней никаких известий. Весьма не-

кстати она появилась в Византии и предъявила свои права на него. Феодора приняла в ней живейшее участие: она была непреклонна, раз дело касалось священных брачных уз. Она заставила Артабана принять к себе первую жену, а Прежекту, во избежание дальнейших недоразумений, выдала за другого.

Не менее сурово поступила она, заботясь о чистоте нравов, с двумя молодыми высокопоставленными вдовушками, которые, по мнению императрицы, слишком легко утешились в потере своих мужей. Поведение их могло служить дурным примером для остальных. Феодора решила выдать их замуж вторично и, чтобы больнее их унизить, она предложила им в мужья людей весьма скромного происхождения. Обе в ужасе укрылись в св. Софии, рассчитывая ускользнуть таким образом от ненавистного брака. Но Феодора заупрямилась: они должны были сдаться и, хотя люди более знатные просили их руки, согласиться на унизительный брак. Следует прибавить, что императрица приложила потом все усилия, чтобы утешить пострадавших, и осыпала деньгами и почестями их мужей.

Властная и привыкшая к повиновению Феодора вмешивалась иной раз в семейные дела, которые вовсе ее не касались. Ее упрекали в том, что она разрушала и устраивала по своему капризу браки с таким же деспотизмом, с каким управляла империей. Поступала так Феодора больше из политических выгод, чем из каприза; выдав замуж Прежекту за племянника того самого Гипатия, который провозглашен был императором во время мятежа «Ника», она хотела устранить одного из претендентов на престол. Подобные же соображения играли роль в ее поведении с Антониной и Велизарием. Когда стояли на карте интересы Феодоры, нравственные убеждения не особенно стесняли ее, так же как и в тех случаях, когда ей приходилось пристраивать своих близких. Она отыскала выгодные партии для своей сестры Комито и племянницы Софии. Она выдала Кризомаллу, дочь своей фаворитки, за сына важного сановника Гермогена, несмотря на то, что молодой человек был уже помолвлен с одной из своих родственниц, молодой, красивой и чистой девушкой. Императрица грубо разлучила

их и заставила Сатурниуса, так звали молодого человека, жениться на Кризомалле. После свадьбы молодой жаловался друзьям на то, что ему дали в жены девушку, утратившую невинность. Тогда Феодора приказала высечь его, чтобы отучить, как она выразилась, от болтливости. Другие насильственные союзы — дело ее рук, не всегда оканчивались благополучно. Следует отметить тот факт, что Феодора в подобных историях мало беспокоилась о благополучии мужчины. Женщина, она, по выражению историка, «вполне естественно спешила на помощь несчастным женщинам».

В этом отношении она особенно хлопотала о судьбе актрис и погибших женщин. Выйдя из этой среды, она была хорошо знакома с тем унижением и нищетой, каким подвергались женщины. Кто знает, не на нее ли намекает осторожно Юстиниан в одном из своих приказов, касавшихся упорядочения нравственных отношений, говоря, что давно уже одно лицо известило его подробно о царствующем в Константинополе разврате и побудило его принять спасительные меры для его искоренения. Феодора приложила все усилия, чтобы поднять в общественном мнении актрис и облегчить их положение, позволяя им покидать по желанию сцену, уничтожая препятствия к их браку с порядочными людьми. В Византийском обществе той эпохи вошло в обычай заставлять женщин поступать в актрисы помимо их желания и обязывать их не покидать ни в каком случае их профессии. Закон, изданный при Юстиниане, отменял силу подобных контрактов и даже позволял актрисе нарушать их, хотя они и были скреплены клятвой, от которой, ради спасения женщины, Феодора нашла возможность разрешать несчастных. Строгие наказания налагались на заключавших подобные контракты антрепренеров; кроме конфискации имущества и изгнания, их присуждали к штрафу в пользу актрисы, которая пожелала бы вернуться на честный путь. Актрисы таким образом могли заключать браки с высокопоставленными людьми, не испрашивая, как это пришлось в свое время сделать племяннику Юстина, разрешения императора. Действие закона распространялось и на дочерей актрис с условием: они не должны были возвращаться на сцену.

Но, в качестве строгой охранительницы общественной нравственности, Феодора прилагала особенные усилия «к оздоровлению столицы». Видную роль в низших слоях играла, как известно, деятельность «ленонов», увлекавших в ряды погибших женщин много несчастных, польстившихся на их заманчивые обещания. В публичных домах женщины удерживались против их воли в силу различных обязательств по отношению к их хозяевам. Феодора решила положить этому конец. Новый закон, под страхом смертной казни, запрещал совращать девушек. Дома закрыли, вернув содержавшимся в них женщинам внесенные ими залоги, и строго запретили открывать новые, а «ленонов» изгнали, как нарушителей общественной нравственности. Феодора сама следила за исполнением этих законов и заботилась, по словам хроникера, об освобождении несчастных погибших женщин, раздавленных бременем их постыдного рабства. По приказанию императрицы всех «ленонов» собрали в один прекрасный день во дворец, и императрица заставила их сказать, сколько денег заплатили они родственникам несчастных жертв. Когда они объявили, что каждая девушка обошлась им в общем по пяти золотых, императрица выкупила несчастных на собственные деньги и, снабдив каждую публичную женщину новой одеждой и деньгами, распустила их по домам.

Императрица открыла также убежище для покинутых женщин. На азиатском берегу Босфора, в старом императорском дворце, она основала монастырь Метанойя (покаяния) для кающихся грешниц. И чтобы спасти на будущее время от нужды этих Магдалин, которые часто гибли в нищете, она одарила богатыми вкладами это благотворительное учреждение. Говорили, что многие из его обитательниц не могли примириться с такой внезапной переменой в своей судьбе и бросились в море со стен монастыря. Указ, написанный по этому поводу Юстинианом, но внушенный очевидно ею, звучит большим благородством: «Мы наказываем воров и разбойников. Не должно ли с большей строгостью преследовать похитителей чести и невинности?»

Приходя на помощь несчастным, не вспоминала ли Феодора с сожалением о своем прошлом?

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## I

В каждый праздник, которых у православных так много, императрица, одетая в пурпур и золото, совершала в сопровождении блестящей свиты торжественные выходы в один из больших византийских соборов и, восседая на троне, окруженная нарядной толпою женщин и высших сановников, набожно слушала литургию или, держа в руках зажженную восковую свечу, коленопреклоненно молилась у алтарей или перед раками святителей. Императорский кортеж постоянно показывался на улицах столицы, вызывая изумление прохожих безумной роскошью живописных нарядов и обстановки, менявшейся согласно церемониалу. То императрица с большой пышностью отправлялась на освящение церкви, то направлялась на поклонение мощам того или другого святителя, вымаливая чудесное исцеление, то служила благодарственные молебны за дарование победы; то в траурных платьях кортеж медленно подвигался к храму, чтобы умолять Господа о прекращении своего праведного гнева, о прекращении землетрясений или моровой язвы, нередко посещавшей столицу. Глубоко убежденные в том, что император действительно является Божиим избранником, предназначенным свыше к управлению страной, что во всех опасностях и затруднениях Господь простирает над базилевсом свой святой покров и вдохновляет его святым духом, правители Византии вели образ жизни верховных жрецов.

Юстиниан находил громадное удовольствие в подобном времяпрепровождении. Глубоко набожный и даже суеверный, он считал себя предметом исключительного внимания Провидения и старательно припоминал все чудеса, излившиеся на него свыше. Он рассказывал часто о том, как однажды, во время его болезни, которая не под-

давалась лечению врачей, явились к нему святые целители, Козьма и Демьян, чтимые всей Византией, и спасли его уже в минуту агонии. Он вспоминал, как в другой раз, страдая приступами ревматизма и почти парализованный, он исцелился от одного прикосновения к мощам, орошенным св. муром, выступавшим на телах мучеников. И исполненный благодарности к Богу, так открыто показывавшему ему Свое благоволение, Юстиниан старался всячески осуществлять ее на деле: он заботился о чистоте веры, защищал церковь в минуты опасности, заботился о распространении христианства, покрывал империю монастырями и церквами. Он любил принимать участие в теологических спорах, заседал на соборах, вел диспуты с епископами и еретиками, и это было одним из самых любимых им занятий. Хороший оратор, гордившийся своим красноречием и ученостью, логикой своих доказательств, наивно убежденный, что никто не может в данном отношении сравниться с ним, он любил поражать священников силой своих аргументов. Всю свою жизнь он вмешивался, часто весьма некстати, в церковные дела. И льстецы поздравляли его с уменьем соединять в своих речах кротость Давида, терпение Моисея, милосердие апостолов и осуществлять на деле древнее пророчество о блаженных временах, когда философы станут правителями и правители философами.

Феодора также слишком заботилась об этикете, чтобы пренебрегать благочестивыми обязанностями императрицы. С обычным своим политическим чутьем она поняла важную роль величия в жизни христианского государства и всю опасность, вытекавшую из равнодушного отношения к церкви. Она с большим уважением относилась к духовенству, к монахам с их строгими лицами, к монахиням в длинных черных одеяниях, отказавшимся от мира и его соблазнов. Она с глубочайшей благодарностью относилась к ним: разве их добродетели, молитвы и посты не способствовали благосостоянию империи? Подобно Юстиниану она искренне удивлялась «этой монашеской жизни, которая приводит к постоянному общению с Богом, которая очищает и возвышает человека над всеми мелочами жизни». Она любила окружать себя отшельниками, которых ласково принимала во дворце,

любила рассуждать с ними о духовных вопросах и исповедывалась им. Поучительна история ее отношений с анахоретом Марасом.

Марас представлял чистейший тип пылкого сирийца, пламенная набожность и смелость которого не останавливалась ни перед каким препятствием. Тридцати лет от роду — в самый день своей свадьбы — он почувствовал, что св. дух осенил его и предпочел легкое иго во имя Господа «тяжелому бремени телесного союза». В монастыре он выделялся в среде остальной братии строгостью жизни, суровыми мерами, с какими принялся умерщвлять плоть. Беспощадный по отношению к себе, он не менее сурово судил других. Читателю известно, какую суровую исповедь пришлось выслушать от него Юстиниану и Феодоре. Тем более понравился он императрице: убежденная, что молитва человека такой строгой жизни должна быть всемогущей перед Богом, Феодора предложила ему остаться во дворце. Марас отказался. Тогда императрица приказала своему казначею выдать отшельнику солидную сумму на добрые дела. Блаженный, схватив мешок с золотом, пренебрежительно швырнул его в лицо Феодоре. Слухи об этом распространились по городу, но Феодора не отступала. Когда блаженный удалился на другую сторону Золотого Рога, чтобы продолжать там прежнюю, полную лишений жизнь, Феодора приехала к нему и смиренно попросила прощения за то, что осмелилась подвергать его искушению богатыми подарками, и умоляла принять от нее хоть малую лепту на пропитание. Марас не смягчился и, чтобы окончательно освободиться от посещений Феодоры, удалился в более недоступное убежище.

Весть о странностях Мараса облетела Византию. Тысячи зевак и богомольцев являлись взглянуть на него и попросить его помолиться за грешные души мирян. Милостивое внимание двора привлекло к нему и других посетителей. Однажды ночью на него напали разбойники. «Отдай нам золото, присланное тебе императрицей, или мы убьем тебя!» — объявили ему они. Блаженный возразил: «Если бы я жаждал золота, то меня не было бы здесь». Но разбойники не поверили, и один из них ударил Мараса палкой. Однако сириец отличался страш-

ной силой: он отняв у разбойника палку, расправился со всеми шестью, которых побил и связал, говоря: «Я просил вас, дети мои, оставить меня в покое. Напрасно вы не послушались меня; теперь полежите тут терпеливо до утра, и да послужит вам это хорошим уроком: не следует обижать даже и бедняка».

Весть об этой истории произвела необыкновенное впечатление при дворе. Юстиниан и Феодора прониклись еще большим уважением к блаженному, что принесло Марасу немало выгоды: он наконец соизволил принять в дар от императорской четы выстроенный для него монастырь, где провел всю свою остальную жизнь, молясь, проповедуя и не лишая себя удовольствия время от времени по-прежнему обличать императора и императрицу. Когда он умер от чумы, ему были устроены торжественные похороны.

Высокомерная Феодора с удивительной снисходительностью относилась к подобным отшельникам: она безропотно переносила их обличения и оскорбления. Ее величие склонялось в прах перед их лохмотьями. Щедрость ее по отношению к ним переходила все границы: вся Византия покрылась сетью выстроенных ею монастырей, больниц, приютов. Она пожертвовала монаху Зоорасу большой кусок земли в предместье Сикас, куда он удалился со своими учениками; во Фракии она приобрела великолепную виллу Деркас, которую предложила в дар александрийскому патриарху Феодосию; она отвела целый дом в столице Иакову Барадею. Она основывала монастыри даже в самом «священном дворце». Она выстроила несколько обширных гостиниц, чтобы принимать бедных иностранцев, приезжавших по делу в Константинополь. Она любила, чтобы вести о ее благодеяниях распространялись как можно дальше. На вытканной золотой завесе царских врат в св. Софии она была изображена посещающей больных в госпитале и церкви.

Среди сооруженных ею построек особенно выделялось здание собора св. Апостолов. На холме, где возвышается теперь мечеть Магомета II, увенчанная куполами и полумесяцем, Константин Великий начал строить храм, посвященный св. апостолам, а сын его торжест-

венно перенес в его стены мощи Андрея Первозванного, Луки и Тимофея. Собор этот, по мысли его творца, должен был служить в то же время усыпальницей. В эпоху Юстиниана собор успел прийти в ветхость. Император приказал снести его, а Феодора решила построить на его месте другой, еще более великолепный. В 536 году новое здание было собственноручно заложено императрицей, и знаменитый архитектор, который заканчивал в это время св. Софию, Антемий де Тралль, с товарищем своим, Исидором, принялся за сооружение нового собора. Двойной ряд разноцветных колонн, перевезенных сюда большею частью из языческих храмов, окружал здание, стены, полы и потолки которого выложены были самой затейливой мозаикой из драгоценных мраморов; в сводах и стенах мозаика вместе с образами Христа и св. Девы, окруженных апостолами, представляла изображение главных событий земной жизни Спасителя. Но особенно замечательно было здание своей искусной планировкой. Оно имело форму греческого креста, и тогда как здание св. Софии было увенчано только одним куполом — над собором Апостолов возвышались пять глав.

Феодора с благочестивым усердием следила за постройкою здания, которое доставляло ей немало хлопот. Легенда рассказывает, что когда пришло время выкладывать собор мозаикой, Феодора вдруг увидела, что казна ее иссякла. Тогда на помощь ей пришли апостолы, во имя которых воздвигалась церковь и священные останки которых были чудесным образом найдены во время работ под каменным полом старинной базилики. Андрей, Тимофей и Лука явились ей во сне. «Не тревожься,— сказали они ей,— и не проси денег у Юстиниана. На берегу моря, близ Дексиократских врат, ты найдешь в земле двенадцать сосудов с золотом». Феодора действительно нашла будто бы на указанном месте груды монет с изображениями апостолов — лучшее доказательство божественного происхождения дара. Таким образом Феодора получила возможность закончить строительство.

Но она не дожила до его окончания. И только через два года после ее смерти совершилось торжественное освящение собора. Подобно Константину, она пожелала

быть в нем похороненной, и в великолепной часовне приказала поставить две мраморные гробницы, куда поместили впоследствии два золотых гроба с останками императорской четы.

Несмотря на свое благочестие, благотворительность, усердие в делах веры, Феодора не удостоилась одобрительных отзывов церкви. В то время как многочисленные восточные историки называют ее благочестивейшей государыней, в то время, как ее сирийские друзья восхваляют ее, как боголюбивую императрицу, тогда как раздаются голоса, именующие ее ниспосланной Богом для защиты погибающих во время бури, другие, не менее многочисленные духовные писатели, осыпают ее оскорблениями и проклятиями. Это объясняется тем, что с точки зрения «православной кафолической церкви» — она была артисткой. Глубоко привязанная к патриарху Северу, она открыто проповедовала монофизитские доктрины, отвергавшие Халкедонский собор, и признавала в Иисусе Христе только одно естество. Защищая своих друзей, она не раз бросала вызов Риму и до конца дней покровительствовала своим единомышленникам. «Она подогревала усердие еретиков, поселившихся в империи»,— говорит один из современных ей историков. С настойчивой пылкостью она толкала Юстиниана на путь, который избрала для себя.

## II

С тех пор, как в пятом веке теологи задались целью объяснить, каким образом в лице Христа соединилось божественное и земное, вопрос о двух естествах Спасителя стал самым живейшим образом интересовать церковь. Напрасно в 451 году Халкедонский собор попытался с одобрения папы Льва установить по этому поводу православную доктрину, предав одинаково суровому осуждению ересь Нестория, который толковал о двух естествах во Христе, и учение Евтихия, утверждавшее об одном. Как последователи последнего — монофизиты,

так и приверженцы первого отказались повиноваться постановлению собора. Монофизиты, в особенности, опираясь на главнейших своих представителей, энергичных и умных, на многочисленных последователей в Египте и Сирии, на пылких и решительных монахов, надеялись захватить со временем главенство в Византийской церкви.

Серьезность этой религиозной распри усугублялась тем, что восточные провинции, охваченные монофизитской ересью, весьма непрочными узами соединялись с империей. В Египте и Сирии жили тесно сплоченные народности и религиозные воззрения являлись формой, в которую выливался их резко выраженный сепаратизм. Вот почему императоры конца V и начала VI века старались всеми силами умиротворить восток, предпочитая жертвовать для этого своим союзом с Римом. Начиная с царствования Юстина I, и в особенности при Юстиниане, который вносил в дела церкви свою безрассудную настойчивость, стала преобладать другая политика и монофизиты терпели гонения. Но несмотря на это, в Сирии, Палестине, Месопотамии, Египте партия их оставалась сильной и могущественной, в особенности в Египте. И всюду монофизиты с надеждой смотрели на Феодору.

Феодора еще в молодости сближалась с сирийскими и египетскими христианами. Серьезные политические соображения, помимо ее искреннего расположения к монофизитам, также заставляли ее поддерживать их. Еще до своего вступления на престол, она употребила все свое влияние на Юстиниана, чтобы уменьшить размер воздвигнутого против своих друзей гонения. Став императрицей, она еще деятельнее принялась работать в их пользу. Ей исключительно обязан был еретический Египет долгими годами мира и спокойствия; ей обязана и Сирия восстановлением своей гонимой церкви, ей обязаны своими успехами монофизитские миссионеры, отправившиеся в Аравию, Нубию и Абиссинию.

В числе милостей, провозглашенных Юстинианом в память его торжественного коронования, была одна, несомненно внушенная ему Феодорой: гонимые епископы, священники и монахи, осужденные на изгнание, были возвращены в свои опустевшие монастыри и церкви. На

призыв императрицы монофизиты появились в столице и даже в священном дворце. Скоро Феодора убедила Юстиниана вступить в открытые сношения с монофизитами. Она давно преклонялась перед умом и благородством низложенного антиохийского патриарха Севера, с которым познакомилась когда-то в Александрии. Императрица внушила супругу, как выгодно ему было сойтись с пользовавшейся таким влиянием на востоке личностью, и ей удалось убедить его, что этим шагом он может завоевать себе расположение всего монофизитского мира. И Северу послано было чрезвычайно вежливое письмо с приглашением явиться в Константинополь; но патриарх, не предвидя ничего хорошего из этого свидания, отказался под предлогом старости, слабости, своих седых волос, суливших ему, по его словам, близкую кончину. Тогда Феодора пригласила на диспут с православными в Константинополь его учеников; православным рекомендовали отнестись к еретикам со всевозможным терпением и кротостью. Председатель собора много говорил об отеческой доброте, наполнявшей сердце императора. Юстиниан, присутствовавший на открытии собора, во всеуслышание выражал желание примирить враждующие церкви. Несмотря на эти благие намерения, они не смогли сговориться. Тем не менее подобная терпимость была большим шагом вперед в сравнении с недавними кровопролитными гонениями.

Мало-помалу, благодаря новому направлению политики, монофизиты становились на твердую почву. В Азии Иоанн из Теллы, один из знаменитейших проповедников, начал, несмотря на колебания других, активную пропаганду. Собирая вокруг себя группы своих единомышленников, он наставлял их, читал с ними св. писание и укреплял их в «правой» вере. Напрасно доносили на него властям и грозили ему смертью. Он отважно продолжал свои собрания. Постоянно в дороге, то в Александрии, то в Константинополе, он обращал, посвящал священников, наполнял всю Азию своими сторонниками. Говорят, что в продолжение нескольких лет он обратил в монофизиты около 60 тысяч человек.

Еще более кипучей деятельностью отличались монофизиты под защитой Феодоры в Константинополе. Сам

Север не устоял в конце концов перед настояниями императрицы и решился, побуждаемый упреками в бездействии своих сторонников, поехать в Константинополь, несмотря на свое глубокое убеждение в бесполезности этого шага. Но императорская чета устроила ему торжественную встречу, он был помещен во дворце, советы его с благодарностью выслушивались Юстинианом и Феодорой и вскоре Север приобрел большое влияние на ход государственных дел.

Монофизиты сделались теперь, по-видимому, хозяевами столицы. Уверенные в расположении к ним императрицы, они смело объявили войну православным: несмотря на формальное запрещение, они созывали соборы, проповедовали в церквах и частных домах, в городе и окрестностях, устраивали скандалы в православных церквах. В монастыре, выстроенном на подаренной ему императрицей земле, Зоорас удивлял Византию своим благочестием, смирением, благотворительностью; каждый день бедные сотнями толпились на монастырском дворе, являясь за милостыней, и важные сановники, видя влияние Зооpаса при дворе, не приминули высказать ему свою преданность. Дамы в особенности увлекались сирийскими проповедниками. Правда соперники монофизитов обвиняли их в чрезмерной снисходительности к их духовным дочерям, среди которых насчитывалось немало куртизанок, танцовщиц и изменниц-жен.

Сотнями приносили к ним крестить детей, в особенности высокопоставленные родители. Многие из приближенных к Юстиниану сановников старались вести в миру строгий образ жизни, свойственный монофизитским отшельникам. Трибоннус, освободясь от своей службы при дворе, удалялся в келью и проводил целые часы в молитве и заботе о несчастных, другой придворный раздал нищим все свое имение; остальные старались по мере возможности подражать им, намереваясь убить двух зайцев сразу: снискать себе вечное спасение и земное благоволение Феодоры.

В разгаре этих событий умер Константинопольский патриарх Епифан. Эта смерть была на руку монофизитам. В одном из монастырей, основанных императрицей, жил святой человек, по имени Антим. Он был некогда

епископом, и монофизиты уважали его за отшельнический образ жизни, за смелость, с какой он освободился из сетей лжи, проповедуя истинную веру. Тайно преданный еретикам, он с помощью Феодоры получил патриарший престол и не замедлил поддаться влиянию Севера, в котором видел одного из главнейших монофизитских деятелей.

К этому же времени относится смерть Александрийского патриарха Тимофея. Феодора, которая очень любила этого пылкого защитника монофизитской доктрины, хотела избрать ему достойного преемника. Между Гаяном, вдохновлявшим своими проповедями монахов, и Феодосием, она выбрала последнего за мягкость его нрава. И так как группа экзальтированных монофизитов стояла за Гаяна, она поступила по обыкновению очень круто. В Александрии было в обычае, чтобы у гроба усопшего патриарха стоял его преемник, который, держа руку покойного, опускал ее себе на голову и надевал на себя его цепь. Несмотря на присутствие посланца Феодоры, друзьям Гаяна удалось помешать Феодосию исполнить этот обряд принятия сана. Чтобы водворить ставленника императрицы, понадобилось послать туда с войсками особое доверенное лицо, Нарзеса. В продолжение нескольких дней приверженцы обеих партий сражались на улицах, даже женщины принимали участие в битве. Наконец, чтобы прекратить мятеж, Нарзес прибегнул к пожару и Феодосий получил патриарший посох.

С помощью Севера, Антим Константинопольский поспешил завязать сношения с новым Александрийским патриархом и три патриарха под покровительством императрицы обратились соединенными силами к новой благоприятной для монофизитов политике «в интересах мира», как они провозглашали. Напрасно православные монахи писали на них доносы, напрасно изображали они Севера язычником, слугой демонов и колдунов, напрасно называли Петра Арамайского обжорой, «Богом которого был его желудок», Зооpаса сумасшедшим, Антимия лицемером. Император ничего не хотел слышать и к великому негодованию последователей кафолической церкви ересь распространялась с ужасающей быстротой.

К несчастью для Феодоры появился в это время в Византии неожиданный деятельный противник ее планов. Это был папа Агапит. Поставленный готским королем Феодотом во главе посольства к Юстиниану и весьма торжественно принятый при дворе, он не замедлил заняться религиозными вопросами и решительно отказался вести переговоры с еретиком Антимом. Напрасно восклицал император в гневе: «Ты должен быть заодно с нами, или я пошлю тебя в изгнанье», напрасно Феодора старалась подкупить его. Надеясь на поддержку всего кафолического мира, Агапит и не думал сдаваться. И Юстиниан, очутившийся между двух огней, не знал, что делать, тем более, что сам Господь, говорит легенда, склонялся на сторону монофизитов.

Агапит требовал низложения патриарха и изгнания Зооpаса. Напрасно доказывал ему Юстиниан, что монах был человек крайне опасный, что он никого не боялся, папа непременно хотел увидеть сирийца, чтобы заставить его повиноваться. Когда папский посол явился в монастырь блаженного, он нашел все входы запертыми и Зоорас приказал объявить ему, что, в виду наступления великого поста, священное предание воспрещает заниматься какими бы то ни было делами, даже по требованию императора; «больше ничего не имею вам сказать,— добавил он,— если хотите употребить силу, то это ваше дело». Посол растерялся и вернулся во дворец ни с чем. Взбешенный император послал тогда в монастырь отряд солдат, чтобы арестовать монаха. Но в то время, когда начальник отряда садился на корабль, судно было выброшено на берег сильным порывом ветра. В момент высадки отряда на противоположный берег Золотого Рога, громадный призрак внезапно вырос перед кораблем и одним ударом ноги отбросил его в волны. Начальник стражи разгневался и стал бранить матросов. Они налегли на весла. Тогда молния ударила в корабль. Стража поняла, что сам Бог вступился за Зооpаса и поспешно бежала, а начальник донес о случившемся Юстиниану.

Провидение с меньшим успехом защищало Антима. После некоторого колебания император пожертвовал им папе. Патриарх был низложен и на его место Агапит

возвел священника Менаса. Это был уже значительный успех, плоды которого, впрочем, не удалось пожать папе. Спустя месяц, он внезапно умер. Утверждали, что он пал жертвой колдовства монофизитов, а еретики радовались, считая эту смерть справедливым наказанием Божием и, собравшись с духом, яростно продолжали свою пропаганду. Они настолько увлеклись, что осмелились публично обвинить императора в предательстве. Один из них, Исаак, ударил палкой изображение императора и выколол ему глаза. Это возбудило такое волнение в столице, что вражда партий чуть не перешла в рукопашную схватку.

В эти тяжелые времена новый патриарх Менас действовал энергично. В мае 536 года, в церкви Божией Матери, соседней со святой Софией, собрался под его председательством конклав с целью столковаться о применении на практике убеждений Агапита. Монофизиты, которые представляли обвиняемых, отсутствовали на этом соборе. Напрасно в продолжение трех дней соборные послы искали Антима по всему Константинополю. Они обшарили святую Софию и патриархат, монастырь св. Сергия и даже самый священный дворец, где его могли спрятать. Всюду наталкивались они на запертые двери, а присутствующие божились и клялись им, что видели патриарха, и что он исчез, но куда, они не знали. И соборные послы в поисках за неуловимым обвиняемым напрасно подвергали допросу даже детей, встречавшихся им на улицах.

Феодора могла бы им дать самые основательные сведения, потому что Антим нашел убежище в одном из тайников императорского гинекея. Благодаря ее покровительству, исчезли и другие обвиненные. Синод однако не смутился, он предал по всем правилам анафеме Антима, Севера, Зооpаса, проклял их писания, низложил их и вычеркнул их имена из числа членов кафолической церкви. Собор окончился обычными псалмами и провозглашением долголетия императору и анафемы осужденным.

Спустя три месяца, Юстиниан, окончательно возвращенный в лоно православия, скрепил, под влиянием папского нунция Пелагия, постановление собора императорским указом. Антиму, Северу и его единомышленникам

воспрещено было являться в Константинополь и в другие большие города. Жителям под угрозой конфискации имущества запрещено было давать им приют. За переписку их сочинений виновные наказывались отсечением руки. Такими мерами Юстиниан надеялся водворить мир в церкви и обеспечить процветание государства.

Феодора слишком надеялась на свои силы и на свое влияние на Юстиниана. Ее усилия разбились о противодействие папы и о склонность Юстиниана к православной вере.

Ей оставалось только помочь скрыться своим друзьям. Север с ее помощью бежал в Египет, где окончил в изгнании свою деятельную жизнь. Зоорас был сослан во Фракию и перед ожидаемым гонением приверженцы его, которые, надеясь на победу, толпами стекались в Византию, рассыпались теперь в разные стороны в тревоге за будущее.

В самом деле, скоро в Сирии запылали новые костры и, благодаря энергичному образу действий Антиохийского патриарха Ефрема и его епископов, множество проповедников было арестовано и казнено, монастыри закрыты, и верный своим убеждениям монофизитский народ доведен до нищеты. Патриарх Феодосий, друг Антима и Севера, был низложен и сослан во Фракию, а на место его водворили прелата, который не останавливался ни перед какими жестокостями, чтобы усмирить непокорных, и в короткое время в империи насчитывалось едва три епископальных кафедры, занятых монофизитами.

Феодора была, однако, не из тех женщин, которые отступают перед неудачами.

Она была бессильна помешать гибели своих друзей и торжеству папства, но изворотливая и смелая она скоро принялась за старое. В то время, как собор 536 года изливался в бессильных анафемах, она воспользовалась смертью Агапита, чтобы посадить на римский престол угодного ей папу. В то время, как под влиянием римского нунция Пелагия рушился, казалось, последний оплот монофизитов в Египте, в священном дворце в Константинополе императрица терпеливо подготовляла восстание гонимой церкви.

## III

В то время, как в Константинополь собирались со всего Востока монофизитские монахи, гонимые православными, Феодора, стремившаяся дать им самое веское доказательство своего к ним расположения, не нашла ничего лучшего, как приютить их в священном дворце.

Дворец Хормидаса, построенный на берегу Мраморного моря, служил жилищем Юстиниану еще в бытность его наследником. Став императором, Юстиниан пожелал сохранить в полной неприкосновенности этот приют своей счастливой молодости и, основательно перестроив его, он включил его в число дворцовых зданий. Этот дворец избрала Феодора для своих друзей, и без труда добилась согласия императора. Юстиниан не прочь был иметь таким образом под наблюдением главных вождей монофизитского движения.

Дворец превратился, по выражению одного из хроникеров, в монашескую пустынь. В залах понастроили келий, одну из зал превратили в церковь. Для более знаменитых старцев, отличавшихся особенно суровой жизнью, анахоретов и столпников выстроили во дворах и под портиками деревянные хижины, покрытые полотнами, где они могли проводить время в посте и молитве; громадный дом отвели для общежительствующей братии; более пяти тысяч монахов, уроженцев различных стран, говоривших на самых разнообразных языках, нашли здесь приют.

Вскоре, благодаря своей святой жизни, сирийцы приобрели популярность в столице. Сначала византийцы дивились их странностям, потом стали преклоняться перед ними, и даже сторонники Халкедонского собора, очарованные святостью жизни монофизитских монахов, мало-помалу раскаивались в своем заблуждении и возвращались, умиленные добродетелями пустынников, в лоно монофизитской церкви. Пылкая Феодора дневала и ночевала у своих друзей. Чуть ли не каждый день являлась она к старцам, испрашивая их благословения и раздавая им щедрую милостыню. Она даже упросила в конце концов Юстиниана сопровождать ее, и император в свою

очередь, восхищенный умом и добродетелями монахов, готов был чтить и защищать их.

Конечно, в виду этого всеобщего энтузиазма, слухи о всевозможных чудесах необыкновенно быстро распространялись по Константинополю и еще более возвышали в глазах жителей монофизитскую общину. Однажды, говорит легенда, когда в церкви-зале толпилось множество желавшего причаститься народа, среди которого находились по обыкновению женщины и дети, вдруг раздался оглушительный треск. Под напором толпы рухнул пол и обрушившиеся своды погребли под собою массу людей. Крики ужаса и боли огласили монастырь. Но Господь не оставлял своих верных слуг. Придя несколько в себя от страха, все присутствующие поднялись из-под обломков здоровые и невредимые, восхваляя Господа, спасшего их от верной смерти. Узнав об этом чуде, император, императрица, весь двор, весь город прониклись еще большим уважением к святым старцам. И сам Юстиниан счел за честь восстановить за собственный счет обрушившееся здание.

В тяжелые годы, последовавшие за собором 536 года, когда вся империя потрясена была гонением на монофизитов, монастырь св. Сергия — под этим именем известен был в стране приют монофизитов — избежал, благодаря покровительству императрицы, наказания и разрушения. Конечно монахи жили в нем отчасти в почетном плену. Для того, чтобы показываться в городе и вне его, они должны были испрашивать на то особенное разрешение правительства — тем не менее монастырь процветал, пока была в живых Феодора. И даже после ее смерти, в память о ней, Юстиниан продолжал покровительствовать монахам.

В то же время у ворот столицы, под покровительством Феодоры, приютилась другая монофизитская община на восточном берегу Золотого Рога. Этот сирийский монастырь выстроен был на земле, пожертвованной Феодорой Зоорасу, и множество монофизитов жили в нем в мире и молитве. Благочестивый Марас разбил рядом с монастырем монофизитское кладбище, и многие выдающиеся представители его партии были похоронены на этой священной земле. Монастырь, превратившийся та-

ким образом в монофизитскую святыню, процветал. Стоявший во главе его монах Иоанн из Месопотамии пользовался большим расположением императрицы и даже императора, который прощал ему его ересь за ревностное миссионерство в языческих странах. В этом надежном убежище собрались мало-помалу все выдающиеся монофизитские деятели и монастырь превратился в центр кипучей деятельности и ревностной пропаганды.

Таким образом, несмотря на указы, на строгие законы, на страшные гонения, Феодора поддерживала и спасала своих друзей. Она всюду основывала убежища для монофизитов. На острове Хиосе она выстроила рядом с могилой св. мученика Исидора приют для низложенных монофизитских епископов и изгнанных монахов, в Деркасе на Понте Евксинском, куда она должна была отпустить в изгнание во время переворота 536 года сначала монаха Зооpаса, потом патриарха Феодосия, она старалась всеми силами смягчить для своих друзей печальное их пленение. Не довольствуясь щедрыми дарами, которыми она их осыпала, она давала возможность массе монофизитов посещать их, стремясь найти у них утешения в горе и бедствии. В особенности хлопотала она о том, чтобы подготовить почву для возвращения их в столицу, стараясь объединить вокруг себя главные силы партии.

Тогда как восточные народности, несмотря на воздвигнутые против них гонения, продолжали всеми средствами отстаивать свою веру, вожди монофизитов, проницательные и деятельные, скоро пришли к убеждению, что только от дворца могут они ожидать восстановления своей церкви, что все их усилия должны быть направлены к тому, чтобы склонить императора на свою сторону, не дать ослабеть спасительному рвению императрицы. Это были хорошие дипломаты. Замыкаясь временами в осторожном ожидании, свято исполняя с виду распоряжения правительства, оставляя на время деятельную пропаганду, избегая проповедей, крещения детей и посвящения епископов и священников — они возлагали все свои надежды на время... и на Феодору. Однако их бездеятельность не нравилась ярым их привержен-

цам. Среди монофизитов было много фанатиков и они доставляли массу хлопот императрице.

Одним из наиболее пылких вождей монофизитов был низложенный мемфисский епископ Иоанн. Он последовал в изгнание за патриархом Феодосием, но его энергичная и страстная душа, жаждавшая мученического венца, быстро утомилась однообразной и осмотрительной жизнью, которую вели монофизиты в Деркасе. «Нас называют пастырями церкви,— часто говорил он,— а между тем мы позволяем волкам похищать у нас овец. Мы сидим здесь спокойно, когда должны были бы умереть за веру». Он с горестью видел, как из страха перед правительством окружавшие его епископы отказывались преподавать пастырское утешение народу, сбегавшемуся к ним со всех сторон. «Видит Господь,— продолжал он,— я не знаю, что меня удерживает от возможности выйти к верующим со св. дарами в Константинопольском соборе или на форуме». Под предлогом болезни ему удалось добиться разрешения побывать в Константинополе, чтобы посоветоваться с докторами. Чрезвычайно милостиво принятый императрицей, которая сама хлопотала о помещении для него, он скоро начал открытую пропаганду, проповедуя и открывая молитвенные собрания. Более осторожные монофизитские деятели тревожились, находя несколько неуместным это усердие, и говорили, что он бросается «в пасть льву» и может сильно повредить их делу своей стремительностью. И так как египтянин ни на что не обращал внимания, говоря с пренебрежительной улыбкой, что львиная пасть закрывается по слову Господню, его решили потребовать от имени патриарха назад в Деркас. Феодосий, в глубине души искренне восторгавшийся образом действия своего ученика, долго отговаривался тем, что императрица была осведомлена о намерениях Иоанна и следовательно он проповедовал с ее разрешения. Тогда монофизитские епископы обратились к Феодоре, умоляя ее удалить египтянина из столицы, а она, убежденная, что это доставит удовольствие проповеднику, согласилась. Но когда перед Иоанном предстал посол от императрицы и передал ему ее приказание покинуть без промедления столицу под страхом смертной казни, проповедник со своей обычной

смелостью кинулся прямо во дворец и допущенный к императрице принялся жестоко упрекать ее за то, что она сговорилась с Юстинианом уничтожить друзей истинной веры. И так как Феодора ничего не понимала в этой речи, он воскликнул:

«Не ты ли приказываешь мне покинуть город? Не ты ли повелеваешь убить меня? Чего же тебе еще надо?» Феодора, разгневавшаяся на посла, неверно передавшего ее приказания, простила его только по просьбе проповедника. Тем не менее, она попыталась со своей стороны несколько охладить его пыл. «Старайся возможно реже выходить из дворца,— сказала она ему,— чтобы не случилось с тобой чего-нибудь дурного; веди себя спокойнее, и не рукополагай священников в столице». Иоанн был достаточно изворотлив и прибегнул ко «лжи во спасение». «Я не думал о чем-либо подобном,— ответил он,— я приехал сюда исключительно, чтобы попросить твоего разрешения отдохнуть в Константинополе месяц, где-нибудь в пригороде, так как здоровье мое сильно расстроилось». Обрадованная Феодора согласилась на все его просьбы. Но Иоанн воспользовался ее добротою, чтобы отлучиться в Малую Азию, где также принялся за пропаганду. Переодетый в нищенское платье, он дошел до Тарса, проповедуя по пути с большим успехом. Но православных уже стала тревожить его кипучая деятельность. Епископы посылали Юстиниану негодующие письма, что еретический епископ, ускользнувший из столицы, волнует своими речами всю страну. Поспешно возвратясь в Византию, он написал Феодоре письмо, выражая сожаление, что не мог в продолжение целых недель собраться навестить ее, при чем объяснял свое поведение усилившимся за это время нездоровьем. Таким образом, когда открылось следствие по делу и выяснилось, что еретическим епископом не мог быть кто-либо иной, кроме Иоанна Мемфисского, Феодора удостоверила, что он не покидал загородной виллы, которую она ему отвела для отдыха. Посланные императора действительно нашли его там и доносчики со стыдом замолчали. Несколько раз с помощью таких уловок Иоанну удавалось возобновлять свою проповедническую деятельность. Извещенные заранее о его прибытии верные монофизиты тол-

пами стекались в назначенное место. Ночью, соблюдая строжайшую тайну, епископ под охраной часовых причащал верных, рукополагал священников, ободрял колеблющихся и отчаявшихся. И когда православное духовенство узнавало о его прибытии — он уже был далеко. Не менее успешной была его деятельность в столице и даже остальные вожди монофизитского движения кончили тем, что преклонились перед его непоколебимой храбростью и неослабевающим усердием.

Тем временем и они медленно подвигались к своей цели, только иными средствами. Благодаря императрице, Феодосий и его друзья были возвращены в Константинополь и скоро дом бывшего патриарха сделался средоточием их деятельности. У него встречались все энергичные и отважные вожди монофизитского движения. Наряду с такими старыми бойцами, как Зоорас, в доме патриарха бывали Юлиан, будущий апостол Нубии, Феодот, будущий епископ Аравии, Сергий де Телла будущий патриарх Антиохийский, и его друг Иаков Барадей, получивший впоследствии епископальную кафедру в Едессе и воскресивший монофизитскую церковь, и другие: Иоанн, монах сирийской общины, позднее епископ Ефесский и Константин, епископ Лаодикийский. Под покровительством Феодоры, которая была давно уже знакома со многими из них, они появлялись при дворе, где находили самый милостивый прием; часто императрица представляла императору то того, то другого, еще чаще навязывала ему их посещения, и все опять начинали жаловаться, что монофизиты, с обычным своим коварством, проникли во дворец и наводнили большую часть столицы.

Они сделали больше. Гонение со стороны кафолической церкви лишило многих главнейших вождей монофизитского движения их епископальных кафедр, и правительство ревностно следило, чтобы они не попадали в руки еретиков. Следовательно главнейшей задачей монофизитов было возвращение их верной пастве ее ревностных учителей. Несмотря на принятые против них предосторожности, монофизиты с помощью императрицы добились своего. Удобный к этому случай представился в 543 году. Гарид Гассанид, предводитель одного из араб-

ских племен в Сирийской пустыне, обратился к Феодоре с просьбой прислать ему двух или трех епископов, чтобы обратить в христианство его подданных. Императрица поспешно избрала священников из числа своих друзей монофизитов и, добилась того, что Юстиниан одобрил ее выбор. Действительно император, затруднявшийся выбором миссионеров среди своего православного духовенства, охотно доверял дело обращения язычников вне страны пылавшим усердием монофизитским епископам. Они уже обратили таким образом в христианство Иеменских арабов и абиссинцев Аксунского королевства, язычников Нубии и Бламмии.

В Константинополе жил уже в продолжение целых пятнадцати лет монах из Теллы, по имени Иаков Барадей. Обладавший обширными познаниями, изучивший сирийские и греческие наречия, он приобрел еще большую известность строгостью и простотой своей жизни, постами, умерщвлением плоти. В ранней молодости он раздал бедным все свое имущество. Он выделялся среди монофизитов небрежностью своего костюма, чистотой нрава и чудесными исцелениями стекавшихся к нему больных. Появившись позднее в столице и удостоившись самого милостивого приема у Феодоры, он нашел более удобным окончательно отказаться от мирских соблазнов. Он удалился в келью, никого не желал видеть, ни с кем не говорил — и это отречение приобрело ему еще больше поклонников. Гарид Гассанид, которому довелось однажды встретиться с ним и оценить его пророческую проницательность, особенно уважал его. Феодора выказывала ему живейшее расположение. И этого то постника, отшельника и аскета избрала она, чтобы обратить в христианство арабов и восстановить монофизитскую церковь. События показали, что она не ошиблась в выборе.

По совету императрицы Феодосий указал на Иакова, когда освободилась епископальная кафедра в Едессе, а в Бостру послал другого близкого к Иакову монаха Феодора. Несмотря на свое искреннее сопротивление, оба святых мужа должны были уступить непреклонному желанию Феодоры и вернуться к оставленной им деятельной жизни. Посвященные в епископы бывшим александрийским патриархом, они отправились в свои приходы.

Но кроме официального назначения, оба епископа получили еще особые секретные полномочия. Феодора поручила им рукополагать священников во всех подведомственных их управлению церквах, посвящать епископов и восстанавливать по мере возможности всеми средствами монофизитскую веру на востоке. Она просила их не ограничиваться только их приходами и указала им в качестве арены их деятельности на всю Аравию и Палестину. Иаков Барадей получил также власть над всей Малой Азией и Сирией. Императрица в согласии с патриархом всеми силами поощряла их и обещала обоим деятелям употребить в пользу их все свое влияние.

В несколько лет Иаков Барадей, благодаря своему усердию, энергии и храбрости восстановил в самом деле монофизитскую церковь. Продолжая дело, начало которому положил в азиатских провинциях Иоанн Египетский и другие, он, переодетый в нищенское платье, часто посещал Сирию, Армению, Каппадокию, Памфилию, Азию и острова: Родос, Кипр, Хиос, Митилену, проповедуя и поучая, рукополагая священников для новых монофизитских общин, устраивая приходы и епископства, и, по словам одного из хроникеров, благодетельное учение могучей рекой разливалось по всей римской империи, благодаря деятельности Иакова.

Напрасно взволнованное поднятым проповедником движением православное духовенство пыталось остановить Иакова. Напрасно Юстиниан под влиянием разнообразных наветов грозил ему смертью, святой муж с честью выходил из окружавшей его интриги и продолжал идти «путем правым». Ведя аскетическую жизнь, он появлялся то в Константинополе, то в Азии, то в Александрии неуловимый, неутомимый. Друзья его были уверены, что сам Господь помогает ему и помрачает умы его недругов, и в кружках монофизитов рассказывали, не без иронии, как шпионы не раз спрашивали у самого Иакова: «Не слышали ли о том, что еретик Иаков прибыл в эти места?» И как, издеваясь над ними, он отвечал, указывая им совершенно противоположное направление: «Да, мне говорили, что он находится теперь в таком-то приходе; если вы пришпорите лошадей — вы наверно захватите его там».

Могущественная дружба Феодоры в столице защищала проповедников от всевозможных случайностей. Так как согласно каноническим правилам рукоположение в епископы считалось действительным только тогда, когда при нем присутствовали еще трое епископов — Иаков по совету патриарха Феодосия, отправился в Александрию. Там он без труда нашел епископов, которые по повелению их бывшего патриарха охотно совершили рукоположение Иакова. С их помощью Барадей в свою очередь посвятил других епископов для главнейших городов Сирии и Азии. В то же время епископы, остававшиеся в Константинополе, рукоположили двенадцать епископов для Египта и Феваиды, а на патриарший престол в Антиохии, свободный со смертью Севера, они посадили одного из друзей Иакова, святого мужа Сергия из Теллы. Таким образом составилась целая тайная духовная организация, взявшая на себя управление делами новой церкви, получившей по имени своего основателя название Якобитской. Ловкий дипломат, Феодора, желая облегчить миссию своих друзей, распорядилась возложить на них некоторые поручения правительства. Так Иоанн, тайно получивший сан монофизитского епископа в Ефесе, послан был Юстинианом в Лидию и Фригию для борьбы с язычеством: он ревностно исполнял свою миссию и заслужил, благодаря своему усердию, название «молота язычества и ниспровергателя идолов». Но еще ревностнее работал он в пользу секты, к которой принадлежал, и покрыл свой приход целой сетью церквей и монастырей с монофизитским клиром.

В результате деятельность Иакова Барадея привела к посвящению двух патриархов из монофизитов, более ста тысяч священников и дьяконов. Вера его творила чудеса: он изгонял демонов, воскрешал мертвых, пророчествовал; слава о его подвигах распространилась по всему миру и далеко перешла за пределы империи. Благодаря его деятельности, большая часть Востока вернулась к вере, известной под именем «веры св. Иакова и Феодосия», и могущественные церкви Персии, Аравии, Абиссинии, Нубии принадлежали к монофизитской общине. Феодора, которая всю жизнь покровительствовала этим отдаленным церквам, которая всю жизнь энергично тру-

дилась, подготовляя торжество монофизитов, могла быть довольной делом своих рук. Безвестный монах, которого видела она однажды во сне, окроплявший святой водою римских граждан, благочестивый отшельник, которого она некогда приняла в Константинополе и в которого уверовала, превзошел ее ожидания.

## IV

Когда в 536 году папа Агапит неожиданно скончался в Константинополе, Феодора составила смелый план воспользоваться вакантным папским престолом. В Византии жил с некоторых пор, в качестве папского нунция, некто Вигилий-дьякон. Это был честолюбивый и весьма свободных убеждений человек, способный на всевозможные компромиссы, лишь бы только достигнуть цели. Происходя из важного сенаторского рода, он уже не раз пытался овладеть троном св. Петра и добился, чтобы папа Бонифаций объявил его своим преемником. Но встретив сильное сопротивление со стороны римского духовенства, он должен был отказаться от своих планов и перенес свои надежды на Византию. Отправленный в Константинополь для дипломатических переговоров, он употребил всю свою ловкость, чтобы вкрасться в доверие Феодоры. Когда императрица, взбешенная тем, что должна была уступить настояниям Агапита, решила провести в Рим угодного ей папу, способного жить в мире с монофизитами, Вигилий, хорошо принятый при дворе, готовый на все, лишь бы добиться осуществления своих честолюбивых планов, показался ей как нельзя подходящим к той роли, которую она хотела поручить ему.

Вигилий и Феодора сразу поняли друг друга. Императрица предложила нунцию вакантный папский престол; он обещал в свою очередь, что в случае его назначения он отдает себя вполне в распоряжение Феодоры. Рассказывали, что он обещал отменить постановление Халкедонского собора, вернуть патриарший престол Антиму, списаться с главными вождями монофизитского

движения Феодосием и Севером, чтобы объявить им о своей с ними солидарности. Рассказывали также, что Феодора подкупила Вигилия. «Для того, кто хоть несколько знаком был с Вигилием, не может быть ни малейшего сомнения в его готовности обещать все»,— говорит один из современных историков. Вигилий поспешно уехал в Рим, увозя с собою письма Велизарию и Антонине, содержавшие в себе некоторые распоряжения императрицы, которые рекомендовалось исполнить без всяких возражений. Очевидно в деле избрания нового папы Юстиниан предоставил полную свободу действий Феодоре, счастливый тем, что может смягчить таким образом понесенное ею поражение, а втайне, может быть, надеясь водворить с помощью нового папы единство в церкви, примирив Запад с Востоком.

Пока все это происходило в Византии, события в вечном городе шли своим чередом. Хотя Велизарий успел уже высадиться в это время в Италии, Рим находился еще в руках остготов. Король Феодот, сознавая, как важно было заручиться в это время содействием папы, назначил в это время для выборов нунция Сильвера, предполагая, что последний будет отстаивать его интересы. И, когда Вигилий прибыл в Италию, место, к которому он так стремился, было уже занято. Чтобы взойти по желанию Феодоры на папский престол, следовало предварительно столкнуть оттуда Сильвера. Это было делом не легким, тем более, что, желая заручиться расположением Константинополя, новый папа первым делом призвал в Рим императорские войска и сдал им вечный город в 536 году.

Вигилий был сражен. Феодора выказывала неудовольствие. Так как было все равно, кто сидел на папском престоле, она попыталась добиться от Сильвера тех уступок, на которые соглашался Вигилий: она обратилась к нему прежде всего с просьбой возвратить патриархат Антиму. Сильвер решительно отказал. Тогда императрица решила действовать. Велизарию послан был энергичный приказ низложить Сильвера и посадить на его место Вигилия. Полководец медлил; это поручение сильно не нравилось ему. Но Антонина, желавшая во что бы то ни стало угодить Феодоре, сумела убедить его исполнить же-

лание императрицы и честолюбивый Вигилий, увивавшийся около Велизария, пустил в дело не менее веские аргументы. Он обещал денег и так как, кроме того, поступать против воли императрицы было не безопасно, Велизарий принял участие в заговоре против папы.

В это время остготы, под предводительством короля Витигеса, осадили Рим. Велизарий должен был защищать его едва с пятью тысячами человек, укрывшихся за плохо возобновленными укреплениями, среди возмущенного населения, неохотно переносившего ужасы осады. Когда ему принесли подложные письма папы, в которых Сильвер предлагал открыть готскому королю Азинариарские ворота — Велизарий сначала смутился. Однако он скоро убедился в том, что представленные ему документы фальшивые, и, сжалившись над своей жертвой, попытался с согласия Антонины спасти Сильвера. Он сказал ему о необходимости предложить Феодоре условия, исполнение которых она ждала от Вигилия, и ускользнуть таким образом от ожидавшей его участи. Сильвер, не забывая, что он является охранителем православия, мужественно отказал.

Чтобы снять с себя подозрения в предательстве, Сильвер переселился из находившегося у ворот дворца Латрана на Авентинский холм в церковь св. Сабины. Туда послал за ним Велизарий, дав ему торжественное обещание, что с ним не сделают ничего дурного. Несмотря на опасения своих приближенных, не доверявших греку, Сильвер отправился на свидание с Велизарием во дворец Пингио и, действительно, вышел оттуда невредимым. Но спустя несколько дней папу вторично вызвали к полководцу. На этот раз встревоженный первосвященник сначала отказался покинуть церковь, служившую ему убежищем. Наконец он решился и в сопровождении многочисленной свиты отправился, поручив Господу свою душу. По прибытии во дворец Велизария папа был немедленно разлучен со своими спутниками, и вошел во внутренние покои только в сопровождении Вигилия. Тут ему представилось странное зрелище. Антонина, небрежно полулежавшая на диване, похожая на императрицу, принимавшую подданного, обратилась к нему со словами: «Скажите, ваше святейшество, что мы такое сделали, что

вы собираетесь предать нас готам?» Вся эта сцена разыгралась в присутствии Велизария, который сидел у ног Антонины в позе послушного раба. Неизвестно, что отвечал папа. Факт тот, что он был лишен своих папских одежд и облечен в монашеское платье. К свите его вышел один из слуг Велизария и объявил: «Папа низложен и постригается в монахи». Среди всеобщей растерянности Вигилий на следующий же день был избран в папы под давлением Византии.

Несчастный Сильвер был изгнан и уже не вернулся в вечный город. Был момент, когда Юстиниан, ужаснувшись преступления, совершенного над святым отцом, хотел отдать его было на рассмотрение суда и водворить его на престол, если он окажется невиновен. Он приказал вернуть Сильвера в Рим и растерявшийся Вигилий уже начинал дрожать за свою судьбу. К счастью для него Антонина, все еще действовавшая в пользу Феодоры, убедила Велизария выдать страже Вигилия его несчастного предшественника. Водворенный на острове Пальмариа, Сильвер, измученный нравственно, скоро умер.

Казалось, императрица добилась своего, посадив в Риме преданного ей папу. Но достигнув венца своих желаний, Вигилий изменился. Несмотря на советы Антонины, несмотря на внушения Велизария, он пытался увильнуть от своих обещаний. Враги его утверждают, что в конце концов он все-таки сдался и написал письмо вождям монофизитов Феодосию, Антиму и Северу, в котором вполне присоединялся к их верованиям. Однако, документ этот остался под большим сомнением, и в официальных бумагах, адресованных папой императору и патриарху Менасу, приводятся совершенно другие мысли. Счастливая случайность избавила Вигилия от необходимости подчиниться желанию императрицы. Италия, опустошенная войной, требовала усиленного внимания к себе и папе было не до теологических споров. Признание всем западом символа веры Халкедонского собора, связанного с именем св. папы Льва, оправдывало с другой стороны колебания Вигилия.

Феодора сама поняла, казалось, опасность, которую представлял слишком резкий образ действий, и доверяя

Вигилию, спокойно ждала, пока представится удобный случай для проведения в жизнь ее намерений. Что касается Юстиниана, находившегося тогда под сильным влиянием нунция Пелагия, он не имел никакого желания покровительствовать монофизитам. Вигилий мог таким образом, не ссорясь с императрицей, по-прежнему служить православной церкви.

Так, несмотря на все интриги, императрице не удалось, в сущности, наложить руку на папский престол.

Однако Феодора никому не позволяла безнаказанно играть собою. Как раз в это время она доказала на деле, как опасно лицемерить с ней. У нее был некогда друг Арсений, человек невысокого разбора, принадлежавший к секте самаритян. Императрица обогатила его, сделала его сенатором. В момент возмущения самаритян в Палестине она охотно поддавалась его наветам на православных. Но Арсений изменил впоследствии тактику, примкнул к православным и, желая угодить императору, в бытность свою в Александрии, старался всеми силами способствовать Халкедонской реакции, во главе которой стоял патриарх Павел, преемник Феодосия. Конечно Феодора возмутилась поведением Арсения и дала ему это почувствовать. Оппозиция со стороны монофизитов не утихала в Египте. Арсений переусердствовал. Он убедил Родона, императорского префекта, казнить без суда одного из главнейших противников патриарха. Это был незаконный поступок; утонченная жестокость, с какой он был приведен в исполнение, еще усиливала ужасное впечатление. Императрица не преминула воспользоваться удобным случаем, чтобы отомстить. Арсений и Родон были арестованы, осуждены и казнены, а имущество их конфисковали. Патриарх Павел, несмотря на все его протесты, был обвинен в соучастии и предан синодальному суду. Императрица могла гордиться собою: одним ударом она низвергла ненавистного монофизитам патриарха, показала, как опасно было слишком ревностно защищать интересы православия, даже по приказанию императора, и подвергла наказанию изменившего ей друга. Вигилию также скоро довелось считаться со страстной ненавистью Феодоры и вероломный папа мо-

жет быть не раз раскаялся в том, что обманул надежды Феодоры.

Наступали дни, когда, благодаря заботам императрицы, монофизитская церковь начинала возрождаться. Уже придворное духовенство в угоду императрице отыскивало почву, на которой оно могло столковаться с еретиками. Так Феодору Аскидасу, епископу, удалось отыскать среди текстов, одобренных Халкедонским собором, три пункта, извлеченных из несторианского еретического учения, крайне ненавистного для монофизитов. Обрадованный этим открытием, с помощью которого он хотел подставить ловушку своему влиятельному врагу, нунцию Пелагию, он обратился к Юстиниану и, играя на его слабой струне, страсти к теологическим спорам, просил его рассмотреть дело. Он указывал императору, что на этой почве можно найти средство рассеять предубеждения монофизитов, и что собор, таким образом пересмотренный, может быть принят всеми. Юстиниан, который возвращался тогда под влияние Феодоры, к политике умиротворения дал уговорить себя; еретики в восторге от того, что пересмотр собора нанесет непоправимое поражение делу св. папы Льва, готовы были все, даже самые непримиримые, подать руку православным. Обсуждение «Трех глав» началось.

Тут Феодора опять принялась за Вигилия. Папа приглашен был дать свое показание относительно эдикта, которым император осудил «три пункта», и чтобы заставить его высказаться в благоприятном смысле, Юстиниан обошелся с ним довольно грубо. 22 ноября 545 года, в то время как папа служил мессу в базилике св. Цецилии в Трастевере, церковь была внезапно оцеплена солдатами. Начальник стражи, посланный императором, вошел в алтарь и приказал папе немедленно следовать за собою. Еще присутствующие не успели прийти в себя, когда Вигилий был арестован и поспешно посажен на корабль, дожидавшийся его на Тибре. Толпа на берегу тем временем увеличивалась. Верующие, последовавшие за папой, встретили его арест жалобными криками, и толпами подходили под благословение. С палубы корабля Вигилий произнес молитву. «Аминь!» — воскликнул народ. Тем временем императорский чиновник торопил с отъ-

ездом и скоро корабль начал спускаться вниз по реке. Тогда толпа, среди которой находилось много недругов папы, разразилась свистом и проклятиями. В корабль полетели камни и палки. «Смерть тебе, горе тебе, из-за тебя страдают римляне! — кричал народ.— Да погибнешь ты там, куда тебя увозят!» Наконец корабль, уносимый течением, скрылся из глаз. Вигилий достиг порта, а оттуда поплыл в Сиракузы.

Рассказывали, что это похищение папы устроено было по наущению Феодоры. «Арестуй Вигилия,— написала она своему послу,— где бы ты его ни нашел, и привези в Византию, или ответишь своей головой». Как бы там ни было, ясно одно: папа, опасаясь мести Феодоры, надежды которой он обманул, не имея также никакого желания попадаться в теологическую ловушку, приготовленную ему в Византии, не особенно торопился в Константинополь. Он прибыл туда две недели спустя после ареста 25 января 547 года. За это время он успел хорошенько поразмыслить о положении дел, собрался с духом, сознавая, что весь Запад на его стороне, и явился далеко не с теми мыслями, каких ожидали от него в Византии. Как некогда Агапит, он отказался завязать сношения с патриархом Менасом и даже отлучил от церкви его и его партию. Но скоро он начал сдаваться: вспомнив о данных им обязательствах, уступая настояниям императора и энергии Феодоры, польщенный почестями, которые оказывали ему члены придворного духовенства, он пришел к убеждению в возможности исключить «три пункта». В начале июня он в угоду императрице примирился с патриархом и сделал еще более важный шаг. Ему доказали, что он может окончательно осудить три пункта, не касаясь собора. Папа, несмотря на угрозы, упрямо отказывался все время подписать императорский эдикт, заявляя, что преемник св. Петра не может ограничиться смиренным скреплением указов императора, относящихся к делам веры, но за то он обязался самостоятельно произнести в присутствии Феодоры и Юстиниана осуждение трех пунктов и в залог исполнения своего обещания вручил Юстиниану и Феодоре две соответствующего содержания бумаги, собственноручно им подписанные. И, гордясь благополучным разрешением затруднительного воп-

роса, довольный возможностью подать решающий голос в таком важном деле, воображая, что, благодаря своей мудрости, он способен водворить вечный мир в церкви, он грубо оборвал своих советников, предостерегавших его, и накануне Пасхи 548 года издал свой указ. Подтверждая незыблемость авторитета Халкедонского собора, он подвергал несомненному осуждению «три пункта». Это был последний триумф Феодоры. Накануне своей смерти она могла надеяться, видя унижение папы и возрастающие успехи монофизитской церкви, на то, что отомстила за свое поражение 536 года, наказала Вигилия за предательство и довела до конца принятую на себя задачу в деле религиозной политики.

Церковь не простила Феодоре ни грубого низложения папы Сильвера, ни преданности монофизитскому учению, ни насильственных мер, к которым она прибегала, чтобы наказать своих духовных противников и, в особенности, папу Вигилия

Ей приписали даже много лишнего, в чем она была решительно не виновата, например, дурное обращение с папой Вигилием, которому он подвергся после смерти Феодоры. Из века в век духовные историки осыпали хулами и проклятьями имя Феодоры, и в их выходках по отношению к ней есть даже немало комизма; так они называли жену Юстиниана второй Евой, слишком доступной соблазну змия, новой Далилой, Иродиадой, упившейся кровью святых мучеников, исчадьем ада, обуреваемой всю жизнь духом зла, подругой сатаны...

Без сомнения, она слишком настойчиво и страстно приводила в исполнение свои намерения, не отступая перед холодной жестокостью и насилием, но, с другой стороны, она смотрела на вещи здраво, хорошо понимала государственные нужды и служила им с энергией и умом настоящего общественного деятеля.

Сложная политика, в которой она заставила принять участие Юстиниана, была в то время настоятельной необходимостью и она с достоинством и проницательностью служила ей, как и подобает истинному правителю обширной страны.

## V

29 июня 548 года Феодора скончалась.

Отдавая последний долг усопшей, толпа придворных и сановников собралась вокруг нее в последний раз в священном дворце. Согласно церемониалу, набальзамированное тело императрицы выставлено было в триклиниуме. На парадном золотом ложе она покоилась, одетая в пурпур, увенчанная короной; на лице ее смерть еще не успела оставить заметных следов. Более бледная, чем обыкновенно, она, казалось, спала. Вокруг высокого катафалка, на котором блестели драгоценнейшие царские регалии, горели на колоннах тысячью огней высокие драгоценные подсвечники. Воздух был пропитан запахом курений, восковых свечей, бальзамических трав. У ног последнего ложа императрицы толпились евнухи, горько плакали женщины свиты.

Последний раз перед усопшей повелительницей прошла в торжественной процессии вся Византия: патриарх Менас, сопровождаемый многочисленным соборным духовенством, папа Вигилий, окруженный прелатами и епископами, сенат в парадных одеждах, патриции, сановники, войска, длинный ряд патрицианок — жен префектов, консулов, квесторов, придворных и свитских дам. Великая процессия замыкалась принцами крови и самим Юстинианом, который плакал, уничтоженный горем потери — непоправимой, как он не без основания думал. Он принес последний подарок обожаемой им женщине: бесценные алмазы, дорогие, шитые золотом и драгоценными камнями ткани, которые должны были быть положены в могилу Феодоры, как последнее воспоминание о той роскоши и величии, которые она так любила при жизни. И, заключив в свои объятия безжизненное тело императрицы, старый базилевс рыдая прощался с Феодорой.

Потом, по знаку Юстиниана, сановники приподняли ложе покойной и главный распорядитель похорон, приблизясь к телу, воскликнул, согласно церемониалу три раза: «Удались отсюда, повелительница, Царь царей и Господь господствующих призывает тебя». И за гробом

в последний раз потянулась вся процессия. Под портиками Августеона толпа в траурных одеждах ожидала кортеж; на дверях, на террасах, в окнах домов толпились женщины с распущенными волосами, рыдавшие громко или молчаливо обливавшиеся слезами. По улицам, посыпанным золотистым песком, в облаках кадильного дыма, между несметным скопищем народа, торжественная процессия продвигалась медленно и величаво. Пение священников и псалмы смешивались с рыданьями толпы, со звуками серебряных труб. Миллионы свечей образовали над процессией огненный круг. Печальный кортеж проследовал в церковь св. Апостолов, к месту последнего упокоения Феодоры.

В базилике совершена была торжественная погребальная литургия; снова церемониймейстер, приблизясь к бездыханному телу, воскликнул: «Войди в недра упокоения, повелительница. Царь царствующих и Господь господствующих призывает тебя!» Затем с головы императрицы сняли золотую корону и заменили ее пурпурной повязкой. Наконец в приготовленную Феодорой для себя мраморную гробницу опустили ее золотой тяжелый гроб.

Когда весть о кончине грозной повелительницы распространилась по империи — все, гонимые ею при жизни, воспрянули духом. Иоанн Каппадокийский вернулся в Константинополь, льстя себя надеждой вновь приобрести доверие Юстиниана; Артабан, ненавидевший жену, навязанную ему Феодорой, рассчитывал, что настал благоприятный момент отомстить императору, и составил заговор против него; Германос и его сыновья, взволнованные, обрадованные, решили, что пришел час, когда они могут восстановить свое утраченное значение. Даже Антонина, фаворитка Феодоры, мгновенно забыла свою покровительницу и уже искала новой поддержки. Согласно всеобщему убеждению, смерть императрицы должна была повести к полнейшей перемене политики, и уже православные заводили интриги, побуждая императора принять строгие меры против монофизитов, ошеломленных смертью их покровительницы. Уже поговаривали о том, что пора очистить священный дворец от святотатственного присутствия еретических монахов; уже побуж-

дали императора силой заставить еретиков признать постановление Халкедонского собора; раз императрица умерла — монофизиты, которые слишком зазнались благодаря ее доброте, должны были быть уничтожены за то, что осмеливались противиться распоряжениям императора.

Но враги Феодоры забыли о глубокой любви, которую Юстиниан питал к Феодоре, о слишком укоренившейся в его душу привычке повиноваться ее советам или не знали также о том, что умирая она завещала императору свою последнюю волю и поручила его доброте всех, кто любил ее и верно ей служил. «Стремясь согласовать все свои поступки с волей своей покойной жены,— говорит один из историков,— базилевс упорно придерживался ее намерений и ее политических взглядов и не изменил ее друзьям и советникам. Иоанн Каппадокийский, несмотря на все усилия, не вернул расположения императора; Велизарий, несмотря на все свои услуги, остался под подозрением; Петр Барцимес и Нарзес сохранили милость Юстиниана; Антонина, в память покойной, сохранила все свое влияние при дворе; Германос и его сыновья действительно выиграли от смерти Феодоры, но фаворитом старого императора остался из принцев крови только Юстин, женатый на племяннице Феодоры и предназначенный ею в наследники византийского престола.

В делах религии Юстиниан не менее слепо следовал предначертаниям Феодоры. Когда в ее гинексе обнаружен был патриарх Антим, император отнесся к нему чрезвычайно милостиво, и ко всеобщему изумлению главные вожди монофизитов приняты были с почетом при дворе, и император обсуждал с ними средства восстановить мир в церкви. До последнего дня Юстиниан стремился осуществить примирительные замыслы Феодоры. Император не переставал созывать соборы и устраивать теологические совещания, и если усилия его ни к чему не привели, они доказали все же, насколько он предан был намерениям усопшей.

Никогда не забывал Юстиниан обольстительной женщины, мудрой соправительницы, ниспосланной ему судьбой. В память усопшей он оставил во дворце всех, кто служил ей. До последнего дня он оставался верен ее па-

мяти. Спустя много лет после ее смерти, произнося торжественные обещания, он имел привычку клясться именем Феодоры, а те, кто желал снискать его расположение, не упускали случая напоминать ему о «прекрасной и мудрой повелительнице», которая, быв на земле верной сотрудницей императора, молилась теперь за него на небесах.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

И. ПЕРВАНОГЛУ

# АНДРОНИК КОМНЕН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

# I

Настала ночь. Над городом святого Константина расстилался неизмеримый небесный свод, усеянный тысячами звезд. Внизу лежал Босфор, безмолвный и неподвижный, как небо, отраженное в его волнах.

Везде царила тишина; ни звуки песни, ни плеск весла не нарушали безмолвия.

Все было скована чарами роскошной ночи; все свидетельствовало о красоте и величии дремлющей природы. Город и море, Босфор и окружающие холмы, вкушали безмятежный покой.

Таким же мирным сном покоились и жители Константинополя. Сон служил для них успокоением после дневных забот; они нашли в нем забвение от своих бед и тревог.

Немало имели они поводов для беспокойства за будущее. Хотя правление первых трех Комненов было увенчано славой и победами, оно повергло страну в печальное положение. Византийская империя шла по опасному пути, ведущему к полному упадку и разложению.

Страна, управляемая Комненами, могла по справед-

ливости гордиться ими. Они возвеличили ее блистательными военными подвигами над ордами варваров, которые своими частыми набегами не только беспокоили отдаленные провинции, но угрожали уже и ближайшим окрестностям столицы. Побежденные варвары принуждены были удалиться из пределов империи; между тем Комнены, имея в виду только военные цели, не заботились о том, чтобы водворением порядка и мудрой предусмотрительностью исцелить раны, нанесенные стране опустошительными войнами. Они преследовали внешнего неприятеля и не принимали никаких мер, которые могли бы оградить их от еще более опасных внутренних врагов.

Любовь к роскоши, с ее неразлучной спутницей расточительностью, господствовала не только в императорском дворце, вместилище древнего, освященного веками, престола, но и среди государственных сановников. Между тем народ стонал под тяжестью налогов; и хотя никто не решался открыто оказать сопротивление властям, все были недовольны существующим порядком.

Нравственная порча достигла последних пределов: должности продавались с публичного торга бессовестными слугами византийского императора. Правосудие сделалось жертвой подкупа; сам монарх, от которого подданные могли ожидать справедливости и милосердия, был не в силах бороться против алчности и произвола своих придворных; закон обратился в мертвую букву. Велико было невежество, неизбежно связанное со всевозможными суевериями. Разврат господствовал во всей силе, не признавая никаких стеснений.

Таковы были опасности, грозившие Византийской империи. Только твердая, сильная рука могла остановить этот процесс разложения. Но откуда могла явиться эта спасительная рука? Мануил Комнен, умирая, завещал престол своему одиннадцатилетнему сыну Алексею, беспомощному отроку, который не имел ни силы, ни средств, чтобы совершить подобный подвиг и спасти величественную корону святого Константина. Кто мог питать какие-либо надежды и ожидать спасения от слабого, облеченного в пурпур ребенка, который был послушным орудием лицемерных и корыстолюбивых придворных? Император Мануил сошел в могилу, оставив своему сыну и пре-

емнику опасное наследство; он возложил на его голову не императорский, а терновый венец.

Таковы были заботы, которые в 1181 году наполняли умы постоянной тревогой и сомнениями. Тем благотворнее действовал сон на жителей обширной столицы; по крайней мере, он избавлял их на несколько часов от гнетущих забот и услаждал горечь настоящего обманчивыми сновидениями. Мирно спали граждане Константинополя; легкий ночной ветерок нашептывал им слова утешения и надежды.

Надежда! Прекрасный дар небес, утешение, ниспосланное свыше, роскошный благоуханный цветок! Ты украшаешь тесный путь, где отчаяние пустило свои корни! Блестящий луч, озаряющий черные облака печали!

Спокойно и тихо было в городе; спокойствие и тишина царили и в императорском дворце; этом вместилище честолюбия и коварства, где почивал слабый, невинный отрок, голова которого была обременена непосильной тяжестью императорского венца. Такая же тишина и покой господствовали во дворах величественного здания, в обширных залах и переходах. Среди всеобщего безмолвия мерно раздавались шаги вооруженных людей, которым была вручена охрана священной особы императора.

В этих медленных, монотонных шагах было что-то холодное и безотрадное. Мерно раздавалось эхо этих медленных, монотонных шагов, и как будто повторяло слышавшиеся в них слова: «Горе! горе тебе! о город святого Константина!»

Было далеко за полночь, когда через калитку во внешней стене, ограждавшей дворец, вошел человек и направился к главному зданию дворца, где находились палаты царственного отрока и его матери, правительствующей императрицы.

Этот человек был высокого роста; он шел твердой уверенной походкой. Длинный черный плащ, доходивший до пят, придавал его фигуре таинственный вид среди ночного полумрака.

Человек прошел двор быстрыми шагами и скрылся за дверью дворца. Стоявший на страже воин молча пропустил его. Человек в плаще прошел длинный ряд коридоров и остановился перед закрытой дверью, которую

охраняли два высоких солдата. Они принадлежали к отряду диких, вооруженных секирами норманнов, нанимаемых Комненами в отдаленных местностях Скандинавского полуострова. Из них Комнены образовали для себя особую стражу телохранителей. Норманны отличались неизменной преданностью своему властелину и внушали немалый страх, как своей физической силой, так и тяжелой секирой, бывшей их единственным оружием.

— Все ли благополучно? — спросил таинственный посетитель одного из норманнов на суровом языке их северной родины.

— Все благополучно,— ответил воин.

— А император?

— Почивает,— сказал лаконично норманн.

— Ну, хорошо, впусти меня!

Дверь отворилась, как бы по мановению магического жезла, и посетитель, сопровождаемый караульным, вошел в просторный покой, слабо освещенный голубым ночником, подвешенным к потолку. Большая комната была роскошно убрана тяжелыми коврами и занавесями, на которых красовалась вышитая золотом императорская корона. В углу стояла широкая постель, покрытая великолепной драгоценной тканью. На постели спал отрок, с безмятежной улыбкой на полуоткрытых губах, которую суеверный народ приписывает тайной беседе с ангелами. На обнаженной руке покоилась красивая голова, увенчанная длинными черными локонами.

Спящий отрок был император Алексей, властелин обширной Византийской империи, преемник могущественных монархов, сын Мануила, на долю которого выпало такое опасное наследство.

— Не входил ли кто сегодня вечером в опочивальню императора? — спросил вполголоса посетитель своего провожатого.

— Никто, кроме императрицы,— сказал солдат.

— Зачем она приходила сюда?

— Она постояла несколько минут перед постелью, но, когда увидела, что император почивает, то удалилась из комнаты и не сказала ни одного слова.

— Не сказала ни одного слова! — повторил посетитель, затем, обращаясь к стражнику, спросил его: — Не

говорил ли чего император перед тем, как лег в постель?

— Император чувствовал усталость от сегодняшней охоты и, по возвращении, тотчас же лег в постель и даже не прикоснулся до поданных кушаний.

— Не бредил ли он по своему обыкновению?

— Он сказал несколько бессвязных слов, но я не понял их, потому что они были на греческом языке. Я расслышал только имя «Андроник», которое он повторил два или три раза.

— Андроник!.. Я догадываюсь, в чем дело... Он, вероятно, видел во сне маленького Андроника, своего любимого товарища!..

Затем после довольно продолжительного молчания посетитель снова обратился к воину и сказал ему:

— Ты можешь идти, я не нуждаюсь больше в твоих услугах.

Норманн вышел из комнаты и запер за собой дверь на ключ.

Таинственный посетитель подошел к постели и долго смотрел на спящего мальчика.

— Андроник!..— пробормотал он.— Знаю, мне ли не знать, кого ты призываешь! — того жалкого Андроника, который из глубины изгнания, в далекой Азии, не перестает мечтать об императорской короне, но я употреблю все средства, чтобы лишить его возможности приносить вред... Неосторожное дитя! — добавил он, обращаясь к спящему: — Ты призываешь себе на помощь Андроника? Тебе и в голову не приходит, что этот человек твой злейший враг. Все это плоды наушничества людей, которых не следовало бы пускать на порог дворца!

Он бросил полный ненависти взгляд на спящего императора, затем вынул из-под плаща ключ, отворил им небольшую дверь в противоположной стене и исчез за нею как тень.

Ночной посетитель, выйдя из императорской опочивальни, очутился в узком темном проходе, в конце которого была дверь. Он отворил ее другим ключом и вошел в ярко освещенную комнату. Это была великолепная зала, украшенная дорогой мебелью. Посреди стоял стол и четыре высоких кресла, обитых богатой пурпурной тканью, со спинками, на которых блестела золотая им-

нераторская корона. Восемь больших окон, освещавших днем эту залу, были завешаны длинными занавесями с золотой вышитой каймой. Четыре больших зеркала во всю высоту залы украшали стены. На правой стороне у одного из окон стоял изящный стол; на нем лежало несколько бумаг и раскрытый план столицы. Богатые персидские ковры покрывали пол; двенадцать больших светильников освещали ярким светом обширный покой.

Загадочный посетитель, перед которым так легко в такой поздний час открывались двери императорского дворца, остановился среди комнаты и окинул ее взглядом. Зала была пуста.

— Никого? — воскликнул он с нетерпением.— А ведь ей было известно, что я приду, и она обещала, что будет ждать меня! Надеюсь, что не презрение причина такой небрежности. Разве она может презирать меня? Она!.. Ей ли пренебрегать мною?.. Нет! это невероятно! — добавил он, и на губах его появилась ироническая улыбка.— Быть может, она не знает, что я здесь.

Он подошел к одной из боковых дверей, находящихся по обеим сторонам главного входа, и два раза постучался в нее.

Дверь тотчас же отворилась, и в ярко освещенную залу вошла высокая, статная женщина.

Она была в том цветущем возрасте, когда женская красота достигает наибольшего развития; на ней было великолепное платье и богатые украшения на шее и руках. Ее величественная осанка, исполненная достоинства походка и более всего уверенный повелительный взгляд свидетельствовали о высоком положении.

Это была императрица Мария, вдова Мануила, мать царствующего отрока.

— Ты ли это Алексей? — спросила она, обращаясь к посетителю.

— Разве ты забыла, что я обещал прийти сегодня? — сказал тот.

— Нет, конечно. Но назначенный тобою час уже давно прошел.

— Ты забываешь, что протосевастос * не может рас-

---

* Протосевастос — первый советник министра.

полагать своим временем: государственные заботы не дают мне ни минуты отдыха. Но я сказал тебе, что приду и, как видишь, сдержал слово.

Она протянула ему в знак благодарности свою белую, красивую руку.

— Ты знаешь, Алексей,— сказала она,— что мое сердце всегда радуется при встрече с тобой, но бывают минуты, когда твое присутствие становится для меня еще более необходимым,— минуты, когда я надеюсь почерпнуть от тебя ту силу, какую мы, слабые существа, нередко приписываем себе, хотя в действительности вовсе не обладаем ею. Алексей, мне нужен твой совет, сердце мое полно смущения; я боюсь...

— Ты боишься, Мария? — сказал протосевастос и, подав руку императрице, подвел ее с почтительным поклоном к одному из четырех кресел. Затем он снял шапку и, откинув свой длинный плащ, сел рядом с нею.

Алексей Комнен находился в полном цвете молодости и сил. Наряд его отличался строгой простотой и изяществом; он был высокого роста, привлекательной наружности, с черными волосами и бородой. Природа щедро наградила его всеми преимуществами, которые открывают путь к осуществлению честолюбивых надежд. Алексей Комнен родился в императорском дворце при пышном дворе своего дяди Мануила и занимал должность первого советника императора. Он и Мария, мать и опекунша одиннадцатилетнего императора, управляли государством. Но собственно власть была в руках Алексея Комнена, который деспотически распоряжался не только слабым императором, но и его матерью. Он достиг такого могущества, благодаря своим способностям, мужеству и в особенности близким отношениям с императрицей, которые еще при жизни Мануила, перешли границы родственной связи и приняли более интимный характер. Алексей Комнен выхлопотал у императора письменное предписание, по которому ни одно императорское повеление не могло быть приведено в исполнение, если он, протосевастос, не скрепит его своей подписью, которая должна заключаться в следующих словах, написанных зелеными чернилами: «Быть по сему». Мария, страстная, увлекающаяся женщина, воспылала любовью

к племяннику своего супруга; и эта любовь всецело предала ее в его руки. Ее чувство было настолько сильно, что после смерти императора она вынашивала честолюбивый план надеть императорский венец на своего возлюбленного. Единственным препятствием к этому был ее сын, император, и она, ослепленная страстью, прибегла к помощи яда, чтобы привести в исполнение свой преступный замысел. Но врачи успели вовремя открыть опасность и спасли жизнь отрока. Хотя этот случай остался втайне, Мария решила удалиться в монастырь с твердым намерением провести здесь остаток дней своих, под именем сестры Ксении. Подобное решение разрушило бы все планы протосевастоса. Ему нужно было удержать при себе эту женщину, которая была дорога его сердцу и как императрица служила послушным орудием его честолюбивых стремлений.

— Ты боишься, Мария? — повторил Алексей Комнен: — ты, мужественная, непоколебимая Мария!..

— Что делать! — воскликнула она дрожащим голосом.— Прошли те дни, когда я наслаждалась спокойствием, и мужество не оставляло меня. С некоторого времени меня мучат тяжелые предчувствия. Тяжел и удушлив воздух в этом царском дворце. Я задыхаюсь в этих стенах и сожалею, что оставила монастырь, где меня ожидало мирное, спокойное существование.

— Мария,— сказал Алексей Комнен, бросив на нее пристальный взгляд,— моя Мария сожалеет о решении, от которого зависело мое счастье? Может ли она говорить мне такие слова? Неужели Мария разлюбила меня?..

Какая женщина может выслушать равнодушно подобные слова от любимого человека, в особенности, когда они произнесены таким нежным тоном, какой Алексей Комнен умел придать своему голосу.

— Может ли Мария,— добавил он,— считать жертвой, что она оставила монастырь, чтобы вернуться в мои объятия? Разве она считает жертвой, что делит со мной заботы и труды правления?

— Увы, Алексей, бразды правления тяжелы. Не легко дается это искусство. Всюду препятствия и затруднения. Эти затруднения растут с каждым днем, и я не

вижу выхода. Император еще ребенок. Много пройдет времени, пока он научится управлять государством!

— И ты не радуешься этому, Мария? — сказал Алексей Комнен: — Не радуешься, что перед нами длинный, открытый путь? Неужели ты желаешь, чтобы мы теперь же расстались с властью и были устранены. Я не узнаю тебя, Мария. Откуда эта боязнь? Как ты изменилась!

— Я уже говорила тебе, Алексей, что мрачные предчувствия овладели мной! — возразила она, с трудом удерживая слезы.— У меня нет прежнего доверия к себе. Предо мною рисуется печальная будущность, исполненная бедствий и опасностей.

— Ты рассуждаешь, как женщина,— сказал Алексей Комнен, с легкой усмешкой, стараясь придать своему голосу спокойную уверенность.— Посмотрим, насколько основательны твои предчувствия. Сообщи мне, в чем состоят они; мы взвесим их и убедимся: действительно ли существуют все те бедствия и опасности, которые рисуются твоему воображению.

— Оставь иронию, Алексей, к чему этот насмешливый тон! — возразила Мария печальным голосом.— До шуток ли в такое тяжелое время!.. В народе ропот и волнения; народ стонет под гнетом тяжелых налогов. Он считает нас виновниками всех своих бедствий.

— В народе ропот? — удивился Алексей Комнен.— Когда же не ропщет народ? Предоставь ему все блага земные, и он будет по-прежнему недоволен. Как бы ни был велик гнет налогов, кто же спрашивает об этом народ? Пока власть в наших руках, никто не осмелится оспаривать у нас право налагать подати по нашему усмотрению. Народ желает отмены податей? И прекрасно! Мы удвоим их.

— Народ жалуется,— добавила Мария: — что мы не заботимся об его благосостоянии и проматываем на празднества и пиры общественные деньги, заработанные им в поте лица.

— Неужели ты воображаешь, Мария, что когда-нибудь прекратится зависть бедняков к богатым и сильным? Поверь, что народ, который приветствует тебя радостными криками, при каждом твоем появлении, охот-

но стер бы с лица земли этот дворец, если бы только представилась малейшая возможность.

— Народ в отчаянии обратился к помощи изгнанного Андроника, которому Мануил имел неосторожность даровать жизнь в припадке, ничем необъяснимой, душевной слабости. К Андронику отправлены послы, которые от имени народа должны просить его вернуться из Азии, ради общего спасения. Слышал ли ты об этом, Алексей?

— Мне все известно, Мария. Я знаю все их козни, а также их тщетные надежды. Но это не страшит меня. Андроник слишком умен, чтобы сдвинуться с места, тем более, что я имею возможность принудить его к этому.

— Наконец, я должна сказать тебе,— продолжала она, бросив на протосевастоса взгляд, исполненный любви,— что меня больше всего беспокоит и приводит в трепет то обстоятельство, что гнев и ненависть народа обращены против тебя.

— Неужели ты думаешь, что лай собак может испугать льва? — воскликнул Алексей Комнен, гордо подняв свою красивую голову.— Чернь слишком ничтожна, чтобы я мог бояться ее! Страх несовместим с презрением! Я слишком хорошо знаю чернь, знаю ее затаенные помыслы и настроение. Народ вопит и ропщет. Почему? Потому, что он лишен публичных зрелищ, в виде звериной травли, которыми мой покойный дядя умел держать его в повиновении. Доставьте ему снова те же кровавые увеселения — и его ропот и крики сразу прекратятся. В этом заключается вся наука управлять народом. Поверь, Мария, что если бы все монархи, существующие на земле, обладали искусством занять народ и умели бы потворствовать его похотям, то не было бы ни смут, ни государственных переворотов.

— Ты храбр и неустрашим, Алексей,— сказала она, взяв его за руку.— Тебя нельзя упрекнуть в недостатке мужества. Я всегда знала тебя таким, и поэтому неизменно любила тебя. Но ты не должен обманывать себя относительно мнимого добродушия нашего народа. В этой толпе, которая шныряет на улицах и площадях скрываются опасные враги, которые побуждают ее к неповиновению. Я не стану называть их; они также хорошо из-

вестны тебе, как и мне. Не пренебрегай моим советом и следи за ними шаг за шагом, потому что эти враги, которые действуют за нашей спиной, несравненно опаснее открытых противников... Перед твоим приходом я рассматривала этот план,— добавила Мария, указывая на раскрытый план города,— и мне пришло в голову, что было бы всего разумнее, если бы мы оставили этот уединенный дворец и переселились в Августеон, который находится поблизости от храма св. Софии. Там, в центре города, нам было бы легче следить за нашими врагами и принять меры против попыток к восстанию.

— Пусть будет по-твоему! — сказал Алексей Комнен.— Я ничего не имею против этого. Завтра же будут сделаны все необходимые распоряжения для переезда двора.

— Видел ли ты императора? — спросила Мария после некоторого молчания.

— Да, я был в опочивальне императора перед тем, как войти сюда, и нашел его спящим.

— Не показался ли тебе тревожным его сон?

— Он спал крепким сном, как все дети.

— Продолжительная охота настолько утомила его, что он тотчас лег в постель. Такое напряжение сил должно истощать его молодое тело.

— Я вижу, Мария, что ты исполняешь в точности все мои предписания. Мы должны постоянно утомлять его непосильными физическими упражнениями, чтобы ум его оставался праздным и не научился думать. Физическая усталость мешает свободе мысли. Только этим путем мы можем постоянно держать императора в нашей власти.

— Насколько это зависит от меня я, разумеется, никогда не отступлю от начертанного тобою плана действий.

— Я в особенности посоветовал бы тебе, Мария,— продолжал Алексей Комнен,— по возможности устранять патриарха и, насколько это будет в твоей власти, не допускать его посещений. Я ненавижу старого Феодосия; он может одним словом обратить в прах здание, воздвигнутое нами с таким трудом. Следует, во всяком случае держать этого седовласого монаха подальше от императора.

— Он часто является сюда́, но перед ним редко отворяются двери. Охрана уже получила соответствующие инструкции; норманны недолюбливают его и презирают как священника не их веры, и поэтому неохотно пускают его во дворец.

— Всякий раз,— сказал Алексей Комнен,— когда он явится сюда, чтобы поговорить с императором, присутствуй при их беседе, Мария. Ты понимаешь, какое пагубное влияние может иметь на мальчика хитрый патриарх. Нужно найти какой-нибудь благовидный предлог, чтобы удалить из столицы этого опасного монаха, так как его присутствие становится с каждым днем все более и более опасным. Император Мануил возвел его в высший церковный сан, и поэтому он считает себя вправе выступить в качестве защитника его сына. Но старик сильно ошибается; он скоро убедится, что времена Мануила прошли безвозвратно, что он сам не более, как церковный владыка, могущество которого ограничено церковью и не должно простираться на императорский дворец...

Сквозь тяжелые занавеси проник слабый луч дневного света, возвещавший наступление нового дня.

Алексей Комнен быстро поднялся и накинул на себя широкий плащ. Мария с приветливой улыбкой протянула ему свою руку, которую протосевастос почтительно поднес к губам; затем они расстались. Алексей Комнен вышел из залы через ту дверь, в которую вошел; императрица удалилась в свои покои.

Протосевастос, проходя мимо караульных, сказал им: «Будьте неотлучно во дворце!» С этими словами он плотно завернулся в свой плащ, еще раз взглянул на окна приемной залы императрицы и, проскользнув в ворота, исчез в тесных улицах Константинополя.

## II

Обширная площадь Августеона, занимавшая все пространство от храма св. Софии до императорского дворца, от которого она получила свое название, была на-

полнена густой и пестрой толпой. Хотя на этой площади, бывшей центром столицы, постоянно толпились люди, сегодняшнее стечение народа представляло собой нечто необычайное. Из всех улиц, примыкавших к площади, двигалась сплошная масса людей, за которой следовала, как всегда бывает в подобных случаях, еще более многочисленная толпа. Все бежали куда-то, по-видимому, не зная даже причины такой поспешности.

В толпе задавали различные вопросы:

— Что случилось? — спрашивали одни других.— Куда бежит народ?..

Широкоплечий матрос с коричневым загорелым лицом и засученными рукавами, достигнув площади, с недоумением оглядывался по сторонам, не зная куда идти. Наконец он обратился к одному из стоявших около него и сказал:

— Не можешь ли ты объяснить мне, что́ случилось и что́ означает эта огромная толпа людей? Чуть ли не весь город здесь. Вот уже час, как я не могу узнать почему вся эта толкотня.

— Разве ты не здешний, раз задаешь подобный вопрос? — сказал тот, кого спрашивали.

— Хотя я родился и вырос в Константинополе,— заметил матрос,— но я, все-таки, не понимаю, в чем дело.

— Изволь, я объясню тебе. Дело самое простое. Наш император переселился сегодня со всей своей свитой в этот дворец, который мы видим перед собой.

— Нечего сказать, важное событие! — воскликнул матрос, пожимая плечами.— Не стоило из-за этого оставлять корабль...

— Ты ошибаешься, мой друг, событие это имеет весьма важное значение,— продолжал словоохотливый собеседник.— Влахернский дворец, в котором до сих пор жил император, наполнен в настоящее время привидениями; каждый вечер на крышу его садится какая-то ночная птица, каркает и стонет. Знаешь ли, что означает это карканье? Оно предвещает несчастие и смерть!..

— Неужели?

— Я повторяю то, что слышал от других. Вот почему императрица, которая горячо любит своего сына, уговорила его переселиться сюда.

— Понимаю,— возразил матрос, с недоверчивой улыбкой.— Но какое дело народу до всего этого?

— Ты видишь, народ находится в ожидании. Дело в том, что мудрецы и ученые, которые читают в книгах, объявили, что ночная птица прилетит и к этому дворцу и также сядет на крышу. Вот народ и собрался сюда, чтобы видеть зловещую птицу.

— Ну, этому не бывать! Разве народ думает остаться на улице до позднего вечера, чтобы подкараулить птицу?

— Не с твоим умом объяснять такие мудреные вещи! — возразил с гневом рассказчик.— Вернись лучше на свой корабль и посмотри: в порядке ли у тебя все паруса и канаты...

Матрос рассердился, и хотел уже сказать какую-то дерзость, но тут со стороны дворца послышался громкий крик: «Смотрите! смотрите!».

Все взоры обратились на крышу императорского дворца, но там не было видно ничего особенного.

Затем снова раздались голоса: «Он идет! Вот он!» Толпа всколыхнулась, но и на этот раз нигде не заметно было ничего нового.

Наконец, все устремились к центру площади, где давка была больше всего. Отсюда слышались крики: «Смотрите! Смотрите! Идет! Он идет!». Вслед затем толпа раздвинулась и раздались восклицания: «Цинцифиций! Цинцифиций!».

На середину образовавшегося пустого пространства вышел человек, смело смотревший на толпу.

Это был безобразный карлик, с необыкновенно большой головой, кривыми плечами, густыми растрепанными волосами и с красноватым, безбородым лицом. Он был босой; одеждой для него служили пестрые лохмотья, висевшие на его теле. Во всей его наружности было нечто неприятное и отталкивающее, но в единственном глазе светился недюжинный ум.

Это уродливое существо, возбуждавшее всеобщее любопытство, был Цинцифиций, известный константинопольский нищий, который проводил целые дни на улицах и площадях города, где служил потехой для взрослых и был предметом страха для маленьких детей. Достаточно

было сказать: «Идет Цинцифиций!» — чтобы непослушное дитя в испуге бросилось искать защиты на руках матери или кормилицы. Цинцифиций был настолько известен и популярен в Константинополе, что вельможи и высшие сановники империи не раз предлагали доставить ему спокойное и надежное убежище в одном из императорских дворцов. Но Цинцифиций отказался от этих лестных предложений. Он предпочитал независимость почестям и покою, и поэтому решил остаться среди народа, к которому принадлежал по рождению.

Ему были известны все вопросы: нередко он говорил под открытым небом перед многочисленной толпой слушателей, и его речи были не только переполнены остроумием и меткими намеками, но отличались той простотой и ясностью, которая неотразимо действует на простых людей.

Цинцифиций не получил образования, но обладал той врожденной быстротой ума, которая не приобретается ни воспитанием, ни учением, и составляет достояние немногих избранных натур. Он был всей душой предан императору Мануилу, который однажды спас его из рук рассвирепевших норманнов во время мятежа. Цинцифиций перенес эту преданность и почитание на сына и преемника Мануила, и ненавидел коварного протосевастоса. Тот не раз пытался принудить к молчанию любимого народного оратора.

— Цинцифиций! Цинцифиций! — кричали присутствующие, теснясь около карлика.

Но едва Цинцифиций сделал знак, что намерен говорить, как шумевшая толпа сразу умолкла.

Цинцифиций бросил на толпу долгий, пытливый взгляд; лицо его оживилось; толстые губы улыбались. Он поднял свою широкую руку с длинными ногтями, и заговорил хриплым голосом, который глухо раздавался точно из пустой бочки.

— Счастливые граждане Константинополя, вы оказываете мне немалую честь, следуя за мной на эту площадь, чтобы послушать мою речь. Поверьте, что такое рвение с вашей стороны придает мне мужество. Я чувствую, как увеличивается мой рост по мере того, как усиливается ваше любопытство. Жалею только, что не имею

десять ртов вместо одного, чтобы иметь возможность говорить в десяти различных местах, чтобы все могли слышать меня.

— Мы слушаем! Мы все слушаем!— воскликнуло несколько голосов.— Не останавливайся, Цинцифиций!

— Вам известно, что я люблю вас, константинопольцы,— продолжал он.— Да и могу ли я не любить вас. Разве я не родился в этом городе и не вырос здесь? Разве вы все мне не братья? Да, я ваш брат и у нас одна мать. Вы знаете, кого я называю нашей матерью. Нашу родину, наш прекрасный, святой город, дорогой всем нам. И так как мы всего охотнее говорим о том, что нам дорого, то сегодня я буду говорить вам, мои дорогие братья, о нашей общей матери, которая с некоторого времени обречена на бесконечные страдания. Разве все мы, преданные любящие дети, не обязаны защитить и поддержать нашу мать?

— Цинцифиций говорит правду! Он прав! — воскликнуло несколько человек из толпы.

— Я назвал вас счастливыми,— продолжал шут.— Вы действительно счастливы; может ли кто-нибудь считать себя несчастным, принадлежа к городу, который дает веселие и блаженство своим жителям и составляет цель устремлений чужеземцев? Если хотите, то я могу подтвердить свои слова примером? Слушайте: вы все знаете телохранителей императора, которые прибыли сюда из своих снежных стран и, найдя здесь теплое солнце, хорошую обильную пищу, не желают больше покидать этот земной рай. Я добавлю, друзья мои, что у этих господ даже явилась твердая решимость остаться здесь до конца жизни. Они говорят, что мертвым лучше лежать в могиле, нежели живым людям жить на их родине, окутанной снегом и туманами. Надеюсь, что вы поняли теперь, почему я назвал вас счастливцами...

В толпе раздался громкий хохот.

— Не смейтесь, братья мои,— сказал он.— Наступили печальные времена слез и вздохов; нам теперь не до смеху... Я привел вам пример норманнов, чтобы вы убедились, насколько чужеземцы дорожат нашей страной. В море водятся маленькие устрицы: где только у берега окажется безопасная, освещенная солнцем скала, то эти

маленькие создания прилепляются к ней с такой силой, что их можно соскоблить только с помощью железных орудий. Подобные же устрицы существуют и на суше. Вы понимаете, что я имею в виду норманнов. Между ними, друзья мои, та разница, что маленькие морские моллюски совсем безвредны и не имеют других желаний, как провести спокойно свое кратковременное существование, а где заведутся человекообразные устрицы, там они стараются все захватить себе — почести, деньги, должности... Эти-то живущие на земле устрицы и не дают мне покоя. Они лишают меня сна по ночам; когда я вижу, как они важничают со своими тяжелыми секирами. то я как будто чувствую тяжесть их оружия на моей голове. Мысль о них терзает меня и днем, и ночью...

Тут один из стоявших в первых рядах толпы, дослушав с величайшим вниманием его речь, сказал:

— Знаешь ли что, Цинцифиций? — мне кажется, что не так трудно отделаться от устриц, сидящих на нашей шее. Стоит тебе только явиться к императору и заявить, что эти люди стали нам в тягость; и его доброе сердце укажет ему средства избавить нас от них!

— Все это было бы исполнимо, мой друг,— возразил карлик,— если бы только я имел возможность получить доступ к императору. Но нашего бедного монарха так усердно оберегают, что весьма немногие могут видеть его. По крайней мере, что касается меня лично, то я не могу сказать наверняка: ходит ли он на ногах, как все люди, или как-нибудь иначе!

— А между тем,— продолжал тот же человек: — наши государи были всегда любимы народом. Я помню, что покойный император Мануил разговаривал на улице с первым встречным.

— Несомненно, Алексей последовал бы примеру своего отца,— сказал Цинцифиций,— если бы это было в его власти.

— Но его держат в заключении! — раздалось из толпы.

— Да, он находится в заключении, друзья мои! — продолжал Цинцифиций.— Нашего императора держат взаперти, как птицу в клетке. Правда, его клетка сделана из золота, но что же из этого? Она все-таки клетка.

Может ли птица вылететь из нее? Разумеется, нет! Значит, птица лишена свободы... Теперь весь вопрос в том: кто лишил ее свободы и с какой целью это делается?

Толпа, наполнявшая обширную площадь, все увеличивалась; вновь прибывшие, не имея возможности видеть и слышать что-либо, стали выказывать свое нетерпение. Тогда стоящие в первых рядах, которым все было видно и слышно, стали роптать на шумевших и требовать, чтобы они замолчали. Между теми и другими произошел обмен бранными словами и можно было ожидать стычки, как из толпы послышался громкий возглас:

— Поднимите Цинцифиция, чтобы все могли видеть и слышать его!

Это предложение, примирившее интересы враждующих сторон, было тотчас же принято; и из ближайшего винного погреба прикатили большую пустую бочку, на которую вскарабкался Цинцифиций.

Но едва взволнованная толпа увидела над собой уродливую фигуру карлика, как со всех сторон раздался громкий хохот. Теперь все могли видеть популярного оратора и слышать его. Цинцифиций бросил быстрый, неуловимый взгляд на императорский дворец и продолжал прерванную речь:

— Я хотел было, друзья мои, назвать вам того, кто держит птицу в золотой клетке. Но я не стану называть его. Нет! Это было бы слишком смело, потому что даже воздух, окружающий нас, имеет уши! Я опишу вам его приметы. Это человек высокого роста, с бородой черной, как воронье крыло, этот человек всего ближе к престолу; днем и ночью все двери императорского дворца открыты для него.

— Это протосевастос! — воскликнула толпа.

— Вы тотчас узнали его,— сказал Цинцифиций.— Да, это он! Вы не ошиблись!.. Теперь разрешите мне еще более легкую задачу: каким способом мог этот человек соединить подобную власть в своих руках? Известно, что люди становятся великими и могущественными или благодаря своему мужеству, или редкому уму. Бывали примеры, что храбрые, неустрашимые солдаты приобретали императорскую корону на поле битвы, что люди, богато одаренные, достигали господства над своими собратья-

ми. Теперь посмотрим, что способствовало возвышению этого человека. Он прибегнул к более верному и простому средству, а именно воспользовался для своих целей привязанностью женщины, которая сделалась послушным орудием его воли. Эта женщина — вдова Мануила, мать нынешнего императора. И этот человек, и эта женщина задумали сорвать венец с головы нашего императора и надеть его на собственную голову. Они не успокоятся, пока не достигнут своей цели. Можем ли мы допустить такую вопиющую несправедливость? Неужели мы останемся безмолвными свидетелями такого наглого насилия?

— Нет! нет! — крикнула толпа.— Скорее смерть, нежели подобный позор!

— Скорее смерть? — продолжал с воодушевлением Цинцифиций: — Я также скажу: скорее смерть! Но, братья мои, одного желания недостаточно, нужна возможность выполнить его. Вам, вероятно, не раз приходилось видеть большую муху, которая кружится над паутиной, собираясь порвать ее: она может сделать это, пока пользуется свободой; но если паук опутает муху паутиной, то мухе конец, она навсегда погибла. Мы находимся в настоящую минуту в положении этой мухи. То, что нам следует делать, должно быть сделано немедленно, потому что, если нас захватит паук, то мы погибли, друзья мои. Дерево должно быть отрублено у самого корня, пока оно не принесло пагубных плодов. Хватит ли у вас на это воли и мужества? Если да, то примемся за дело, не теряя ни минуты. Освободим пойманную птицу, чтобы она могла летать и наслаждаться чистым воздухом! Докажем всему свету, что мы достойные потомки древних византийцев, которые приводили в трепет своих врагов и заставляли весь мир удивляться им. Вперед! Братья! За нас Господь! Долой разбойников! Долой наемников! Наша родина взывает о помощи! Вперед!

Едва Цинцифиций произнес эти слова, как на обширной площади раздались тысячи голосов: «Да здравствует наш милостивый император и повелитель! Да здравствует Алексей!»

Толпа, наполнявшая обширную площадь, заволновалась, подобно морю, дикая и грозная в своей ярости.

Мрачно и неподвижно, как бесстрастные судьи, смотрели большие закрытые окна императорского дворца на внезапное возмущение.

Между тем Цинцифиций исчез в густой толпе, которая, потеряв из виду руководителя, служившего для нее центром, бросилась в разные стороны, готовая преодолеть все преграды на своем пути, подобно пугливой, невзнузданной лошади.

Но тут внезапно отворилось одно из окон дворца, и появилось разгневанное угрожающее лицо протосевастоса. Он был бледнее обыкновенного, глаза его, устремленные на стоявшую внизу толпу, смотрели презрительно.

— Протосевастос! Грабитель! Долой этих разбойников! Долой тиранов! — раздалось со всех сторон.

Протосевастос поднял руку и спросил громким голосом, обращаясь к народу:

— Кто дал вам право шуметь перед этим дворцом, где находится священный императорский трон? Кто осмеливается нарушать спокойствие нашего милостивого монарха? Безумцы! Разве вас не страшит гнев вашего повелителя и вы забыли, что он может обратить против вас копья и мечи своих верных слуг. Не воображаете ли вы, что добьетесь чего-нибудь своими криками! Прочь отсюда, очистите немедленно площадь! Прочь! Иначе вам будет плохо!..

Эти угрожающие слова и, в особенности, смелый решительный тон, каким они были сказаны, магически подействовали на толпу, мало-помалу площадь стала пустеть.

В это время двое людей вышли из храма св. Софии и направились к середине площади.

Один из них был полководец Андроник Лапардас, который был известен своими военными подвигами и пользовался всеобщей любовью и уважением в армии. На вид ему казалось лет около пятидесяти; на нем была белая парадная одежда византийских военачальников; он держал в руке меч. Его спутником был Иоанн Каматер, градоначальник, человек редкого ума, поседевший на службе своей родины.

Эти двое людей были свидетелями только что произошедшей сцены; они видели постыдное бегство народа.

— Меня удивляют наши соотечественники,— сказал Лапардас с иронической улыбкой.— Достаточно было этому фигляру сказать несколько слов, чтобы они рассеялись.

— Твой приговор слишком легкомыслен, Андроник, ты не подозреваешь, на что способен наш народ. Тебе приходилось иметь дело только с людьми, носящими оружие; и поэтому ты смотришь с предубеждением на константинопольцев, которых я хорошо знаю. Если хочешь знать о том, что они действительно думают и чувствуют, то скажи им несколько слов, чтобы ободрить их, и ты увидишь неожиданное для себя превращение.

Мужественный Лапардас был глубоко возмущен трусливым отступлением толпы; поэтому он поспешил воспользоваться советом своего товарища и, обращаясь к бегущим, крикнул им громким голосом, каким привык говорить в подобных случаях на поле битвы.

— Давно ли вы, граждане Константинополя, обратились в трусливых баб! Вы ведете себя, как бессмысленные овцы, которых гонят то в одну, то в другую сторону! Неужели вас могли напугать слова этого честолюбивого злодея, который, рассчитывая на вашу снисходительность, не знает меры своему высокомерию и расточает общественные деньги? Вы знаете меня, граждане Константинополя: я — Лапардас! Вы видите эти шрамы — следы ран, полученных при защите нашего отечества. Ваше поведение вызвало краску стыда на моем лице. Долго ли вы будете выносить подобный позор? Неужели вы допустите, чтобы этот человек мог хвалиться легкой победой?

Казалось, что толпа только и ожидала этих слов, чтобы снова хлынуть на площадь еще более грозным потоком. Речь Лапардаса была искрой, воспламенившей тлевший кратер.

Площадь снова наполнилась народом, но это была уже не та толпа, которая тешилась речами Цинцифиция, а дикая, угрожающая, готовая идти до конца. Раненый бык пришел в ярость, и теперь ничто не могло более остановить его бешеного натиска. Бурный поток вышел из берегов и уносил за собой все встречавшееся на пути.

Из всех домов выносили оружие — мечи, копья, щиты, и раздавали их в толпе.

Площадь Августеона внезапно превратилась в огромный боевой лагерь.

Прошло всего несколько мгновений с тех пор, как полководец Лапардас произнес свою речь,— и уже грозная вооруженная толпа окружила дворец.

Впереди всех шел Иоанн Каматер и рядом с ним Андроник Лапардас, который, размахивая обнаженным мечом, время от времени обращался к окружавшим его горожанам, стараясь поддержать их мужество.

Окно, в котором только что появлялся протосевастос, закрылось, но тут внезапно отворились с грохотом трое больших ворот дворца, и из них выступила густая толпа норманнов с поднятыми секирами.

Упорным и беспощадным был кровопролитный бой у ворот императорского дворца. Пали сотни людей с обеих сторон; трупы чужеземных воинов и горожан лежали в беспорядке целыми грудами. Слабые стоны умирающих заглушались угрозами и проклятиями сражавшихся.

Однако, недолго мог оставаться нерешенным исход кровопролитного боя; наемные телохранители, послушные слуги ненавистного протосевастоса, не в силах были оказывать дальнейшего сопротивления. Между тем горожане ежеминутно получали новые подкрепления.

Наконец, ряды телохранителей были прорваны и толпа хлынула неудержимым потоком во дворец, требуя протосевастоса.

Предвидя заранее исход неравного боя, он спасся бегством и поспешил в свой дом, где надеялся найти для себя более безопасный приют, чем в императорском дворце.

Один из телохранителей, видевший его в момент бегства, сообщил об этом ворвавшейся толпе; и тотчас же дикий, грозный поток устремился в ту сторону, где находилось жилище ненавистного человека.

Толпа осадила дом, и протосевастос Алексей Комнен попал в ее руки.

— Убейте его! Киньте его в море! Выколите ему глаза — таковы были угрозы, которые слышались со всех сторон.

Но в тот момент, когда толпа собиралась вывести из дому протосевастоса и предать мести, появился Лапардас.

— Вы одержали блистательную победу,— сказал он, обращаясь к людям, охранявшим протосевастоса: — не омрачайте ее смертоубийством. Мы имеем законы, которым обязаны повиноваться. Судите этого человека и, если вы найдете, что он достоин смерти, то казните его. Не произносите сами над ним приговора; отдайте его в руки правосудия...

## III

В то время, как в Константинополе происходили вышеописанные события, на холмах, окаймляющих азиатский берег Босфора, заметно было необычайное оживление; все носило характер какой-то особенной торопливой деятельности.

На этих холмах были раскинуты сотни разноцветных палаток, расположенных двумя длинными рядами. Перед палатками виднелись пестрые группы воинов, из которых одни приводили в порядок оружие; другие были заняты приготовлением пищи. Все они время от времени посматривали в ту сторону, где вдали виднелась столица, как бы ожидая оттуда каких-либо условленных знаков или призыва.

Это был боевой лагерь Андроника Комнена, изгнанного Андроника, который не мог долее выносить тягость насильственного удаления от родины и двинулся к столице с войском, чтобы спасти юного монарха. Едва услыхал он о смерти Мануила, как начал делать приготовления к походу. Он таил в глубине души давнюю непримиримую вражду к своим противникам, которые, достигнув могущества, были главными виновниками его изгнания.

Андроник двинулся к Константинополю, как для удовлетворения своей мести, так и с тою целью, чтобы взять на себя опекунство над царственным отроком, согласно клятве, некогда произнесенной им в присутствии Мануила. Во главе хорошо обученной и преданной ему армии,

он поспешно прошел Никею и Никомидию и приблизился к берегам Босфора, накануне того самого дня, когда совершилось падение протосевастоса. Здесь, в непосредственной близости к столице, он раскинул свои палатки и ждал благоприятного момента для достижения давно желанной цели.

Дальний поход, предпринятый Андроником, был скорее триумфальным шествием; везде встречали его с приветствиями, как избавителя. Жители провинций видели в нем единственное спасение, его появление наполняло радостью все сердца; с каждым днем увеличивалось общее воодушевление и вера в успех его дела.

Жители Константинополя, испытавшие на себе все бедствия дурного правления, с радостью увидели развевавшиеся знамена Андроника и сторожевые огни его войска, которые зажглись в лагере с наступлением ночи. Со всех сторон к нему протягивались руки с мольбой; везде произносили его имя и радостно приветствовали его появление.

Но Босфор, представлявший естественную и почти непреодолимую преграду, все еще отделял Андроника от города его надежд и мечтаний, потому что у него не было флота, бывшего в распоряжении протосевастоса.

Начальство над флотом было поручено князю Контостефану, который считался лучшим моряком и, по слухам, был всей душой предан протосевастосу. Контостефан, получив соответствующие приказания, снялся с якоря, чтобы следить за движениями неприятеля, так что протосевастосу, в виду такой надежной охраны, нечего было беспокоиться за свою безопасность.

Таково было положение дел в то утро, когда в городе произошли вышеописанные события.

Среди множества разноцветных палаток выделялась по высоте и великолепному убранству богатая палатка Андроника; она состояла из обширной залы и четырех комнат, отделенных одна от другой дорогими персидскими занавесями.

У круглого стола, стоявшего посреди залы, сидел Андроник и его два вернейших сторонника Стефан Агиохристофорит и Константин Трипсих, которые делили с ним все превратности его беспокойной жизни и были пре-

даны ему душой и телом. У ног Андроника лежала неподвижно огромная черная собака, его неразлучная спутница, постоянно следовавшая за ним, как тень.

Андронику было около шестидесяти лет; у него была та бодрая, исполненная достоинства осанка, которая с годами появляется у военных людей вследствие трудной походной жизни. Его одежда была фиолетового цвета. На голове Андроника была надета шапка, которая, своей остроконечной формой, еще больше увеличивала его высокий рост. Его небольшие глаза отличались необыкновенной подвижностью; в них просвечивал тот своеобразный блеск, который служит безошибочным признаком пылких, диких страстей; в то же время в этих глазах было нечто пытливое, что́ почти всегда показывает крайнюю недоверчивость к людям.

На столе перед Андроником лежал план города, который он внимательно рассматривал со своими приверженцами, сообщая им время от времени свои замечания.

— Таким образом оказывается,— сказал Андроник, обращаясь к сидевшему направо от него Стефану Агиохристофориту,— что действительно Контостефан лично командует флотом.

— Да, это известие вполне подтвердилось,— возразил Агиохристофорит.— Говорят, что протосевастос, имея основательные причины не доверять Контостефану, хотел сначала поручить начальство над флотом какому-нибудь из проживающих здесь иностранных моряков, но завистливый и честолюбивый Контостефан был против этого и получил место, принадлежавшее ему по праву. Флот уже снялся с якоря.

— Конечно, он получил от протосевастоса строжайшие приказания,— сказал Андроник.

— Приказания, которые он возможно и не думает приводить в исполнение! — заметил сидевший налево Трипсих.

— Кто может поручиться за это? — сказал Андроник, слегка пожав плечами.— Я не придаю особенного значения уверениям Контостефана; у него непостоянный характер и, что́ еще хуже, он отличается крайним корыстолюбием, а протосевастос уже многих расположил в свою

пользу с помощью денег. Весьма возможно, что ему также удалось купить Контостефана...

— Несомненно, протосевастос мог бы подкупить его,— прервал Трипсих,— если бы его собственное могущество не висело на волоске. Но Контостефан достаточно хитер и знает, что ему нет расчета поддерживать своими плечами подгнившее здание, которое должно неизбежно раздавить его при своем падении.

— Как бы то ни было,— продолжал Андроник после некоторого молчания,— этот вопрос скоро разъяснится. Вам известно, что я послал сказать Контостефану, что ожидаю его прибытия в лагерь. Если он явится сюда, то это будет служить доказательством, что он предоставляет протосевастоса его судьбе; в противном случае, ему придется нести ответ за свое упорство.

— Ты, князь, должен иметь в виду,— сказал Агиохристофорит,— что все глубоко ненавидят протосевастоса, в чем можно убедиться даже из того радушного приема, какой был оказан нашим посланникам со стороны жителей столицы. Это облегчает нашу задачу и поможет исполнению дальнейших планов. Внутренняя смута будет способствовать нашей окончательной победе.

— У меня нет никаких сомнений относительно исхода этого дела,— возразил Андроник.— Но я чувствую такое горячее и неудержимое желание скорее вступить на землю столицы, что каждая минута промедления кажется мне целой вечностью... Говорю это без преувеличения, друзья мои. Может ли быть что-либо ужаснее: находиться перед этим городом, почти касаться рукой цели многолетних стремлений — и оставаться здесь в полном бездействии. Я старше тебя, Стефан, но кровь течет быстрее в моих жилах. У тебя своеобразная натура, Стефан; в самые важные моменты жизни ты можешь казаться холодным и безчувственным. Я знаю, что ты не таков в действительности, и имею возможность ежедневно убеждаться в этом; но ничто не в состоянии нарушить твоего внешнего спокойствия и заставить потерять терпение.

— Все, что нарушает мой покой, страшит меня,— сказал Агиохристофорит,— я боюсь сердечных порывов, не проверенных рассудком. Хорошо, если перевес на стороне головы, и сердце повинуется ей. Я, государь, при-

надлежу к школе тех философов, которые считают голову вместилищем души. Рассудок, по моему мнению, должен руководить всеми нашими действиями. Влечение сердца часто бывает обманчиво, и горе тому человеку, который следует только внушениям своего сердца!

— Да, Стефан, я знаю, что ты практический человек в полном значении слова,— сказал, улыбаясь, Андроник.— Я давно постиг тебя и, как видишь, следую твоим советам, потому что знаю, что они составляют результат глубокого размышления. Что касается меня лично, то, к сожалению, я слишком часто следовал порывам моего сердца,— добавил Андроник, с глубоким вздохом, бросив мимолетный взгляд на обоих собеседников. Затем он снова обратил все свое внимание на план города и сказал после некоторого молчания: — Теперь поговорим о нашем деле; по моему убеждению, площадь Гипподрома должна быть главным центром нашей деятельности; я уже высказывал это вчера Трипсиху, и он находит мой взгляд вполне правильным.

— Я не разделяю этого мнения, князь,— возразил Агнохристофорит: — потому что, взвесив с разных сторон этот вопрос, я пришел к заключению, что всего проще и надежнее считать таким центром площадь Августеона перед храмом св. Софии. Эта площадь, сердце столицы; отсюда как по артериям, стремится во всех направлениях жизнь и движение: если нам удастся овладеть этим центральным пунктом, то мы овладеем и всеми остальными. Кроме того, храм св. Софии сам по себе представит для нас крепкую и верную позицию со своими каменными стенами и воротами, которых ничто не может сокрушить; наконец, в случае неудачи, храм будет служить надежным убежищем.

— Я не предполагаю, чтобы наше дело могло окончиться неудачей! — сказал Андроник, встав со своего места.

— Кто хочет обеспечить за собой успех,— возразил спокойно Агнохристофорит,— тот должен постоянно иметь в виду неудачу. Весьма важно, что из всех частей города в Софийском квартале сосредоточены наиболее смелые граждане и непримиримые враги протосевастоса.

— Ты прав, Стефан,— сказал Андроник, после минут-

ного раздумья,— я считаю твои доводы вполне обоснованными. Площадь Августеона должна быть нашим сборным пунктом. Теперь перейдем к обсуждению дальнейших действий.

— Это будет зависеть от обстоятельств,— ответил Агиохристофорит.— План действий очень прост и не требует дальнейшего развития. Суть нашего плана заключается в том, чтобы занять площадь Августеона, укрепить храм св. Софии, призвать граждан к оружию и взять в плен протосевастоса и его приверженцев, после чего оставалось бы только явиться в Филопатиум к императору.

— Решено! — сказал Андроник с довольной улыбкой.

В эту минуту слегка зашевелилась занавесь одного из отделений палатки, и появилась широкоплечая фигура воина, который остановился неподвижно у входа. Большая черная собака открыла глаза и глухо заворчала.

— Что тебе нужно, Феодор? — спросил Андроник вошедшего.

— На морском берегу высадилось несколько вооруженных людей, они направляются к палаткам.

— Много ли их? — спросил Андроник.

— Всего человек десять.

— Это, должно быть, Контостефан,— воскликнул Андроник с сияющим лицом,— с его приходом рассеятся последние сомнения!

Едва выговорил он эти слова, как у палатки послышались голоса.

Андроник вышел из палатки и увидел группу вооруженных людей.

— Контостефан! — сказал он, обращаясь к тому из них, который шел впереди.— Приди в мои объятия. Я был уверен, что увижу тебя. Старые приятели никогда не изменяют друг другу.

— Здравствуй, князь,— ответил моряк, преклонив колено,— позволь мне первому передать тебе привет всего города, который с нетерпением ожидает твоего прибытия.

— Значит, ты являешься сюда в качестве друга, Контостефан,— сказал Андроник,— а не посла ненавистного мне человека, угнетающего нашу бедную родину своим тиранством.

— Я не только верный друг твой, Андроник, но пришел сюда с хорошими вестями,— продолжал Контостефан.— Быть может, даже в настоящую минуту преступник рассчитывается за свои постыдные деяния.

— Возможно ли это, Контостефан?

— Да, князь,— уверенно сказал тот,— пробил последний час для протосевастоса! Раздражение народа против него перешло в ярость. На улицах все требуют казни этого человека. Позволь мне, князь, проводить тебя; я ручаюсь за верность и преданность людей, состоящих под моим начальством.

— Я не мог ожидать ничего другого от Контостефана,— сказал Андроник.— Мы знаем друг друга много лет, и я давно имел возможность оценить твою храбрость, как и чистоту твоих намерений. Нас соединило чувство преданности к покойному императору Мануилу, и мы с одинаковым самоотвержением будем служить его сыну и преемнику. Мне предстоит тяжелая и трудная задача, но я надеюсь, что люди, подобные тебе, окажут мне свое содействие... Моя палатка к вашим услугам, очень рад, что могу оказать вам гостеприимство.

Контостефан и сопровождавшие его люди, вошли в богато убранную палатку.

Солнце уже совершило половину своего дневного пути, жара становилась все удушливее. В лагере господствовала тишина; утомленные воины предавались послеобеденному отдыху. Агиохристофорит, Трипсих и остальные военачальники удалились из княжеской палатки. Андроник остался один; у ног его лежал верный Лео,— так звали собаку.

Андроник время от времени искал уединения, чтобы предаться своим мыслям.

«Вот, наконец,— сказал он самому себе,— передо мной великолепный город с его семью холмами; сколько лет прошло с тех пор, как я ушел из него тайком, как преступник, под прикрытием ночи; теперь я у цели моих желаний. Узкий морской пролив отделяет меня от цели, узкая полоса воды, которую можно переплыть в легком челноке. Там ожидают меня с распростертыми объятиями; они видят в моем прибытии свое спасение и готовят царский прием. Но это ли цель моих желаний? Сделать-

ся опекуном царского отрока? Быть невидимой рукой, которая направит первые шаги этого ребенка? Неужели я должен сделаться слугой и рабом властелина! Я, Андроник Комнен, имею все права на императорскую корону!.. У меня достаточно мужества и силы, чтобы уничтожить моих врагов, и что может принудить меня к такому ничтожному существованию! Быть опекуном императора!.. Взять на себя все заботы и все бремя правления и какую выгоду извлечь из этого? Неужели я вынес столько страданий, провел столько дней в трудах и опасности, чтобы окончить жизнь в неизвестности и умереть бесславной смертью? Нет! Нет! Я не хочу занимать унизительного положения раба... Я буду господствовать один и господствовать независимо! Я хочу сам носить золотой императорский венец и управлять судьбой людей. Вот цель моих стремлений, конечная цель моей жизни! Если она останется недостижимой для меня, то я напрасно жил, напрасно вынес столько... Но разве такая будущность не в моих руках? Почему? Разве каждый человек не творец собственной судьбы? Трусливые и малодушные люди говорят, что судьбой людей управляет провидение. Я сам буду для себя провидением! Посмотрим, на чьей стороне будет перевес...

Легкое колебание занавеси прервало его размышления. Андроник поднялся, рука его опустилась на кинжал, лежавший на столе. Собака оскалила зубы.

Поднялся край занавеси, и в палатку медленно вошел старик в длинной, черной одежде, большая седая борода опускалась на грудь.

— Ты ли это, Иона? — спросил Андроник, опуская кинжал.

— Это я, князь,— ответил старик, подходя к столу.— Неужели ты среди белого дня боишься ножа убийцы?

— Я углубился в свои мысли,— сказал Андроник,— и не ожидал твоего прихода.

— Разве мой приход может удивить тебя? Не без цели приблизил ты меня к своей особе? Я должен возвестить тебе сегодня нечто важное.

Иона был астролог, неотлучно находившийся при Андронике, который обращался к его совету во всех важных случаях жизни. Иона родился в Малой Азии и уже не-

сколько десятков лет посвятил изучению природы и таинственных стихийных сил; он знал целебные свойства растений, объяснял движение звезд и естественных явлений. Говорили даже, что он в течение двадцати лет прожил взаперти в башне, где вел строгую жизнь отшельника, всецело посвятив себя астрономическим наблюдениям. Андроник относился с безграничным доверием к мудрости своего астролога; не менее того уважали старца друзья и приверженцы князя и видели в нем оракула. Во все часы дня и ночи, Иона имел свободный доступ к Андронику, и даже в палатке, рядом с опочивальней князя, находилась комната астролога, отделенная одной занавесью.

— Я должен возвестить тебе нечто важное,— повторил Иона.

— Важное, Иона? Хорошее или дурное услышу я от тебя?

— Моя наука, князь, не доступна простому смертному,— возразил старик, произнося отчетливо каждое слово,— простые смертные должны почитать небесные знамения и не пытаться объяснить себе их значение. Они должны подчиняться им, а не отыскивать, какая сила действует в них. Тебе известно, Андроник, что голова моя поседела за изучением небесных знамений и, все-таки, я должен откровенно сознаться перед тобой, что бывают явления, которые я сам не могу уяснить себе.

— Это предисловие, Иона, наводит меня на мысль, что ты пришел с дурными вестями,— сказал Андроник,— твой торжественный тон и серьезная речь тревожат меня. Говори, в чем дело.

— Ты находишь меня, князь, слишком серьезным? Когда же видел ты меня иным? Может ли человек оставаться веселым, занимаясь изучением небесных знамений. Мы, люди, в сравнении с величием вселенной, не более, чем жалкие черви, ничтожные горчичные зерна!.. Слушай, Андроник. В прошлую ночь я стоял у открытого окна и смотрел на небо. Ночь была тихая, тысячи созвездий блестели на безоблачном небе. Я наблюдал за некоторыми хорошо известными мне звездами, и мне казалось, что они движутся и описывают на небесной твер-

ди разные фантастические фигуры. Было уже за полночь. Между этими звездами одна звезда превосходила все остальные величиной и блеском и как бы властвовала над окружающими светилами. Но тут, на востоке внезапно показался яркий свет, принявший в следующую минуту форму огненного шара; этот шар пересек небесный свод и направился к блестящей звезде. Немного погодя, огненный шар покрыл собою звезду и остался как будто пригвожденным к ней. Все небо озарилось светом. Затем, шар начал снова подниматься, но на том месте, где прежде сверкала звезда, царила глубокая ночь; спутники звезды также исчезли. Огненный шар быстро пронесся по другой стороне небесного склона и затем опустился в море, и море окрасилось в багровый цвет, точно налитое кровью. Это продолжалось всего несколько мгновений, и все покрылось мраком. Блестящая звезда и ее спутники исчезли навеки.

— Какое странное видение! — сказал Андроник, выслушав молча рассказ астролога.— Теперь посмотрим, как ты объяснишь мне его!

— Неужели необходимо какое-нибудь объяснение? Чего мог ты не понять в этом, князь? О, немощь людская! Все объясняется легко и просто. Лучезарная звезда, окруженная спутниками,— император Алексей; огненный шар, пересекающий небесный свод и затемнивший свет звезды своим ярким блеском, это — ты, Андроник, слава которого затмит величие императора. При твоем появлении меркнет блеск императорской короны, исчезают второстепенные светила, окружающие трон. Понимаешь ли ты теперь, что̀ означает это видение?

— Понимаю,— ответил Андроник.— Но мне кажется необъяснимым погружение шара в море и багровый цвет воды.

— Преклонись, князь, перед небесным знамением,— сказал астролог серьезным тоном,— довольствуйся тем объяснением, какое доступно тебе, не делай напрасных попыток исследовать небесные тайны. Не оскверняй святыни его знамения... Багрово-красный цвет моря, в которое погрузился огненный шар, останется для тебя неразрешимой загадкой. Не пытайся поднять покров, скрывающий неизвестную будущность.

Иона удалился таким же медленным шагом, каким вошел в комнату; занавесь снова опустилась за ним.

— Огненный шар осветит ночной мрак,— проговорил задумчиво Андроник, оставшись наедине с собою,— огненный шар, который блеснет на одно мгновение и затмит свет других звезд, чтобы вслед за тем погрузиться в багровое море?.. Иона не мог или не хотел объяснить мне это небесное явление... В таком случае оно не в мою пользу... Впрочем, не все ли равно! Эти явления не более, как игра природы; им придают значение только неразумные и робкие люди. Они не могут тревожить меня.

Между тем, в лагере снова началась обычная суетливая деятельность; везде было движение, везде кипела работа. Часы отдыха прошли.

Андроник вышел из своей палатки и молча следил за происходившей вокруг него деятельностью; его появление заставило воинов работать с удвоенной энергией, каждый из них хотел показать перед своим полководцем воодушевлявшее его усердие.

В это время вдали показалась группа всадников, медленно поднимавшихся на холм. Впереди всех, на белоснежной пышно убранной лошади, ехал старик в богатой священнической одежде. Это был патриарх Феодосий, который явился в лагерь Андроника в сопровождении духовенства.

Андроник увидел приближавшееся шествие священников и самого церковного владыку, о котором слышал столько рассказов, хотя не знал его лично, и поспешил к нему навстречу. Не доходя до него несколько шагов, он преклонил колена, поцеловал подошвы ног патриарха и, поднявшись на ноги, сказал:

— Счастливы мои очи, что могли узреть поборника добра и истины на земле, счастлив я, что на мою долю выпала благодать увидеть церковного владыку, славу которого возвещает весь мир. Да удостоит твое святейшество с высоты достигнутого тобой величия бросить милостивый взгляд на меня, грешного. Благослови, святой отец, раба твоего, у которого нет иного желания, как доказать на деле то глубокое уважение, которое он чувствует к тебе.

Патриарх, молча, выслушал это приветствие и бросил на Андроника взгляд, выражавший непреодолимое отвращение. Феодосий был добродетельный и справедливый человек, враг всякого коварства и лицемерия; он тотчас почувствовал ложь в словах Андроника; и у него промелькнула невольная мысль, что только злой демон мог привлечь его к кормилу государства, которое более чем когда-либо нуждалось в доблестном правителе. На лице патриарха появилась горькая улыбка.

— Твоя слава опередила тебя, Андроник,— сказал патриарх,— я знаю тебя, хотя мы впервые встречаемся с тобою,— затем, обращаясь к одному из сопровождавших его священников, он добавил вполголоса: — Этот человек действительно такой, каким нам описывали его!

Хотя Андроник не расслышал последних слов патриарха, но, по выражению его лица, догадался о том впечатлении, какое он произвел на церковного владыку; он шепнул на ухо стоявшему возле него Агиохристофориту: — Патриарх имеет такой же угрюмый вид, как все армяне.

Эти двое людей встретились в первый раз в жизни и оба тотчас же поняли, что между ними не может быть никакого соглашения. Каждый из них чувствовал, что перед ним находится могущественный противник.

Но Андроник, более искусный в притворстве, скоро овладел собою и пригласил патриарха к себе в палатку. Феодосий сошел с лошади и, благословил правой рукою воинов, преклонивших перед ним колена.

Патриарх сел в широкое кресло и, обращаясь к стоявшему перед ним Андронику, сказал:

— Ты, князь, прибыл сюда из отдаленных азиатских провинций, чтобы с Божьей помощью принять участие в управлении государством, которому нужна помощь сильной, но отеческой руки. Наша родина страждет. Господь наказывает свой грешный народ. Императорский скипетр в руках отрока, которого злые советники стараются совратить с пути истины. Но милосердное небо обезоруживает замышляющих зло.

— Царство зла непродолжительно на земле, святой отец,— ответил Андроник, опустив глаза.

— Да будет благословенно имя Господне! — сказал

Феодосий.— Он простирает к нам свою милостивую руку.

— Что хочешь ты сказать этим?

— Один из злодеев обезоружен и не может больше вредить нам. Небесная кара постигла протосевастоса, который свергнут с высоты своего нечестия и теперь сидит заключенный в мрачной темнице.

— Возможно ли это? — воскликнул Андроник.— Протосевастос!?.

— Да, Андроник, все это совершилось,— ответил седой патриарх, устремив строгий взгляд на своего собеседника,— Господь не оставляет нечестивых без наказания ни в этой жизни, ни в будущей.

— А император?

— Император должен был подчиниться воле народа. Что мог сделать слабый отрок? Может ли он иметь какое-либо влияние, когда его намеренно держали во мраке невежества ради интересов могущественного протосевастоса?

— Но разве ты, преподобный Феодосий, не мог принять никаких мер, чтобы оградить юного императора от дурных влияний? — спросил Андроник.— На тебя собственно и возложил Мануил эту великую и священную обязанность.

— Действительно Мануил назначил меня руководителем и наставником своего сына и наследника,— возразил старец с горькой усмешкой.— Вначале я усердно взялся за исполнение этого тяжелого долга и сделал несколько попыток сдержать обещание, данное мною умирающему отцу и государю. Но вскоре я убедился, что все усилия будут напрасными; мой голос был голосом вопиющего в пустыне; никто не обращал внимания на слова престарелого пастыря; к советам его относились с презрением. Наконец, я увидел себя вынужденным отказаться от места, которое с каждым днем становилось для меня невыносимее. Перевес оказался на стороне врагов.

— А теперь? — спросил Андроник.

— И теперь я не принесу никакой пользы,— сказал патриарх,— императорский престол вскоре приобретет могущественного защитника...

— Неужели ты хочешь возложить на меня одного такую тяжелую ношу?

— Император не нуждается больше в моей помощи. Я считаю себя освобожденным от данного обещания с той минуты, как Андроник переступит порог императорского дворца.

Луч дикой радости сверкнул в глазах Андроника; слова патриарха устраняли последнюю преграду, отделявшую его от императорского престола.

Беседа была прервана. Патриарх встал с места и вышел из палатки.

Серьезно и молча сел Феодосий на лошадь и отправился в обратный путь со своей свитой.

Еще долгое время Андроник провожал глазами удалявшуюся группу всадников. Наконец, когда они совсем исчезли из виду, он пробормотал сквозь зубы: — Ты заблуждаешься, патриарх! Меня не испугает церковное проклятие, хотя ты ясно намекал на него; я не привык трепетать перед кем бы то ни было...

Вечерние сумерки уже набросили свои тени на берега Босфора и лагерь Андроника. Перед каждой палаткой был зажжен факел, чтобы жители Константинополя могли видеть издали место, где находился лагерь их будущего государя и его верных воинов.

## IV

Был один из тех прекрасных осенних дней, когда при безоблачном небе воздух кажется особенно прозрачным и в нем царит своеобразная тишина. В голубых волнах Босфора, слегка затронутых легким ветерком, отражались покрытые лесом берега. Солнце взошло в своем полном великолепии; лучи его бросали обильный свет. Вся природа как будто разоделась празднично, а с нею и город святого Константина.

«Царь городов», очнувшись от страшного, так долго тяготевшего над ним сна, радостно приветствовал наступление дня, когда он должен был принять в своих стенах всеобщего любимца, давно ожидаемого избавителя, который своим прибытием положил конец господству

злодеев и являлся вестником мира с оливковой ветвью в руках.

Опять свободно вздохнуло население Константинополя, в отрадной уверенности, что для него наступает золотой век; граждане испытывали то сладостное успокоение, которое появляется в те моменты, когда минует опасность.

Народ избавился от виновника своих бедствий, протосевастоса Алексея, ненавистного опекуна императора, ознаменовавшего свое правление вымогательствами, насилием и непомерными налогами, который проматывал государственную казну на пиршества, осквернял и грабил святые храмы, покровительствовал порочным людям и бесчеловечно преследовал всякую добродетель. Свергнут и унижен был высокомерный тиран, и народ, став победителем над опасным врагом, испытывал бесконечную радость торжества. Исполненный золотых надежд, ожидал он прибытия храброго полководца, которого считал своим спасителем. Будущность представлялась гражданам Константинополя в самых розовых красках; они покинули свои дома, чтобы приветствовать человека, который осуществит для них блестящую будущность. Всем было известно, что в этот день он должен переплыть Босфор, и каждый хотел его видеть во время торжественного шествия по городу.

Все улицы, ведущие к морю были переполнены густыми толпами; на всех лицах можно было прочесть то радостное ожидание, какое обыкновенно предшествует счастливому событию. Все окна, балконы, даже крыши домов, откуда можно было видеть Босфор или улицы, через которые предстояло пройти Андронику, были заняты людьми.

Радостная толпа медленно двигалась по городским улицам, и вместо обычного утреннего приветствия слышались отрывочные восклицания: «Он появится сегодня! Наконец-то! Слава Богу!».

Давка становилась все сильнее, по мере приближения к морю; все взоры были устремлены на противоположный берег. Босфор был усеян судами; между ними в живописном беспорядке сновали лодки, которыми завладели более нетерпеливые зрители, хотевшие быть в первых

рядах во время встречи. Перегоняя одна другую, они плыли к одному пункту, где виднелось несколько кораблей. На этот пункт были теперь устремлены взоры зрителей, стоявших на берегу, и тысячи голосов кричали: «Вот он!»

Можно было ясно различить издали, что корабли двигаются по направлению к городу. Впереди плыла большая галера, на мачте которой развевался фиолетовый флаг Андроника. Он стоял на палубе с непокрытой головой, возвышаясь над всеми и смотрел на город, который расстилался перед его глазами. Лучи утреннего солнца освещали его мужественное лицо. Андроник предстал во всем своем величии; губы его произносили псалом Давида: «Возвратись, душа моя, в покой твой; ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения»...

Молча стояли около него верные Агиохристофорит и суровый Трипсих, и предводитель флота Контостефан, который со взглядом знатока следил за ходом судов. Со всех лодок, окружавших княжескую галеру, простерты были руки, и раздавались крики, отголоски которых доносились до берега, как звуки веселой музыки, сопровождавшей триумфальное шествие: «Да здравствует Андроник Комнен!..»

Медленно причалил флот, и Андроник вышел из галеры. Он казался погруженным в молитву, потому что глаза его были обращены к небу, а губы слегка шевелились.

Едва вступив на берег, он упал на колени и несколько раз поцеловал землю, чем привел в умиление окружавших; у них на глазах навернулись слезы радости.

Наконец, Андроник поднялся на ноги и, обращаясь к приветствовавшим его гражданам, сказал:

— Сограждане! — голос его задрожал при этих словах,— дорогие сограждане! Господь по своей неизреченной милости продлил мне жизнь, чтобы я мог увидеть этот счастливый день. Всевышний направил стопы недостойного раба своего из отдаленной Азии к этим священным берегам. С того дня, как мы расстались с вами, пришлось вам претерпеть много бедствий. Немало вынес и я тяжелых испытаний в мрачной пустыне изгнания. Тем-

ное прошлое осветилось для меня лучами настоящего. Смотрите на меня, как на своего верного друга и защитника, всегда готового оказать вам помощь. Только эта цель и привела меня сегодня к вам.

В ответ на эту короткую речь раздались крики ликования. Все теснились ближе к Андронику. Каждый сердечно приветствовал его, как брата или отца.

Андроник и его спутники сели на богато убранных лошадей, которые были заранее приготовлены для них; затем шествие медленным шагом стало подниматься в город по склону холма. Сопровождавшая его толпа все увеличивалась, громко выражая свою радость при виде человека, который величественно сидел на своем белом коне.

Шествие прибыло, наконец, в Филопатиум и остановилось перед императорским дворцом, где царствующий отрок должен был приветствовать своего прибывшего родственника. Главные ворота дворца были открыты настежь и перед ними, неподвижные, как каменные статуи, стояли императорские телохранители, вооруженные тяжелыми секирами.

Андроник ловко соскочил с коня и, пройдя сплошные ряды воинов, поднялся по широкой каменной лестнице. Вскоре он очутился в большой тронной зале.

Многочисленная толпа, сопровождавшая его до императорского дворца, осталась на площади и теснилась около норманнов, охранявших вход в императорское жилище.

В тронной зале стоял император Алексей в великолепном царском одеянии, рядом с ним его мать, красивая императрица Мария, в простом черном платье. Она была бледна и имела рассеянный вид.

Андроник упал на колени перед императором и облобызал его ноги. Затем он поднялся и, холодно взглянув на Марию, обратился с приветственной речью к царствующему отроку:

— Государь,— сказал он,— ты видишь перед собой вернейшего слугу и подданного, который явился сюда, чтобы посвятить тебе и твоему престолу свои последние силы и саму жизнь. Удостой меня взором очей твоих, милостивый государь и повелитель! Ты соизволил призвать

меня; я тотчас же повиновался твоему приказанию. Я стар и согнулся под тяжестью лет; но, тем не менее, явился на твой зов, потому что священный долг повелевал мне исполнить клятву, данную мною твоему покойному отцу, и указал путь, по которому я должен следовать. Да, государь, тебе готов я посвятить последние годы моей земной жизни; мое единственное стремление доставить безопасность твоему престолу...

Алексей стоял в смущении, не зная, что отвечать на эту речь; он видел в первый раз в своей жизни этого старика, по щекам которого текли обильные слезы, и не мог прийти в себя от необычного зрелища. Алексей был невинный отрок и не знал ни языка льстецов, ни слов притворства. Наконец, он овладел собой и сказал тихим, едва слышным голосом:

— Андроник! Император Мануил, мой незабвенный отец, всегда любил тебя, и ты был некогда избран им его ближайшим советником. Я также нуждаюсь в твоем совете и помощи...

— О, государь,— сказал Андроник,— милость великого Мануила была для меня драгоценнейшим сокровищем на земле, и я был неизменно верным и преданным слугою. Но презренные льстецы сумели лишить меня его расположения, и я принужден был вынести тяжелую кару изгнания. Но, и при моем одиноком печальном существовании, я ни минуты не забывал моего долга относительно моего государя и повелителя. Ежедневно от глубины сердца молился я об его здравии и благополучии. Богу неугодно было, чтобы я застал его живым, но мне дано, по крайней мере, в виде последнего утешения, узреть его сына и достойного преемника, и для него я готов сделать все то, чего я не мог исполнить для его отца.

— С этого часа,— сказал юный император,— я отдаюсь в твои руки, Андроник. Будь моим защитником и руководителем. Престол окружен врагами и подвергается многочисленным опасностям. Присутствие верного искреннего друга устранит всякую опасность. Прими мою благодарность, Андроник.

Андроник, несмотря на все свое самообладание, не мог удержать торжествующей улыбки, озарившей его лицо. Такой же торжествующий взгляд бросил он на им-

пратрицу Марию, которая была свидетельницей этой сцены и стояла неподвижно, по-видимому, безучастная ко всему, что происходило вокруг нее.

Андроник снова преклонил колена перед императором, снова облобызал его ноги, и затем вышел из залы. Рядом с императорским дворцом, в так называемой Манганской палате, было приготовлено жилище для Андроника. Туда отправился он со своими приверженцами, чтобы отдохнуть.

Здесь в пышно убранном покое расположился в мягком кресле Андроник; перед ним, неразлучный как тень, стоял его верный Агиохристофорит.

— Ты видишь, Стефан, все случилось так, как мы этого желали,— сказал Андроник, на лице которого выражалось торжество.

— Я никогда не мог представить себе,— возразил Агиохристофорит,— что это окажется настолько легким для нас. Счастье долго было для тебя злой мачехой, но теперь оно снова улыбается тебе.

— Эта улыбка служит наилучшим предзнаменованием для моего будущего. Но счастье, друг мой, имеет также свои причуды. Нынешний день начался благополучно для нас, и конец его должен соответствовать началу. Я считаю недостаточным, что наш опаснейший враг побежден и повержен, он должен быть навсегда лишен возможности вредить нам. Змея может снова возвратиться к жизни и прийти в ярость. Поэтому разумнее отрубить ей голову. Ты понимаешь меня, Стефан?

— Понимаю, ты говоришь о протосевастосе.

— Где он?

— В оковах и в тюрьме! Он ожидает решения его участи.

— Нужно ли объяснять тебе, в чем будет заключаться мое решение? Ты знаешь это, Стефан. Пойди и исполни его. Мы в долгу перед народом, и он вправе потребовать от нас удовлетворения. Мы должны отблагодарить византийцев за их дружественный прием. Воспользуемся случаем, чтобы выказать нашу признательность и достойным образом увенчать прекрасный день. Иди, Стефан, медлить нечего!..

Агиохристофорит молча поклонился и вышел из комнаты.

Он шел быстрыми шагами, чтобы исполнить повеление господина, наполнявшее чувством дикой радости его жестокое сердце. Все меньше и меньше становилось расстояние, отделявшее его от места, где томился протосевастос. Это была темная, сырая тюрьма, и здесь некогда могущественный Алексей с трепетом ожидал решения своей участи.

Алексей хорошо понимал, какая участь ждет его с того часа, как его непримиримый враг вступил на землю Константинополя. Он был вполне уверен, что ему нечего ждать пощады от победоносного врага, и поэтому, подавив глубокое чувство ненависти, наполнявшее его сердце, безропотно покорился своей судьбе со смирением отчаяния. Ему и в голову не приходило молить о пощаде; его гордое сердце не допускало даже мысли о подобном унижении.

Агиохристофорит взял из рук тюремного сторожа большой тяжелый ключ и, отворив дверь, вошел под темный свод. На него повеяло сыростью и мраком могилы.

Алексей, лежавший на земле, едва прикрытой соломой, приподнял голову.

— Кто ты и зачем ты пришел сюда? — спросил он вошедшего.

— Я исполнитель закона,— холодно сказал любимец Андроника,— и явился сюда, чтобы выполнить данное мне повеление. Вставай, Алексей, и следуй за мной.

— Ты поведешь меня к моим судьям? — спросил опять Алексей, не покидая своего ложа.

— Твои судьи закончили свое дело; ты осужден на смертную казнь! — ответил коротко Агиохристофорит.

— Какой же это закон предоставил подобное право моим судьям? — спросил узник с горькой усмешкой.

— А по какому праву ты осмелился идти наперекор народу? По какому праву ты, Алексей, убивал невинных, расточал государственную казну? Разве ты заботился о соблюдении закона в то время, когда попирал святейшие права?

— Я не обязан отдавать тебе отчета в своих поступ-

ках,— возразил Алексей презрительно.— Палач, делай свое дело.

Агиохристофорит отворил дверь и сказал:

— Встань и иди за мной.

Оба вышли из мрачной темницы. В коридоре стояли три вооруженных тюремщика.

Агиохристофорит сказал им шепотом несколько слов. Тюремщики вывели его на обширный двор, где собралась многочисленная толпа. Она состояла из носильщиков, матросов и праздного сброда, которые, увидев протосевастоса, встретили его угрозами.

Перед воротами стояла неоседланная, жалкая кляча. На нее усадили протосевастоса и повели к морскому берегу. Впереди выступал одетый в лохмотья носильщик с длинным шестом, на котором развевалась грязная тряпка, изображавшая знамя; затем следовала толпа, которая, изрыгая самые ужасные проклятия, бросала в протосевастоса комья грязи.

Константинопольцы, приветствовавшие в полдень восходящее светило громкими криками ликования, вечером того же дня сопровождали проклятиями и угрозами закатившуюся звезду.

На морском берегу протосевастос был передан двум палачам, выделявшимся из толпы своей красной одеждой; они выкололи ему глаза и, бросив в лодку, сами сели в нее. Медленно отчалила лодка и направилась на середину залива.

Еще долго в лодке, между двух палачей, виднелось окровавленное лицо несчастного страдальца. Затем оно исчезло, и легкий всплеск воды у борта лодки возвестил стоявшим на берегу, что протосевастос Алексей нашел себе в волнах Босфора последний приют.

## V

В Пантократорском монастыре, убежище мира и успокоения, вдали от лихорадочного движения и городского шума, вдали от страстей, обуревающих сердце чело-

века, покоился вечным сном император Мануил, в посвященной Богу обители, где плачущие и воздыхающие ищут утешения.

Мирно почивал в Пантократорском монастыре храбрый полководец Мануил, победитель неукротимых венгров и сербов, прославивший своими подвигами берега Меандера, после жизни, исполненной волнений, после долгих кровавых битв с честолюбивыми крестоносцами и дикими азиатскими ордами; здесь, согласно своей воле и выраженному перед смертью желанию, нашел себе Мануил последнее убежище после блистательных военных деяний, которыми он возвеличил свою родину, после того, как своими редкими доблестями он украсил новым блеском пышный престол Комненов. В темной монастырской церкви, направо от алтаря, под иконой Всевышнего находилась могила, заключавшая прах умершего государя.

Величественно возвышался над могилой памятник из белого блестящего мрамора, с семью большими ступенями, на вершине которого красовалась золотая императорская корона.

Император, который в стольких битвах подвергал свою жизнь опасности и столько раз храбро подставлял голову под смертоносные удары своих непримиримых врагов, скончался мирно и тихо в столице своего обширного государства, в своем императорском дворце. Он сошел в могилу с утешительной уверенностью, что исполнил свой долг перед лицом Бога и света, и с единственной заботой, что оставляет престол слабому отроку, которому будет не под силу такое опасное наследство. Мануил умер с мучительной мыслью, что сын его остается на руках сластолюбивой, тщеславной матери, ожидавшей только случая, чтобы предаться своим постыдным страстям. Знал он также, что хитрый льстец и коварный советник, протосевастос Алексей, вместо того, чтобы быть защитником и руководителем юного неопытного монарха, будет намеренно вводить его в соблазн и станет его опаснейшим противником.

Еще в те времена, когда Мануил находился на высшей ступени своего могущества, он хотел дать сыну надежную опору и верного слугу престолу; и с этой целью выбрал своего родственника Андроника Комнена, кото-

рого любил, как родного брата. Но Андроник заплатил неблагодарностью за все благодеяния, оказанные ему императором, и, ослепленный ненасытным честолюбием, возымел преступное намерение присвоить себе корону, и поэтому осмелился мечтать о низвержении престола и смерти своего благодетеля императора Мануила. Андроник, забывая священную клятву, произнесенную им императорскому дому, о соблюдении его чести и благосостояния, открыто поднял знамя возмущения, и этим вынудил императора подавить чувство жалости в своем добром сердце и отправить в изгнание неблагодарного родственника.

С этого часа мрачная завеса сомнения покрыла в глазах императора будущность сына. Много раз, когда он видел своего сына, невинного младенца, играющим, или слышал его веселый смех, болезненно сжималось его мужественное сердце, никогда не знавшее ни страха, ни уныния.

Эти снедающие сердце заботы отравили последние дни жизни императора Мануила. Чувствуя приближение кончины, он призвал сына к смертному одру, долго прижимал его к своей груди и, наконец, сказал ему: «Алексей, сын мой, я покидаю этот мир и оставляю тебя среди всевозможных опасностей. Будь верен твоему высокому призванию и никогда не изменяй ему, будь строгим блюстителем правосудия и отцом народа, которым тебе суждено управлять. Да направит Всевышний стопы твои!»

Умирающий отец произнес последние слова дрожащим голосом; дрожащей рукой передал он сыну перстень, символ императорской власти. Затем ослабевшими глазами, омраченными тенью смерти, Мануил еще раз взглянул на сына, посылая ему последний прощальный привет.

И вот опять на ступенях престола очутился изгнанный Андроник, который в глубине души таил непримиримую ненависть к дому своего государя.

Между тем над одинокой могилой Мануила стягивались тяжелые зловещие облака и нарушали сон смерти; лампада, горевшая над могилой, светила тускло и мерцала, готовая погаснуть. Андроник Комнен, под видом посещения могилы покойного императора и своего род-

ственника, пришел надругаться над прахом умершего властелина. Он пришел, чтобы усладить свой взор лицезрением павшего врага, он пришел в святой храм, чтобы осквернить его притворными слезами и лицемерными выражениями мнимого горя.

— Где могила императора Мануила? — спросил Андроник, едва вступив в город.

— В Пантократорском монастыре,— ответили ему.

— Я отправлюсь туда, чтобы помолиться на могиле моего благодетеля,— сказал на это Андроник.

Он сдержал слово и отправился в Пантократорский монастырь в сопровождении своих двух верных приверженцев, Агиохристофорита и Трипсиха.

Оба спутника остались у церковных дверей; Андроник приблизился один к могиле и стоял с непокрытой головой перед каменным памятником.

Он простер руки; губы его шептали какие-то слова.

— Глупец,— прошептал он, обращаясь к усопшему государю,— ты изгнал меня и, осудив на долголетнее странствование, сделал несчастнейшим из людей. А теперь, Мануил, ты обратился в прах и лежишь в тесной могиле, и нет для тебя исхода из твоей глубокой темницы Ты спишь непробудным сном и ожидаешь трубного призыва к последнему суду. Куда девалось твое могущество, Мануил? Где твоя слава и величие? Ты излил на меня всю злобу твоей порочной души и должен был умереть, а я, несчастный, преследуемый, изгнанный тобою, пережил тебя!..

Он прикоснулся губами к памятнику.

Агиохристофорит, следивший с умилением за этой сценой сказал вполголоса Трипсиху:

— Смотри, он молится!

Андроник продолжал шепотом свое надгробное слово умершему:

— Ты заклеймил меня своим презрением, Мануил! Час воздаяния настал. Я возложу на себя твою корону, буду сидеть на твоем престоле, жить в императорском дворце, из которого ты изгнал меня. Твоя богатая столица, царь городов, как ты называл ее в гордом сознании своего величия, теперь всецело принадлежит мне. Можешь ли ты видеть меня? Ты трепещешь в могиле за сво-

его сына? Он в моей власти. Если можешь, то спаси его из моих рук. Безумный, ты надеялся утвердить на вечные времена господство твоего дома! Как постыдно обманулся ты в своем расчете!..

С этими словами он в последний раз прикоснулся губами к мраморному памятнику; слезы текли из его глаз.

Андроник направился к выходу; он едва держался на ногах от слабости.

Верные слуги поспешили к нему на помощь и вывели под руки из храма.

Дверь затворилась за ними. Уединение и тишина снова водворились в Пантократорском монастыре, где почил Мануил Комнен.

## VI

В подземельях великолепного императорского дворца Филопатиума тянулся ряд темниц со сводами, грубо высеченными в скале.

Обширные, светлые залы дворца отличались красотой и пышностью убранства; на окрашенных в пурпур тканях блестело золото; гладкие полированные стены представляли приятный контраст с пестрыми украшениями потолков. Настолько же темны и мрачны были подземные темницы; сырость и плесень окрашивала толстые стены серовато-грязным цветом; холодный обнаженный камень и обитые железом двери свидетельствовали о печальном назначении этих подземных помещений.

Наверху ярко сияло солнце, царила роскошь, улыбалась жизнь; внизу господствовали мрак, отчаяние и смерть. В то время, как над землею в роскошно убранных залах гордо восседали великие мира сего, державшие в своих руках судьбы многих тысяч людей, внизу в подземельях томились люди, лишенные света и воздуха, свергнутые с высоты славы и почестей в глубокую пропасть безвыходного отчаяния. Всеми благами земными пользовались живущие наверху баловни судьбы и с ужасом думали о смерти, в которой видели предел своих наслаждений. Но смерть была желанной гостьей в

подземелье, где несчастные узники со слезами призывали ее, как единственное избавление от их земных страданий.

В последние годы правления императора Мануила эта подземная тюрьма почти опустела. Император Мануил только в крайних случаях допускал подобное посягательство на человеческую свободу и всегда предпочитал покончить со своими врагами одним решительным ударом. В этом сказывалось его беспримерное милосердие, которое менее всего можно было ожидать от византийского деспота.

Но после смерти Мануила, когда протосевастос Алексей, именем невинного отрока, насильственно овладел правлением, снова стала населяться подземная тюрьма Филопатиума и огласилась стонами жертв насилия и мести. Протосевастос любил бродить по мрачным переходам подземелья и упиваться бессильным отчаянием своих несчастных жертв.

В одной из этих подземных темниц, помещена была женщина, которую еще так недавно покрывала пурпурная мантия. Немного дней прошло с тех пор, как она была центром, вокруг которого все вращалось, управлявшей целым государством.

Эта женщина, заключенная в тесной подземной темнице, была Мария, вдова покойного императора Мануила и мать царствующего императора Алексея.

Смерть могущественного протосевастоса оставила ее беззащитной; но в своем высокомерии она не захотела смириться перед Андроником, вследствие чего была по его повелению брошена в мрачное подземелье. Напрасно призывала она на помощь своего царственного сына; слабый отрок, бессильный перед железной волей Андроника, не мог ничего сделать для своей матери. Сначала надменная женщина обольщала себя надеждой, что в состоянии будет бороться против Андроника, но вскоре она увидела, что все ее усилия напрасны, и убедилась в окончательном торжестве своего врага. Андроник не замедлил воспользоваться одержанной победой. В силу власти, предоставленной ему императором, он отправил в заключение императрицу Марию, но, чтобы оправдать перед светом свой поступок и придать вид законности

строгому приговору, на который она была заранее обречена, он решил, не спешить с ее казнью.

Императрица спокойно относилась к своему будущему, она была убеждена, что никто из судей не посмеет произнести смертный приговор над матерью императора. Между тем Андроник принял все меры предосторожности и нетерпеливо ждал момента, чтобы нанести опасной сопернице последний удар.

Наступил час, когда тюремные сторожа, послушные орудия нового властелина, делали свой вечерний обход, чтобы удостовериться, что все спокойно, и чтобы раздать голодным страдальцам скудную пищу для продления их печального существования.

В темницу императрицы вошел рослый тюремщик отталкивающей наружности с зажженным факелом и куском хлеба. Высоко приподняв факел над своей головой, он окинул взглядом лежавшую на соломе женщину и сказал ей с громким смехом, который глухо раздался под каменными сводами:

— Сегодня повар опоздал немного со своим ужином. Но мы, все-таки, не забыли о тебе.

С этими словами он презрительно бросил ей на землю кусок хлеба.

— Прекрати свои грубые шутки,— сказала императрица, указывая на дверь тюремщику.— Убирайся прочь!

— Как? — возразил он с усмешкой.— Разве ты недовольна, что я принес тебе еду? Даже тигр, самый дикий из зверей, чувствует благодарность к тому, кто кормит его; неужели у тебя сердце черствее, чем у тигра?

— Уходи, я не желаю выслушивать замечания от таких негодяев, как ты! — воскликнула императрица.

— Вот как! — ответил грубо тюремщик: — Ты называешь меня негодяем, потому что получила свою порцию. Увидим, что ты скажешь, когда я вовсе не принесу тебе хлеба! Увидим, с каким нетерпением будешь ждать меня! Ты обрадуешься моему приходу, встретишь меня как спасителя!..

— Да, действительно, я должна чувствовать к тебе благодарность за этот жалкий кусок хлеба! — сказала Мария с улыбкой отчаяния на губах.

— Ну, а что бы ты сделала, если бы у тебя не было и этого куска хлеба?

— Если бы я и этого была лишена,— ответила задумчиво Мария,— то чувствовала бы себя счастливее.

— Это слишком глубокомысленно и непонятно для меня. Я исполняю то, что мне приказано, а все остальное меня не касается.

— Тебе, вероятно, обещана награда за те оскорбления, которые ты позволяешь себе?

— Не спрашивай, я не смею больше ничего сказать тебе.

— Ну, довольно! Избавь меня от твоего присутствия.

— До свидания, завтра увидимся! — сказал тюремщик с дерзкой улыбкой.— Надеюсь, что завтра ты будешь благоразумнее, и я найду тебя в более спокойном расположении духа.

Затем, внимательно осмотрев углы мрачной темницы, он медленно удалился. Тяжелая дверь закрылась за ним с глухим шумом.

— Негодяи! — воскликнула Мария, опускаясь на соломенное ложе.— Теперь вы торжествуете! Но скоро и для меня пробьет час победы, и тогда горе вам!

Она подняла с полу кусок хлеба и начала грызть его. Но едва успела она опомниться после ухода тюремщика, как снова отворилась дверь, и в темницу вошел Андроник. Он был один и держал в руке маленький светильник, осветивший бледным светом мрачные своды темницы.

— Мой привет императрице! — сказал Андроник с низким поклоном.

— Тебя ли я вижу здесь! — воскликнула императрица, бросаясь в сторону, точно ужаленная змеей.

— Что с тобой? Ты, кажется, забываешь старых друзей? — спросил Андроник, подходя ближе.

— Ты мой друг? — возразила Мария с иронической улыбкой.

— Я пришел к тебе сегодня, как верный, преданный друг. Ты не веришь мне? Но все твои сомнения исчезнут, когда ты узнаешь причину, которая меня привела к тебе.

— Неужели мне нужны еще какие-нибудь доказательства? — сказала Мария.— Цель твоего прихода мне

достаточно известна. Ты явился сюда, чтобы усладить свои взоры видом несчастной жертвы.

— Ты ошибаешься, я не для этого пришел сюда! — возразил Андроник таким решительным тоном, что даже Мария, хорошо знавшая его, с недоумением взглянула на него, как бы ожидая чего-то.— Прежде всего,— продолжал Андроник,— выслушай то, что я хочу сказать тебе. Мы вели друг против друга ожесточенную борьбу, и я остался победителем. Тем не менее, я первый прихожу сегодня к тебе, моей униженной противнице, и протягиваю руку примирения. Вот моя рука! С этой минуты считай меня твоим другом.

— Чего же потребуешь ты от меня за твое великодушие? — спросила Мария, глядя пристально ему в глаза.— Я желала бы узнать, на каких условиях будет заключен наш союз?

— Мои условия не тяжелы. Когда ты узнаешь, в чем дело, то убедишься, что тебе нетрудно будет исполнить мое требование и что за ничтожную услугу ты приобретешь несравненно большие выгоды.

— Я не понимаю тебя.

— Вопрос идет о престоле. Этот освященный веками престол занят неопытным отроком, рука которого не в силах держать бразды правления такого государства, как Византийское...

— Этот император,— прервала Мария,— мой сын!

— Да, он твой сын! Но императорская корона слишком тяжела для его головы, а от этого страдает государство...

— Следовательно, ты хочешь?..

— Не прерывай меня. Мое единственное желание устранить зло и спасти от бедствий страну. Неужели ты думаешь, что я прибыл сюда из отдаленных провинций Азии, чтобы быть свидетелем падения моей родины? Надежда исцелить ее раны привлекла меня сюда, а для достижения этой цели мне необходимо твое содействие, Мария.

— И ты требуешь от меня?..— спросила императрица, бросив на него гордый взгляд.

— Я желаю одного, чтобы ты снова вступила на престол, который ты занимала при жизни Мануила, и ока-

зала мне со своей стороны известную помощь... Я требую, чтобы ты сняла корону с головы недостойного отрока и...

— И увенчала ею твою голову? Не так ли? Ты ведь этого требуешь от меня.

Андроник молчал.

— Ты хочешь,— продолжала Мария,— чтобы я, бывшая императрица, супруга Мануила, нарушила данную клятву и погубила моего сына и императора? Ты хочешь, чтобы я помогла тебе в достижении императорской короны?..

— Я хочу,— сказал Андроник, глаза которого сверкнули при этих словах,— чтобы ты привела теперь в исполнение план, некогда задуманный тобой с протосевастосом Алексеем, и чтобы ты сидела рядом со мной на престоле, в качестве моей супруги и императрицы.

— Твоей супруги? — воскликнула с испугом Мария, отступая назад.— Твоей супруги? Мне выйти замуж за человека, на руках которого еще не высохла кровь протосевастоса?

— Разве ты не готовилась выйти замуж за Алексея, обагренного кровью стольких жертв? Ты не остановилась перед преступлением, когда мечтала украсить короной его главу? Разве яд, который должен был привести к достижению этой цели, не был приготовлен твоей рукой? А теперь ты колеблешься, Мария? Ты с ужасом отступаешь назад, хотя в настоящий момент я дружески обратился к тебе, с полным доверием, чтобы предложить договор, выгодный для обоих нас во всех отношениях?

Мария, вместо ответа, бросила на своего противника гневный взгляд, исполненный ненависти.

— Ты молчишь, Мария? — продолжал Андроник.— Значит, ты отвергаешь руку, которую так чистосердечно предлагают тебе, и предпочитаешь этот сырой свод блестящей тронной зале? Черствый кусок хлеба кажется тебе вкуснее изысканных блюд императорского стола?.. Почему такая несговорчивость, Мария? Разве ты сама, на вершине своего величия, не хотела добровольно совершить то, что я ныне предлагаю тебе? Почему именно теперь, когда ты находишься в тюрьме и несчастье, тебя

пугает поступок, перед которым ты не задумалась бы в былые времена?

— О, Боже, Боже! — пробормотала Мария, подняв глаза к небу.

— Несмотря на выгодное условие, которое я предлагаю тебе, ты не хочешь сделать для меня того, что некогда охотно сделала бы для протосевастоса? Как дрожит твоя рука!.. Неужели так долго нужно убеждать тебя?

— Уйди, уйди отсюда! — сказала несчастная женщина, закрыв лицо обеими руками.— Не искушай меня!

— Мария, советую тебе обдумать свое решение! — сказал Андроник, и в глазах его снова сверкнул гнев.— Как только нога моя переступит этот порог и эта железная дверь закроется за мной, будет слишком поздно. Ты видишь, Мария, одной рукой предлагаю я тебе почести и престол, в другой держу наготове орудие мести. Не отвергай моей дружбы, Мария, в противном случае, я буду строг и неумолим к тебе.

— Ты требуешь, чтобы я стала убийцей родного сына? — проговорила вполголоса Мария, как бы рассуждая наедине с собой.— Неужели я буду женой преступника, который безжалостно отнял у меня все, что я любила на земле? И с этим человеком разделю я престол? О, Боже милостивый!..

— Вспомни,— воскликнул Андроник,— что у тебя всего осталось несколько минут на размышление и, как только пройдут эти минуты, никакая власть на земле не в состоянии будет спасти тебя. Не думай, что твое упорство может изменить что-либо. Я и без твоей помощи достигну своей цели. Я предлагаю тебе жизнь или смерть. Решай, что из двух выбираешь ты?

— Смерть! Тысячу раз смерть! — ответила Мария, бросив на своего врага взгляд, исполненный презрения.

— Это твой окончательный ответ?

— Да!

— Мария, опомнись! Лишь эта дверь закроется за мной, она станет твоей могильной плитой!

— Уйдешь ли ты отсюда, негодяй? — воскликнула императрица.— Жизнь, купленная такой ценой, хуже тысячи смертей! Уходи!

— Глупая женщина! Ты сама произнесла свой смертный приговор,— сказал Андроник и вышел из мрачной темницы.

Тяжелая дверь закрылась за ним; глубокая ночь охватила подземелье, где томилась несчастная Мария, мать императора.

Андроник направился быстрыми шагами к тому отделению императорского дворца, где находились его покои. Хитрый советник и опекун царствующего отрока не хотел ни минуты оставаться вдали от своего питомца, чтобы не утратить над ним власти, приобретенной с таким трудом.

Здесь, в обширной зале, четверо придворных ожидали прихода Андроника. Это были его два верных приверженца: Стефан Агиохристофорит и Трипсих; с ними были двое других: Птеригионит, человек высокого роста, суровой отталкивающей наружности, и Димитрий Торникий, с отблеском кротости в глазах, который встречается только у людей с добрым впечатлительным сердцем.

Все четверо встали при виде Андроника и приветствовали его низким поклоном.

Трипсих первый прервал молчание.

— Твое отсутствие было довольно продолжительно, князь,— сказал он, обращаясь к Андронику.

Андроник ничего не ответил и, заняв свое обычное место, легким движением головы пригласил присутствующих последовать его примеру. Затем он погрузился в глубокую думу; в зале опять водворилась тишина, так как никто не решался прервать его размышлений.

Наконец, он поднял голову и заговорил резким прерывистым голосом:

— Вы собрались сегодня, чтобы решить важный вопрос. От этого решения зависит благосостояние нашей родины. Вы должны сегодня произнести приговор, о значении которого считаю лишним распространяться. Обратите надлежащее внимание на вопрос, который я вам задам, и отвечайте решительно и ясно: какому наказанию должен подвергнуться изменник отечеству?

— Смертной казни,— сказал поспешно Трипсих.

— Сегодня вы должны произнести приговор над подобным изменником,— добавил Андроник.— Этот измен-

ник в наших руках, и мы должны судить его, как повелевают законы нашей страны.

— Назови его нам,— сказал Трипсих.

— Да, я назову его, но предупреждаю вас,— сказал Андроник, подняв руку и бросив мимолетный взгляд на Торникия,— что вы не должны обращать ни малейшего внимания на имя и общественное положение преступника. Закон неумолим и должен с одинаковой строгостью применяться к каждому, кто бы он ни был. Изменник, которого мы должны судить сегодня, Мария Комнен, императрица, которая в ожидании заслуженной кары заключена в подземную темницу...

— Закон,— прервал его старый Торникий, поднимаясь с места,— требует, чтобы подсудимый присутствовал на суде и мог представить свои оправдания. Почему не приглашена сюда императрица Мария?

— Давно ли, Торникий, научился ты противиться моим решениям! — воскликнул Андроник, побагровев от гнева.

— Закон достаточно ясен, князь,— возразил старик спокойным, серьезным тоном.— Разве ты хочешь поставить себя выше закона?

— Да будет тебе известно, Торникий,— крикнул Андроник,— что моей воле должен подчиниться всякий закон. Я решил это, я так хочу, и так должно быть. Мы можем сегодня обойтись без твоего совета.

Старик глубоко вздохнул и молча вышел из комнаты.

— Безумец! Ты раскаешься в своих словах! — сказал Андроник, устремив пристальный взор на дверь, за которой исчез Торникий.

Затем, обращаясь к своим трем приверженцам, он добавил:

— Изменника ожидает смертная казнь; я назвал его. Теперь сообщу вам, в чем заключается измена. Вам известно, что непобедимый венгерский король Бела, зять Марии, давний враг нашей родины, в последнее время позволил присвоить себе два богатейших города, которые до сих пор оставались верны нашему императорскому дому. Венгерский король никогда не решился бы на такое наглое посягательство, если бы императрица не подговорила его к этому. В моих руках письма, под-

тверждающие вину этой женщины, которая заключила союз с нашим злейшим врагом... Теперь вам известен изменник, и вы знаете, в чем заключается измена. Судите по закону; помните, что я требую от вас немедленного решения.

— Князь, мы решим это дело с быстротою молнии! — сказал Птеригионит.— Изменник должен умереть.

— Смерть изменнику! — воскликнули в один голос Агиохристофорит и Трипсих.

— Составьте приговор,— сказал Андроник,— его нужно будет скрепить подписью императора.

Трипсих достал из широких складок своей верхней одежды кусок пергамента и принялся писать приговор, по которому императрица Мария, уличенная в государственной измене, приговаривались к смертной казни.

Пока составлялся приговор, Андроник стоял у окна и смотрел на голубую поверхность Босфора, который расстилался перед его глазами. Он молчал, и только легкое дрожание рук свидетельствовало о том лихорадочном нетерпении, которое он испытывал в эту минуту.

Он предоставил составление акта трем судьям, действовавшим по его повелению, и ждал, когда они закончат свое дело, так как хотел сам отнести на утверждение императора роковой приговор, который не мог быть приведен в исполнение без его подписи. Он твердо решил, что высокомерная женщина, которая осмелилась противиться ему, будет вычеркнута из списка живых.

Приговор был дописан, Андроник с судорожной поспешностью выхватил пергамент из рук Трипсиха и удалился из залы.

Он направился быстрыми шагами в правую половину дворца, где находились покои императора.

Андроник застал императора Алексея в большой тронной зале.

— В твоей власти казнить и миловать, великий государь и повелитель,— начал Андроник, становясь на колени перед императором,— сегодня ты должен подписать смертный приговор изменнику!

С этими словами он подал пергамент Алексею.

Едва молодой император прочел несколько строк, как смертельная бледность покрыла лицо его.

— Закон строг к изменникам,— добавил Андроник, поднимаясь на ноги.

— Смертный приговор императрице! — пробормотал Алексей.— От меня требуют смерти моей матери!

— Женщина, которая осмелилась предать страну нашему злейшему врагу, не может быть императрицей,— сказал Андроник холодно,— женщина, посягнувшая на престол и жизнь своего властелина и императора не достойна называться твоей матерью!

— Возможно ли?..— проговорил с усилием Алексей, и пергамент задрожал в его руке.— Ты хочешь, чтобы я подписал ей смертный приговор?.. Предал мою мать в руки палачей?.. О Боже!

— Государь,— сказал Андроник угрожающим голосом,— дело идет о спасении престола! Этот приговор должен быть подписан!

— Не требуй этого от меня, Андроник! — возразил несчастный отрок.— Она моя мать... Умоляю тебя; не требуй от сына, чтобы он обагрил руки кровью своей матери...

— Не забудь,— сказал Андроник, подходя к императору и устремив на него пристальный взгляд,— что этого требует благосостояние государства и тебе предписывает это закон, которого ты высший блюститель!

— Оставь меня! Я не могу исполнить этого! Андроник, я никогда не решусь на подобную жестокость!..— Слезы показались на глазах императора.

— Ты обязан подписать приговор! — воскликнул Андроник.— Закон должен быть удовлетворен; другого выхода нет!

— Андроник, пощади меня! Позволь мне отказаться от престола. Я готов уехать из Константинополя.

— Это невозможно! — сказал холодно Андроник.

— О Господи! — произнес со стоном Алексей, заливаясь слезами.

— Теперь не время для слез. Смертный приговор должен быть подписан, и немедленно.

— Позволь мне, по крайней мере, хотя один, последний раз взглянуть на мою бедную мать. Позволь проститься с нею. Дай мне умереть вместе с нею. Смерть

была бы для меня спасением Андроник, сжалься надо мной! Пощади меня.

— И это говорит сын увенчанного славой Мануила! Что сказал бы твой великий отец, если бы видел тебя в эту минуту!

— Ты требуешь от меня невозможного!.. Нет! нет!.. я не могу решиться на это! — воскликнул Алексей, бросив пергамент к ногам своего мучителя.

— Пусть будет по-твоему! — сказал Андроник,— с этой минуты я удаляюсь отсюда и оставляю тебя одного во власти твоих врагов!.. Разве для этого, в моем преклонном возрасте, прибыл я сюда из отдаленной Азии и перенес столько трудов и лишений? Для этого ли принял я на себя тяжелую обязанность императорского опекуна? Мог ли я ожидать подобного отношения к себе? Государь, я удаляюсь и завтра же оставлю город, в котором господствует измена и где только льстецы и лицемеры пользуются доверием. Великие опасности окружают тебя! Ты сам тому виною, если гроза, которая собирается над твоей головой, унесет с собою в пропасть тебя и твой престол. Я умываю руки.

С этими словами он поднял лежащий на полу пергамент и сделал вид, что хочет покинуть залу.

— Андроник,— воскликнул Алексей, удерживая его,— не оставляй меня в такое ужасное время! Мне страшно, Андроник...

— От тебя зависит, чтобы я остался с тобой,— сказал Андроник, положив перед ним пергамент.

— Андроник, ради Бога! Дай мне время на размышление!..

— Подписывай!

— Ты забыл, что она моя родная мать, Андроник! Сжалься надо мной!

— Подписывай! — повторил еще раз Андроник.

Алексей дрожащей рукой придвинул к себе пергамент.

Кровавый приговор был скреплен императорской подписью.

— О Боже, прости меня! — пробормотал Алексей слабым голосом и упал к ногам своего опекуна.

— Жалкое, малодушное дитя! — сказал Андроник, едва удостоив взглядом лежавшего на полу Алексея.

Он вышел из залы поспешными шагами.

Ночь уже покрыла землю своим черным покровом, когда снова открылась тяжелая дверь мрачной темницы Марии.

Вошли двое людей и, направились в тот угол, где находилось жесткое ложе императрицы.

— Здесь, Птеригионит,— сказал один из вошедших, понизив голос.— Она спит.

— Тем лучше, Трипсих,— возразил другой,— она незаметно переселится в вечность.

И его руки охватили железным кольцом нежную шею спящей женщины. Послышался слабый крик, сопровождаемый легкими, едва заметными судорогами умирающей, затем снова водворилась тишина.

Несколько минут спустя из мрачной темницы вышли двое людей; они несли на руках тело, закутанное в белое покрывало. Они направились к берегу Босфора и бросили свою ношу в море.

У открытого окна стоял Андроник. Когда он услышал плеск упавшего в воду тела, из его груди вырвался глубокий вздох облегчения.

— Наконец-то! — сказал он, закрывая окно.

На следующее утро, далеко от города рыбаки увидели плывшее тело и погребли его на морском берегу, не подозревая, что они предают земле останки несчастной императрицы.

## VII

Звезда Андроника воссияла полным блеском. Пали одна за другой преграды, отделявшие его от желанной цели. Могущественный протосевастос и императрица Мария больше не существовали. Патриарх Феодосий, имевший влияние на молодого императора, и пользовавшийся особенной любовью и уважением в Константинополе, ссылаясь на свою старость и болезнь, добровольно обрек себя на изгнание, чтобы вдали от многолюдного

города найти необходимый покой. Он не сомневался, что лишь только честолюбивый Андроник вступит в столицу, престол Алексея перейдет в его руки; и поэтому, отказавшись от патриаршего сана, покинул с сердечным сокрушением город, обреченный на неминуемую гибель.

Андроник, узнав об удалении Феодосия, сказал с усмешкой: «Хитрый старик опередил меня!» — и назначил патриархом Василия Каматера, который уже много лет был его послушным орудием.

Счастье продолжало улыбаться Андронику; он уже предвкушал тот час, когда украсит императорским венцом свою голову, чувствовал приятную теплоту от императорской мантии на своих плечах, видел себя сидящим на престоле. Но и это казалось недостаточным недавнему изгнаннику; в своем ненасытном честолюбии он мечтал о длинном ряде лет славного царствования. Что препятствовало ему теперь достигнуть цели? Одним мановением руки мог он уничтожить мнимое величие юного императора.

Прошло четырнадцать дней после трагической кончины несчастной Марии; в эти дни Андроник чаще, чем когда-либо, совещался со своими приверженцами. Сентябрь приближался к концу. В городе святого Константина господствовало необычайное волнение. За короткое время произошло так много нового, совершилось столько перемен, что одного этого было достаточно для возбуждения умов. Одни удивлялись человеку, который, едва начав управление государством, успел искоренить столько злоупотреблений, и приветствовали его, другие относились к нему с недоверием и видели в последних событиях предвестие еще худших бедствий. Они были убеждены, что появление Андроника принесет несчастье народу. Но никто не решался открыто высказывать свое мнение, потому что шпионы сновали по улицам и площадям и доносили о всяком неосторожном выражении. Друзья и близкие родственники перестали доверять друг другу; тупой страх заглушал все чувства.

Тем не менее городские площади с раннего утра до поздней ночи были переполнены толпами народа, который находился в каком-то боязливом ожидании. Еже-

минутно распространялись тревожные слухи об императоре, о котором одни рассказывали, что он опасно болен, другие, что он заперт во дворце и что с ним обращаются как с узником.

Действительно, юный император не выходил больше из своих покоев. Алексей стал неузнаваем с того ужасного дня, когда он собственноручно подписал смертный приговор своей матери и, затем, не помня себя от горя, упал без чувств к ногам Андроника. Лицо его приняло тот блеклый сероватый оттенок, который свидетельствует или о телесном недуге, подтачивающем организм, или о неизлечимом нравственном страдании. Он перестал обращать внимание на себя; гребень больше не касался его волос; он не хотел никого видеть, ни с кем говорить.

Андроник появлялся несколько раз в день в императорских покоях; и каждый раз, при виде его, несчастный отрок поднимался с места, дрожа всем телом, как будто внезапно пробужденный от сна страшным видением.

Императорский дворец в Филопатиуме был покинут, двор переселился во Влахернский дворец, где императора окружала новая обстановка.

На площади Тавриса перед колонной Феодосия Великого возвышалась статуя императрицы Марии. Император Мануил воздвиг в честь своей супруги эту статую, изображавшую несчастную женщину во всем блеске красоты и молодости.

Перед этой статуей стояла многочисленная толпа и внимательно рассматривала черты лица прекрасной женщины, так печально кончившей свое существование. Пока Мария была жива, народ не любил ее; но ее ужасная смерть смягчила сердца константинопольцев; во взорах, обращенных на статую, виднелось искреннее сострадание; каждый невольно жалел о грустной судьбе могущественной, красивой императрицы.

— Как она была хороша собой! — заметил один в толпе.— Какие правильные и благородные черты лица!

— Тем не менее, сколько злобы и коварства было в этом прекрасном теле! — возразил другой.

— Я готов почти биться об заклад,— сказал первый,— что несчастную императрицу обвинили напрасно.

Может ли порочная душа быть в таком прекрасном теле?

— Тут не может быть и речи о напрасном обвинении! — воскликнул другой.— Разве она не поддерживала тайных сношений с венгерским королем и не обещала открыть ему ворота столицы? Разве она не намеревалась отравить своего собственного сына, нашего милостивого монарха? Не она ли хотела помешать прибытию Андроника?..

— Что сталось бы с нами,— сказал третий,— если бы Андроник не был тем храбрым и решительным человеком, каким мы его знаем? Несомненно, мы были бы обращены в рабов жестокого венгерского короля, или находились бы в руках латинян, которые давно стремятся к этому.

— Нельзя отрицать,— добавил приверженец Андроника,— что прибытие храброго полководца было нашим спасением. Только предатели могут говорить что-либо против человека, который обещает так много хорошего и намеревается возвратить Византийской империи прежнее могущество и блеск.

— Не советую доверять льстивым словам и обещаниям,— возразил первый.— Мы уже не раз слышали от многих всевозможные обещания, но кто думал исполнять их? Я не защищаю ни ту, ни другую сторону, но люблю говорить правду и открыто высказываю свое мнение. Хотел бы я знать, на каком основании держат нашего императора под такой строгой охраной? Со дня смерти своей матери,— продолжал он,— император совсем изменился; он не ест, не пьет, проводит целые дни в своей комнате и при этом имеет такой вид, что на него жалко смотреть. Мне рассказал это под величайшим секретом старый придворный лакей, который служил еще при императоре Мануиле и любит нашего молодого государя, как свое родное дитя.

— Разумеется,— заметил другой,— смерть матери должна была неизбежно произвести страшное впечатление на нежную душу мальчика.

— Это само собой, но еще больше мучит его то обстоятельство, что он должен был собственноручно скрепить смертный приговор своей подписью. Ему постоянно

мерещится окровавленный труп матери, и он нигде не находит себе покоя.

— Жаль, сердечно жаль бедного императора!

— Да избавит нас небо от большего несчастья...

Разговор был прерван внезапным появлением группы рабочих, с молотками и железными ломами, которые, в сопровождении отряда вооруженных людей, направились к тому месту, где столпился народ.

— Посторонитесь! Прочь с дороги! — кричал, разгоняя толпу палкой, человек, который, по-видимому, распоряжался рабочими.— Посторонитесь! Мы присланы сюда по повелению императора!

Толпа пропустила рабочих, которые принялись разрушать статую императрицы.

— Что это значит? — спрашивали друг друга удивленные зрители.

Распорядитель рабочих счел нужным разрешить недоумение толпы.

— Статуя преступницы,— сказал он,— не может быть долее терпима; она бесчестит и оскверняет наш святой город! Воля императора, чтобы навсегда исчезло изображение женщины, изменившей своему государю и родине...

Народ молча смотрел на разрушение статуи.

Вскоре там, где на величественном цоколе стояла прежде роскошная статуя, возвышалась только груда бесформенных каменных обломков.

По воле Андроника должен был навсегда исчезнуть последний след женщины, которая осмелилась противиться ему. Император Алексей и на это дал свое соизволение.

В то время как народ в немом удивлении все еще стоял перед изуродованными остатками мраморной статуи, издали послышалось пение и вскоре на площади появилась группа поющих и пляшущих людей. Они пели веселую народную песню. После каждой строфы раздавались возгласы: «Да здравствуют наши могущественные императоры Алексей и Андроник! Да здравствуют Комнены!»

Шествие остановилось посреди площади, и человек высокого роста обратился к народу:

— Радуйтесь и веселитесь, жители Константинополя! — воскликнул Птеригионит громким голосом.— Кончилось царство нечестивых; никогда еще солнце не сияло так ярко над нашими головами, как теперь! Пойте и веселитесь, друзья! Сегодня должно совершиться великое чудо; сегодня блистательная императорская корона должна украсить две чтимые нами главы; и Комнен Андроник, отец наш, храбрый, всемогущий Андроник воссядет на престоле, рядом с нашим милостивым монархом. Сегодня начинается для нас новая жизнь, новая эпоха, исполняются наши лучшие желания и надежды! Радуйтесь и веселитесь, сограждане! Да здравствуют наши государи! Там, в роскошном императорском дворце, во Влахерне,— продолжал оратор после короткой паузы,— там блестят два солнца — старое и новое, молодой государь и его бескорыстный соправитель. Пойдемте все приветствовать его. Идите туда от мала до велика, молодые и старые, мужчины и женщины, идите все. Воздадим дань нашего уважения у подножия престола. Спешите, константинопольцы, чествовать нашего нового властителя!..

Толпа последовала за оратором, и площадь Тавриса сразу опустела. Перед грудой бесформенных мраморных кусков остались одни старики и молча покачивали своими седыми головами.

В богато убранной тронной зале императорского дворца во Влахерне сидел Алексей, бледный, погруженный в свои думы; возле него стоял Андроник и молча следил за ним своими маленькими беспокойными глазами. Оба молчали.

Но вот и до отдаленной залы дворца долетели возгласы и пение толпы, сопровождавшей Птеригионита. В глазах Андроника сверкнула радость. Он бросил украдкой взгляд на молодого императора, но Алексей ничего не видел и не чувствовал; он был равнодушен ко всему, что происходило вокруг.

— Я слышу голоса,— сказал, наконец, Андроник.

— Чьи голоса? — спросил Алексей, не поднимая глаз.— Разве сюда доходят голоса людей, удавленных в темнице?

— Нет,— возразил Андроник,— голоса слышатся с улицы. Это — крики толпы.

— Что нужно народу от меня? Не требует ли он новых смертных приговоров? Я не в состоянии больше подписывать их; руки мои и без того покрыты кровью...

— В городе рассказывают, что ты болен; народ беспокоится и хочет видеть тебя.

— Да, я действительно болен,— сказал Алексей с глубоким вздохом.— Эти голоса раздражают меня; я ничего не чувствую кроме страха. Скажи им, чтобы они оставили меня в покое. Я болен!.. Я беспомощен и одинок...

— Можешь ли ты считать себя одиноким, государь? Разве я, твой верный слуга, не нахожусь постоянно при тебе? Чем я заслужил подобную обиду?

— Не покидай меня, Андроник! Могу ли я не ценить твоих услуг? Разве я ослушался тебя когда-либо и не исполнил всех твоих приказаний?.. Да, Андроник, ты один не покинул меня, заменил отца, мать, ты все для меня! В тебе мое спасение!..

С этими словами царственный отрок доверчиво прильнул к груди старика, на губах которого появилась торжествующая улыбка.

Вслед затем отворилась дверь залы; Агиохристофорит и Трипсих вошли взволнованные и запыхавшиеся.

— Государь мой и повелитель,— сказал Трипсих, обращаясь к Алексею,— верный народ твой хочет приветствовать тебя и разделить с тобой свою радость.

— Народ радуется? — спросил Алексей, недоверчиво.— Говорят, счастье народа — величайшее благо для монарха... Да, несомненно народ ликует! Какие веселые голоса!.. Слышишь, Андроник, они кричат: «Да здравствует император Андроник!» Народ понимает, что ты один можешь спасти всех нас... Они произносят только твое имя. Почему не хочешь ты последовать их призыву?

Торжествующая улыбка вновь пробежала по лицу Андроника; маленькие глаза его радостно блестели.

Молча и с удивлением стояли перед ним его приверженцы; они с трудом верили тому, что видели и слышали.

— Андроник,— продолжал Алексей,— помни, что

глас народа — глас Божий! Иди за мной! Господь избрал тебя, да совершится его святая воля!

Алексей, взяв за руку Андроника, подвел его к престолу, блестевшему золотом и драгоценными камнями, и посадил рядом с собою.

На древнем византийском престоле сидели теперь два императора, Алексей и Андроник Комнены.

Агиохристофорит вышел на большой каменный балкон, обращенный на площадь, и возвестил собравшейся толпе о том, что произошло в тронной зале.

Громче прежнего раздались крики толпы; эхо старых дворцовых сводов повторило их.

— Принесите императорский венец и мантию,— сказал Алексей.— Я сам надену их на тебя, Андроник.

Повеление царственного отрока было немедленно исполнено.

Агиохристофорит снова вышел на балкон Влахернского дворца и объявил народу о случившемся. Шумно ликовала толпа, оглашая воздух криками восторга.

Весть о неожиданном событии разнеслась по городу с быстротою молнии.

Облекись в свое праздничное убранство, древний храм св. Софии! Предстань во всем своем благолепии для великого предстоящего торжества! Зажги все твои драгоценные светильники и открой настежь свои высокие двери!

Сегодня посетят тебя два могущественных монарха, чтобы получить благословение на совместное царствование.

Поспеши в святой храм, патриарх Василий Каматер, приготовься венчать государя, которому ты обязан своим патриаршим престолом! Спешите, жители Константинополя, чтобы быть свидетелями великого торжества! Сегодня царь городов празднует двойное венчание, рожденного в порфире государя и другого им самим выбранного властелина; он приветствует сегодня двух императоров, которые вступают на гордый византийский престол.

Чинно и торжественно двинулось императорское шествие к храму св. Софии. Рослый Андроник вел под руку слабого, бледного отрока Алексея.

Перед главным алтарем стоял патриарх в богатом облачении, окруженный толпой епископов и священников. Тысячи зажженных свечей бросали яркий отблеск на высокие стены храма.

Оба императора, преклонили колени у каменных ступеней главного алтаря. На бархатной подушке принесли золотой императорский венец святого Константина. Патриарх взял венец и возложил его на седую голову Андроника, затем на черные локоны Алексея...

Венчанные монархи рука об руку шли по каменным ступеням, ведущим к главному алтарю, чтобы принять церковное благословение. Алексей едва ли сознавал, что происходило вокруг.

Наступил конец блистательного торжества, и пышное шествие двинулось в обратный путь. Оба императора ехали на белых статных конях; Андроник гордо смотрел на толпу; глаза его блестели от радости, а Алексей, безучастный ко всему, грустно опустил голову, как жертва, которую ведут на заклание.

«Да здравствуют Комнены!» — кричала толпа.

Танцы и пение на площадях продолжались до глубокой ночи, и не раз еще в этот день воздух оглашался криками толпы, выражавшей свой восторг по поводу двойного императорского венчания.

## VIII

Зловещее багровое облако повисло над императорским дворцом в Филопатиуме, где водворился Андроник. Тяжел и удушлив воздух.

В зале дворца сидит Андроник, на плечах его тяжелая императорская мантия, вокруг — его приверженцы, из которых состоит теперь государственный совет. Они собрались для нового приговора, который должен обеспечить честолюбивому Андронику единовластное обладание престолом.

Нужно только придумать форму, которая бы придала приговору значение законного постановления.

Благосостояние государства требует одного государя. Священный императорский венец не может одновременно принадлежать двум особам. «Должен быть только один властелин и повелитель!» Судьи произнесли свое решение, и торжествующая улыбка снова появилась на губах Андроника.

Черная туча повисла над величественной столицей, раскинутой на семи холмах. Жалобно кричала сова на крыше императорского дворца во Влахерне, где почивал венчанный отрок.

В полночь, трое людей вошли в небольшую дверь Влахернского дворца и поднялись по каменной лестнице, ведущей в покои императора.

Один из них держал фонарь и освещал путь, у другого была в руках тетива от лука, у третьего — меч.

Алексей спал крепким сном; лицо его было бледно, глаза закрыты, но на губах виднелась кроткая улыбка.

Таинственные посетители остановились перед постелью спящего отрока.

Птеригионит ловко накинул тетиву на шею спящего отрока и с такой силой затянул петлю, что кроткая улыбка навсегда застыла на губах несчастной жертвы.

В этот момент внезапно отворилась дверь императорской опочивальни, и вошел Андроник.

Он подошел к постели и дико захохотав схватил Алексея и стащил его с постели; безжизненное тело с глухим стуком упало на пол к его ногам.

Андроник наступил на него ногой и произнес с злобной усмешкой:

— Давно пора было покончить с тобой! Отец был клятвопреступником, мать распутная женщина, а ты — дурак! Трипсих,— сказал он,— я хочу, чтобы голова была отделена от туловища и с моей императорской печатью брошена в сточную яму; тело нужно заколотить в ящик и бросить в Босфор.

В ту же ночь приведено было в исполнение приказание Андроника.

Жители столицы, пробудившись от сна, узнали, что на гордом престоле святого Константина остался теперь только один император.

# IX

Уже двадцать четыре раза ночное светило совершило предначертанный ему путь с того дня, как в городе святого Константина произошло еще одно кровавое убийство.

Честолюбивый Андроник стал единовластным государем.

Он принадлежал к тем людям, которые, оглядываясь на пройденный путь, готовы приписать только своей ловкости блестящие результаты, достигнутые ими. Он, изгнанник, обязанный жизнью необъяснимому мягкосердечию Мануила, занимает блистательный престол и носит императорскую корону. Его враги, один за другим свергнуты; их приверженцы бесследно рассеяны.

Андроник Лапардас, друг и слуга Мануила, защитник законного наследника престола, всеми любимый и уважаемый полководец погиб мучительной смертью. Он не захотел служить новому государю и удалился в свой родной город Адрианополь, потом был обвинен в государственной измене и погиб в темнице.

Два города Никея и Брусса осмелившиеся оказать непокорность гордому императору, навлекли на себя жесточайшую кару. Напрасно в Никее храбрый Кантакузен пытался спасти город от осаждавших его войск Андроника, напрасно сделал он отчаянную вылазку, в надежде прорвать осаду и облегчить участь изнемогающих жителей. Во время яростного боя был поражен конь доблестного Кантакузена и увлек его в своем падении; воины Андроника не замедлили рассечь его на куски.

Эта неудача повергла в ужас Никею. Жители решили молить о пощаде победителя и, в знак покорности, вышли из города с босыми ногами и непокрытой головой. Андроник прослезился при виде голодных, истощенных женщин и детей; сердце его как будто было тронуто; но, тем не менее, несчастный город был предан огню и мечу.

Не лучше была и судьба Бруссы, цветущего города, защищаемого тремя доблестными мужами: молодым и пылким Феодором, смелым Лео Синезием и храбрым

Михаилом Лаханасом. Город был взят приступом, несчастный Феодор был ослеплен, Синезий и Лаханас повешены на деревьях перед городскими стенами. Та же участь постигла знатнейших горожан Бруссы.

Таковы были кровавые победы, которыми Андроник увенчал свою славу. Он торжественно вернулся в столицу, где толпа льстецов и наемников встретила его восторженными криками. Были устроены блистательные празднества, даны представления и травля зверей, стоившие больших издержек, и народ должен был принимать участие в радости, наполнявшей сердце своего государя.

Андроник становился высокомернее с каждым днем и не считал более нужным обуздывать свои дикие страсти.

В сопровождении толпы льстецов, он являлся на звериные травли, конские бега и другие зрелища. Но вскоре он перестал посещать подобные увеселения, потому что один раз, когда театр был переполнен зрителями, внезапно обрушилась одна из колон, подпиравших императорскую ложу, и убила шестерых человек. Андроник был так напуган этим случаем, что с тех пор перестал показываться на публике и ежеминутно боялся ножа убийцы или внезапного нападения заговорщиков.

В это время в Константинополе жил старик, который за свою мудрость и искусство в чародействе уже много лет пользовался большим уважением у всего населения. Это был колдун Сиф.

Сиф объяснял сны и предсказывал будущее. Слава его была настолько распространена в городе, что жители целыми днями осаждали его жилище за храмом св. Софии, чтобы узнать об ожидавшей их судьбе. Даже император Мануил, который к концу своей жизни стал суеверным, пожелал узнать о дне своей смерти. Сиф объявил ему о близкой кончине. Мануил был сильно встревожен и потребовал повторить ворожбу, но Сиф, обиженный таким недоверием, подтвердил свое прежнее предсказание о его смерти, добавив, что он должен ожидать ее в самое ближайшее время. Тогда Мануил, в припадке ярости, приказал выколоть глаза колдуну, который осмелился предсказать смерть своему императору.

Мануил скончался в тот самый день, который был предсказан колдуном. После этого случая, слава вещего старца достигла своего апогея.

Со всей Византийской империи шли люди, чтобы посоветоваться с мудрецом. Он уже не в состоянии был следить за движениями небесных светил, потому что перед его глазами был вечный мрак, но по-прежнему занимался предсказаниями с помощью сосудов, наполненных водою.

Андроник давно слышал об этом колдуне, но в то время, когда он находился в полном блеске своего могущества, пренебрегал чернокнижием, и говорил, что подобным пустякам могут верить только старые бабы. Но теперь у него появилось желание поднять темную завесу будущности, и он приказал Агиохристофориту привести в императорский дворец колдуна Сифа.

Агиохристофорит повиновался, хотя и был очень удивлен этим распоряжением своего господина, потому что Андроник, вступив на престол, удалил от двора преданного ему астролога Иону.

Сначала Сиф ответил императорскому посланнику, что он никогда не выходит из своего жилища, и если император желает видеть его, то пусть сам пожалует к нему. Но, когда Агиохристофорит объявил ему, что употребит насилие, Сиф согласился идти в императорский дворец.

Андроник ожидал колдуна в отдаленном покое дворца; с ним был Иоанн Тира, один из его приверженцев.

Агиохристофорит ввел под руку слепого старика и представил его императору.

— Сиф,— сказал ему Андроник,— говорят, что в твоей власти проникнуть в будущее и предсказать то, что должно случиться. Я хочу сегодня прибегнуть к твоему искусству.

— Но подумал ли ты, государь, о том, принесет ли тебе пользу знание будущего? Решился ли ты спокойно выслушать и принять все, что я открою тебе в силу данной мне власти?

— Мое дело решить,— возразил строгим голосом Андроник,— полезно мне, или нет знать будущее; я не обя-

зан отдавать тебе отчет в своих поступках. Твое дело отвечать мне на вопросы, которые я задам.

— Говори, я слушаю!

— Я задал тебе один вопрос, Сиф; но на этот вопрос я требую короткого, определенного и ясного ответа.

— Говори,— повторил колдун.

— Кто будет моим преемником и когда этот преемник вступит на престол? — спросил Андроник.

Сиф молчал.

— Понимаешь ли ты, что я сказал тебе? — крикнул с нетерпением Андроник, топнув ногой.

— Да, государь, я понял, что ты сказал. Вопрос достаточно ясен. Но прежде всего я позволю себе заметить, что ты задал мне не один, а два вопроса, и я должен приготовиться прежде, чем ответить тебе.

— Если ты считаешь мой вопрос двойным,— возразил Андроник, презрительно пожав плечами,— то я и требую от тебя двойного ответа.

— Дайте мне сосуд с водой! — сказал колдун твердым, решительным тоном.

Агиохристофорит немедленно исполнил его требование и поставил на стол сосуд с водой.

Слепой колдун ощупал его, чтобы убедиться, имеет ли он под рукой то, что ему нужно, и сказал:

— Ну, хорошо! Теперь будь внимателен, государь!

Он вынул из широких складок своей длинной одежды железную палочку и небольшой мешочек с белым порошком, который всыпал в воду и размешал железной палочкой. При этом губы его шептали непонятные слова на таинственном языке.

Немного погодя, колдун громко произнес:

— Дух земли, взываю к тебе! Явись из своего темного царства и ответь на мой вопрос!

Слепой колдун начал снова мешать воду в сосуде железной палочкой, и снова губы его бормотали непонятные слова.

Вода помутилась, поднялся столб дыма, который мало-помалу, подобно облаку, распространился по всей комнате.

Постепенно облако сделалось багровым, и такой же

багровый цвет приняла вода в сосуде; комната наполнилась удушливым запахом серы.

Когда колдун перестал мешать воду железной палочкой, на дне сосуда заметно было как будто легкое кипение воды.

— Будь внимателен, государь,— сказал Сиф,— теперь посмотри в сосуд, там ты увидишь ответ на твой первый вопрос. Дух воздушной стихии,— продолжал колдун, наклоняясь над водой,— ответь мне: кто будет преемником императора, который в эту минуту стоит перед тобой?

Послышался легкий скрип железной палочки по дну сосуда, и невидимая рука начертила две буквы в мутной воде.

Эти буквы были *И* и сверху *с* в виде полумесяца.

— Ис! — пробормотал Андроник.— Только две буквы?

— Этого достаточно! — сказал колдун.

— Ис...— повторил император.— Понимаю! Это значит — Исаак... Не Исаак ли Исаврианин, владетель Кипра, самый жалкий из Комненов, позор своей фамилии? Не его ли подразумевает невидимый дух?

— Молчи! — сказал повелительно колдун.— Выслушай второй ответ,— затем он произнес громким голосом.— Открой нам, дух воздушной стихии, когда преемник могущественного Андроника вступит на престол?

Все наклонились над сосудом и пристально смотрели на воду, но там видны были те же буквы.

Внезапно над их головами раздался голос:

— В день Воздвижения Креста!

— Это ложь! — воскликнул с яростью Андроник.— Сентябрь уже начался... Может ли Исаак в два-три дня прибыть сюда из Кипра и вступить на престол?

На губах Андроника появилась иронническая улыбка.

— А ты, наглый шарлатан,— сказал он,— можешь убираться прочь!

— Государь,— сказал Иоанн Тира,— удостой милостиво выслушать меня. Дух, вызванный Сифом, говорил слишком определенно, мы должны уловить смысл его слов...

— Я вижу,— возразил с гневом Андроник,— что ты,

Иоанн, принадлежишь к тем людям, которые готовы верить всяким пустякам.

— Ты сам, государь, видел буквы в воде,— продолжал Иоанн Тира, бледнея,— мы все слышали голос вызванного духа... Кто знает, Исаак ли это Кипрский? Разве он твой единственный враг?.. Не забудь, государь, здесь в нашем городе проживает Исаак Ангел, некогда обвиненный в измене, которому ты даровал жизнь... Не его ли подразумевал дух?

— Исаака Ангела? — сказал Андроник с выражением глубокого презрения на лице.— Не того ли малодушного Исаака, который спрятался, как баба, когда увидел, что его сообщники арестованы? Не этого ли трусливого зайца? Может ли подобный человек помышлять о престоле?

— Государь,— сказал суровым тоном колдун: — не глумись над тем, чего постичь не можешь. Ты спрашивал,— дух отвечал тебе; не пренебрегай его словами...

— Мы скоро узнаем,— прервал Агиохристофорит,— на этого ли Исаака указал дух? Я обещаю тебе, государь, избавить тебя от врага, на которого дух указал нам.

Агиохристофорит вышел из дворца вместе с Сифом. Колдун вернулся в свое жилище, где его ожидала многочисленная толпа; а Агиохристофорит отправился в другую часть города, чтобы избавить Андроника от человека, который, согласно предсказанию, должен был сделаться преемником его престола.

Исаак Ангел проживал в Константинополе, не принимая никакого участия в государственных делах. Его оставили в покое, потому что он был человек, лишенный воли и мужества, и все считали его совершенно неспособным на какое-либо смелое предприятие. Он представлял собою слабую, ничтожную мышь, на которую гордый, сильный лев смотрел с презрением.

Агиохристофорит в сопровождении нескольких вооруженных людей, направился к жилищу Исаака.

Он въехал на обширный двор, ворота которого были открыты и именем императора, приказал Исааку сойти вниз.

Исаак услышал грубый голос императорского любимца и, сразу понял грозившую ему опасность. Он подошел к окну и ответил, что болен, поэтому не в состоянии ис-

полнить приказа своего государя, но как только здоровье позволит ему, то он, вернейший из подданных императора, не замедлит явиться во дворец.

— Государь велел явиться тебе без вяских проволочек,— ответил Агиохристофорит.— Ты должен немедленно повиноваться, иначе я прикажу моим людям стащить тебя вниз.

Эта угроза была для Исаака достаточным доказательством, что ему нечего ждать пощады.

Он ясно видел, что от него одного зависит спасение, и знал, что если попадет в руки Агиохристофорита, то гибель его неминуема.

Исаак, схватив меч, висевший в спальне, сбежал с лестницы, и внезапно предстал перед Агиохристофоритом. Тот был настолько поражен этим неожиданным появлением, что невольно сделал шаг назад. Исаак, пользуясь этим с быстротой молнии, нанес ему мечом сильный удар. Агиохристофорит, обливаясь кровью, упал с лошади. В следующую минуту Исаак напал на вооруженных спутников, которые стояли, как будто окаменелые, не двигаясь с места, и, пробив себе дорогу мечом, бросился на площадь. Здесь, размахивая над головой окровавленным мечом, он стал стучаться в двери домов, чтобы разбудить спящих жителей, повторяя один и тот же возглас: «Погиб дьявол! Я убил дьявола!»

Встревоженные горожане спешили выходить из своих домов и следовали за Исааком, который направился к церкви св. Софии. Площадь наполнилась многочисленной толпой, которая с любопытством ожидала дальнейшего хода событий. Все противники Андроника собрались в храме, куда прибыл дядя Исаака с отцовской стороны, Иоанн со своим сыном.

Между тем спутники Агиохристофорита доложили императору о неожиданном происшествии.

Андроник равнодушно взглянул на окровавленный труп своего слуги, и, презрительно пожав плечами, сказал: «Делать нечего! Кровь за кровь». Затем он удалился, но под влиянием охватившего его страха отдал приказ о прощении убийцы своего друга.

Дни Андроника были сочтены.

# X

Весть о смерти ненавистного Агиохристофорита распространилась по городу с быстротой молнии. Многочисленная толпа собралась на Софийской площади.

Народ понимал, что в лице Агиохристофорита Андроник лишился сильнейшей опоры своего престола и видел в этом небесную кару, ниспосланную на человека, который заставил невинного отрока подписать смертный приговор родной матери и отдал тайный приказ об убийстве императора, чтобы властвовать одному на престоле. Из-за таких деяний, он стал предметом всеобщей ненависти и ужаса.

Андроник становился все суевернее и подозрительнее, и всякий раз, когда ему приходилось проходить по улице, он приказывал предварительно расставить на всем пути вооруженных людей и своих телохранителей, норманнов. Не разбирая ни пола, ни возраста, он посылал в заключение своих противников; ничто не могло спасти от преследования: ни высокий сан, ни происхождение, ни услуги, оказанные отечеству. Тюрьмы были переполнены.

Поэтому народ восторженно приветствовал первый удар, нанесенный тирану, и тотчас же перешел на сторону людей, руководивших восстанием. Уличная чернь выломала двери темниц и возвратила свободу несчастным жертвам. Горожане, вооруженные палками, пиками и ножами, стремились на Софийскую площадь с твердой решимостью положить конец ненавистному господству. Не встречая сопротивления, они становились все смелее. Не видно было вооруженных секирами норманнов, этой наглой толпы наемников, телохранителей Андроника. Они видели, что приходит конец могуществу их господина и покинули его.

Тысячи зажженных свечей освещали величественные своды храма св. Софии. Посреди церкви стоял Исаак; он все еще держал в руке окровавленный меч; с ним был его дядя Иоанн и другие родственники, которые, подобно ему, явились в святой храм. Исаак был бледен; в его блуждающем взгляде было то растерянное выражение, какое появляется в глазах людей, которые внезапно очу-

тились в совершенно неожиданном для них положении и испытывают сомнения. Иоанн, напротив, имел спокойный, серьезный вид человека, который доверяет собственным силам и не видит причины сомневаться в будущем.

— Исаак,— сказал он, обращаясь к своему родственнику,— слышишь ли ты эти голоса на площади? Разве ты не доволен собой?

— Эти шумные проявления толпы тревожат меня,— сказал Исаак.— Я столько лет вел одинокую скромную жизнь, что не могу привыкнуть к подобному.

— Исаак,— сказал Иоанн, положив ему руку на плечо,— великие события последуют за этой ночью, и наш город радостно встретит наступающий день. Разве ты не видишь, что исчезли ненавистные норманны?..

— Андроник хитер и изобретателен; и кто знает, что еще может прийти ему в голову?..

Этот разговор, происходивший вполголоса, был внезапно прерван громким единодушным криком тысячной толпы, наполнявшей площадь.

— Да здравствует наш император Исаак!

Исаак окончательно растерялся и дрожал, как лист. Тогда один из священников принес высокую деревянную лестницу и, приставив ее к стене главного алтаря, достал блестящий венец святого Константина, которым венчались на царство византийские императоры.

— Итак,— сказал священник, приближаясь к тому месту, где Исаак стоял, окруженный своими родственниками,— народ провозглашает тебя императором. Возьми этот венец и возложи его на свою голову.

Исаак молчал и удивленно смотрел то на священника, который, преклонив колени, протягивал ему венец, то на окружавший его народ.

— Мне этот венец? — спросил Исаак слабым, едва слышным голосом.

— К чему эти колебания, Исаак? — сказал ему на ухо Иоанн.— Неужели этот венец не стоит того, чтобы протянуть за ним руку?

— Затем, обнажив свою лысую голову, он сказал громким голосом, обращаясь к собравшемуся народу:

— Вы ищете себе императора, константинопольцы?

Я к вашим услугам! Клянусь, что моя голова достойна венца!

Но когда толпа увидела его лысину, блестевшую, как полный месяц, при ярком свете множества зажженных свечей, то со всех сторон послышались презрительные возгласы:

— Мы не хотим старого! Не хотим лысого государя! Достаточно мучил нас старый Андроник! Нам нужен молодой император! Мы хотим Исаака. Да здравствует Исаак!

Иоанн поспешил скрыться в толпе, и императорский венец был возложен на Исаака.

Обширный храм св. Софии снова огласился криками: «Да здравствует Исаак! Многие лета Исааку!»

Народ на площади, слыша эти крики, отвечал такими же громкими восторженными возгласами.

На востоке уже зажглась заря наступающего дня, когда высокие двери храма открылись настежь, и новый император предстал перед толпой, нетерпеливо ожидавшей его появления.

В это время на другом конце площади показалась лошадь без седока, которая, судя по богатому седлу, украшенному золотом, была из императорских конюшен. Несколько горожан тотчас же бросились к ней, поймали за повод и привели к церковной паперти, где стоял вновь избранный император.

— Смотрите, как будто само небо посылает нам этого коня! — воскликнули они.— Садись на него, государь, и следуй во дворец, который отныне будет твоим жилищем.

Исаак сел на коня и, в сопровождении шумной толпы, направился к императорскому дворцу во Влахерне...

Уже несколько дней Андроник не хотел принимать ни одного из своих придворных; заключенный в стенах своего дворца, он видел, как все более и более приближалась гроза, и не в состоянии был отвести ее от себя. К чему были его многочисленные победы, если он не в силах удержать венец на своей голове, и престол рушится под его ногами?

Он бродил одинокий по обширным покоям дворца, едва освещенным слабым светом наступающего дня.

Глаза его беспокойно блуждали; время от времени он бормотал бессвязные слова.

— Негодный колдун предсказал это...— проговорил Андроник, как бы отвечая на собственную мысль.— В мутной воде ясно были написаны две буквы... Исаак!.. На него указывал дух... Иоанн был прав, не кипрский Исаак... Во всяком случае, смерть Стефана не была предумышленной... Исаак убил его в минуту гнева. Избыток великодушия побудил меня сделать необдуманный шаг и даровать жизнь опаснейшему врагу!.. Теперь никому не будет пощады... Все, кто осмелится идти мне наперекор, будут уничтожены. В этом мое единственное спасение! Никто не дождется от меня ни пощады, ни милости!..

Внезапный шум голосов нарушил тишину ночи. Это были крики толпы, сопровождавшей Исаака.

— Что это значит? — воскликнул Андроник.— Я слышу голоса... Как будто идут сюда... Что подняло народ в такой ранний час утра?

Шум все увеличивался, голоса становились яснее.

— Народ торжествует,— продолжал рассуждать сам с собою Андроник,— он радуется смерти Стефана! Все чувствовали к нему ненависть, и весть о его гибели уже разнеслась по городу. Не трудно привести в восторг константинопольцев, я доставлю им новый повод к радости, и они будут благодарить меня. Стоит только предать в руки черни Трипсиха, Птеригионита и других ненавистных для них людей... Я не нуждаюсь больше в их услугах!

Голоса слышались уже довольно близко, толпа, по-видимому, направлялась к площади, к которой был обращен фасад дворца.

В эту минуту с площади раздался громкий крик: «Да здравствует наш император Исаак!»...

— Исаак! Император! — повторил Андроник, с таким выражением ужаса на лице, как будто он увидел привидение.— Что это значит? Народ приветствует нового императора. Он осмеливается делать это в моем присутствии? Где же мои слуги? Куда делась дворцовая стража?

Андроник бросился в соседнюю залу и быстрыми ша-

гами прошел ряд обширных пустых покоев, громко призывая своих телохранителей.

Никто не откликнулся на его зов; только эхо, дикое и глухое, повторяло его слова.

— Никого! Ни единой души! — воскликнул Андроник.— Неужели я один!.. Жалкие негодяи, в минуту опасности вы покинули своего повелителя! Так-то вы исполняете данную клятву!..

Дикий порыв отчаяния и ярости овладел покинутым человеком; из уст его вырвалось страшное проклятие. Он бросился в оружейную, которая находилась рядом с его спальней, взял лук и пучок стрел, и взобрался на самую высокую из четырех башен, возвышавшихся над крышей дворца. И с высоты начал пускать стрелы в густую толпу людей, наполнявших площадь.

Народ, видя на башне широкоплечую фигуру обезумевшего повелителя, встретил его появление неистовыми криками:

— Смерть тирану! Смерть мучителю!

Андроник слышал угрожающие крики толпы, руки его с лихорадочной поспешностью пускали стрелу за стрелой. Но скоро в нем проснулось сознание своего бессилия; он слышал грохот камней, бросаемых в ворота дворца. Еще несколько секунд, и падет эта последняя преграда.

Он поспешно сошел с башни, чтобы искать спасения в немедленном бегстве.

С ловкостью двадцатилетнего юноши, Андроник поспешил в свою опочивальню, надел на голову войлочную шляпу и накинул широкий плащ и, выйдя потайным ходом на пустынную улицу, направился на морской берег, к тому месту, где постоянно находилась наготове лодка.

В тот момент, когда Андроник вышел из дворца, упали большие ворота, известные под названием Карейских, и толпа, ринулась в императорское жилище, подобно бурному потоку, разрушившему последнюю преграду.

Буйная, необузданная чернь, не встречая препятствий на своем пути, обыскала все углы величественного здания и все предала расхищению.

Подобно тому, как потухает пламя пожара за неимением дров, кончился и этот ужасный грабеж, когда уже

нечего было грабить. От прежнего великолепного дворца, еще так недавно блестевшего золотом и драгоценными камнями, остались голые, пустые стены.

Уже поздно вечером, Исаак, в сопровождении многочисленных родственников и друзей, вступил во дворец и отправился в опустошенную императорскую молельню, чтобы принести благодарственную молитву Всевышнему.

А свергнутый с престола император, никем не узнанный, плыл вдоль берегов Босфора и, обогнув Малузийский мыс, направлялся к Черному морю, в надежде спастись на Таврическом полуострове. Он знал, что ему не найти безопасного убежища не только в столице, но и в самых отдаленных провинциях империи.

## XI

Лодка, на которой Андроник отплыл от берегов столицы с шестью гребцами, благополучно достигла Хелейской гавани. Здесь он хотел найти судно, чтобы отправиться в Тавриду, где думал укрыться от ярости восставшего против него народа.

Население Хеле состояло из моряков, которые промышляли рыбной ловлей и перевозкой товаров. Но в это время года суда стояли на якоре, и моряки жили на берегу без всякого дела.

Хелейские жители с напряженным вниманием следили за лодкой, плывшей в их гавань. Когда лодка причалила к берегу, они узнали Андроника и, с удивлением, встали перед ним, сняв шапки. До них еще не дошли слухи о том, что произошло в столице в прошлую ночь. Они видели Андроника одного, без обычной императорской свиты, и не знали, чем объяснить его неожиданное появление.

— Приготовьте мне судно, на котором я мог бы тотчас отправиться в Херсонес! — сказал повелительным голосом Андроник, едва ступив на берег.

— Государь,— ответил с низким поклоном седой матрос,— в нашей гавани немало судов в это время года; но

теперь дует бурный северный ветер, и никто не осмелится выйти в открытое море в такую погоду. Буря настолько сильна, что даже самые большие корабли могут подвергнуться опасности...

— Как! — воскликнул Андроник, бросив на своего собеседника гневный взгляд.— Вы, неустрашимые хелейцы, опытные моряки, испугались ветра?

— Не в этом дело, государь,— возразил старик,— теперь поздняя осень, и бури всего опаснее. Ветер утихнет через несколько дней, и тогда все мы готовы служить тебе!

— Я хочу тотчас двинуться в путь и не намерен ждать ни одной минуты,— сказал Андроник.— Неужели между вами не найдется ни одного человека, который захотел бы исполнить приказание своего государя? Не забывайте, что вы обязаны повиноваться мне и что моя воля — закон для подданных!

Слова Андроника произвели впечатление на хелейцев. Они видели перед собой могущественного государя, окруженного ореолом высокого сана, и, не подозревая истины, склонили головы перед его железной волей.

Три молодых матроса объявили, что готовы снарядить судно и вступить в борьбу с разъяренной стихией.

— Только собирайтесь скорее,— сказал им Андроник,— через час я должен отплыть отсюда.

Пример трех смельчаков подействовал на остальных; к ним присоединилось еще несколько человек; решено было немедленно приступить к снаряжению судна. Только старый матрос, убеждавший императора отложить путешествие, еще раз с беспокойством взглянул на небо и задумчиво покачал своей седой головой.

Из множества судов выбрана была большая галера, служившая для перевозки товаров по Черному морю, которая стояла на якоре в гавани по причине бурной погоды.

На галере шла теперь деятельная работа: одни взбирались на мачты, другие осматривали паруса, несколько человек черпали воду из моря и мыли палубу.

На берегу стоял Андроник; он с беспокойством смотрел в сторону Константинополя, откуда ежеминутно ожидал появления своих врагов, но перед ним было устье

Босфора, за которым расстилалось открытое море; надежда на спасение не оставляла его.

Не прошло и часа, как судно уже было готово к отплытию. Андроник поспешно вскочил на палубу. Правой рукой он схватился за руль и громким голосом отдал приказ отчалить от берега. Подняли якорь, распустили паруса, судно двинулось в плаванье, обогнуло мыс Хеле и направилось к Черному морю. Стоявшие на берегу хелейцы, следя за отплывшим судном, спрашивали друг друга с недоумением, что могло побудить императора предпринять такое опасное путешествие? Но вскоре загадка прояснилась.

Три императорские галеры, наполненные вооруженными людьми, вошли в гавань. Прибывшие рассказали хелейцам о последних событиях, произошедших в столице; затем обратились с вопросом: в какую сторону отправился беглец? Едва получен был ответ, как галеры отчалили от берега и поплыли к устью Босфора.

Между тем судно, на котором плыл Андроник, пройдя Босфор, готовилось выйти в Черное море. Но там северный ветер дул с такой силой, а море было так бурно, что дальнейшее плавание было невозможно. Напрасно Андроник, старался приободрить матросов, напрасно они удваивали свои старания, чтобы выбраться из опасного устья. Буря все усиливалась: она то поднимала легкое судно на гребни волн, то снова бросала в бездну и грозила поглотить его. Андроник стоял мрачный и бледный у руля, и смотрел неподвижным взором на бушующие волны, чувствуя свое бессилие против разъяренной стихии.

Уже трижды судно, после отчаянной борьбы с волнами, выходило в открытое море, но грозным порывом бури его отбрасывало к скалистому берегу, и вяский раз Андроник все более и более убеждался в невозможности продолжать путь. Между тем, день уже стал склоняться к вечеру; и тут показались три галеры, посланные в погоню за беглецом.

Андроник первый заметил их. Грозная стихия словно вступила в заговор с людьми, чтобы погубить его.

Галеры вскоре окружили судно, на котором находился Андроник, и целая толпа вооруженных людей хлыну-

ла на палубу; матросов было слишком мало, чтобы оказать какое-либо сопротивление.

Вскоре Андроник сидел на палубе с цепями на руках и ногах; он ясно видел, что все кончено для него. Но он не терял надежды и решился прибегнуть к хитрости для своего спасения. Уже много раз он с успехом пользовался этим оружием. Он попросил кусок хлеба, и когда его просьба была исполнена, заливаясь слезами, стал жаловаться на судьбу.

— О Боже! — сказал он.— Мог ли я ожидать подобного несчастия. Неужели я должен, как преступник, вернуться под стражей в город, дорогой моему сердцу, и в таком виде предстать перед народом, о благосостоянии которого я так много заботился?.. Может ли такая жестокая участь не возбудить сострадания? Друзья мои,— добавил он, обращаясь к окружающим его воинам,— неужели вы не чувствуете ни малейшей жалости к человеку, которого так неумолимо преследует судьба?.. Воины молчали.

— Перед вами, Андроник, потомок знаменитого рода Комненов, давшего византийскому престолу столько увенчанных славой государей и столько храбрых полководцев! Не забудьте, что Андроник, которого вы видите сегодня в оковах, жалким и беспомощным, еще недавно был могущественным императором и сидел на престоле! О Боже, как неверен и скользок этот путь! Зачем стремился я к достижению высокого сана, зачем пожертвовал ради него жизнью? Разве я не был в тысячу раз счастливее, когда с мечом в руке, вел на поле битвы неустрашимых воинов? Зачем променял я эту свободную, счастливую жизнь на печальное существование, исполненное тяжелых забот и труда?.. Вы сами воины, и вам более, чем кому-нибудь, доступны благороднейшие порывы человеческой души, так как мужественному сердцу чужды низкие страсти. Вы понимаете, что я должен испытывать в эту минуту... Сжальтесь надо мной. Помогите мне вернуться в азиатские леса, где я чувствовал себя таким счастливым! Меня не соблазняет более ни блеск императорского сана, ни пышность престола! Горький опыт убедил меня, что императорская корона — терновый венец, а пурпурная мантия — тяжелое одеяние; немногие в состоянии

носить ее!.. Мое единственное желание вновь услышать шум битвы, испытать прежние опасности и лишения, связанные с боевой жизнью... Эти опасности и лишения не могут пугать вас! Вы с детства привыкли владеть оружием... Последуйте за мною! Я поведу вас к новым блистательным победам! В Азии живет дикий языческий народ, который враждебно относится к христианской религии и грозит новым нашествием на нашу прекрасную родину. Там ожидают нас новые лавры, новые победные трофеи!..

Андроник остановился, и, не встретив возражений, продолжал свою речь с прежним воодушевлением:

— Последуйте за мной, дорогие товарищи! Вы видите, мое тело закалено суровой солдатской жизнью, мое лицо никогда не бледнело от страха! Неужели вас не тяготит положение, при котором вы обречены на бездействие и полусонное существование? Разве вы не считаете для себя позором служить орудием для интриг честолюбцев?.. Вы — мужи и воины! На вас лежит обязанность защищать христианскую религию! Идите за мной! Вам не придется краснеть за своего предводителя! Там узнаете вы прежнего Андроника; мы приведем в трепет наших врагов и навсегда прославим свое имя. Я вновь почувствую себя счастливым и этим счастьем я буду обязан вам, друзья мои. Умоляю вас, снимите с меня оковы и следуйте за мной!..

Воины, окружавшие узника, молчали, не двигаясь с места. Слова Андроника не произвели на них ни малейшего впечатления. Наконец, один из них, по-видимому, начальник, сказал ему:

— Напрасно стараешься ты убедить нас! Мы делаем то, что нам приказывают, и без всяких рассуждений передадим тебя сторожам Анемской башни! Наша обязанность повиноваться начальству...

Для Андроника угас последний луч надежды. Его попытка тронуть сердца окружавших его простодушных воинов окончилась неудачей; он знал, что ему нечего ждать пощады от своих врагов. Исаак Ангел был мягкий, слабохарактерный человек, но разгневанный народ жаждал мести; он не допустит, чтобы император почувствовал сострадание к своему предшественнику.

Андроник покорился своей участи и спокойно ожидал смерти.

— Да исполнится воля Твоя, Господи! — воскликнул он, подняв глаза к небу, в тот момент, когда судно бросило якорь перед воротами Анемской башни.

Едва разнеслась по городу весть о заключении Андроника, как огромная толпа народа двинулась к башне и с громкими криками требовала немедленной казни узника.

— Отдайте нам преступника! — кричали они.— Пусть выведут к нам Андроника. Мы сами казним его!..

Андроник слышал эти крики глухо раздававшиеся за толстыми стенами его темницы.

— Жалкие люди! — презрительно произнес он.— Теперь вы осмелились кричать против меня, готовы разорвать на клочки!.. А еще вчера, пресмыкались у моих ног...

С раннего утра многочисленная толпа снова собралась вокруг башни и требовала выдачи преступника.

— Чего они ждут? — кричало несколько кожевников, которые изо всех сил ударяли своими тяжелыми дубинами о железные ворота башни.— Почему до сих пор не выдают Андроника? Император позволил нам казнить его; мы воспользуемся своим правом!..

— Я готов биться об заклад,— сказал один из толпы,— что они уже покончили с ним сегодня ночью, а нас водят за нос.

— Ну, если они осмелятся сделать что-либо подобное,— возразил коренастый подмастерье,— то им придется раскаяться в этом. Народ не позволит шутить с собой! Казнь Андроника должна совершиться среди белого дня, чтобы все могли видеть ее. Пусть это послужит уроком для тех, кто решается обманывать народ. Вперед, друзья мои! Выломаем ворота, посмотрим, долго ли они устоят под нашими ударами!..

Внезапно отворились ворота башни, и появился Андроник, окруженный вооруженной стражей.

Шум и крики сразу умолкли; толпа словно окаменела на минуту. Затем со всех сторон раздался дикий протяжный крик, и тысячи рук поднялись с угрозами и проклятиями против беззащитной жертвы. Тюремная стража в испуге отступила, и Андроник был предан в руки разъя-

ренной толпы: одни рвали волосы на его голове и бороде, осыпали бранью, плевали в него и бросали ему в лицо комки грязи; другие срывали с него платье. Поблизости находилась кузница. Андроника поволокли туда и отрубили ему правую руку.

Затем, изувеченный, покрытый кровью Андроник, был посажен на верблюда, и шествие тронулось в путь по главным улицам столицы. Чем дальше оно подвигалось, тем многочисленнее и необузданнее становилась толпа.

Наконец, толпа остановилась на несколько минут перед харчевней. Из ворот вышла женщина с горшком горячей воды; распущенные волосы и блуждающий взгляд придавали ей вид помешанной. Она поспешно пробралась сквозь толпу и остановилась перед Андроником.

— Не ты ли Андроник? — спросила она.— Я давно ждала этой минуты. Ты казнил моего мужа, ослепил моего брата... Наконец-то, мне удалось добраться до тебя!..

Затем, с пронзительным криком она подняла обеими руками горшок с кипятком и опрокинула его над головой Андроника. Обваренное лицо страдальца вздулось и побагровело; он лишился одного глаза.

Шествие снова двинулось в путь; когда оно достигло Ипподрома, Андроника сняли с верблюда.

«Повесьте его!» — крикнуло несколько угрожающих голосов. До этой минуты Андроник выносил молча все мучения; на лице его не заметно было ни малейших признаков страха, только время от времени губы его шептали: «Боже, сжалься надо мной!»

Когда его сняли с верблюда, он обратился к народу и сказал:

— На что вам моя смерть? Теперь во мне также мало сил, как в слабом тростнике!..

Оглушительный хохот прервал речь Андроника; громче прежнего раздались голоса:

— На виселицу его!

У западной стены Ипподрома стояли два каменных столба с железными кольцами, к которым привязывали диких зверей, выводимых на арену. К этим столбам подвесили Андроника.

Затем к висевшему телу подошли два мясника и вон-

зили в него свои острые ножи; они со смехом повторяли ту дикую забаву и бились между собою об заклад, чей нож глубже войдет в тело.

Никто из присутствующих не думал прервать ужасающую сцену, но в это время из толпы выступил человек, который, быть может, хотел принять участие в кровавой забаве или же движимый состраданием решил положить конец мучениям несчастного. Он вонзил свой нож в горло Андроника.

Удар был смертельный. Послышалось хрипение; дважды дрогнуло обезображенное тело. В эти последние минуты предсмертных судорог, Андроник машинально поднял свою изуродованную руку, из которой сочилась кровь, и прильнул к ней губами.

— Смотрите, смотрите! — крикнул один из стоявших возле мясников.— Он все еще жаждет крови и, за неимением чужой, пьет собственную!

Безжизненный труп Андроника висел на каменных столбах. Зрители мало-помалу начали расходиться по домам.

Несколько дней спустя, бесформенный, полусгнивший труп Андроника был снят по приказанию императора Исаака, и погребен в ограде Цевксипского монастыря.

Здесь нет ни памятника, ни надгробной надписи, по которой можно было бы отыскать место, где покоится долгим сном вечности Андроник Комнен.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

П. БЕЗОБРАЗОВ

# ИМПЕРАТОР МИХАИЛ

# I

В бухте Золотого Рога в ветхом домике, который одиноко стоял на берегу моря, сидели два брата. По наружности старшего, по отсутствию растительности, по земляному цвету лица можно было догадаться, что он евнух. Его бесстрастному лицу придавали некоторое оживление только маленькие узкие глаза, но выражение их было неприятное, плутовское. Младший брат мало походил на старшего: это был рослый, краснощекий юноша, атлетического сложения.

— Послушай, Михаил,— сказал старший,— какая у тебя убогая обстановка, даже лечь не на что...

— Что же делать, Иоанн! — возразил младший.— Ведь и ты вырос здесь...

— Да, но я отвык от подобной простоты с тех пор, как живу во дворце... Но не в том дело; я не понимаю, почему ты не хочешь устроиться получше? Отчего ты отказываешься поступить ко двору?

— Когда же я отказывался? Я только говорил тебе, что едва ли мне дадут какую-нибудь должность; я не получил никакого образования, только что умею читать,

а дай мне что-нибудь древнее, например, Гомера, так я его и не разберу.

— Э, брат, как ты рассуждаешь! Кому нужно твое образование? Да разве я изучал философов или отцов церкви? А, несмотря на это, я царский спальник и на днях мне будет поручен надзор за царским гинекеем *.

— Ты человек ловкий, ты умеешь говорить...— протянул младший.

— А у тебя есть другое преимущество, гораздо более ценное — красота, а красота в настоящую минуту все, она дороже всего ценится во дворце. Я пришел тебе предложить кое-что. На днях тебе дадут чин протоспафария **, и по этому случаю тебе надо представиться царю и царице. Ты знаешь, что самодержец Роман удостаивает меня своим милостивым вниманием; я говорил ему о тебе, и он уже приказал приготовить хрисовул ***, которым ты утверждаешься в чине протоспафария. На следующей неделе готовься идти со мною во дворец.

— Нельзя ли обойтись без этого, Иоанн? Я растеряюсь в присутствии императора и императрицы.

— Нельзя, этого требует этикет. Чудак ты, право! Ты, кажется, хочешь отказаться от своего благополучия? Разве ты ничего не слыхал об императрице Зое? Здесь, надеюсь, никто нас не может слышать?

Иоанн приоткрыл дверь и, убедившись, что никого рядом нет, продолжал:

— Ты знаешь, конечно, что хотя царице Зое пятьдесят лет, она обуреваема страстями; до 48 лет она хранила девственность и тогда только отец ее, блаженной памяти самодержец Константин, выдал ее за ныне благополучно царствующего Романа. Но император стар и, притом, питает к Зое антипатию. И теперь, как говорят премудрые философы, стремление ее обратилось к не сущему, и вот ты то и мог бы из этого не сущего сделать страстно желаемое сущее...

— Ну что ты, Иоанн! Я не сумею, да и страшно...

---

* Гинекей — женское отделение дворца.

** Протоспафарий — первый меченосец.

*** Хрисовул — царская грамота, скрепленная золотой печатью.

— Полно, брат, все уладится само собою. Вот тебе деньги, сшей себе платье, какое прилично носить протоспафарию, и надейся на помощь Всевышнего. Слушай еще, что я скажу тебе. Нынче ночью явился мне некий муж в светлой одежде и произнес: «Все будет принадлежать твоему брату Михаилу» и исчез.

— Не понимаю, Иоанн.

— Не понимаешь? — спросил Иоанн и, прищурившись, посмотрел на брата таким плутовским взглядом, что у Михаила дрожь пробежала по телу.— Не понимаешь? «Все» — это значит вселенная,— вселенная будет принадлежать тебе.

— Вселенная принадлежит Богом данному византийскому царю.

— Ты, вероятно, знаешь, Михаил, что всякий младенец, выходя из утробы матери, имеет особое выражение и что по этому выражению можно предсказать его судьбу. Когда ты только что появился на свет, в глазах твоих был особенный блеск и вокруг твоей головы видели сияние.

Правый глаз и щека Михаила начали нервно подергиваться; это всегда делалось с ним, когда он бывал в большом волнении. Заметив произведенное им впечатление, Иоанн продолжал:

— Если хочешь узнать будущее, я могу указать тебе два вернейших способа или обратись к чудотворной иконе Влахернской, или же к пророчице Досифее, той, что ходит с хиосскими монахами. Ну, довольно, мне надо идти, проводи меня.

Братья вышли из дому и пошли по направлению к Большому Дворцу. Они шли молча. Расставаясь, Иоанн показал на св. Софию и шепнул брату: «Смотри, какой величественный купол, доходящий почти до неба. Все это будет твое». Михаил возвращался домой озадаченный, мысли его путались, слова брата казались странными и, вместе с тем, молодой человек чувствовал, что, может быть, и в самом деле ему предстоит блестящее будущее. «Разве ныне царствующий император Роман,— думал он,— не попал на престол случайно, потому только, что за него выдали Зою? Зоя — последний отпрыск македонского дома, судьба империи в ее руках».

Когда стало смеркаться, он пошел в храм Влахернской Божией Матери; при входе его встретил знакомый монах. Михаил объяснил ему, что по окончании вечерни собирается помолиться чудотворной иконе и узнать от нее будущее. Икона, хорошо известная всем константинопольским жителям, помещалась направо от царских врат и была прикрыта завесою, так что нельзя было видеть лика Богородицы. Но раз в неделю, по пятницам, после всенощной, свершалось чудо: завеса сама собою раскрывалась и молящимся являлся божественный лик. Это считалось хорошим предзнаменованием; чудо могло явиться и в необычное время по молитве.

Только закончилась служба, Михаил встал перед иконой и горячо молил Богородицу явить чудо, если действительно с ним должно случиться нечто необыкновенное. Через несколько минут он заметил, что завеса колеблется, будто на нее подул ветер, и Михаил увидел перед собою милостивый лик Божьей Матери.

Михаил вышел из церкви в самом радостном расположении духа. Теперь он не сомневался, что займет высокое положение. Слава Богу, он выйдет, наконец, из бедности. Перед ним возникали картины одна другой фантастичнее. Ему казалось, что вот он стоит среди толпы и вся эта многотысячная толпа падает перед ним на колени. До его слуха доносится! «...на многие, многие лета». Он покоится на бархатном ложе и его обнимает и ласкает красавица в диадеме и порфире...

Он шел домой, но как-то, незаметно для самого себя, очутился у трактира под названием «Сладкая Еда». «Зайти разве? — подумал Михаил.— Пожалуй неприлично,— я скоро буду сановником. Ну, в последний раз, хочется посмотреть на нее». Он приподнял занавеску, заменявшую наружную дверь, и вошел. Его встретил приветливою улыбкой содержатель трактира Александр.

— Добрый вечер, брат Александр, как поживаешь? Живот-то у тебя все растет да растет.

— А все от забот, брат Михаил.

— Ну да, от забот... Какие же у тебя заботы? Одна только и есть — подмешивать в вино побольше воды.

— Вот как вы рассуждаете, неблагодарные люди! Я бьюсь целый день, кормлю вас и пою, а вы на это

отвечаете чем же? Говорите: трактирщик!.. Презреннее этого слова нет; трактирщик все равно, что вор, плут. Его никуда не пускают, суд не признает его свидетельства, ну, справедливо ли это?

— Полно, брат Александр, я слышал это много раз. Налей-ка лучше маронского вина, да расскажи что-нибудь веселенькое.

— Должно быть деньги у тебя завелись, что ты пьешь маронское.

— На, получи! — весело ответил Михаил и вынул из кармана золотую монету.

Михаил выпил залпом половину поданного ему кубка.

— Скажи-ка, брат Александр, как здоровье твоей дочери, красавицы Анастасо?

— Да что ей делается?.. Здорова-то она здорова, а толку от нее никакого.

— Какого же тебе толку?

— Известно, какого,— девчонке 16 лет, давно бы пора замуж. Но кто же ее возьмет?

— Ты шутишь, милейший Александр; если таких не будут брать, на ком же жениться?

— Ну, чего ты притворяешься? Как будто ты не знаешь, что только отъявленный мошенник, согласится стать мужем дочери трактирщика. Я об этом не мечтаю, не так глуп, не того прошу...

— Слушай, Александр, Анастасо...— Михаил внезапно запнулся.

— Что Анастасо?

— Я хотел сказать, она красива.

— Да ты уж это говорил.

— Нет, я хотел спросить, здорова ли она?

— Ты уж это спрашивал.

— Я все не о том. Она не ушла ли куда-нибудь из Константинополя?

— Чудак, куда же ей уйти? Эй, Анастасо, пойди сюда!

— Иду! — раздался звучный грудной голос, и в комнату вошла молодая девушка в простеньком полотняном платье.

Михаил недаром хвалил красоту Анастасо. Никто не

мог устоять против жгучего взгляда ее черных глаз. Нельзя было равнодушно смотреть на ее густую черную косу. Фигура ее, точно изваянная, напоминала статуи древних мастеров, украшавшие константинопольские площади. Только руки — слишком большие — выдавали ее далеко не аристократическое происхождение.

— Привет тебе, Анастасо,— сказал Михаил, встал и поклонился.

— Добро пожаловать,— ответила девушка и, слегка кивнув головой, встала в угол и опустила глаза.

Михаил допил вино, взглянул на Анастасо, покраснел, взглянул на Александра, считавшего деньги, опять посмотрел на Анастасо, не поднимавшую глаз, и никак не мог начать разговора. Ему хотелось рассказать очень многое, но он не знал, с чего начать, и, главное, его смущало присутствие трактирщика.

— Чего вы молчите? — проговорил Александр, зевнув.— Я молчу потому, что мне спать хочется. Вы бы в ту комнату пошли, а я здесь прилягу.

— Пойдем,— почти шепотом сказал Михаил, и молодые люди, откинув занавеску, отделявшую трактир от жилой комнаты, вышли.

## II

— Как ты живешь, прелестная Анастасо? — спросил Михаил, когда молодые люди остались вдвоем.

— Плохо, Михаил,— ответила молодая девушка.— Разве ты не видишь, что глаза мои заплаканы? Всему виной отец. Конечно, мы должны иметь почтение к родителям и повиноваться им, но всегда ли?

— Думаю, что всегда. Разумеется, если отец приказывает что-нибудь противозаконное, тогда можно ослушаться.

— Вот то-то и есть. А ты не можешь себе представить, что̀ отец хочет сделать со мной. Вчера приходил к нам Петр Икинат, знаешь, тот скверный человек, которому ноздри вырвали за какое-то преступление. Его

присылал богатый генуесский купец Руфини; он заходил к нам раза два и видел меня. Отец долго шептался с этим Петром и потом велел мне поговорить с ним. Он был пьян, от него страшно пахло вином и жутко было смотреть на его багровое лицо и выпученные глаза, говорил он несвязно, но долго. Далеко не все поняла я, на каждом шагу он повторял, что я красива, что Руфини богат. Я отказалась продолжать эту беседу, просила отца прогнать его. Он ушел, но сказал, что скоро вернется. Отец, вместо того, чтобы заступиться за меня, стал ругать меня. По его словам, я гордячка, которой суждено умереть в нищете...

У молодой девушки навернулись на глаза слезы; она отошла в сторону и закрыла лицо руками.

Михаил подошел к ней, обнял ее и сказал:

— Не печалься, милая Анастасо, скоро настанут лучшие времена. Я выйду, наконец, из бедности, и тогда, о, тогда... Слушай, что я скажу тебе. Мой брат Иоанн определяет меня на службу. Мне дадут чин протоспафария и тогда меня будут звать во дворец на царские пиры, сам царь будет выдавать мне ругу *. Ведь, это только начало, а кто знает, что ждет меня впереди? Послушай, я видел сон, странный сон. Я видел, даже страшно вымолвить, будто я сижу на троне, будто вокруг меня море голов, головы эти склонились, а за мной какие-то люди с секирами, с копьями...

— Ох, страшен твой сон! — прервала его Анастасо.— Не к добру он.

— Да что же тут недоброго? Это значит только, что не век мне оставаться в неизвестности.

— Тем хуже для меня. Ты будешь важным сановником, не станешь тогда заходить в наш трактир и забудешь Анастасо.

— В трактир ходить, конечно, не буду, но тебя я никогда не забуду. Да разве можно забыть тебя, твои глаза, всю твою пленительную красоту? Кто хотя бы раз видел тебя, у того твой образ навек запечатлелся в душе. Нет, милая Анастасо, ты красива, как небо,

---

* *Руга* — жалованье, выдававшееся раз в год лицам, имевшим какой-нибудь чин.

твой взгляд, что лучи солнца,— никому, никому не отдам тебя!

— Да и некому отдавать меня, Михаил; кто женится на дочери презренного трактирщика?

— Это правда. Но я придумал одну вещь. Тебя может удочерить кто-нибудь, тогда уже ты не будешь Анастасо, дочь трактирщика Александра, а будешь дочерью какого-нибудь титулованного лица.

— Таких сумасшедших нет, которые бы сделали подобную глупость.

— Неопытна ты, Анастасо. За деньги чего не сделают,— лишь бы было золото, оно все может. Поверь, когда я буду знатен и богат, все переменится, и тогда ты узнаешь, что я могу сделать.

В соседней комнате послышались шаги.

— Это, должно быть, он,— сказала Анастасо, побледнев, и прижалась к Михаилу.

— Кто он?

— Да Петр,— шепнула девушка.

— Сиди здесь, я пойду посмотрю.

Михаил вышел в трактир и действительно увидел перед собою Петра Иканата, которого все знали в Константинополе. В его зверской физиономии было что-то страшное, а изуродованный нос наводил ужас.

— Что тебе нужно, Петр? — спросил Михаил.

— А тебе что нужно? — проговорил Петр грубым голосом.

— Александр спит и просил меня побыть здесь вместо него, если придет кто-нибудь.

— Ну, ты не можешь сделать то, что мне нужно от Александра.

— А, может быть, и могу... Скажи, зачем пришел?

— Говорят тебе, не можешь. Во-первых, он всегда подносит мне вина и денег за это не берет.

— Ну, так что же? На, пей! — Михаил протянул ему полный кубок.— Да смотри, какое вино, маронское, самое лучшее.

Петр выпил с жадностью, но, все-таки, не хотел сказать, зачем пришел. Однако, после второго кубка язык его развязался:

— Александра-то мне, пожалуй, и не надо, а хочу я пробраться к его дочери Анастасо.

— Ее нет, она пошла в деревню, к тетке, и пробудет там дня три.

— А ты откуда знаешь?

— Да мне Александр говорил.

— Ты врешь, может быть,— зачем тебе знать, что делает Анастасо?

— А тебе зачем?

— Мне поручение дано, могу нажить кругленькую сумму, а это по нынешним временам не помешает.

— Не понимаю.

— Чего притворяешься? Дело известное, и тебе, должно быть, знакомое. А, впрочем, у тебя денег нет.

— Есть или нет, а ты скажи, что тебе от девушки нужно?

— Мне-то ничего не нужно, а вот одному богачу нужно, и не что-нибудь, а все.

— Ну, теперь понимаю. Дело хорошее, желаю тебе успеха. Только сегодня все равно ты ничего сделать не сможешь. Анастасо дома нет.

— Нет, так нет. Приду через три дня. У меня тут есть еще дельце поблизости, там полегче будет, упрямства такого нет. Прощай, я так твоего имени и не спросил; благодарю за угощение, когда-нибудь увидимся, может быть, я пригожусь тебе. Не забывай Петра Иканата.

С этими словами он ушел, и Михаил почувствовал облегчение. Он все время боялся, что Петр не поверит ему, пойдет в соседнюю комнату и увидит там Анастасо.

— Ушел? — спросила Анастасо, высовывая голову из-за занавески.

— Ушел, и в течение трех дней, по крайней мере, оставит тебя в покое.

— А дальше что?

— Дальше? Но зачем думать об этом? Слава Богу, что теперь все хорошо. Сядем, поговорим.

Молодые люди сели на кровать.

— Тебе хорошо со мною? — проговорил почти шепотом Михаил, привлекая к себе Анастасо.— Хорошо?

— Да,— ответила девушка. Она хотела сказать еще что-то, но не могла, потому что Михаил закрывал ей

губы поцелуями. Жутко становилось девушке от этих объятий, испытываемых в первый раз. Ее охватило какое-то сладостное волнение, голова кружилась, она переставала понимать, что с ней происходит... Что-то упало в трактире, и она вдруг спохватилась, соскочила с кровати.

— А вдруг отец проснулся? Я слышала какой-то шум.

— Пустяки,— сказал Михаил, но, все-таки, пошел убедиться. Александр лежал на том же месте и храпел на всю комнату.— Александр,— закричал он,— проснись!

Но трактирщик даже не пошевельнулся.

— Мы в полной безопасности,— сказал Михаил, возвращаясь к Анастасо,— твой отец спит так, что его никакие демоны не в состоянии разбудить.

Он снова усадил Анастасо на кровать.

— Скажи мне, Михаил, как дается чин протоспафария? — начала она.

Но Михаил не хотел говорить, да он и вообще не был в состоянии вести связного разговора. От времени до времени вырывались у него отрывочные восклицания:

— О, как ты красива! Какие чудные глаза! Ты моя, я не отдам тебя!

Луна только что взошла и заглянула прямо в окно. На кровати лежала Анастасо, бледная, как полотно, с закрытыми глазами. Спиною к ней стоял Михаил, опершись головою о стену. Простояв так некоторое время в каком-то оцепенении, молодой человек как будто вспомнил что-то, подошел к Анастасо, поцеловал ее и молча вышел из комнаты.

В ту самую минуту, когда он проходил мимо трактирщика, тот проснулся. Он, увидев Михаила, спросил;

— Долго я спал?

— Нет, очень мало,— солгал Михаил.— Прощай.

— Погоди же, я не успел поболтать.

— Да о чем говорить?

— Вишь ты как возгордился! Скажи-ка, ты с Анастасо говорил?

— Да, то есть нет, два слова только, не успел. Тут посетитель приходил, я ему налил вина. На тебе за два кубка,— и он протянул трактирщику серебряную монету.

— Благодарю. Ты вот что, образумь ты мою дочку.

— Образумить... как ее образумить? Ну, я пойду.

Михаил шел домой в особенном настроении: ему и стыдно было чего-то, и сладко.

Холодный ночной воздух отрезвил его и он начал раздумывать, что же он должен делать? Жениться? — он давно этого хотел. Но жениться на дочери трактирщика — это позорно, это может сделать только какой-нибудь проходимец вроде Александра или Петра Икаиата.

Михаил вспомнил зверское лицо без ноздрей и содрогнулся. Ведь, он не сегодня-завтра будет чиновником, может быть, место получит. Надо будет посоветоваться с Иоанном, он живет при дворе и знает все правила, он умен и дурного, конечно, не посоветует. Чем ближе он подходил к дому, тем больше старался убедить себя, что он менее виноват, чем Анастасо. Как будто она не хотела этого? Зачем же она забыла женскую стыдливость? Это дьявол вселился в нее и прельстил его. Впрочем, что же, пускай, в самом деле, какой-нибудь сановник удочерит ее, тогда и жениться можно.

Придя домой, Михаил лег, но ему не спалось. Его била лихорадка, в голове проносились разные видения, и он не знал, сон ли это, или действительность. На первом плане виднелась Анастасо, но за ней выступала еще другая женщина, не дававшая ему покоя. «На что тебе эта девчонка, дочь презренного трактирщика? — говорила она.— Я знатна и богата, я все могу, я превознесу тебя».

Ему слышались рыдания Анастасо и смех той другой женщины, одетой в порфиру, украшенной золотыми браслетами и драгоценными камнями.

«Кто же ты?» — спрашивал он, приподнимаясь на кровати и стараясь разглядеть это лицо, которое он как будто видел, но которого не мог вспомнить.

Ответа не было; в изнеможении опускался он опять на постель. Вдруг исчезли обе женщины, и он увидел что всюду летают какие-то духи с лицами безобразных старух. «Убей его, убей! — пели они хором.

## III

Проснувшись, Михаил все еще не мог успокоиться. Он припоминал видения и не мог понять их. Должен же быть какой-нибудь в них смысл. Так, без причины, ничего не бывает. Это предсказание. Вчерашнее происшествие волновало его еще больше. Это грех, тяжкий грех, как там ни говори. Его не поправить; надо отмолить его, надо покаяться. Михаил решил пойти к исповеди и тем облегчить свою душу.

Около полудня к нему пришел придворный служитель, присланный его братом Иоанном. Он сообщил, что указ о даровании ему, Михаилу, чина протоспафария уже написан в императорской канцелярии. Сегодня же сановник, заведующий царскою чернильницей, поднесет документ к подписанию императору, и он запечатлеет на нем свое имя. Спальник Иоанн просит Михаила быть наготове, так как во всякую минуту его могут позвать во дворец. Михаила это известие очень обрадовало, но не может же он явиться во дворец в этом хитоне, в каком ходит дома. Он сейчас же пошел к малоазиатским купцам подобрать себе подходящую материю. Но так как он был малосведущ в этих делах, то и зашел за своим приятелем Константином Пселлом. Это был 17-ти летний юноша, сын очень бедных родителей, но, несмотря на это, получивший хорошее образование. Пселл отвел Михаила к одному знакомому купцу, выбрал ему материю и даже попросил свою мать Феодоту сшить Михаилу платье, так как она была отличная мастерица и прекрасно кроила и шила.

Через три дня пришла из дворца новая весть. Император согласился зачислить Михаила в императорскую канцелярию, так что он сразу получит и чин и место. Это было во вторник, в четверг же ему приказано было явиться во дворец, где он должен был получить из рук царя чин протоспафария.

В четверг, в третьем часу, Михаил был во дворце. Тут встретил его Иоанн и объяснил ему все, что нужно делать. Михаил так робел, что готов был бы отказаться от места и чина, только бы ему не представляться царю.

— Какие пустяки! — говорил Иоанн.— Я много говорил о тебе императору. Если ты сделаешь какую-нибудь неловкость и в чем-нибудь ошибешься, самодержец простит тебя, как не привыкшего еще к церемонии. Пойдем, сейчас начнется церемония.

Иоанн привел брата в небольшую залу и сказал ему: «Стой тут, пока за тобой не придут, а мне надо занять свое место в царской свите». Михаил остался один в пустой зале; прошло несколько минут мучительного ожидания, наконец, растворились серебряные двери, ведшие из комнаты, где стоял Михаил, в парадную залу, называвшуюся хрисотриклином.

Михаил вошел и был поражен блеском зала. Весь пол был покрыт мозаикой из разноцветного камня, на нем были изображены цветы и деревья. Посреди залы на золотом троне сидел император Роман в пурпурном одеянии, усыпанном каменьями, в пурпурных туфлях, со скипетром в руке. За ним стояла его почетная стража, с секирами на плече. Направо и налево от трона полукругом разместились придворные и сановники.

Как только они сделали несколько шагов по зале, Михаил встал на колени и поклонился царю. Затем его подвели почти к самому трону. «Со страхом Божиим, справедливо и нелицеприятно,— сказал ему император,— исправляй вверенную тебе должность. Никогда и ни в чем не отступай от закона, помни, что за всякую несправедливость, содеянную тобою здесь, тебе будет воздано сторицею на том свете. Будь внимателен и добр к сослуживцам, будь почтителен к начальникам. Не бери мзды незаконной, помни заповеди Божии, соблюдай их, и благо ти будет».

На это Михаил ответил, как научил его брат: «Боговенчанный, державнейший, божественнейший царь и самодержец! Как солнце сияешь ты на небе, освещаешь и согреваешь своими лучами всю подвластную тебе вселенную. Ты пример неизреченной доброты, ты образец высшей справедливости; мы будем подражать этому высокому образцу, хотя он для нас, смертных, недосягаем, будем стараться уподобиться тебе, царю человеколюбивейшему, царю справедливейшему, царю выше всех стоя-

щему, превосходящему добродетелью великого Константина».

После этого царь вновь сказал ему, встав с трона: «Во имя Господне Богом данная царственность моя жалует тебя асикритом *». Царь сел, а Михаил пал ниц, опять поклонился, и, подойдя к трону, еще раз стал на колени и поцеловал ногу императора.

Логофет ** громогласно объявил: «Священный царь наш, руководимый Богом, пожаловал Михаила в асикриты!» Все придворные хором проговорили многолетие императору, а затем и «многие лета асикриту Михаилу».

Логофет поднес царю на серебряном блюде золотую цепь, украшенную драгоценными камнями. Император собственноручно возложил цепь на Михаила. Логофет провозгласил, что царь жалует Михаила чином протоспафария, и опять пропели многолетие. Царь сошел с трона и, сопровождаемый свитой, прошел в спальню, прилегавшую к хрисотриклину.

— Ну, ты доволен? — спросил Иоанн, выходя с братом после церемонии.

— Теперь доволен, что все закончилось, а было не по себе. Какая красивая цепь! — Михаил, как ребенок, не мог оторваться от блестевшего на груди золота.— Я могу все время ходить в этом украшении?

— Да, имеешь право. Ведь цепь эта и есть знак, присвоенный чину протоспафария. Но дома ее никто не носит, ее надевают только во дворце и вообще в торжественных случаях. Ну, теперь следуй за мной, ты должен явиться к императрице.

В это время пришел один из спальных евнухов и доложил:

— Державная царица ждет асикрита и протоспафария Михаила.

Иоанн повел брата в гинекей, на женскую половину дворца, он ввел его в залу, где сидела императрица, и, низко поклонившись, ушел. Царица Зоя сидела на кресле с удлиненной высокой спинкой; это был трон, на котором она восседала, когда принимала гостей.

---

* Асикрит — чиновник, служащий канцелярии.

** Логофет — первый министр в Византийской империи.

Михаил поклонился в пояс и сказал заученную фразу: «Приветствую тебя, державнейшая царица, тебя, верную спутницу великого царя, луну нашего солнца, бросающую и на него, и на нас свой мягкий свет. Дивлюсь твоей красоте, не только телесной, но умственной и душевной. Если бы присутствовали здесь Гомер или Гезиод, даже они не сумели бы воспеть твоих добродетелей; нет слов для выражения твоей доброты, чистоты твоих помыслов, возвышенности твоей души, всей твоей прелести нравственной и физической. Чувствуя себя сравнительно с твоею недосягаемою высотой ничтожнейшим из смертных, я умолкаю, пожелав тебе, державнейшая, мудрейшая, человеколюбивейшая царица, царствовать и здравствовать многие, многие лета».

— Ты прекрасно говоришь, протоспафарий Михаил,— ответила Зоя на это приветствие.— Я рада, что самодержец почтил тебя чином. Брата твоего мы давно знаем,— достойный, хороший человек. А зная его, мы и к тебе чувствуем расположение.

— Благодарю, державная царица,— сказал Михаил, кланяясь. Он боялся пристально смотреть на Зою, но ему хотелось рассмотреть ее получше, потому что ему показалось, будто она похожа на ту женщину, что он видел во сне.

— Скажи, протоспафарий Михаил,— продолжала царица,— царь пожаловал тебя асикритом, как мне говорили, какие же будут твои обязанности?

Михаил покраснел от смущения. Он совсем не знал, какие обязанности у асикрита, но нашелся и сказал:

— Служба моя нелегкая, но, во всяком случае, почетная, ибо возложена на меня самодержцем. Главная обязанность чиновника состоит в том, чтобы исполнять волю царя; об этом я буду заботиться прежде всего и надеюсь заслужить милость царскую.

— Старайся и ты можешь быть уверен, что мы не оставим тебя. Самодержец человеколюбив и он расточает свои милости достойным. В таком красивом теле, как у тебя, должна быть и красивая душа. Доволен ли ты судьбой, Михаил?

— Приближаться к царям есть блаженство, как же не благодарить мне судьбу?

— Еще не то увидишь ты, протоспафарий Михаил.— При этом Зоя бросила на юношу нежный взгляд.— Знай,— продолжала она,— что мы всегда готовы принимать тебя и способствовать твоему счастью. Когда у тебя будет какая-нибудь нужда к нам, предупреди об этом брата твоего Иоанна и он доложит нам. А теперь иди с миром, памятуя наши слова.

Михаил поклонился и вышел. Зое хотелось поговорить с ним подольше,— очень понравились ей румяные щеки и статный рост Михаила, но этикет не позволял этого. Она хлопнула в ладоши три раза и в комнату вошла ее приближенная патрикия Евстратия.

— Готовы ли жаровни? — спросила она вошедшую.

— Все готово, державная царица.

— Привезли ли с востока амбры, алоэ и других ароматов?

— Нет, не привезли, но есть еще остаток амбры и алоэ.

— Это ужасно, это опять какая-нибудь интрига царя. Он находит, что я трачу слишком много денег на ароматы. Он забывает, что я дочь великого Константина, что он попал на престол и может распоряжаться государственною казной только потому, что я согласилась выйти за него замуж.

— Самодержец стар и не может понять желаний и стремлений царицы.

— Да, ты права, Евстратия, но это непоправимо.

— Царица, на свете нет ничего непоправимого; что произошло, то может уничтожиться.

— Лучше не думать о неприятном. У меня был сейчас Михаил, брат нашего Иоанна.

— Слыхать о нем слыхала. Что, каков он?

— Красив, очень красив; он похож на статую Ахилла, которая стоит в спальне императора. Ты знаешь Константина Мономаха? Его все считают красавцем, а Михаил не хуже его. Только молод он очень.

— Ну, что же, это преимущество. Лет двадцать ему будет?

— Двадцать? — да, но не более. Ну, пойдем, Евстратия, пора приниматься за дело.

В соседней комнате были расставлены жаровни и императрица, окруженная придворными дамами, начала приготовлять ароматы.

## IV

На следующий день зашел к Михаилу евнух Иоанн.

— Доволен ли ты приемом, оказанным тебе императрицей? — спросил он брата.

— Как тебе сказать, Иоанн? Это для меня большая честь, но я все время думал только об одном, как бы мне уйти поскорее. Я не привык к роскоши дворца, меня смущает присутствие высокопоставленных особ, я не знаю как стать, что делать с руками.

— Ну, если ты недоволен, то императрица прельстилась тобой. Она призывала меня вчера и долго расспрашивала о тебе и твоем благосостоянии. Я сообщил ей, что ты живешь в лачуге, и знаешь, что она сделала? Она приказала мне купить тебе дом на свой счет. Я говорил уже с Константином Ромарем, его произвели в правители Антиохийской провинции, и он согласился уступить тебе свой дом. Я затем только и пришел, чтобы принести тебе эту важную весть; завтра же ты должен пойти во дворец благодарить царицу. Пользуйся, Михаил, пользуйся выпавшим на твою долю счастьем,— сказал Иоанн, и уходя, лукаво посмотрел на брата, стараясь прочитать по его лицу, понял ли он недосказанное.

С этого дня для Михаила началась новая жизнь; он жил в обширных покоях, у него появилось множество слуг, то и дело ему приносили подарки из дворца. Всего у него было вдоволь, даже деньги были; но откуда все это появляется и за какие заслуги, это было ему неясно. Он смутно понимал, что все это идет от императрицы. На службу он не ходил; его начальник сказал ему, что чиновников у него достаточно и пока ему делать нечего. Среди этой привольной жизни его смущала только мысль об Анастасо — где она и как бы ее повидать? В его новом положении, ему немыслимо было идти в

трактир; это могло так его опорочить, что его перестали бы принимать во дворце и лишили бы чина. Послать за ней кого-нибудь из слуг — это рисковать тем, что слуга наткнется на Александра, проговорится, и тогда что? Нет. Нельзя жертвовать из-за женщины своею репутацией, своим добрым именем.

Прошла неделя после переезда Михаила в новый дом. Однажды вечером пришел к нему служитель и шепотом объявил, что в дверь стучится какая-то женщина.

— Если она спросит меня, введи ее сюда,— распорядился Михаил.

Через несколько минут на пороге стояла Анастасо.

— Как я рад тебе! — сказал он.— Но отчего ты дрожишь?

— Как мне не дрожать? Я обманула отца, я сказала, что мне необходимо навестить больную тетку; он дал мне провожатого, я с трудом отделалась от него. А потом идти одной по улицам... как неприлично и как страшно! Тут недалеко, у церкви св. Ирины, на меня напала собака; она чуть было не покусала меня, такая злая.

— Садись, милая Анастасо, я так желал тебя видеть...

— Отчего же ты не приходишь? Я ждала тебя...

— Невозможно, неприлично мне ходить в трактир, я протоспафарий и асикрит.

— Да, дочь трактирщика — презренное создание, я забыла. Ты, должно быть, во дворец теперь ходишь?

— Хожу.

— Ты видел царицу?

— Видел.

— Говорят, она красива.

— Очень моложава, удивительно моложава! Ей говорят, за сорок лет, а поглядеть на нее, более тридцати не дашь. Но она далеко не так красива, как ты, моя любимая!

— Полно, Михаил, я проплакала свою красоту. Я плачу целый день. Отец бьет меня...

— Как же он смеет? — закричал Михаил.

— Смеет, потому что отец. Сегодня опять приходил

Петр Иканат. Руфини хочет увезти меня в свою страну, в Италию. Он предлагает за меня большую сумму.

— А сколько?

— Сколько — не знаю, но отец говорит, что если я соглашусь, он может закрыть трактир и жить припеваючи. А если я не соглашусь, он грозит убить меня, и он сделает это,— ты знаешь, какой он.

— Положим, он этого не сделает: за убийство закон карает очень строго.

— Да кто же узнает, что не стало Анастасо, дочери трактирщика Александра? Никто этого не заметит. Во всяком случае, я не пойду к Руфини, он мне противен, я люблю тебя, Михаил.

— Успокойся, Анастасо, с тобой не случится ничего дурного. За это ручается тебе протоспафарий Михаил. Подойди ко мне ближе, дай мне налюбоваться на тебя.

Михаилу было жаль Анастасо и он долго сидел молча, обдумывая, как бы помочь ей.

— Я все устрою, я найду средство усмирить твоего отца.

— Вот что,— сказала вдруг Анастасо,— я не уйду от тебя, я останусь здесь?

— Что?

— Я останусь у тебя навсегда. Разве мы не обручены?

— Нет, при обручении пишется контракт.

— Зато между нами связь, которая крепче всяких контрактов.

— Положим, но связь эту не признает закон.

— Какое мне дело до закона? Я люблю тебя и буду жить с тобой.

— Это невозможно, милая Анастасо. Подумай, что скажут про тебя?

— Мне все равно, только бы не терпеть побоев от отца и не видеть Петра Иканата.

— Ты его больше не увидишь. Я поговорю с братом и он как-нибудь его устранит, казнит или, по крайней мере, сошлет. А ты пойди домой и скажи сейчас же отцу, что ты на все согласна. Гнев его пройдет, он будет ласкать тебя, а не бить; тем временем Иканат исчезнет, Ру-

фини уедет в свою Геную, и ты будешь жить по-прежнему.

Девушка ушла несколько успокоенная. Действительно, все устроилось, как говорил Михаил. На другой же день он сходил к Иоанну, сообщил ему, что в городе живет такой мерзавец, который терпим быть не может. Иоанна все боялись и все слушались, так как знали, что император души в нем не чает и ничего не делает, не посоветовавшись с ним. Евнух позвал эпарха — градоначальника и приказал ему именем царя выслать Петра Иканата. На другой же день после свидания Анастасо с Михаилом, Петра посадили на корабль и отправили на остров Халки под Константинополем, где он мог жить на свободе, но без права приезжать в столицу. Руфини внушили, чтобы он занимался торговлей, а не грязными делами, и так как он и без того собирался уехать, то оставил свои виды на Анастасо.

Молодая девушка не появлялась больше у Михаила; по крайней мере, прошел месяц, как он не видел ее. С Михаилом случилось такое неожиданное событие, что он не мог теперь думать о ничтожной девчонке. Казалось бы, бездна разделяет императрицу и его. Краска стыда разливалась по его щекам, когда он вспоминал о свидании. У него и в помыслах не было ничего подобного, да разве он мог подумать о таком? Правда, брат и раньше делал намеки, но он принимал их за неуместные шутки. Чем же он виноват? Она соблазнила его, а не он ее. Все-таки, стыдно; хотя, конечно, лестно, а правда, что она удивительно сохранилась. А ну, как узнает император, вырвут ему ноздри, сошлют его, ослепят? Брат Иоанн говорит: самодержец будто бы совсем не интересуется своею супругой, ему дела нет до того, что творится в гинекее. Ничего не подозревая, он осыпает Михаила своими милостями: так что теперь он один из важнейших сановников,— протопроедр *. Ему отдано казенное имение, приносящее 300 золотых дохода. Все это не может не радовать Михаила, еще так недавно нуждавшегося в куске хлеба.

Его сны начинают сбываться. Прежде его не пустили

---

* *Протопроедр* — первый председатель, один из высших чинов.

бы во дворец, еще месяц назад, когда он был только протоспафарием и асикритом, придворные относились к нему высокомерно, на него смотрели как на выскочку, случайно получившего чин. Теперь ему почтительно кланялись, когда во время придворных церемоний он шел занять свое место у самого трона. Ежедневно получал он письма, где в самых льстивых выражениях прославляли его ум, доброту и прочие добродетели, и просили устроить кому-нибудь местечко потеплее. И, действительно, он пристроил немало чиновников. Не забыл он и своего друга Пселла; он просил за него протосикрита, в приказе которого тот служил, и Пселла сделали старшим делопроизводителем, деканом, что было значительным повышением, так как Пселлу было всего 17 лет. Но отказать ему нельзя было ни в чем. Он стал до такой степени нежен к Михаилу, выказывал ему такую искреннюю привязанность, что нельзя было не дорожить таким человеком. Прежде он кичился своим образованием, приводил цитаты из Платона, Аристотеля, Гомера, и когда Михаил не понимал смысла этих мудреных изречений, смеялся над его невежеством. Теперь же он стал смотреть на дело иначе. «Дело не в образовании»,— говорил он,— а в природном уме; никакое образование не может заменить ума, если его нет от рождения. Разве апостолы были образованные люди? Разве это не были простые рыбаки? Тем не менее, они обратили весь мир в христианство. Чтобы управлять государством, вовсе не нужно быть образованным, надо только иметь прирожденный ум и чувство справедливости, а в этом последнем отношении никто не может сравниться с Михаилом». Такие речи очень утешали юного сановника, потому что иногда ему казалось, что он не годится на важные посты, раз он не знает даже законов. Но образованнейший Пселл не разделяет его сомнений; не разделяет их, по-видимому, и император Роман.

По крайней мере, царь нередко призывал его к себе на совет вместе с Иоанном и другими сановниками. Ему приходилось сидеть тут с озабоченным лицом и говорить о самых важных государственных вопросах. Чтобы не попасть впросак, он по большей части соглашался с братом Иоанном, потому что знал, что он глупого не ска-

жет и по его совету будет решено дело. Император обходился с Михаилом так ласково, что ему иногда становилось жутко от этого. Он сидел однажды у императрицы, как это случалось нередко. Зоя сделала его управляющим своих имений и под этим предлогом посылала за ним почти ежедневно. Это был как раз такой день. Зоя обнимала его так страстно, как никогда прежде. И вот в эту минуту вошел Иоанн.

— Самодержец требует тебя к себе, Михаил,— торжественно произнес он.

— Иди к императору — спокойно сказала Зоя,— подай ему свой мудрый совет, а потом вернись к наслаждению.

Михаил поклонился молча.

— Вам следовало бы быть поскромнее,— шепнул ему Иоанн, когда они вышли из гинекея.

— Вот и ты,— радостно сказал царь Роман, когда Михаил, поклонившись ему, стоял в ожидании приказания.— Я рад тебя видеть,— продолжал император и поцеловал его. По странной случайности, Роман поцеловал Михаила в то самое место, где все еще горел поцелуй Зои. Это страшно смутило Михаила. Начался совет по поводу распространившихся слухов, будто Русь собирается походом на Византию. Михаил никак не мог сосредоточиться и отвечал невпопад. Эти два поцелуя преследовали его; ему было очень неловко, что царь так милостив к нему, а он оскорбляет его и как мужа, и как самодержца.

## V

На львиной шкуре, присланной в дар египетским султаном, лежала императрица Зоя. Голова ее покоилась на черной шелковой подушке, на фоне которой еще ярче была видна красота ее пепельных волос. Она закинула руки за голову, широкие рукава откинулись назад; до самого локтя обнажились ее руки; можно было любоваться матовым цветом ее кожи. Полупрозрачное белое платье позволяло угадывать то, что было под ним. Смер-

калось. В комнате пахло амброй. На полу, у ног царицы, сидел Михаил. Шитая золотая туфелька то и дело касалась его, на него были устремлены ее темно-синие глаза.

— Любишь ли ты меня Михаил? — спросила Зоя.

— Я не дерзаю отвечать на такой вопрос, царица. Не любить тебя я должен, а боготворить; ты моя благодетельница, ты осыпаешь меня своими милостями, ты чарусшь своим человеколюбием...

— Оставь возвышенные речи, забудь, кто я. С тобой говорит не императрица, а Зоя, женщина, которая любит тебя. Иногда мне кажется, что ты, может быть, любишь другую, что в твоих объятиях бывает другая, и эта мысль терзает меня. Сядь поближе.

Михаил встал и сел к самой подушке. Зоя прижала его к себе так, что у него начала кружиться голова и мысли путались.

— Посмотри, как бьется мое сердце, когда я с тобою,— продолжала она и положила его руку к себе на грудь. Любишь ли ты меня, Михаил?

— Люблю.

— Поклянись, что в твоих объятиях не бывает другой женщины.

— Клянусь.

Он не давал себе ясного отчета, говорил ли он правду, или нет. Близость женского тела и запах амбры до того опьяняли его, что он ничего другого не чувствовал, кроме любви к Зое, и совершенно забыл об Анастасо.

— Готов ли ты, Михаил, доказать на деле свою любовь ко мне? — спросила царица, гладя юношу по голове.

— Да.

— Все ли ты сделаешь, о чем бы я тебя ни попросила?

— Все, нет вещи, которой бы я не сделал.

— Так ты должен освободить меня от моего мучителя.

— Кто же этот мучитель?

— Как кто? Царь Роман.

Михаил посмотрел на свою собеседницу умоляющим взором.

— Он мучает меня,— продолжала Зоя,— он оскорбляет меня, я ненавижу его. В первый же день нашего брака он нанес мне оскорбление, которого я не в силах простить, он отверг мои ласки. Я хочу иметь настоящего мужа. Помоги мне, Михаил.

— Чем же я могу помочь тебе, царица?

— Как чем? Подумай сам.

— Не могу сообразить. Что может простой смертный против державного царя?

— Представь себе, что Бог убрал бы Романа.

— Так что же? Это, может быть, было бы хорошо для тебя, царица.

— И для тебя, Михаил.

— Напротив, ведь, новый царь мог бы отправить меня в ссылку, а этот ко мне благосклонен и не видит того, что ему не следует видеть.

Зоя рассмеялась.

— Новый царь? Да кто же им будет? Ты забываешь, что я дочь Константина. Я распоряжаюсь престолом, как мне угодно. Царем будет тот, за кого я пойду замуж. А за кого бы я пошла замуж, если бы умер Роман, как ты думаешь, милый Михаил? — спросила Зоя и страстно поцеловала его.

Михаил как будто начинал понимать, но, все-таки, не решался высказать своей мысли.

— Тебя одену я в порфиру, тебя украшу царским венцом,— шептала Зоя, наклонившись к самому лицу юноши.

Михаил молчал, он не мог говорить от избытка чувств.

— Что же ты молчишь, Михаил? — продолжала царица полушепотом.— Неужели ты отказываешься от собственного блага?

Зоя прижала Михаила к своей груди, поцеловала его и спросила:

— Согласен ли ты сделать то, о чем я попрошу тебя?

— Согласен, согласен! — прошептал юноша, не помня себя.

— Мы будем жить с тобой под одною крышей, никто не разлучит нас, мы будем соединены самим Богом.

— Да, никто не разлучит нас,— как эхо повторял Михаил.

— Мы будем любить друг друга, мы будем утопать в блаженстве.

— Да, да,— говорил Михаил.

— И ты будешь первым человеком во всей вселенной, все покорятся тебе, твоя воля будет выше закона, коленопреклоненные сановники будут целовать твою пурпурную туфлю. Так клянись же, Михаил, клянись, что ты это сделаешь!

— Клянусь!

Замолчала Зоя, замолчал и Михаил. Все смолкло, ничего не было слышно, кроме звуков поцелуев...

## VI

Было темно, когда Михаил вышел из дворца. С тех пор, как он стал сановником, он не ходил один по константинопольским улицам, опасаясь, что на него нападут и ограбят. Его сопровождали придворные служители с зажженными факелами, а за ними шли вооруженные норманны из императорской гвардии. Сам же он ехал на породистом вороном коне, подаренном ему императрицей. Он ехал шагом, опустив поводья. Какую страшную клятву дал он! Как же сдержать ее? А не сдержать ее нельзя. Ему надо выбирать: быть или убийцей, или клятвопреступником. Он был так поглощен этими мыслями, что не заметил, как один служитель оттолкнул какую-то девушку, как эта девушка прижалась к стене дома и пристально вглядывалась в проходивших.

Вдруг он услышал знакомый голос, звавший его по имени, повернул голову и заметил Анастасо. Он хотел было проехать, но как-то неожиданно для самого себя сделал ей знак и приказал слугам и охране возвращаться домой.

— Уходите,— сказал он,— я доеду один.

— Осмелюсь доложить тебе, светлейший протопроедр,— сказал один из служителей,— это не безопасно, могут встретиться злые люди.

— Ничего, я люблю опасность.

Михаил постоял некоторое время молча, пока не исчезли факелы, и затем сказал ласковым голосом:

— Привет тебе, прелестная Анастасо.

— Добрый вечер, светлейший протопроедр,— сказала девушка.

— Зачем ты так говоришь со мной? Для тебя я не светлейший и не протопроедр.

— Как смею я говорить иначе, когда ты важный сановник, а я — бедная девушка, которую ты забыл?

— Нет, я не забыл тебя, милая Анастасо.— Михаил сошел с коня и подошел к девушке.— Я не забыл тебя и вот тебе доказательство.— Он обнял ее одною рукой, продолжая держать повод другою, и так поцеловал ее, что девушка сразу поверила его словам.

— Отчего же ты не виделся со мной целый месяц?

— Оттого, что это теперь очень трудно, я не знаю, как это сделать. Но подожди, имей терпение, грядут важные события и тогда все будет по другому.

— Мне страшно, Михаил; мне кажется, что это будет дурно для меня. Итак до меня доходят всякие слухи. У нас в трактире часто говорят о том, что делается во дворце. Может быть, врут, но тебя поминают нередко.

— Тсс... молчи, и камни иногда слышат... Скажи, как ты живешь теперь, спокойна ли ты?

— Да, с тех пор, как нет в городе Петра Иканата и уехал Руфини, отец не преследует меня. Но мне грозит беда.

— Какая? Скажи, и я помогу тебе.

— Нет, ты не сможешь помочь.

— Я все могу, я попрошу царя.

— Нет, не то; слушай, Михаил, я беременна...

— О, ужас! — воскликнул Михаил и опустил руку, которой все еще обнимал Анастасо.

— Мне грозит позор, скоро все узнают об этом.

— Однако, может быть, как-нибудь можно избегнуть этой неприятности. Я посоветуюсь со знающими людьми, и нам как-нибудь удастся скрыть это. Я пришлю сказать тебе, как поступить. А теперь поедем.

Михаил поднял ее одною рукой, вскочил на коня и поехал, держа девушку перед собою. Он ничего не гово-

рил, только время от времени прижимал к себе Анастасо и целовал ее. Сомнения, мучившие бедную Анастасо целый месяц, исчезли. Она забыла обо всем и отдавалась сладкой мысли, что он любит ее и скоро настанет счастливая минута, когда они соединятся навек. За несколько домов до трактира Михаил поцеловал девушку в последний раз, ссадил ее с коня на землю и, со словами: «Будь спокойна, Анастасо, Михаил не забудет тебя»,— ускакал.

## VII

Евнух Иоанн проснулся в самом хорошем расположении духа. Казалось, все идет благополучно и цель его близка. А цель эта, по его мнению, не заключала в себе ничего недостижимого. Ему хотелось упрочить за собой власть и, не будучи императором по имени, быть им на самом деле. Иоанн сумел внушить к себе необыкновенное доверие императору Роману; но времена изменчивы и монаршее расположение капризно. Было немало придворных, смотревших с ненавистью на Иоанна; им было обидно, что сын менялы, стоит выше их, аристократов. Они наговаривали царю на Иоанна, и кто знает, что могло выйти из этих нашептываний? Не далее, как вчера, царь призывал его к допросу. На него донесли, будто он продает места и взял с некоего Зигавы крупную сумму за место городского судьи.

— Так ты просишь меня не за достойных, а за тех, с кого берешь деньги! — сурово сказал ему император.

Иоанну стоило немалого труда оправдаться. Царь успокоился только тогда, когда евнух доказал, что деньги он получил от Зигавы уже после назначения его на должность и что уговора между ними не было, что, следовательно, он получил подарок, а не взятку. Но если такие случаи будут повторяться, если клеветники не оставят его в покое, кто знает, что может выйти из этого? Гораздо лучше устроить себе прочное положение, пока это возможно.

Он знал, что Зоя настроена против Романа и влюбле-

на в Михаила. Прекрасно. Надо только внушить им, что умный человек сам распоряжается обстоятельствами. Он навел Зою на эту мысль и разговор ее с Михаилом был результатом этого. Однако, брат слабохарактерен и способен в самую важную минуту бросить все и убежать. Надо убедить его, надо доказать ему, что он сделает хорошее дело. И в самом деле, разве это не хорошее дело — попасть на трон тому, кого придворные не хотели принимать в свое общество? Это редкий случай, и не воспользоваться им было бы неблагоразумно. А раз Михаил будет облечен в порфиру, разве он станет заниматься делами? Конечно же, нет. Все будет в руках его первого министра. Кто же будет этим первым министром? Конечно, он, Иоанн. Таким образом, он и будет фактически царем.

Все это ясно и не может не удасться; нужна только некоторая осторожность. Осторожность должна заключаться, прежде всего, в том, чтобы никто не подозревал, что он главная пружина интриги. Инициатива должна принадлежать Михаилу; он должен быть единственным действующим лицом. Может быть, проще было бы сделать все за него, но не надо играть с огнем. Положим, вступив на престол, он не стал бы преследовать его за свое же счастье; но будущее неизвестно, а потому лучше оставаться невинным в глазах людей.

Иоанн был поглощен этими мыслями, когда к нему вошел Михаил. Он был крайне взволнован своим вчерашним свиданием с императрицей.

— Что это ты как будто не весел? — спросил Иоанн, целуя брата.

— Разные мысли преследуют меня, Иоанн.

— Печальные или другие?

— Не то чтобы печальные, а так, тревожные... Скажи, если дать клятву сделать дурное дело, что лучше: совершить преступление или нарушить клятву?

— Вопрос простой, Михаил,— хуже всего быть клятвопреступником. Но ты не тревожься, Михаил. Все идет отлично,— вспомни предсказание пророчицы Досифеи. Судьбы не избежишь, нужно помогать ей и устранять препятствия. Не походи на женщину, не будь трусом.

Сейчас придет ко мне твой друг Пселл; он философ и разрешит твои сомнения.

В галерее, прилегавшей к комнате, где сидели братья, раздались шаги и показался Пселл.

— Привет вам, светлейшие братья! Я радуюсь, видя вас в дружеском единении. Вы напоминаете мне Кастора и Полукса.

— Доброе утро, Константин,— ответил Иоанн.— Ты пришел кстати, хотя меня ждет самодержец и я должен сейчас уйти, но за то ты можешь поговорить с Михаилом, которого мучают разные сомнения.

И евнух ушел, оставив друзей наедине.

— Говори, светлейший протопроедр,— начал Пселл,— я рад, если могу чем-нибудь облегчить твою душу.

— Скажу тебе прямо: я дал клятву совершить страшное дело.

— Какое же страшное дело?

— Убийство.

— Ну, что же?

— Как что же? Разве можно убивать?

— Убийства бывают разные: может быть убийство во благо и может быть во зло.

— Какое же это во благо?

— Когда на войне убивают врага, это не только не дурное дело, это подвиг. Когда палач казнит преступника, он совершает хорошее дело, ибо он освобождает страну от злодея.

— Допустим; но если убивают не на войне и не казнят?

— И тогда убийство может быть законно, если, например, на тебя нападает злодей.

— Согласен; но если и этого обстоятельства нет?

— Тогда надо подробно обсудить вопрос; всякая вещь имеет две стороны: худую и хорошую; всякий поступок может быть истолкован и так, и сяк. Например, ты обещал убить,— вероятно, ты сделаешь этим кому-нибудь удовольствие.

— Разумеется.

— Раз какой-нибудь факт доставляет удовольствие, он не может быть назван злом, ибо удовольствие доставляет только добро. Возьми, например, болезнь, которая

есть безусловное зло,— доставляет ли она кому-нибудь удовольствие? Затем спрашивается, не принесет ли факт, о котором идет речь, пользу тебе самому?

— Несомненно, и громадную.

— Следовательно, мы можем приравнять это к убийству на войне и к казни, ибо освобождение от злодея и неприятеля — это польза. Скажи, кому дал ты обещание?

— Раз мы так откровенны, скажу и это: царственной особе.

— Вот, видишь ли, Михаил: ослушаться царственную особу — это преступление. Таким образом, если ты нарушишь клятву, ты совершишь сразу два преступления. Если же исполнишь обещанное, доставишь удовольствие и принесешь пользу. Осмелюсь сказать тебе еще одну вещь, светлейший протопроедр, хотя она, может быть, тебя и не касается. Вспомни, что помазание на царство смывает все грехи; это признано со времени патриарха Полиевкта, вот уже сто лет.

— Как? Что это значит? — спросил удивленный Михаил, ничего не слыхавший об этом.

— Это значит, что священным действием мирропомазания прощаются царю все совершенные им раньше грехи и царь вступает на престол существом чистым и безгрешным.

— Если, например, он совершил убийство?..

— Всякое преступление прощается ему. Будь здоров, светлейший протопроедр, мне время идти и заниматься делами.

Пселл поклонился и вышел, очень довольный своим разговором. Он исполнил свое дело. Недаром же он учился риторике — искусству, которым, по его мнению, можно было убеждать в чем угодно. Он обещал евнуху Иоанну подействовать на его брата. Он отлично знал, какая интрига плетется во дворце, и считал нужным содействовать ей. Лично он ничего не имел против императора Романа, но раз самые сильные люди обратились против самодержца, раз они нуждаются в его помощи, было бы безумием не способствовать их планам. Все равно, интрига так или иначе будет приведена в исполнение, Романа не спасешь.

На Михаила разговор Пселла подействовал даже

сильнее, чем ожидал Иоанн. Зная, что Пселл изучил всевозможные науки, он питал к нему большое уважение. Убедительность его доводов была очевидна.

Когда после ухода Пселла вернулся Иоанн, он застал брата совсем в другом настроении. Они говорили о посторонних предметах, но Иоанн понял, что дело решено.

Придя домой, Михаил начал размышлять о своей странной судьбе. Он вспомнил свои видения, разные предсказания и решил, что он избранный сосуд. Он дал клятву Зое,— он обязан отомстить за нее Роману. Провидение избрало его в цари,— он не должен этому противиться. Вопрос только в том, как это осуществить? Самое простое, конечно, прибегнуть к яду. Но где достать яд?

Тут как нельзя более кстати подвернулся Пселл. Через несколько дней после того разговора он явился к Михаилу и показал ему приготовленный им порошок.

— Занимаясь медициной,— сказал Пселл,— я изобрел вот этот удивительный порошок. Он обладает весьма странным свойством: в нем почти нет никакого вкуса, он только несколько сладковат и, будучи подмешан в вино, может быть выпит незаметно, а, между тем, он очень ядовит и, думается, может убить человека. Если хочешь ближе ознакомиться с этим медикаментом, я оставлю его у тебя.

Таким образом, в руках Михаила оказался порошок, обладавший свойством отправлять людей на тот свет. Надо было придумать, как им воспользоваться. Но и тут все делалось как-то само собою, от Михаила требовалось только не препятствовать ничему.

Как-то в разговоре брат сказал ему о придворном служителе Алексее, находившемся постоянно при императоре и пользовавшимся полным его доверием. Этот Алексей был аристократического происхождения. Дед его принимал участие в заговоре Варды Склира против царя Василия; его сослали и конфисковали все имущество. Отец его умер в нищете, и Алексей был рад, когда его взяли во дворец. Но он не мог забыть, что вынужден быть простым служителем. Император Роман был вспыльчив и нередко бил даже любимых слуг; Алексей отличался щепетильностью и не выносил побоев. Поэто-

му он затаил в душе глухую злобу против царя и готов был при случае отомстить ему.

В пятницу на шестой неделе поста Михаил был во дворце у брата и нашел случай поговорить с Алексеем.

— Ведь, это ты, Алексей,— начал он,— наливаешь вино царю и подносишь ему кубок.

— Я.

— Слыхал ли ты, что державный самодержец не так здоров, а между тем, питая недоверие к медикам, отказывается принимать какое бы то ни было лекарство?

— Слыхал, светлейший протопроедр.

— Здоровье нашего царя дорого нам, и мы обязаны о нем заботиться. Лучший наш врач приготовил порошок, который восстановит слабеющие силы царя. Вот этот порошок. Завтра за обедом подмешай его в кубок. Никому не говори об этом, иначе самодержец может прогневаться на нас, что мы против его воли даем ему лекарства. Если же ты выполнишь мое поручение, ты заслужишь мою благосклонность и получишь пять золотых.

— Все будет исполнено, как ты приказал, светлейший протопроедр!

## VIII

В вербное воскресенье во дворце был большой переполох. Собрались все придворные в ожидании обычного в этот день большого выхода в храм Дафнийской Божией Матери. Все ждали, император не выходил.

Вместо того, в залу вбежал служитель Алексей и, подбежав к Михаилу, шепнул ему на ухо, что с самодержцем страшный припадок. Он лежит в конвульсиях.

Михаил взял с собою придворного врача Актуария и поспешно пошел в царскую спальню. Медик нащупал у императора пульс, но ничего не мог понять. Роман мог произнести только несколько слов, страшная боль в животе мешала ему говорить.

Все были напуганы. Всего больше смущало то обстоятельство, что это случилось в такой торжественный день. Евнух Иоанн вышел к собравшимся и объявил: «К великому несчастью всех нас, державнейший самодержец заболел. Выхода не будет».

Одно время ждали, что царь скончается, но лекарство, данное ему Актуарием, подействовало и к вечеру он поправился. На другой день он уже не жаловался на боль, но, тем не менее, в нем заметна была большая перемена: он похудел, стал очень бледен.

Михаил говорил с придворным врачом Актуарием; тот ручался, что болезнь царя не смертельна, и он окончательно поправится через несколько дней. Михаилу было не по себе,— а ну, как начнется следствие и допытаются, кто это сделал? Брат, хотя прямо не говорит об этом, но дал понять, что оставаться в таком положении опасно.

В среду Михаил снова имел продолжительную беседу со служителем Алексеем.

В четверг после обедни император должен был раздавать ругу чиновникам. Он чувствовал себя очень слабым и пожелал освежиться. В одной из комнат дворца был устроен бассейн. Роман позвал Алексея и еще двух служителей и отправился в эту комнату. Когда его раздели, он приказал остаться одному Алексею. Император вошел в воду, собираясь плавать. Алексей подошел к нему, схватил его обеими руками за шею и погрузил голову в воду. Царь сделал усилие, чтобы вынырнуть, но верный служитель держал его точно железными тисками. Минут через пять Алексей закричал на весь дворец.

Императора унесли в спальню, но, несмотря на все ухищрения, к которым прибегал Актуарий, его не удалось привести в чувство.

В полдень евнух Иоанн показался на женской половине дворца. «Грустную весть приношу я тебе, царица,— возвестил он Зое.— Закатилось наше светило, опочил священнейший владыка, державный самодержец Роман».

Зоя громко зарыдала.

## IX

Как только Иоанн удостоверился, что царь Роман умер, он начал действовать. Нечего было терять время и нельзя было надеяться на других. Зоя — женщина, а Михаил, по своей нерешительности и неопытности, тоже все равно, что женщина. Иоанн отправился к нескольким влиятельным особам и сообщил им, что императрица намерена выйти замуж за Михаила; она — последний отпрыск македонского дома и имеет полное право отдать свою руку и престол кому хочет. Те согласились с евнухом и сказали, что отныне будут считать своим императором Михаила, но в душе они были недовольны. С чего это вздумалось царице выбрать этого юношу, ничем не проявившего своих талантов, и, притом, низкого происхождения? Отец его еще так недавно менял золото на серебро, обсчитывал своих клиентов, давал взаймы под большие проценты. Михаил не может назвать ни одного из своих предков. Разве нет Склиров, Комнинов, Дук, ведущих свой род от времен Константина Великого, разве неприличнее было бы посадить на престол одного из представителей аристократии? Так они думали, но ни единым словом не обмолвились в присутствии Иоанна, напротив, они изъявили радость, что выбор пал на брата столь достойного человека, каков он, Иоанн, и выразили надежду, что новый царь окажет им новые милости. Евнух дал им понять, что они будут повышены в чинах и должностях, если не будут противиться признанию царем Михаила.

Удостоверившись, что придворные не могут служить ему помехой, Иоанн вернулся во дворец и пошел к императрице. Надо было, чтобы она сообщила о своем намерении выйти замуж за Михаила. Он не сомневался в этом, потому и решился оповестить придворных, но, тем не менее, ему нужно было формальное заявление. Сначала императрица не хотела говорить о самом важном, она считала нужным плакать и изъявлять свое сожаление о потере супруга и царя. «Осиротела я, осиротело царство!» — говорила она, и слезы ее текли так обильно, что Иоанну по временам казалось, будто она искренно

сожалеет о том, чьей смерти так страстно желала. Он с своей стороны принимал вид горюющего человека. Мало-помалу он старался перевести разговор на другую тему; он очень красноречиво доказывал, что сколько ни грусти о царе Романе, вернуть его невозможно, а, вместе с тем, престол не может оставаться незанятым. Самой Зое нужна поддержка в жизни, а кто же может быть более надежною поддержкой, чем супруг? Зоя ответила, что она предпочла бы оставаться вечно вдовой и не изменять памяти прекраснейшего Романа, но государственная необходимость заставляет не думать о себе, она готова выйти вторично замуж.

— Кто же будет этим счастливцем? — спросил Иоанн.

— Надо зрело обдумать столь важный вопрос,— уклончиво ответила императрица.

Но, наконец, видя, что евнуху нужно ее признание, она прямо сказала, что выбирает в мужья Михаила. Получив это заверение, он пошел к брату.

— Меня прислала к тебе державная царица,— сказал он.— Ей угодно сделать тебя своим мужем, а, следовательно, и царем ромейским *.

Михаил ничего не ответил, он был смущен тем, что Иоанн говорит о таком деле, когда не успело еще остыть тело царя Романа. Но ему предстояло услышать нечто еще более удивительное. Брат старался внушить ему, что престол не может оставаться свободным ни одного дня, корабль не может плыть без кормчего. Кто может поручиться, вдруг поднимется бунт, во главе его станет какой-нибудь ловкий человек, разве таких случаев не бывало? Тогда все пропало. Необходимо поторопиться, надо, чтобы церемония совершилась сегодня и чтобы завтра же объявили народу, что воцарился Михаил.

— Но разве можно венчаться на Страстной? — удивленно спросил Михаил.

— Простому смертному нет, но венценосцу все возможно.

— Зоя никогда не согласится.

— Не беспокойся, Михаил, императрица хорошо по-

---

* Византийцы называли себя ромеями, то есть римлянами.

нимает, в чем заключается благо государства, она не остановится перед такими пустяками.

— Но патриарх. Он отлучит меня от церкви.

Иоанн улыбнулся.

— Дай мне только свое согласие, и я все устрою. Доверься мне, я желаю тебе блага.

Михаилу это было не по душе, но что делать? Брат умнее, надо подчиняться ему.

Иоанн приказал оседлать коня. Он зашел еще раз к императрице, дал ей подписать что-то и через полчаса мчался уже к государственному казначею. Тот, осмотрев свиток, на котором красными чернилами значилось «Зоя», принес евнуху тяжелый сверток. С этим свертком в руках, в котором было не мало золотых, Иоанн явился к патриарху. Он беседовал с ним целый час; и результат был удовлетворительный.

Вечером того же дня патриарх Алексей обвенчал Зою с Михаилом. Церемония была совершена во дворцовой церкви, в присутствии нескольких сановников, друзей Иоанна. Не было ни торжества, ни обычных поздравлений. После совершения обряда Михаил удалился в свои покои, в те самые комнаты, которые занимал царь Роман. Он не считал возможным нарушать принятые обычаи и отправиться к Зое. Он должен был почевать один. Ему пришлось лечь на ту самую кровать, на которой умер Роман. Тело покойного царя было вынесено еще днем и поставлено в церкви св. Апостолов. Михаил долго не решался лечь. Наконец, он позвал спального евнуха и приказал ему постелить ковер на полу.

— Теперь пост,— сказал он,— а потому я желаю изнурить свою плоть, не предаваться никакой роскоши, как это предписано нам отцами церкви.

Михаил приказал погасить горевшую у него свечу и лег, но заснуть не мог. Вдруг ему показалось, что на кровати кто-то шевелится. «Не может быть,— подумал он,— там никого нет». Но шорох становился явственнее, и послышался стон. Засветить свечу было нечем. Михаил ползком добрался до кровати и начал ощупывать ее. Это повторилось с ним до трех раз. Три раза слышался ему стон, три раза ощупывал он кровать и убеждался, что никого нет. Он встал на заре, не сомкнув глаз.

Михаил чувствовал себя очень неловко,— он не мог свыкнуться с своим новым положением. Ему говорили «державный царь», и он часто не отвечал, думая, что это обращаются не к нему. Это бы еще ничего, но на него напала какая-то тоска; он грустил, сам не зная о чем. Казалось, все было отлично,— мечта его осуществилась. В великую субботу он приобщился св. тайн и успокоился. Светлый праздник он встретил радостно и весело. Он перестал думать о Романе,— его уже похоронили к тому времени. Он начал привыкать к своему высокому положению и поклонение, которым он был окружен, нравилось ему.

По случаю праздника прибыл в Константинополь правитель Придунайской области Кекавмен. Он привез радостную весть. Печенеги напали опять на северные провинции и хотели было осадить Силистрию, но, узнав об этом, он встретил их в десяти верстах от города и разбил на голову. Михаил очень обрадовался такому известию: царствование его начиналось с победы, это хорошее предзнаменование.

— Какой у тебя чин?— спросил император Кекавмена.

— Великий царь, я протоспафарий.

— Царственность моя жалует тебя вестом *. Иоанн,— обратился Михаил к брату,— распорядись, чтобы протасикрит изготовил хрисовул, коим Кекавмен производится в чин веста, и чтобы блюститель царской чернильницы поднес мне этот хрисовул к подписанию как можно скорее.

Правитель Придунайской области, встав на колени, поклонился до земли и поцеловал царя в колено. Вид сановника, падающего ниц от нескольких милостивых слов, произвел на Михаила необычайно приятное впечатление. Давно ли ему не было доступа во дворец, а теперь и стар и млад, и бедный и богатый счастливы, что могут прикоснуться устами к его ноге.

Первые дни своего царствования Михаил почти не виделся с Зоей. У него было множество забот: надо было чем-нибудь ознаменовать вступление на престол и надо

---

* Вест — чин, следующий после протоспафарея.

было познакомиться со сложным государственным устройством. Он смутно представлял себе, чем занимаются в каждом приказе, а приказов было не меньше пятнадцати. Поэтому император подолгу беседовал с братом Иоанном, своим главным советником. Решено было помиловать некоторых ссыльных; Иоанн представил список двадцати лиц, сосланных Романом за покушения на его жизнь и которые теперь уже не могли считаться опасными. Он советовал даровать свободу и еще нескольким бродягам и гражданам, высланным за разные мелкие провинности. В число помилованных попал и Петр Иканат. Затем один чиновник составил список всех приказов с указанием их компетенции, и в свободное время Михаил по нескольку раз перечитывал этот список.

У него было и еще одно очень важное дело. В понедельник была назначена коронация и после этой церемонии он обязан был, следуя церемониалу, созвать всех членов синклита, то есть всех чиновников, начиная со старших чинов до протоспафариев включительно, и держать перед ними речь. Он чувствовал себя неспособным составить речь, и потому обратился к Пселлу и просил его помочь. Пселл, изучавший риторику и обладавший ораторским талантом, написал речь. Царю оставалось только заучить ее наизусть. Но и это было делом не легким, речь изобиловала цитатами из св. Писания, Гомера и других древних писателей; в ней было множество выражений, которые в разговоре не употреблялись и которых Михаил совсем не понимал. Чтобы выйти из этого затруднения, он пригласил к себе Пселла и, стараясь скрыть свое непонимание, спрашивал, в каком, собственно, смысле нужно понимать ту или иную фразу. Пселл воспользовался этим, чтобы попросить императора об одном деле.

— Государь,— сказал он,— тебе хорошо известно, что по окончании речи принято, чтобы кто-нибудь произнес панегирик императору. Это древний и хороший обычай.

— Да, знаю,— ответил Михаил.

— Но кто же дерзнет восхвалять твои добродетели, державный царь, не получив предварительно твоего разрешения?

— Ты говоришь мудро, Константин. Кто же по-твоему достоин сказать мне похвальное слово?

— Думаю, что никто не достоин, но все же найдутся ораторы, которые сумеют хоть приблизительно представить все величие твоей особы. Осмелюсь доложить тебе, царь, это может быть дерзость с моей стороны, но я приготовил панегирик. Пусть его никто не услышит, если тебе не будет угодно.

— Ну что же, тебя считают искусным оратором, и я с удовольствием выслушаю тебя.

— Благодарю, великий царь,— сказал Пселл, низко кланяясь.

Михаил не мог просиживать целые дни с Зоей, как того хотелось бы императрице. После смерти Романа он говорил с ней наедине всего только раз. Зоя потребовала свидания с ним, потому что ей нужны были деньги, чтобы выдать награды своей свите. Император сказал, что ей будет отпущено из государственного казначейства сколько понадобится, и хотел уйти из гинекея. Но Зоя остановила его.

— С тех пор, как ты стал моим мужем,— сказала она,— я вижу тебя меньше, чем прежде. Неужели так и будет продолжаться.

— Был пост и потом теперь у меня множество дел.

— Но пост прошел, сегодня Светлое воскресение... Занимайся днем, если и в такой великий праздник ты не считаешь нужным отдыхать, а вечером, когда огни будут погашены, приходи ко мне.

— Ты забываешь, Зоя, что завтра меня будут венчать на царство. Грешно думать об этом в такую минуту.

— Ну, хорошо, но обещай, что впредь я не буду одинока в своем гинекее; ты знаешь, какое наслаждение мне доставляют твои объятия.

— Постараюсь,— сказал Михаил равнодушно и ушел.

Зою поразил этот холодный тон.

## X

В понедельник, как было назначено, состоялась коронация. Михаил думал, что он на небе, когда патриарх надел на него венец и дал ему скипетр. Он ощущал какое-

то блаженство. Особенное же наслаждение доставило ему помазание миром. «Вот теперь смыты с меня все грехи; я чист и невинен, как ангел,— думал он.— От меня зависит сохранить эту чистоту, я буду человеколюбив, буду добр, облагодетельствую свой народ».

Обряд венчания закончился. Все присутствующие в св. Софии запели: «Многая лета великому царю и самодержцу Михаилу». Император сел на трон и принимал поздравления. Сановники один за другим подходили к царю, падали ниц у трона и лобызали сначала правое, затем левое колено императора.

Михаил, самодовольно посматривая на старцев, убеленных сединами, клавшихся ему, сознавал себя в эту минуту великим самодержцем, обладателем вселенной. Каждый раз, как он видел на себе пурпурные туфли, сердце его трепетало. Никто в мире, кроме него, не имеет права носить эту священную обувь. Есть другие правители, они тоже носят венцы на голове, но пурпурные туфли надевает он один, потому что он единственный царь и самодержец.

Церемония длилась очень долго; на поздравления нескольких сот сановников ушло три часа. Михаил чувствовал себя очень утомленным, когда, наконец, очутился в своих покоях. Он хотел было прилечь, но ему доложили, что обед подан. Несмотря на торжественный день, он пригласил к столу только брата Иоанна. Все остальные были званы на ужин после заседания.

— Представь себе, Иоанн,— сказал Михаил,— обряд венчания произвел на меня такое впечатление, что мне до сих пор кажется, будто поют «многая лета великому нашему царю и самодержцу Михаилу».

— Дай Бог, царь,— ответил евнух,— чтобы ты всю жизнь не слышал ничего другого.— Взглянув на брата, Иоанн заметил, что он дрогнул и даже привстал. Неужели простые слова могли так неприятно подействовать на него?

— Разве кроме нас, есть кто-нибудь в зале? — спросил царь, посматривая по сторонам.

— Нет никого. Отчего ты спрашиваешь это?

— Так, мне почудилось...

Михаил не хотел сознаться, что ему почудилось, буд-

то поют: «Многая лета убийце великого самодержца Романа».

В четыре часа пополудни собрались в большом зале дворца все сановники. Церемониарх разместил их так, что младшие чины стояли дальше от трона, старшие — ближе. Шепотом толковали они о новом царе, о предполагаемых наградах и назначениях. Имя Иоанна упоминалось то и дело, все были согласны, что он заберет дела в свои руки и Михаил будет плясать под его дудку. Любопытно было также, какую речь скажет новый император. Он нигде не учился, как-то он справится.

Это волновало самого Михаила, еще больше сановников; на него напала робость, ему казалось, что он забыл половину цветистых фраз, составленных Пселлом.

Наконец, занавес раздвинули. На золотом троне, к которому вели мраморные ступени, сидел царь в короне, со скипетром в руке, в пурпурном златотканом платье, из-под которого виднелись пурпурные туфли. Сановники, подняв обе руки к небу, пали ниц. Потом они встали, встал и самодержец и начал слегка дрожащим голосом: «Любезные члены избранного синклита, любезные дети мои, говорю дети, хотя по возрасту я и не мог бы быть отцом вашим, но дело не в возрасте, а в расположении. Я питаю к вам те самые чувства, какие питает добрый отец к своим покорным детям...» Царь остановился на мгновение и, подумав, продолжал: «Богу угодно было взять к себе царя Романа...» Сановники, стоявшие в самых благоговейных позах, не без удивления заметили, что, как только царь произнес это имя, у него начала подергиваться правая щека. «Богу угодно было помазать меня на царство; памятуя это, вспоминая Самуила и Саула, царственность моя не оставит своими заботами...» Всем было ясно, что царь путается в словах и говорит что-то бессвязное. Он оставил фразу незаконченной и продолжал: «Ваше благо поставлю я целью жизни, ибо царь должен быть справедлив и человеколюбив...» Капли пота выступили у него на лбу. Он заметил, что кто-то стоит рядом с ним у трона, ему мало места, темная фигура теснит его. Михаил обернулся, ища помощи; за ним стояли телохранители с секирами на плече. «Должно быть, они ничего не замечают»,— подумал

он и продолжал: «Я позабочусь о том, чтобы сборщики податей не обременяли народ незаконными поборами, чтобы судьи судили по законам. Это моя обязанность, ибо я достиг престола законным путем, не убийством проложил я себе дорогу во дворец и не обагрял рук своих кровью...» Царь задрожал всем телом; он не мог более говорить. Темная фигура теперь ясно обозначилась: это был он, это его седая борода, его карие глаза, которые так страшно смотрели из-под нахмуренного лба, это Роман встал из гроба. Царь сошел с трона на первую ступеньку, потому что вдвоем они не помещались на престоле; но, о ужас, Роман пошел за ним и опять стал рядом. Сановники с удивлением видели, что самодержец сходит с трона и, притом не прямо, а боком, точно сторонится кого-то. Он сошел вниз. Лицо его было земляного цвета, как у мертвеца; сановники попятились, зная, что им неприлично стоять рядом с царем. Вдруг голова у Михаила начала трястись, Роман схватил его за горло и собирался душить... Царь закричал, с пеной у рта, упал навзничь и все его тело передергивалось в конвульсиях.

Блестящее собрание было смущено. Что делать? Никто, кроме императора, не имел права распустить их. Церемониарх подошел к Иоанну и, пошептавшись с ним, провозгласил: «Преславные члены синклита, разойдитесь. Державный царь заболел; мы не должны больше беспокоить его своим присутствием».

Тем временем появился врач Актуарий. Он с ужасом смотрел на конвульсии и пену у рта. Только для виду пощупал он пульс; болезнь была хорошо известна ему и он знал также, что она не поддается лечению; недаром зовут ее «священной». Михаил бился еще несколько минут, корона упала с головы, скипетр лежал у его ног. Иоанн, Актуарий и двое служителей бережно подняли его, отнесли в спальню и положили на кровать.

— Останься с царем,— сказал врач Иоанну,— а я пойду, увы, я бессилен. Медицина не может помочь ему. Припадки эти будут возвращаться время от времени. Один Бог может избавить от них царя.

— Иди,— сказал евнух Иоанн.

Через четверть часа Михаил очнулся. Он провел рукой по лицу и попросил пить.

— Его нет? — спросил царь.

— Кого? Я один здесь с тобой, державный царь,— ответил евнух.

— Я спрашиваю про Романа.

— Какого Романа?

— Царя Романа.

— Царь Роман давно покоится в земле, а душа его в раю.

— Уверен ли ты, что он не может подняться из могилы и прийти сюда?

— Уверен, царь.

— Однако же, он приходил.

— Должно быть, это приснилось тебе.

— Может быть, и правда, приснилось. Удались, Иоанн; я хочу остаться один.

Евнух поклонился и вышел, приказав двум служителям быть в соседней комнате и, в случае чего, сейчас же позвать его.

Оставшись один, Михаил старался припомнить, что с ним было. Действительно ли приходил Роман, или это было видение? Мертвецы встают иногда из гроба, но тогда его видели бы другие, видел бы брат Иоанн. Скорее это видение. Оно не могло явиться так, само по себе; очевидно, оно послано Богом за его грехи. Да, он согрешил. Он соблазнился чужою женой, и, к тому же, супругой боговенчанного царя, он осквернил его ложе, а потом, разве Роман умер естественною смертью? Но, ведь, миропомазание смыло с него все, даже самые тяжкие грехи. Так говорят. Возможно ли это? «Я грешен,— решил он,— надо искупить свой грех постом и молитвою. Но, кроме того, я, должно быть, болен, я, кажется, лишился чувств, я помню, как Роман хотел задушить меня, а потом... что было потом? Как очутился я здесь?»

— Эй, кто там? Подите сюда,— крикнул Михаил.

Вошел слуга.

— Позовите Актуария.

Врач вошел в царскую спальню.

— Скажи, что было со мною? — спросил Михаил.

— Болезненный припадок, державный царь,— ответил Актуарий.

— Какая тому причина?

— Причины болезни весьма различны; когда является какое-нибудь нарушение в составе крови, желчи или других соков, это нарушение влечет за собою болезненное состояние всего тела.

— Не читай мне лекции, а скажи, отчего я заболел. Не бойся, я за откровенность не рассержусь.

— Прости, великий царь, причина твоей болезни неизвестна. Не в теле кроется причина, не в крови, не в костях...

— А в чем же?

— Есть болезни души, это болезни невещественные...

— Так и у меня больна душа, по твоему мнению?

— Полагаю, что так, державный царь.

— Какое же ты можешь дать лекарство?

— Царь, я затрудняюсь...

— Говори откровенно, не бойся.

— Скажу прямо царь: я не знаю средства, которое могло бы облегчить тебя. Проси помощи у Бога.

— Хорошо, Актуарий, иди, ты мне больше не нужен.

Актуарий поцеловал его пурпурную туфлю и вышел из спальни.

Теперь все было ясно. Видение и припадок — это одно и то же, это — кара Божия.

Весть о событии, случившемся во время торжественного собрания, быстро долетела до гинекея. Зоя поспешила увидеть Михаила и, нарушая этикет, без доклада вошла в императорскую спальню как раз в то время, когда выходил Актуарий.

— Что с тобою, Михаил? Ты заболел,— участливо спросила она, подходя к его изголовью.

— Заболел,— сухо ответил царь, не глядя на Зою.

— Не голова ли у тебя болит?

— Нет, у меня болит душа.

— Если душа, так я утешу тебя.

Царица наклонилась и хотела поцеловать его.

Михаил приподнялся на кровати.

— Нет, не целуй, твои поцелуи ядовиты. Вспомни, что они сделали.

— Что же они сделали? Думаю, они доставляли тебе удовольствие.

— Ты ввела меня в грех, ты соблазнила меня, ты... ты во всем виновата.

— Полно, Михаил, успокойся. Дай я прилягу к тебе... Моя ласка успокоит тебя.

— Как, на этом ложе? Оно осквернено тобою и мною, оно нечисто, а ты хочешь еще больше осквернить его.

Михаил вспомнил, что он лежит на кровати царя Романа, и вскочил точно ужаленный. Он хлопнул в ладоши.

— Возьмите сейчас же эту кровать,— сказал он вошедшему слуге, и сожгите ее.

Слуги вынесли кровать.

Зоя опять подошла к Михаилу; она не понимала его чувства и, взяв его за руки, поцеловала в губы.

— Ищи утешения в моих объятиях,— нежно прошептала она.

Михаил стер рукою след ее поцелуя и сказал раздраженным тоном:

— Как тебе не стыдно, Зоя? Тебе пятьдесят лет, а ты все еще думаешь о наслаждениях. Тебе надо замаливать свои грехи, а ты, вместо этого, расточаешь грешные поцелуи.

— Нет греха целовать мужа, и я не так стара. Давно ли ты говорил, что в любовных делах я превосхожу молодых? Неблагодарный! Ты забываешь, что всем обязан мне. Кто возвел тебя на престол?

Зоя заплакала.

— Я не желаю огорчать тебя, царица, я забочусь только о твоей и своей душе.

— Нет, ты оскорбляешь меня, ты говоришь, что я стара. Посмей еще сказать, что я некрасива! На, смотри, стара ли я!

Быстрым движением царица раскрыла платье на груди.

— Бесстыдница,— закричал Михаил,— не обнажай своего позорного тела! Уходи отсюда, вон сейчас же!

Зоя ушла, глубоко оскорбленная. Долго плакала она в своей спальне. Определенно над ней тяготело проклятие. Второй муж отвергал ее ласки точно так же, как первый.

В это время на площади перед дворцом стояла Анастасо. Ей сообщили будто после торжественного приема

царь переселится из Большого дворца в Магнаврский, и ей хотелось еще раз посмотреть на нового самодержца. Она любовалась уже его красотою, когда он ехал в св. Софию верхом на белом коне. Но надежда ее была обманута, и Анастасо ушла. Ей не удалось даже посмотреть на того, кто теперь был недостижим для нее и кого еще так недавно она держала в своих объятиях.

## XI

На третий день Пасхи заметно было необыкновенное оживление в трактире «Сладкая Еда». Лавки были закрыты, и мелкие торгаши собрались выпить вина и поболтать. Народу было так много, что Александр пригласил из деревни племянника Онуфрия; своими силами он справиться не мог, несмотря на то, что вино разносила, кроме него, проворная Анастасо. Все говорили очень громко, махали руками и тому, кому хотелось, чтобы его все слышали, приходилось кричать. Толковали, конечно, о событии дня. Все знали, что умер царь Роман и вступил на царство Михаил,— об этом еще в Светлое воскресенье возвестили на площадях, но интересно было узнать подробности этого дела и чего можно ждать от нового царствования.

— Расскажи-ка, брат Александр, что у вас тут творится,— спросил на ломаном греческом языке болгарин.— Я только вчера пригнал на продажу своих баранов и не успел ничего разузнать. Говорят, у вас новый царь.

— У вас?..— переспросил трактирщик.— Разве наш царь не ваш царь?

— Теперь, пожалуй, да, но 17 лет тому назад у нас был еще свой царь, великий Самуил.

— Какой такой Самуил? — насмешливо спросил один юноша, не помнивший тех времен, когда Болгария была самостоятельным царством.— На свете только и есть один царь — царь ромейский, другого никогда не было и не будет.

— Будет,— возражал болгарин.

— Молчи,— сказал трактирщик, предвидя, что подобный разговор может привести к драке,— не веди кощунственных речей, а то тебе плохо придется.

— Ты на что это намекаешь? — спросил юноша.— Уж не готовят ли презренные болгары восстание против великого царя?

— Не восстание готовим мы, а хотим освободиться. Мы помним, что и у нас был великий царь Симеон; он не раз брал вашу столицу.

— Молчи, собака! — послышалось с разных сторон.— Ты должен быть рад, что тебя пускают в «Сладкую Еду», что брат Александр не отказывает тебе в вине, а ты позволяешь себе непристойные речи.

— Ты мне сначала деньги отдай! — закричал меняла, сидевший в трактире и разгоряченный вином.— Деньги отдай, а потом рассуждай!

— Деньги я взял у тебя только вчера,— возразил болгарин,— отдам, когда продам баранов. Ведь, ты за это проценты берешь.

— Так ты думаешь, что болгары могут одолеть нас? — опять спросил юноша.

— А ты думаешь нет? Сколько раз вы убегали с поля сражения, сколько раз мы уводили тысячи пленных ромеев...

— Слушайте, слушайте,— обратился юноша к посетителям трактира,— этот подлец болгарин смеет утверждать, будто мы бегаем с поля сражения!

Болгарина окружили со всех сторон.

— Ну-ка, повтори еще раз, что ты говорил. Посмей сказать, что ромеи трусы.

— Вы меня не поняли,— проговорил болгарин, испугавшись.— Может быть, вы не трусы, но и мы, болгары, тоже не трусы.

— Вы... вы подлый народ, даром что признаете Христа, а точно нехристи какие!

— Ну, докажи-ка свою храбрость,— вызвался юноша, давай поборемся.

Болгарин принял вызов, встал, засучил рукава и ударил юношу кулаком в грудь. Сначала публика смотрела равнодушно на единоборство, но когда перевес оказался

на стороне болгарина, за юношу вступился один из его родственников. С двумя болгарину трудно было справиться, но дело приняло еще более серьезный оборот, когда за него вступился один армянин. Подвыпившая публика рассвирепела, с ругательствами бросилась на чужеземцев и вытолкала их вон из трактира. У юноши оказался в руке клок бороды болгарина, он показывал всем свой трофей и хвастался победою.

В это время в трактир вошел высокий старец с длинною седою бородой и волосами до плеч. На нем была надета ряса вроде монашеской, в руках он держал посох. Как только он показался в дверях, все встали и низко поклонились ему. Это был известный паломник Тимофей, два раза ходивший в Иерусалим, видевший собственными глазами Гроб Господень, не раз поклонявшийся св. Димитрию Солунскому и изучивший все столичные монастыри. За это он пользовался в народе особенным уважением. Много повидал он на своем веку, был хорошо принимаем не одним игуменом, потому что нередко приносил в монастыри лепту, собранную среди добрых людей; он все знал, даже то, что делалось во дворце и патриархии; многие думали даже, что он обладает пророческим даром, потому что нередко случалось ему предсказывать, и предсказания его сбывались.

— Что это вы наделали? — спросил Тимофей, отвечая на поклоны.— Я видел человека всего в крови, который опрометью бежал отсюда.

— Это подлый болгарин, мы проучили его,— сказал юноша.

— Пожалуй, нехорошо вы сделали. Конечно, болгары враги наши, но они давно укрощены блаженной памяти царем Василием; к тому же, они христиане. Вот проклятых агарян, тех надо бить, бить беспощадно. Вот в Иерусалиме, в Святой земле...

— Не выпьешь ли кипрского вина во славу Божию? — прервал его Александр.

— Отчего не выпить? Выпью,— ответил паломник. Вино было дорогое, но он знал, что денег с него не возьмут. Старец Тимофей только и жил тем, что приносили ему добрые люди; своих достатков он не имел и даже хлеба ему купить было не на что.

— Что нового расскажешь? — спросил трактирщик, когда паломник выпил вина и лицо его оживилось.

— Вам лучше знать. Я что, все по монастырям, да по церквам.

— Нет, ты расскажи нам, как это и почему случилось у нас столь быстрая и неожиданная перемена? — послышались голоса.

— Ведь, многие из нас видали прежде Михаила,— сказал юноша.— Кто не знает, что сестра его Мария выдана замуж за судовщика, занимающегося грязною работой?

— Молчи, дерзкий юноша,— сказал старец.— Есть избранные сосуды. Давно ходило предсказание: сорок лучше ста, сорок одолеет сто. Если вы умеете читать, так знаете, что сорок — это М, а сто — это Р. Вот теперь и смекайте: М одолело Р, Михаил стал на место Романа.

Услышав, что речь идет о Михаиле, Анастасо подсела к паломнику и жадно стала слушать, боясь проронить слово.

— И ты, девица, интересуешься моею болтовней? — сказал старец и продолжал: — Так вот видите, все это случилось по предопределению, которое непреложно и которого изменить нельзя. Но есть во всяком деле и другая сторона, человеческая. Вы слыхали ли, что было вчера во дворце?

— Где же нам слышать!

— Тут нет ли царских евнухов? — шепотом спросил старец трактирщика.

— Нет, говори смело, не бойся.

— Вчера было во дворце заседание сановников, собрался, как водится, весь избранный синклит. Державный царь произносил речь, и только он начал, вдруг упал навзничь.

Старец замолчал, смотря, какое впечатление произвели его слова.

— Продолжай же, старец Тимофей! — послышалось со всех сторон.

— Нет, больше ничего не скажу, да больше ничего и не знаю.

Но просьбы публики заставили его удовлетворить их любопытство.

— Так вот, царь упал и, страшно сказать, изо рта его показалась пена, точно у покойника, лицо его стало совсем черное, он бился головой о пол, точно хотел расшибить головой мраморную плиту.

— Отчего же это могло случиться? — спросил юноша.

— Известно, отчего и всегда случается. Мне рассказывал об этом один воин, он служит в царской страже и стоял как раз за троном. Он видел собственными глазами, как над царем летал какой-то черный дух. Нет сомнения — это демон; демон вселился в великого самодержца. Это кара Божия, дети мои, за то, что он не дождался определенного ему времени...

— Вот тебе еще вина,— сказал трактирщик, желая развязать язык паломнику.

— Да,— сказал тот, выпив,— демон вселился в него за содеянное с царем Романом и ложем его.

— Что? — воскликнула Анастасо, забыв, что в присутствии мужчин не следовало говорить о таких вещах.— Я не понимаю, о чем ты говоришь. Какое ложе?

— Это я выразился возвышенно. Женщины ловят в свои сети молодых мужчин, они лукавы, злы и нетерпеливы и думают, что могут менять судьбу. Как Ева соблазнила Адама, так и она соблазнила его своими прелестями, несмотря на то, что ей пятьдесят лет и следовало бы забыть о любви, но женщина остается женщиной до могилы.

— Я не понимаю, о ком ты говоришь,— прервала его Анастасо.

— Замолчи,— закричал на нее отец и шепнул ей на ухо: — Он говорит о царице Зое.

— Он попался,— продолжал старец Тимофей,— как попадается рыбка в невод рыбака. Злой дух попутал его, и он совершил дурное дело, а зло влечет за собою зло, за прелюбодеянием следует убийство. Не стану распространяться о том, чего не знаю; но всем известно, что царь Роман был крепок телом. Не будем осуждать его; но когда я узнал, что приключилось вчера во дворце, я сейчас же сказал себе: демон вселился в него за содеянное с царем Романом и ложем его.

Все молчали от удивления, так как никто не знал до

сих пор, каким образом новый самодержец вступил на престол. Потом все снова загалдели и стали на все лады толковать не совсем ясные слова паломника. Все повторяли: «Демон вселился в него за содеянное с царем Романом и ложем его».

Анастасо не знала, верить ей старику, или нет. Одного она не могла допустить, что Михаил убил прежнего царя, для этого он был слишком добр, слишком хорош. Но теперь ясно, почему он избегал ее в последнее время. Он не только женился на Зое из расчета, чтобы сесть на престол, как прежде думали, но он любил ее, он был ее любовником. Значит, не оставалось никакой надежды. С тех пор, как он так неожиданно превратился в всемогущего самодержца, она не могла мечтать, что он женится к ней; но, все-таки он мог продолжать встречаться с нею. Это было возможно. Ей кто-то рассказывал, что около ста лет тому назад царицей была Феофано, такая же, как она, дочь трактирщика; тем более он мог взять ее в любовницы. Да, если бы он не был в плену у Зои. Анастасо села в угол комнаты на ковер, который разостлали тут по случаю праздника, и ей хотелось заплакать, но она удержалась, боясь расспросов подгулявшей публики. Она закрыла лицо руками и не заметила, как рядом с ней на ковре оказался Руфини, приехавший в Константинополь по своим торговым делам. С тех пор он приходил каждый день в трактир и опять стал делать Анастасо предложения, которые считал для нее лестными. На этот раз он поговорил сам с Александром. Получив в задаток 10 золотых, отец поручился за успех, но просил подождать до Святой, так как считал грехом совершать подобные дела постом.

— Что ты закрыла свои прелестные очи, красавица? — обратился Руфини к Анастасо.

Девушка не отнимала рук от лица, но узнала, что с ней говорит генуэзский купец.

— Ты не весела,— продолжал он, не обращая внимания на ее молчание.— Поздравь меня, мне вчера повезло. Я продал товару на большую сумму и по хорошей цене, а купил ткани у этого несчастного Паламы так дешево, что наживу целое состояние, когда распродам эти ткани у себя в Генуе.

— Какое мне дело до этого? — спросила Анастасо.

— Теперь, может быть, и нет дела, а скоро будет. Чем больше будет денег у меня, тем больше будет и у тебя. Ты разве забыла о своем обещании посетить меня?

— Нет, не забыла.

Она очень хорошо знала, что он подразумевал под этим посещением, и она, действительно, хотя и не обещала прямо, но давала понять, что это может случиться. Ведь, положение ее было теперь совсем другое, чем когда являлся к ней Петр Иканат. Сначала она была девушкой, а потом имела защиту в Михаиле. Теперь же она беззащитна. Александр заметил, что с дочерью творится что-то неладное, и сейчас же угадал, в чем дело. Он предложил ей освободить ее от позора, но с тем, что и она окажет ему услугу. Анастасо согласилась; она знала, что если она родит ребенка, отец все равно убьет его, так лучше же было отделаться от него тогда, когда его не было еще в живых. Вот почему трактирщик с такою уверенностью взял задаток с Руфини. Но если до сих пор девушка медлила, старалась отодвинуть неприятную минуту, то сегодня она решилась. Она была в полном отчаянии, она не чувствовала себя в силах бороться с отцом; при других условиях она не посмотрела бы на вынужденное обещание, данное отцу, вынесла бы даже его побои. Но для чего же было бороться теперь, когда все кончено между нею и любимым человеком?

— А если ты не забыла, когда же, наконец, увижу я тебя в своем доме? — спросил купец, поглаживая девушку по плечу.

— Может быть, сегодня.

— Так пойдем сейчас,— сказал Руфини.— Солнце уже садится.

— Пойдем,— тихо ответила девушка и засмеялась деланным смехом.

Она позвала отца и начала шептаться с ним. Трактирщик одобрительно кивал головой. Затем он подошел к купцу и сказал ему вполголоса:

— Смотри, не забудь условия.

Руфини кивнул ему и вышел из трактира. За ним шла Анастасо.

— Смотрите,— сказал юноша,— она идет с Руфини и даже не закрыла лица.

— Есть ли существо греховнее женщины? — важно произнес старец Тимофей и сейчас же ушел, как бы не желая оставаться в доме, где живет столь презренная девица.

На другой день купец принес Александру 90 золотых. Трактирщик с жадностью схватил деньги и, пересчитав их, положил в мешочек.

— Не правда ли, она стоит сотню номизм? — спросил он Руфини.

— По красоте — да,— ответил тот,— но кровь в ней холодная.

С этого дня Анастасо не возвращалась уже в родительский дом

## XII

С первых же дней царствования Михаил убедился, что управлять государством не так просто, как это ему казалось прежде. До вступления на престол, он занимал должность асикрита, а потом был и придворным чином, но, благодаря своему исключительному положению, он ничем не занимался и не успел ознакомиться с делами. Плохо зная людей, управлявших приказами, и еще хуже законы, он часто чувствовал, что запутался как рыба в сети и выбраться из нее не может. На первых порах он хотел все делать сам: ежедневно принимал сановников, выслушивал их доклады, расспрашивал даже о таких делах, которые могли быть решены без него. Но от всего этого в его голове образовался какой-то туман,— один говорил ему одно, другой противоположное. Кому верить? С кем соглашаться? Царь соглашался иногда с тем и другим. Выходила невообразимая путаница: в один и тот же день издавались указы противоположного содержания.

Хуже всего было, когда дело шло о новых назначениях. Умер логофет дрома *. Необходимо было назна-

---

* Логофет дрома — министр иностранных дел.

чить благонадежное лицо на этот ответственный пост. Логофет дрома принимал иностранных послов, руководил внешнею политикой,— надо было иметь человека опытного и умного. Но внезапно оказалось, что нет ни одного образованного и честного чиновника, достойного быть логофетом. Царю называли много лиц, но когда он начинал наводить справки о том или другом, выходило, что один — взяточник, другой — дурак, третий не знает, как писать к иностранным монархам. В отчаянии Михаил обратился за советом к брату. Тот объяснил царю, что если расспрашивать чиновников про своих сослуживцев, толку из этого выйти не может, потому что всякий старается очернить товарища, рассчитывая, не дадут ли места ему самому.

Тогда Михаил решил, что лучше иметь одного советника, чем советоваться со всеми. Ни к кому не питал он такого доверия, как к брату Иоанну. Это был, по его мнению, умнейший человек и, притом, чрезвычайно опытный. Он жил при дворе все предыдущее царствование и успел в это время познакомиться со всеми государственными порядками. Он не станет брать взяток, потому что семейства у него нет и деньги ему ни к чему. Он не станет обманывать его, родного брата, а Михаил слышал еще до вступления на престол, что царю никогда никто не говорит правды. На основании всех этих соображений царь решил сделать брата своим помощником. Евнух был назначен препозитом *. Он стоял во главе придворного ведомства и обязан был следить за опрятным содержанием дворцов, он был начальником всех царских спальников и евнухов женской половины, он же исполнял обязанности церемониарха. Таким образом, ведению его подлежал дворец, распоряжаться он имел право только внутри дворца. Но монаршее благоволение дало ему власть гораздо большую. Царь сделал его своим главным докладчиком: он просил Иоанна заниматься всеми делами, требующими царской резолюции. Заведующие приказами отправлялись предварительно к препозиту, хотя это и не было в порядке вещей, докладывали ему, а тот уже являлся к царю. Михаилу это было удобно, потому

---

* Препозит — министр двора.

что брат всегда толково излагал дело и объяснял, как, по его мнению, следует поступить. Поэтому все дела представлялись в том свете, в каком желал представить их евнух, и царь всегда соглашался с ним. Это казалось Михаилу особенно удобным,— ему не приходилось ломать голову над разными мудреными вопросами.

Но едва ли подданные обширной империи были довольны таким образом правления. Во всяком случае очень доволен был сам евнух Иоанн. Его план удался как нельзя лучше. В самом деле, он разрешил неразрешимую загадку: как евнуху сделаться самодержцем ромеев? Когда он вспоминал о своей гениальной комбинации, он потирал руки от удовольствия и готов был заплясать. В самом деле, сам Одиссей не придумал бы ничего хитрее этого. Он познакомил Михаила с Зоей, чтобы она влюбилась в него, и она влюбилась. Он подсказал ей, что надо отделаться от Романа. Из всего этого естественно вышло, что Михаила возвели на престол. Он знал, что бесхарактерный Михаил попадет под его влияние. Михаил привык смотреть с уважением на старшего брата: евнух внушил ему, что думает исключительно о его благе, и в этом заключалась его сила.

Как только Иоанн убедился, что от него зависят назначения, что, не посоветовавшись с ним, царь никого не назначает, он начал торговать местами. Подобным порядкам никто не удивлялся, к ним все привыкли. Разница заключалась только в том, что в прежние времена власть была разделена между несколькими сановниками и платить приходилось разным лицам, теперь же торговля местами была сосредоточена в одних руках. Не довольствуясь раздачей мест в центральном управлении, Иоанн мечтал опутать своею сетью всю империю. Когда продажа мест дала ему возможность сколотить кругленький капитал, он взял на откуп сбор податей сначала в одной феме*, потом в другой, наконец, в трех сразу. Он вносил в казначейство сумму податей, которая должна была поступить с какой-нибудь провинции, и затем получал право взимать сборы в свою пользу. Операция эта давала ему изрядный доход, так как Иоанн с своей

---

* Фемой называлась провинция.

стороны отдавал на откуп сбор податей по отдельным округам сборщикам податей и при этом брал с них надбавку против того, что требовало с него казначейство. От ловкости сборщиков зависело собрать с народа еще больше и положить кое-что в свой карман. В других провинциях евнух старался войти в какое-нибудь соглашение с начальствующими лицами. Евнух высчитывал, какой у него будет доход, если все 38 фем будут вносить свою лепту; он надеялся, что это время настанет и громадная сумма производила даже на него впечатление.

А он в минуты откровенности хвастался, что богаче его нет человека во всей вселенной. Люди, близко его знавшие, удивлялись, на что ему деньги, когда у него нет никаких расходов? Живет он во дворце, кормится с царского стола, с женщинами никаких сношений иметь не может. Но никто не знал, что у этого человека, считавшегося всеми бесстрастным, есть одна или даже две страсти. Об одной, впрочем, имели некоторое понятие: он любил поесть. При этом он дорожил больше всего количеством, а не качеством,— съесть большую морскую рыбу или несколько фунтов бобов было для него шуткой. Обед, тот самый, который ел царь, казался ему недостаточным, и он всегда добавлял к нему три, четыре блюда. Чрезвычайного в этом ничего не было,— были и другие любители поесть, которые могли поспорить с Иоанном, например, Константин Мономах, имевший в этом отношении большую известность. Но Мономах любил поесть сам и других угостить; он устраивал пирушки, на которых ели и пили так много, что не скоро их забывали. Не так поступал Иоанн; он никогда никого не угощал, уверяя, что посторонние мешают ему есть.

Но была у него и другая страсть. Приблизительно раз в месяц запирался он в своих покоях и пил вино до пресыщения, пил обыкновенно сутки, а потом не предавался этому занятию несколько недель. Он уверял всех, что никогда не пьет, а потому отсылал вино, если ему его присылали, но он сам тайком покупал его через одного служителя, которому вполне доверялся и который действительно ни разу не выдал его. На это он не жалел денег, приобретая самое дорогое кипрское вино, и приказывал

выливать все, что оставалось у него после каждой попойки. Но когда он ходил в гости, он отказывался от вина, как от презренного напитка, и всегда вспоминал, до какого позорного состояния вино довело Ноя. «Вот уж этим я не грешен»,— всегда отвечал он на любезное предложение хозяина выпить. За это многие не любили его, так как считали, что он действительно не знает даже вкуса вина и стеснялись пить при нем.

Таков был человек, которому царь доверялся и которого считал самым честным и благородным из своих подданных. Надо, впрочем, отдать справедливость евнуху Иоанну: он отличался сильным характером и у него были правила, от которых он никогда не отступал. Таково было правило: не прощать того, чего можно не простить. Поэтому он никогда не прощал не только обиды, но даже малейшего намека, в котором слышалась ему обида. Когда он узнавал, что такому-то вырвали ноздри, казнили его, отрезали ему язык или руку, он радовался от души. «Творится правосудие»,— говорил он, а правосудие он ставил выше всего.

Другое правило, которому он так же неуклонно следовал, гласило следующее: не отдавай денег, когда их можно не отдавать. Это правило имело две практические выгоды. Во-первых, Иоанн никогда ничего не покупал, кроме вина, а только сообщал, что ему нужна была бы такая-то вещь. Например, в обществе друзей и преданных ему людей он говорил со вздохом: «Мой конь становится стар, надо бы другого, а где купить, не знаю, да и денег нет». На другой же день на его конюшне появлялась лошадь и как раз той породы и масти, какой он хотел. Во-вторых, евнух никогда не подавал нищим. «Всякий может заработать себе кусок хлеба,— говорил он.— Раздавать милостыню — это значит поощрять бездельников».

Как только царь решил переложить бремя правления на брата, он почувствовал себя гораздо свободнее. Правда, и теперь приходилось ему принимать управляющих приказами и выслушивать их длинные речи, но нечего было обсуждать,— всякое дело было заранее обсуждено и решено евнухом, оставалось только подписывать. С легким сердцем писал он: «Верный во Христе Боге царь и

самодержец ромеев Михаил», зная, что глупой или несправедливой бумаги брат не дал бы ему подписать.

Таким образом, он мог подумать о себе и о своем душевном спокойствии. А подумать об этом было необходимо. Несчастный царь Роман не оставлял его в покое; он являлся по ночам в самом страшном виде. После припадка, наделавшего так много шума в столице, Михаилу стало ясно, что в нем сидит демон. Злой дух заставил его поддаться чарам этой мерзкой женщины и совершить преступление. Михаил не верил, что при венчании на царство тяжкий грех был прощен ему,— тогда демон покинул бы его. Как же умереть с демоном в сердце? Это значит попасть в ад, обречь себя на вечное мучение. Но как избавиться от демона?

Он нашел советника для дел управления, надо было найти советника для души. Царь слышал, как и все в столице, о монахе Авксентии, которого народ не без причины считал святым. Он жил в Студийском монастыре, никто не помнил времени, когда он там поселился, и многие были уверены, что он никогда не умрет. Действительно, ему было уже 80 лет, а он постригся пятнадцатилетним юношей, следовательно, с тех пор прошло 65 лет. Он был известен строгою и богоугодною жизнью. Постом он довольствовался просфорой и водой, рыбу разрешал себе только по большим праздникам. Про него рассказывали, что он творит чудеса. По крайней мере, известно было, что когда юноша Николай лежал на одре смерти и врач отказывался спасти его, Авксентий исцелил его молитвой и возложением рук. Несколько раз братия Студийского монастыря предлагала ему быть игуменом, но он отказывался, потому что не желал заниматься житейскими делами и иметь какие-нибудь сношения со светскими властями. Поэтому когда царь пригласил его к себе, он не хотел идти, отговариваясь тем, что монаху не место во дворце и без нужды он не должен выходить из монастыря. Но когда Михаил дал ему понять, что он может сделать доброе дело, толкуя ему догматы вселенской церкви, наставляя его на путь истины, Авксентий согласился и явился во дворец. Он заметил, что царь обращается с ним как равный с равным, что это несчастный человек, которого что-то терзает, и с тех пор стал все чаще

приходить. Монах был всегда желанным гостем; он просиживал с царем по нескольку часов и беседы эти действовали на царя благотворно.

Авксентий читал и объяснял ему св. Писание, рассказывал жития святых, из которых он многие помнил наизусть слово в слово. Он очень скоро передал Михаилу свой взгляд на земную жизнь, как на юдоль плача и скорби. Он поступил в монастырь после трагического случая, наложившего отпечаток на все его мировоззрение. В царствование императора Иоанна Цимисхия открыт был заговор против жизни царя. Вместе с другими был схвачен и отец Авксентия, Симеон, занимавший важную должность хранителя царской чернильницы. Подозрение на него пало потому, что он был хорошо знаком с главными заговорщиками, но сам он никакого участия в деле не принимал. Он клялся на суде, что всегда был верен своему царю, его пытали и он повторил то же самое. Несмотря на это, ему не поверили и казнили его вместе с другими виновниками заговора. Казнь совершенно невинного отца произвела сильное впечатление на пятнадцатилетнего Авксентия. Он решил, что на земле нет правосудия и не может его быть, есть только один праведный и нелицеприятный суд, это суд Божий, а потому нужно всю жизнь думать о страшном суде, дабы не быть поставленным ошую. Всякий человек — великий грешник, лучше жить одному, не вступая ни в какое общение с людьми.

Михаил находил, что Авксентий совершенно прав, и старался подражать ему, насколько это позволяло его положение. Четыре раза в неделю, когда служили обедню в св. Софии, царь непременно присутствовал в храме; в остальные дни он подолгу молился у себя в спальне перед любимым образом Христа Поручника, богато отделанным драгоценными каменьями. Посты он соблюдал очень строго, постился даже по средам и пятницам. Из жития святых он вывел заключение, что девство является необходимым условием совершенства. Авксентий советовал ему не только воздерживаться от плотского единения с женщиной, но и вообще избегать женщины, даже разговора с ней, как с существом нечистым, созданным для соблазна, и царь следовал этому благочестивому совету.

Он сознавал, однако, что для спасения мало личной набожности и богоугодной жизни, надо делать добрые дела, и он всей душой стремился к этому. Он богато одаривал церкви и монастыри; при малейшем намеке духовенства, что износились облачения или не хватает утвари, он посылал новые роскошные ризы, жертвовал священные сосуды из золота и серебра, не стесняясь деньгами. Не довольствуясь этим, он задумал построить монастырь и при нем великолепную церковь во имя Архистратига Михаила, так как, по его мнению, в столице не было ни одного храма, достойного великого святого, имя которого он носил. Царь был убежден, что, создав великолепнейшее святилище Архистратигу, он тем самым приобретет его заступничество. Архитектору было приказано не стесняться никакими денежными соображениями и строить храм таких же размеров, как св. София. Через несколько месяцев церковь была почти готова, оставалось только покрыть ее куполом; требовалась не малая сумма денег на покупку меди и золота, а потом и на сооружение иконостаса и прочего внутреннего убранства. Царь приказал евнуху Иоанну выдать сколько нужно, но тут оказалось, что выдавать нечего.

— Надо повременить с постройкой,— доложил препозит,— подождать, когда поступят какие-нибудь государственные сборы.

Царь опечалился.

— А если я умру,— сказал он,— и храм останется недостроенным, что тогда?

Видя, что Михаил в горе, Иоанн предложил ему простую и быструю меру. Стоит только продавать хлеб подороже, и тогда на эти деньги можно соорудить купол. Царь осведомился, не будет ли это обременительно для народа. Евнух ответил, что народ обязан помогать самодержцу.

С этого дня хлеб стали продавать на треть дороже против прежнего. Появилось много лишних денег; скоро был готов громадный купол и великолепный иконостас, золоченой резьбе которого не могли надивиться богомольцы. Царь ликовал, что ему удалось довести богоугодное дело до конца.

Но не все в столице радовались. Были семейства, которые и раньше жили впроголодь, а теперь им пришлось сократить на треть ежедневную порцию хлеба.

## XIII

В теплую июльскую ночь на галерее, опершись о перила, стояла Анастасо. В такую ночь хочется мечтать, глядя на темно-синее небо, на блестящие звезды, на высокие кипарисы, бросавшие густую тень. Анастасо была уже не скромная бедная девушка, помогавшая отцу разливать вино, а гетера, наряженная в платье из шелка, на котором были вытканы золотом фантастические фигуры, на руках Анастасо висели браслеты, богато отделанные изумрудом, яхонтом, жемчугом.

— Все то же бесконечное небо,— думала она,— та же луна, так же горят звезды, а я не та. Сколько воды утекло, сколько изменилось за какие-нибудь шесть месяцев! Давно ли я была чиста и невинна, и чем я стала?

Действительно, с весны изменились все ее привычки, весь ее образ жизни. Руфини прожил с нею всего два месяца; она скоро надоела ему, потому что не отвечала на его ласки,— она не научилась еще притворяться. Он уехал и не счел возможным взять ее с собой: там ждала его жена. Впрочем он поступил с Анастасо благородно — на прощание подарил ей домик, доставшийся ему от одного неоплатного должника. По странной случайности, домик стоял рядом с тою лачугой, где провел молодость царь Михаил. В домике не было никакого убранства, но этим занялись сейчас же добрые люди; кто прислал ковры, кто — кровать, кто — кушетку и, таким образом, Анастасо очутилась скоро среди самой роскошной обстановки.

Еще одно обстоятельство изменило положение Анастасо. В июне умер от солнечного удара трактирщик Александр, и веселый трактир навсегда прекратил свое существование. Нельзя сказать, что Анастасо жалела об отце. Потеряв его, она стала богаче, потому что Алек-

сандр постоянно выпрашивал у нее деньги, и когда она отказывала ему, бранился и бил ее. К тому же, он заставлял ее посещать трактир, и ей приходилось проводить вечера в пьяной компании. Положим, она привыкла к обществу людей, посещавших ее отца, но она не любила слушать их циничных речей. У нее самой за ужином нередко говорили о вещах, о которых не следовало бы говорить при женщине, но, все-таки употребляли приличные выражения. У нее собирались самые видные представители столичного общества. Приходил к ней логофет дрома, епарх города, заведующий казной, а мелкие приказные так и увивались за ней, но по большей части безуспешно добивались ее ласки.

Исключение сделала она только для Пселла, несмотря на то, что он был некрасив, даже сутуловат; все смеялись над его чересчур длинным согнутым носом и над маленькими глазами зеленого цвета, точно у кошки. Но зато он был очень ласков и обходителен, и, что самое важное, несмотря на маленький чин, его милостиво принимал император. Он прекрасно знал все, что делается во дворце, а это особенно интересовало Анастасо. Пселл не походил на сановников, проводивших ночи у Анастасо, считавших неприличным распространяться в разговорах с гетерой о царе. Пселл, напротив, никогда не скупился на слова, болтал много и ничего не скрывал из того, что знал. Гетера, надеялась, что этот маленький, но юркий чиновник поможет ей осуществить ее заветное желание.

Пселл с своей стороны дорожил связью с самою блестящею константинопольскою гетерой и, несмотря на свою скупость, время от времени жертвовал ей по несколько золотых. Во-первых, благосклонность Анастасо льстила его самолюбию; во-вторых, она передавала ему множество слухов и сплетен, живо интересовавших его.

А ему было чрезвычайно важно знать заблаговременно, кому будет дано то или иное назначение, в каких отношениях находятся между собою важнейшие сановники. Затем была еще одна причина, почему Пселл посещал Анастасо и старался быть для нее авторитетом. Вообще, он относился к женщинам с величайшим презрением, считая их существами злыми и слабоумными. Но он умел искусно скрывать свои истинные чувства, и если бы

кто подслушал его задушевные беседы с Анастасо, конечно, подумал бы, что он большой ее поклонник. Дело в том, что гетера могла сослужить ему большую службу. Известно было, что его начальник, заведывавший императорскою канцелярией, без ума влюблен в Анастасо и готов сделать для нее все на свете. Пселл же очень хотел получить повышение; ему хотелось стать правителем какой-нибудь доходной провинции.

В эту июльскую ночь Анастасо стояла на галерее, освещенной луной, и мечтала о том же, о чем она мечтала почти каждый день. О, если бы еще раз, хоть один раз увидеться с ним! Может быть, сердце его не замерло окончательно, может быть, оно опять забьется, как в прежние времена. Разве порфира настолько меняет все человеческие чувства? Разве душа не остается той же? А что, если он опять будет пожираем тем же пламенем любви? Она бросит всех этих сановников, покупающих ее за деньги, она будет принадлежать ему одному. Она никого никогда не любила, кроме него; он всегда был ее царем, царем ее сердца. Только бы увидеться с ним, только бы припасть к его коленям, только бы поцеловать его пурпурную туфлю. Кто знает, может быть, он не забыл о ней, может быть, и он вспоминает о ней, может быть, как прежде, он жаждет ее ласки. Анастасо вздрогнула при этой мысли. Да, но потом, потом он полюбил другую... Может быть, все-таки он желает ее видеть, только не знает, где она, а этикет не позволяет ему разыскивать дочь трактирщика. Но если только ей удастся свидеться, о, тогда она не выпустит его, она очарует его такими чарами! Ведь, теперь она постигла искусство любви, теперь она умеет покорять мужчин. Только бы увидеться с ним, только бы раз обнять его...

Пока Анастасо мечтала на галерее, Пселл сидел у нее в комнате и тоже мечтал. Но мечты его были гораздо практичнее. Хорошо бы место протасикрита... Жалованье не Бог знает какое, но сколько возможностей! Ведь, от заведующего императорской канцелярией зависит составить документ так или иначе и дать его к подписанию. Разве царь читает всякую бумагу? А нередко люди за одно слово готовы заплатить кучу денег. Царь не может обходиться без протасикрита, он почти ежедневно

во дворце, и при таких частых свиданиях чего нельзя сделать, лишь бы только был искусный язык? Ну, а на этот счет, слава Богу, искуснее его, Пселла, не найдется никого. Убедить в том, во что сам не веришь, это для него шутка. Но подумать, что так много зависит от совершенно необразованного создания, воспитанного грубым отцом, презренным трактирщиком,— подумать, что эта гетера, не знающая стыда, может доставить благополучие ему, ритору и философу... Такова сила дьявольской красоты, такова жажда наслаждений. Да, надо ее попросить, как это ни глупо, как это ни противно. Но она ушла зачем-то на галерею. Уж не ждет ли кого? Надо поговорить, пока они вдвоем.

Пселл вышел на галерею.

— Что же ты покинула меня, прелестнейшая из смертных, Анастасо,— начал он ласковым голосом,— и заставляешь пребывать в печальном одиночестве?

— Мне трудно говорить с тобой,— ответила гетера не без иронии.— Ты философ и мысли твои парят на небесах, я же вести ученого разговора не умею.

— Красота выше ума, ей все поклоняются, она умеет направить ум куда хочет.

— Ну, полно говорить льстивые слова, расскажи лучше, что нового.

Пселл знал очень хорошо, что интересует Анастасо, и, начав издалека, перешел, наконец, к отношениям, установившимся между царем и царицей. С жадностью слушала гетера, стараясь не упустить ни слова. Анастасо с удовольствием услышала, что Михаил совсем не интересуется Зоей и почти никогда не бывает на женской половине дворца. Но ее неприятно поразило сообщение, что царь предается аскетизму. Неужели этот пылкий человек вполне отделался от своей страсти? Неужели он не способен больше трепетать при виде красивой женщины? Все-таки, надо было попытаться, и она начала осторожно подходить к этому вопросу. Ведь, только для этого она пригласила Пселла, а других просила не приходить в этот вечер.

— Скажи, любезный Пселл,— начала она, потупившись,— царь принимает только важных людей или также простых смертных?

— Вообще говоря, у самодержца бывают, конечно, управляющие приказами, которым необходимо узнать, какой оборот дать тому или иному делу; но всякий имеет право просить быть принятым царем.

— И даже женщина?

Пселл несколько удивился, но по странному выражению лица своей собеседницы, по блеску ее глаз он понял, в чем дело. Он был догадлив и повел разговор в том тоне, какой желателен был Анастасо.

— Думаю,— ответил он,— такие случаи бывали, хотя реже. Когда у женщины какое-нибудь дело, она доверяет его отцу, мужу или брату.

— А если нет ни отца, ни мужа?

— Это обстоятельство особого рода, вызывающее на размышление. Несомненно, что всякий, кто бы он ни был, имеет право подавать прошение на высочайшее имя, и такое прошение принимается сановником, стоящим во главе приказа прошений, царю подаваемых. Но нужно, чтобы было о чем просить.

— Да нужно о чем-нибудь просить,— машинально повторила гетера,— о чем же?

— За этим дело не станет, просить можно о многом.

— Но все-таки, думаешь ли ты, что царь Михаил принял бы такую женщину?

— Какую?

— Например, известную своей порочной жизнью.

— Но, ведь, прежде всего, ему неизвестно, кто добродетелен, кто нет, и нет надобности раскрывать пред ним тайну.

Пселл замолчал и, подумав с минуту, вдруг сказал:

— Вот что, прелестная Анастасо: я понял, чего ты хочешь. Доверься мне я научу тебя, как быть, и все будет сделано по твоему желанию.

— А скоро? — спросила Анастасо; которой теперь казалось, что если это не будет завтра, то совсем не будет.

— За быстроту я поручиться не могу; думаю, пройдет месяц.

— Как, ждать целый месяц?

Пселл обиделся. Он соглашался устроить такое дело, а она еще недовольна.

— Ну, как знаешь, Анастасо, если ты не можешь по-

дождать месяца, обратись к другому, тот, может быть, тебе все в один час сделает. А я отказываюсь...

Анастасо испугалась.

— Не отказывайся, милый Константин,— сказала она и поцеловала его,— у меня нет другого такого друга, как ты.

— Ну, хорошо.

— В вознаграждение за это,— сказала Анастасо,— прошу тебя поужинать,— я уже распорядилась.

Служанка внесла на серебряном блюде оливки и маслины, а также устрицы. Пселл попробовал всего и похвалил.

— Нигде не ешь с таким аппетитом, как у тебя,— сказал он.— Не знаю, происходит ли это оттого, что кушанья, подаваемые у тебя, особенно вкусны, или оттого, что приятно вкушать от яств, предложенных такою красавицей, как ты.

Затем подали жареного кабана и павлина вместе с его пестрым хвостом. Философ долго распространялся о красоте этой птицы, сравнивая ее внутренние качества, то есть вкус, с внешними, то есть прелестью разноцветного хвоста.

При этом Пселл, прилично выпив, изложил свою просьбу. Ему несколько совестно было просить о месте у гетеры, но вино окончательно успокоило его и без того гибкую совесть. Анастасо с удовольствием согласилась; она с своей стороны поручилась за успех. Протасикрит обещал быть у нее завтра, стоит быть только с ним полюбезнее; он еще недавно дал по ее просьбе тепленькое местечко одному юноше. Тем более он не откажет устроить Пселла, лично известного царю.

Анастасо осталась одна, что случалось довольно редко. Когда она засыпала, ей грезилось, что все удалось, он опять принадлежит ей и теперь уже навеки.

## XIV

Если бы Анастасо знала, что творится в душе царя, она, не испрашивая аудиенции, отправилась бы во дво-

рец. Дело в том, что на Михаила нападала минутами такая радость жизни, такая жажда наслаждения, что он не знал, как справиться с собой. Ему хотелось плясать, хохотать до упаду, бежать на улицу и принять участие в каком-нибудь народном празднике. Но все это было возможно прежде, а не теперь. Чтобы развлечься как-нибудь, он задавал пиры, но, вместо удовольствия, испытывал одну скуку. Он не мог позвать людей ему приятных, приглашались только все старшие придворные чины. А когда собирались эти важные сановники, они сидели, повесив носы, не смели раскрыть рта, пока царь сам не заговорит с своими гостями. Когда же, наконец, раскрывались сановные уста, из них ничего не выходило, кроме льстивых фраз, низкопоклонных выражений, давно ему надоевших. Хоть бы раз рассмешили как следует.

Не того жаждала душа Михаила. Ему казалось совершенно нелепым, что он живет затворником. Какая женщина посмела бы отказаться от его объятий? Какая не сочла бы это за великую честь? А, между тем, он не знает женщин. Единственная, которую он иногда видит, это Зоя. Но в ней нет ничего привлекательного,— это развратная старуха; ни за что не согласился бы он вступить с ней в прежние отношения.

Совершенно бессознательно, являлась ему красавица. Ему стыдно было сознаться в этом. Он просыпался с криком: «Прогоните ее!» Сны бывали так ярки, что он иногда сомневался, не было ли это действительностью. Но, что всего хуже, видение это преследовало его и днем.

Однажды пришел к нему брат Иоанн с докладом. Заметили какого-то странного нищего, неизвестно зачем бродившего вокруг дворца. Его схватили, допросили, даже пытали, но он ни в каких злых умыслах не сознается. Что с ним делать? Только царь может решать подобные дела.

Евнух ждал ответа, но царь, слушавший его очень рассеянно, вдруг спросил: «Кто эта красавица?»

Иоанн ничего не мог понять и молчал,— этикет не позволял ему сказать, что у царя, должно быть, галлюцинация. Михаил понял это сам и сказал брату:

— Иди, прикажи отпустить этого нищего, ведь, он мне ничего не сделал.

В иные минуты царь очень хорошо сознавал, что все это дьявольское наваждение, искушение, посылаемое ему свыше, что говорит в нем плоть, которую надо умерщвлять. Но по временам искушение становилось так сильно, что противостоять ему стоило нечеловеческих усилий.

В конце июля царь чувствовал себя особенно дурно. Как раз в это время ушел из Константинополя монах Авксентий и не было человека, который действовал бы на Михаила так успокоительно. Авксентий давно сгорал желанием поклониться Гробу Господню и несколько раз отпрашивался у царя, но тот привык видеть его ежедневно и упрашивал побыть еще с ним и не лишать его душеспасительных бесед, пока он не окреп духом. Монах уступал некоторое время просьбам самодержца, но в один прекрасный день объявил ему решительно, что уходит в Иерусалим, что царь не захочет лишить его высшего наслаждения, какое можно иметь на земле, помолиться в той Святой земле, по которой ступали божественные ноги Спасителя мира. Он стар, может умереть не сегодня-завтра, и если не осуществится его заветная мечта, ему нельзя будет спокойно умереть, и это будет на совести царя. После таких слов Михаил, конечно, не мог удерживать его долее. Авксентий ушел и царь почувствовал вокруг себя страшную пустоту. Он пробовал читать жития святых, но многие из них были написаны мудреным языком, так что он понимал не больше половины. Потом эти книги приобретали особенный интерес от толкования Авксентия, а без него они представлялись скучными.

Зачастую царь не знал, что ему делать. Никаких особенно важных дел не случилось с конца июня. Печенеги на Дунае и турки-сельджуки в Азии сидели смирно, никаких набегов не предпринимали; не было войны и, следовательно, нечем было интересоваться. В приказах тоже велось только обычное делопроизводство, обходившееся, без вмешательства монарха. Летом от жары нападала на всех апатия, почти никто из сановников не испрашивал аудиенций и, как нарочно, ни одна из соседних

держав не присылала послов,— это, все-таки доставило бы некоторое развлечение.

Никогда прежде царь не ощущал такой скуки; он по целым часам слонялся по своим покоям, не зная, что делать. Он призывал в таких случаях брата Иоанна, но беседы с евнухом скоро надоели ему. Иоанн толковал постоянно о делах, рассказывал о запутанных процессах, приводил статьи из свода законов, в которых ничего нельзя было понять.

Почти каждую ночь являлась ему во сне женщина, все та же, красавица с черными волосами и большими черными глазами. Он не знал, видел ли он ее в действительности, но он так сроднился с этим видением, что чувствовал непреодолимое желание, чтобы оно обратилось в плоть и кровь. В одну ночь, когда она опять стояла у его изголовья и гладила его по щеке, его внезапно осенила мысль. Конечно, он знал ее, он видел ее, да, конечно, это она, это Анастасо. Как он мог забыть ее? Ведь, это самая прелестная девушка, которую он когда-либо видел, ведь, она любила его. Грешно любить женщину, но он любил ее. Хотелось бы посмотреть на нее, что с ней стало.

Несколько дней царь боролся сам с собою. С одной стороны, он страстно желал увидеть ее, услышать звук ее чарующего голоса; с другой стороны, он отказался раз навсегда от каких бы то ни было сношений с женщинами, к чему подвергать себя искушению? Но прежняя страсть взяла верх и мало-помалу он успел убедить себя, что если он разыщет Анастасо, это будет доброе дело; она, может быть, в бедности, нуждается в куске хлеба, надо помочь ей.

Но как разыскать ее? Поручить это дело брату Иоанну неудобно, придется сознаться ему в связи с дочерью трактирщика; если же и не сознаться прямо, он догадается. Если бы можно было, обратиться к какому-нибудь простому человеку, это было бы хорошо. Тот, пожалуй, не догадается, а если и догадается, во всяком случае, не расскажет придворным, не посмеет рассказать. Отправиться самому в трактир, совершенно немыслимо.

Царь решил сообщить брату только половину своей затеи. Он призвал евнуха и спросил, есть ли во дворце

верный служитель, на случай, если б он захотел дать ему секретное поручение. Иоанн ответил, что такой человек есть и не раз уже оказывал ему разные услуги!

Он подумал, что царь желает отделаться тайно от кого-нибудь, кого не может и не хочет казнить явно, а потому просил его лучше довериться ему, если он замышляет важное дело.

Но Михаил отказался; ничего важного нет в том, что он задумал, это совершенный пустяк, о котором даже не стоит говорить.

— Не пугайся только наружности человека, о котором идет речь,— сказал Иоанн царю,— он уродлив, но ловок и очень аккуратно исполняет самые трудные поручения.

— Так пришли его завтра,— ответил Михаил,— перед обедом я буду, по обыкновению, сидеть в саду. Только смотри, чтобы никто не подсматривал и не подслушивал.

На следующий день царь сидел под кипарисом на золоченом кресле, которое выносили ему, когда он желал подышать свежим воздухом.

В назначенный час Михаил увидел, что со стороны дворца к нему подходит какой-то как будто знакомый человек. Царь сделал ему знак приблизиться, но когда тот пал на колени за несколько шагов до кресла, Михаил сразу узнал это зверское лицо с вырванными ноздрями.

То был Петр Иканат, высланный когда-то из столицы и им же возвращенный из ссылки в день коронации. Он не знал, конечно, что милует в числе других и этого мерзавца. Первым движением его было выгнать негодяя, оскорблявшего Анастасо, но он одумался. Не все ли равно, кто отыщет ее, он или другой; он тут, а где же взять другого? Может быть, он и не такой мерзавец, как кажется, ведь он действовал по поручению Руфини.

— Встань,— сказал царь,— и скажи, кто ты и зачем пришел?

— Великий царь,— ответил Иканат,— зовут меня Петром Иканатом, прислал меня брат твоей царственности Иоанн.

— Чем занимаешься ты?

— Служу во дворце твоей царственности. По большей

части, мою полы, но иногда светлейший препозит посылает меня с разными поручениями.

— Умеешь ли ты хранить тайну?

— Испытай, державный царь, и ты убедишься, что я твой верный слуга.

— Я желал бы послать тебя к одной девушке, ты знаешь ее, к Анастасо... Михаил потупился; он понял что сделал неловкость, давая понять, что помнит негодяя.

— Анастасо? Гетеру Анастасо я знаю, царь.

— Как смеешь ты? — закричал Михаил и сжал кулак, как будто собираясь ударить Иканата.— Гетеру! Неужели ты думаешь, собака, что твой царь может вступить в какие бы то ни было сношения с позорною женщиной? Я говорю о девушке стыдливой и невинной, о дочери трактирщика. Ты понял?

— Понял, великий царь. Прости,— проговорил Иканат едва слышно, бросившись на колени. Он страшно перепугался, ему показалось, что вот сейчас снимут с плеч его голову.

— Ну, так и быть, прощаю, но смотри, не употребляй неосторожных слов. Так вот найди Анастасо. Я никогда ее не видал,— сказал Михаил и покраснел при этом,— но мне много говорили о ней и я хочу что-нибудь сделать для нее. Ты знаешь, где она живет?

— Знаю, царь.

— Скажи ей, чтобы завтра, в среду, она пришла ко мне.

— Слушаю, державный царь.

— Смотри, никому не рассказывай об этом; если ты исполнишь исправно это поручение, получишь пять золотых. А теперь иди.

Петр Иканат еще раз поклонился до земли и, уходя, проворчал про себя: «Ты забыл, Михаил, как мы встретились с тобою в трактире! Я еще сказал, что, может быть, пригожусь тебе; и вот ты царь, а я ничтожный червь и, все-таки, ты нуждаешься во мне!».

Таким образом, хлопоты Пселла оказались лишними. Он ходил к царскому спальнику, семидесятилетнему Пафнутию, служившему еще при блаженной памяти царя Василия и затем при Романе, а потому хорошо знавшему все тонкости придворного этикета. Пафнутий

рассказал, что всякое творилось во дворце, бывали и любовные интриги и женщины приходили; но что касается ныне царствующего Михаила, он подобными грязными делами, слава Богу, не занимается и примера не было. Затем, Пселл имел продолжительный разговор с евнухом Иоанном. Он намекал, что это, должно быть что-то политическое, может быть, какой-нибудь заговор. Евнух Иоанн поручил Пселлу подробнее разузнать, в чем дело, и привести эту женщину к нему; он не видел надобности устраивать ей свидание с царем, не выслушав ее предварительно. Таким образом, Пселл не добился ничего и понял, что ему всего лучше попросить аудиенцию у царя и навести его самого на мысль о свидании с Анастасо.

Во вторник вечером Пселл пришел с этими вестями к гетере. Каково же было его удивление, когда она рассказала ему о приглашении явиться во дворец.

— А я думала, что это ты устроил мне,— прибавила она,— и мысленно благодарила тебя.

«Экий я дурак,— подумал Пселл,— надо было сказать, что это благодаря моим хлопотам, она поверила бы, а теперь мне не видать места».

Но скоро он успокоился; оказалось, что Анастасо поступила благородно и, не дожидаясь его услуги, просила уже за него протасикрита; желанное место было обещано ему.

## XV

В среду, 24 июня, два человека ждали с одинаковым трепетом, когда солнце начнет склоняться над горизонтом. Накануне царь посылал во второй раз к Анастасо с приказанием прийти в сумерки. Ему казалось, что в это время дня свидание их будет менее замечено и возбудит во дворце менее толков, чем если бы оно происходило при дневном свете.

Анастасо с утра занималась своим туалетом. Ее служительница и поверенная Екатерина вынула из сундуков весь гардероб. Обе женщины долго совещались, какое платье надеть, потому что гетера, в отличие от царя, не

скрывала предстоящего свидания, а, напротив, хвасталась, что ее зовут во дворец. Наконец, остановились на белой тунике, которая больше всего шла к ее черным, как смоль, волосам. Анастасо примерила тунику, тщательно осмотрела, нет ли где пятна. В этих хлопотах прошло часа три, оставалось еще много времени. Она села обедать, но аппетит пропал от волнения. Она присела на кушетку и начала представлять себе, что будет говорить ей царь и что она будет отвечать ему.

Не меньше ее волновался царь Михаил. Он испытывал то же, что испытывает молодая девушка, идущая в первый раз на любовное свидание. Одно обстоятельство больше всего смущало его. Что такое сказал этот подлый человек: гетера Анастасо! Неужели это правда? Сорвалось ли это так с языка презренного человека, везде видящего грязь, или, может быть, есть другая Анастасо, и та действительно гетера? Во всяком случае, было страшно,— присутствие продажной женщины осквернило бы дворец.

Михаил то и дело подходил к окну и посматривал на солнце; когда оно стало склоняться к западу, он почувствовал давно неиспытываемую радость. В это время блюститель императорской чернильницы прислал узнать, не соблаговолит ли державный царь принять его, так как желательно, чтобы он подписал как можно скорее одну важную бумагу, присланную протасикритом. Михаил ответил, что у него болит голова и он никого теперь принять не может; он боялся, что сановник при этом случае обратится с какою-нибудь просьбой и в его присутствии будет неловко пустить Анастасо.

Царь сидел на малом троне, на котором ему полагалось сидеть во время обыкновенных аудиенций, когда вошел старший кубикуларий Пафнутий и доложил:

— Великий царь, одна женщина, именуемая Анастасо, молит, чтобы царственность твоя...

Михаил не дал ему договорить:

— Введи эту женщину сюда, а сам удались.

Когда вошла Анастасо в белом платье с голыми руками и обнаженною шеей, царь был так поражен ее красотой, что встал с трона и хотел было идти к ней на встре-

чу; он чуть не забыл этикета, но сейчас же опомнился и сел.

Анастасо бросилась на пол и прильнула к его колену. Она долго не отрывала губ, а царь был до того смущен, что смотрел на нее молча и даже не просил ее встать. Наконец, она встала сама и, потупив глаза, ждала, что царь скажет ей что-нибудь.

— Я рад,— сказал он,— что ты обратилась ко мне, и если возможно будет, я сделаю все для тебя. Изложи же мне свою просьбу.

Теперь Анастасо оказалась в затруднительном положении,— просьбы она никакой не заготовила, узнав, что царь сам желает ее видеть.

— Державный царь,— начала она,— прости великодушно. Я желала быть принятой тобой, но я не посмела бы тревожить тебя каким-нибудь пустым делом, а важных дел у меня быть не может.

— Не бойся, говори, что могу я сделать для тебя? Проси какого хочешь благодеяния.

— Царь, ты оказал мне уже величайшее благодеяние, ты разрешил мне прийти сюда, я жаждала увидеть твои ясные очи, услышать звук твоего чудного голоса...

«Не мои, а ее очи ясные,— подумал Михаил,— не мой голос чарует, а ее»,— и почувствовал внезапно прилив такой нежности, что ему стоило большего труда не поцеловать Анастасо, как это ему хотелось сделать.

— Послушай,— сказал он,— забудь, что ты говоришь с царем, представь себе, что я равный тебе, что я тот прежний Михаил...

— Не могу осмелиться на это,— ответила Анастасо.

— Вот что,— прервал ее Михаил,— уйдем из этого пышного триклиния,— здесь принимаю я иностранных послов, здесь сижу в порфире и здесь я не могу забыть ни на минуту, что я самодержец ромейский, а я хотел бы забыть это.

Гетера с удивлением взглянула на своего возлюбленного, достигшего теперь такой высоты и желающего опять стать простым смертным: глаза его блестели, все лицо было залито ярким румянцем. Царь встал и молча пошел в спальню; Анастасо шла за ним, не смея за-

говорить. Михаил сел и, указывая рукою на место возле себя, сказал:

— Садись, Анастасо, и будем говорить как прежде, будем опять друзьями. Скажи, что ты делаешь, здоров ли твой отец?

— Он умер.

— Я не знал; так ты живешь одна?

— Да.

— Довольно ли у тебя денег, чтобы жить?

— Я не нуждаюсь.

— Должно быть, отец оставил тебе хорошее наследство.

— Порядочное,— солгала Анастасо. Она чувствовала, что разговор принимает опасный оборот. Если царь догадается, чем она стала теперь, то сейчас же выгонит ее. Нужно было заговорить о другом.

— Каждое утро, когда я встаю,— поспешно заговорила она, не дожидаясь дальнейших вопросов,— я молюсь за тебя,— молюсь; да сохранит Господь Бог на многие лета державного царя Михаила, молюсь и вижу твой образ пред собою, как живой.

— А ты являлась мне не раз во сне; теперь я вижу, что на самом деле ты еще красивее.

Михаилу опять страстно хотелось обнять ее, но он снова удержался.

— Так ты не забыл меня, царь? — радостно воскликнула Анастасо.— А я была уверена, что ты видишь других женщин, знатных и красивых, что ты не думаешь больше о ничтожной Анастасо.

— Ты ошибаешься, я никогда не вижу никаких женщин, я избегаю их. Помыслы мои чисты, и я не оскверняю своего тела.

— Разве любить это значит осквернять тело?

— Да, плотская любовь греховна; она марает всякого,— беги ее, бойся ее, Анастасо.

Гетера заметила, что она совершила большую неловкость, наведя царя на подобные мысли. Пыл его как будто начал остывать, пожалуй, все пропало. Михаил молчал несколько минут. Анастасо не находила подходящей темы для разговора, но, она как бы нечаянно подвинулась ближе к царю и ее обнаженные руки ка-

сались его рук. Потухший было взгляд Михаила опять заблестел, на побледневших щеках снова начал появляться румянец.

— Ты любишь золотые вещи, царь? — спросила Анастасо.

— Люблю, когда они красиво сделаны.

— Посмотри мой браслет, находишь ли ты его красивым?

Михаил начал рассматривать браслет, надетый на левой руке Анастасо.

— Нет, не этот, посмотри этот, на правой руке.

Царь сидел слева от Анастасо и ему пришлось нагнуться в ее сторону Давно уже не ощущал он прикосновения женского тела, и он задрожал так сильно, что гетера испугалась. «Как бы с ним не случилось припадка»,— подумала она.

— Хорошо сделано это украшение,— с трудом проговорил Михаил.— Кто же подарил тебе его?

— Подарил еще покойник отец,— опять солгала Анастасо.

— Я тебе подарю лучше,— неожиданно для самого себя сказал царь.

— Подари,— ответила Анастасо,— я не буду расставаться с ним ни днем, ни ночью.

— Хорошо, подарю.

Царь весь горел, он хотел говорить, язык не повиновался ему, он хотел обнять ее, но руки не слушались.

— Хорошо, подарю,— опять повторил он, помолчав несколько минут.

Тогда Анастасо показалось, что наступила решительная минута; она опустилась на колени и начала страстно целовать его ноги. Михаил не выдержал, он поднял ее и посадил к себе на колени. Он не рассуждал больше,— жажда любви охватила все его существо.

— Ты помнишь, как хорошо было прежде,— лепетал он,— когда мы сидели вдвоем. Неужели это не может повториться?

— Отчего же не может?.. Милый Михаил... это зависит от тебя. Я была бы слишком счастлива.

Его жгли ее поцелуи, он забыл о своей решимости никогда не приближаться ни к одной женщине, как

вдруг вспомнил страшные слова Петра Иканата. Он оттолкнул Анастасо и отошел в сторону, тяжело дыша. Гетера смотрела на него с удивлением, она не могла понять, что с ним.

— Послушай, Анастасо,— сказал царь, не глядя на нее,— одна мысль мучит меня и не дает мне покоя. С тех пор, как мы расстались с тобой могло случиться многое. Скажи, правда ли это, правда ли, что другие ласкали тебя?

Анастасо хотелось солгать, но она не смогла этого сделать. Лучше сознаться ему,— он такой добрый, он простит.

— Правда, другие ласкали меня, но я никогда никого не ласкала. Я люблю тебя одного, Михаил.

Она бросилась к нему, забыв, что он царь. Он смотрел на нее, но уже не прежним страстным взглядом, казалось, страстное волнение исчезло; он хотел что-то сказать, но не находил слов. Тогда Анастасо обхватила его за талию и сжала его в своих объятиях. Но Михаил высвободился из них и закричал:

— Ты гетера, отойди!

Анастасо растерялась, для нее гетера не было страшным словом.

— Отойди! — закричал он еще раз,— помни, царь ромейский не может иметь ничего общего с блудницей!

Крик этот услышал старший кубикуларий, сидевший по соседству с царскою спальней. Предчувствуя что-то недоброе, он не ожидая зова бросился в спальню. Царь лежал на полу и бился в страшном припадке. Анастасо стояла возле него; она хотела помочь ему и не знала, что делать. Вместо помощи, она зарыдала. Кубикуларий был возмущен присутствием этой женщины.

— Уходи скорее,— сказал он.

— Разреши мне остаться,— просила Анастасо,— я могу быть полезна.

— Остаться? Не забывай, что ты презреннейшая из женщин, не место тебе во дворце великого самодержца.

Он взял за руку Анастасо и вывел ее из комнаты.

Несколько дней после этого гетера предавалась отчаянью. Теперь все пропало.

В тот же вечер поползли сплетни по дворцу. Кубику-

ларий передавал то, что он видел собственными глазами. Выходило, что царь просто лицемер. Он старается казаться набожным, добродетельным, даже аскетом и вдруг такое... Гетера в царской спальне! Будь это еще другая женщина, а то Анастасо, которую знает вся столица. Нашлись наивные люди, которые спрашивали, не была ли она у царя по какому-нибудь делу. Но, во-первых, у гетеры никаких дел не может быть; во-вторых, когда у женщины является какая-нибудь тяжба, или другое дело, то она поручает его мужчине; наконец, нашли след, ясно указывающий, что тут происходило. На кушетке в царской спальне оказался золотой браслет, какие носят женщины. Один из служителей взял его себе и не знает, как быть. Его могут заподозрить в воровстве, но нельзя же отдать его царю. Это напомнит о том, о чем надо позабыть.

Благодаря придворным, о приключении во дворце скоро узнал весь город. От этого выиграла Анастасо. Известность ее возросла, все интересовались гетерой, сумевшей завлечь самого царя. Но император Михаил значительно проиграл в общественном мнении. Какое же он имеет право так строго судить своих подданных, бранить их за малейшее отступление от правил нравственности, карать за внебрачное сожительство, когда он сам позволяет себе вводить во дворец развратную женщину? Можно уважать аскета, но можно ли уважать лицемера, прикидывающегося аскетом?

## XVI

На следующий день царь Михаил был в самом мрачном расположении духа. Он размышлял обо всем случившемся и чем больше думал, тем становилось яснее, что его искушал дьявол. Ему было невообразимо тяжело при мысли, что он поддался искушению; хорошо еще, что, в конце концов, он устоял. Бог спас его, наслав на него болезнь. Факт этот имел несомненно еще другое значение. Припадки продолжаются, и это доказывает,

что он не исцелился еще душой. Надо бороться, надо искупить грех. Теперь к старому греху прибавился еще новый, ибо, как ни толкуй, это грех. В житиях святых он не раз читал о подобных искушениях, злой дух всегда борется с Богом. Но святые не поддавались искушению, в них было довольно силы, чтобы победить лукавого. А он все еще так слаб. Обнимать женщину — это великий грех, да еще — гетеру. Если идти по этому пути, попадешь прямо в ад. Надо спастись во что бы то ни стало, надо искупить новый грех.

Прежде всего, царь сделал богатое пожертвование в Афонскую лавру, братия которой славилась своею строгою, богоугодною жизнью; он послал облачение игумену и нескольким священникам, да, кроме того, чашу из чистого золота и денег. Наступал Успенский пост, и царь решил провести его в особенно строгой молитве и покаянии. Он отправился в Солунь поклониться мощам св. Дмитрия Солунского и просить у него исцеления души и тела. Известно было, что этот угодник творит чудеса и исцелил уже не одного больного, которого врачи считали неизлечимым. Царь пробыл в Солуне весь пост, в это время припадки с ним не повторялись, и он вернулся в столицу с тайною надеждой, что св. Дмитрий изгнал из него болезнь навсегда. Но тут сообщили ему новость, которая сильно его потрясла.

После бурной сцены между Михаилом и Зоей, происшедшей на Святой, царица жила на своей половине в полнейшем уединении, не имея никаких сношений с царем. Зоя не принадлежала к тем женщинам, которые способны долго любить без надежды на взаимность. Она действительно любила Михаила, но когда он нанес ей оскорбление, страсть сменилась ненавистью. Она ненавидела его теперь так же, как ненавидела прежде своего первого супруга Романа. В беседах с патрикией Евстратией она выражалась о нем очень резко. Что это за царь, это даже не мужчина, это евнух на престоле. Евстратия разделяла ненависть своей госпожи. Она соболезновала и утешала, но, все-таки, скучно было проводить с ней целые дни. Приготовление ароматов занимало много времени, но, тем не менее недоставало чего-то.

С удовольствием узнала она, что царь удаляется из

столицы. Нельзя ли воспользоваться этим и осуществить заветное желание? А заветным желанием ее было увидеться с Константином Мономахом. Михаил сделал его императорским казначеем, и всякий раз, когда Зоя требовала денег, к ней присылали Мономаха. Но свидания эти никогда не происходили наедине, при них почти всегда присутствовал брат царя Иоанн, а если он не приходил, во всяком случае, должна была быть патрикия Евстратия и другие придворные. Однако, достаточно было увидеть Константина Мономаха, чтобы плениться его красотою; не даром же его сравнивали с Ахиллом. Зоя с первого же взгляда воспылала к нему страстью, и чем труднее казалось удовлетворить ее, тем больше она разгоралась. Она не делала до сих пор никаких серьезных шагов, потому что боялась Михаила. Он объявил ей через брата самым оскорбительным для нее образом, что не потерпит во дворце распутства. Он царь и все может сделать: он может насильно постричь ее, сослать на какой-нибудь пустынный остров, пожалуй, даже казнить. Кто в силах помешать ему? Сам по себе царь не был бы так страшен, если бы не брат его Иоанн. Известно, что у него повсюду шпионы, он умеет узнавать самые секретные дела. Михаил, может быть, ничего не узнал бы, но евнух... Царь уехал, это, во всяком случае, хорошо; сановники трусы и присутствие во дворце монарха нагоняет на них страх. Но остается евнух... Надо найти человека более ловкого, чем он сам, который сумел бы провести даже его. Зоя долго думала, кто мог бы ей устроить все это, и, наконец, нашла. Пселл хитрее всякого хитреца, он способен надуть самого опытного плута; пусть он возьмется за это дело.

Пселл был единственный мужчина, которому разрешалось посещать гинекей для развлечения, безо всякого дела. Несмотря на юные годы, он написал уже философский трактат, принесший ему известность. В сочинении этом не было ни одной оригинальной мысли, оно представляло выписки из новоплатоника Прокла, но этого никто не заметил, и Пселла стали звать знаменитым философом. Царь думал, что возвышенный разговор философа может быть полезен Зое, и потому ей позволено было звать к себе Пселла, когда вздумается. Нередко

пользовалась она своим правом, потому что знаменитый философ был единственный человек, сообщавший ей городские новости. Пселл очень дорожил этою привилегией, он надеялся даже, что из этого может что-нибудь выйти. Хотя Михаил был гораздо моложе своей супруги и нельзя было ожидать, что он умрет раньше ее, тем не менее, она была истинною царицей, последним отпрыском славного македонского дома. Поэтому Пселл всячески старался понравиться царице, он писал ей напыщенные панегирики и хвалил ее красоту, доброту и тысячу других добродетелей. Однако, беседа с ним, видимо, нравилась ей, но на этом все и заканчивалось. И вот в откровенную минуту она созналась ему, что Константин Мономах произвел на нее сильное впечатление. От досады философ чуть было не начал бранить Мономаха, но поостерегся, зная чувствительность женского сердца. С этой минуты в душе его закипела злоба на счастливого соперника.

Вскоре после этого случилось обстоятельство, еще более возбудившее Пселла против Мономаха. Философ написал длинную похвальную речь и преподнес ее царю, расхвалив его до небес; он в конце намекал, что ученые, составляющие славу государства, живут очень бедно, часто нуждаются в куске хлеба, и что прежние монархи щедро вознаграждали людей науки за их труды. Царь понял намек и, узнав, что Пселл занимает небольшое помещение у одного купца и желал бы иметь свой дом, обещал подарить ему таковой, если в его казне найдутся лишние деньги. Он спросил об этом заведующего императорскою казной Мономаха и тот посоветовал царю не делать такого щедрого подарка, в его казне остается совсем немного денег, так как на постройку церкви св. Михаила истрачена большая сумма.

Как только царь отбыл в Солунь, Зоя пригласила к себе Пселла и сообщила ему, что желает повидаться с Мономахом; но так как она имеет к нему секретное дело, то при свидании этом не должен никто присутствовать. Зоя обещала ему богатую награду, если он устроит это так, что евнух Иоанн ничего не узнает. На этот раз Пселл не спросил даже, какая будет награда. Он чувст-

вовал, что представляется возможность подставить ножку своему приятелю Мономаху. Тот действительно считал философа своим приятелем с тех пор, как они встретились на пирушке у Анастасо, и Пселл как бы нечаянно стал расхваливать гетере необыкновенные способности Мономаха.

Прежде всего, надо было убедить патрикию Евстратию, не соглашавшуюся на столь рискованное дело. Когда Зоя намекнула ей о своем плане, она стала умолять царицу не нарушать приличия столь явно. Евнух Иоанн строжайше приказал ей блюсти нравственность царицы и грозил, что она сейчас же будет лишена места и выслана из столицы, если только обнаружится, что она потворствует чему-нибудь непристойному. Кроме того, она, по своим воззрениям на жизнь и нравственность не сочувствовала подобным проделкам. Евстратия, жена патрикия Критовула, овдовела после пяти лет замужества, когда ей было всего двадцать лет. С тех пор прошло почти четверть века и она ни разу не изменила памяти мужа. Она вообще не любила мужчин, находя их грубыми, думающими только о животных наслаждениях. Единственный мужчина, которого она исключала из числа этих не симпатичных существ, это Пселл. Он сумел найти чувствительные струнки ее души и постоянно играл на них. Патрикия Евстратия хвасталась тем, что несмотря на свою красоту, а она была действительно красива,— она сумела остаться чистой и невинной. Пселл рассказал ей историю Пенелопы и указывал на то, что это идеал женщины. Он хвалил ее нежную, белую кожу и удивлялся, как могла патрикия не поддаться искушению. Он прикидывался таким целомудренным, с таким ужасом говорил о всякой безнравственности, что Евстратия была уверена, что он сам невинен. Она собиралась выдать за него свою племянницу — сироту.

Поэтому Пселлу не трудно было убедить Евстратию в чем угодно. Переговоры его и на этот раз были удачны как всегда. Он очень долго, запутанно доказывал ей, что первая и главная обязанность подданного угождать царям, далее, что не следует осуждать ближнего. Нет надобности предполагать, что у царицы непременно дурные намерения, ведь, может быть, она желает сделать

что-нибудь хорошее. Разве свидание между мужчиной и женщиной должно быть непременно любовным? Разве не беседует он наедине с нею, Евстратией, не имея, однако, в голове никаких преступных мыслей? Наконец, он обещал ей придать всему делу такой оборот, что и она, и царица окажутся невинными. Патрикия, убежденная красноречием молодого философа, решилась не мешать Зое и делать вид, что ничего не видит.

Оставалось только известить Константина Мономаха. Пселл отправился к нему и сообщил, что царица, как ему точно известно из достоверного источника, пылает к нему самою страстною любовью.

— Не пренебрегай этим,— сказал философ,— говорю тебе, как приятель приятелю: она не очень молода, это правда, но она царица.

— Было бы безумием отнестись с пренебрежением к державной Зое,— ответил Мономах.

— Но ты понимаешь, продолжал Пселл,— что по свойственной женщинам стыдливости она не решается назначить тебе свидания, ты должен добиться этого сам, как бы помимо ее воли.

Мономах находил, однако, что это невозможно.

— Можно влезть ночью в дом красавицы,— говорил он,— и я это делал, но нельзя врываться во дворец.

— Все можно — ответил Пселл,— когда умеешь умно обставить дело. Хочешь, я помогу тебе? Хотя я и ничтожный чиновник, но у меня много знакомых среди придворных служителей. Доверься мне.

Мономах имел неосторожность довериться своему приятелю Пселлу.

В ночь на 2 августа императорский казначей стоял у маленькой дверцы в задней части дворца. Было совсем темно. Вдруг кто-то взял Мономаха за руку и незнакомый голос сказал: «Иди за мной!» Мономах повиновался, хотя ему было жутко, он понятия не имел о том, кто его ведет, в темноте нельзя было даже различить, мужчина это или женщина. «А вдруг это западня?» — подумал он. Его провожатый, очевидно, очень хорошо знал дворец, он ощупью пробирался по каким-то, должно быть, потайным ходам; в некоторых местах было так

низко, что приходилось нагибать голову. Потом стали взбираться по лестнице. Потом он, наконец, остановился.

— Перед тобой занавес,— сказал он,— отдерни его и ты попадешь, куда нужно.

— А как же я выйду отсюда? — спросил Мономах.

— Стань опять на это же место и скажи: «Иду»,— и я провожу тебя.

Мономах отдернул занавес и очутился в спальне царицы, слабо освещенной одной свечой.

Зоя сделала вид, что она удивлена и оскорблена, и вскрикнула,— впрочем, не слишком громко. Мономах бросился на колени и стал умолять простить его дерзость. Прощение ему было дано и все прошло гладко.

На другой же день Петр Иканат имел таинственный разговор с евнухом Иоанном. Он сообщил ему, что во дворце творится что-то странное; он видел собственными глазами, как ночью в спальню царицы пробирался какой-то человек. Кто это, он не знает, но может поклясться, что кто-то был.

Действительно, он ошибиться не мог, потому что это и был тот самый незнакомец, который проводил Мономаха во дворец. Уговорил его сделать это Пселл, пообещавший ему несколько золотых. Сперва Иканат отказывался и согласился только тогда, когда Пселл доказал ему, что он ничем не рискует. Он знает все ходы во дворце, ему, Иоанн доверил ключи от дверей, следовательно, провести кого-нибудь во дворец так, чтобы не попасться на глаза страже, ему ничего не стоит. Затем он донесет об этом Иоанну и, конечно, получит и от него награду за раскрытие злоупотребления. Петр Иканат согласился, хотя и не знал, кого собственно он проведет к Зое, Пселл не счел нужным посвящать его в эту тайну.

Через неделю, было назначено новое свидание, состоявшееся таким же образом, как и первое. Евнух Иоанн спал, когда к нему пришел Иканат и разбудил его.

— Если хочешь убедиться сам,— сказал он,— встань и подойди к покоям Зои.

Бесстрастному евнуху разрешено было занимать комнаты, прилегавшие к гинекею. Он тихо прокрался к

занавеси, отделявшей спальню царицы от залы, и осторожно просунул голову.

Как только вернулся из Солуни царь, Иоанн сообщил ему о том, что произошло во дворце в его отсутствие. Михаил был взбешен. К чему же существует толпа евнухов? Куда смотрела Евстратия? Как же можно было допустить до этого? Надо строго наказать виновных. Подобного безобразия он терпеть не может. Если об этом узнают в городе, будут винить его: он — муж, он обязан следить за поведением жены, не позволять ей безнравственных поступков. Она не умеет держать себя как подобает царице, пусть в таком случае, удалится в монастырь. Иоанн старался успокоить его. Надо прежде всего произвести расследование: кто виноват Мономах, или Зоя. Не мешает пощадить последнюю, ее любит народ, он называет ее своею матушкой и родною царицей; в том случае, если с ней будет поступлено слишком строго, легко может вспыхнуть восстание.

Царь согласился. Началось расследование. На Михаила вдруг нашло сомнение, не взвел ли Иоанн напраслину на Зою? Тогда евнух сообщил, что во дворце есть еще человек, который может подтвердить этот печальный факт.

Когда вошел Петр Иканат, царь поморщился. Всегда, когда замешан этот человек, случается какая-нибудь мерзость. Иканат поцеловал крест и евангелие и рассказал, что знал. После этого не могло быть никаких сомнений. Оставалось допросить самого Константина Мономаха. Он не отрицал, что был два раза во дворце в ночное время. На вопрос, звала ли его царица, он ответил категорически, что нет, не звала, он сам по собственной инициативе решился на дерзкое дело. Этого было достаточно.

Таким образом, оказалось, что царица подверглась искушению Мономаха. Она виновата только в том, что не устояла по свойственной женщинам слабости. Поэтому покарать нужно было, прежде всего, сановника. У него конфисковали имущество, а самого его сослали на остров Митилену. Зое сделано было строжайшее внушение, что если еще раз повторится что-нибудь подобное, она будет немедленно заточена в монастырь. Царь долго

и горько плакала, жалуясь на судьбу, так беспощадно отнимающую у нее любимых людей. Но она не переставала мечтать, как бы вернуть из ссылки красавца Мономаха.

Патрикия Евстратия отделалась легким замечанием. Ей следовало выгнать сейчас же дерзкого сановника. Но так как было удостоверено, что не было предварительного уговора между Зоей и Мономахом и, к тому же, Евстратия никакого участия не принимала, ее не лишили места. После этого она уверовала еще более в великий ум Пселла и предложила ему в жены свою племянницу. Но тот отказался, находя, что у нее мало приданого.

Вполне доволен остался всем происшедшим один Пселл: он отомстил. Наказана и царица за то, что не выбрала его.

## XVII

Прошло шесть лет.

Перед царем Михаилом лежала толстая рукопись, украшенная рисунками и переплетенная в богатый серебряный переплет. Он читал слово Григория Богослова. Он закончил читать и стал размышлять о ничтожестве человека пред Богом, о бренности и о греховности земного существования... Жизнь коротка, надо постоянно думать о смерти, надо предстать пред Вечным Судьею по возможности чистым, надо непрестанно иметь пред глазами свои грехи, надо оплакивать их, делать добрые дела.

За эти шесть лет царь очень изменился. Он похудел, со щек исчез румянец, прельщавший некогда Зою. В волосах и бороде появилась седина, несмотря на то, что ему только что минуло тридцать лет. Но еще больше изменился он внутренне, он как будто умер для всего земного, ежедневно думал о смерти; государственные дела нисколько не волновали его, он и их причислял к суете сует. Он пристрастился к чтению отцов церкви, его любимыми собеседниками стали: Василий Великий, Гри-

горий Богослов, Иоанн Златоуст. С придворными он говорил не охотно, он принимал по необходимости сановников, когда они настоятельно требовали этого, но сам никогда не приглашал их.

Когда он вспоминал о своей прошлой жизни, она представлялась ему смешной и нелепой. Не глупо ли было мечтать о престоле, когда все мы, цари и нищие, одинаково умрем? Богачу труднее попасть в царство небесное, чем бедному. Прежде всего, надо душу спасать, а не думать о теле. Между тем, он совершил то, что может сделать только безумец, он соблазнился женщиной и потом убил ее мужа. Несмотря на то, что это было давно, Михаил не мог вспоминать о преступлении без содрогания. Да, это два великие греха. Очевидно, в этой женщине сидел демон, очевидно, его искушал лукавый, но не надо было поддаваться искушению, грех — следовать дьяволу и его советам. Бог наслал на него злого духа, чтобы испытать его, и он оказался великим грешником. Он пал и после этого вся жизнь его должна быть искуплением греха.

Он старался делать добро, но старания его не увенчались успехом. Три события, случившиеся в этом году ясно показали царю, что все недовольны его царствованием.

Осенью печенеги перешли через Дунай. Начальник придунайских городов прислал в столицу вестовщиков, сообщивших, что империи грозит серьезная опасность. Этот дикий скиоский народ поднялся в огромном количестве; это настоящее переселение, они идут со своими женами и детьми, со всем домашним скарбом. Необходимо остановить это движение, а то они заполнят империю. При этом известии все перепугались. Евнух Иоанн советовал царю принять меры как можно скорее, с чем тот и согласился. Стали набирать войско и вместе с норманнской дружиной и наемным армянским корпусом удалось снарядить пять тысяч воинов. Но солдаты сами по себе не могут одержать победы, если во главе их не стоит опытный и способный главнокомандующий, кому же доверить начальство над войском? Для решения этого вопроса царь созвал совет; все единогласно указывали на Манака, он одержал уже две блестящие победы,

одну в Сицилии, другую около Едессы. Он доказал на деле свою талантливость; кроме того, он пользуется большою популярностью в войске. Царь не имел ничего против назначения Манака; но по окончании совета брат Иоанн просил выслушать его и стал доказывать, что, назначив этого полководца, он может погубить империю. Дело заключается в том, что как раз накануне у евнуха произошло столкновение с Манаком. Они говорили о некоторых предполагавшихся новых назначениях. Манак не соглашался с Иоанном, он был вспыльчив и наговорил евнуху грубостей, а в конце разговора назвал его лукавым советником царя и, закричав: «Ты думаешь исключительно о своем благе, а не о благе государства!» вышел из комнаты, даже не поклонившись брату царя. Такое оскорбление не могло оставаться без наказания, и хотя евнух отлично знал, что нет полководца храбрее и способнее Манака он отговорил царя сделать его главнокомандующим и посоветовал ему назначить на столь ответственный пост Константина Кавасилу, который до тех пор ничем не отличился, если не считать отличием его необыкновенное умение играть в кости.

Результат был самый плачевный. По незнакомству с местностью и самыми элементарными правилами стратегии, Кавасила попал в засаду около Ловчи. Печенеги окружили его со всех сторон: из пяти тысяч половина была перебита, часть уведена в плен и только около тысячи человек удалось спастись бегством. Сам главнокомандующий бежал с поля битвы. После этого поражения немыслимо было продолжать войну. Печенегам предложили огромный выкуп, лишь бы они согласились заключить мир, и были рады, когда они приняли эти условия.

Несчастная битва под Ловчей произвела удручающее впечатление на столичное население; особенно на самого царя. Очевидно Бог наказал его за грехи. Он не захотел даровать ему победу.

Через месяц после этого пришло в столицу еще другое, не менее печальное известие. Крестьяне села Ацикоми во Фракисийской феме отказались платить пода-

ти, напали на практора * и убили его. Царю донесли об этом, но почему произошло столь печальное событие, никто не знал. Вызвали судью Фракисийской фемы Пселла и от него ждали разъяснения.

Пселл уже несколько лет жил в провинции. Он был назначен судьей, благодаря протекции Анастасо, и хотя по табели о рангах его новое место не было выше прежнего занятия, но должность судьи была гораздо прибыльнее. Он не только судил, но и заведывал также всею гражданскою частью, ему были подчинены сборщики податей и представлялось много случаев собрать кое-что в свою пользу. Когда царь узнал о желании Пселла, он с удовольствием назначил его. «Кто,— думал он,— будет судить правильнее, относиться к народу гуманнее, как не молодой ученый, изучающий Платона и Аристотеля?» И вдруг оказалось, что в его управление взбунтовался народ. Злые языки, еще ничего не зная, утверждали, что, должно быть, убитый практор занимался вымогательством и, вероятно, не без ведома судьи.

Как только судно, привезшее Пселла, пристало к дворцовой пристани, прислан был служитель, потребовавший судью к царю. Наскоро переодевшись, Пселл явился в триклиний, где его ожидал Михаил, в первый раз в жизни философ трепетал в ожидании аудиенции.

Царь встретил его сурово.

— Что приключилось во вверенной тебе феме? — спросил он.— Здесь все думают, что ты виноват.

— Державный царь, конечно, я виноват, но не в том, в чем думают: я виноват, что взял к себе такого чиновника, каким оказался убитый Никифор Кенхри.

— Расскажи по порядку, как было дело, не утаивай ничего и не лукавь.

— Буду говорить перед тобой, как пред Богом. Ты помнишь, великий царь, что по указу твоей царственности, состоявшемуся около полугода тому назад, повелено увеличить поземельную подать на четверть.

— Да, знаю,— сказал царь и задумался.— Мне необходимо восстановить храм св. Дмитрия в Солуни. Это великий угодник, а если бы ты видел, в каком положении

---

* Практор — сборщик податей.

находится его святилище, ты ужаснулся бы: купол обрушился, служат под открытым небом, дождь заливает алтарь, где приносится бескровная жертва. Кроме того, я хочу построить монастырь целителю Пантелеймону, такую обитель, которая по красоте и величию превосходила бы все теперешние постройки. На это требуется много денег; брат предложил мне увеличить подати; он говорит, что это не будет обременительно для народа, казна моя пуста и при настоящем ее положении невозможно осуществить задуманного мной богоугодного дела.

— Прости, державный царь, если я скажу тебе откровенно, я так предан тебе, что считаю обязанностью предостерегать тебя...— Пселл помедлил, он не решался, представлялся удобный случай поколебать доверие царя к евнуху, но вдруг он не поверит и рассердится?

Заметив колебание Пселла, царь попросил его говорить всю правду.

— Столичные жители,— начал Пселл,— не всегда хорошо знают условия деревенской жизни и легко могут заблуждаться и ввести в заблуждение самодержца. Как можно утверждать, что четверть незначительная и необременительная надбавка? Это может показаться здесь, где не привыкли считать деньги, но крестьянин не скоро заработает лишние деньги и для него тяжело, даже часто невозможно заплатить несколько золотых. Ведь из-за этого и произошел бунт. Практор Кенхри явился в селение Ацикоми и потребовал с каждого крестьянина больше того, что они привыкли вносить ежегодно. Поселяне подумали, что это простое вымогательство со стороны сборщика; он прочел им указ твоей царственности, но они не поверили. Читать они сами не умеют и справедливо полагают, что чиновник может прочесть им то, чего на бумаге не написано. Я должен, к крайнему прискорбию, прибавить, что местное население, вообще, ненавидело Кенхри, как я узнал только теперь; он раньше взимал с крестьян больше того, что полагается по закону. Крестьяне собрались и решили не платить. Отделилось из них несколько вожаков и объявили решительно, что платить не согласны. На требование практора они отвечали ругательствами, называя

его собакой, неверным слугой царевым. Когда сборщик рассердился и ударил одного старика, уважаемого всей деревней, толпа рассвирепела, набросилась на сборщика и убила его, как это уже известно твоей царственности.

— Жаль,— ответил царь,— однако, это дело нельзя оставлять так, надо наказать преступников.

Тут Пселл рассказал, как мудро поступил он, узнав о бунте. Он отправился сам в Ацикоми; зачинщики были сейчас же посажены в тюрьму, а толпу ему удалось успокоить, растолковав им, что сборщик требовал с них лишнее, но что надбавку, установленную новым законом, они обязаны внести, и, действительно, они обещали заплатить.

— Дальнейший ход дела будет зависеть от твоего милосердия,— заключил Пселл,— так как это государственное преступление и оно должно разбираться в высшем императорском суде. Ты будешь председательствовать и от тебя будет зависеть покарать или помиловать! Прости за дерзкий совет, но мне казалось бы, что помиловать соответствует и твоему характеру, ибо ты человеколюбивейший из царей, да и в данном случае виноваты не только крестьяне, но и практор.

Царь остался очень доволен объяснением Пселла; оказывалось, что виноват один практор, а судья, напротив, показал свой ум и честность. За это следовало наградить его. Заметив, что он произвел на царя должное впечатление, Пселл приступил к самому главному. Он просил позволения не возвращаться в свою фему, а отдохнуть в столице. Михаил согласился на это и предложил дать ему какое-нибудь место в центральном управлении. Философ обратил внимание самодержца на то, что он неохотно берется за дела, которых не знает, а потому желал бы опять служить в императорской канцелярии. В конце концов, решено было, что Пселл будет сделан протасикритом, как только представится возможность дать другое назначение занимающему теперь это место.

Пселл торжествовал, выходя из дворца; благодаря своей изворотливости, он одержал блестящую победу. Происшествие, случившееся в его феме, было такого свойства, что он не только мог быть лишен места, но и

отдан под суд. Царю он представил дело совсем не в том виде, как оно действительно было. Пселл был в стачке с сборщиком податей, он разрешил своему подчиненному взыскивать лишние деньги, и этот излишек они должны были разделить между собою.

В то же самое время, когда царь был озабочен бунтом в Фракисийской феме, начали ходить странные слухи о заговоре. Рассказывали, что в доме братьев Кирулариев собирается ежедневно столичная знать и толкуют о чем-то. Одному соглядатаю удалось пробраться на сборище и оказалось, что заговорщики собираются свергнуть с престола Михаила и провозгласить царем Кируллария. Заговорщики не могли простить царю, что на самые важные должности назначаются не аристократы, а люди незначительного происхождения и по большей части невежественные. Как только узнали это, сейчас же схватили братьев Кирулляриев и отправили их в ссылку. Но хотя заговор и был раскрыт, он произвел тяжелое впечатление на царя. Аристократы недовольны им, недоволен народ, кто же доволен?

Размышляя о трех важнейших событиях последнего года, царь приходил к заключению, что он лишен руководства Божия и поэтому царствование его не может быть удачно. В самом деле, может ли быть Божие благословение на том, кто достиг престола двойным преступлением? Как много хорошего хотел он сделать и что из этого вышло? Царствование его оказывается тяжелым для народа. Кругом он видит только всеобщее недовольство. Над ним тяготеет кара Божия, и из-за его грехов страдает народ. Его тяжкий грех не прощен, это по всему видно: припадки его время от времени повторяются; в нем все еще сидит бес, и, прежде всего, надо освободиться от беса. Но как это сделать? Нужно отдаться всецело Господу, забыть мир и мирские дела, молиться, изнурять, бичевать свою плоть. Он не призван быть царем, да и царствовать без руководства Божия невозможно.

Царь вспоминал свое прошлое, чем он был и чем он стал. Если бы можно было начать сначала, он предпочел бы бедность богатству, купленному такою дорогою ценой. Невольно вспомнил он об Анастасо. Уже много

лет он ничего не слышал о ней. Что стало с бедною девушкой, погибшей из-за него?

Навели справки и Михаил узнал, что Анастасо теперь уже не богатая и известная гетера. Два года тому назад она заболела, пролежала целый месяц, а когда встала с постели, ее узнать нельзя было, до того она исхудала и подурнела. Знатные поклонники покинули ее, она скоро прожила, что раньше накопила, и оказалась нищей. Ей оставалось одно: она поступила к порновоску, который согласился кормить ее, если она будет отдавать ему деньги, заработанные позорным ремеслом. Случались дни, когда она ничего не приносила домой, и порновоск, думая, что она обманывает его, морил ее голодом.

Когда царь узнал о печальной участи, постигшей девушку, которую он когда-то любил, он решил сделать что-нибудь для нее и для других погибших созданий. На краю города стоял заброшенный дворец. Приказано было подновить его и обратить в монастырь. В эту обитель принимались исключительно падшие женщины, сознавшие свой грех и желающие покаяться. Средства на их содержание отпускались из императорской казны.

Это было последним и лучшим делом царя Михаила.

## XVIII

Таким образом, царь пришел к окончательному убеждению, что он не способен быть монархом, потому что лишен помощи Божией. Вскоре явилось ему знамение, подтвердившее его убеждение.

В ночь на 23 марта царь видел страшный сон. Он видел себя в гробу. Гроб стоял в святой Софии и патриарх служил панихиду по великому самодержцу Михаилу. Он стоял вместе с другими сановниками и оплакивал безвременную кончину царя. Он ясно сознавал, что он умер, а, вместе с тем, он сам был тут среди живых.

Он проснулся, на лбу выступил холодный пот; Ми-

хаил не мог понять, умер ли он в самом деле, или жив. Сейчас же царь послал за монахом Авксентием, толковавшем сны.

— Сон твой от Бога,— сказал монах, внимательно выслушав царя.— Для меня он ясен, не знаю, согласишься ли ты со мной, ибо не знаю, захочешь ли ты следовать мановению Свыше, в нем заключающемуся.

— Говори,— ответил царь,— я терзаюсь сомнениями и желал бы, чтобы ты успокоил меня.

— Сон твой показывает,— начал монах свое толкование,— что в тебе два человека. Ты державный самодержец и ты смертный Михаил. Умер самодержец, а Михаил жив. В этом заключается совет — совет отказаться от царства. Бог желает смерти царя Михаила. Не противься ему.

— Что же мне делать, научи, старец.

— Дух выше плоти, царь, дух бессмертен, а тело подлежит тлению. Ты давно заботишься о том, чтобы умертвить в себе плоть; доведи дело до конца. Откажись от греховного мира и живи единым духом.

— Но раз я поставлен царем, имею ли я право отказаться от своей обязанности?

— Не имел бы, если бы не получил знамения. Теперь имеешь. Выбери достойного преемника.

Царь подумал несколько минут и вдруг встал, подошел к монаху и поцеловал у него руку.

— Что делаешь ты, державный царь? — вскрикнул Авксентий.— Зачем целуешь руку недостойного раба своего?

— Отныне я не царь,— ответил Михаил,— а смиренный монах. Я иду в монастырь, я решил это.

— Да благословит тебя Господь Бог,— ответил монах.— Ты делаешь хорошее дело, спасаешь свою душу, а душа — самое ценное, что есть в человеке, она во сто раз ценнее тленной порфиры.

Вопрос был решен; Авксентий не мог ошибаться, раз он советовал поменять порфиру на монашескую рясу, так и надо было поступить. Оставалось только объявить об этом брату и сановникам. В тот же день назначена была аудиенция Пселлу; царь хотел было не принимать его, но потом раздумал. Это удобный случай объявить

ему о своем решении и посмотреть, какое впечатление это произведет на него; пусть новая весть облетит теперь же Константинополь.

Пселл был принят, но он явился с неподходящею просьбой. Он ходатайствовал об учреждении юридической школы. «У нас есть школы философские,— говорил он,— есть школы, где учат риторике и другим наукам, но нет такого места где молодежь могла бы научиться законам и правильному их толкованию. Между тем юридическое образование необходимо и судьям, и адвокатам, и вообще многим чиновникам. Теперь юноши вынуждены обращаться к частным учителям, разные учителя различно понимают и толкуют один и тот же закон. Путанице этой будет положен предел, если будет учреждена правительственная юридическая школа, где назначенный царем учитель будет охранять законы однообразным их толкованием».

Царь из любезности выслушал Пселла, но не одобрил его мысли. Он вообще не придавал большого значения школам и образованию, а теперь был так настроен, что с презрением относился ко всему земному.

— Дело не в том, чтобы знать законы,— ответил он,— а чтобы судить нелицеприятно. Законы написаны, всякий может читать их и применять их, сообразуясь со своею совестью и Священным Писанием. Школа ничему не поможет, всякое учение бесполезно, кроме Евангельского, которым нужно заниматься прежде всего. Лучше не знать законов, а знать каждое слово, написанное в Евангелии. Знание законов не спасет души и не отворит врат рая.

Михаил посоветовал Пселлу обратиться к следующему царю, так как он отказывается от царства. При этом неожиданном известии философ принял огорченный вид.

— На кого же ты нас оставляешь? — говорил он.— Мы осиротели, ты покидаешь нас, ты, человеколюбивейший, справедливейший, милосерднейший из царей! Что станется с нами?

Но, заметив, что эти слова не нравятся царю, он изменил тон и заговорил совсем иначе. Он очень красноречиво доказывал, что царство небесное выше царства

земного, что самодержец имеет право делать все, что вздумается; он достаточно потрудился для своего народа, он облагодетельствовал чиновников и крестьян и может теперь отдохнуть и подумать о спасении души.

Облобызав в последний раз пурпурную туфлю царя Михаила, Пселл отправился в покои евнуха Иоанна, чтобы разузнать, что будет дальше. Но оказалось, что Иоанн еще ничего не знает и недоверчиво отнесся к словам философа. В это время пришел кубикуларий и пригласил евнуха к царю.

Когда Михаил сообщил брату о своем намерении, тот рассердился и стал доказывать, что нелепо отказываться от власти. Евнуху показалось сначала, что и ему не остается ничего больше, как идти в монастырь. Но тут же он сообразил, что можно назначить преемником такое лицо, при котором он не потеряет своего значения. Увидев, что слова его не действуют и царь поступит по-своему, он спросил, кого же он думает назначить своим преемником?

— Решение этого вопроса предоставляю тебе,— ответил Михаил.

— Было бы нелепо,— сказал Иоанн, если бы ты стал искать царя среди посторонних людей, когда у тебя есть родственники, способные управлять государством. Советую тебе избрать племянника твоего Михаила.

— Отчего же нет? Я согласен,— ответил царь, которому было вполне безразлично, кто бы ни царствовал после него.

— Твоего слова, конечно, достаточно для того, чтобы сановники и народ признали Михаила. Но, во избежание смуты, всегда возможной среди буйного столичного населения и вечно недовольной знати, я предлагаю тебе следующее. Народ считает, что престол принадлежит царице Зое и она имеет право распорядиться им как угодно. Пусть она усыновит племянника твоего Михаила; тогда он будет считаться отпрыском македонского дома, так долго владевшего престолом, и в глазах всех будет иметь бесспорное право на порфиру.

Так и поступили. Зоя согласилась усыновить племянника и даже обрадовалась, узнав, что супруг скоро отречется от престола.

После последней проделки с Константином Мономахом она была окружена таким строгим надзором, что свидание с мужчиной было немыслимо. Лучше, если кто-нибудь другой будет царем; тогда, может быть, осуществится ее мечта. А мечтала она теперь о Константине Далассине, которого однажды видела в церкви.

Во всех этих приготовлениях прошла неделя и, наконец, 15 марта на торжественном собрании сановников царь Михаил объявил, что он отрекается от престола и назначает своим преемником Михаила, усыновленного державною царицей Зоей.

## XIX

На другой же день происходило пострижение бывшего самодержца Михаила в построенном им монастыре. Навсегда умер великий и державный царь и самодержец ромеев Михаил, остался смиренный монах Евфимий. Ему отвели самую просторную келью, убрали ее коврами и дорогими иконами. Здесь, забыв о мире, проводил он все время, свободное от церковных служб, в молитве и чтении священного Писания.

Как спокойно, как хорошо чувствовал он себя в монастырской келье! Молитва, никогда и никем не нарушаемая, действовала на него успокоительно. Прежде лица сановников, которых он видел в церкви, возбуждали в нем тревожные мысли, напоминали о том или ином деле. Теперь он был окружен монахами, и если с ним и заговаривали иногда, то говорили исключительно о божественном. Никакие события, никакие дела не тревожили его больше. Нападут или не нападут печенеги — не все ли равно? Ему дела нет до цены на хлеб, он не должен заниматься вопросом о податях. Много ли платят крестьяне или мало, стонет народ или нет,— не все ли равно? Михаил не слышит больше наушничанья чиновников, ему не надо разбирать кто прав, кто клевещет.

На Страстной неделе он говел и в великий четверг

приобщился св. Таин. Радостно, как никогда прежде, встретил он светлый праздник. На душе его было светло, он чувствовал себя обновленным, он совлек с себя ветхого Адама. С тех пор, как он был в монастыре, припадки не повторялись,— это указывало на благоволение Божие и на то, что бывший царь искупил свой грех.

На Фоминой он заболел, у него сделалась горячка и, проболев всего неделю, он тихо скончался, примиренный с своею совестью.

Недалеко от монастыря св. Архистратига Михаила стояла только что построенная обитель, получившая название «Покаяние». Тут спасалась прежняя гетера Анастасо. По странной случайности, ей при поступлении дали то же имя, как царю Михаилу. Ее звали Евфимия. Вспоминая прошлое, она убеждалась, что ее постигла та же участь, что и единственного человека, которого она любила. Они оба вышли из простого народа, они оба были счастливы всего несколько минут, они оба были известны всей столице и оба нашли успокоение только в монастыре.

Узнав о смерти монаха Евфимия, инокиня Евфимия со слезами просила Бога взять и ее к себе, и, ежедневно стоя на коленях, она горячо молилась, да упокоит Господь Бог самодержца Михаила, да вселит душу его в рай, в место злачное, место светлое, место покоя.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

П. ФИЛЕО

# ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИИ

# I

Путь монаха лежал степью, обширною, привольною, но безжизненной. Он, впрочем, скоро вышел на довольно торную дорогу, с которой время от времени сворачивал в сторону, где, присев на траву и вынув из котомки кусочки жареной баранины, начинал есть, отпивая из глиняной бутылки глоток вина. При этом его молодое лицо весело улыбалось.

Закусив, он укладывал съестное в котомку и перекрестясь шептал: «Докса си о Феос имон, докса си»! *

На пути ему попадались телеги, запряженные волами и нагруженные шерстью; погонщики почтительно кланялись монаху и некоторые спрашивали его по-русски:

— Куда, батюшка, Бог несет?

— В Руссию,— отвечал он с довольно ясным византийским акцентом,— за милостыней к русским христианам для разоренных церквей и монастырей востока.

— На, возьми и от нас, батюшка.

---

* Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

При этом многие протягивали ему медные монеты.
Молодой монах низко кланялся и шептал:
— Докса си о Феос имон, докса си!
На третий день в степи повеяло прохладой.
— Танаис! — прошептал монах.
Скоро он вышел на низкий, луговой берег Дона, который тихо катил свои воды в Азовское море. На берегу реки он расположился отдохнуть, потом выкупался и снова прилег.
В это время показалось судно, медленно плывшее вверх по Дону. Монах поспешно собрал свои пожитки и стал кричать:
— Православные, лодку! Две гривны за лодку!
Скоро его заметили, спустили лодку и доставили монаха на судно.
Монах благодарил, и вынув из кармана деньги, стал расплачиваться, но хозяин ни за что не хотел их брать.
На судне, кроме хозяина — зажиточного елецкого купца, были два приказчика, а на пути, уже у Донской луки, присоединился к ним татарский торговец из Сарая.
К обеду хозяин пригласил своих гостей. Он был человек запасливый, нашелся и квас и мед.
— Из каких краев, батюшка? — спрашивал хозяин монаха.
— Теперь из Таны или, как у вас называют, Азак, а в Тану прибыл с Афона.
— А с Афона! — одобрительно отозвался хозяин.— Это хорошо, что с Афона, а то вот вы, греки, воспитали нас в православии, а потом продали православие папе, да и нас хотели туда втянуть; ну, а Афон другое дело — там древнее благочестие непоколебимо держится.
— Так-то так, дорогой хозяин, только не вините тех пастырей, что соединились во Флоренции с латинством; времена тяжелые, спасти хотели древнее царство от варваров.
— Царство земное не стоит, чтобы, спасая его, терять царство небесное.— Купец при этом насупился.— Вон прислали нам Исидора христопродавца, а нашего святого человека, поистине святого, Иону, епископа нашей Рязани, выпроводили из Цареграда ни с чем; да Богу угодно было, чтобы тот посрамлен был, а этот, наш святи-

тель, возвышен; наши владыки теперь его митрополитом поставили.

— И мудро сделали! Теперь время такое, что каждый сам свою голову береги. У вас вот ничего,— продолжал монах,— все к порядку клонится; только невежество большое; ни божьего, ни человеческого писания не знают.— Не знаю, как ваши пресвитеры, а в народе варварство.

— Истинная правда твоя, отец Стефан, так назвал себя монах. Священники многие читать не умеют. У нас еще ничего, наш владыка рязанский Иона много ратовал и просветил, истинно просветил край, да и то есть неграмотные, а что в других местах — Господи упаси! А корыстолюбцы? А бражники? Потом...— купец понизил голос и тихо прибавил: — говорят, в новгородской земле попов не признают, причастия не принимают; исповедываться, говорят, надо припадши на землю, а не к попу. Господи, спаси нас и помилуй.

Беседы на эту тему между монахом и хозяином много раз возобновлялись, но чаще всего около немало видевшего монаха собиралась группа слушателей его рассказов о других землях. О новых завоевателях турках тогда ходили самые разноречивые разговоры, одни их хвалили за честность и мужество, другие порицали за жестокость.

— Это народ не опасный,— говорил монах,— только некому им отпор дать; сколько папа ни хлопочет собрать против них рать, да все тщетно, потому что это отдельно никого не касается, кроме нашей империи. Венецианцы, генуэзцы и прочие торговые города не хотят жертвовать своим животом и имуществом за чуждый им народ. Если от кого можно ждать спасения империи, так только от угорского вождя Гуниада, сам же наш император ничего не может сделать. Владения турок богаты и обширны — все библейские места в их руках.

— А скажи, отче, доводилось тебе бывать подле рая земного, в земле Мессопотамской? — спросил один из слушателей.

— Какого рая? — с удивлением спросил монах.

— Да земного рая, в земле Мессопотамской, не слыхал разве? — с заметным неудовольствием сказал он.

— Право не слыхал, хоть и бывал и в Дамаске, и Бассре.

— А как же говорят, что благочестивые мужи были занесены бурей к высокой горе, на которой необъятных размеров лазоревыми красками был нарисован Деисус; солнца там нет, а сияет свет божественный, за горою же слышно небесное пение. Послали они одного мужа посмотреть на гору, что сие значит, тот как достиг вершины, засмеялся радостно, всплеснул руками и скрылся из глаз; послали другого, и тот так же; послали третьего, наперед привязав его веревкой за ногу, и этот хотел убежать, но его сдернули, а уж он был бездыханен, не мог поведать славы Господней.

— Не слыхал в наших краях ничего такого, и думаю, что это вымысел праздный.

— Нет, это подлинно так,— вмешался хозяин; — удивления достойно, что ты, отче, не знаешь; вы, греки, любите о делах божественных разузнавать. У нас об этом повсюду говорят.

— Да, мы любим рассуждать о догматах и религиях, и всякий у нас знает священное писание и творения отцов церкви, а это, братия моя милая,— засмеялся монах,— вымысел ваших паломников; каждый из них хочет, возвратившись на родину, порассказать больше других, вот и сочиняют.

— А скажи-ка, отче, вот у нас, в псковской земле, стали двоить аллилуйю, то есть поют аллилуйя не три раза, а два, умаляют славу Божию.

— Да разве я законник? Бог знает как надо,— думаю, что лучше сказать один раз сердцем, чем три раза одними устами. Три ли раза, два — все единственно, от этого слава Божия не умалится.

Уже пять дней судно поднималось в верх по Дону. Монаха очень занимал пустынный, степной ландшафт берегов Дона, на которых изредка показывались татары со стадами овец или табунами лошадей.

— А что, Ефимий Васильевич,— обратился монах к хозяину,— скоро ли до вашего Богом спасаемого Ельца?

— Да должно быть на третий день будем.

— А что, оправился ваш город после Тамерлана?

— У нас, отче, скоро. Лес под боком. Людей только,

деды говорят, тьма погибла, а город отстроился. Около Ельца, положим, лесов настоящих нет, а побывал бы ты, отче, в нашей рязанской земле, к Оке поближе и далее еще — лес стоит стена-стеной.

— А торговые люди у вас в Ельце есть?

— Есть. С татарами торгуют. Вот я ходил в Тану тоже не порожняком; от разных лиц набрал дерева, веревок, муки, на пути татарам все перепродал.

— А у кого в Тане рыбу брал, Ефимий Васильевич? Я там многих знаю.

— Да по нынешнему времени ни у кого достаточно не оказалось: часть взял у Матео Фереро, часть у Камендало и у Луканоса. У этого можно было взять сколько угодно, да в Тане у него было не много, а прочее в Порто-Пизано, а мне-то ждать было некогда: к храмовому празднику беспременно надо дома быть.

— А что самого-то хозяина Луканоса видал?

— Не видал, отче, я его ни разу не видал: он часто в разъездах и теперь, сказывали, в Палестру подался, а там, говорят, в Сурож махнет. Удивительный, говорят, мастер своего дела. Мне сказывал Андрео Фереро, что совсем молод, лет двадцати с хвостиком, не более, а ворочает дела тысячные. Деньжищ видимо, говорят, невидимо. Генуэзцы многих венецианцев подкосили — Каффа все растет за счет Таны, а ему ничочем, все богатеет.

— Мастер он, что и говорить! Я его знаю; вот и теперь я с ним в Палестре встретился. Куда это Господь несет? — спрашивает. Я ему объяснил, что в Руссию со сбором милостыни, он мне и поручил, не могу ли я ему сослужить службу, он за это обещал десять золотых дать на разоренные святые места. Вот если хочешь, Ефимий Васильевич, разбогатеть, возьмись за дело, только поклянись, что в тайне держать будешь. А?

— Чего уж не подержать в тайне, разве баба, что ли? Говори, отче.

— Нет, Ефимий Васильевич, поклянись, без этого он не велел мне говорить.

— Ну, вот тебе крест! — Ефимий Васильевич снял шапку и перекрестился.

— Дело вот в чем: папа запрещает купцам вести торговлю с неверными, а от этого торговцам приходится

забирать много товара, в особенности шелк-сырец, шерсть, благовонные масла, в Константинополь, со вторых и третьих рук; хоть втихомолку и торгуют, а все-таки это дает повод к разным придиркам; а между тем весь этот товар, что я тебе назвал, можно дешевле получить в Бездеже и Маджаре от татар; понимаешь, Ефимий Васильевич?

— Понимать-то понимаю,— проговорил тот раздумывая,— да никакой тут важности для себя не вижу.

— А вот послушай дальше — это уже к тебе относится. Поезжай в Бездеж, или Маджар, или Цитрахань, куда знаешь, и закупи товару, сколько можешь, он обязывается все принять и при этом заплатить вдвое против того во что тебе обойдется, но только чтобы вез прямо в его склад, как уже купленный товар.

Ефимий Васильевич задумался.

— Вдвое, говоришь, отче? Это точно, что хорошо. А если заберу сколько там будет?

— Хоть всю орду обери, все заберет.

Ефимий Васильевич опять задумался.

— Оно бы хорошо всю орду, да надо ведь денег, без денег татары не отдадут; это у вас всякие векселя завелись, а там развязывай калиту да выкладывай.

— Ну что же, развязывай и выкладывай; если ты надеждый купец, он тебе вперед выдаст.

— Надежный да неденежный! У нас денег совсем мало; иной и богатый — все есть, чего душа желает, а денег ни-ни! А если выдаст вперед, это хорошо. Спасибо, отче. Уж ты за меня похлопочи пред Луканосом, я тоже пожертвую малую толику на святые места.

После этого разговора Ефим Васильевич ни о чем другом уже не говорил, как о предстоящих выгодах. Встретив сначала отца Стефана гостеприимно, он теперь не знал, как ему и угождать.

С каждым днем Дон все делался уже и мельче, так что только благодаря весеннему времени,— а тогда был май,— барка Ефимия Васильевича могла проходить свободно. Но зато берега были оживленные, стали попадаться деревни, из которых на маленьких лодках подплывали рязанские казаки и покупали рыбу. Эти казаки со-

ставляли сторожевое население на окраинах рязанского княжества; они были русские.

— Скажи, пожалуйста, Ефимий Васильевич,— обратился к хозяину монах,— в этих местах у вас неопасно, можно ли будет высадиться здесь?

— Как высадиться! Куда высадиться! Да нешто ты думаешь, отче, я тебя отпущу! Нет, ты должен у меня в Ельце погостить, а тогда и с Богом. У меня под Ельцом есть рыбный склад, там и церковь есть вновь отстроенная; я при ней и строителем, и ктитором состою; в воскресенье у нас храмовой день св. Алексея чудотворца, наш московский святитель и трудник за русскую землю. В тот год как христопродавец Исидор поехал унию заключать, его святые мощи обретены были. Вот мы и соорудили церковь нашему святителю, в память сего дня.

— Это хорошо, что память своих великих подвижников и защитников чтите. А все-таки хотел бы тут сойти.

— И не думай, отче, и выкинь из головы это. Ты думаешь, что у нас сбору не сделаешь? Еще какой будет, в Москве того не соберешь.

— Пожалуй, станешь меня просить участвовать при храмовой службе, а я вот и по-русски плохо говорю...

— Оно было бы приятно, чтобы ты участвовал, у нас чем больше служащего духовенства на храмовом празднике, тем торжества больше, а особенно когда из греческой земли; связь наша с востоком не забывается; вот только такие люди как Исидор делу вред приносят... Я приневоливать не буду, чтобы ты жил, отче, коли не хочешь. А ты, отче, обидишь смертельно, как не зайдешь ко мне.

— Ну что ж, хорошо, Ефимий Васильевич, только не надолго, ты уже не удерживай.

— Нет. И впрямь, где же удерживать, дело твое святое, каждая минута дорога, отче...

Вскоре после этого разговора судно повернуло в Сосну, а затем стали показываться пригороды Ельца, и вот около одного из них барка встала.

Торжествующий Ефимий Васильевич снял шапку, широким крестом осенил себя, положил земной поклон по направлению к церкви, которая была видна за вол-

нистым берегом и деревянными строениями, и обратившись к отцу Стефану, весело сказал:

— Ну, слава Богу, мы дома!

Время было послеобеденное, солнце склонилось к западу. Скот шел с поля, подгоняемый ребятишками.

Кругом была живая, свежая, благоухавшая зелень.

В церкви звонили к вечерне.

Скоро в поселке заметили приставшую барку и куча ребятишек уже толпилась на берегу. Пока причаливали барку, собрались и взрослые. Ефимий Васильевич слыл и в Ельце человеком заметным, а тут был хозяином. Не прошло и четверти часа, как весь поселок собрался на берег. Ефимий Васильевич был весел. Весь его экипаж уже перекрикивался с своими на берегу.

— Отче,— обратился хозяин к монаху,— вон это моя хозяйка, видишь машет платочком, высокая, полная баба в красном сарафане.

Но узнать было мудрено, потому что все бабы были высоки, все были полны и в красных сарафанах. Отец Стефан узнал ее по более дорогому наряду.

— А это детки твои с нею?

— Это дочка Аграфена, а то детвора все поменьше. Старшего сына не видно, верно в Ельце по делам.

Спустя некоторое время, отец Стефан и Ефимий Васильевич уже сидели за столом и лакомились разными домашними яствами, запивая домашним медом и привезенною из Таны мальвазией. Дом Ефимия Васильевича был просторный, убранство хорошее; божница с дорогими и старинными иконами, освещенными лампадками, повсюду чистые скатерти. Им прислуживала красивая моложавая хозяйка и ее хорошенькая, молоденькая и шустрая дочка, на которую то и дело поглядывал молодой монах.

— А где же Василий? — спрашивал у хозяйки Ефимий Васильевич.

— Поехал, Ефим Васильевич, в Елец, купить что нужно к приему гостей, что на праздник прибудут; да и для службы, что требуется.

— Это хорошо. Он у меня парень бедовый; все знает, что и как надо,— добавил Ефимий Васильевич, обраща-

ясь к монаху.— Ну, а кто у нас будет, кого приглашали? Не забыли ли кого?

— Уж и позабыли! Без тебя так вот и шагу ступить не сумеем!

— Вот и не так сказал, да я пошутил,— весело засмеялся Ефимий Васильевич.— А что, отец, мальвазия хороша? У Луканоса брал.

— У него все хорошо.

При этом монах с видом знатока попробовал вина и одобрительно кивнул головой.

— Так ты, Демьяновна, скажи, кто у нас будет?

— Будет, конечно, отец архимандрит.

— Так. Это уже голова торжеству. Ну-ка, отец Стефан, еще твою стопку, потому у нас так, кто не допивает, тому доливают. Дальше?

— Наш батюшка отец Андрей с причтом и приглашенными батюшками для сослужения архимандриту.

— Кто же именно? Хороша мальвазия, отче; после твоей похвалы еще вкусней показалась. А ну-ка, Демьяновна, попробуй — хороша! Ну-ка, Грушенька, и ты; винцо в пору бабам и девицам.

Демьяновна весьма охотно опорожнила стопку, для приличия покривилась и с поклоном возвратила назад. Груша пригубила, сморщилась и заметила:

— И сладкое, и душистое, только крепковатое...

— Это от непривычки,— заметил отец Стефан,— ваш мед не слабее будет.

— Ну, ну, Демьяновна, докладывай, продолжай,— обратился Ефимий Васильевич к жене весело.

— Да. Так батюшек сослужащих. Отца протопопа...

— Хорошо. Это наш главный слецкий батюшка; сердечный, святой жизни человек,— заметил Ефимий Васильевич, обращаясь к монаху.

— Отец Николай из Успения и дьякон тоже оттуда.

— Ну, это народ того... ну, да ничего, тоже духовный чин имеют.

— Иеромонах Софроний и приезжий иеромонах из далека... Может отец Стефан его знает?

— Нет, нет, не знаю,— поспешил отец Стефан.

— Да ты же, отче, не слыхал, кто именно,— рассмеялся хозяин,— может и знаешь.

Груша тоже засмеялась, монах несколько сконфузился, однако тоже засмеялся и видя, что хозяин опять подливает, заметил:

— Ведь этак я и настоятеля своего не узнаю.

— Ничего, отче, после долгого пути и пред трудною дорогою. У нас это не называется пить — это что? Малость одна. Ну,— обратился он к Демьяновне,— докладывай дальше.

— Да. Так вот этот приезжий отец Арсений; со сбором, говорит, из краев, где Гроб Господень; из азиатских, говорит, стран; а сам гречин родом и православный; он у нас денька два погостил, а теперь у отца архимандрита в монастыре проживает. Суровый такой; все, говорит, нас заедают, и турки, и латинцы, и многое такое говорит, а глаза так и сверкают, а деток все ласкает, дай, говорит, вам Господь в Цареграде свои палаты строить, а в Святой земле христианские песни Господу-Богу воссылать. Груше все рассказывал про разные святыни; мы его со всякою ласкою принимали, особенно Груша.

— Потому что он скорбит,— как бы оправдывалась Груша,— скорбит духом, сердечный...

— Хорошо, хорошо, милая,— одобрительно говорил Ефимий Васильевич,— странника надо принять, а скорбящего утешить. Вы хорошие у меня хозяйки. А кто же еще будет?

— Еще Кутлаев...

— Это богатый. Новокрещенный татарин, важный человек у нас в Ельце.

— Будет еще,— продолжала Демьяновна,— сотник казацкий Корка...

— Ну, молодцы, молодцы, распоряжаться умеете, что и говорить!..

С этими словами хозяин встал, и обратившись к иконам, стал широко креститься и низко кланяться, монах поспешно поднялся за ним и, крестясь, зашептал: «докса патри ке...», затем поблагодарил хозяев.

— А можно спросить тебя, отче,— несколько стесняясь, начал Ефимий Васильевич,— что это ты часто во время крестного знамения произносишь: «докса патри ке», а дальше не расслышу.

— Ке юио, ке агио Пневмати. Это по-русски будет: Слава Отцу и Сыну и святому Духу.

— Я так и думал, что это молитва какая, ведь религия у нас и молитвы одинаковы.

— Одна, конечно, одна.

Затем монаху отвели особое помещение, в виду того, что он на ночь, может быть, захочет на молитве постоять. Оставшись один, он тяжело опустился на постель и закрыв усталые глаза, задремал. Его светлые волосы рассыпались по подушке, а на губах скользила беспечная улыбка молодости.

## II

На следующий день был храмовой праздник. Народ был праздничпо разодет, церковь набита битком. Около церкви в ограде и вокруг нее было множество народа, в особенности детей и подростков, тут же стояли лотки с разными сластями. В доме ктитора шла поспешная стряпня, так как служба кончалась, уже звонили на молебен и гостей ждали с минуты на минуту. Демьяновна и Груша с ног сбились. Отец Стефан с утра ходил по окрестностям и гулял в лесу; вся эта оживленная, весенняя обстановка неизвестного ему края очень его занимала. Наконец, когда он заметил, что народ повалил из церкви, тоже вместе с приглашенными направился к дому ктитора.

Ктитор начал с поклонами приглашать гостей за стол. Под иконы, на почетное место, был посажен архимандрит, затем стали размещаться прочие; некоторые уступали один другому место. Наконец все уселись.

Сначала молча принялись за еду, но скоро языки стали развязываться.

— Ну, отец дьякон, уж одолжил многолетием, что и говорить, мастер! — проговорил Ефимий Васильевич.

Отец дьякон самодовольно поглаживал бороду и что-то скромно пробормотал; при архимандрите ему неприлично было разглагольствовать.

— Молодец, хоть в Москву,— похвалил отец протопоп.

— А хороши это у вас новые ризы, Ефимий Васильевич,— сказал архимандрит,— где вы их достали? В Ельце нигде таковых нет.

Все стали наперерыв превозносить ризы. Ефимий Васильевич растаял совсем от таких похвал.

— Это тайком, отец архимандрит, в Тану привез один фрязин за очень хорошую цену из Царьграда. Ведь дело такое, что из Царьграда ничего шелкового и парчового нельзя вывозить.

— Вот как! Отчего это?

— Для того, чтобы византийским вельможам дешевле было рядиться,— угрюмо произнес отец Арсений, сверкнув глазами.

Все посмотрели в его сторону.

— Полно, полно, отец Арсений,— снисходительно заметил архимандрит.— На мирном сем празднике смири мятежный дух твой.

— Отец Арсений все сердится; вот отец Стефан незлобивый; скажи, отчего запрещен вывоз шелку из Царьграда?

— Да отчего же не верить отцу Арсению, он правду говорит. У наших вельмож осталось одно удовольствие — одеваться. Да к тому же, это запрещение удаль развивает, потому что много есть охотников провозить запрещенный товар,— вот тут-то смелость и ловкость развивается.

— Отец Стефан все шутит,— весело заметил хозяин.

— Не подобаст монаху шутить,— заметил отец Софроний.

— Нет! Отчего не подобает? Шучу оттого, что дух безмятежен.

Между тем хозяин обильно подливал разные напитки, особенно всех интересовала мальвазия, так как многие ее от роду не пивали. Гости пили ее, нахваливали, а вместе с тем веселели. В комнате поднимался невообразимый говор: говорили все и никто друг друга не слушал. Понемногу стали разбиваться на группы. В одном месте собрались архимандрит, отец Софроний, отец Арсений, сотник Корка, порядком подвыпивший, и елецкий

благочинный. В этой группе раздавался резкий голос отца Арсения.

— Нет такой силы, которая укротила бы мою ненависть к христопродавцам вельможам византийским... Они от слез и крови христианской хотели разбогатеть, а Палеологи постыдный щит их! Кому много дано, с того много и взыщется! Проклятие! — с раздражением продолжал отец Арсений останавливая всякого, кто хотел что-нибудь сказать.— Ненависть и проклятие я иду проповедовать к византийским вельможам, они погубили великое царство! Нет такой милости, которая бы могла простить их!

— Постой, постой, отче,— начал отец Софроний,— вот нашу страну разрушили татары, а мы не виним никого, кроме себя, прегрешения наши были причиною тому.

— Не знаю я ваших дел, отец Софроний, но уже то у вас хорошо, что вельмож нет, которые стеной стали между народом и царем и держат народ в рабстве, а в котором царстве люди порабощены, в том царстве они не храбры и в бою против недруга не смелы: ибо раб срама не боится и чести себе не добывает. Нет, отец Софроний, не знаешь ты наших правителей; они не заслужили великого жребия быть пастырями разумного существа, а стали деспотами рабов и льстецов.

В другом месте собралась группа около татарина Кутлаева, который давно уже подвыпил и еле шевелил языком.

— А вот ты плохой магометанин, вино, как видно, любишь? — подсмеивался над ним отец Стефан.

— Я уже не магометанин,— еле лепетал тот.

— А вот, небось, гарем-то у тебя есть...

— Я ведь татарин, как же без гарема.

— О, да ты молодец. Из двух верований одно сделал.

— Отче, ты его не обижай,— вступился хозяин.— Он мой приятель.

— Нет, Ефимий Васильевич, где уж его обижать, он, вот посмотри, сам себя сейчас обидит.

Действительно, татарин грузно повалился на скамью, а со скамьи на пол и, лежа на полу, бормотал что-то, поводя своими мутными глазами по сторонам. Монахи меж-

ду тем незаметно вышли и уже в сенях попрощались с хозяйкой. Они уселись в телегу, вместе с ними отец Арсений, и уехали. Отец Стефан также вышел из комнаты. На дворе стоял лунный, весенний вечер. Воздух был чист, из леса доносился смолистый запах. Кругом было тихо, вдали слышался лай собак, а где-то рядом раздавался звонкий женский голос, тянувший заунывную песню. Греческому монаху все это было внове. Глубоко вдохнув свежий воздух, он направился на звук голоса.

— Кириа Агрипина природу любит,— произнес монах, подходя к Груше, которая, сидя на громадном бревне, пела грустную песню о тяжелой доле девицы в татарском плену.

Она не заметила приближающегося монаха и слова его испугали ее.

— Ах, это ты, батюшка! — встрепенулась она.— Что же ты ушел от всех?

— Да там пьют больше, а я пью немножко, только чтобы повеселеть, посмеяться. А ты, кириа, тут хорошее место выбрала; под сводом этого неба чувствуется, что этот незыблемый купол покрывает разом все народы; что все они одна семья, что нет иудея, нет эллина...

— Хорошие, святые чувства, отче, да только редко они на ум приходят, а другим и никогда; все думается больше о себе, какая судьба твоя будет. Ах, батюшка, батюшка, как трудно о себе не думать.

— Никто, кириа, и не запрещает думать о себе; и думай, и работай себе на пользу, только другим не мешай жить.

— Ну, а как приходится, отче, защищаться, тогда как?

— Пока можно, защищайся, а нельзя — беги!

Груша задумалась. Монах любовался молодой девушкой; кругом был тот же тихий весенний вечер, луна тихо скользила по небесному своду.

— Отчего ты так грустна? — после некоторого молчания спросил отец Стефан.— У тебя горе есть?

Груша как бы не слышала вопроса. Она подняла свое светлое личико и порывисто спросила:

— Отчего ты, батюшка, в монахи пошел?

Отец Стефан смутился.

— Об этом не спрашивай, кириа, я сказать не могу.

Только какой уж я монах! На меня как на монаха не смотри.

— Это твое смирение, отче. У вас верно не так в монахи идут, как у нас, когда очень тяжело...

— У нас-то? У нас, кириа, в монахи идет всякий сброд...

— А отец Арсений?

— А что же ты о нем, кириа, знаешь?

— Ох, отче, страдалец он; все, что говорит, все это от боли сердечной.

— Что же тебе, кириа, он говорил? Я признаюсь, он меня очень интересует. Он любит свою родину, это у нас редко. Ну да... что же отец Арсений тебе, кириа, говорил о себе?

— Случилось, отче, назад тому с неделю, был такой же вечер, тихий да ясный; он сидел тут, а я подошла к нему и стала с ним говорить; он поднял глаза на меня, а они у него в слезах. А потом взял меня за руку и залился горючими слезами. «Душа моя требует исповеди», насилу сказал он, «еще никому не поверял я свое горе и грех; чувствую, что будет легче, если скажу чистой, неповинной душе; прослушай меня и прости именем Господним!» Что ты, говорю, отче? А он заставил меня сесть и рассказал мне вот что. Назад тому более десяти лет турки подступили к городу Фессалоникам. Хотя это город старинный греческий, однако, говорит отец Арсений, наши императоры, по малодушию, отдали его венецианцам. Ему тогда, не было еще и тридцати лет и готовился он к венцу; его невеста была молодая, прекрасная девица Афанасия, из хорошей семьи. Они любили друг друга и были самые счастливые люди. Турки наступали на город все сильнее и сильнее, а венецианцы были люди чужие; когда свои бросили, то чужим что за неволя была на смерть идти. Враги и ворвались в город с разных сторон. Тогда отец Арсений бросился в дом своей милой, чтобы защищать ее, но тот уже был в руках турок, а когда он метнулся в дверь, то вдруг увидел свою Афанасию, лежащею, как мертвец, на руках турка, который ее нес; в то же время двое других кинулись на него и схватили, но он неистово рванулся и вырвался от них. Тогда он бросился к Афанасии и по рукоятку вонзил свой нож

в любившее его сердце. Кровь хлынула из раны; милые глаза взглянули на него, но без страданий и злобы, а спокойно и кротко. Что после случилось, он не знает. Пришел он в себя ночью; Фессалоники горели. Он отыскал труп Афанасии, осторожно вынес ее за город, вырыл могилу и похоронил. Потом покинул Фессалоники и ушел на Афон для поступления в монастырь. Долго и много молился он там, и когда сделался иеромонахом, отправился в Фессалоники, сам отслужил погребение над своею милою Афанасией. Закончив рассказ, взволнованный отец Арсений спросил у меня, прощаю ли я его, что моими устами скажет душа Афанасии.

— Ну, что же ты, кириа, сказала? — с интересом спросил отец Стефан.

— Я сказала ему, отец Стефан, что она не только простит его, но и будет за него Бога молить, потому что он пожертвовал своею душою, чтобы спасти ее от поругания, и потому что он спас ее душу: если бы он не лишил ее жизни, она сама наложила бы на себя руки, а это уже грех тяжкий.

— Хорошо или нет ты сказала, кириа Агрипина, а твои чувства мне нравятся.

— Я еще уговаривала отца Арсения, чтобы он перестал изрыгать проклятия, потому что на свою душу тяжкий грех принимает; а он мне отвечал, что с прощением ему тяжкого греха он совсем спокоен стал, потому что Афанасия его простила моими словами; но ни чьи прощения не спасут греческих правителей от проклятия, а он только идет по вселенной проповедовать это проклятие.

— Это значит, кириа, что он родину свою любит, так любит, что рассудок потерял.

— Ну, а ты, отче, разве не любишь родины, разве родину можно не любить?

— А что такое родина, кириа? Где твоя родина? Рязань, Москва или Тверь, это все ваши русские княжества, или может быть Новгородская земля? Все земли русские. Где же родина? Да прими в расчет то, что эти земли, воевали между собой не один и не два раза.

— Что тут размышлять, отче, сердце скажет, где родина.

— Ты скажешь — все равно,— продолжал отец Стефан,— потому что повсюду в этих землях русский язык и православная вера, так тогда и литовская земля твоя родина, потому что там ваших русских православных больше, чем литовцев. А представь, кириа, что завтра придут татары, да и заберут всех жителей Ельца за Волгу, а тебя здесь оставят и сами останутся, где будет твоя родина? Там, за Волгой, где ты никогда не была, или здесь, где ты родилась и где ты будешь жить среди таких татар, как тот вон, что там напился... Кутлаев, что ли...

— А что? — перебила его Груша.— Что, отче, он тебе не нравится?

Монах весело рассмеялся.

— Да ведь разве может нравиться зверина? Разве он человек? Лошадь, корова, собака, ну и татарин этот, все едино... Мне и на мысль не приходит, нравится ли он?

Девушка при словах монаха поникла головой. Отец Стефан с любопытством посмотрел на Грушу, которая сидела как бы приговоренная к смерти.

— Что же, кириа,— с участием спросил монах, взяв ее за руку,— разве он тебе близкий, родной, что ли? Прости меня, если обидел.

— Нет, отче, ты меня не обидел; но пойми, как тяжело мне слышать твое мнение,— со стоном произнесла она,— когда отец не раз мне намекал, что он для меня жених хороший и без ума от меня.

— Бога ты побойся, кириа, свою молодость погубить хочешь?!

— Ох, отче, отче, не знаешь ты нашего житья; он мне противен, да ведь отец скажет, что он богат, что он мурза; да он у меня и согласия спрашивать не будет.

Монах молчал, он продолжал держать руку девушки. Груша руки не отнимала, она подняла на монаха глаза и произнесла:

— А что лучше, последовать воле родителей или не послушаться и в монастырь уйти?

Монах не отвечал, он молча смотрел на Грушу, потом крепко сжал ей руку.

— Смотри, кириа, не выходи за татарина, это будет тяжкий грех против целомудрия, а чтобы спасти тебя —

вот тебе эти четки,— монах вынул из кармана янтарные четки,— а когда будут тебя приневоливать, ты их, кириа, отдай отцу твоему, когда он будет ехать в Тану, а он будет ехать этим летом или весною, и скажи, чтобы он отдал в конторе Луканоса, для передачи отцу Стефану, там меня знают, будто бы я их тут обронил; я, получив эти четки, буду знать, что надо спасать милую кирию Агрипину. Хорошо? Обещаешь, кириа?

— Батюшка, батюшка, благодарю тебя за участие, только ты с отцом ничего не сделаешь, не убедишь его.

— Не унывай, кириа, отчаяние — грех великий. У отца твоего с Луканосом очень выгодные дела завелись, а я посредником у них, а потому смотри, не падай духом. Так обещаешь, кириа?

— Обещаю, отче...

— Ну, вот, хорошо. А теперь прощай, завтра рано я уйду, может быть с тобою не увижусь. Кланяйся отцу Арсению, скажи ему, если будет в Тане, пусть побывает у Луканоса, я там думаю быть по возвращении из Руссии; может увидимся. Прощай же, кириа! — уже совсем нежно проговорил монах, с заметною грустью: — оставайся с Богом и не забывай меня.

— Неужели, отче, мне так и не приведется тебя видеть?

— Бог знает, кириа, гора с горой не сходятся, а человек с человеком...

— Дай Господи, дай Господи!

Всю ночь думалось Груше, что это значит: «Не смотри на меня как на монаха»?

## III

Хотя более десяти лет прошло со времени взятия Фессалоник турками, и венецианцы давно уже возвратились туда, но не в качестве хозяев, а только купцов, однако город все еще был в развалинах. Впрочем, оживление на его улицах не прекращалось; расторопные греки угощали в своих ксенодохиях иностранцев и турок, которые посто-

янно прибывали из Азии сюда для дальнейшего следования в Адрианополь. В одной наиболее комфортабельной гостинице под кипарисами, между которыми был натянут навес от солнца, сидел средних лет господин, крупного сложения, державшийся с сознанием своего достоинства. Он рассеянно смотрел по сторонам; окружавшая суета, как видно, его не занимала. Из стоявшего около него бокала он прихлебывал вино.

— Синьор Батичелли! Какими судьбами?

Этот возглас заставил его обратить внимание на поспешно подходившего к нему богато одетого господина.

— Синьор Киавари,— произнес он, вставая и протягивая руку подходившему.— А вы откуда? Садитесь, синьор.

Батичелли подал знак рукой и мгновенно появился другой табурет и еще бокал вина.

— Благодарю вас, синьор, но прежде хочу чего-нибудь съесть — проголодался...— Затем, потребовав обед, он снова обратился к Батичелли.— Я прямо с корабля. Недели две как из Генуи, теперь возвращаюсь домой в Каффу — здесь сделал остановку, чтобы запастись кое-чем съестным да купить гостинцев своим; в настоящее время в Константинополе того не найти, что есть в Фессалониках, особенно по части материй.

— Это правда. Венецианцы тут довольно скоро устроились.

— А вы давно из Каффы?

— О, да! Я около месяца прожил в Константинополе. Отправил деньги и здесь назначил свидание своему приказчику в Навилии.

— Из Константинополя? Это очень интересно, что там нового?

Батичелли махнул рукой.

— Император по-прежнему уповает на Запад, а народ открещивается от латинцев, а между тем тут требуется единодушие. В Галате же — ничего, оживление порядочное. Наши генуэзцы с Мурадом любезничают, конечно, на тот случай, если турки захватят столицу, то их не обидят. Да что же иначе делать будете; каждый должен свою шкуру беречь. Вы посмотрите, есть ли нынче где-либо в Европе сильное государство.

— Что и говорить! Есть, пожалуй, одно турецкое. Ну, что еще слышали в Константинополе или лучше сказать в нашем генуэзском Галате? — продолжал задавать вопросы Киавари.

— Получили, говорят, от Луканоса из Таны в Константинополь громадную партию рыбы и шерсти,— смеясь сказал Батичелли.

— Вот дьявол! — при этом Киавари так ударил кулаком по столу, что посуда на нем запрыгала.— Тут есть какая-то тайна!

— Да вы знаете, синьор Киавари, после вашего отъезда, синьор Труцци, заменявший ваше консульское место, собрал новый совет, с тем, чтобы послать тот же товар, что и Луканос, в те же места, и продавать за полцены. Приезжаю я в Константинополь, стоят корабли Луканоса и разгружаются, половину товара продали, через три дня пришли наши, спустили цену на половину, оказалось, что у Луканоса и по этой продавался товар; пришлось еще спустить; поверенный Луканоса тоже сбавил; мы порядком потеряли, на долю каждого, конечно, не Бог знает сколько пришлось.

— Молодой человек, а посмотрите, что за бестия! — сердито заметил Киавари.

У синьора Батичелли проскользнула веселая улыбка, однако он поспешил снова принять свойственный ему серьезный, даже суровый вид.

— А скажите, синьор Киавари, что в Европе нового и интересного? Хотя дела торговые непосредственно касаются наших карманов, однако и политические имеют к ним большое отношение.

— Везде, синьор, хаос, а в хаосе всякий о себе хлопочет. Я виделся с Энеем Сильвием Пикколомини...

— А... интересно! Значит у самого источника были? Батичелли даже переменил положение, приготовившись слушать.

— Сильвий Пикколомини отправился в Германию в качестве посла от папы; он, конечно, там сумеет сделать свое дело при его уме, образовании и красноречии.

— И при этом сумеет, когда нужно, блеснуть благородством.

— Да, да, конечно... Ведь вы его знаете. А в Венгрию и Польшу отправлен кардинал Юлиан Чезарини.

Батичелли ядовито засмеялся и заметил:

— Его вероятно снабдили другой красной шапкой, в замену той, которую он потерял, убегая от Прокопа Большого.

— Ну, вот вы сами видите,— согласился с ним Киавари,— как дело делается. Для папы интереснее в настоящее время дела в Германии, где ему не дает покоя базельский собор, и он туда посылает Пикколомини, а проповедывать крестовый поход против турок посылает того самого Чезарини, который в начале базельского собора говорил, что песня про примирение с греками поется триста лет, и вместо того, чтобы бегать за греками, лучше привлечь к католицизму гусситов, от которых он сам бежал, как вы заметили, и потерял даже свою шапку. А между тем посольство в Польшу и Венгрию в настоящее время очень важно: на престол Венгрии выбран Владислав Ягелло, король польский. С Иоанном Гуниадом новый король в самых дружеских отношениях. Гуниад получил от него Седмиградию. По моему мнению, достаточно Польши и Венгрии с таким вождем как Гуниад, чтобы предприятие увенчалось успехом. К тому же, Белград держится еще против турок.

— Представьте себе, синьор Киавари, я здесь несколько дней живу, и замечаю, что у турок готовится нечто важное. Силы прибывают из Азии; их тут принимает любимый полководец султана Мурада Искандер-бек и отправляет в Адрианополь; вероятно готовится поход.

— Весьма вероятно, что турки воспользуются медлительностью венгров и возьмут Белград.

— Отчего бы, например, не отправить в Польшу кардинала Виссариона,— заметил Батичелли,— этот ученый, безукоризненно честный человек, к тому же предан своей родине Византии и мог бы многое сделать.

— Да, об этом в Риме толковали,— отвечал Киавари,— но видите ли, кардинал Виссарион будет преследовать цели исключительно патриотические; папе Евгению IV надо устроить еще и свои дела в Венгрии. Я видел достопочтенного кардинала Виссариона. Неудача флорентийского собора сильно повлияла на него. Кстати:

Исидор, митрополит киевский, тоже возведен в кардиналы.

— Хотят спасти родину,— задумчиво, как бы про себя проговорил Батичелли.

— Нет, синьор, я их иначе понимаю: хотят спасти великую греческую культуру; если не спасти, то перенести ее в Италию, что они и делают. Повсюду в городах Италии устроили они свои школы, в особенности во Флоренции; там этих греческих учителей на руках носят, хотя признаться, они довольно беспокойный народ.

— А знаете, синьор, Флоренция быстро шагает вперед не только в деле просвещения, но и торговли; скоро нам придется не столько соперничать с венецианцами, сколько с Флоренцией.

— Э, синьор,— с пренебрежением заметил каффский консул,— это всего лишь идеалисты! Они запрещают торг невольниками своим купцам, а какая торговля без невольников?

— В этом я с вами не согласен; да и доказательство на лицо: фабрики у них растут. Где вы найдете такое сукно, как у них?

— Да у них торговля на помочах у магистрата идет, разве это торговля прочная?

— Там магистрат все из торговых людей состоит. Во Флоренции купечество не составляет круг людей, погрязших исключительно в торге: флорентийские купцы — это соль общества. Ну, да впрочем, это дело взгляда. А как идут дела в Неаполе,— вспомнил Батичелли.— Вы вероятно проезжали?

— Неаполь отягощен раздорами, как и прежде, но никогда еще Италия не видала таких соперников, какие теперь борются за Неаполь. С одной стороны умная и благородная Изабелла и король Рене Анжуйский, а с другой Альфонс, поистине рыцарственный король. Скверно только, что они приняли к себе на службу разбойников кондотьеров: Сфорцу, Пиччинино, Кальдору и прочих, которыми теперь кишит Италия.

— Уж лучше, синьор, пускай пользуются этими бродягами, чем отрывать мирных граждан от занятий и обращать их в бандитов.

Между тем уже вечерело, с моря потянул свежий ветерок, наступила теплая южная ночь.

— Когда уходите, синьор Киавари? — спросил Батичелли.

— Завтра на рассвете.

— Думаете завернуть в Константинополь?

— Нет, греческая галера, на которой я иду, держит курс прямо на Каффу.

— Тогда до свидания, синьор, кланяйтесь синьоре Анджелике, синьорине Клавдии; передайте всем знакомым поклон.

— Благодарю вас. А вы скоро думаете быть дома? Без вас у нас скучно и пусто.

— Благодарю за любезность, синьор. Думаю быть в Каффе самое большее через месяц, если не окажется необходимым самому быть в Кандии и Мореи, но это я должен узнать завтра или послезавтра... Да, синьор, не забудьте рассказать про Луканоса...

— А будь он проклят!.. Он у меня из головы не выходит.

На другой день, рано утром, в гостинице, где остановился Батичелли, сидел его приказчик и в ожидании пока тот встанет, разговаривал с ранними посетителями.

— Синьор вас зовет,— обратился к нему вбежавший служитель.

Приказчик торопливо встал. Он тихонько отворил дверь и остановился у порога.

— Подойди сюда, Феодор, садись да расскажи, что у вас хорошенького делается.

— Был в Генуе, кирие, получил деньги и распорядился, как ты приказал.

— Хорошо. А каково положение дел вообще в Морее?

— Все тоже, ненадежное. Деспоты Фома и Константин настолько слабы, что если бы туркам вздумалось явиться в Морею, то они не оказали бы никакого сопротивления. В Эпире и Албании неспокойно; того и гляди начнется борьба с турками, которых там много. Арианит и Галенто готовы, нет только общего вождя. Из детей Иоанна Кастриота никого не осталось, кроме Искандербека, ну, а он верен султану и, в настоящее время, будет предводительствовать, как я сегодня здесь узнал, целой

армией, которая уже выступает отсюда из Адрианополя. Здесь мне земляки говорили, что султан поколебался в доверии к нему и чтобы испытать его, предложил ему управление Албанией; однако Искандер не отказался и объявил, что султан ему заменил отца и он будет служить султану.

В это время у входа в гостиницу поднялся крик; сначала нельзя было расслышать слов, но потом они стали доноситься отчетливее. Турки кричали:

— Давайте нам шпионов!

Батичелли и Феодор выскочили из комнаты узнать в чем дело. Их тотчас же заметили ворвавшиеся в переднюю турки.

— Вот они! Вот они! — кричала толпа, бросаясь на Батичелли, который, прислонился к стене, выхватил нож и стал защищаться.

Шум поднялся невообразимый. Феодор затесался в толпу и так как на него не обращали внимания, скрылся. Положение Батичелли было безвыходным, только трусость нападавших отодвигала развязку.

Вдруг стоявшие у входа расступились.

— Что здесь без толку орете! — раздался чей-то сильный, мужественный голос.

— Искандер! — пронеслось в толпе.

Скоро показалась высокая, стройная фигура красивого мужчины, средних лет, с черными усами.

— Что вы своевольничаете!

— Он гяур, шпион! — кричали турки.— Хозяин говорил, что он с другим гяуром вспоминали Чезарини.

— Правда ли это? — обратился Искандер-бек к синьору Батичелли по-гречески.

— Совершенная ложь, кирие, вероятно хозяин гостиницы, зная, что со мной есть порядочные деньги, вздумал ограбить меня и подговорил толпу. Я генуэзец и виделся вчера с консулом Каффы, говорили мы точно о Чезарини, как говорили и о многом другом, но я человек торговый и приехал по делам своим. К тому же, у Генуи с султаном мир и мне нечего шпионить.

— Хорошо, синьор,— произнес Искандер по-итальянски; — вы отправитесь со мной для безопасности: у султана уже началась война с Венгрией, Польшей и Серби-

ей; — при этом Искандер обвел окружающих глазами и продолжал по-итальянски: — эти азиаты вас не пощадят, им достаточно, что вы христианин и не здешний.

— Не знаю, как благодарить вас,— почтительно произнес Батичелли, приложив руку к груди, и затем поспешно захватив вещи, последовал за Искандером.

## IV

В старом заброшенном доме на берегу Моравы Искандер-бек отдавал разные распоряжения. Стояла мрачная осенняя ночь. Ветер тоскливо шумел в непроглядной тьме. Комната была слабо освещена. Искандер-бек постоянно то отпускал людей, то принимал приходивших.

Вошел молодой человек, по наружности напоминавший Искандер-бека. Это был его любимец племянник Гамза. Он вытирал свои мокрые усы и стряхивал дождевые капли с шапки.

— А, Гамза! — оживленно воскликнул Искандер, увидав вошедшего.— Иди сюда! Нет, прежде прикажи, чтобы ко мне никого не пускали. Молодец! — одобрительно сказал Искандер,— пробраться в венгерский лагерь, я думаю, было не совсем легко и безопасно, а ты скоро справился.

— Я рассчитывал на мрак ночи и он меня не обманул. У них плохие часовые, они попрятались от дождя.

— Прекрасно. Но однако же рассказывай все по порядку,— говорил Искандер племяннику.

— Прежде всего, князь, я должен тебе доложить, что генуэзца мы вернули назад, потому что путь чрез Иллирию очень неспокоен, и он опять в лагере; что прикажешь с ним делать?

— Да пусть остается пока здесь, он ничем помешать не может, а там посмотрим...

— Что же касается Гуниада, то он уже с десятью тысячами перешел Мораву. На твою помощь он смотрит, как на залог успеха. Завтра он предполагает напасть на Керам-бея, но еще точно не знает. К рассвету он решит,

а если сражение будет окончено, то он сделает три пушечных выстрела, что послужит сигналом для тебя, князь.

— Так. Пока все хорошо,— проговорил Искандер-бек и задумался.

— Ну, а как скипитары? — спросил он Гамзу.— Не думают на попятный? Как тебе, Гамза, кажется?

— Нет, князь, ты своих соотечественников не обижай. Да к тому же, они глубоко в тебя верят.

— Это основание всякой победы,—как бы про себя заметил Искандер,—вера в своего вождя, а вождь должен верить в свое призвание.

— Ну, а ты, князь,— с улыбкой заметил Гамза,— колеблешься и сомневаешься?

Искандер не обиделся; он, напротив, с любовью посмотрел на своего племянника и засмеялся.

— Молод ты, Гамза. Предосторожность вовсе не признак трусости или нерешительности.

Наступило молчание.

— Хорошо, Гамза, благодарю за службу... ну, а как Керам-бей и турки, не подозревают ли чего?

— Ты знаешь, князь, что они к тебе всегда не особенно благоволили и старались перед султаном оклеветать, но чтобы теперь что это подозревали, незаметно.

— Хорошо, Гамза, ступай и собери сюда скинитаров, сколько можно, я хочу лично с ними поговорить. Сколько их в нашем отряде?

— Около трехсот человек...

Гамза ушел. Оставшись один, Искандер-бек стал ходить по комнате. Его молодцеватое лицо, всегда веселое и спокойное, было озабочено. За стеной продолжал бушевать ветер. Искандер, после долгого размышления, остановился перед восточным углом комнаты и заметил деревянную икону, забытую здесь каким-то бежавшим сербом. Он вспомнил, как когда-то в детстве молился пред иконами, знаменуя себя крестом, и осенив себя крестным знамением, упал пред нею на колени. Он порывисто шептал не молитвы, которых он не знал, так как был воспитан в мусульманстве, а свои собственные слова. Между тем, послышались шаги и сдержанные голоса. Скоро дверь тихо приотворилась и в ней показался Гамза.

— Князь,— обратился он к Искандеру, который снова принял спокойное выражение,— я собрал скипитаров, сколько возможно, чтобы не возбудить подозрения, здесь человек около ста.

— Введи их!

Вскоре вся комната наполнилась людьми. Все это были высокие, коренастые албанцы, с ног до головы вооруженные. Все входя почтительно кланялись Искандер-беку.

— Скипитары,— обратился к ним князь,— до сих пор мы сражались и проливали кровь за врагов наших; только один необъяснимый трепет пред ними заставлял нас так поступать; а в настоящее время мы пришли погубить храбрых сербов, которые до сих пор геройски держатся в своем Белграде. Долго я выжидал минуты, когда можно будет сбросить с себя это позорное ярмо и тяжкое преступление загладить, потому что мы, хотя и не по доброй воле, много бедствий христианским народам причиняли. Теперь минута благоприятная. Мы стоим лицом к лицу с величайшим героем Гуниадом Корвином, который пришел спасать Белград и сербский народ. От нас зависит найти в нем друга или врага. Я предлагаю вам, храбрые скипитары, помочь ему, а затем идти в родную Скипери и там в горах защищать свою независимость. Готовы?

— Готовы, князь! С тобой идем! — закричали все.

— Слава Богу. Я в вас не ошибся; Гуниад уже оповещен. Идите же теперь и передайте о нашем решении товарищам, а чрез Гамзу будете получать мои распоряжения. Смотрите, не выпускайте из виду Рейс-эффенди и в минуту нашего отступления захватите его в плен; он мне необходим.

Албанцы стали расходиться.

— Гамза, пришли ко мне генуэзца,— сказал Искандер вслед племяннику, который уходил последним.

Ночь была уже на исходе. Искандер-бек ходил по комнате и о чем-то думал. Вскоре в дверях показался синьор Батичелли.

— Войдите, синьор, садитесь. Вы порядочно измучены, вам не привычны все эти неудобства и беспокойства.

— Да, князь, я порядком устал. Ваши проводники до-

везли меня до границы Иллирии, но из расспросов оказалось, что там война горцев с Венецией, что всюду бродят разбойничьи банды и ехать оказалось невозможным. Простите меня, я многим вам обязан, вы спасли мне в Фессалониках жизнь и теперь вам приходится много возиться со мной.

— Это все, синьор, никаких хлопот не составляет. Но я должен вас предупредить, что вам могут грозить новые опасности. Я, впрочем, кое-что имею для вас, что избавит вас из затруднительного положения. Вы ведь, люди торговые, опасностей не любите? — заключил Искандер-бек с снисходительной улыбкой.

— У каждого свои интересы и свои подвиги. У нас тоже есть свои опасности, требующие мужества и геройства. Какие-нибудь смелые торговые предприятия, могущие дать прибыль, а могут в минуту разорить, разве требуют меньшей решимости, чем риск жизнью? Но это наша сфера и мы там бываем героями; подставлять же голову турку или итальянскому наемнику без всякой пользы для себя и для других, конечно, не привлекает меня.

— Конечно, все это так,— подтвердил Искандер-бек.

Наступила тишина. Ветер стал стихать. Искандер, встав, приотворил дверь.

— Все еще темно, еле светлеет восток,— заметил он, снова усаживаясь. Он вдруг встрепенулся.

— Кажется пушечный выстрел? Вы не слышали, синьор?

— Да, мне тоже показалось...

Снова наступила мертвая тишина. Каждая капля, падавшая за стеной, была слышна.

Раздался опять выстрел.

— Слышите? — одновременно произнесли оба.

Прогремел еще один выстрел, и эхо его повторилось несколько раз в ночном безмолвии.

— Синьор,— обратился Искандер к Батичелли решительным тоном,— хотя я и не считаю себя вашим благодетелем, так и всякий бы на моем месте поступил, однако, не думаю все-таки, чтобы можно было продать человека, который спас жизнь. А потому, я думаю, что можно положиться на вас?..

— Клянусь вам, князь, загробною жизнью, что не только на мое молчание можете положиться, но можете от меня требовать чего хотите.

— Я вам верю, синьор, жертв я от вас особенных не потребую; напротив, то, что вы для меня сделаете и вам может послужить на пользу. Сегодня предстоит сражение с Гуниадом. В самый разгар битвы я покину поле сражения, оставив турок на волю храброго Гуниада, и тотчас же со своими скипитарами устремлюсь в Албанию, пока Мурад не проведает о происшедшем и не пошлет войск занять Албанию; поэтому я не успею повидаться с Гуниадом. Вы же, получив лошадь, спешите в первую удобную минуту к Гуниаду, потребуйте свидания с ним и объясните мое бегство, скажите, что в нем я хочу видеть друга и союзника навсегда, и попросите его от меня, чтобы он дал вам проводника до Венеции, оттуда вы можете спокойно продолжать свой путь.

— Значит христианство приобретает нового вождя? Это достойно вашего мужества, князь! Поручение ваше исполню. Благодарность моя вам не имеет пределов.

При этом Батичелли с выражением глубокой признательности пожимал протянутую ему Искандером руку.

— Что вы, синьор, не стоит. Прощайте, я на вас надеюсь.

Между тем стало довольно светло. Вошел Галуа.

— Слышали выстрелы, князь?

— Слышал.

— У венгров движение, скоро начнется дело.

— Хорошо, Галуа. Распорядись, чтобы синьору был приготовлен хороший конь.

Спустя часа два, венгерская конница уже неслась в атаку на турок; за нею двинулись румыны, сербы и поляки. Гуниад был повсюду. Битва сразу закипела, но продолжалась недолго. Турецкая армия, предводительствуемая Искандер-беком, вдруг, без всякой видимой причины, поддалась. Произошло полное замешательство. Искандер поспешно отступал. Керам-бей терялся. Еще минута — турки, наконец, дрогнули и показали тыл.

— Князь,— поспешно докладывал Галуа Искандеру — Рейс-эффенди у нас в руках.

Искандер помчался туда, соскочил с коня и вошел в дом.

— Послушай, эффенди, садись и пиши приказ от имени султана коменданту крепости Крои в Албании сдать крепость Искандер-беку и приложи печать.

При последних словах Искандер приставил кинжал к его груди.

Рейс-эффенди колебался. Искандер нажал своим кинжалом, несчастный эффенди вскрикнул и начал писать. И только, когда приказ был окончен, Искандер с силою налег на кинжал и он по рукоятку вошел в грудь застонавшего эффенди.

— Скипитары за мной! — крикнул Искандер, и во главе трехсот скипитаров понесся на юг.

## V

Альфонс Арагонский, после долгой борьбы за Неаполь с королевой Иоанной II, Людовиком и Рене Анжуйскими, наконец взял город. Рене Анжуйский отказался продолжать войну, заявив своему противнику, что собственными средствами он продолжать войну не может, а давать страну на растерзание кондотьеров не хочет, и потому отказывается от своих прав на неаполитанскую корону.

Альфонс Арагонский принимал во дворце королевы Иоанны II. Его двор был в высшей степени прост; в нем была полная непринужденность; люди ученые и художники были его любимыми гостями. Король платил большие деньги за разные классические сочинения и за переводы их на итальянский язык.

В большой королевской зале было довольно многолюдно; несколько придворных дам и мужчин были заняты разговором, другие выходили на открытую террасу, расположенную над живописным неаполитанским заливом, с террасы раздавались звуки лютни или декламация стихов какого-нибудь поэта, которых тогда в Италии было очень много. Король Альфонс, которому было в то вре-

мя немного более сорока лет, был занят разговором с кардиналом, послом папы Евгения IV; здесь же сидел граф Комбатеца и граф Марконе Каэтано.

— Итак, ваше величество, мы будем резюмировать,— говорил кардинал,— наш договор следующим образом: король Альфонс отказывается поддерживать папу базельского собора Феликса и признает папою его святейшество Евгения IV; затем король Альфонс обещает помочь его святейшеству возвратить Анконскую мархию *, занятую Франческо Сфорца; его же святейшество папа обещает возвратить королю неаполитанскому все земли, связанные с этою короною, и признать принца калабрийского Фердинанда законным сыном короля.

— Прекрасно, кардинал, мы со святейшим отцом будем добрыми соседями.

— Да, ваше величество, это очень важно. Италия раздирается кондотьерами, Германия гусситами и базельским собором, Византия турками. А глава христианства еще недавно был в бегах, как вор и разбойник...

— Не беспокойтесь, кардинал, мы с этими кондотьерами, даст Бог, справимся. Вы, конечно, слышали, что нам удалось разбить Антонио Кальдору, этого неукротимого кондотьера.

— Блестящий и плодотворный подвиг!

— Какие вести от достоуважаемого Энея Сильвия Пикколомини? Гениальная голова, не правда ли, кардинал?

— Мы нисколько не сомневаемся в его гениальности; но нас очень смущает его искренность. Его положение довольно двусмысленно: еще недавно он был душою базельского собора, а теперь уехал в Германию ратовать за интересы папы! У нас, впрочем, все уверены, что он поведет дело так, что прежняя его измена папскому престолу не помешает ему теперь сослужить папе службу.

Затем разговор между королем и кардиналом продолжался недолго; скоро кардинал ушел. Король подозвал к себе юного принца калабрийского Фердинанда, который почтительно приблизился к королю.

— Мой дорогой Фердинанд,— нежно обратился к не-

---

* Мархия — пограничный округ, управляемый маркграфом.

му Альфонс,— живи и учись. Все это прекрасное, Богом благословенное королевство предназначается тебе; сегодняшние переговоры устранили последнее щекотливое обстоятельство, которое могло бы воспрепятствовать этому.

Принц Фердинанд поцеловал руку короля.

— Принцу есть у кого учиться,— заметил почтенный Гихар; — под вашим руководством дон Альфонс, при тех возвышенных примерах, которые принц будет перед собою видеть, он будет достойным приемником.

— Благодарю, дорогой друг, за добрые предсказания; я думаю, что и почтенный дядя Гихар не откажется напутствовать молодого принца; уж он наверное научит его быть преданным другом.

При этих словах король протянул Гихару руку, тот крепко ее пожал.

— Король, может ли кто-то чувствовать к вам иное! — У Гихара при этих словах на глазах блеснули слезы.

— А, Инеса! Милая и добрая Инеса! — нежно обратился король к подходившей молодой девушке. Та почтительно поклонилась ему и прижалась к Гихару, который привлек ее к себе.— Я завидую, Гихарь, что у тебя такая дочь.

— А я вам, король, что у вас такая крестница.

— Что же, милая крестница, вы сегодня ко мне так неласковы? — обратился король к Инесе.

— Это вы, ваше величество, совсем меня забыли в последнее время. Победа над Кальдорой совсем вам голову вскружила,—шутливо сказала Инеса.

Король рассмеялся.

— О, женщины, женщины! Они только сами хотят кружить головы и им досадно, если что-то другое вскружит голову мужчине. Ну, прости меня; вперед, если я и Сфорцу поражу, то все-таки тебя не забуду.

Король нежно поцеловал красивую головку Инесы. Затем Альфонс взял за руку Гихара, отвел его в сторону и, глубоко вздохнув, сказал:

— Ах, Гихар, она так похожа на мою Маргариту, я без волнения не могу смотреть на нее, перед моими глазами встает прекрасный образ твоей сестры.— Король понизил голос.— Перед целым светом теперь принц Фер-

диианд законный сын мой и твоей незабвенной сестры и будущий король Неаполя; последний долг драгоценной фамилии Гихар заплачен.

— Простите, простите...— шептал взволнованный дон Гихар,— но, ваше величество, я ведь представитель и хранитель чести фамилии...

— Я за это тебя глубоко уважаю, мой старый и добрый друг.

В это время вошел паж и доложил:

— Синьор Джиованни Антонио Орсини, герцог тарентский, возвратился в Неаполь и просит принять его.

— А, Орсини! Конечно проси...

Паж вышел, а вслед за ним поспешно вошел Орсини.

— Герцог, что за церемонии! — Король бросился обнимать его.— Вы знаете, что я всегда вас рад видеть.

— Благодарю вас, ваше величество, за лестный упрек, но я думал, что вы заняты. Мне сказали, что вы покончили с кардиналом и завтра официально будет подписан договор с его святейшеством.

— Все это так! Садитесь, дорогой герцог, рассказывайте, что видели, что слышали.

Между тем герцог обходил всех и здоровался.

— Я бы, может быть, ваше величество, не спешил так и не требовал бы доложить вам скорее о себе, если бы не имел кое-что, вас интересующее. Если, у вашего величества, есть время, я подробно расскажу.

— Весь к вашим услугам, герцог.

При этом все приблизились к герцогу слушать его рассказ.

— Когда я окончил свои дела в Анконе и передал все, что ваше величество поручили мне передать наместнику Франческо Сфорца, то стал расспрашивать, нет ли в гавани судна, отходящего на юг. Мне сказали, что с часу на час ждут венецианскую галеру, которая держит курс на Бриндизи, и что с тех пор, как Франческо Сфорца нанялся к венецианской республике, сообщения с Венецией и югом постоянные. Я жду, и скоро, действительно, прибыла очень хорошенькая венецианская галера, бросившая якорь у Анконы. Я поспешил туда и мы двинулись на юг. Стоял прекрасный вечер; пассажиры

были все на палубе и за бокалом вина разговорились. Между пассажирами был какой-то генуэзец громадного роста и по-видимому очень богатый. Он-то и сообщал животрепещущие новости с Балканского полуострова. Около Моравы турки разбиты Гуниадом наголову...

Всеобщий взрыв восторга прервал рассказ Орсини.

Своею победою Гуниад обязан измене туркам Искандер-бека.

Новые возгласы остановили Орсини, причем многие выражали недоверие.

— Нет, синьоры, все это правда, и в доказательство привожу вам то обстоятельство, что Албания под предводительством Искандер-бека восстала. Кроя занята Искандером, это мы уже узнали, прибыв в Бриндизи, где толпа албанцев теснилась на берегу и гурьбой переправлялась на албанский берег. Они нам рассказывали, что Моисей Галенто и другие албанские князья признали Искандера законным владетелем Албании и повсюду вытеснили турок. Крою же Искандер взял без боя, хитростью, предъявив распоряжение султана о сдаче ему крепости; оказалось, что распоряжение было написано под диктовку Искандера секретарем султана, которому к груди приставили кинжал.

Отовсюду слышался одобрительный шепот. Имя Искандера переходило из уст в уста; делали всевозможные предположения об исходе борьбы.

— Но это не все,— продолжал Орсини,— во время разговора на палубе галеры стали расспрашивать меня о том, что делается в Неаполе. Я говорил о вашей победе, ваше величество, говорил при этом, что король Рене отказался от своих прав не вследствие недостатка мужества, а вследствие того, что не желает подвергать страну разорению кондотьерами, не будучи в состоянии своевременно удовлетворять их жалованьем, и о том, что ваше величество не хочет уступать ему в великодушии и тоже распускаете кондотьеров, но только пока не получит из Арагона денег, не может этого исполнить, и что это крайне вас беспокоит. Но такую большую сумму денег нелегко достать. Тогда у меня стали спрашивать, почему король не обратился к Генуе, я ответил, что король с генуэзской республикой в дурных отношениях и не хочет

получить отказ. Тогда, представьте себе, ваше величество, ехавший купец, о котором я уже упоминал, обратился ко мне с такими словами: «когда вы приедете в Неаполь, король получит всю требуемую сумму денег, только вы скажите, сколько требуется».

Все напряженно слушали.

— Я засмеялся,— продолжал Орсини,— когда вы услышите, сколько нужно, то откажетесь от вашего предложения. «Нисколько, возразил он, я спрашиваю только для того, чтобы знать, сколько нужно доставить; как сам король, так и его благородные побуждения вполне заслуживают, чтобы все было сделано для удовлетворения его желания». Я ему сказал, сто тысяч дукатов. «Хорошо, король все это получит»,— ответил он совершенно спокойно.

— Однако, до сих пор ничего не получал,— насмешливо заметил король.

В зале между тем стемнело, зажигали огни.

Вошел паж с докладом.

— Ваше величество, молодой человек, по-видимому византиец, просит доложить о себе.

Все переглянулись.

— Волшебство,— произнес король.— Вели войти.

Все общество с напряженным вниманием смотрело на дверь; скоро в дверях показалась стройная фигура молодого человека. Длинная одежда ниспадала до самого пола. Молодые прекрасные черты дышали скромностью и спокойствием. Он почтительно остановился у порога и слегка поклонился.

Взор всех остановился на нем. В зале пронесся шепот.

— Это Адонис! — шепнули некоторые дамы.

— Какой красавец! — вырвалось у других.

— Синьор,— обратился к нему король,— прошу вас подойдите ближе.

Молодой человек приблизился.

— Ваше величество,— обратился он к королю,— вы временно нуждаетесь в деньгах; к вашим услугам необходимая сумма; вашего слова вполне достаточно; никаких обязательств не надо; проценты, ваше величество, можете назначить сами.

— Благодарю вас, синьор. Ваше доверие меня тро-

гает. Желал бы я знать, вы лично мой кредитор или же кем-нибудь отправлены для доставления мне денег?

— Я лично, ваше величество.

— Еще желал бы знать ваше имя.

— Максим Дука.

— Стало быть византиец, и при этом из знатнейшей фамилии, в вашем роду были императоры.

— Все это верно, ваше величество.

— Садитесь, синьор, будьте моим гостем; позвольте вас познакомить с моими друзьями.

— Вы, синьор, живете в Италии или на родине? — полюбопытствовал герцог Орсини, который строил всевозможные догадки относительно связи молодого человека с генуэзцем; сходство в наружности было очевидно, но тот— генуэзский купец, а этот греческий аристократ.

— Птицы находят себе убежище, синьор,— отвечал ему Максим Дука,— а у византийца его нет; только слепые еще могут обольщаться надеждою, что Константинополь не погибнет. У нас отечества нет, мы его ищем в республике наук и в ней чувствуем себя гражданами.

— Самое сильное государство,— заметил король.

— И не имеющее нужды, чтобы его защищали кондотьеры.

— Кондотьеры в нем ничем не поживятся, хотя в нашей республике сокровища неистощимые,— прибавил Дука.

— Вы, синьор, вероятно знаете достоуважаемого кардинала Виссариона? — спросил Орсини у молодого человека.

— Знаю, глубоко уважаю и сострадаю его слепоте. Он один из тех, которые не падают духом и живут надеждою спасти несчастную родину.

— Однако, синьор,— раздался мелодичный голос донны Инесы,— отчаянье в устах такого молодого гражданина едва ли выше бодрости духа почтенного Виссариона.

— О синьорина, отчаянье грех великий,— возразил молодой человек, вскинув на Инесу свои кроткие глаза.— Я только не вижу естественной возможности спасти Византию, а чудес, Господом ниспосылаемых, она и не заслуживает, да правители и не возлагают надежд на

Господа Пантократора; они более полагаются на князей и сынов человеческих. Я напротив, синьорина, видя падение родины, не отчаиваюсь, а ищу себе убежища, где преклонить голову свою; но всюду разорение, всюду варварство! Для кого жить? Для чего, наконец, жить? Одна вера в лучшее спасает, но увы, и она иссякает. Я удивляюсь, как мыслящие люди женятся и добродетельные женщины замуж выходят! Как смеют, наконец, решаться на этот шаг. Какую дорогу они детям своим укажут. Вы нам даровали жизнь, скажут дети, укажите же нам путь жизни!

— Такие молодые годы, синьор, и такие мрачные мысли,— заметил король.

— Ваше величество, все отвлеченное в молодости только и чувствуется сильно. Может быть поживу и изменюсь.

— И женитесь,— заметила с снисходительной улыбкой пожилая графиня Комбатец.

— И уж, во всяком случае, ухаживать будете,— заметила другая дама.

— Я говорю, синьоры, что мы живем в такое время, когда не можем указать своим детям, для чего им жить.

— Синьор поклонник любви платонической,— заметил с улыбкой Гихар.

— Она, достопочтенный синьор, возвышает душу человека. Но...

— О, конечно, но разве может быть что-нибудь без этого то угрожающего, то утешающего «но»,— прервал его король.— Во всяком случае, молодой синьор, вы у нас погостите. Я должен отплатить гостеприимством за ваше благородство. Вам будет отведена комната, мой дорогой Гихар позаботится об этом. Покажите синьору прекрасную арку Антонелло да Мессина, созданную в память нашего вступления в Неаполь, синьор вероятно любит искусство.

## VI

Прошло недели две, молодой Дука гостил при веселом дворе короля Альфонса. Постоянные собрания людей

ученых, из которых многие были греками, покинувшими свою родину, делали двор этого короля, не любившего роскоши и отличавшегося доступностью, интересным и веселым. Король постоянно был занят наведением порядка во вновь приобретенных владениях. Хотя сосредоточенность не покидала молодого византийского гостя даже и в этой обстановке, однако его вниманием заметно овладевала молодая испанка Инеса Гихар. В средине пятнадцатого века этикет совсем не требовал замкнутости женщины, испанцы же, вследствие врожденной деликатности, особенно свободны были в этом отношении; поэтому Инеса Гихар, в качестве хозяйки, так как отец ее часто был занят по делам короля, старалась предоставить гостю различные развлечения. Богатая природа Неаполя и его окрестностей представляла неистощимый запас разнообразия. Молодые люди делились впечатлениями природы и видов Неаполитанского залива. Мечтательная испанка и молодой философ часто задумывались.

— Я вам, дон Массимо, предлагаю здесь сойти,— говорила Инеса, ловко выскакивая из лодки, приставшей у Мизенского мыса.— Отсюда панорама такая, что может

уничтожить всю скорбь, даже если бы она была следствием всеобщего варварства и падения древних наук.

— Конечно, донна Инеса, тем более, что вы будете делать комментарии.

— Зачем комментарии? В прелести природы всегда звучит голос Божий — вот он вам и комментатор.

— Да. Но голос Божий не всякому понятен. Музыку сфер Пифагора не все могли слышать. Вы, донна Инеса, та, которой этот голос понятен, а я уже от вас его услышу.

— О, дон Массимо, оставьте! В ваших словах или скромность, или лесть. А знаете ли, что я думаю: мне кажется, что ничто не может так оживлять природу, как музыка. Случалось ли вам на лоне природы слышать песню, или звуки арфы? В это время предметы делаются решительно одушевленными: тихо колеблющиеся ветви деревьев точно вас манят, точно что-то шепчут беззаботное, крутой уступ скалы так и говорит вам о своей вечной борьбе со стихиями; прекратилась музыка, и вам

становится грустно, точно это была мечта; природа умерла, хотя осталась прекрасною.

Максим немного помолчал, а потом, взглянув на Инесу, восторженно сказал:

— Не говорил ли я вам, что не всякий понимает голос Божий! Самая гениальная мысль та, которую когда выслушаешь, то кажется, что это моя собственная мысль, что я так всегда думал. Музыка, я так думаю, может быть объяснителем природы — все равно, звук ли это природный или вызванный гением человека.

Они довольно медленно шли к окраине мыса.

— Ах, дон Массимо, как ни хорош Неаполь, а часто я вспоминаю родную Испанию, наше темно-голубое небо и звуки серенады.

— Вы, донна, как и я пришли сюда на чужбину, вы с западных берегов Европы, я с восточных. Под куполом испанского неба звонкая песня несется к вечным небесам, у нас, в Греции, среди гор, в ущельях и на извилистых морских берегах, при шуме волн, нет места песне беззаботной и сердечной, у нас рассказ про борьбу с морем, с людьми и богами; и аккомпанементом ей служит плеск волны.

Собеседники умолкли. В воображении каждого представилась родина и они мысленно перенеслись туда. Тем временем они незаметно подошли к окраине мыса.

— А вот, дон Массимо, взгляните!

Дука поднял глаза и был поражен красотой пейзажа.

— Смотрите, Массимо,— невольно сорвалось у Инесы.— Дон Массимо,— поправилась она и совсем смутилась.

— Зачем поправляться, донна Инеса, это было так мило сказано.

— Смотрите: это цветущий островок Иския, с вулканом Эпомео, уже погруженный в тень; там синеет вдали Сорренто, а вот и Везувий дремлет.

Дука молча смотрел, он, казалось, забылся.

— Смотрите и оцените, дон Массимо; вы не верите Италии, вам кажется, что вне Греции нет красоты.

— Боже, как хорошо,— сказал он и невольно взял руку Инесы.— Но, Инеса, перед вами только обстановка.

— Господь все создал для человека.

Инеса тихонько высвободила свою руку.

— Ах, простите меня, я забылся! Забыться здесь так легко.

— Я очень рада, что мне хоть чарами природы удалось вывести вас из олимпийского спокойствия.

— Нет, донна, природа мертва,— Максим Дука мило и нежно улыбнулся,— ее кто-нибудь одушевляет; я думаю, что можно отыскать этого небесного духа, который парит здесь...

— Можете искать, синьор, но без меня; я думаю, что природа одушевлена,— с притворной наивностью, ответила Инеса.

— Без вас я не найду этого духа... мы уйдем и природа умрет снова или погрузится в сон.

— Но однако, дон Массимо, пора возвратиться во дворец, уже темнеет. В это время король бывает у себя, он любит, чтобы его окружали друзья.

— Король Альфонс очень умный и симпатичный человек, я нисколько не удивляюсь всеобщей привязанности к нему.

— О, да! К тому же, он много перенес на своем веку. Он покинул родину и едва ли когда возвратится обратно, а для испанца это очень тяжело.

— Что же за причина?

— Извольте, я вам, синьор, расскажу, тем более, что это всем известно. Король в молодости любил мою тетку, Маргариту Гихар; он тогда уже был женат, и королева Мария узнала о его страсти. Дикая месть охватила ее и она приказала задушить Маргариту; нашлись исполнители этого приказания. Король Альфонс, говорят, был совсем убит. С одной стороны он себя не считал правым ни пред королевой, ни пред покойной Маргаритой, с другой стороны, месть чужда была его великодушному характеру, тем более не мог он мстить женщине, но вместе с тем он не мог более выносить присутствия королевы Марии, и решился покинуть родину и отыскать престол сыну Маргариты Гихар, Фердинанду, тому молодому принцу, которого вы видите у короля. Этим он хотел загладить свою вину пред Маргаритой и ее семьей. Испанцы горды; никакой испанец, при всем уважении к своим королям, не сочтет за честь, если его дочь или сестра сде-

лается фавориткою короля, а потому король настроил против себя Гихаров, которых он очень любил; смерть Маргариты примирила короля с ними. Король явился к моему отцу и обещал добиться, во что бы то ни стало, от папы признания Фердинанда принцем и своим законным сыном и доставить ему корону. Король так искренно и так неустанно к этому стремился, что сделал из Гихаров самых преданных своих друзей. Он воспользовался в пользу принца завещанием королевы неаполитанской Иоанны, хотя она это завещание потом уничтожила, и всецело отдался военным предприятиям — они его развлекали и давали возможность трудиться для сына Маргариты, которую он ни на минуту не забывал.

Когда Инеса Гихар и Максим прибыли во дворец Дука, все придворное общество было уже в сборе. Король пошутил над продолжительным отсутствием молодых людей, и обратившись к сидевшему тут же Гихару, дружески положа ему руку на плечо, шепотом сказал, слегка указывая на молодых людей:

— Что, старина, видал ли ты когда-нибудь такую парочку?

## VII

Хотя Тана в средине XV века была уже в упадке, однако рыбный промысел Порто-Пизано, Палестры и других окрестностей был значителен. Среди крупных торговых контор видное место занимала контора Луканоса. Она была оживленна; здесь находились итальянцы, греки, татары, русские и черкесы с Кавказа.

Луканос, еще совсем молодой человек, был в своей комнате за конторкой и подводил итоги прошедшего дня, когда к нему вошел слуга.

— Пришли барки из Ельца,— сказал он,— и хозяин желает вас видеть.

— Скажи ему, чтобы зашел когда совсем стемнеет.

При этих словах Луканос лукаво улыбнулся.

— Он спрашивал еще,— прибавил слуга,— не знают ли у нас монаха отца Стефана, у него есть для передачи ему четки; но Стефана у нас никто не знает.

— А, хорошо, я его знаю,— отвечал Луканос.

Лицо его всегда веселое, несколько омрачилось.

— Спиридон, подожди,— удержал он слугу и задумался. Немного спустя, он сказал:

— Спроси у приехавшего из Ельца торговца, не знает ли он там Кутлаева, и если знает, то не сообщит ли он, может ли этот Кутлаев заплатить долг свой в двести дукатов или нет? Пойди спроси и передай мне его ответ сейчас же.

Спиридон вышел. Луканос встал из-за конторки и заходил по комнате; его что-то сильно волновало.

Спиридон вошел.

— Ну, что?

— Он очень обеспокоился и спрашивал: разве Кутлаев должен что-нибудь вашему господину, и просил повидаться, говорит, что лично все изложит вам.

— Хорошо. Позови его.

Лишь только Спиридон ушел, Луканос поспешно прикрыл окна, так что в комнате стало совсем темно.

— А, кирие Евфимий, прошу вас, войдите, простите меня, что я вас впотьмах принимаю, у меня глаза очень болят, я не могу оставаться при свете.

— Ничего, ничего, не беспокойся, сударь, и в темноте можно поговорить.

— Что же вы привезли хорошего?

— Много, сударь. Твои ребята там список составляют, я все деньги, которые получились от отца Стефана, употребил в дело.

— Очень приятно. Все, что вам еще следует получить, можете взять, когда пожелаете, товаром или деньгами. Все это вы в конторе уладите.

— Очень доволен, сударь, всеми нашими оборотами и вперед душевно рад служить.

— И я в свою очередь доволен, благодарю вас за аккуратность. А вот вы еще хотели что-то передать отцу Стефану. Я с ним месяца через два увижусь.

— Да, да, прими четки с золотою иконкою для передачи. Достопочтенный Стефан забыл в бытность свою у нас, дочь моя нашла и просила ему передать.

С этими словами Евфимий Васильевич передал Луканосу янтарные четки с золотою иконкою; тот положил

ее в маленький боковой карман своей бархатной туники.

— Отец Стефан говорил мне, что у вас дочь премилая девушка и уже невеста.

— Да, сударь, вот только ты изволил меня несколько озадачить. Дело в том, что тот Кутлаев, о котором ты спрашиваешь, именно и есть ее жених. Я думал, что он богатый человек.

— Я ведь не знаю, может он и богат. Я его в глаза не видал, а только он в долгу у одного моего должника; вы немного повремените с вашей свадьбой, а я, когда узнаю доподлинно, то вас оповещу.

— Хорошо. Благодарю за твои заботы.

Весь разговор происходил по-русски, и Евфимий Васильевич решил спросить, откуда Луканос знает русский язык.

— Невозможно иначе. Приходится иметь дело с русскими, с татарами, а во всем полагаться на приказчиков нельзя, надо самому лично переговорить.

Затем приезжий отвесил низкий поклон и вышел.

Вслед за его уходом, вошел Спиридон, и ничего не видя впотьмах, остановился в недоумении. Луканос, заметив вошедшего слугу поспешил открыть окна и несколько смутился.

— А тебе что? — спросил он.

— Пришел посланный от консула и просит через час быть в заседании совета, дело спешное.

— Хорошо. Скажи, что буду.

Через час в доме консула, в центре Таны, стали собираться влиятельные танские купцы. Они были крайне озабочены созывом на заседание.

— Почтенные синьоры,— обратился консул к собравшимся,— я пригласил вас вследствие довольно тревожного известия наших сторожевых постов, которые сообщили, что вот уже два дня, как показываются группы татар, по три, по четыре и более человек. Это, по всей вероятности, передовые какой-нибудь перекочевывающей орды; может быть это мирные татары, а может нам грозит набег, поэтому следует принять меры предосторожности. Что вы на это скажете, синьоры?

Все задумались.

— Я полагаю,— заметил, после некоторого размыш-

леция, почтенный синьор Стаджи,— что следует всем нам и нашим рабочим вооружиться, занять укрепленные места в городе и защищать, если татары попытаются овладеть городом. Я думаю, что если бы в ту печальную годину, когда Тамерлан разрушил Тану, были приняты все предосторожности, то этот варвар не справился бы с нашими укреплениями. Можно в некоторых местах устроить мины.

— Все сказанное достопочтенным синьором Стаджи заслуживает внимания, тем более, что он человек опытный и проживает здесь около пятидесяти лет, а потому знает все местные условия,— сказал синьор Фереро, сравнительно новый человек в Тане.

— Что думают другие синьоры? — спросил консул.

— Одобряем мнение синьора Стаджи! — раздалось несколько голосов.

— Во всяком случае, синьоры,— прибавил Луканос,— надо постараться сначала предотвратить опасность.

— Конечно, конечно!

— На кого же возложить эту миссию? Первое условие для этого — знание татарского языка и вообще ловкость и хитрость. Не так ли, синьоры? — спросил консул.

— И при этом немалая смелость, потому что с татарами иметь дело это не с генуэзцами или другими цивилизованными народами, где права посольства уважаются,— сказал Стаджи.

— Не всегда они и там уважаются,— заметил синьор Фереро.

— Мое мнение,— продолжал Стаджи,— выбрать для этой цели синьора Андрео Луканоса, он решительно удовлетворяет всем высказанным требованиям. К тому же, он по происхождению византиец, а византийцы природные дипломаты, что, конечно, нисколько не мешает ему оставаться добрым венецианским гражданином, каким мы его знаем.

А потому мы должны убедительно просить его взять на себя эту трудную и опасную обязанность для общего блага.— Да, мы просим вас, синьор! — обратились со всех сторон к Луканосу.

— Извольте, синьоры, ваше доверие мне лестно; я сейчас же отправлюсь и постараюсь как можно скорее успокоить вас.

— Прекрасно, синьор Луканос,— сказал консул,— мы никогда не забудем вашей самоотверженности. Итак,— добавил он, обращаясь ко всем,— немедля вооружимся и будем ждать, что нам сообщит наш молодой благородный друг.

Заседание закончилось, но танские негоцианты еще долго толковали между собой о грозившей опасности; страшное разорение Тамерлана было еще у всех свежо в памяти.

Оставив заседание ранее других, Луканос поспешно приехал домой, накинул теплый широкий плащ, надел суконную шапочку и приказал немедленно приготовить лодку.

Было темно, когда он переехал через залив Азовского моря и высадился в Порто-Пизано. Довольно прохладная осенняя ночь уже наступила. Слышались крики перелетных птиц, которые неслись из земель Московских и Литовских на юг. Луканос постучался в довольно большую глинобитную хижину, ему отворил заспанный человек и, протирая глаза, спросил, кто он и что ему нужно. Наконец, распознав своего господина, он крайне удивился и растерялся.

— Ваша милость! В такую пору!?

Луканос вошел и сел.

Слуга стал в почтительном отдалении.

— Говорят, татары появились в наших местах?

— Да, ваша милость.

— Что же, приняты меры предосторожности?

— Как же, вчера и сегодня все хлопотали, оттого и вам не мог сообщить; нельзя было людей от дела отрывать. Лучшую рыбу припрятали в подвалы. Другую в землю зарыли, а которая похуже — оставили. Человек десять уже несколько раз проходили и просили поменять рыбы на овец, я, чтобы приласкать, за двух овец дал им гораздо более, чем следует; ну, да к тому же дал рыбы поплоше, им и эта хороша.

— Хорошо, Марк, за это хвалю. Теперь слушай: завтра чуть свет разбуди меня, я у тебя переночую. Я выеду

в поле и возьму человека четыре рабочих. Прикажи им получше одеться. Потом приготовь хороший шашлык и в лодке у меня возьми вино и фрукты. Все это пусть будет наготове. Понял?

— Понял. Вы сами изволите поехать в степь?

— Мне поручили на совете у консула. Надо же кому-нибудь ехать.

— Да не извольте беспокоиться, орда, кажется, мирная по всему видно. Оно, конечно, не без того, что угонят скота десяток — другой голов; вот до рыбы они лакомы, может, разграбят где тоню, а чтобы набег был — не похоже!

— Ну, тем лучше.

Вскоре Луканос подостлал под себя плащ и заснул беззаботно. Молодое, светлое и приятное лицо его порой улыбалось во сне.

## VIII

Было свежее раннее утро, когда Луканос и четверо рабочих оставили Порто-Пизано и выехали в степь. Широкий плащ, круглая шапочка и вся тонкая и изящная фигура всадника странно выглядели в степи. Он тихо ехал, посматривая по сторонам и кутаясь в плащ от свежего осеннего ветра. Вдруг как из-под земли вырос узкоглазый татарин в бараньей шапке. Внезапность его появления заставила вздрогнуть Луканоса, но он вмиг оправился и крикнул по-татарски:

— Здорово, приятель! Куда Аллах несет?

Удивленный татарин прищурил и без того узкие глаза, потом крикнул в ответ:

— Здорово, мурза! Ищу хорошей дороги.

— Куда тебе дорогу надо? Да чего боишься меня,— прибавил Луканос, видя, что при его приближении тот пятится.

Татарин остановился.

— Мы идем за Дон, к Манычу,— сказал он.

— А откуда?

— От Днепра. Наш Темир-хан не поладил с Литовским князем, мы хотели перекочевать в Крым, да проклятые нагаи помешали; вот мы на Маныч и бредем, там теплее и трава есть.

— А можно ли мне видеть вашего хана? Он далеко отсюда?

— Нет, совсем близко, к полдню будет тут.

— Я хочу повидать его, можно это сделать?

— Отчего нельзя, мурза, можно. Ты мне подари рыбы, у вас тут рыбы много, так я приеду и скажу тебе, когда хан сюда будет.

— Ай да молодец. Изволь, приедешь и получишь, сколько захватишь на лошадь.

Татарин скорчил радостную гримасу, щедрость венецианца понравилась ему.

— Так ты приезжай к морю и спроси Луканоса. Слышишь? Не забудь.

— Не забуду, мурза.

Татарин исчез, а Луканос воротился в Порто-Пизано.

Спустя часов шесть, Луканос уже подъезжал с татарином к юрте Темир-хана. Кругом стояли кибитки, обтянутые кожей и наполненные татарками и татарчонками, тут же, неподалеку, бродил скот; в нескольких местах были разбиты юрты также кожаные, в них расположились мурзы. В самой большой из них помещался Темир-хан. Вокруг нее было больше людей; тут приготовляли кумыс, шашлык и вообще было оживленно. Татарин сказал, чтобы Луканос подождал, а сам пошел к ханским приближенным и сообщил им, что приезжий мурза,— он при этом указывал пальцем на Луканоса,— хочет видеть хана. Татары обступили Луканоса и с удивлением на него поглядывали; он чувствовал себя не совсем спокойно, но мешки с рыбой, навьюченные на спины лошадей, располагали татар к Луканосу.

Наконец, Луканосу сказали, что он может пройти, так как хан желает его видеть. Луканос вошел в юрту. Хан был еще довольно молодой мужчина. Он сидел поджав под себя ноги; его окружали несколько мурз, а в стороне сидели две его жены. Луканос преклонил колено и сказал по-татарски:

— Славный Темир-хан, ты в наших краях гость,

хочу, чтобы ты сделал меня на всю жизнь счастливым, пришел бы ко мне в дом и дал бы возможность принять тебя. Мой дом недалеко отсюда. Твои мурзы сейчас получат от меня подарки, самую хорошую рыбу и икру, ее уже везут из Порто-Пизано, и ты, хан, прими ее от меня. Благодарю тебя за гостеприимство.

Луканоса посадили и стали угощать кумысом.

Хан стал расспрашивать о городе Тане. Луканос старался в своих ответах умалить ее богатство, которое могло быть соблазнительным для татар, и как бы между прочим заметил, что постройка новых укреплений окончательно разорила граждан. Потом Луканос стал приглашать хана к себе, но тот выразил опасение, что его могут захватить в плен.

— Кто же посмеет нарушить гостеприимство, хан? — сказал обидчиво Луканос.— Да если мы тебя обидим, так за тебя вступится вся твоя орда.

— Твоя правда, ты благоразумно говоришь, видно, что человек умный.

Затем хан, с несколькими мурзами, отправился в Порто-Пизано. Луканос уехал раньше и встретил гостя.

Шашлык татары похвалили, однако ели мало, потому что не были голодны; но отведав присланной рыбы, они почувствовали жажду; им тотчас принесли десять арбузов, которые они разбивали у себя на коленях и руками вытаскивали из них мякоть. Луканос стал угощать гостей вином. Татары, несмотря на то, что исповедывали религию Магомета, плохо соблюдали законы пророка и охотно пили вино. Оно очень понравилось хану, и вообще он рассыпался в любезностях перед Луканосом, называя его своим другом.

— Вот возьми на память от меня! — Говоря это, хан снял с себя серебряный пояс и отдал Луканосу.— Я хотел бы от тебя что-нибудь иметь,— сказал он.

Луканос принялся осматривать свой костюм, но он был одет по-домашнему и впопыхах не переоделся. На его одежде никаких драгоценных украшений не оказалось. Он стал шарить в карманах и отыскал янтарные четки с золотою иконкою, которые получил от Евфимия Васильевича.

— Вот, хан, возьми от меня, а пояс твой я буду всегда носить на себе.

Хан надел четки на шею, а красивая икона ему очень понравилась, он поминутно посматривал, как она лежит у него на груди.

Татары так выпили, что их пришлось взвалить на повозки и развести по юртам. На следующий день татары стали переправляться через Дон, связывая плоты из росших тогда на берегах Дона деревьев.

Со страхом следили за их движением жители Таны, однако орда перекочевала мимо, не тронув города.

Возвратившегося из Порто-Пизано Луканоса в Тане восторженно приветствовали, приписывая ему честь избавления города от опасности.

Евфимий Васильевич порядком струхнул, оказавшись в Тане в такую минуту. Он уже собирался в обратный путь, когда явился к нему посланный от Луканоса с просьбою, чтобы Евфимий Васильевич побывал у него до своего отъезда.

Евфимий Васильевич явился. Его по-прежнему принимали в темной комнате. Поклонившись при входе, он сказал:

— Ты вот, милостивец, все болеешь глазами, отслужил бы молебен Св. Пантелеймону, он очень в недугах помогает.

— Надо, надо,— сказал Луканос.— Я имею к вам, кирие Евфимий, дело, которое вот уже три дня меня беспокоит. Я слышал от отца Стефана, что у вас есть дочь красавица, и добрая и разумная, а я вот себе невесту ищу, что вы на это скажете, кирие Евфимий?

— Уж ты жених, сударь, хоть куда! Я думаю только, что это ты затеваешь, может, что обидное — так мы себя в обиду не даем!

— Господь с вами! Что вы! Я вот хочу жениться на вашей дочери, кирие Агрипине; мне отец Стефан о ней много хорошего говорил. Я вот хотел бы обдумать лучше, да все боюсь, что татарин ее у меня отобьет, и решился теперь же об этом поговорить.

— Ну, когда так, так уж тебе сердечно скажу, что твоя милость не в пример для меня лестнее, да и ей, бедняжке, тяжко, за него не хочется выходить.

— А вот еще условие: чтобы не принуждать, без ее согласия не женюсь.

— И что ты, Бог с тобою! Какое тут согласие, что девку томить, разве она понимает как ей лучше?

— Нет, нет! Вы ей, кирие, скажите каков я. Вот посмотрите, хоть и не красавец, а все лучше вашего татарина.

При этом Луканос открыл окно. Евфимий Васильевич пристально стал всматриваться, а потом, широко улыбнувшись, сказал:

— Да право же вылитый отец Стефан!

Луканос засмеялся.

— Так вот что, Евфимий Васильевич, скажи, что сам отец Стефан сватается — я сам отец Стефан и есть.

Евфимий Васильевич захохотал на весь дом.

— Ай да и монах! Так-то нас, старых людей, провел! Что это тебя заставило?

— Мне хотелось подробно рассмотреть ваши края для торговых целей, а в рясе монаха опасности меньше и от татар, и от разбоя.

— Это точно, ты хитро придумал. Монаху и с деньгами опасности мало. Из молодых ты, да ранний, что и говорить! Ну, скажи мне, как тебя по имени и отчеству величать.

— Андрей Константинович.

— Ну, ладно, Андрей Константинович; я тебе теперь скажу, что моя Груша охотно за тебя пойдет, потому что о тебе очень часто вспоминает, да еще говорить, что отец Стефан как будто не монах, совсем не то, что отец Арсений.

— Ну, а об отце Арсении что слышно?

— Ничего не слышно; говорил, с год или более походит по русской земле, а потом через Тану или Каффу на Афон отдохнуть отправится. Истосковался, говорит. Истовый человек он! Таким тяжко на свете жить.

— Теперь у меня, Евфимий Васильевич, еще одно дело,— сказал Луканос, после некоторого размышления,— это о свадьбе. Я ведь не могу весной быть у вас; это такое же горячее время у нас, как и осень — тысячи потеряешь; а невесте ехать сюда тоже не годится, да у нас и церкви православной нет.

— Это я понимаю, что тебе весною ехать не след совсем, я и сам от этого много потеряю... Ты, Андрей Константинович, человек богатый, тебе ничего, а меня уж не разоряй.

— А я вот как придумал. Приезжай ты, Евфимий Васильевич, с милой кирией Агриппиной в Солдайф или по вашему Сурож. Я встречу вас; там для вас будет помещение, там же есть и православная церковь, там даже русский священник был, может и теперь еще живет.

— Есть, как же! У меня в тех местах тоже дела с солью. Голова у тебя — палата! Уж подлинно говорят «хитрые греци». И удивляюсь я,— добавил Евфимий Васильевич, как это Груша успела тебе понравиться? А она-то добрая девушка, что и говорить.

— С тех пор, как я у тебя гостил, Евфимий Васильевич, она у меня из головы не выходит. Уж я подумывал, как бы это снова в Елец махнуть.

На следующий день, к немалому удивлению служащих, Луканос сам проводил русского купца. При прощании он с ним обнимался и целовался.

## IX

Король Альфонс очень любил вступать в разговор с образованными людьми, а в то время многие ученые греки, покидавшие свою порабощенную родину, искали приюта в Италии; их было много и в Неаполе. Король Альфонс с большим вниманием относился к Максиму Дуке, тем более, что это был человек, не искавший у него ничего. В свободное время, вечером, король, по обыкновению, окруженный небольшим обществом, беседовал. В числе приближенных короля находился и Максим Дука.

— Управляя несколькими странами,— продолжал разговор король,— Арагонией, Кастилией, Сицилией и Неаполем, и имея дело с различными правами и различными учреждениями, становишься в тупик, как поступать. Иногда чувствуешь очевидное преимущество в су-

ществовании, положим, института великого хустисия Арагонии. Но в тоже время я положительно уверен, что если дать такое же учреждение Неаполю, это значит прибавить еще повод к той бестолковщине, которая царит среди здешнего беспечного народа. И много раз приходилось наталкиваться на такого рода обстоятельства, которые решительно затрудняют составить мнение относительно лучшего государственного устройства.

— Для решения такого важного вопроса недостаточно только примеров,— заметил герцог Орсини,— сколько бы их перед нами не имелось; этот вопрос должен быть решен принципиально.

— Всякое обобщение, герцог,— возразил Дука,— есть, конечно, дело серьезное, важное, но и опасное, потому что наше желание найти необходимое решение заставляет иногда не так смотреть на факт, каков он есть. В настоящее время достаточно известны в Италии греческие философы, благодаря чему государственная теория Платона хорошо знакома, по которой он манипулирует людьми как пешками и заставляет их делать все именно так, как представляет его фантазия. Я уверен, что познакомившись с философией Платона в Италии, при существующей здесь во многих местах анархии, непременно явятся подражатели Платона в составлении того или другого плана государственного устройства, и может быть, они будут впадать в ту же ошибку: забывать личность человека, исходя из той возвышенной и разумной точки зрения, что отдельный человек есть часть целого, то есть общества; между тем личность человека вовсе не дробная часть, а целая единица, и общество сложное тело, состоящее из этих единиц.

— Однако же,— заметил король,— очень трудно удовлетворить интересам каждого.

— Я думаю, ваше величество, что даже невозможно.

— Что же должны делать те, которые силою обстоятельств стоят во главе обществ, будь они властители или авторитеты? — спросил герцог Орсини.

— Надо возвысить нравственный уровень этих отдельных личностей, чтобы среди них всякий порок был проступком, а не нормальным явлением. И вот вам доказательство: мир древний, как классический, так и биб-

лейский, старался выработать такие формы государственного устройства, под покровом которых жилось бы по возможности хорошо и, как нам известно, этот мир создал обширные и глубокомысленные законодательства, и все-таки не достиг желанной цели. Почему же? Потому, что устраивая общество, как единицу, на человека, как на дробную часть, не обращалось внимания. Что человек единица, а не дробь, это имело в виду и Евангелие. Оно никакого внимания не обращает на формы государственного и общественного устройства, это уже выработал древний мир, да это и не так важно; важнее указать человеку пути нравственного совершенства. Вот и надо поступать так, чтобы гражданин развивался в нравственном и умственном отношении. Необходимо глубоко уважать личность человека, а не презирать единого от малых сих.

— Отсюда,— сказал король,— я заключаю, что вы стоите за те формы, которые существуют у народа, и что законодатель должен их только усовершенствовать. Если же мы видим в них недостаток гражданского устройства, то давая им возможность сделаться лучшими, мы подводим их к желанию нововведений.

— Я почти хотел сказать тоже самое,— отвечал Дука.

— Значит, король первый слуга народа? — язвительно вставил Орсини.

— Что же тут дурного? — улыбнулся Дука.— Кто хочет быть первым, будь для всех слугою.

— Христос был всем слугою,— задумчиво сказал король.

— Из того, что я слышал о вашем величестве,— сказал Дука,— а именно, что вы изволили однажды выразить желание, чтобы ваши подданные боялись не вас, а за вас,— так из одного этого можно уже отчасти вывести заключение о вашем взгляде, подходящем к только что выраженной мною мысли. А что касается Христа, ваше величество, как вы изволили привести пример, то ведь он был Христос и мы не в силах ему подражать.

— Какое малодушие! — заметил не столь спокойно, как до сих пор, король.— Это оправдание весьма часто

приходится слышать. Я согласен, что возможно иногда успокоить свою совесть тем, что мы не в силе поступить так, как поступил бы в подобном случае Христос. Но возводить в принцип, что Его великий пример не обязателен для нашего подражания — это не достойно человека: тогда он не образ и подобие Божие.

Затем разговор перешел на разные отвлеченные темы, которые, под влиянием писателей древне-христианских и классических, были тогда в большой моде. Это было перед отъездом Максима Дуки. Он улучил удобную минуту прервать беседу и обратился к королю.

— Я опасаюсь, ваше величество, не исполнить одного порученного мне на родине дела, которое, впрочем, меня лично не касается. Меня просили узнать, могут ли рассчитывать предприимчивые торговые люди на покровительство властей, если они задумают заняться богатствами только что открытых испанцами Канарских островов?

— Вы, синьор Массимо, говорите, что это дело вас лично не касается, но все-таки мой ответ утвердительный. Если же вы явитесь ходатаем, то обещаю свое особенное покровительство.

— Сердечно благодарю вас, ваше величество, за то внимание, которым я был окружен во время пребывания моего в Неаполе.

— Теперь желал бы я узнать у вас, синьор Массимо, явитесь ли вы лично за получением денег или это дело устроим как-нибудь иначе?

— Ваше величество, дайте мне одну минуту на размышление.

Король утвердительно кивнул головой и отошел в сторону.

Максим Дука увидел сидевшую у окна донну Инесу. Она задумалась и бессознательно играла веером, то раскрывая его, то закрывая.

«Если я ее увижу еще раз...» — мелькнуло в голове Дуки.— «А может быть я ее уже люблю так, как не предполагал и сам... Нет, проститься навсегда, никогда больше ее не видеть!» — решил молодой человек.

Ответ королю был готов и Дука направился к Альфонсу.

Донна Инеса подняла голову. Взоры молодых людей встретились.

— Ваше величество, я лично явлюсь за получением, когда только вам угодно будет назначить,— произнес Дука.

— Как пожелаете, синьор Массимо. Я скоро получу из Сицилии и Арагонии достаточную сумму; если я теперь и решился на заем, то для того, чтобы не уступить в великодушии достоуважаемому противнику герцогу Рене. Куда же вы направитесь отсюда?

— Во Флоренцию, ваше величество, где думаю повидаться с моим учителем, кардиналом Виссарионом, он теперь там.

— Мой привет почтенному мужу,— сказал король,— с вашей же стороны, молодой синьор, весьма похвально не забывать своего учителя.

В тот же вечер донна Инеса попросила у отца разрешения съездить на родину, по которой она истосковалась, хоть на короткое время. Почтенный дон Гихар, любивший свою дочь и ни в чем ей не отказывавший, не противился ее желанию.

## X

Кардинал Виссарион остановился во Флоренции, во дворце кардинала Франческо Кондальмиери. Он сидел в мягком кресле, в богато отделанной лепными украшениями комнате и устланной красиво сотканными коврами мантуанской и венецианской работы и перечитывал свитки, пред ним лежавшие, делая на полях свои пометки. Он был человек сорока с небольшим лет, но морщины на лбу и седина в бороде и волосах старили его. Кардинал был оторван от своих занятий докладом слуги, известившего его, что молодой синьор, назвавший себя Максимом Дукою, желает с ним видеться. Получив утвердительный жест, слуга удалился, а кардинал поспешно встал навстречу входившему Максиму Дуке.

— Мой дорогой Максим, какими судьбами! — воскликнул он, крепко обнимая молодого человека.

— Не судьбами, отец Виссарион, а своим желанием видеть тебя и засвидетельствовать добрые чувства к тебе отца моего, брата Николая и мои.

— Как это хорошо! Все это мне очень дорого. Я думал, что после этой несчастной флорентийской унии, я стяжал себе всеобщую анафему. Но Господь свидетель: я ратую и до смерти ратовать буду за мою погибающую родину.

Кардинал грустно опустил голову.

— О нет, отец Виссарион, только люди ограниченные делают это.

— Так, дорогой Максим, но между нами есть люди колоссального авторитета и достойные уважения; возьми хотя бы Марка Эфесского. Ну, да пока не будем об этом. Что достопочтенный кирие Константин? Стареет?

— Да, стар стал и слаб; все печальные события его мучат; хотя он молчит, но мы знаем, что он чувствует. Только библиотека дает ему спокойствие.

— Святые свитки старины! Он в особенности любил Иоанна Златоуста, Василия Великого и Фукидида. Помню, как мы с ним насчет Платона и Августина не сходились.— Кардинал воодушевился, вспоминая прошлое.— Ха!.. ха...— тихо смеялся он,— вашего Платона,— говорил Константин,— послать бы управлять государством Баязета. Разумный старик, ваш батюшка! — Кардинал опять задумался.— Ну, а что Николай, все такой же резкий рационалист, такой же стоик по убеждениям?

— Он такой же как и был, а отцу говорит: ну, что же, не будет Греции, поедем в Италию — ведь все равно нет ни иудея, ни эллина.

— Но есть блестящая культура, которая погибнет,— с глубоким вздохом произнес отец Виссарион.— Ну, а Андрей как? Славное, доброе, беззаботное сердце!

— Давно ли видел его. Отец зовет Андрея к себе, если не в этом году, то на следующий.

— Как же твои дела, дорогой Максим, остаешься верен себе, не женишься?

— Нет, не женюсь!

— Правда, правда, нечего указать детям впереди! Все-таки надо бороться... Отчаяние — малодушие...

— Отец, средства дай для борьбы, оружие дай в

руки! Какая же это борьба, когда нечем ни защищаться, ни нападать.

— А Николай что говорит? Неужели то же, что и ты?

— Нет, он говорит оружие — деньги, крепость — деньги, армия — деньги и гарнизон те же деньги.

— А ты как думаешь?

— А я думаю, что деньги только временное средство и больше ничего.

— Вот я получил известие,— начал кардинал, оставив без возражения ответ Максима,— оно будто луч надежды. Король Владислав уступил настоянию кардинала Юлиана Чезарини. Мой теперешний начальник кардинал Кондальмиери, с папским флотом в Архипелаге, и пишет, что Мурад стянул все свои войска в Малую Азию, после заключения мира с королем Владиславом, и потому надо действовать скорее и решительнее, пока владения турок в Европе лишены защитников. Император Иоанн Палеолог действует, сообразуясь с общим планом. И, наконец, Искандер-бек, непримиримый враг султана, идет на соединение с королем Владиславом, он идет через Сербию, король которой Юрий Бранкович, конечно, будет союзником короля, потому что своим спасением обязан Гуниаду, и в короткое время соединится с поляками, венграми и румынами. Что ты скажешь на это?

— Я скажу, что король, заключив мир с султаном, не должен был подавать дурной пример нарушения договоров, что кардинал Чезарини не стоит на высоте христианской истины, если требует нарушения клятвы — все эти преступления решительно унижают звание воинов христианства...

— Остановись! — резко прервал его Виссарион.— Пойми, разве возможно упустить такую минуту, ведь тогда все пропало!

— Отец, я вот что скажу,— начал Максим,— мне часто казалось, что если Христос, будучи на кресте, после насмешек евреев, которые говорили: «сойди со креста, если Ты Сын Божий», вдруг бы сошел! Как бы это было торжественно! Полная победа Христа над ветхим миром была бы одержана. Но Христос не сошел, потому что принцип его учения был другой: тогда христианство бы-

ло бы религией блестящею, религией славы и успеха, а не несчастных и угнетенных.

— Дитя мое,— болезненно произнес кардинал Виссарион,— то был Христос, у которого вечность впереди, но мы, ох, Максим...— кардинал как-то виновато посмотрел на своего ученика,— мы может быть спасем великую Византию. Эта мысль меня не оставляет, я для нее живу! Знаешь, Максим, я никогда не был честолюбив, но теперь...— Виссарион понизил голос,— папская тиара для меня заманчива. Героев много: Гуниад, Искандер-бек, Альфонс V, король Владислав... папа многое может сделать.

— Отец Виссарион, я опять буду возражать,— сказал молодой человек.— Будешь папой, будешь считать первою обязанностью бороться с базельским собором, а второю — спасать Византию.

— Нет, нет, собору уступить надо — там блеск католического мира, там лучшие его представители.

— Не уступишь, отец,— недоверчиво возразил Дука.

— Но что говорить о несбыточном! Пока наша забота или спасти Византию, или перенести ее в среду другого народа, увенчать другой народ этим венцом древности и славы.

— Я боюсь, отец, что народы от этой чести откажутся; один скажет, снимите венец — слишком тесен, другой скажет — слишком тяжел; может найдутся такие, которые скажут, что он кровью пахнет.

— Ты, Максим, шутишь великими идеями! — несколько раздраженно проговорил кардинал Виссарион.— Я знаю только то, что от славного венца римского императора не откажется никто, хотя действительно не каждый его может снести.

— Я много слышал, отец Виссарион, хорошего о Флоренции,— начал Дука, желая переменить разговор,— в особенности о синьоре Косьме Медичи; слышал, что он стал во главе торгового мира Италии, и между прочим, хочет искоренить торг невольниками.

— Да, достойный муж, очень любит просвещение и искусство. У нас много образованных греков, если ты здесь поживешь, я тебя с ними познакомлю.

— Нет, отец, я завтра же собираюсь домой; я проездом и давно уже из дому. Не знаю, как мне ехать лучше, на Пизу или Анкону?

— На Пизу, конечно, удобнее и спокойнее, но на Анкону ближе.

Проговорив с кардиналом до поздней ночи и переночевав у него, Максим Дука на следующий день выехал из роскошной Флоренции, где процветала промышленность и торговля под мудрым руководством благородного Косьмы Медичи.

## XI

В Анконе пришлось целые сутки ждать галеры, которая шла из Венеции. Повсюду говорилось о предстоящем походе союзников против турок. Когда прибыла галера, начались расспросы пассажиров, приехавших из Венеции, которые спешили удовлетворить любопытство как могли. Говорили они, что король Владислав уже выступил в поход и направился в Варну, что исход будет наверное благоприятный, потому что Мурад и его войска в Азии, и что им не на чем быстро передвинуться в Европу. По словам пассажиров, кардинал Чезарини также отправился в поход. Говорили еще, с некоторым беспокойством, что Гуниад этого похода не одобряет.

Галера стояла недолго, вскоре она оставила Анкону. Пассажиры были большею частью венецианцы. Все бывшие на галере толковали о политических делах и обратились к капитану с просьбою приставать ко всем гаваням по Балканскому берегу, чтобы там почерпать новости с театра военных действий. Некоторые пассажиры играли в карты.

— Вы, синьор, не играете? — обратился венецианский купец к Максиму Дуке.

— Нет, не играю. У нас в Греции в карты не играют.

— Я слышал,— сказал один зритель карточной игры,— что венецианские мастера карт ходатайствуют пред сенатом о запрещении ввозить в Венецию из Германии карты, правда ли это?

— Совершенная правда! Эти канальи немцы преизобретательный народ, они нашли способ приготовлять необыкновенно дешевые иконы и карты,— отвечал Годроне.— А вот король! — продолжал он игру.

— Да, это народ бедовый,— сказал престарелый Микели.— Я был в Вормсе лет пятьдесят назад — это был незавидный городок, а в прошлом году я нашел его богатым и промышленным настолько, что он нашему Милану не уступит; а дайте ему море, так Генуя перед ним побледнеет! Только народ не нашего склада. Я пришел в пивную, спрашиваю вина — нет, говорят, тут пиво; ну, давай пива! Войдите, говорят. Куда? — спрашиваю, а предо мною подвал. В погреб, отвечают. Да что вы, в подвале пить буду! Мы пьем не как пьяницы, нам интересно пить, на природу смотреть, на людей. Это оттого, говорит немец, что напитки у вас плохи, а вот у нас кто пьет, так уж ни на что внимания не обращает, оторваться не может.

— Ну, что ж вы ему отвечали? — со смехом спросил Годроне.

— А будь ты проклят, говорю, и пошел.

— Ну, это не особенно остроумно.

В это время галера причалила к берегу, довольно оживленному, у которого стояло много судов. Скоро был брошен мосток. Публика кинулась на берег и разбрелась, засыпая вопросами первых встречных:

— Что слышно? Как Владислав? Что Искандер-бек?

Максим Дука зашел в постоялый двор, потребовал себе устриц и обратился с вопросом к сидевшему рядом с ним дубровичанину.

— Что слышно нового, синьор? Как действует король Владислав?

— О Владислав, синьор, у нас почти ничего неизвестно, говорят, он направился в Варну. А вот об Искандер-беке известие печальное.

— Что же именно?

— Дело в том, что Искандер-бек рассчитывал перейти Сербию и соединиться с Владиславом; вдруг неожиданное препятствие! Король сербский Юрий Бранкович не пропускает албанцев. У нас сообщения с войском Искандер-бека часты; говорят, он вне себя, не знает, что

ему делать! Вступить в борьбу — это значит кроме турок приобрести нового врага, да наконец, и время затянется; воротиться назад,— это значит обмануть короля.

— В самом деле, для такого решительного человека положение тяжелое!

— Пронеслись еще тревожные слухи,— продолжал дубровичанин,— будто Мурад с войсками в Европе и двинулся к Варне. Но этого не может быть! У турок кораблей почти нет, как же в короткое время перевезти армию?

— А если он нанял? — сказал Дука.

— Кто же из христианских народов поможет ему, когда против турок сражаются воины почти всех национальностей.

— Да вот в том-то и дело,— произнес Дука,— воины могут проливать кровь за дело христиан, а купцы из-за выгод могут предложить свои корабли.

— Нет, нет, этого не может быть! — категорически возражал дубровичанин.

Между тем, галера стала готовиться к отплытию и пассажиры поспешно собирались. На палубе начался пересказ слышанного. Король сербов не сходил с уст, его клеймили, как только могли.

— Он отдал свою дочь в гарем султану, чего же от него ждать!

— Ну, положим, этот грех и за византийскими императорами водился.

Галера, между тем, бежала вдоль балканских берегов Адриатики; вдали на востоке синели горы, а на западе простиралось голубое море. Был довольно прохладный вечер, когда галера приближалась к Катаро. После выхода из Анконы настал уже третий день.

Пассажиры просили пристать у Катаро, но капитан отказал.

— Вы знаете, синьоры, что нам придется входить в узкий залив, все это сопряжено с большою потерею времени. Я сам,— продолжал он,— не менее вас интересуюсь всеми нынешними политическими новостями. Я обещаю зайти в Антивари, Дульциньо и Дураццо.

Ночь спустилась довольно неприятная, холодный дождь заставил скрыться пассажиров с палубы.

В Антивари уже стало известным, что Мурад со всем войском в Европе и подступает к Варне. Столкновение, по всей вероятности, произошло; даже были смутные слухи о поражении христиан и о том, что Искандер-бек опустошил Сербию. Известия были все печальнее и печальнее. Кто перевез Мурада — оставалось тайной. Одни говорили, что галатские генуэзцы, а другие, что фессалоникские венецианцы, третьи утверждали, что и те, и другие, так как кто-то один из них не мог в такой короткий срок выполнить это дело. С тревожным ожиданием остановилась галера на четвертые сутки, в полдень, в Дульциньо. Здесь и спрашивать нечего было; по всему было заметно, что недавно получена неприятная весть; мрачное выражение лиц жителей служило предупреждением, некоторые даже не отвечали на вопросы, и отчаянно махали руками, как бы говоря: «все кончено»! Было известно, что армия христиан при Варне потерпела поражение, молодой король Владислав убит и голову его, насаженную на копье, носили по рядам торжествовавших турецких войск; кардинал Юлиан Чезарини также убит; кто спасся от турок — погиб в болотах; одним словом, полное поражение.

— Бедный, бедный отец Виссарион! — грустно произнес Максим Дука.

— Ну, а Искандер-бек? — спрашивали желающие услышать что-нибудь утешительное.

— Искандер-бек возвратился в Албанию, войска отправил в Крою, свою столицу, а сам теперь в Дураццо, у своего друга и учителя архиепископа Павла Анджелло. Говорят, он получил предложение от султана помириться на выгодных для него условиях.

— Этого еще не доставало! — с отчаянием воскликнул кто-то.

— Что же он, смирился?

— А Бог знает! Будете завтра в Дураццо — узнаете.

Ни у кого уже не было охоты играть в карты, даже споры о политике прекратились. Разочарование наступило полное. Однако, когда на следующий день, когда стали приближаться к Дураццо, опять как будто появились смутные надежды: а может быть, что-нибудь не

так? А может быть Искандер-бек не помирится с султаном.

В Дураццо было большое стечение народа, потому что с Искандер-беком прибыли и другие албанцы; в постоялых дворах было много посетителей; расторопные слуги, греки или итальянцы, едва успевали удовлетворять их требования.

В одной лучшей гостинице Максим Дука заметил молодого человека, богато одетого, на которого, по-видимому, все общество обращало внимание; он полюбопытствовал у хозяина о том, кто это.

— Это Гамза, племянник Искандер-бека и его доверенное лицо,— отвечал тот; — Искандер-бек после обедни отправился к архиепископу и все время находится у него.

Гамза сидел с другим албанцем; к ним направился Максим Дука.

— Синьор Гамза,— начал он, обратившись к молодому человеку,— вы меня не знаете, но я имел случай о вас слышать, и если бы знал, что встречу вас, то привез бы поклон.

— От кого же это? — спросил тот и подвинулся на скамье, чтобы дать место Максиму Дуке.

— От генуэзца Батичелли, который был спасен от ярости турок в Фессалониках Искандер-беком.

— А, помню, как же!.. Мы часто проводили с ним время. Мне очень любопытно с вами поговорить. Очень интересно его свидание с Гуниадом.

— Извольте, я вас удовлетворю. Гуниад оказал ему внимание и даже нашел время поговорить с ним, при чем высказал мысль, что если бы Искандер-бек и он были вождями общего дела, и если бы им не мешали короли и папы с их интересами, то давно бы турецкого духа в Европе не было. Он даже указал на пример первого крестового похода, который, по его мнению, был удачен от того, что там не было ни одного короля, а были воины, преданные святому делу и верившие в его успех.

— В этом есть доля правды, но и без королей трудно. Ну, а как он возвратился, благополучно?

— Конечно. Гуниад дал ему проводника до Венеции.

Собеседники замолчали.

— Теперь позвольте мне у вас спросить о деле, которое вам, по всей вероятности, известно.

— Извольте.

— Говорят, что Мурад предложил Искандер-беку мир, правда ли это?

— Правда.

— Как же отнесся ваш князь к этому предложению?

— У меня есть вся документальная сторона дела и я охотно вас познакомлю с ней.— При этом Гамза вынул из кармана бумаги.— Вот письмо султана:

«От Мурада, повелителя востока и запада, Искандер-беку, неблагодарному питомцу, нет привета.

— Начало не совсем любезное,— заметил Дука.

— Далее: «Несмотря на все благодеяния, которыми я осыпал тебя, несмотря на доверие, которое я тебе оказывал, ты не оправдал всего этого и вероломно изменил властителю, который мог бы поступить с тобою беспощадно, как со многими поступил. Но я предаю все забвению. Оставляю тебе Крою и все наследственные земли, но под тем условием, что ты возвратишь прочее, тобою захваченное, и уплатишь многочисленные убытки, которые ты мне нанес. Знай, что отказ повлечет за собой разорение и покорение твоей страны, так как сил у меня и на большее хватит; ты, конечно, знаешь, какое поражение нанес я венгерскому королю, который несравненно сильнее тебя».

— Что же отвечал Искандер-бек?

— Вот ответ князя.

Гамза начал читать:

«Георгий Кастриот, по прозванию Искандер-бек, воин Иисуса Христа, князь эпиротов, Оттоману, князю турок, привет. Я гораздо скромнее и сдержаннее в словах, ибо нет ничего презреннее и унизительнее, как оскорблять даже смертельного врага. Письмо твое возбудило во мне скорее смех, чем гнев. Может ли быть что неразумнее побежденного, предлагающего условия победителю, и при том такие условия, которых свободный человек не станет слушать? Обиды, тобою высказанные, могли превзойти самое смиренное терпение и уполномочили бы меня отвечать тебе тем же, но не заходя далеко,

спрошу тебя: какими же благодеяниями похвалишься ты? Не теми ли, что ты вторгнулся во владения моего отца и захватил их, вопреки святейших прав? Не имею ли я больше права напомнить тебе о моих многочисленных заслугах, о выигранных мною сражениях, о моих завоеваниях, об опасностях, которым я подвергал себя для твоей славы? А какая награда была за труды? Невыносимое рабство и вечный страх пасть жертвой твоей мрачной подозрительности. Ты называешь меня изменником, неблагодарным, вероломным. Не сержусь на тебя за это: вера, совесть, собственная безопасность, право на отцовское наследие, призыв сограждан оправдывают меня в глазах судей нелицеприятных. Ты сам бы разделил это убеждение, если бы внял голосу рассудка. Воздерживайся вперед от горделивых угроз и не ссылайся на недавнее несчастье, постигшее венгров. У всякого человека свой нрав, своя сила души. Какую бы судьбу ни готовил мне Бог, я всегда пребуду спокоен, тверд, терпелив, не стану просить ни совета у врагов, ни мира у турок, но возложу упование на Господа и буду ждать случая победить».

Гамза сложил письмо и спрятал.

— Очень смелый ответ,— заметил Дука.— По моему мнению, лучше не раздражать опасного врага.

— Искандер-бек думает иначе,— возразил Гамза.— Чем больше волнуется деспот, тем более он наделает глупостей.

— О, ваш князь психолог!..

— Не всегда,— многозначительно произнес Гамза.— Иногда он слишком много доверяет людям.

— Но без этого невозможно, в особенности в таком трудном деле, как затеянная им борьба,— сказал Максим Дука.— К тому же, ничто так безгранично не привязывает человека, как полное доверие.

— Это так из области идей.

— Но позвольте, синьор, кто же особенным его доверием пользуется, например, вы?

— Я родственник и узами родства моя судьба связана с его судьбою.

— Кто же еще?

— Моисей Галенто,— сказал до сих пор молчавший албанец.

— Архиепископ Павел Анджелло,— добавил Гамза.

— Позвольте же,— остановил Максим Дука,— ведь я слышал: Галенто старый воин, друг его отца и человек, который первый приветствовал его в родной земле, а архиепископ Павел Анджелло его наставник в христианстве.

— Неужели, синьор, вы все так близко знаете и защищаете друзей князя?

— Нет, я очень мало знаю. Мне только тяжело слышать о розни в семье таких людей, как друзья Искандербека, и его дело может погибнуть вследствие интриг. Но, конечно, спешу извиниться, я говорю вещи, не зная дела, а потому только рассуждаю — не более того.— Угадав, что тут затронуто больное место, Дука поспешил переменить разговор и спросил: — Что слышно из Венгрии, синьор?

— Гуниад собирается вновь и готовится к борьбе.

— Боже мой, Боже мой! — как бы про себя сказал Дука,— сколько крови, сколько бедствий!

Вы, вероятно, синьор, принадлежите к числу тех ученых мужей, которые теперь собираются в Италии и проповедуют любовь к человечеству?

— Я пока к ним не принадлежу, я слишком молод для проповеди; но война мне ненавистна, здесь теряется человеческая личность, здесь звери, убивающие и идущие на убой.

— Как, синьор, теряется личность человеческая? Напротив, ни на одном поприще нет такой возможности к достижению личной славы, как на войне.

— Да, для одного, двух, трех предводителей. А сколько людей погибает зря.

Между тем Гамзе сообщили, что его требует Искандер-бек. Гамза попрощался с Дукой, который еще долго сидел задумавшись, пока, наконец, слуга не сказал ему, что галера готовится продолжить путь. Скоро галера покинула Дураццо. Вечер был холодный, но довольно ясный. Закутавшись плотнее в свою длинную одежду, Дука оставался на палубе. Он погрузился в размышления, которые сменялись образами, восставшими в его голове:

то старик отец, то братья... «Завидный характер у Андрея,— думалось ему,— он может скоро забыть, что его волновало, он может не смущаться тем, что его лично не касается, но он все-таки очень добрый»! Нежная улыбка, предназначенная брату, скользнула по кроткому, но серьезному лицу молодого грека. «А Николай? Отец Виссарион называет его стоиком; он как будто в самом дело стоик; ищет успокоения только в себе: где он не является причиной бедствия — он там спокоен; ведь в самом деле он не виноват, несправедливо ему и страдать! А между тем, я думаю, что иногда страдает, и именно в тех случаях, когда он ни в чем не виноват; он не выносит, например, рабства, потому что тут уничтожается личное достоинство человека; раб уж никаким образом не может быть счастлив». Но среди образов отца и братьев мелькал нежный облик Инесы.

— Однако, я почти не перестаю думать о ней,— прошептал Максим.— Я обещал королю приехать за деньгами, в сущности я это обещал ей. К чему я это сделал? И как я это сделал, когда решил поступить как раз наоборот. Решил не ехать; встретил ее взгляд и сказал, что приеду...

Когда он проснулся, было свежее утро; солнце всходило и распространяло благотворную теплоту; Максим Дука посмотрел в сторону восхода; оно выходило из-за угрюмых скал, покрытых местами леском; он некоторое время любовался этой картиной; ему чудилось: вот там, за этою угрюмою скалою, идет Навзикая со своими служанками к морю. Между тем погода ухудшилась, ясное осеннее утро постепенно омрачилось и пошел мелкий, холодный дождь.

Вечером, сквозь моросивший дождь, стал виден остров Левкада или Санта-Мавра.

— Мрачное место,— думалось Дуке; при этом ему представилось поражение Антония Октавием Августом, возвращение этого хитрого человека в Рим и ниспровержение древнего устройства. В его уме промелькнули блестящие и позорные страницы истории римской, а потом и византийской. Долго он стоял под дождем. О, сколько здесь воспоминаний, неужели они будут попраны когда-нибудь турками! — со вздохом прошептал он.

На следующий день Максим Дука покинул в Ионте галеру, и тут же, на берегу, нанял рыбачью лодку, чтобы она доставила его в залив Хиери. Здесь, среди множества рыбачьих землянок, он отыскал одну, приютившуюся в стороне, и постучал в дверь. Дверь отворилась и в ней показался старик. Увидев Максима Дуку, он ласково замигал глазами:

— А, кирие Максим, пожалуйте, пожалуйте!

Максим вошел и поцеловался со стариком.

— Что батюшка? — спросил он.

— Слава Господу Богу, здоровы; конечно, наши лета такие, что совсем здоровым быть нельзя, но лучше, чем вы его оставили.

— Брат уехал?

— Кирие Николай дня два назад уехал. Он бы, конечно, не уехал, если бы кирие Константин чувствовал себя хуже.

— Да, я порядком замедлил,— отвечал Максим.— Что у тебя, Герасим, лодка готова? Я хочу сейчас же домой.

— Готова, готова, кирие!

С этими словами старик вышел. Через полчаса он вернулся и пригласил Максима Дуку с собой. Не более как через два часа они уже были на берегу Мореи. Дикий, высокий, совершенно обнаженный берег ее смотрел неприветливо: небольшие рощицы в впадинах крутых берегов представляли довольно бедную картину; к тому же, вечер был сумрачен. Попрощавшись с Герасимом и укутавшись плотнее в свою одежду, Максим Дука стал подниматься на гору по еле заметной тропинке. Кругом царствовала глубокая тишина, нигде не было заметно человека, или других каких-либо признаков жилья. Морея еще не была покорена турками, но деспоты, управлявшие ею независимо от императора, и без турок, своими междоусобиями, достаточно ее разорили; к тому же, не раз призывали и турок. Когда Максим Дука достиг вершины крутого берега, то несколько в стороне показались развалины какого-то замка, по всей вероятности воздвигнутого каким-нибудь франкским рыцарем, во время существования Латинской империи. Замок был совершенно разрушен, но Дука направился к нему.

Природа была здесь несколько гостеприимней. Густой сад примыкал к замку. Спустившись в сад, он приблизился к наиболее скрытой стороне замка, к которой прилегала постройка, сооруженная из обломков, с очевидными признаками и удобствами жилья. Было уже темно, когда он вошел в дом, где его радостно приветствовал старик слуга, а за ним показался и старый Дука, Константин. Он был в глубокой старости и от слабости не совсем твердо держался на ногах. Лицо его было выбрито, большие глаза, под такими же седыми бровями, с нежною любовью смотрели на бросившегося в объятия сына. Затем, опираясь на руку Максима, старик опустился в кресло.

— Елевферий, скорей дай чего-нибудь покушать Максиму. Ты, вероятно, продрог, проголодался и утомился? — прибавил он, обратившись к сыну.

— Конечно устал, но это пустяки...

— Так садись, кушай и рассказывай, что в мире нового, интересного делается.

Максим стал рассказывать про свои странствования, уделяя значительное место политике и делам, которые тревожили тогда всю Европу вообще, а юго-восточную в частности. Но с особенным интересом старик слушал, когда сын стал произносить знакомые имена кардиналов Виссариона и Исидора.

— Так ты, значит, главным образом, был задержан в Неаполе? — спросил старик, выслушав рассказ сына.— Вероятно король еще не был, когда ты туда прибыл?

— Нет, задержки собственно никакой не было, я сам засиделся.

— Да, места интересные, природа роскошная, что и говорить!..

И старик погрузился в воспоминания.

— Да я, батюшка, и сам не знаю, чего там засиделся.

— Как так не знаешь?

— Да так. Могу только предполагать, что причиною этого — девушка, произведшая на меня сильное впечатление.

Старик весело засмеялся.

— Да пора бы кому-нибудь из вас подумать о продолжении рода Дуки; ты мне расскажи про нее.

— Такая, батюшка, хорошая, что и сказать нельзя,— наивно ответил Максим.— А что касается до продолжения рода, то ты, батюшка, знаешь мои убеждения на этот счет.

— Я знаю их, Максим, и знаю также, что ты верен вообще своим принципам, однако мне кажется, что в делах любви бывает обыкновенно так, что принцип растаивает, как лед перед огнем Киприды.

— А я все-таки думаю, что не поступлюсь своим принципом, хотя образ этой девушки не оставляет меня. Пока не увижу цели жизни к продолжению рода, о котором ты, батюшка, говорил, я не женюсь.

— Это слишком отвлеченно, слишком далеко от жизни; я даже представить себе не могу определенно, чего ты можешь ждать.

— Едва ли я чего-нибудь и жду; во всяком случае, когда нет осязательного, определенного предмета, которого можно ждать, то принцип и надежда на лучшее не покидает человека; а каково оправдание надежды, если его будет часто невозможно и представить. Ну, например, чудо совершится!

— Да, дитя мое, только что-нибудь чудесное может поддержать дух лучших людей. Варварство, бесправие человека...

— Именно, именно, батюшка, личности человека никто знать не хочет!

— Что же ты, повидаешься еще с предметом, тебя поразившим?

— Думаю, что повидаюсь. Я обещал приехать в Неаполь за деньгами к королю.

Старик опять от души рассмеялся, нежно посмотрев на любимого сына.

— А кто она такая?

— Инеса Гихар.

— Испанка?

— Да.

Наступила пауза.

— Юрий Бранкович, сербский король слукавил, негодяй,— как бы про себя говорил Константин Дука.— Славяне вообще не единодушны; помню эту страшную годину Коссовской битвы, страшное поражение; пало

тогда славянство. Какое разочарование: всего за девять лет приезжали в Константинополь монахи из России и рассказывали о победе их князя Димитрия над магометанами на Куликовом поле; это была радостная весть, ее мы приняли сочувственно! — Старик задумался.— Гуниад, Искандер-бек,— все новые имена. Георгия Подебрада выбрали в Богемии королем. Он гуссит, почти православный,— вот диллема! Но мы не должны ему сочувствовать, потому что это вызывает противодействие папы, отнимает у папы энергию и силу действовать против турок.

Константин замолчал. Затем поднял голову, посмотрел на Максима и сказал:

— Пора, я думаю, спать?

И пожелав друг другу покойной ночи, отец и сын разошлись.

## XII

Беспредельная, волнистая степь... Трава посохла и местами гребни длинных холмов обнажены. Кое-где на склонах, руками ли неизвестных людей или силами природы, почва разрыта и видны слоистые породы песчаника. Грусть или беззаветную удаль навевают эти донецкие степи. Иногда встречаются каменные бабы, как бы для того, чтобы оживить эту мертвую степь, но жизнью унылой, наводящей на размышления: а кто здесь был раньше? Кто разрыл эти склоны гор? Кто поставил этих каменных истуканов?

На гребне холма показалась точка; скоро она выросла в фигуру татарского наездника, за ней другая, третья, и, наконец, образовалась целая сотня. Постояв с минуту неподвижно, татары быстро спустились в ложбину. Скоро на горизонте показалась вся кочевая орда. Летнее солнце уже склонялось к вечеру. Спустившаяся в ложбину орда, немилосердно скрипя колесами и оглашая воздух разнообразными криками: детей, погонщиков и скота, стала останавливаться. Некоторые кибитки были сняты с колес — и жилища были готовы, другие вовсе не

снимались. В ханской кибитке шел оживленный спор: богатый купец из Ельца Кутлаев горячился, убеждая хана напасть на торговый караван, который проходил в Крым.

— Мы в мире с рязанскими и московскими князьями; если мы ограбим, на нас пошлют казаков, выгонят и запретят кочевать в здешних степях.

— А я тебе, хан, говорю,— убеждал крещеный татарин,— что это ничего не значит, это беглец и за него никто не вступится, богатства награбишь, сколько в жизни не видал.

— Хорошо, как никто не вступится, а как вступится?

— Я же тебе говорю, не бойся. Если боишься, пошли человек десять, пусть они справятся с караваном и никто не узнает, что это твоя орда.

— Ну, хорошо, пускай так,— нерешительно соглашался хан.

— Но только условие, хан,— продолжал Кутлаев,— добыча ваша, а мне девушка, которую вы там захватите.

Хан загоготал и довольно грубо проговорил:

— А если она мне понравится?

— Нет, уж условие наперед, а иначе я вас не поведу на этот караван.

— Ну, там посмотрим! Ступай, набирай людей, кто хочет.

Скоро около Кутлаева собралась толпа головорезов, которые, выслушав его предложение, вскочили на коней и с криком «гайда!» взвились на холм. Остановившись, по обычаю татарскому, осмотрелись кругом, и по указанию Кутлаева, кинулись по направлению к Донцу.

Уже было темно, когда караван елецкого купца Евфимия Васильевича переходил в брод верхний Донец. В передней подводе сидел хозяин и погонщики, помогавшие в розыске лучшего пути для первой арбы, остальные стояли на левом берегу; здесь же стояла кибитка, покрытая воловьей кожей, застланная соломой, сверх которой был положен ковер. В этой кибитке сидела Груша; она весело смотрела на переправу. Вечерний степной ветерок, после жаркого дня, приятно освежал воздух; в поблекшей траве стрекотали кузнечики, а в ложбине вдоль реки звонко раздавались голоса погонщиков, отыскивав-

ших брод. Груша из кибитки то подавала свои советы, крича отцу, который стоял на повозке, уже въехавшей в воду; то вдруг задумывалась; в ее представлении рисовался красивый монах, который ей почему-то никогда монахом не казался. Вместе с этим, дрожь и отвращение охватывали ее, когда представлялся ей толстый, сластолюбивый татарин, от которого она теперь избавлена.

Вдруг с неистовым гиканьем спустилась с возвышенного берега куча конных татар... Они бросились на подводы, сбили с ног двух погонщиков, сели на арбы и повернули их назад. Крик отчаяния вырвался из груди Груши, когда она увидела перед собою лицо Кутлаева. Татары посбрасывали часть груза и погнали в гору лошадей. Все это совершилось в течение минуты. Евфимий Васильевич поспешно стал перебираться назад на берег, но ноги лошадей и колеса вязли в иле и не давали возможности двигаться быстро. На глазах Евфимия Васильевича увозили его добро и дочь.

Груша временами теряла сознание, а когда приходила в себя, слышала торопливую команду Кутлаева, который скорее хотел добраться до орды, чтобы остаться вне опасности. Наступившая ночь окончательно успокоила татарина; он приказал ехать тише, соскочил с коня и полез в кибитку, где лежала Груша. Девушка в это время подняла голову и, увидев Кутлаева, неистово метнулась в сторону.

— Нет, постой! — закричал старый татарин Улу, хватая Кутлаева.— Все повезем к хану.

— Да мы с ним договорились, что товар его, а девушка моя!

— Ну, это пускай сам хан скажет, мы тебя не знаем, а хану своему служим.

Но Кутлаев, тяжело дыша, продолжал ползти, отбиваясь ногами от Улу.

— Постой, постой, купец! — кричал Улу. В это время, Кутлаев так пнул татарина ногою, что у того полилась кровь из носа.

— Так вот ты как! — завопил татарин и так дернул Кутлаева, что тот всем своим тучным телом грохнулся наземь.

Улу сел на передок кибитки.

— Не дам девушку; девушку везу хану,— ворчал он, вытирая рукавом кровь и размазывая ее по всему лицу.

Кутлаев поднялся. Еле взобравшись на коня, он стал грозить старому татарину, осыпая его отборною бранью.

Рано утром, как только встал хан, ему доложили обо всем случившемся и привели Грушу. Живя на рубеже Касимовского татарского царства, она немного знала по-татарски и бросилась на колени перед ханом, прося освободить ее, обещая выкуп за себя. Хан засмотрелся на красивую девушку. В это время подошел Кутлаев.

— Хан, помни условие,— сказал он.

Груша задрожала и со слезами бросилась к хану.

— Какое условие? Условие ты предлагал, а я не принимал. Ты должен купить девушку.

— Сколько же тебе надо?

— Что это у тебя, хан? — крикнула Груша и бросилась к хану, у которого висела золотая иконочка на янтарных четках.— Это образок Луканоса! Хан, ты его знаешь? Это его иконочка!

Хан вытаращил на Грушу глаза и смотрел, ничего не соображая.

— А кто тебе Луканос? — наконец спросил он.

— Он мой жених! Я еду к нему. Хан, отпусти меня, он заплатит за меня выкуп, ради Бога! Он человек богатый.— Голос Груши прерывали рыдания.

— Постой, постой, не плачь. Луканос мой друг, мы с ним обменялись подарками и я для него сделаю все.

Затем он обратился к своей ханым и сказал:

— Возьми эту девушку и позаботься о ней. Я тебя доставлю, куда ты хочешь.

— О, мой благодетель, помоги мне добраться до Сурожа и извести отца, чтобы он обо мне не беспокоился. Он в Ельце живет, купец Евфимий Васильевич, он отблагодарит тебя. А уж я, хан, век не забуду тебя!

Кутлаев мрачно смотрел. Его мщение, его желание овладеть девушкой не удались. Однако, он решился еще на попытку.

— Хан, ты отдай мне девушку, а то я донесу на тебя рязанскому князю!

— Пошел вон! — гаркнул хан, вскочив, и схватился за нож. Кутлаев бросился из кибитки.

## XIII

Летнее утро уже давно наступило в Каффе. Воздух был недвижим. Море спокойно расстилалось перед богатым городом, несколько больших и множество мелких судов тихо покачивались на волнах. Движение на берегу становилось все более и более оживленным, главным образом, толкались покупатели и продавцы рабов; этих несчастных свозили сюда со всех стран, лежавших на восток и север от Черного моря.

На крылечке небольшой и ветхой часовни спал какой-то монах. Когда послышался шум целой ватаги рабов, которых гнали два татарина, он приподнял голову. Исхудалое, страдальческое лицо его приняло злое выражение при виде этой тяжелой картины.

— Что это у тебя рабы, как овцы бредут? — спросил покупатель, перекопский еврей.

— Да видишь ли, свежий товар. Я вот еще не знаю, сколько их и какого сорта.

— А откуда они?

— Вероятно татары все, потому что какой-то мелкий хан вздумал в Крыму кочевать, шел, говорят, в Сугдей, ну вот, мы его тут и накрыли.

— У тебя и женский товар есть? — смеясь продолжал по-татарски расспрашивать покупщик.

— Как же! Дело было ночью, невозможно было рассмотреть, а кормить их нечем, вот я их прямо сюда на продажу и пригнал. Купи, мурза, дешево уступлю. Куда мне с ними деваться? Всех гуртом дешево продам.

Рабы тупо смотрели перед собой. Среди них находилась женщина, она в отчаянии упала на колени перед часовней и громко произносила слова молитвы.

— Агриппина! — с ужасом прошептал монах, лежавший у часовни.

Покупщик сказал:

— Продай в том числе и бабу?

— Нет, мурза, за нее нужно хорошую плату взять, она, видишь, красивая, хорошо одета... За нее выкуп получить можно, и хороший выкуп, а за татар много не возьмешь.

— Сколько ж тебе?

— Двадцать дукатов, мурза.

— Не много ли будет?

Однако, татарин стоял на своем, он заметил, что хорошенькая рабыня понравилась еврею.

— Я же говорю тебе, что получу выкуп за нее, мне только возиться не хочется. К тому же, такую в гареме иметь — украшение!

Разговор этот мучительно раздавался в ушах монаха, который наконец подбежал к продавцу.

— Послушай, приятель, не продавай этой девушки, ты за нее хороший выкуп получишь,— сказал он татарину, хватая его за руку.

— Отец Арсений,— закричала Груша,— батюшка, спаси меня! Тебя Господь послал мне в утешение!

Скупщик увидел, что добыча ускользает из его рук.

— Ну, хорошо, я согласен за двадцать дукатов, давай...— быстро проговорил он.

— Нет, постой, мурза! Теперь давай тридцать.— Татарин догадался, что тут можно попользоваться.

Отец Арсений заметался, не зная, что предпринять. По взгляду еврея, которым тот окидывал Грушу, отец Арсений видел, что он не пожалеет и тридцати дукатов.

— Подожди, не продавай! — с воплем кинулся монах к татарину.— Я сейчас приду, я тебе выкуп дам!

Отец Арсений говорил, не имея в голове никакого определенного плана. Татарин мялся, норовил побольше выторговать у еврея. Монах бросился бежать по улицам Каффы. Встречая какого-нибудь генуэзца, он бросался на колени и просил тридцать дукатов. Но на него не обращали внимания, принимая за сумасшедшего.

— Я отдам, я возвращу их вам! — кричал он, ударяя себя в грудь.

Жалкий вид монаха возбуждал только смех.

— О, Боже, неужели же я не спасу ее!

В это время он поровнялся с богатым католическим храмом.

— Господи! — глухо застонал он, упав на землю.— Именем Сына Твоего, заклинаю Тебя, дай мне спасти ее!

Он опять вскочил и пустился как шальной дальше. Возвратиться он не мог, уж если Грушу продадут, то хо-

тя бы не на его глазах. Вдруг отец Арсений остановился. Перед ним высился красивый дом с колоннами. Он знал, что здесь живет консул Киавари. Отец Арсений бросился туда. Его не пускали, говоря, что у консула собрание совета, но монах рвался и шел на пролом...

— Почтенные синьоры,— говорил консул Киавари собравшимся генуэзцам,— вы, конечно, знаете, что в Крыму утвердился Ази-Гирей, родственник Тохтамыша, с ним пришел Радзивилл с литовским войском короля Казимира, а потому, я думаю, власть его в Крыму обеспечена. Как нам быть по отношению к этому обстоятельству?

Наступило молчание. Первым нарушил его синьор Трущи.

— Конечно, для нас лучше, если бы здесь владела Золотая орда, так как она фактически свою власть не проявляла и мы были господами.

— А знаете ли что,— возразил синьор Франчони,— мне кажется, что сколько-нибудь благоустроенное правительство в Тавриде нам было бы выгодно, потому что меньше будет грабежа; больше представится возможности правильно вести торговые дела.

— Я с вами согласен,— поддержал консул.— Но как бы воспользоваться этим, вновь установленным государством в свою пользу?

— Запугать варваров,— решительно заметил синьор Адорно.

— А если они не испугаются? — заметил синьор Батичелли.

— Привезти пушки, которых они не видали; а главное, самим начать дело, не ожидая нападения с их стороны,— уверенно говорил синьор Адорно.

— Но вы забываете, синьор, что его поддерживает король Казимир, у которого и пушки есть, и, говорят, даже такие маленькие пушки с длинными и узкими дулами, что их носит человек на плече.

— Нет,— начал синьор Батичелли.— Я думаю запугать можно только на один год, не больше. Допустим даже, что при самых благоприятных условиях, это новое татарское государство признает вассальную зависимость от нас, все-таки это не обеспечит нас на будущее время. Я думаю так: следует отправить почетное посольство с

подарками, признать Ази-хана владетелем Крыма и просит его быть нашим добрым соседом и защитником. Во-первых, эти азиаты любят лесть, во-вторых, признание его властелином со стороны богатого города будет для него важно, и, наконец, у этих азиатов есть хорошая черта — быть действительно преданными своим друзьям. И если все это будет проведено искусно, то не только он нас не станет тревожить, но мы еще приобретем в нем сильного союзника в борьбе с разными ордами.

— Что вы об этом думаете, синьоры? — спросил консул.

— Я думаю,— сказал Труцци,— что синьор Батичелли хороший политик.

Другие синьоры тоже одобрили план Батичелли и выбрали в посольство консула, а также кое-кого из других генуэзцев.

После предварительных соглашений, приступили к составлению инструкции посольству.

— Надо, по возможности, точно указать все важные обстоятельства,— заметил синьор Франчони.

— Непременно, хотя поводы к столкновениям все-таки будут.

— Говорят, сегодня у Каффы происходила резня, и подданные Ази-Гирея нагнали в город толпу военнопленных.

В это время у дверей послышалась возня и шум. Дверь настежь распахнулась и в зал стремглав вбежал отец Арсений. На нем лица не было.

— Синьоры, синьоры! Милосердные синьоры, дайте мне взаймы тридцать дукатов! Я должен спасти одну несчастную девушку! — вопил он, ломая руки.— Вы мне не верите, но она сама заплатит, она из богатой семьи и схвачена татарами!

Консул нахмурился и закричал:

— Пошел вон, сумасшедший! Кто смел его пустить сюда?

— О, синьоры, синьоры, не откажите! Я стану ходить по свету, всю жизнь буду ходить, я соберу вдвое и все отдам, все...

— Уйдешь ли ты! — нетерпеливо повторил консул.

Два человека схватили монаха и потащили из залы.

— О, ради Христа помогите! Ее купит еврей скупщик, а она христианка... Купите меня и дайте мне денег, я ее выкуплю! — раздирающим душу голосом умолял отец Арсений. Его вытолкали за дверь.

— Эти попрошайки греки всегда хнычат и стонут,— презрительно произнес консул.

Если бы кто взглянул в это время на Батичелли, то мог бы заметить, как сверкнули его глаза.

— Извините, синьор,— обратился он к консулу.— У меня есть неотложное дело. До свидания, синьоры,— обратился он с легким поклоном к присутствующим и вышел.

У выхода он догнал монаха.

— Веди меня скорее туда, где продают рабыню, о которой ты говорил,— тихо сказал ему Батичелли на греческом языке.

Отец Арсений остолбенел. Он пошел за Батичелли и ему показалось, что тот не должен иначе говорить, как только по-гречески.

— Вы византиец? — невольно спросил его отец Арсений.

— Веди меня! Ты же спешил,— строго сказал Батичелли.

Отец Арсений опомнился и бросился бежать; он спотыкался, падал и шептал:

— Господи, неужели она уже продана?!

Синьор Батичелли должен был ускорить свою спокойную, важную походку, чтобы не отстать от монаха.

— Вот, вот, синьор! — задыхаясь говорил отец Арсений, указывая ему на Грушу, которая, при виде монаха, бросилась к нему, но была удержана татарином.

— Татарин, татарин,— кричал монах,— тебе дадут тридцать дукатов!

— А я не возьму,— отказался татарин,— вот мурза дает тридцать дукатов, а я хочу больше... Девушка красивая, всякому приятно иметь.

— Я даю тридцать один! — спокойно сказал Батичелли.

Отец Арсений бросился целовать его руку, Груша подняла на него умоляющие глаза.

— А я тридцать два,— прошипел скупщик, сжимая кулаки, одержимый нежеланием уступить.

Татарин, с намерением разжечь страсти соперников, схватил за ворот Грушу и, разорвав ей одежду, обнажил ее шею и грудь.

— А, дьявол! — заревел отец Арсений и как кошка вцепился в жидкую бороденку татарина.

Но тот схватил его за горло и монах захрипел.

— Брось! — крикнул Батичелли и его громадная рука подняла татарина на воздух.

Отстранив отца Арсения и запретив ему приближаться, он обратился к татарину с едва заметным дрожанием в голосе:

— Я даю тридцать три дуката.

Скупщик заволновался. Борьба делалась для него не по силам; к тому же, любовь к деньгам превышала другие чувства.

— Тридцать четыре дуката! — почти с усилием произнес еврей.

Между тем собралась толпа народа. Невольники попрежнему смотрели безучастно. Груша переводила взоры от креста старой часовни на синьора Батичелли, который с каждой минутой более и более приковывал ее внимание. Отец Арсений что-то шептал про себя и поминутно прикладывался к руке Батичелли, но тот его отстранял.

— Тридцать пять дукатов! — уже вполне оправившись от волнения, сказал Батичелли.

Толпа была очевидно на стороне генуэзца.

Скупщик выругался, погрозил кулаком Батичелли и ушел.

— Постой, постой! — кричал ему вслед татарин.— Ты других рабов хотел купить!

Но еврей ругнул его и не вернулся.

— Синьор,— заговорил отец Арсений,— ты все получил на земле и на небе. Господь наградит тебя за твой добрый поступок; я еще прошу тебя, выкупи этих несчастных татар, которые разделяли бедствия с кирией Агриппиной; татарин их за ничто продаст, ему их некуда девать, я слышал его разговор об этом.

— Хочешь за всех пять дукатов? — спросил Батичелли татарина.

— Еще прибавь хоть один, милостивый мурза,— подобострастно просил тот.

Батичелли отсчитал деньги и бросил их татарину. Обратившись к невольникам, он сказал:

— Я даю вам свободу!

Татары упали перед ним на колени, пытаясь поцеловать полы его одежды.

— Ты в этой девушке принимаешь участие? — обратился он к отцу Арсению.— Она, ты говорил, из хорошей семьи. Так иди за мной и позаботься о ней.

Синьор Батичелли направился в сторону своего дома. Толпа провожала его благодарными взглядами. Продавец рабов пересчитывал свой барыш. Отец Арсений и Груша шли за Батичелли. Оба плакали. Она рассказывала о своих бедствиях на пути в Сурож, о том, что спасшись от Кутлаева она не возвратилась в Елец, опасаясь его новых козней; говорила о Лукаиосе, о цели своего путешествия. Разговор они вели по-русски. Батичелли не знал русского языка, но иногда умерял шаги и прислушивался к словам.

Придя домой, Батичелли позвал к себе отца Арсения.

— Скажи мне,— обратился он к монаху,— что это за девушка и почему ты в ней принимаешь участие?

— Это дочь одного русского купца. Я много в своей жизни вынес,— говорил отец Арсений,— и в конце концов скитаюсь по свету, проповедуя проклятие Палеологам и вельможам нашим.— Глаза отца Арсения сверкнули злым огнем и Батичелли посмотрел на него с удивлением, но монах уже более спокойно продолжал: — эта девушка вместе с другими членами своей семьи оказала мне гостеприимство. Впрочем, это не важно, но важно то, что она участливо отнеслась к моему убитому сердцу; она поняла, что человека надо чем-нибудь утешить, когда он страдает.— У отца Арсения навернулись слезы.— Пойми, дорогой кирие, как должен ценить я, всеми брошенный, никому ненужный жалкий монах, который ходит собирая подаяние. Если участие сердечное дорого всякому человеку, то мое одинокое бедное сердце ожило,

воскресло согретое вниманием этой любящей девушки. Понятно тебе это, кирие?

— Смотрите, да не презрите кого-нибудь из малых сих...

— Так, так, дорогой, умный кирие! За то, что она не отвергла бедного монаха и от нее не отвернулся ты, добрый кирие.

— Куда она едет теперь? — спросил Батичелли.

— В Солдайо или как русские называют Сурож, где ее ждет жених ее, Луканос.

— Как Луканос! Какой Луканос? — подавляя удивление, спрашивал Батичелли.

— Негоциант из Таны.

— Да ты знаешь это доподлинно?

— Положительно, кирие. Какая нужда мне выдумывать, а тем более обманывать тебя, когда ты благодетель мой.

Батичелли задумался. Затем он кликнул слугу.

— Поди, скажи конторщику, чтобы он прислал свою жену Евдокию, она ведь русская... Пусть она позаботится об этой девушке, которая ожидает в приемной, да постарается, чтобы она ни в чем не нуждалась, пока будет здесь. А ты,— сказал он отцу Арсению,— спроси у нее, как она хочет обедать: с нами или отдельно ей в комнату подать, потому что время обеденное. Ты тоже останься, отобедаем вместе.

Отец Арсений прильнул к руке Батичелли.

— Что ты, оставь! Мне приличнее целовать твои руки, ты монах.

— Ах, кирие, это я не за себя.

— Как тебя называть, скажи мне?

— Арсением, добрый кирие.

— Ну так, отец Арсений, пойди, спроси, что я тебе говорил.

Отец Арсений бросился к ожидавшей его Груше и вскоре возвратясь, сказал:

— Девушка говорит: как тебе будет угодно.

— Тогда пообедаем вместе; может кое-как познакомимся, хоть это и трудновато, не понимая друг друга.

Скоро появилась Евдокия. При виде Груши, при звуке родной русской речи, обе женщины бросились в объ-

ятия. Приведя в порядок свою одежду, Груша прошла в залу Батичелли, где был приготовлен обед.

Разговор происходил при помощи отца Арсения. Хозяин предложил Груше кресло, в которое она не знала как сесть, но Батичелли выручил ее.

Видя такую предупредительность к себе, Груша просияла. Веселое, здоровое личико ее очень понравилось Батичелли. Он угощал девушку, усердно подливал вкусное вино и выбирал ей самые лучшие плоды. Отец Арсений тоже повеселел. Вино оживило собеседников. Обстановка для Груши была совершенно незнакома, но, благодаря вниманию к себе и предупредительности хозяина, она скоро освоилась и радостно удивлялась всему, что для нее представлялось новым.

Когда обед окончился, Батичелли через Арсения передал, что если Груша отдохнула от тревог, которые перенесла, то он прикажет приготовить ей лучшую парусную лодку, на которой скоро и безопасно ее доставят в Сурож. Если же она хочет еще отдохнуть, то к ее услугам лучшая комната в доме, и когда она пожелает, тогда может уехать, причем отец Арсений, конечно, не откажется ее сопровождать.

— Передай, отче, доброму господину,— сказала Груша,— что я как можно скорее желаю быть в Суроже, а также скажи ему, что во всю жизнь мою его не забуду и каждый день буду молиться о нем.

Синьор Батичелли приветливо улыбнулся на это и сказал, что быть может Бог приведет случай когда-нибудь увидаться с нею.

## XIV

Неаполь был очень оживлен. Король Альфонс V, по прозванию Мудрый, то и дело принимал послов и назначал своих приближенных для заключения всевозможных условий. На веранде, обращенной к морю и отделанной в мавританском вкусе, с легкими колоннами и арками, украшенными резьбой, находилось многочисленное об-

щество. Короля окружали самые разнообразные лица: здесь был Абу-Джезар, посол из Гренады, полузависимой от Альфонса V, умный магометанин средних лет; рыцарь де Лоран, посол из Франции, по вопросу о наваррском наследстве, в котором были и интересы Альфонса V, и Исидор, посол папы Николая V, прибывший по поводу организации крестового похода против турок.

— Как нравится вам, достопочтенный эмир, моя веранда? — спросил у араба король.

— Что и говорить, государь, хороша; мне она тем приятнее, что указывает на уважение твое к нашему искусству, только недостает фонтана. У нас без фонтана немыслимо никакое украшение,— отвечал Абу-Джезар.

— Будет и фонтан, все устроится; теперь дела много,— некогда; помощник же мой еще молод,— указал король на принца Фердинанда, бывшего среди придворных.

— Приезжая сюда,— продолжал Абу-Джезар,— я нашел много прекрасных дворцов в Валенсии, Андалузии и других местах, принадлежащих тебе, государь, я посетил некоторые из них. Поверь, я плакал над древним величием нашего царства.

— Это ничего,— заметил Исидор, митрополит киевский,— прекрасные памятники остаются украшением жизни благородного народа, он их не осрамит, а возвеличит; совсем не то на востоке: варвары турки губят великую страну, все ниспровергая в прах.

— Ваше дело,— отвечал араб,— отстоять колыбель своего просвещения; мы, арабы, с состраданием смотрим на падение Византии; как магометане, мы не можем не радоваться торжеству ислама, но не желаем падения великого царства, потому что турки — варвары, которые убили уже арабскую науку на востоке, а теперь губят классическую, от богатств которой и мы черпали.

— Близок час погибели этого варварского царства! — хвастливо воскликнул рыцарь де Лоран, постукивая мечом.

— По текущим делам это трудно сказать,— возразил Исидор.

— Благословение святейшего отца и меч рыцаря не знают преграды своим требованиям! — продолжал рыцарь в том же тоне.

— Это все слова,— грустно произнес митрополит.

— Все политические условия сложились в пользу турок. Италия, как цепями, скована своими волнениями и интригами,— сказал король.

— Мелкие личные интересы всегда были и есть, ваше величество, но только иногда уважение к идее сильней их, а иногда слабее,— укоризненно проговорил митрополит.

— Уважая вас, я понимаю ваше тяжелое чувство, но имейте в виду, что в настоящее время я главным образом обдумываю возможность крестового похода. Условия ужасны: если я уйду сегодня,— завтра Неаполитанское королевство будет расхищено по частям синьорами и кондотьерами; надо обдумать и принять предосторожности. Но что слышно о положении Мореи?

— Резня продолжается. Деспоты морейские, Фома и Дмитрий Палеологи, дошли в своих ссорах до того, что кончили подчинением Мураду. Жители бегут на острова, в Эпир, в Албанию, в Россию...

Во время последних слов на веранду взошел дон Гихар, незадолго до этого возвратившийся из Валенсии, куда ездил с дочерью; его лицо было очень весело и даже торжествующе.

— Дамы и кавалеры,— сказал он довольно важно,— приятная новость!

— Что такое? Что такое? — забросали его вопросами, особенно дамы.

Искандер-бек разбил наголову армию, предводительствуемую самим Мурадом. Поражение полное. Мурад, озлобленный и опозоренный, ушел в Адрианополь.

— Браво, Искандер! — закричал восторженно король.

— Браво, Искандер, браво, Албания! — кричали все окружавшие короля, кроме Абу-Джезара, глаза которого очевидно сочувствовали общей радости, но тактичный араб находил неприличным радоваться поражению ислама.

Скоро весть эта распространилась по всему Неаполю; она была принесена флорентийскою галерой, шедшей с востока в Пизу.

— Синьоры, внимание! — начал король.

Наступила тишина.

— Мы должны почтить великий подвиг. Во-первых, я снаряжу посольство к Искандер-беку с поздравлением и с предложением пользоваться моею казною, как своею собственною; деньги для войны нужны! — Далее,— продолжал король,— я считаю приличным отпраздновать эту победу креста. Не угодно ли предложить, какого рода торжество должно украсить это событие?

— Турнир, турнир, блестящий турнир! — прокричал де Лоран.— Что же может быть лучше турнира?

— Какой турнир! — сказал герцог тарентский.— У нас и рыцарей нет, разве кондотьеров пригласить; мы о турнирах и забыли совсем.

— Очень печально, герцог,— ядовито заметил де Лоран,— вы верно хотите обратиться в венецианских или генуэзских купцов?

— От них, во всяком случае, больше пользы, чем от рыцарских турниров.

— Что за мерило! Польза! — с презрением произнес рыцарь.— Ваша польза сделала то, что у вас из-под носа уводят Константинополь, а вы сидите, сложа руки!

— Хватит! — прекратил спор король.— Так как угодно?

— Турнир, турнир! — слышались дамские голоса.

— Донна Инеса, вы что скажете? — спросил рыцарь.

— Турнир! — отвечала Инеса Гихар.

— Турнир, турнир, ваше величество! — надсаживал горло рыцарь.

— Прекрасно. Пусть будет турнир,— согласился король.— Вы, конечно, поможете нам его устроить? — обратился он к рыцарю.

— С удовольствием, но только звание маршала не приму, так как намерен участвовать в турнире сам. Вот уважаемый герцог Орсини может быть возьмет на себя эту обязанность.

— Я слишком стар для этого,— отказался герцог.

— Герцог скромничает,— добродушно заметил де Лоран.— Во всяком случае, ваше величество, будьте покойны, все будет устроено, народ останется в восторге от этого торжества.

По всей веранде началась веселая болтовня о пред-

стоящем турнире. В Южной Италии о них знали более понаслышке от посещавших Францию, Германию и отчасти северную Италию, где турниры еще сохранились, но лишь как забава, утратив прежнее значение.

— Массимо Дука! — доложил вошедший слуга.

— А, вот кстати, дорогой гость! — с непритворным удовольствием воскликнул король.— Проси!

Красивый молодой человек своим появлением снова вызвал восторженные замечания.

Рыцарь, ставший после решения вопроса о турнире героем, был на время забыт. Донна Инеса, около которой он больше всего увивался, радостно оживилась и даже не ответила на какой-то его вопрос.

— Мой дорогой кредитор,— говорил король, протягивая ему руку.— Долго, долго вас ждали; хорошо, что деньги не изменяются, а то было бы опасно такое продолжительное время оставлять их без употребления. Вот другое дело сердце,— оно изменчиво,— шутливо закончил он.

— Я думаю, ваше величество, наоборот,— возразил Дука.— Да и, наконец, изменчивое сердце — кому оно нужно?

— О, это только слова, дорогой мой; самое верное сердце изменит, когда, например, счастливый соперник...

— Не нужно бояться соперников, ваше величество.

— Это уже слишком гордо.

— Нет, ваше величество, если соперник мой лучше меня, я покорно склоню голову перед ним, если хуже, но счастливее, то мне не нужно такое сердце, потому что оно изменчиво и неблагородно.

— Так ли это?

— Нет, не так, ваше величество,— смеясь отвечал Дука.— Это потому я так говорю, что не принимаю на свой счет опасений вашего величества; мои же убеждения таковы, что верность должна быть безусловна.

Говоря это, Максим Дука здоровался с другими своими знакомыми. Подойдя к Инесе, он скороговоркой прошептал:

— Все это время я с вами не расставался.

Инеса с выражением безграничного счастья смотре-

ла на него. Это продолжалось всего секунду, но рыцарь успел возненавидеть молодого человека.

— Посмотрите, ваше величество,— сказал герцог Тарентский, показывая на чудный Неаполитанский залив, открывавшийся с веранды,— посмотрите на этот красивый корабль, так гордо поднявший паруса и выходящий из гавани.

— Что это за корабль?

— Он снаряжен французами для осмотра тунисских берегов. Капитан корабля, блестящий генуэзец, моряк, Христофор Колумб, решительная и сведущая голова.

— Да, была бы большая польза для европейской торговли, если бы Тунисом владели не разбойники, а просвещенные люди, только не французы,— тихо добавил король, чтобы не слышал де Лоран.

— Они никак не могут забыть Неаполя,— вставил Орсини — и экспедиция в Тунис не без злого умысла в этом отношении.

Король, встав с кресла, указал Абу-Джезару, Исидору, де Лорану и Дуке время аудиенции и вышел.

После ухода короля, толки о турнире возобновились с удвоенным интересом. Многие расспрашивали рыцаря, как надо вести себя во время этого торжества, какие необходимы туалеты.

— Дамы в лучших нарядах, дворяне в доспехах, придворные в бархате, участвующие в турнире с мечами, прочие при шпагах,— объяснял рыцарь,— герцогини и графини с пажами, которые должны нести шлейфы. Весь успех турнира зависит от подвигов рыцарей и блеска дам. «Что может быть лучше хорошенькой женщины»? — говорит благородный рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн,— вставил цитату в заключение де Лоран.

— А вот арабский поэт Гафиз иначе о женщине трактует,— заметил Абу-Джезар.

— Что же он говорит? — полюбопытствовали некоторые дамы.

— Когда был создан человек,— начал мавр,— то дьявол стал роптать на несправедливость неба: за что столько благодеяний человеку? Чем он это заслужил? Тогда небо, сознавшись в излишней благости к человеку и в

том, что осчастливило его не по заслугам, создало женщину.

— О, как это верно! — воскликнул рыцарь.— Женщина может погубить человека, сделать его несчастным навек, но за то и безмерно осчастливить!

— Я совершенно оправдываю наших мавританок,— сказала молоденькая герцогиня Орсини,— если они вас делают несчастными; так вам и надо, за ваше многоженство.

— О, бесподобная герцогиня,— засмеялся Абу-Джезар,— если бы Гафиз вас знал, то наверное сказал бы противоположное.

— Да за это одно слово книги вашего Гафиза нужно сжечь на костре.

— У нас это не в обычае, прекрасная герцогиня.

Уходивший в это время Исидор остановился около шумной толпы молодых людей.

— А знаете ли, что говорит Геродот о женщинах? — спросил митрополит.

Все почтительно замолчали.

— Он говорит, что женщина издревле была причиной раздора.

— Остроумно и справедливо сказано,— также авторитетно согласился рыцарь.

— Вы знакомы с Геродотом? — продолжал мимоходом митрополит.

— О, помилуйте, мы с ним не одно копье переломали на турнире в Безансоне.

Исидор прикусил губу, чтобы не рассмеяться, и взглянув на Максима Дуку, быстро удалился.

Некоторые, в том числе молодые подруги Инесы и герцогини Орсини, едва сдержали улыбку. Дука, хотя и старался скрыть улыбку, однако ее заметил Гихар.

— А что, синьор,— вполголоса спросил он Дуку,— вероятно француз соврал, должно быть Геродота давно в живых нет?

— Да помилуйте, почтенный дон Мартин,— тихо отвечал Дука в то время, как рыцарь продолжал шумно разговаривать,— Геродот, греческий историк, жил за четыреста с лишком лет до Рождества Христова.

Старый Гихар не удержался и расхохотался, чем обратил на себя общее внимание.

Рыцарь, видя веселую улыбку Максима Дуки, вспылил.

— Дамы и кавалеры! Позволительно ли шептаться в обществе! Я могу принять на свой счет,— громко сказал де Лоран, дерзко посматривая на Максима Дуку и хватаясь за меч.

— Извините меня,— сдержанно сказал Дука, обращаясь ко всем,— я тихо говорил, чтобы не мешать общему разговору.

— Позвольте,— остановил его Гихар,— не извиняйтесь, синьор; виноват я, потому что обратился к вам шепотом.

— О, достопочтенный синьор,— поклонился Гихару рыцарь,— я беру свое слово назад, ваш возраст и положение позволяют вам среди молодых людей вести себя свободно. Да, синьоры,— продолжал рыцарь начатую речь,— изобретение огнестрельного оружия погубило рыцарскую доблесть. Всякий трус издали может убить одним выстрелом храброго рыцаря, стяжавшего себе бессмертный венец мечом.

— Все равно физическая сила, ружье, пушка или меч,— заметил Максим Дука; — надо, чтобы благородное одерживало победу над постыдным, умное над глупым, просвещение над невежеством...

— О, молодой синьор, а как защищать свою честь, свои интересы?..

— Законом, благородный кабалеро.

— Позвольте, а сердце красавицы чем завоевать, тоже законом? — захохотал рыцарь.

— В ваших возражениях, кабалеро, нет логической последовательности, но я вам все-таки возражу: предоставьте даме самой выбирать себе защитника также точно, как вы выбираете себе даму сердца.

— Позвольте,— прервал их старый Гихар, желая прекратить спор,— а что скажет синьор Массимо о женщинах вообще, подобно тому, как сказал митрополит, почтенный эмир и благородный рыцарь.

— Да, скажите, синьор Массимо,— прибавила синьорина Орсини.

Максим Дука на секунду задумался, потом сказал:

— Иоанн Златоуст, сопоставляя мужчину с женщиной, говорит: «устыдимся того, что в мирских делах мы нигде женщине не уступаем, ни в войне, ни в боях, а в духовных подвигах они успевают больше нас, первые похищают награду и воспарят на большую высоту, подобно орлам, а мы, подобно галкам, находимся около дыма и чадных паров».

— Неужели и такие вопросы затронуты у святых отцов? — с любопытством спросила синьорина Орсини.— Я думала, что там говорится только о посте, об опресноках и других чисто церковных предметах.

— О, нет, синьорина,— ответил Дука,— только узкие взгляды наших богословов сделали из трудов отцов церкви предмет схоластических споров. На самом же деле там бездна премудрости.

Стало темнеть, и веранда мало-помалу опустела.

## XV

На другой день утром Дука отправился на аудиенцию к королю. Альфонс принял его в своем кабинете, как всегда, ласково.

— Деньги готовы, дорогой кредитор, приношу вам благодарность и возвращаю долг. Вы можете его получить сейчас же или когда будете уезжать. Если хотите, можно отправить во Флоренцию к банкирам Медичи — мне все равно.

— Пока, ваше величество, пусть они остаются у вас, так как их небезопасно держать при себе, а потом я решу, как мне с ними поступить.

— Прекрасно. Теперь у меня есть к вам еще дело. Вести из Пелопонеса печальны; победы Гуниада и Искандер-бека при Крое капля в море. Уже многие греки, в особенности образованные, переселились в Италию и заняли в некоторых местах почетные посты послов и кардиналов. Я предлагаю и вам, мой дорогой; во мне вы не найдете ни тирана, ни варвара, я вас полюбил сердеч-

но и вот причина, почему я предлагаю вам службу у меня. Я могу вам дать занятие библиотекаря и переводчика на итальянский язык Геродота, Платона, Демосфена и других классиков. Если вы предпочтете политическую карьеру, тем лучше! Ваше аристократическое происхождение, благородная наружность, богатство — все это весьма полезные вещи для посла.

Дука преклонил колено и припал к руке короля.

— Ваше величество, какое у вас благородное сердце! Приму ли я ваше предложение или нет, во всяком случае оно ободряет меня, утешает в сиротстве. У меня старик отец, который хочет умереть на земле отцов, но может быть он не выдержит постоянного опасения и решится уйти, а пока он будет жить в Мореи, я буду при нем.

— Это, конечно, хорошо с вашей стороны, и я не стану вас от этого отговаривать,— сказал король, усаживая молодого человека,— но знайте, что двери моего дворца для вас всегда открыты. Но разве ваш отец до сих пор в безопасности, ведь Морея в руках турок?

— Теперь стало спокойнее. Деспоты морейские покорились туркам; замок же отца расположен в таком месте, что его трудно отыскать даже знающему человеку; кроме того, там такие подземелья, что всегда спастись можно.

— Если вы не приняли теперь мое приглашение переселиться в Неаполь, то может быть не откажетесь участвовать в одном моем посольстве?

— Думаю, ваше величество, что ваша просьба будет мною исполнена, как бы трудна она ни была.

— Видите ли в чем дело, синьор Массимо, итальянские синьоры посылают в настоящее время послами людей просвещенных, мне бы не хотелось в этом отстать от них; в настоящее же время при мне нет такого образованного человека, на которого можно было бы возложить посольство без урона для дел здесь. Вот я и обращаюсь к вам с просьбой принять участие в посольстве к Искандер-беку, поздравить его со славной победой, и предложить подарки: триста тысяч мер пшеницы, сто тысяч ячменя и пользование моею казною, когда ему понадобится.

— Как это благородно, ваше величество!

— Нет, синьор, я делаю слишком мало. Исидор вчера меня упрекнул, и поделом. Но что же когда я сам как в тисках. В Италии у меня врагов много; отправься я в крестовый поход и моего Фердинанда обездолят.

Король погрузился в раздумье. Наступила пауза.

— Как было бы хорошо, синьор Дука, если бы вы были у меня при дворе; принц Фердинанд нуждается в хорошем руководителе, я не совсем доволен его характером; проглядывают иногда деспотические наклонности и жестокость. Боже избави! Сын Маргариты! — тихо проговорил король, и улыбка проскользнула по красивому, хотя уже не молодому его лицу.— Я еще нечто хотел вам сказать, но это должно быть в тайне,— сказал король.

— Буду хранить, ваше величество.

— Вам нравится донна Инеса Гихар? Говорите откровенно, и не думайте, что я спрашиваю по чьему-нибудь поручению...— Король вопросительно смотрел на Дуку.

— В слишком слабой форме, ваше величество, изволили предложить вопрос; она мне не нравится, а я так ее люблю, что образ ее ни на одно мгновение не покидает моего воображения. Голос ее звучит, как мелодия, в моих ушах.

— А вас не страшит соперничество рыцаря де Лорана? Он здесь давно и до некоторой степени овладел вниманием Инесы. Он очень ловок, не дурен собой, окружает ее необыкновенной предупредительностью; что удивительного, если он покорит сердце девушки? Сам он за ней очень ухаживает и делает старому Гихару разные намеки. Что вы на это скажете?

— Какое же право имею я, ваше величество, что-либо говорить в данном случае. Я от души желаю счастья донне Инесе, и если она его найдет в рыцаре, то я все мои душевные силы употреблю, чтобы радоваться этому счастью.

— Но разве вы не знаете, синьор, что донна Инеса к вам неравнодушна, и мне кажется, что рыцарь не вытеснил вас из ее сердца. А мне, говоря вам откровенно, рыцарь не нравится.

— Ваше величество,— с горечью воскликнул Дука,— вы меня терзаете, счастье так близко, но я должен от

него отказаться; я говорил уже в присутствии вашем, что я не в праве делать несчастными людьми своих детей! А нет бо́льшего несчастия, как жить в безотрадное время и быть бессильным свидетелем попрания священных прав человека.

— Вы неисправимы — хмуро произнес король.

Но минуту спустя, он протянул Максиму руку и ласково сказал:

— Этого, конечно, никто не будет знать?

— Помилуйте, ваше величество, никто, никогда, и в особенности Гихары.

— В особенности они, потому что меня не только на этот разговор не уполномочивали, но даже не намекали. В ужас пришел бы и Мартин, и Инеса, если бы узнали. Так вы готовьтесь в Албанию, дня через два, три — заключил король.

— Во всякое время, ваше величество, к вашим услугам.

## XVI

Все приготовления к турниру были окончены. Сверх ожидания, охотников к состязанию оказалось довольно много: из ближних городов явились синьоры, нашлось в Неаполе несколько рыцарей ордена св. Иоанна, которые проезжали из Родоса в Испанию, кое-кто из кондотьеров, бывших вблизи Неаполя, могущих похвалиться хоть сколько-нибудь сносным для турнира происхождением. Были устроены места для короля и двора, а также скамьи, расположенные амфитеатром для народа. Распоряжался маршал; в разных местах площади виднелись герольды с трубами. Маршал часто, не поняв де Лорана, делал распоряжения невпопад, а герольды от скуки наигрывали в трубы песенки. Рыцарь хватался за голову и в отчаянии кричал:

— Скандал, скандал!

Герольды никак не могли понять, отчего рыцарь так расстроен. Сам де Лоран вскоре успокоился, видя, что никто этого скандала не замечает.

Наконец, под звуки музыки король выехал из дворца в карете, которая была новинкою, занесенною из Венгрии, и обращала всеобщее на себя внимание. Короля восторженно приветствовала публика. Когда овации окончились, выехали рыцари с опущенными забралами и расположились двумя шеренгами, одна против другой. Во главе одной легко было узнать рыцаря де Лорана, вожаком другой — был один из рыцарей Св. Иоанна. Турнир начался, но кому приходилось видеть рыцарские турниры во Франции, Германии и даже северной Италии, тому многое показалось бы несогласным с правилами турниров. Де Лоран это хорошо знал и страшно кипятился. В особенности его сердили кондотьеры, они решительно не могли справляться по-рыцарски с длинными копьями, игра которыми составляет красу турнира, и совсем не заботились о грациозной посадке на коне, не умели горячить его в ожидании боя. Во время боя они пускались на все хитрости своей военной науки, чтобы сбить с коня противника. Случайно все кондотьеры попали в шеренгу де Лорана. От всего этого рыцарь вошел в такой азарт, что одного из них едва не сбросил на землю. Но публика, не знакомая с тонкостями турнира, следила с интересом за его ходом. Ей кондотьеры даже больше нравились, потому что они были сметливее и отважнее в бою, хотя и не так грациозны. После получасового боя де Лоран оказался победителем, его выручили кондотьеры. Не умея в совершенстве владеть длинными копьями, они попадали ими мимо всадника, в коня, который, горячась, сбрасывал седока на землю. Де Лоран направился к ложе короля, где находилась Инеса Гихар, и преклонив пред ней колено, объявил ее царицей турнира.

Затем стали выезжать герольды с вызовом и начались поединки. Почти на всех поединках, в которых участвовал де Лоран, он оставался победителем и был увенчан золотым венком царицею турнира. Он упросил маршала не допускать кондотьеров до поединка, потому что незнание рыцарских приемов могло бы в этом случае заметно обнаружиться. Народ, довольный зрелищем, принимал живое участие в том, что происходило на арене.

— Забава угасающего рыцарства,— говорил Орсини

Максиму Дуке, с которым сидел рядом,— а было время, когда подвиги на турнире приравнивались подвигам на поле брани.

— Это еще долго так продлится, герцог. Подобные блестящие забавы всегда будут увлекать человечество.

— И отвлекать от более серьезного, хотели вы прибавить?

— Конечно, люди склонны смешивать средства с целью. То, что гений создал как средство, то посредственность принимает за цель.

— Но, синьор, если не ошибаюсь, и древние греки подвиги на олимпийских играх считали не менее славными, чем подвиги на войне.

— Чего же вы хотите, герцог! — с улыбкой отвечал Дука.— Неужели древние греки были такие необыкновенные люди, что от первобытного грека нельзя ожидать того, что позволяет себе франк века XV. С дальнейшим развитием жизни у греков такие забавы, как игры, стали терять значение и их заменил театр.

— Как вам это нравится? — спрашивала Инеса у своей соседки молодой Орсини, указывая на борьбу двух рыцарей, из которых один едва мог держаться на коне под ударами копья противника.

— Слишком грубо,— отвечала та.

— Я с вами согласна; Лючия; как ни стараются рыцари быть грациозными, железный костюм делает их всех одинаковыми, а грация и однообразие не вяжутся друг с другом.

— Не правда ли, Инеса,— живо говорила Лючия; — придворный костюм куда красивее? Здесь каждый может выказать свою индивидуальность в манерах и умение одеться, а костюм рыцаря делает их решительно одинаковыми.

— А как вам нравится костюм греков?

— Ах, Инеса, это хорошо на статуях,— смеясь и несколько гримасничая воскликнула Лючия,— а если в этом костюме танцевать или просто быстро идти, это ведь покажется некрасивым.

— Но зато, как можно грациозно держать себя в этой длинной одежде,— она мельком взглянула в сторону Максима Дуки, разговаривавшего с Орсини.

— О, Инесса! — погрозила ей молоденькая герцогиня,— я давно замечаю, что он вам нравится.

— Ах, Лючия, мне нравится этот костюм, потому что он напоминает наши испанские плащи и мантилии.

— Как вы любите свою родину, какая вы патриотка,— продолжала лукаво молодая девушка.

Между тем турнир кончился. Толпа повалила на другую площадь, где уличная труппа актеров давала свои представления. Визгливый голос Пульчинелло раздавался оттуда, вызывая взрывы хохота. Весь же двор и гости были приглашены к королю во дворец, где был приготовлен обед. По желанию короля, гости разместились за столами кто где хотел; дамы сели среди мужчин. Король провозгласил тост за виновника торжества, князя Александра.

Подаваемые кушанья запивались разнообразными винами с острова Капри, Сицилии, из Испании и Канарских островов, это вино было новостью и каждый старался распробовать.

Больше всего шумели за столами кондотьеры, которые по части вина были большие мастера.

— Достопочтенный рыцарь,— говорил, подмигивая, кондотьер Северино,— это ваши проделки, что нас не допустили к поединку, иначе мы бы вырвали из ваших рук победу.

— Позвольте же, кабалеро,— оправдывался рыцарь,— вы ведь не соблюдаете тех правил боя, которые требуются турниром.

— Это, однако, очень странно,— вмешался кондотьер Джаноли,— ведь дело в том, чтобы победить, смешно же отстаивать тот способ сражаться, который хуже. Мы стремимся к цели; цель наша сбить с коня противника, ну мы и сбиваем, нисколько не мешая противнику поступать так же...

— Но тогда это будет драка,— вступился за де Лорана рыцарь св. Иоанна, дон Карвахаль,— нет никакой грации, не на что смотреть. Турнир — это праздник, это торжество.

— Ха... ха... ха!..— довольно грубо засмеялся кондотьер Джаноли.— Так значит вы актеры и состязались

только для хорошеньких глазок? Это, признаюсь, любезно с вашей стороны, но...

— Прошу вас прекратить ваши выводы,— совсем рассердился де Лоран.

— Охотно прекращаю,— весело говорил Джаноли,— в нашем принципе поступать именно так.

— Какой же это принцип? — полюбопытствовал Максим Дука, сидевший недалеко от них и которого очень занимала непринужденная веселость кондотьеров.

— Да изволите видеть, синьор,— начал Джаноли,— мы поступаем так: если я вижу, что сражающийся против меня кондотьер будет несомненно разбит, то я ему посылаю сказать: «уходи, друг, пока цел, нечего напрасно людей губить»! если он благоразумен, то ретируется.

— Вот так мужество! — язвительно заметил Карвахаль.

— Позвольте, рыцарь,— спокойно продолжал Джаноли,— мы ведь не сражаемся за отечество, а сражаемся по найму и добросовестно исполняем обязанности, потому что того, кто окажется трусом, никто впредь не наймет; но когда очевидно, что дело проиграно, то к чему же убивать людей вообще, а тем более своих воинов, которые доставляют нам заработок. Да наконец, если я буду лезть безрассудно и в моем отряде многих убивать будут, тогда ко мне никто не пойдет служить.

— У вас, кажется, существует великодушный обычай не бить того, кто упал на землю? — спросил Дука.

Кондотьеры заразительно захохотали, а Северино, осушавший в это время кубок, поперхнулся и закашлялся.

— Да тут никакого великодушия нет, это у нас правило: кто попался в безвыходное положение, падай на землю и лежи, лежачего оставят в покое. Все это потому, чтобы беречь людей в бою и один кондотьер по отношению к другому это правило свято сохраняет.

— Выходит, что ваши сражения,— продолжал язвить де Лоран,— тоже комедия, которую на площади разыгрывает Пульчинелло.

Но кондотьер был невозмутим и по-прежнему отделывался шутливыми возражениями.

— Зато талант развивается! Вы слышали иногда та-

кие сообщения: такой-то кондотьер дал битву такому-то, бой длился целый день, а знаете ли, синьор, что бывает? Тысяч двадцать сражаются целый день, а убитых человек десять всего навсего.

— Вы-то друг друга щадите, зато мирных граждан разоряете,— продолжал де Лоран в том же тоне.

— Меньше чем вы, рыцари,— оправдывался кондотьер; — мы предлагаем городу сдаться и выплатить контрибуцию — и не тронем его. Если бы мы занимались грабежом, то от итальянских городов давно бы камня на камне не осталось. Но как всем известно, итальянские города процветают в торговле и промыслах... Одно беда, когда мы жалованья не платим своим солдатам, ну, тогда, ну, тогда... они, конечно, промышляют разбоем.

Между тем, на другой стороне стола король вел разговор с Исидором, расспрашивая его о новом папе Николае V.

— Просвещенный человек, ваше величество, преданный делу спасения Византии, не протежирует своей родне; большое счастье, что избрали такого человека.

— Ходили слухи об избрании отца Виссариона? — спросил король.

— Да, ходили, ваше величество, но это невозможно, он человек все-таки чужой; к тому же, поглощен всецело одной идеей.

— Говорили еще о Пикколомини, будто потому он и стал отрекаться от прежних своих сочинений слишком языческого характера, что метил на тиару...

— Если поживет, он и будет папой. Это человек бедовый, но не искренний.

— Скажите, что за страна эта, отдаленная Россия? Вы там были, кажется, митрополитом? Или, впрочем, вы были в Московии...

Исидор засмеялся.

— Это все равно. Кто знает Россию через Польшу, тот называет ее Московиею, по имени великого князя, которых там несколько, как и у вас в Испании королей, а греки называют эту страну Руссией, по имени народа. Что же касается вашего вопроса, ваше величество, то можно смело сказать, что эта страна заслуживает гораздо бо̀льшего внимания, чем ей уделяет Европа, в осо-

бенности по вопросу борьбы с турками; в этом деле Россия могла бы сослужить важную службу. Впрочем, государство там только создается — фундамент прочный, материал груб...

Между тем, за столом все говорили и шумели. В зале было жарко, лица раскраснелись; жажду утоляли вином. Наконец, король встал из-за стола и вышел на веранду. Уже вечерело, прохладный ветерок приятно обдавал выходивших из-за стола гостей. По обычаю того времени, начались танцы. Выпившие кондотьеры первые стали танцевать свои военные танцы, сопровождаемые стуком каблуков и беззаботной удалью, подпевая музыке. После них молодые синьоры танцевали неаполитанские танцы. Король был очень весел, он эфесом своей шпаги выбивал такт и высказывал одобрение танцующим; сидевший возле него Абу-Джезар хлопал руками в темп музыке и звонким смехом вторил королю. Между тем, музыканты исполняли испанский танец. Тут Абу-Джезар громко воскликнул:

— О, Гренада, о, родные звуки! Король,— с восторгом, довольно фамильярно, обратился он к Альфонсу,— ведь это песни нашей общей родины!

Король, продолжая постукивать шпагой и ногами, едва мог удержаться, чтобы не пуститься в грациозный испанский танец.

Некоторое время веранда была свободна, но старый Гихар не выдержал, он мерно прищелкивал пальцами и подмигивал дочери, которая решительно не могла владеть собой. Наконец, она легко, как птичка, вспорхнула за отцом. Роскошный танец и исполнители приковывали всеобщее внимание. Степенные испанцы, которых было много при дворе Альфонса, выполняли некоторые части танца, сидя в креслах, поводя плечами и пощелкивая пальцами, другие из них повставали и выделывали фигуры на месте. Вскоре вся веранда танцевала. Когда Гихары кончили, кондотьеры стали неистово кричать, выражая одобрение, а старого Гихара подняли на руки и с криками восторга носили по веранде. Рыцарь де Лоран, целуя руки Инесы, рассыпался в восторженных похвалах.

— А что же вы, синьор Массимо, меня не похвали-

те? — ласково спросила она Максима Дуку, видя, что он не был так весело настроен, как другие.

— Так хорошо, синьорина, что я совсем забылся! — ответил тот, нежно взглянув на нее, как бы за то, что она его не забыла среди восторженных приветствий.

— Вы, синьор, скучаете?

— Не скучаю, а мне несколько грустно. Когда я слышу и вижу искреннее веселие, когда вижу великие произведения искусства или природу, я всегда вспоминаю отца, братьев и все, что мне близко, потому что с ними привык я делить горе и радости, но их здесь нет! Они вас, милая Инеса, не видят.

Наконец, усталые гости стали расходиться. Король оставался среди них до самого конца, и прощаясь, благодарил, что они выразили сочувствие его радости; а гости, в свою очередь, благодарили короля за радушие. Подвыпивший кондотьер Северино останавливал каждого и говорил:

— Ну уж король, вот так король! Что и говорить, король! Настоящий король!

## XVII

Был тихий лунный неаполитанский вечер. Инеса Гихар задумчиво сидела в глубине балкона, выходившего в сад. На темном голубом небе ясно вырисовывалась луна. Верхушки деревьев отражались на балконе причудливыми узорами. Плеск волн Неаполитанского залива был нежною музыкою торжественной тишины. Инеса долго оставалась погруженною в задумчивость. «Музыка есть божественный голос в человеке», припомнилось ей. «Музыка не нарушает человеческой воли: тихий плеск волн то навевает спокойствие до дремоты, то наводит на грустные размышления, то вызывает мечты, недостижимые, но все-таки неотразимо увлекательные».

— Донна Инеса, простите, я нарушил ваше уединение,— сказал вошедший Дука.

Инеса вздрогнула от неожиданности.

— Синьор Массимо! — она ласково улыбнулась.

— Я пришел к вам проститься, завтра наше посольство в Албанию отправляется.

Наступило тяжелое молчание.

— Прощайте, донна Инеса...

— Прощайте, синьор Массимо.

Девушка употребила всю силу воли, чтобы сказать это спокойно, но вышло холодно.

После минутной нерешительности, Максим Дука медленно направился к выходу, подавив вздох, вырвавшийся у него из груди. Он почувствовал, как что-то словно оборвалось внутри его:

— Это жестоко! — прошептала дрогнувшим голосом Инеса.

— Это выше сил, бесценная Инеса! — порывисто прошептал молодой человек, бросившись пред нею на колени.

Он схватил ее руку.

— Прости же меня! прости! Нет больше преступления, как то, которое я совершаю! Я не должен был любить тебя и вызывать к себе любовь! Я забыл, что я человек!

— Дорогой Массимо, нужно так любить, как я люблю тебя, чтобы не оскорбиться всем тем, что я слышу.

Инеса нежно наклонилась к нему.

— Неужели ты думаешь, что я более была бы счастлива, если бы ты, нарушив убеждения, которым до сих пор был свято предан, предложил бы мне руку и сердце. Я может быть все-таки любила бы тебя, но уважала бы тебя меньше. Да разве нельзя быть счастливым любя друг друга возвышенною, духовною любовью?

— Прости, прости, Инеса, я не знал, что я еще виноват пред тобою. Ты утешаешь меня; тяжелый камень, который давил меня, как будто свалился.

Она снова склонилась к нему. Рука девушки затерялась в волнистых волосах Максима. Голова закружилась у него, когда он почувствовал на своем лице жаркое дыхание Инесы и ее поцелуй. Легкий ветерок не мог остудить их поцелуев, а торжественная тишина была чужда их мятежной страсти. Но в это время раздался стройный аккорд лютни. Не оставляя друг друга, молодые

люди стали прислушиваться. Аккорд повторился; он несся из чащи сада. Казалось, природа встрепенулась и ожила. Ветви деревьев заколыхались под звуки аккордов, луна смелее заглянула в счастливые лица Инесы и Максима, а плеск волн слился со звуками лютни в одну общую гармонию; немногочисленные звезды замигали в ночном безоблачном небе Неаполя. Из сада раздался нежный мужской голос:

Я привел певцов с собою,
Чтоб воспеть тебя,
Чтоб почтить тебя достойно,
Дивная моя!

Здесь со мною купол неба
Темно-голубой,
Здесь со мной мерцают звезды
С нежною луной.

Здесь среди цветов курится
Фимиам весны,
И средь шепота деревьев
Слышен плеск волны.

С ними я тебе, Инеса —
Небо моих грез,
Из роскошного Прованса
Песнь любви принес.

— Это голос де Лорана,— прошептала девушка.

Максим молча стоял около Инесы. Она протянула ему руку и восторженно смотрела ему в глаза.

— Прощай, Массимо! Теперь прощай, мы с тобой простимся как друзья,— говорила Инеса, по-видимому спокойно, но грудь ее высоко поднималась.— Я буду любить тебя вечно...

— Инеса, у рыцаря благородное сердце, ты его не гони от себя, он может сделать тебя счастливою...

— Массимо! Я тебя не понимаю.

— Инеса, твое счастье для меня ближе моего; я буду счастлив, если ты будешь счастлива.

— У тебя нежное сердце, Массимо, но знай, что я не могу быть счастливою иначе, как только любя тебя; и я буду любить тебя. Теперь буду жить с отцом, а переживу его, я уйду в монастырь.

Между тем рыцарь продолжал петь:

Ты ее в своем сердечке
Свято сохрани,
И для песен всего мира
Накрепко замкни.

— Слышишь? Он меня никому не уступает,— с веселым простодушием шепнула Инеса, продолжая любоваться красивым и грустным лицом Максима.

Я же перед целым миром
Песню запою
И немолчно буду славить
Красоту твою!

И в турнире обнажая
Меч свой и в бою,
Я немолчно буду славить
Красоту твою.

Еще рыцарь пел, когда Максим окончательно пришел в себя, и сделав порывистое движение, чтобы уйти, произнес едва слышно:

— Прощай, Инеса, и как это ни страшно сказать, навсегда!

Инеса вздрогнула.

— Не говори так, человек не должен этого говорить. «Там так хотят, где каждое желанье уже есть закон»,— невольно пришли ей на память слова бессмертного Данте.

Максим удалился.

Оставшись одна, Инеса не могла уже сохранить то напряженное спокойствие, которое до сих пор выказывала. Слезы подступили к горлу и она неудержимо зарыдала.

# XVIII

Весть о победе Искандер-бека над Мурадом при Крое привела в восторг почти всех европейских государей. Этой победе радовались повсеместно и многие спешили выразить эту радость посольствами с поздравлением и дорогими подарками. Венецианское и венгерское посольства скоро прибыли в Крою, но оказалось, что Искандер-бек, опасаясь повторения похода Мурада, ушел в глубь страны укрепить Дибру и Охриду. На обратном пути ему необходимо было посетить Дураццо, где его ожидал архиепископ Павел Анджело. Посольства, оставив дикую, скучную Крою, отправились в Дураццо, где были приняты архиепископом и другом Искандер-бека.

В Дураццо было множество народа со всех концов Европы. В войске Искандер-бека, благодаря его необыкновенным успехам в борьбе с турками, было и до этого времени немало воинов; после же битвы при Крое число их удвоилось.

Архиепископ, в качестве любезного хозяина, постоянно устраивал приемы для знатных гостей. Приезжие сосредоточивались главным образом на набережной.

— Синьор, синьор,— кричал какой-то венецианец, сидевший за стаканом вина, другому, проходившему мимо,— откуда эта галера пришла?

— Из Константинополя.

— А, из Константинополя! Это интересно.

С этими словами венецианец направился туда, где стояло пришедшее судно.

— Ба! Синьор Джамбатисто, вас ли я вижу? Откуда?

— Из Константинополя с галерой, что стоит в гавани.

— Чудесно! Вы, конечно, расскажете нам новости?

— Охотно; но предварительно намерен чем-нибудь утолить голод, так как наша галера стоит всего два часа.

Земляки уселись за поданное кушанье. Появилось вино.

— Император Иоанн Палеолог умер? Это верно?

— О, уже более месяца тому назад! — отвечал человек, которого называли Джамбатисто.

— Кто же на престоле?

— Представьте себе, никого.

— Как так?

— Вдовствующая императрица хочет возвести на престол деспота Дмитрия, а Константин свои права не уступает; младший брат Фома, деспот морейский, стоит за старшего брата Константина.

— Какие же основания у Дмитрия?

— Те, что он порфирогенит, то есть рожденный в то время, когда отец был уже императором, а Константин рожден до вступления на престол отца.

— Но ведь Мурад может воспользоваться этими разногласиями?

— И мог бы давно,— отвечал Джамбатисто,— но после поражения под Кроей он предается только оргиям и говорит, что дни его сочтены. Несмотря на это, деспот Фома отправил к Мураду посольство с ходатайством, чтобы султан признал Константина императором.

— Вот как? Стало быть греки признают над собой власть Мурада?

— Да, почти. Хотя Фома это мотивирует тем, что Мураду, как доброму соседу, интересен мир и спокойствие.

— Ну, и что же?

— Уже наша галера была нагружена и выходила, когда в городе распространился слух, что Мурад признал императором Константина.

Джамбатисто, между тем, урывками, среди разговора, подкреплялся едой и запивал вином.

— Теперь позвольте у вас спросить,— сказал он, поставив опорожненную кружку на столик,— откуда это венгры набрались в Дураццо? В этих местах их никогда не бывало, а теперь вон на горе несколько человек; в постоялом дворе трое закусывают.

— Это послы от Матвея Корвина с поздравлением к Искандер-беку; я тоже с посольством приехал и поджидаю Искандер-бека, он скоро должен быть сюда из Охриды.

— А, понимаю! Стоит, конечно, стоит, что и говорить — герой! Жаль, умер Гуниад, это был достойный его сотоварищ.

— По мужеству и искусству, но не по искренности,— возразил венецианец.

— Знаете ли,— значительно заметил Джамбатисто,— по-моему, венгры когда-нибудь с турками заодно пойдут, потому что родня.

— Ну, нет, Матвей Корвин просвещенный король.

— Пустое, синьор! Теперь просвещение клонится к тому, чтобы подорвать католицизм, чтобы уронить папу, а если возможно прогнать поганых турок в Азию, то только крестовым походом, под руководством папы. Оно и выходит, что просвещение в данном случае на руку туркам.

Во время этого разговора на набережной стало замечаться какое-то возбуждение, особенно на горе, где собралась группа венгерцев и венецианцев из посольства. Они указывали на открытое море. Там на горизонте виднелись три галеры, быстро идущие на веслах и парусах. Тотчас же более возвышенные места на берегу были усеяны народом, масса любопытных наполнила суда, некоторые взбирались на мачты.

Было роскошное утро, галеры весело скользили по гладкой водной поверхности и держали свой путь к гавани. Передняя галера была убрана цветами и коврами.

— Флаг неаполитанский! — пронесся говор, когда галеру можно было рассмотреть.

— Посольство от короля Альфонса к Искандер-беку! — пронеслось повсюду.

— Дайте знать архиепископу,— суетился венецианский посол.

Между тем, на палубе галеры уже ясно можно было различить людей, они все в парадных одеждах стояли на носу судна.

— Да здравствует князь Александр! — раздалось явственно с галеры, причем пассажиры, снимая шляпы, трясли ими в воздухе.

— Виват, король Альфонс! — загремело с берега.

— Живио, князь Александр! — раздалось на утлых рыбачьих лодках далматинских словенцев, которые покачивались на ровной поверхности моря.

Восторженные приветствия продолжались все время, пока галеры лавировали при входе в гавань. Наконец они остановились.

Появившийся в это время архиепископ Павел Андже-

ло, с крестом в руке, увеличил восторг толпы. Во главе посольства шел адмирал короля Альфонса, за ним следовали испанские гранды и неаполитанские синьоры, между которыми находился Максим Дука. Процессия отправилась в капеллу епископа, а по окончании короткого благодарственного молебна к архиепископу.

Через два дня прибыло посольство от папы Николая V, и затем, спустя несколько времени, от герцога Бургундского Филиппа. Вскоре приехали гонцы, сообщившие о приезде Искандер-бека.

Весь народ и посольства вышли далеко за город встречать героя. Искандер-бек ехал на коне; он был бодр, весел и моложав.

— Да здравствует князь Александр! — кричали на всевозможных языках встречавшие Искандер-бека, потрясая шапками и шляпами в воздухе.

Этот крик был подхвачен воинами Искандер-бека и долго как эхо разносило по горам Албании восторг христиан, пришедших приветствовать своего героя.

— О, если бы так всегда нас связывало единодушие! — говорил растроганный Искандер-бек, обнимая Павла Анджело и приветствуя послов.— Сколько чести, сколько чести, почтенные синьоры и паны; я — только меч всемогущей десницы Господа!

— Искандер-бек отправился прямо в церковь, где отстоял благодарственное богослужение с послами.

— Привет тебе, князь, от святейшего отца,— выступил нунций папский. Он начал по-латыни: — Смиренный и великий сын христианской семьи! Подвижничеством славным готовишь ты себе вечную обитель на небесах; ни ад тебя не увидит, ни чистилище тебя не удержит, потому что нет большей заслуги, как если кто душу свою положит за друзей своих. Ты ежечасно жертвовал своим спокойствием, которым мог бы безмятежно наслаждаться, не противодействуя туркам, и все сделано тобою ради того, чтобы не дать восторжествовать полумесяцу над крестом.

Закончив речь, папский нунций поднес князю подарки, среди которых была шкатулка с червонцами.

— Один благосклонный привет святейшего отца уже был бы наградою выше моих заслуг,— отвечал князь

нунцию,— эти же знаки благоволения, которых я не достоин, не смею, однако, не принять, потому что они мне от чистого сердца присланы и пожалованы и делают меня вечным должником и служителем христианства и его великого вождя.

— Князь Александр,— начал также по-латыни венгерский посол, разглаживая свои длинные седые усы,— король венгерский Матвей Корвин шлет привет великому воину Христа и другу своего отца, Гуниада Корвина. Албания и Венгрия — это две стены, которые защищают Европу от турецких тиранов; пока эти стены крепки, спокойствие Европы вне опасности. Тяжела и беспокойна эта обязанность, но для великого сердца, воодушевленного героизмом, она обаятельна, потому что дает ему служить не мелким интересам лиц, ни даже интересам страны или народа, а интересам человечества! Самые подвиги твои велики, о, князь Эпира, но более того та покорность обязанностям, которую ты много раз показал.

— Искренно благодарен благородному молодому герою, королю венгерскому Матвею, и славному его послу. Сам факт его посольства говорит мне, что он будет достойным продолжателем дел его великого отца, с которым мы действительно трудились заодно.

— Славному князю Александру от короля неаполитанского Альфонса привет,— начал Максим Дука.— Прежде чем какая-нибудь идея делается известною и доступною для понимания общества, являются гении: выразители этой идеи. В его образе каждому смертному доступно видеть служение идеи; однако же всякий гений — человек, а потому в его служении идеи выражается он сам. Вот почему бывает часто, что носитель идеи может увеличить или уменьшить количество последователей ее своими личными качествами. Все те качества, которые ты, князь, обнаружил, поучительны в наше горькое время: властители борются из-за своей своекорыстной политики, ты же сражаешься за идею, отказавшись от богатства и славы султанского прислужника. Всюду в Европе мстят за малейшую обиду, ты прощаешь своих изменников и необыкновенным великодушием вызываешь у них раскаяние и навеки привязываешь их к себе; в других

местах Европы разоряют народ, чтобы платить жалованье разбойникам кондотьерам, к тебе самому идут и просят позволения умереть под твоими знаменами; невежды, преданные ханжеству, не хотят жертвовать своим благополучием для христианства, а люди просвещенные, утратив веру, равнодушны к защите его,— в тебе же просвещение, уничтожив невежество, не убило веры, которая и руководит твоими подвигами. Или ты, князь, как достойный выразитель своей идеи, привлечешь борцов за дело изгнания варваров и освобождения личности человека от тяжкого состояния рабства, или твои дела будут выше подражания современников и ты останешься только живым укором, когда потом станут перебирать страницы минувших веков. Да не будет!

— Да не будет! — пронеслось среди присутствовавших.

— Да не будет! — сказал Искандер-бек.— Сердечно благодарю великодушного короля,— продолжал он,— благодарю его и за моих воинов; я сам без моих скипери — ничто. Король их труды ценит! Синьоры,— обратился он ко всем,— король прислал моим воинам и их сеймействам триста тысяч мер пшеницы, моим коням сто тысяч мер ячменя. Кроме того, король для меня открыл свою казну.

— Виват, король Альфонс! — закричали присутствующие.

После того выступил посол от Филиппа Бургундского.

— Приветствует вас, князь, герцог Бургундский, всегда относящийся сочувственно ко всякому подвигу, а подвиг, совершенный во имя религии и чести, им особенно почитается. Вы же, князь, как царственный орел, витая над горами Албании, орлиным взглядом отыскиваете врагов христианства, и лишь только они замечены вами, как делаются добычею царя и владыки гор! Вы, князь, как лев царите среди скал Албании, присутствия которого трепещут турки и бегут, как трусливые серны! О, Албания, о, страна героев, слава твоя гремит и воодушевляет Европу, но это ничто! Слава твоя перейдет в потомство и станет предметом песен и легенд! Полководец станет воодушевлять пред битвою солдат своих, напоминая о воинах Искандер-бека! Проповедник, внушая христиа-

нам подвиг самоотвержения, не забудет привести его в пример Матери, отпуская сыновей на поле брани, пожелают им стяжать славу великого противоборца турок! Мы, возвратившись домой, станем интересны тем, что видели вас, князь, и говорили с вами. И нас будут спрашивать о вас: каков он? Что он говорил? Ничего не помню, отвечу я; блеск его славы поразил меня и лишил возможности помнить и рассуждать.

— Это слишком,— с улыбкою отвечал Искандер-бек,— благодарю вас от души, почтенный рыцарь, а вашим благородным соотечественникам скажите, когда они вас обо мне будут спрашивать, что я орудие многоразличных чудес Божиих, и скажите, что я человек очень тщеславный, потому что с удовольствием выслушал вашу речь.

Рыцаря сменил посол Венеции.

— Приветствую вас, князь Эпира, от венецианской республики. Республика шлет привет своему доброму, верному соседу и старому другу. Сенат подносит вам достоинство гражданина венецианской республики и вместе с ним право искать у республики поддержки и защиты, когда это вам понадобится.

— Сердечно благодарю гордую и могущественную республику за оказанную мне честь,— отвечал Искандер-бек, принимая от посла грамоту на венецианское гражданство,— я всегда был связан узами дружбы с республикой, теперь эти узы будут неразрывны. Я вижу перед собою блестящее собрание,— обратился Искандер-бек к послам,— это все представители славных дворов запада, чувства мои переполнены, я слишком смущен, все эти почести слишком для меня неожиданны. Я не могу вам выразить, что чувствую и чем я вам обязан. Да если бы я был совершенно спокоен, то и тогда едва ли был в состоянии выразить какую радость, какой подъем духа испытываю я. Чувства, только что выраженные вашими нелицемерными словами, могут быть залогом братства народов! И какой восторг охватывает меня, когда мне, скромному воину Христа, пришлось быть центром этого братства. Но прости меня, Боже! Это все не мне, не мне, а имени Твоему!

После приема послы были приглашены на обед; обед

был умеренный, а послам, прибывшим из роскошной Италии, он показался совсем скудным.

— Отчего я не вижу любимого князем племянника его Гамзу? — спросил после обеда Дука у одного албанца.

— И не вспоминайте о нем. Он изменил князю и готовится с помощью турок овладеть Албанией.

— Этого никак нельзя было ожидать! — с недоумением воскликнул Дука.

— Эта измена, синьор, находится, по всей вероятности, в связи с женитьбою князя; до этой женитьбы Гамза считал себя наследником и служил князю.

— Как все это ужасно! Вот и другой его боевой товарищ, Моисей Галенто, тоже одно время убегал к туркам.

— Но теперь на него можно положиться. Необыкновенное великодушие князя, с каким он простил его, и доверие, которое князь ему оказал, несмотря на измену, сделали старого Моисея таким преданным, что он постоянно ищет наибольшей опасности, чтобы доказать князю верность.

— Дай Бог, чтобы доверие великодушного князя не было оскорблено,— сказал Дука.

В это время подошел один из неаполитанских послов.

— Неудача, синьор Массимо, а вот вы счастливец!

— В чем дело, синьор Феррети?

— Я справлялся в гавани, когда адмирал распорядился готовиться к возвращению, оказывается, через два дня. Там же мне довелось слышать разговор, что сегодня ждут галеру из Каттаро, которая едет на юг и таким образом вы можете сегодня оставить скучный Дураццо.

— Очень вам благодарен, синьор Феррети, за приятное известие, я в самом деле воспользуюсь этим.

Все остальное время Максим Дука ходил по набережной; его мысли были далеко отсюда, воспоминания одно сменялось другим. Инеса, отец, король Альфонс, братья, все приходило ему попеременно в голову. Наступал вечер; на берегу в разных местах показались огни.

— Синьор, синьор, почтенный синьор,— кричал ему

запыхавшийся мальчик из постоялого двора,— я вас разыскиваю, вы просили сообщить вашей милости, когда придет галера из Каттаро, она пришла и матросы говорят, что завтра до зари уйдет.

— Хорошо, мальчик.

Дука дал ему мелкую монету и приказал нести за собою вещи на галеру.

## XIX

На галере царил полумрак. Не желая беспокоить пассажиров, спавших в каюте, он расположился на палубе, выбрал поудобнее место и попытался заснуть. Но сон от него бежал. Где-то, вероятно в каюте, слышался плач ребенка, а затем женский голос стал напевать колыбельную песню, но Максим никак не мог разобрать, на каком языке. Песня была заунывная, грустная; слушая ее, он почувствовал тоску; совершенно неожиданно для него, две горячие слезы скатились по щекам; песня же все тише и тише слышалась, очевидно ребенок успокоился и засыпал.

Под звуки этой песни стал засыпать и Максим.

Когда он проснулся, стояло уже роскошное веселое утро. На востоке был виден берег Эпира; он уходил назад, а громадные горы, громоздившиеся на материке, оставались почти неподвижны, над ними в полном блеске взошло солнце. На палубе слышались голоса. Максим вскочил на ноги и стал молиться на восток. Окончив молитву, он осмотрелся кругом; взор его встретился со взором молодой женщины, на руках которой играл розовощекий малютка. Она дышала здоровьем; свежее, светлое лицо и голубые глаза выдавали в ней чужеземку, пришедшую в эти края. Она была занята своим ребенком, к которому обращалась с нежностью и лаской, но Максим ничего не мог понять из того, что она говорила.

Вдруг он услышал свое имя и вздрогнув, быстро поднял глаза на молодую женщину, но та любовалась своим

сыном. Не желая быть назойливым наблюдателем, так как ему казалось, что его любопытство замечено и смущает молодую женщину, Максим повернулся и, облокотясь на борт, смотрел на убегающие берега Эпира.

Дураццо уже скрылся из глаз; на склонах гор еле чернели пасущиеся стада.

— А, мои ранние птички! — раздался голос входившего на палубу человека.

Максим был поражен этим голосом и тут же обернулся, чтобы видеть говорившего, который в это время целовал молодую женщину и ребенка. Малютка всем телом тянулся к нему, болтая ножками.

— Андрей! — вскрикнул Дука.

Через минуту братья душили друг друга в объятиях.

— Агриппина, Агриппина! Ущипни меня, крепче! Не сон ли это, ведь это мой брат Максим!

Они долго не могли успокоиться и постоянно прерывали расспросы объятиями.

— Что это все значит, Андрей? Объясни.

— Путь через Босфор и Эгейское море теперь крайне опасен, а мы, знаешь, испытали эти опасности; вот я и отправился через Венгрию, там теперь полный порядок и безопасность. Через Венецию думаю направиться к отцу. Более двух лет как мы собираемся к нему; он очень недоволен, что я не еду и не везу жену и сына. Ну, как отец? Я ведь его десять лет не видел; правда, иногда получал сведения от Николая, но ведь мы с ним видимся тайком; генуэзцы народ подозрительный.

— Отец болеет. Наконец, нынешние события... Он все близко к сердцу принимает, его все волнует. Мы должны употребить все усилия, чтобы вывезти его из Пелопонеса.

— Куда же, Максим, вывезти?

— Я думаю, в Италию, там много греков, там ему легче будет; к тому же, страна эта в настоящее время решительно первая по просвещению, особенно Флоренция; он там найдет своих друзей, кардинала Виссариона, Исидора и многих других.

— Да, Италия действительно удобна для его переселения; но знаешь, Максим... может быть лучше... ты не будешь смеяться?..

— Не буду,— с улыбкою отвечал Максим.

— В Россию...

— Может быть в великую татарию? — с усмешкою спросил Максим.

— Братец! — укоризненно проговорила Агриппина,— ведь мы православные христиане, а татары басурмане!

— Прости, моя дорогая сестра, я может быть и не прав; уж если Андрей нашел себе в этой стране нежную супругу, значит она не далека от спасения.

— Подожди, Максим, я приведу тебе аргументы: греки бегут в Италию, это так; но представь себе, в Россию их бежит не меньше. В Италию бегут те, кто спасает литературу и искусства древних; в Россию, кто спасает православную веру и идею греческой империи. Отец из числа тех, которые готовы спасать и то, и другое, но если бы ему дать на выбор, он предпочел бы спасти последнее.

— Да стоит ли спасать, Андрей? Идея эта не спасла империю, а православие греков, как и латинство, столь далеко ушло от первобытной церкви, что требует обновления, а не перенесения на новую почву.

— Тут мы не сойдемся. Ну, да не в этом дело, я говорю об отце, где ему лучше.

— Хорошо, я не фанатик и ненавижу фанатизм. Не стану настаивать на Италии, хотя симпатизирую тамошнему направлению и жизни; я буду тебя расспрашивать о России и обдумывать. К тому же, побеседуем с Николаем. Ты с ним об этом не говорил?

— Говорил.

— Ну, что же он?

— А как ты думаешь, что он сказал?

— Во всяком случае что-нибудь решительное.

— Он говорит, что надо молить Бога, чтобы отец скорее был взят на лоно Авраама, потому что пережить падение империи будет для него тяжким испытанием, от которого он не уйдет ни в России, ни в Италии.

— Но он очень любит отца...

— Да потому он так и говорит.

— Ты, Андрей, когда видел Николая?

— В октябре, пред закрытием навигации, на Азовском море, в Палестре; мы там ломали комедию, набива-

ли друг другу цену на рыбу; дело было, конечно, грошовое.

— Ах, братец,— вмешалась в разговор Груша,— как я желаю повидать брата Николая, ведь я его не видела после того, как он спас меня! А вы, братец, на него очень похожи, но в тоже время и как будто совсем разные люди. Что я пережила тогда! Что перечувствовала в Кафе на торговой площади! О, не дай Милосердный Боже никому на свете!..— Груша набожно перекрестилась.— И где-то отец Арсений бедненький?

Молодая женщина стала быстро утирать слезы, которые катились по щекам.

Андрей низко наклонился над спящим на коленях матери сыном, чтобы скрыть волнение.

— Завидная судьба человека, о котором вспоминают со слезами благодарности,— тихо проговорил Максим.— Я бы пожертвовал своею жизнью, чтобы сделаться таким человеком.

— Значит и ты так же добр, как и другие твои братья,— проговорила Груша.

Между тем Андрей притащил ящик на палубу и стал доставать из него разные съестные припасы и вино.

— Ну, выпьем, Максим, за радостную встречу.

— Хорошо, Андрей, за счастливую будущность малютки Максима и всего нового поколения; пусть оно будет счастливее нас! — с этими словами Максим опорожнил серебряный стакан вина.

— Во время этих переездов только одно утешение — выпить и хорошо поесть,— заметил Андрей. Прошептав молитву, он начал есть. Приглашая то Грушу, то Максима отведать яств, он говорил: — Уж как мне хочется с отцом поскорее повидаться. Ну, а Николая мы застанем дома?

— Думаю, что застанем. Когда я ехал в Неаполь, он был уже в Генуе, где у него были крупные денежные дела. После того он рассчитывал возвратиться к отцу; я даже присматривался к судам, шедшим нам навстречу, не видно ли его там. Знаешь ли, Максим,— закусывая, продолжал Андрей,— Тану следует бросить. Пока еще кое-какие дела можно вести в ней, но с усилением влияния турок на Черном и Мраморном морях она совсем

падет, и недалеко то время, когда Тана будет захвачена татарами или турками. К тому же, там небезопасно. Лучше будет, если я вернусь в Тану один, а уж их не возьму,— прибавил он, указывая на жену и сына.

— В таком случае и сам не поедешь,— возразила ему жена.

— Как бы там ни было, а ехать необходимо, чтобы закончить дела. Она вот,— кивнул Андрей на жену,— все зовет меня в Россию.

— Отчего ты отказываешься? — удивился Максим.— Поезжай, Андрей, тем более, что ты сочувственно относишься к этой стране, которая теперь тебе не чужда, и как мне кажется, ты хочешь видеть в ней наследие Византии.

Между тем, солнце уже стояло высоко. Малютка проснулся и поднял плач. Его все успокаивали. Нежная заботливость, ласки отца, матери и дяди чередовались одни за другими. Ребенок еще плакал, но глазки уже смеялись, а розовые губки складывались в обворожительную улыбку. Андрей взял его на руки, лаская и уговаривая. Максим принялся расспрашивать Грушу о России. Рассказ у нее был не особенно богат: татары, вероломные бояре, да непокорные князья. Одно служило утешением — это митрополит Иона.

## XX

Наступал тихий весенний вечер. Старый Константин Дука сидел со своим старшим сыном Николаем под тенью громадного векового дерева у своего дома, прилегавшего к замку. В руках старик держал сочинения Афанасия Великого; перед Николаем были разложены конторские книги и он занимался разными вычислениями. Время от времени старик читал сыну какое-нибудь замечательное место из книги и после обмена мыслей по поводу прочитанного, оба снова погружались в свои занятия.

Кругом царствовала невозмутимая тишина.

За замком вдруг послышались шаги и порывистое дыхание.

Отец и сын подняли голову, прислушиваясь. Скоро из-за угла замка показался старик Елевферий; он совершенно запыхался.

— Кирие, кирие, с берега видна лодка, а в лодке люди!

— Люди? Какие же люди?

— Турки, что ли? — с нетерпением спросил Константин Дука.

— Ах, что вы! Наши дорогие дети! — со слезами уже проговорил Елевферий.

— Андрей?

— И Андрей, и Максим...

Николай вскочил и почти бегом бросился к берегу.

— Подожди, Николай, и я хочу! — просительно сказал старик.

Николай засмеялся.

— А я, батюшка, про вас забыл... Ну-ка, Елевферий, помоги мне, поведем батюшку вместе. Это будет скорее.

Старика Дуку взяли под руки и почти понесли. Поднявшись на довольно крутой пригорок, они увидали разбросанные вдали острова, а внизу приставшую к берегу лодку.

— Дети мои, дети мои! — кричал старик.— Ах, Николай, вы все около меня сегодня! Андрей с женою, с внуком! Господи!

С берега заметили людей на горе. Максим шляпою и криком посылал приветствия, но шум волн мешал слышать. Агриппина подняла высоко своего мальчика. Старик Дука плакал и с горы осенял его крестом.

В то время как Максим взял у Груши малютку и помогал ей взобраться на гору, Андрей кратчайшим путем вбежал на нее ранее других, и, упав на грудь отца, со слезами радости говорил:

— Десять лет я не видел тебя, батюшка, десять лет!

— Андрей! Андрей! Какой же ты славный, да как возмужал! — старик пожирал глазами сына. Он перестал обнимать его только тогда, когда Агриппина бросилась пред старым Дукою на колени. Николай поспешно поднял ее и подвел к отцу.

— Моя милая, бесценная дочь,— шептал старик, обнимая Грушу и покрывая поцелуями ее голову.

Когда же Максим поднес малютку к отцу, тот, благословив ребенка, совсем разрыдался.

— Докса си, о Феос имон, докса си! — повторял он, возводя к небу свои влажные глаза.

Между тем Агриппина бросилась к Николаю.

— Мой спаситель! Мой спаситель! Могла ли я думать тогда, кто спас меня! — восклицала она.

Николай нежно обнял молодую женщину и по-отечески поцеловал ее в лоб.

— Это все отец Арсений — не я; молитесь о нем! — смущенно произнес он.

— А что, братец, умер он? — спросила Агриппина.

— Нет, я видел его недавно в Фессалониках.

— Ну, пойдемте, дети мои, я совсем потерял силы. Столько радостей, теперь и умереть можно; более счастливого момента не может быть! Мой славный малютка, мой крошка,— говорил старик, любуясь внуком.

Старый Дука совсем повис на руках Николая и Елевферия, который перецеловался со всеми и плакал в три ручья; из всех сыновей Дуки веселый Андрей был его любимцем.

— Моя ненаглядная дочь,— обращался старый Дука к Груше,— какая красавица из стран гиперборейских,— ласково улыбнулся он ей, стараясь при этом идти скорее,— а Андрей, ох, разбойник! Какой же он молодец, правда, кирие Агриппина?

— Кирие,— скромно заметил Елевферий,— вы ничего не говорите, совсем ничего, а то больше устанете...

— Ах ты, старина, как же я могу не говорить!

— Я за вас поговорю, кирие, а то вы мне не даете слова сказать...

— Ну, говори, Господь с тобою!

Препирательство стариков всех очень забавляло.

— Да что уж! Я только хотел сказать...— Елевферий потерялся и не знал, о чем говорить, когда заметил, что все его слушают.— Я хотел сказать, что молодые господа все хороши, что таких на свете нет других,— окончательно запутался старик.

Наконец добрались до места, где отдыхал старый Ду-

ка. Около стола стояли скамейки и кресло. Старик опустился в кресло, дети разместились на скамьях.

Андрей заметил на столе конторские книги.

— И тут уже синьор Батичелли свои барыши сводит! — смеясь сказал он.— Ну, батюшка,— обратился он к отцу,— уж и актеры мы с Николаем, ты себе представить не можешь! Иногда бывает, что пользуясь тайно сведениями от Николая и зная все скрытые пружины торговой политики генуэзцев, устроишь превосходную операцию, но и сам испугаешься, как бы не узнали. Вот мы тогда с Николаем и разыграем комедию, отобьем друг у друга какое-нибудь крупное дело; а однажды в Палестре так даже лично виделись; — Николай-то ничего, он человек серьезный, ходит себе да разговаривает как Платон, а меня смех разбирает, того и гляди ни с того, ни с сего примусь хохотать. Однако, ничего, выдерживал, только губы порядком покусал. Мне в Тане недавно предлагали консульство, намекая при этом, нельзя ли принять католицизм, но я уклонился от этой чести. Впрочем, с венецианцами легче; они так понимают у человека стремление к личной выгоде, что насчет происхождения и религии мало интересуются. Вот уж синьору Батичелли тщательно приходилось скрывать свое византийское происхождение.

— Ну, а как нашему главному счетоводу угодно? — спросил Николай.— Когда займемся составлением счетов?

— Завтра или после завтра,— отвечал Максим.

— Это дело может подождать,— возразил Андрей.— Хороший вечер,— вздохнул он,— давно, давно я тут не был.

Он осмотрелся кругом; солнце уже село, но верхушка старого замка была еще освещена. Старик Дука сидел в кресле и весело смотрел на болтавшего без умолку Андрея. Груша в стороне кормила сына. Максим задумался. Николай, полулежа на скамье, облокотился на спинку и с улыбкой на устах слушал болтовню брата, а Елевферий в стороне тихонько смеялся, посматривая на говорившего Андрея.

— Каждый камешек на этом замке мне знаком. А вот эта башня,— указывал Андрей,— серые камни, порос-

шие мхом, сколько раз я тут нос себе разбивал!.. Помню, карабкаюсь вверх, да вверх, вдруг выбегает мама; «ах ты, варвар», кричит она, «полезай назад»! Позвольте, кричу я, хоть до этого окошечка.

При этом воспоминании старик вздохнул и, набожно перекрестясь, проговорил:

— Царство небесное нашей доброй Пульхерии.

Дети последовали примеру отца.

— А то, помню, начнешь представлять Андрея Первозванного, возьмешь дубину, потому что в дубине-то вся суть,— это посох, без которого проповедник немыслим, и идешь в Скифию проповедывать христианство. А море! Боже мой, Боже мой! Сколько раз я там изображал Одиссея, Алкиноя, Посейдона,— страх!.. А Елевферий изображал Навзикаю... А Николай преважно, помню, начнет убеждать, что Елевферий совсем на Навзикаю не похож... а я ему: «Ну, ты будь Навзикаей, мне без Навзикаи нельзя, сам посуди!» А Николай с некоторым презрением говорит: «Э, что с тобой говорить»! Я, конечно, не понимал, что хотел выразить этим Николай, уже видевший в Навзикае женщину. А уж Максима, того, бывало, никогда не допросишься играть, он все читает или рассуждает; ко мне всегда так относился, что мне и в голову не приходило, что я старше его. Но больше всех я воевал с мамой, ей от меня покоя не было. Вот отца Виссариона, тогда еще совсем молодого человека, я порядком побаивался, и не понимаю отчего это. Желал бы я его повидать!

— А помнишь, кирие, как меня в свинью обращал? — заговорил Елевферий, давно уже собиравшийся вставить словцо.

— Да уж мы с тобой каких только людей, зверей и богов не изображали!

Все от души смеялись, для всякого эти воспоминания Андрея были дороги. Братья, собравшись около отца, вдруг почувствовали себя детьми; даже солидного Николая заставляли смеяться все эти пустяки, о которых вспоминал Андрей.

Между тем, принесли яйца, молоко, фрукты и вино.

— Ну, а что нового слышно в Венеции, Андрей, ведь ты венецианский гражданин? — спросил Николай.

— В области политики там решительно говорят, что Константин уже признан императором Византии; говорили еще про сватовство, именно, что Франческо Фоскари, дож венецианский, хотел выдать свою дочь за императора замуж, но тот отказался, потому что она не королевского рода; венецианцы, конечно, обиделись и Константин приобрел себе нового врага или, во всяком случае недруга.

— Да уж где тонко, там и рвется,— заметил Константин Дука.

— А слышно ли там о сооружении крепости на европейском берегу Босфора Магометом, как раз против той, которая была уже сооружена турками на азиатском берегу,— говорил Николай.— Я слышал в Бриндизи, что это обстоятельство окончательно повергло в уныние императора, и что он требовал разрушения крепости; но новый султан Магомет II отвечал, что он этой башни, которую назвал Бегаз-Кессень, то есть Головорез, не разрушит, и что император не имеет права предъявлять претензий, потому что его власть не простирается далее стен города.

— Это говорит варвар византийскому императору! — вскричал Константин Дука и с тоскою покачал головой.— А что, Николай,— спросил он, подняв голову,— ты много ездишь и много видишь, можно ли спасти Византию?

— Конечно, батюшка, можно. Турок, собственно,— горсть. Куда страшнее были татары Тамерлана и гуны Аттилы, но сама Византия спасти себя уже не может, а Европа, как тебе известно, единодушия не имеет, у каждого государства своя исключительная и крайне узкая политика. К тому же, вопрос религиозный играет некоторую роль, хотя, признаюсь, я этому мало придаю значения,— будь завтра греки верными сынами латинства, и все-таки латинцы ничего для них не сделают.

— В Константинополе ходит легенда, что город падет, но что потом турки будут изгнаны северным народом,— сказал Андрей.

— Северный народ — это русский народ; я много раз об этом и в России слышала,— сказала Груша.

— Да, я давно слышал эту легенду,— сказал Кон-

стантин Дука.— Дай Бог, чтобы твой народ отплатил грекам за то, что принял от них христианское просвещение. Я полагаю, что это может быть,— продолжал старик, задумавшись.— Андрей много писал мне о тебе, дитя мое, что ты нежно любящая жена, беспримерная мать, что таких матерей нет ни в Греции, ни в Италии и нигде на свете; а эти достоинства обыденной жизни куда выше геройских подвигов; героям легко было совершать подвиги самоотречения, когда на них взирал весь народ, когда их подвиг делался достоянием потомства; но ежедневно жертвовать собою для мужа, для ребенка, чего никто не видит, никто никогда не узнает и весьма часто не оценит, о, это настоящий подвиг любви и самоотречения христианского! Недаром сказано: «В малом был верен, над многим тебя поставлю». А ты, дитя мое, являешь именно такой пример христианской добродетели; это я вам говорю к тому, что народ, у которого такие женщины, не только может спасти Константинополь от турок, но и создать великую православную нацию, которая грудью своею загородит Европу от азиатских полчищ и даст Европе мир для благоденствия народов и процветания наук.

— Дай Бог, батюшка, моему многострадальному народу,— проговорила Агриппина.

— Я многих моих соотечественников знал,— продолжал Константин Дука,— которые отправились служить русскому народу; все они говорят о варварстве народа, говорят о жестокостях князей и вельмож, но все они не теряют надежды на великое его будущее.

— А что, батюшка,— спросил Андрей,— если я вздумаю перебраться из Таны в Россию?

— Я благословляю тебя, Андрей, на этот путь. Иди туда, делай свое дело, но и будь апостолом этой страны, которая связана с нами узами духовного родства.

В это время было уже совсем темно. Давно уже наступила ночь. Небо, усеянное звездами, раскинулось над замком. Некоторое время все молчали. Торжественный покой ночи вызывал у каждого свои различные чувства. Старик опустил голову и погрузился в думу; Николай, продолжая полулежать, смотрел на мрачно возвышавшийся замок, около которого быстро пролетали летучие

мыши; Максим вглядывался в темную даль, лицо его временами принимало грустное выражение и он старался подавить вздох; Андрей наблюдал за мерцанием звезд; Агриппина, положив голову на руки, задумалась о далекой родине, у нее на коленях спал укутанный малютка; в стороне дремал Елевферий.

— Музыка сфер,— задумчиво проговорил Андрей,— тихая стройная гармония мироздания; как часто мне хотелось разъяснить себе Пифагора; его легче понимать чувством, нежели рассудком.

— Вот купол храма Пантократора,— после некоторого молчания сказал Николай вполголоса, как бы не решаясь нарушить торжественной тишины.— А что если бы в этом храме раздался возглас Первосвященника: «Оглашенные, изыдите»!

— Храм велик, но он бы опустел,— заметил Максим.

— Многие должны были бы покинуть этот храм, но Первосвященник сказал: «Придите ко мне все страдающие и обремененные», а их несметное количество; сколько одних рабов! Кто их не видал, в особенности в первое время их рабства, тот не знает настоящего бедствия человечества!

Константин Дука поднял склоненную голову.

— Дети мои,— сказал он,— давно мы не были все вместе, минута радостная и торжественная; что может быть лучше молитвы в такое время; помолимся о вашей доброй матери и прослушаем утреннюю, как это случалось, когда мы были вместе. Максим, потрудись, дорогой, прочитать полунощную и заупокойные молитвы о рабе Божией Пульхерии и утреннюю.

Присутствующие выразили этому сочувствие. Елевферий принес книги и светильник для чтеца. Максим обратился лицом к востоку. Все встали, кроме старого Дуки, оставшегося в кресле.

— Дай мне, дорогая Агриппина, малютку, пусть он у меня на коленях спит.

Агриппина передала старику внука.

В торжественной тишине раздался нежный тембр мягкого, низкого голоса Максима. Во время заупокойной молитвы у всех глаза были влажны. Николай, более

помнивший мать, подавлял приступившие рыдания. Елевферий рукавом утирал катившиеся слезы. Голос чтеца дрожал.

— «Где два или три во имя Мое, там и Я посреди их»,— прошептал старик.

Мерное чтение продолжалось; дед, знаменуя себя крестным знамением крестил и внука, безмятежно спавшего у него на коленях.

Когда полунощница была прочитана, Максим начал канон. Первую песню пропел он сам, но следующая за нею была исполнена хором.

Низкие голоса Николая и Максима стройно и сдержанно звучали, но высокий чистый тенор Андрея переливался в ночной тиши.

На четвертой песне раздался нежный, женский голос и прозвенел в воздухе, это был голос Агриппины; по характеру русских песен, она оканчивала высокими нотами, которые несколько раз повторял старый, угрюмый замок.

Старик ласково и одобрительно посмотрел на нее. Мерное чтение чередовалось с пением, канон был окончен. Чтец на некоторое время остановился.

— Слава Тебе, показавшему нам свет,— начал Максим великое славословие.

Светлая полоса окаймляла восток, предвещая скорый солнечный восход.

Утренняя была окончена. Максим сложил книгу и потушил огонь. Опять также тихо, тот же плеск волны... Сероватый свет распространялся по обнаженным скалам; замок терял свое мрачное очертание; звезды меркли в небесах; на берегу прокричала чайка.

— Благословение Господне на вас, дети мои,— произнес Константин Дука, тяжело поднимаясь с кресла и благословляя детей,— идите спать, благодарю вас; истинно возвышенное счастье испытал я сегодня с вами; душа спокойна, я чувствую близость Господа. Ступайте, отдохните!

С этими словами старик отправился в свою спальню, а прочие разошлись в приготовленные для них комнаты.

## XXI

После вечерней молитвы прошло около часа. Встревоженный Елевферий вбежал к Николаю.

— Кирие Николай! Кирие Николай,— будил он только что заснувшего старшего Дуку.

— Что такое? Что случилось? — испуганно спрашивал тот, не сразу приходя в себя.

— Батюшка ваш очень плохо себя чувствует, просил позвать вас.

Николай на ходу накинул на себя одежду и бросился к отцу.

Константин Дука лежал в постеле, глаза его были полузакрыты и смертельная бледность покрывала его лицо.

Николай припал к груди отца и зарыдал как ребенок.

— Николай, Николай, что ты,— слабо проговорил старик.— Я призвал тебя, рассчитывая найти в тебе более мужества, чем у младших.

— Батюшка,— сквозь рыдания произнес Николай,— неужели тебе так плохо?

— Да, Николай, лета мои такие, что давно уже пора успокоиться... Я чувствую себя покойно... Даже легко... Одно тяжело, что я расстаюсь с вами.

Николай не мог сдержать рыданий.

— Николай, дорогой, успокойся, пошли на остров Санте за отцом Георгием, может быть успеют его привезти, я хотел бы причаститься.

Между тем Елевферий разбудил братьев; все встревоженные пришли в комнату отца. Старик был спокоен; он иногда забывался, потом приходил в себя. Когда вошла Агриппина с ребенком, старик встретил внука улыбкой. Маленький Максим засмеялся в ответ на улыбку старика. Более других сохранял присутствие духа Максим; он немедля послал Елевферия разыскивать отца Георгия на Санте, где обыкновенно тот проживал.

Настало во всем блеске солнечное утро, в доме же Дуки было сумрачно и тихо; братья говорили шепотом. Старик старался успокоить детей и с особенною нежностью относился к Агриппине и внуку. Безысходная тоска

выражалась на лицах сыновей. Николай, убитый горем, не отходил от постели отца. Агриппина поправляла постель старика.

К вечеру наконец вбежал измученный Елевферий, шепнув Максиму, что священник приехал и ожидает. Максим вышел. Под деревом у входа в дом сидел почтенный старик — это и был отец Георгий.

— Кирие Максим, давно с вами не виделся! Что батюшка?

— Совсем плох, достопочтенный отец; передаем его теперь вашей власти. Вы всегда были добрым другом нашего семейства; откройте же ему путь в место светлое, где нет ни печали, ни воздыхания.

Священник с Дарами вошел в дом; встречáвшие его падали ниц; он направился к умирающему. При появлении отца Георгия, старик ободрился и радостно взглянул на своего старого друга.

Все вышли из комнаты.

Прошло полчаса, тяжелых и тоскливых. Холодная тишина давила душу; среди нее слышался лепет и смех маленького Максима. Возникавшая жизнь ликовала, не хотела и знать, что другая жизнь говорит свое последнее слово.

Наконец из комнаты умирающего неслышно вышел священник; он приостановился и произнес:

— Молитесь! Почил святой человек. Со святыми упокой душу раба твоего Константина!

Братья склонили головы. Тяжелый вздох вырвался из груди Николая.

## XXII

Был жаркий день конца мая месяца. Солнце ярко светило и жгло; но в подземелье средневекового замка Дуки было темно и прохладно. Несколько светильников освещали бледные лица братьев. В углу подземелья мрачно вырисовывался деревянный крест над могилою Константина Дуки. В разных местах лежали мешочки с золотом, а на столе груда разных денежных документов.

Главным счетоводом был Максим, братья ему помогали.

— Надо знать это подземелье, чтобы открыть его,— говорил Максим,— а все-таки лучше, если мы все сундуки с золотом зароем в землю по номерам, и кто из нас явится взять деньги, тот должен оставить в том же сундуке записку, сколько он взял и что еще пожелает сообщить. А затем надо опять зарыть.

— Конечно, лишняя предосторожность не помешает,— заметил на это Андрей.

— Елевферий,— обратился Николай к бывшему тут старику,— пойдем с тобою; ты посветишь дорогой, а я приведу сюда Агриппину, она должна все знать наравне с нами, может быть и ей придется пользоваться.

Вскоре они скрылись в темноте; Андрей провожал Николая благодарными взглядами.

Спустя некоторое время, у входа показался Николай, который вел Агриппину, за ней следовал Елевферий с малюткой на руках.

Агриппина всплеснула руками, увидав богатство. Ей рассказали условия пользования им и принялись закапывать деньги в землю.

— Теперь все,— сказал Николай; голос его дрогнул.— Простимся здесь, на могиле отца!

Николай припал ко кресту и еле слышно шептал:

— Я жил тобою, ты был для меня всем, я круглый сирота... Какие могут быть теперь у меня интересы к жизни?..

— Братец,— успокаивала его Агриппина, наклонясь к нему,— вы освобождаете бедных рабов, как освободили меня, у вас есть для этого средства, сколько вы добра сделаете! У нас на Руси князья и благочестивые люди так иногда делают.

Николай нежно посмотрел на Агриппину.

— Да, дитя мое, я исполню твое желание; исторгнуть человека, исторгнуть личность человека из неволи, когда ее попирают,— это действительно доброе дело.

Братья встали на колени у могилы отца и молились. Агриппина и Елевферий последовали их примеру.

После краткой молитвы Николай обнял Андрея.

— Ты счастливее нас, Андрей,— сказал он,— и стоишь того, потому что у тебя нежная, добрая душа.

— А ты, Максим, всегда можешь быть счастливым,— отвечал он брату; — с твоим железным характером все можно перенести.

## XXII

Настал 1453 год. Хотя зима оканчивалась, однако продолжительный северный ветер распространил холод по всему Архипелагу. Прикрытый горами Анатолии, Хиос менее испытывал его действие, и потому шедшие в Черное море и Босфор корабли и галеры останавливались там в ожидании попутного ветра. Среди множества мелких судов, входивших в Хиосскую бухту, вошла венецианская галера, шедшая из Адриатики. На палубе галеры был синьор Батичелли и любовался большим кораблем, который стоял в гавани под флагом византийского императора; вблизи его расположились большие генуэзские корабли. Как только пассажиры галеры вышли на берег, Батичелли присел в постоялом дворе и полюбопытствовал у хозяина о заинтересовавших его кораблях.

— Ох, синьор,— вздохнул хозяин,— в столице плохо, очень плохо. Магомет начинает осаду со стороны суши, с берега Пропонтиды турецкий флот, Босфор загорожен турецким флотом. У императора нет съестных припасов, нет военных кораблей в достаточном количестве. А это один императорский корабль и четыре генуэзских, о которых вы спрашиваете, нагружены пшеницею и другими съестными припасами, а также порохом, и воинов там много. Они думают идти в Константинополь, да ветра попутного нет.

— Ветер несколько изменяется, нам тоже трудновато было сюда идти, а вот последние дни легче. Но как же они пройдут.

— Рассчитывают на свое мужество и Божию помощь.

— А что у вас говорят, много у императора войска? — спросил Батичелли.

— Предполагают, что девять тысяч.

— Только. Ну, а у турок?

— Видимо-невидимо! Некоторые говорят — более

двухсот тысяч. А что, синьор, как в Италии? — в свою очередь стал выспрашивать хозяин.— Поможет ли императору папа и латинские государи?

— Трудно рассчитывать на помощь папы, когда он громогласно предсказал падение Константинополя за то, что греки неискренни с ним; ему даже неловко станет, если Константинополь будет спасен.

— Но, синьор, ведь Исидор теперь в Константинополе и, как слышно, соединение церквей состоялось.

— Вероятно так же состоялось, как во Флоренции. Один другого обманывает, один перед другим лицемерит.

— Так, так, синьор. Я думаю, что христианам запада можно было бы подать помощь и без всякого соединения церквей, а только из-за того, чтобы Византия туркам не досталась.

В это время к столику, где расположился Батичелли, подошел генуэзец из Каффы.

— А, синьор Пизони!

— Синьор Батичелли!

Они пожали друг другу руки.

— Вы здесь давно?

— Давно уже. Ждем попутного ветра.

— Вы хотите пройти в Каффу? — спросил Батичелли.

— А вы тоже?

— Да, но, говорят, нельзя; Босфор заперт турками.

— Это, положим, ничего не значит; галатские наши соотечественники заключили дружеский договор с турками, и если мы назовемся генуэзцами, то нас пропустят, но нас лично, а не корабли; поэтому что все суда задерживаются в Константинополе императором для защиты столицы.

— Вот как! А знаете ли, синьор Пизони, я хочу пробраться в Константинополь и присутствовать или при торжестве, или при падении великого города.

— Тогда вы можете сесть на один из кораблей, готовящихся к отплытию, тем более, что заметна некоторая перемена ветра. Но только эти корабли явно враждебны туркам, и если их захватят, то едва ли кого турки пощадят.

— А вы что же думаете?

— Думаю с этими кораблями отправиться; мне необходимо; убьют — пускай убивают, все равно я разорюсь, если не буду во время хоть бы не в Каффе, то во всяком случае в Галате.

— Скажите, пожалуйста, синьор Пизони, а меня примут на эти корабли?

— С распростертыми объятиями; они хотят, чтобы больше было пассажиров на случай борьбы с неприятелем.

— Так я еду с вами,— решительно сказал Батичелли.

К вечеру этого дня перемена ветра была очевидна, и пять кораблей, во главе которых стоял императорский, стали готовиться к отплытию.

Синьор Батичелли отправился на один из генуэзских кораблей, где у него тотчас нашлись знакомые. Все это были большею частью люди особенно им уважаемые за свое благородство и прямоту. Они шли оказать поддержку Константину XI в решительную минуту.

Батичелли они приняли с восторгом.

— А, синьор Николо, нам такие люди находка! — кричали ему со всех сторон.

Целую ночь шли приготовления; на рассвете решили тронуться. Когда все было готово, стали ожидать сигнала с императорского корабля.

Синьоры и солдаты смело смотрели в глаза предстоящей опасности.

— Ну, синьоры, с Богом! — сказал капитан корабля.

На берегу собрался народ. Когда императорский корабль поднял паруса и развернул флаг, народ стал громко выкрикивать добрые пожелания.

— Да поможет вам Господь, храбрые воины!

За императорским кораблем отвалил другой, далее третий, на котором был синьор Батичелли.

Ветер с каждым часом крепчал, это благоприятствовало плаванью. На следующий день они вступили в Дарданеллы, а через трое суток приближались к Босфору. Почти все синьоры, находящиеся на кораблях, бывали раньше в Константинополе, но на этот раз с каким-то особенным чувством они увидели очертание столицы. В то же самое время на генуэзских кораблях стали замечать, что императорский корабль, который шел во главе,

начал лавировать; вдали показались турецкие галеры и масса мелких лодок.

— Кто предводительствует флотом магометан? — спросил Батичелли.

— Балта-Оглы, болгарин,— проговорил синьор Антонелли.

— Как же мы пройдем? — беспокоился синьор Пизони.— Посмотрите!

Действительно, с приближением к Константинополю, количество судов увеличилось до такой степени, что они образовали между противоположными берегами пролива сплошную линию.

Азиатский берег был усеян турками; голосов их не было слышно, стоял какой-то гул; ожесточенная жестикуляция их явно говорила о негодовании, в виду беспримерной дерзости христианских кораблей. Пять кораблей шли на несколько сотен судов, которые готовы были поглотить их. На европейском берегу можно было различать толпы константинопольских жителей, восторженно приветствовавших императорский корабль. Этот гордый великан величаво выступал, рассекая волны; никому в голову не приходило страшиться опасности. Европа и Азия встречали их, друзья их приветствовали, враги им удивлялись.

— О Феотокос Одигитрия! — раздалось с императорского корабля, когда он поравнялся с столицей, где на мысе стоял почитаемый храм Богоматери Одигитрии.

Под туго натянутыми парусами корабли неслись стрелою. День ярко светил. На азиатском берегу было необычайное движение.

— Магомет! Магомет! — доносились оттуда крики.

Суета на турецких судах поднялась невообразимая.

Магомет II действительно появился на берегу. Он был верхом на разукрашенном коне. Султан гневно приказывал, чтобы остановили христианские корабли. Некоторые турецкие суда устремились на императорский корабль, но оттуда ответили таким убийственным огнем, что лодки бросились в рассыпную.

Магомет выходил из себя; его молодое, красивое лицо было искажено бешенством. Крик восторга со стен Константинополя служил наградою героям-морякам.

Уже христианские корабли были против храма Спаса Милостивого, называвшегося Агиасма; уже виднелась колонна Феодосия и ворота св. Варвары, где был поворот в Золотой Рог, когда страшные проклятия и крики Магомета возымели свое действие. Масса турецких судов двинулась на императорские корабли. Завязался бой. Турки наседали, с императорского корабля метали греческий огонь, но силы были слишком не равны. Вскоре турецкие суда окружили императорский корабль, на котором была сбита мачта, но тут раздался такой оглушительный залп, что сразу два турецких корабля загорелись и пошли ко дну. Остальные дрогнули, строй рассыпался и императорская галера, поддерживаемая другими судами, прорвалась к городу.

Галере, на которой был Батичелли, также удалось пройти в бухту Золотого Рога.

Батичелли сошел с галеры и направился к дому Каффского консула, узнать, как обстоят дела в Тавриде. Узнав последние новости, Батичелли спросил:

— Скажите, синьор Киавари, чем кончились переговоры с Венецией?

— В Константинополе более всего рассчитывали на Венецию, но император оскорбил венецианцев тем, что отказался от предположенной женитьбы на дочери венецианского дожа, оказав предпочтение грузинской принцессе, как особе царской крови.

— А Венгрия?

— А венгерские послы из лагеря Магомета II не выезжают.

— Значит для Константинополя от соседей нет спасения?

— Во всяком случае, синьор Батичелли, я вам скажу, что будут ли владеть здесь турки, или кто другой, пусть только война кончается; нам нужен мир, иначе мы все разоримся. Для нашей торговли я не вижу опасности, если даже турки будут обладать Константинополем.

— Это положительно так,— безучастно заметил Батичелли и затем, простившись с хозяином, вышел.

От консула он отправился к Золотому Рогу, и перейдя мост, бесцельно пошел по улицам столицы. В городе было заметно некоторое оживление: пришедшие со сла-

вою корабли поддерживали на некоторое время бодрость духа у жителей. Батичелли вышел на улицу, ведущую к Влахернам. Вечерело. Она была многолюдна, потому что многие отправлялись отслушать вечернее богослужение в почитаемом Влахернском храме Божией Матери, но перейдя эту улицу, синьор Батичелли пошел к монастырю Пантократор, оттуда было слышно церковное пение. Он подошел со стороны, где находился саркофаг Ирины; мрачный вид монастыря вполне гармонировал с состоянием духа Батичелли. Обойдя монастырь, он прошел под массивною аркою. Церковное пение и чтение его несколько умиротворило, вечерня кончалась, и он скоро вместе с другими оставил церковь.

— Кирие Николай!

— Отец Георгий, какая приятная встреча! Давно ли вы здесь?

— Несколько дней уже.

— Как объяснить это, достопочтенный отец: в то время, как другие бегут из столицы, вы являететь сюда?

— Но и ты, кирие, пришел на наше старое пепелище, а ведь ты никогда не отличался особенною любовью к родине.

— Отец, я не любил наших убийственных государственных порядков и порицал их. Если я их порицал с раздражением, злобно, то это более свидетельствует о моей любви к родине, потому что мало ли где беспорядки, однако о них я говорю совершенно спокойно. К тому же, я не выношу фанатизма ни в чем, и пусть венгры, неаполитанцы или французы пообещают создать для Византии правильный государственный порядок, я посчитаю, что не нужно им сопротивляться. Но тут, отец, турки; теперь у нас хаос, а тогда будет мерзость и запустение. Если бы даже эти азиаты дали нам спокойствие, то это будет спокойствие рабов, а не граждан. Ну, а я все ж-таки спрашиваю у тебя, отец Георгий, отчего ты здесь, когда все бегут отсюда? Я — другое дело; я для всех, исключая нескольких человек, генуэзец, и потому, когда нужно, найду себе приют в Галате.

— А разве ты, кирие, одобряешь бегство жителей столицы в годину испытания?

— Никогда, отец! Я не осудил бы тех граждан, которые не являются по призыву тирана опустошать чужие земли и подвергать опасности свою жизнь, когда она нужна для их семейств; но бежать, когда враг угрожает их семейному очагу, их друзьям — это постыдно!

— Если ты хочешь знать, зачем я пришел сюда, то сказать это не совсем легко, потому что я и сам не знаю; все равно как дети хотят присутствовать на похоронах матери, хотя, конечно, этим им не вырвать ее из оков смерти, так и я, пришел потому, что меня тянуло.

— Отец Георгий, я тоже самое! После смерти отца я все делаю как в бреду, и в таком же бреду пришел в Константинополь.

— В это время они подошли к массивным стенам монастыря Пентепопту.

— Я здесь, кирие, у монахов остановился,— сказал отец Георгий.— Если захочешь когда-нибудь меня увидеть, то здесь, или у Пантократора всегда можешь найти меня.

Между тем им навстречу шел народ из Влахерн; среди шедших слышались оживленные речи.

— Турки напали у Адрианопольских ворот! — кричали они встречавшимся.

— Говорят, что у святого Романа также! — добавляли другие.

Отец Георгий, собравшийся уже идти домой, предложил Николаю направиться в Петрион, потому что там можно было узнать что-либо более достоверное.

— Я даже не прочь идти к Адрианопольским воротам или к воротам св. Романа,— ответил тот.

Оба они ускорили шаги. Издали раздавались выстрелы. Народ суетился. Одни направлялись к Адрианопольским воротам, другие к воротам св. Романа, третьи во внутренний город. Лица были встревожены.

Чем дальше шли Батичелли и его спутник, тем менее попадались им люди и выстрелы становились реже.

— Мы не туда идем, отец Георгий, поворотим налево, у Адрианопольских ворот тихо.

Они свернули в сторону и зашагали быстрее. С каждым шагом сумятица усиливалась. Делалось темно. Они проходили у церкви Флора и Лавра, когда вдруг раз-

дался страшный грохот и затем наступила мертвая тишина.

— Господи, помилуй,— произнес испуганно священник.

Николай машинально схватился за кинжал. Минуты две протекли в томительном молчании. Затем воздух огласил продолжительный восторженный крик. Они приближались к воротам св. Романа. На пути они остановили двух генуэзских наемников и спросили, что все это значит.

— Турки напали в нескольких местах на стены, и более всего у Адрианопольских ворот,— рассказывал солдат; — началась борьба; но турки очевидно чего-то выжидали и штурм шел нерешительно. Оказалось, что неприятель подвел мины под наши стены и думал произвести взрыв в пылу сражения. Но наш пушкарь Грант разгадал направление мины; подвел с своей стороны контрмину и неприятельская мина пошла прахом, перебив не один десяток турок.

Успокоенные и обрадованные этим рассказом, Николай и священник простились.

Со второго апреля 1453 попытки Магомета II овладеть Константинополем не прекращались. Удары магометан были направлены на ворота св. Романа, защищаемые генуэзцем Джустиниани, и со стороны Золотого Рога, где предводительствовали Исидор и Лука Нотара.

Жители столицы мало-помалу стали привыкать к пушечным выстрелам; весть, что турки напали на стены, уже никого не приводила в трепет. В лагере турок находился венгерец Урбан, который устроил гигантскую пушку. Ее установили против ворот св. Романа. Башня не выдержала ее ударов и обрушилась. Испуганный император поспешно отправил послов к султану с предложением постоянной дани.

— Мне нельзя отступить,— отвечал султан,— или я возьму город, или город возьмет меня живым или мертвым. Если ты желаешь мне уступить город добровольно, я отдам тебе Пелопонесс, а братья твои получат другие области и мы останемся друзьями; если же меня не впустят добровольно, то я войду силой, убью тебя и вельмож твоих, а все прочее предам на разграбление войску.

Император решил вести борьбу до конца, не подвергаясь напрасным унижениям.

Турки, ободренные действием пушки Урбана, бросились на штурм, но Джустиниани их отбил. Грант в то же время подводил контрмины, и попытки турок взорвать стены были безуспешны. Магомет приказал засыпать ров перед стенами и соорудить подвижную башню; но защитники столицы в одну ночь очистили ров, восстановили полуразрушенную башню св. Романа, а Джустиниани сжег подвижную башню.

— Тридцать семь тысяч пророков не могли бы уверить меня,— воскликнул в отчаянии Магомет II,— что неверные могут совершить такую работу в столь короткое время!..

— Отец Георгий никуда не уходил? — спросил Николай монаха, впустившего его в монастырь Пентопопту.

— Он у себя,— отвечал монах.

Николай направился к той келье, которую занимал отец Георгий.

— А, кирие, очень рад! — встретил его отец Георгий.

— Едва ли ты, отец, радовался бы, если знал с какою вестью я пришел.

— Что такое? — тревожно спросил священник.

— Конечно ничего особенного, то есть дело идет к развязке. Турки укрепились в Галате и не сегодня завтра их галеры будут в Золотом Роге.

— Как? А цепь?

— Они ее обойдут.

— Как это обойдут? По земле, что ли, они поплывут?

— По земле. Ты слышал, отец Георгий, предание, что Константинополь будет тогда взят, когда корабли поплывут по суше.

— Позволь же, кирие, я не понимаю...

— А вот что, отец, они выравнивают полуостров между Золотым Рогом и Босфором, кладут доски, намазывают салом и потом потащут по ним галеры...

— Но ведь генуэзцы из Галаты разрушат это сооружение?

— Они в союзе или по крайней мере в мире с турка-

ми, и если только тронутся, то Галата в миг будет сравнена с землей.

Отец Георгий задумался.

— Чудо, только чудо спасет столицу! — произнес он.

Через несколько дней по всему Константинополю распространилась ужасная весть: турецкие галеры в Золотом Роге! И в то же время готовился решительный штурм со стороны ворот св. Романа; однако, Магомет II прислал к императору предложение сдать столицу в виду неизбежной гибели, обещая ему свободу и целость имущества, на что получил от Константина XI Палеолога такой ответ:

— Мы будем благодарить Господа, если ты пожелаешь заключить мир с нами на условиях предшественников наших. Мы готовы даже уступить тебе наши области, тобою присвоенные, наложи на нас дань великую и тяжелую, приказывай нам, но удались по заключении мира. Домогаясь добычи, ты и не предвидишь, что сам впоследствии можешь сделаться добычею других. Я не могу сдать тебе город; так не имеет права поступать никто из граждан. Нам дозволено только одно: продолжать умирать и не щадить своей жизни.

Наступил канун памятного 29 мая 1453 года. Магомет II, приготовляясь к решительному приступу на следующее утро, объезжал войска, убеждая их быть достойными воинами пророка.

— Кто из вас падет в бою,— говорил он,— тот будет вкушать яства и пить вместе с Магометом в раю и возлежать с гуриями, совершив благовонные омовения. Те же, которые останутся живы после победы, будут получать двойное жалованье до конца их жизни. Тот, кто первый войдет на стены, получит лучшую провинцию в управление, и я осыплю его такими милостями, что они превзойдут его ожидания. Покоренный город я отдаю вам на три дня. Кроме крепостных стен и зданий всякая добыча: золото, серебро, одежды, женщины — все ваше!

Всю ночь слышалось веселие у стен упавшей духом столицы. Совершенно другое происходило в Константинополе. Духовенство собиралось к крестному ходу, народ валил к храму св. Софии. Но это не был один из

блестящих крестных ходов, которые некогда совершали императоры по возвращении из похода. Уныние царило в столице; несмотря на это, древнее священное торжество поддерживало бодрость духа. Духовенство подняло мощи святых и иконы, пользовавшиеся наибольшим уважением. По мере того как из-под могучего купола св. Софии выходило духовенство, с патриархом во главе, и показывались на паперти константинопольские святыни, народ восторженно простирал к ним руки. Сначала выносили мощи святых, из которых не многие тогда оставались в столице, а иные были увезены венецианцами и крестоносцами четвертого крестового похода в 1204 году. Между выступавшими с мощами можно было видеть отца Георгия, который нес мощи св. Спиридона Тримифунтского, а рядом с ним какой-то сгорбленный монах, седой, изможденный, нес мощи Феодоры Августы.

Когда процессия подошла к Босфору, раскрылась чудная картина всего Константинополя. Здесь, у храма Влахернетиссы, особенно чтимой жителями столицы, дана была полная воля выражению чувств: слова мольбы, рыдания и стоны раздавались в многолюдной толпе в то время, как духовенство произносило и пело установленные молитвы и гимны. К этой святыне прибегали все императоры пред опасными походами и возвращаясь после счастливых побед; здесь стоял и дворец императоров, представляя собою летнюю резиденцию, потому что на этом возвышенном месте было прохладнее, и Фракия с вершин своих гор посылала сюда свое свежее дыхание. Когда, после небольшого отдыха, процессия двинулась, то только немногие, и то приставшие впоследствии, могли сопутствовать неутомимым монахам вдоль Золотого Рога через низменную и болотистую Галату, аристократический Петрион, к монастырям Пентопопту и Пантократора и далее к св. Ирине и св. Софии.

Весь этот день до вечера жители посещали церкви и молились. Император собрал около себя защитников Константинополя и обратился к ним с такими словами:

— Подумайте, братья, о том, как надлежит приобрести свободу, вечную память и славу. Вам известно, что султан, враг православной веры, без всякой причины нарушил мир и опустошил наши поля, сжег сады и дома,

умертвил наших братьев. Пусть на их стороне сила; за нас Господь Бог, Спаситель наш!

Потом император обратился к итальянским наемникам:

— Вы знаете, что Константинополь всегда был вашим вторым отечеством; умоляю вас оставаться в эту годину испытаний друзьями, верными союзниками и братьями. Передаю мой скипетр в ваши руки,— закончил Константин Палеолог, обращаясь ко всем,— берегите его! На небе ждет вас лучезарный венец, а в этом мире пребудет о вас вечная и славная память. Если мои грехи навлекли на государство небесный гнев, я готов искупить их жизнью.

В час ночи началась канонада у ворот св. Романа и с кораблей. Оглушительный гул и гром орудий, неумолкаемый рев тимпанов и труб смешивался с неистовыми воплями нападающих. «Ля иллях, иллялах»! — вопили турки, рванувшись ко рвам. Вперед были пущены плохо обученные войска; под ударами отражавших и под натиском своих они падали во рвы и молили о пощаде, но их забрасывали камнями и засыпали землей, а через их трупы янычары должны были перейти ров.

У ворот св. Романа стоял Джустиниани, с тремя своими братьями. Его поразительное спокойствие в такую минуту давало возможность делать своевременные и смелые распоряжения. Рядом с ним дралась небольшая дружина немцев с Грантом во главе. Тут же были Феофил и Мануил Палеологи и Франциск Толедский. Магомет II не оставлял ни на минуту приступа, но все удары турок были отбиваемы соединенными силами мужества и искусства.

Уже светало, когда вдруг произошло замешательство. С быстротою молнии пронеслось известие, что пуля пробила стальную перчатку Джустиниани и нанесла ему рану, и что Джустиниани покидает стены. Все видели, как император останавливал уходившего со стен генуэзца; другие слышали, как Константин уговаривал полководца.

— Ваша рана незначительна,— умолял император,— мы находимся в крайней опасности; ваше присутствие необходимо, и куда же намерены вы удалиться?

— Я удаляюсь,— сказал в непонятном волнении Джустиниани,— той дорогой, которую Бог проложил для турок.

С этими словами полководец, на которого была вся надежда, покинул стены.

Бой был неравен. Девять тысяч человек выдерживали борьбу против трехсот тысяч. С уходом Джустиниани, дело было окончательно потеряно. За Джустиниани стали покидать стены итальянцы, и вдруг на внешней стене появился янычар гигантского роста по имени Гассан. Появление его однако вызвало новый взрыв мужества, и он был сброшен со стены. Защитники приходили в замешательство; среди них и в самых опасных местах был виден император Константин XI, но поправить дело уже было невозможно.

— Неужели не найдется христианина, который отрубил бы мне голову! — в исступлении кричал несчастный император.

Вдруг христиане увидели в тылу у себя в городе турок, которые, прорвавшись чрез незащищенную и брошенную среди всеобщей суматохи Керкопорту, двинулись на защитников св. Романа.

Император, искавший смерти, нашел ее.

Грабеж начался с Влахерн, а потом распространился по всему городу. Был полдень, когда начался грабеж, но и ночь его не прекратила.

Наступила тяжелая ночь, первая после падения восточной римской империи. Всюду были следы грабежа и насилия. Мрак и мертвая тишина царили в монастыре Пантократора, который не избег общей участи. У одного едва заметного глухого перехода слышались осторожные шаги и подавленные голоса. Ощупью во тьме пробирались два человека и входили в главную церковь, из той части, которая предназначалась для монахов.

— Не слышно ничего, кирие Николай; воспользуемся этой минутой и уйдем.

— Непременно, отец. С рассветом придут волки опять рыскать и тогда погибнем неминуемо.

Впереди выступал Николай, за ним осторожно отец Георгий, неся с собою бережно мощи св. Спиридона. Николай вдруг остановился.

— Что такое, кирие?

— Я наступил на что-то мягкое, должно быть труп.

— Господи, помилуй,— прошептал отец Георгий.— Мерзость и запустение на месте святом.

Николай перешагнул, но тотчас же отдернул ногу назад, он наступил на голову мертвеца.

— Здесь, должно быть, несколько мертвых тел!

Он стал обходить стороной; отец Георгий осторожно следовал за ним.

Как ни был тих их шаг, однако он отдавался эхом под опустелыми сводами храма.

— Направляйся правее, к выходу, кирие.

Они подходили к выходу, который был несколько светлее окружавшего их мрака.

— Одну минуту, кирие,— обратился священник к Николаю.

Тот остановился.

Отец Георгий опустился на колени.

— О, Пантократор,— шептал он, простирая руки к алтарю,— как я любил этот великий храм твой! Неужели я никогда более не увижу его свободным, снова при пении тебе хвалебных гимнов. Если не нам, то потомкам нашим, о, Пантократор, не откажи в этом. Пусть они будут достойнее нас. Мы много, много оскорбляли тебя, мы много оскверняли храмы твои и теперь безропотно покоряемся твоей справедливой деснице. Но да будет благословенно имя того, кто исторгнет храмы твои, о Пантократор, из власти врагов христианства. Прости, прости! Неувядаемая великая святыня! — говорил священник, поднимаясь и утирая горячие слезы, орошавшие его морщинистые щеки.

Мрачно слушал Николай эту молитву, страшная буря клокотала у него в груди.

«Теперь я понимаю тебя, несчастный отец Арсений»,— думал он.

— Пойдем, кирие,— сказал отец Георгий и осторожно повернул к выходу.

— Мы теперь направимся в Галату через мост, может быть нам удастся пройти, или поищем лодку и переправимся. В Галате можно считать себя вне опасности.

Они бесшумно вышли и крались около стены к выходу из монастыря.

— Нет, кирие, я еще не могу оставить Константинополя, у меня здесь есть дело, и я на тебя, кирие, рассчитываю, если ты решишься подвергнуть себя опасности.

— Охотно, охотно, отец, располагай мной. Опасность и все, что угодно, только не покой, только не оставаться с самим собою.

— Вот в чем дело: ты заметил того монаха, который во время крестного хода шел рядом со мною и нес мощи святой Феодоры Августы? Не заметил. Он слишком мал и сгорблен, среди толпы нельзя было его видеть, по крайней мере его лица. Так этот монах, его зовут Арсением...

— Арсений? Откуда же он?

— Он из Афона.

— Ты его знаешь хорошо, отец?..

— Нет. Я теперь только с ним познакомился. Он, как видно, человек больной.

— Ну, это должно быть мой старый знакомый. Продолжай, отец, далее.

— Когда начался грабеж, мы с ним решили спасти те святыни, которые во время крестного хода нам поручили нести, а потом нас поставили к ним, когда народ приходил прикладываться. Местом встречи мы назначили Влахерны, чтобы находиться ближе к выходу, и он там должен ждать меня. А оттуда вместе мы решили бежать на север, в Болгарию, Сербию, или куда Господь укажет. Вот отыскать этого отца Арсения и выбраться отсюда ты помоги, кирие, а тебя за это, по молитвам святых Спиридона и Феодоры, Господь благословит.

— Хорошо, отец, я готов. Если ты устал нести твою святую ношу, дай я помогу...

— Ничего, ничего, кирие, идем.

Самыми скрытыми и глухими проулками шли два византийца по своей бывшей столице, опасаясь какой-нибудь встречи. Иногда они слышали голоса турок и тотчас же забивались в какой-нибудь угол, где темнота ночи их скрывала. Когда перед ними во мраке вырисовывался темный силуэт какого-нибудь храма, отец Георгий тяжело вздыхал.

— О, святый Илья, грозный каратель врагов Божиих!

О, Христос Евергет, помилуй нас, бедствующих! О, славный, святый Иоанн Трульский! — шептал старик.— О, святый Николай, моли Бога о нас!

Все это были места, которые знал с детства старый священник, к которым он был привязан как к святыням. Он прощался с этими дорогими его сердцу местами, оставляя их в руках людей, способных их осквернить.

Наконец подошли к Влахернам. Здесь было совсем пусто. Следы разрушения были ужасны, как нигде; в некоторых местах запах дыма и гари свидетельствовал о бывшем пожаре. Николай и священник пробирались среди обломков и наконец достигли храма. В нем была тьма, но где-то мерцал огонек лампады.

Тихо ступали они по мраморному полу, им под ноги постоянно попадались разные обломки, большею частью икон, с которых были сорваны драгоценные украшения.

— Ты ничего не слышишь, кирие? — спросил священник, остановившись.

— Ме кажется, что справа кто-то стонет,— ответил Николай.

Несмотря на еле мерцавшую вдали лампадку, в разоренном храме была непроглядная тьма. Они направились вправо, стон совершенно явственно достиг их слуха.

— Господи, помилуй меня грешного,— послышался во тьме шепот.

— Кто здесь страдает? — тихо спросил Николай.

— Уж недолго мне страдать? — прохрипел чей-то голос.

Николай поспешно, насколько позволяла тьма, направился к лампадке; она теплилась у иконы Пресвятой Девы, и взяв ее, он увеличил свет и возвратился к умиравшему, которого скоро отыскал вместе с священником. Это был маленький, измученный монах. Возле него на полу виднелась лужа крови.

— Отец Арсений! — воскликнул Николай, тотчас узнав его.

— Ох, кирие, я тебя узнаю, добрый, добрый человек, и ты здесь... пришел хоронить свою мать...

— Что с тобою? — спросил у него отец Георгий.

— Умираю, брат, помолитесь за меня... турки срывали драгоценности с престола... я с мощами скрывался за

колоннами, в незаметном углу... не выдержал... бросился и схватил одного из них за горло... да так, что пальцы продавили его богохульную глотку... ну, а другой меня ятаганом... я едва дополз... боли уже не чувствую... холод жестокий...

Отец Арсений закрыл глаза: монах был смертельно бледен, потом он снова поднял слабеющие веки.

— Георгий, приготовь меня к смерти... если святым мощам не угрожает опасность... св. Феодора тут, у Богородицы... я ползал туда, подливал масло в лампадку... может быть Св. Дары найдешь в алтаре.

— Отец Арсений,— начал шепотом священник,— ты много страдал, а страдания искупаются все, по воле или нет страдает человек, Господь все равно страдальца награждает; но хотя я не много времени тебя знаю, однако я слышал от тебя слова вражды и ненависти к Палеологам и византийским вельможам, а как ты с этими чувствами приимешь Пречистое Тело Господа, как к смерти будешь готовиться? Прости их и примирись.

Угасавшие глаза отца Арсения сверкнули.

— О проклятие! Проклятие им... Я их не за себя ненавижу, а за тех несчастных, которых они гнали... За тех, чью свободу и кровь они не сохранили... Подумай, что испытывают в настоящее время несчастные византийцы, ведь они рабы... проклятый турок бьет по щеке образованного грека... а женщины, честные жены и дочери византийские... а монахини... подумай, что они испытывают в эти минуты и что их ждет... а потом они свыкнутся с позором... с рабством... это еще ужаснее! Привыкнуть быть рабом! А дети?.. О, мои милые, невинные, несчастные детки... В один сегодняшний день их тысячи погибли. А матери, у которых отняли от груди младенцев... о проклятие... проклятие! Ты говоришь — простить!.. Им много дано... Господь взыщет с них много... Стеною проклятые стали между пастырем и стадом... Я ведь не за себя... брат, проклинаю, потому что люблю... в этой ненависти любовь моя... до гроба люблю родину, до гроба проклинаю...

— Я понимаю,— говорил ему наставительно священник,— но ведь и Христос на кресте прощал, вот тебе пример всепрощения.

— Ох, добрый отец Георгий, Христос за себя прощал, а я за малых сих... нет, отец... лучше бы им не родиться... говорил Христос... лучше жернов на шею... не можешь приобщить меня... я не ропщу, но совесть моя чиста.... ведь эта ненависть всю жизнь мою терзала... о, если бы я мог не ненавидеть, я был бы счастливее!

Николай чувствовал какое-то раздвоение в себе, непонятная тяжесть давила его; ему хотелось упросить отца Георгия приобщить скорее умирающего, это его облегчило бы и успокоило. Но Николай чувствовал, что подобное вмешательство более чем странно. Он мог только проговорить скороговоркой, так, чтобы отец Арсений не слышал:

— Он потерял рассудок, Господь не вменит ему.

Отец Георгий взял лампадку и пошел к алтарю.

Наступил полный мрак. Больной стонал.

— А что кириа Агриппина? — произнес он.— Добрая женщина... там, в этой русской стране, женщины с добрым сердцем... спасение этой стране от них. Кириа Агриппина, моя нежная голубка, я вот вижу ее перед собой... участливая такая... чутьем угадала, что у меня на сердце тяжко. О, эти участливые сердца, много страдать легче, нежели быть участливым и бессильным зрителем... Кирие, если ты в самом деле так богат, как о тебе говорят, выкупай рабов... Освободить личность человека, выше этого подвига нет, ведь и Христос за этим приходил...

Отец Арсений постоянно останавливался, хотя возбуждение как будто поддерживало его силы.

— Хорошо, отец Арсений, если еще о чем попросишь, я постараюсь исполнить.

— Благодарю тебя, кирие, ничего больше, ты добрый человек и сам знаешь, что надо делать; молись обо мне... А если будешь в Фессалониках, побывай на могиле рабы Божией Афанасии, за городом, у разрушенной церкви. На могиле лежит камень с ее именем.

Между тем возвратился отец Георгий, он был в сильном волнении.

— Ты, брат Арсений, говорил, что совесть твоя чиста; я хотел найти Святые Дары, но они...— вздохнул священник,— выброшены, разлиты и разбросаны по полу.

— О, Господи! — застонал отец Арсений.— Внесите, внесите меня в алтарь, я сам не могу.

Священник и Николай взяли его бережно и понесли. Когда его положили на пол, он сделал усилие, перевернулся и стал лизать пол, где были разбросаны Св. Дары. Но в это время у отца Арсения из раны вновь хлынула кровь и голова безжизненно поникла.

— Он умер,— едва слышно произнес Николай, наклонившись к телу и оставаясь на коленях.

Наступила мертвая тишина.

— Кирие Николай,— прошептал священник, тронув за плечо Николая,— пора нам оставить город, скоро рассвет.

Тот вскочил.

— Правда. Но я хотел бы похоронить его.

Отец Георгий не совсем охотно согласился, и они торопливо зарыли тело. Потом, подняв мощи св. Спиридона и Феодоры Августы, чрез Керкопорту направились из города. Пройдя некоторое время молча, священник обернулся к городу. Над Константинополем поднималось лучезарно вечное солнце. Путники крепко обнялись. Отец Георгий положил земной поклон городу и зашагал к греческой деревеньке, синевшей вдали, а Николай направился к Золотому Рогу.

## XXV

Летний день уже спадал, когда галера, шедшая из Анконы, ссадив пассажиров на рыбачьи лодки у острова Санте, весело скользила по гладкой поверхности моря, продолжая свой путь к югу. Лодка скоро перерезала короткое пространство воды от галеры к берегу и перевезла молодого человека, это был Максим Дука. Он высадился на берег залива Хиери и направился к знакомой хижине Герасима; но она была пуста и очевидно там никто не жил. Максим направился к морскому берегу и прошедши некоторое расстояние, встретил рыбаков, ко-

торые убирали лодку. Они с любопытством посмотрели на молодого человека.

— Земляки,— обратился к ним Дука по-гречески,— вы знаете, где тот старик, который жил вот в этой хижине? — при этом он указал на забытую хижину Герасима.

— Он, кирие, на том свете!

— Умер?

— Умер, кирие,— подтвердил один из рыбаков.

— Добрый был старик, да спасет его св. Николай, был нам хорошим советником и другом.

Максим задумался. Ему показалось, что он здесь совсем одинок, из близких людей никого нет около него. Он взглянул на море, галера еле виднелась и уходила к югу.

— Здесь, кирие, его могила, какой-то синьор приезжал, положил на могилу камень с крестом. Могила вот там,— рыбак показал пальцем на песчаный откос, потянувшийся в море.

Максим Дука направился туда. Действительно, на могиле лежала каменная глыба с высеченным на ней крестом. Здесь было пустынно. Волна морская полоскала чистый песок; берег усеян ракушками и выброшенной мелкой рыбой, которую клевали морские птицы. Тоска одиночества охватила Максима. Он опустился на могилу и смотрел на это вечно волнующееся море, на котором кое-где белели паруса рыбачьих лодок.

— Неужели это вечно? — прошептал он.— Бесцельное существование, тупая боль угрызения совести! Прости, Инеса! Прости!

Тоска его давила; мысли одна тяжелее другой приходили ему в голову. Кто же это поставил надгробный памятник доброму слуге? Андрей или Николай? Где они теперь?

Между тем наступал вечер, берег уже отбрасывал тени. Максим встал, направился к рыбакам и нанял лодку, чтобы переехать на берег Пелопонесса. Рыбаки несколько удивились такому странному желанию, ехать почти на необитаемую землю, и когда уже стемнело, Дука был на своем родном берегу. Здесь тоска еще более его охватила. Нигде не было ни души, никакого призна-

ка жизни. Мрачно стоял замок, а около него опустевшее убежище старого Дуки. Когда он стал пробираться по знакомым ему переходам замка к подземелью, с разных сторон с карнизов, поднимались совы и с шумом пролетали в отверстия окон. По пути он остановился в темном углу и снял шляпу; губы его что-то шептали. Это была могила его матери. Потом он осторожно, чтобы не оступиться среди мусора, стал опускаться в подвал. В подземелье было сыро. Максим добыл огонь и устремил взор в тот угол, где была могила отца.

Крест ясно обрисовался в темном углу, а на нем висел уже увядший и сжавшийся венок.

— Здесь как-то отраднее. Как будто среди семьи,— произнес Дука и взор его с нежностью остановился на дорогой могиле.

Потом Максим куском оставленной доски стал счищать в одно место землю и показалась крышка, первого сундука; он его отпер и раскрыл. Сундук был далеко не полон, и там он нашел два написанные пергамента. С радостью ухватил он один из них и начал читать:

«Похоронив нашу столицу, я приехал на родное пепелище взять денег для выкупа пленных — это было желание дорогой нашей Агриппины и отца Арсения, да и я сам давно пришел к той мысли, что большего благодеяния сделать нельзя; я буду продолжать свои торговые операции, а главная цель заработка будет выкуп пленных. Я был в Каффе и там выкупил 500 русских из Московской земли, 200 русских из Литовской земли, 60 греков, 10 итальянцев и 20 из жителей Колхиды; потом был в Каире, там выкупил 400 русских из Московской земли, 100 из Литовской, 50 греков, 40 сербов и 2 итальянцев; потом был в Смирне и там выкупил 60 русских и 16 греков; потом в Фессалониках, там выкупил 130 русских из Московской земли и 60 из Литовской, 6 греков и 25 болгар. Что это за несчастная страна Россия! Откуда берется там население, когда их столько уводят оттуда. При этом я предоставил им возможность воротиться на родину. Братья мои, если вы недовольны мною за такую громадную трату денег, то я обещаю все это пополнить, но теперь я еще не брался за свое дело; думаю, оставить Каффу и отправиться в Геную или Флоренцию. Когда

ехал из Смирны в Фессалоники, был в Константинополе, где отыскал тело отца Арсения и перевез в Фессалоники».

Николай.

В другом письме было следующее:

«На острове Санте я был огорчен смертью Герасима, которому и поставил надгробный камень, съездив за ним в Бриндизи. Я не только против твоих трат, Николай, а напротив, вполне им сочувствую. Русскую землю, разрушают хищники, пользуясь тем, что князья между собой не ладят; впрочем, в настоящее время правит один князь Василий, но следы жестокой братоубийственной войны свежи даже на самом князе, он был ослеплен во время борьбы с своими двоюродными братьями; но молодой князь Иоанн, который уже помогает отцу в управлении, обещает дать стране порядок. Николай, в особенности выкупай православных, у католиков есть правительства с авторитетом даже у турок, но за православных некому вступиться. Я не нуждаюсь в настоящее время в деньгах и могу не брать их из нашего общего достояния, в России с теми суммами, что у меня есть, можно делать самые крупные дела; вообще же торговля в младенчестве, хотя князья ей весьма сочувствуют, и при этом относятся к иностранцам предубежденно, но не к грекам, считая их за восприемников от купели, хотя греки здесь не всегда выставляли себя в хорошем свете; о митрополите Исидоре забыть не могут. Когда я прибыл сюда, то был поражен явным присутствием у нашего замка в самое недавнее время людей, и при этом с лошадьми; я был крайне испуган, опасаясь застать где-нибудь турок, так как думаю, что это были они. Елевферия нигде не нашел, и если тут были турки, то несомненно, они его увели. На кресте отца повесил венок, который сплела Агриппина, говоря: «пусть и русская земля своими дарами почтит нашего дорогого отца»; конечно, я привез венок уже увядшим. Тебе, Николай, еще раз скажу, выкупай пленных, не щади денег, ведь ты их наживал больше нас всех; к тому же, одно воспоминание, что ты спас Агриппину, заставляет меня особенно сочувствовать этого рода благотворительности. Часто из России в ваши края приезжать я не могу — очень трудно и опас-

но, не знаю приеду ли когда. Если возможно, извещайте меня о себе, дорогие братья. О Максиме ничего не знаю. Андрей».

Максим Дука закончил читать. Ему стало грустно. Гробовая тишина наводила уныние. Слабо мерцающий свет светильника освещал часть подземелья, остальная часть покоилась в глубоком мраке, из которого виднелся кресть на могиле Константина Дуки. Максима охватил вдруг какой-то ужас: ему послышались шаги и шорох в подземельи. Кто может быть здесь в этой могиле? Он не был суеверен и не был труслив, но был расстроен и чувствовал, что позади его кто-то стоит. Прошло несколько секунд, он сделал над собою усилие и повернулся.

— Николай!

## XXVI

Максим Дука прибыл из Корфу в Бриндизи. На берегу толпилось много народа; расположенные на набережной гостиницы хорошо работали, но ко всему этому движению Максим оставался совершенно равнодушным, хотя свидание с Николаем его несколько ободрило. Он с Николаем прожил несколько дней в Корфу, у отца Георгия. Николай отправился в Фессалоники, а он решился ехать во Флоренцию, там было много ученых греков, и именно там он сможет забыться; там у него есть дом, где помещается отцовская библиотека. Все это он перебирал в голове своей, но лишь только ему представлялся грустный образ Инесы, как все это воображаемое примирение с горестями жизни рассыпалось в прах. В эти минуты он думал о Николае. Он опять поехал и опять на восток.

— Синьор Массимо, синьор Массимо! — вдруг раздался откуда-то крик.

Максим Дука остановился: кто бы мог звать его здесь? Он осмотрелся кругом, никого знакомого не было видно. Он только заметил, что во многих местах народ собрался группами.

— Синьор Массимо, синьор Массимо! — опять повторился крик, и при этом голос был знакомый, он слышался как будто сверху.

Дука посмотрел наверх. Максим увидел синьора Орсини, который, перегнувшись через балюстраду балкона, звал его.

— А, достоуважаемый герцог! Как это приятно!

Действительно радостное чувство охватило его, он что-нибудь узнает об Инесе.

— Пожалуйте, у меня к вашим услугам роскошные гранаты и персики, выпьем по стакану марсалы и вспомним старину.

— Охотно, охотно, герцог! Иду!

Максим распорядился относительно своих вещей, приказав носильщику отнести их в гостиницу, и поднялся на балкон.

— Вы из Неаполя, герцог? — спросил он, усаживаясь за стол около герцога.

— Да, в Венецию, а оттуда может быть в Милан, нам давно нужно всем помириться. В Италии вечная война, повсюду распря, а тут это ужасное событие, взятие Константинополя. Повсюду в Италии взятие Константинополя произвело удручающее впечатление, но в Неаполе несколько дней продолжалось такое уныние, как будто у каждого над головой висела или страшная беда, или смертный грех.

— И то и другое, может быть, герцог? — с улыбкой спросил Дука.

— О! синьор Массимо, вы несправедливы! Что один Неаполь может сделать!

— Но ведь каждый то же может сказать.

— Этого не может сказать ни папа, ни император, ни французский король...

— Я ведь, герцог, это между прочим заметил. А что у вас в Неаполе нового, что почтенный Гихар?

— Или его милая дочка? — усмехнувшись сказал Орсини.

— Ну, хоть и так, герцог...

— Такая же восхитительная испанка, как и была. Мне кажется, стала несколько задумчивее, это ей идет. Все молится; испанцы вообще богомольны, но она особенно, и просила отца отпустить ее в монастырь; старик упрашивает пощадить его и не покидать.

— Ну, а рыцарь де Лоран? Он, кажется, некоторое впечатление на донну Инесу произвел.

— Как вам не стыдно, синьор,— прервал его, с некоторой досадой, герцог; — если вы хотите спросить о ней что-нибудь поподробнее, спрашивайте. Мне кажется, что вы просто выведываете и для этого задали этот вопрос. Я удивляюсь вам, синьор; донна Инеса очевидно вас любит, из всего вижу, что и вы ее любите, можно ли так слепо бежать от своего счастья?

— О, дорогой герцог, какой тяжелый упрек! Вы знаете причину, отчего я бегу от своего счастья, что я скажу детям, снаряжая их на жизненное поприще?

— Оставьте эти бредни! — резко перебил его герцог, но заметив, что кроткое лицо Максима вдруг стало строгим, тотчас спохватился и схватил Максима за руку.— Простите меня, молодой синьор, право это оттого, что я эту девушку глубоко уважаю, она подруга моей дочери, простите, синьор Массимо!..

— Я уважаю ваше чувство, герцог, но должен дополнить вашу мысль и упрекнуть в бреднях; уж такие мы, греки, философы! Стоило нам поступиться несколькими отвлеченными догматами религии, практического значения не имеющими, и столица, и самобытность, быть может, были бы спасены папою и католическими государями. Так нет, не поступились и погибли! Что же с нами поделаете! — с горькой улыбкой сказал Максим.

Наступило молчание.

— Скажите, герцог, вы много пожили на свете, как вам кажется, можно ли жить бесцельно? — спросил после некоторого молчания Дука, подняв на герцога взор.

Герцог подумал и с улыбкой отвечал:

— Я дипломат и должен уклониться от ответа, тем более, что к отвлеченному разговору не привык; но думаю, что человек, у которого нет цели в жизни, должен покинуть мир и идти в монастырь, больше ничего не остается, если, конечно, такой человек найдется.

— Пожалуй, что вы правы,— отвечал Максим и задумался.— Но вот,— прибавил он,— может случиться, что обстоятельства изменятся, найдется цель жизни, а возврата нет — монах навсегда...

— А если вы считаете еще возможным найти цель

в жизни, так и живите, не бегите от жизни, не бегите от...

— Я не о себе, герцог, я вообще...

Между тем внизу раздавались голоса, слышно было, что толпа оживлена чем-то интересным.

— Что за движение, герцог? Среди собравшихся какое-то волнение...

— А это прокламации папы Николая V.

— Какие?

— Сегодня утром был здесь герольд из Рима, который объезжает все города Италии и сопредельных стран, с приглашением участвовать в крестовом походе для освобождения Константинополя. Герольд, где бывает, раздает эти воззвания в большом количестве; вы видите в руках многих листы бумаги, которые читают, это и есть папские прокламации.

— Я уже слышал об этом походе на галере, но странный способ проповеди. Положим, это лучше, чем устная проповедь, которую могут слышать немногие. Но во что обойдется все это, если небольшой город Бриндизи получил столько воззваний.

— Не особенно дорого, эти воззвания напечатаны.

— Что значит напечатаны? — спросил Максим Дука.

— А вот посмотрите.

Герцог вынул из кармана прокламацию и передал Дуке.

Тот удивленно разглядывал листок. За смыслом напечатанного он не следил.

— И те, другие, также?

— Так точно. Вон посмотрите.

Герцог вынул еще две.

— Но как же это? — спросил удивленный Дука.

— Один германец изобрел это печатание; подобранный текст оттискивается сколько угодно раз...

Герцог спокойно пил маленькими глоточками вино, с улыбкою посматривая на Максима Дуку, сличавшего два экземпляра воззвания. Глаза его горели лихорадочным огнем. Герцога все это удивляло.

— Да что с вами, синьор Массимо? Вы думаете, что этот крестовый поход состоится? Никогда? Теперь, если явится одушевление, то на день, на два, да и то среди одной или двух тысяч бедняков...

— Нет, нет... не то... герцог, да перестаньте же пить так убийственно спокойно вино! Разве можно быть спокойным, когда рядом с вами лежат эти напечатанные листки! — говорил нервно Дука.— Тут не поход! Тут происходит нечто важнее похода на турок... тут... Да тут, герцог,— крикнул Максим,— орудие для похода против варварства, какое бы оно ни было!

Герцог удивленно смотрел на молодого человека.

Максим сжал в руке прокламации папы.

— Герцог, теперь ведь жить стоит! Это ведь орудие, которым сражаться можно! Ведь с этим орудием наши дети, внуки и правнуки вернут золотой век!

Бледное лицо Максима покрылось румянцем, глаза горели восторгом. Герцог любовался вдохновленным и прекрасным его лицом.

— Герцог,— продолжал Максим,— с этими клочками напечатанной бумаги мы переживаем великую эпоху! Что значит смерть одряхлевшей Византии в сравнении с рождением этой новой силы.

Максим остановился. Выражение его лица вдруг изменилось, оно стало тем же кротким и спокойным, как и всегда, только безграничное счастье светилось в его ласковых глазах.

— А теперь, дорогой герцог, туда, в Неаполь, к ногам Инесы! Не может же быть, чтобы она была в монастыре?!

Умное лицо Орсини, между тем, приняло сосредоточенное, серьезное выражение.

— А ведь, синьор Массимо, вы не дипломат, а видите далеко.

— Герцог, кто смотрит под ноги, чтобы не упасть, тот и не упадет, но и не увидит, что происходит вдали. Итак, прощайте, герцог, я еду в Неаполь.

— От всего сердца, синьор Массимо, желаю вам счастливой дороги и овладеть сердцем, которое бьется только для вас.

Максим уже направился к выходу, но вдруг остановился.

— Я неблагодарный человек, герцог; мое вино не допито. Да здравствует тот неизвестный немец, который открыл печатание!

Дука поспешно направился к тому месту гавани, где обыкновенно останавливались суда, шедшие из Кандии, Фессалоник, вообще с востока, так как среди этих легче всего было отыскать такое, которое идет на запад.

Он бросился к Маритимо.

— Синьор, не можете ли вы сказать, нет ли в гавани судна, идущего в Неаполь в самом скором времени?

При этом Максим положил золотую монету на стол.

Маритимо стал поспешно перебирать бумаги, лежавшие на столе и висевшие на стенах.

— На завтрашнее утро, синьор, готовится большой генуэзский корабль, идущий из Смирны в Геную, с заходом в Неаполь и другие гавани; а в полдень, флорентийская галера с шерстью идет в Пизу и зайдет на пути в Неаполь.

— Это не скоро,— нетерпеливо перебил Максим;— может быть будут на пути через Бриндизи, с малой в нем остановкой?

— Может быть, синьор, но на это положиться нельзя, водная стихия не всегда покорна. Здесь ожидается венецианское судно с шелком для перегрузки в Неаполь и корабль из Фессалоник, но их до сих пор нет.

— Это ужасно, в такую минуту ждать, да еще генуэзца, они ходят как черепахи!..

— Зато основательно,— заметил Маритимо, очевидно, генуэзец.

— Как досадно, синьор,— вмешался слуга, слышавший их разговор,— час назад ушел корабль в Рим; на нем ехало семейство деспота морейского Фомы Палеолога. Бедные детки, маленькая синьорина Зоя бегала здесь; говорят, наш святейший отец принимает в них участие... их встречал кардинал Виссарион... бедные дети!..

Но Максим его не слушал далее; он что-то обдумывал.

— А что, почтенный,— обратился он к служителю,— можно нагнать этот корабль?

— На крыльях, разве, почтенный синьор?

— Нет, на веслах и парусах...

— Не знаю, синьор, разве рыбаки, те как чайки.

— Вот тебе, приятель,— Максим сунул монету,— ско-

рее иди, собери охотников. Десять флорентинов, если нагонят.

Тот мигом бросился.

«Вероятно у молодого синьора крупное коммерческое дело»,— подумал про себя Маритимо, опуская в кошелек монету.

Служитель бегал по берегу, выкрикивая предложение. Рыбаки в нерешительности пожимали плечами, наконец, нашлось человек пять молодых; заработок был очень соблазнителен.

— Ну, давай нам твоего синьора, сию минуту будем готовы!

— Ну, Андрео, командуй,— обратились они к одному молодому рыбаку, особенно живому и решительному.

Собралась толпа любопытных.

— Ох вы, бедовые,— иронически говорил старый рыбак,— воротитесь вы назад, да не с десятью флоринами, а с большим срамом, да потерянным временем.

— А ты, дядя, тоже не прочь бы, да кости стары стали!

— Оно правда,— ворчал тот,— вам-то легче; если ветер будет мал, вы свой из головы повыпустите, потому что он там попусту гуляет.

Наконец появился Максим, за которым несли вещи. Толпа расступилась перед ним, с любопытством на него поглядывая.

Максим вошел в легкую лодку, она покачнулась.

— Трогай, друзья мои! — сказал он, перекрестясь.— Адио, синьоры! — крикнул Максим толпе, сняв шляпу.

Веселая улыбка играла на его добром лице.

— Удачи, красивый синьор! — крикнули с берега.

Рыбаки налегли на весла, сначала довольно тихо, но мерно, под команду Андрео. Парус вздулся, лодка дрогнула, так что стоявший Максим ухватился за мачту, и полетела в голубую даль беспредельного моря. С берега не расходились и смотрели вслед молодым рыбакам. На горизонте белел парус догоняемого корабля. В открытом море ветер стал сильней, весла мерно и быстро работали, с берега это представлялось взмахами крыльев. Максим Дука стоял; ему казалось, что так скорее пойдет лодка; его роскошные черные волосы развевались от ветра.

Солнце палило, но он его не замечал; рыбаки были мокры, пот градом катился по лицу, но стереть его не было времени. Молодой Андрео сидел на руле. Корабль, между тем, стал виден яснее и яснее. Это был высокий, красивый корабль; он плавно и гордо рассекал волны. Наконец можно уже различать людей. Сердце Максима сильно билось. Видно даже, как оттуда смотрят с удивлением, гребцы выбиваются из сил и готовы бросить весла; уже слышно, как флаг св. Петра хлопает по мачте, то обвисая, то снова развертываясь и гуляя по ветру.

— На корабле спускают парус! — невольно вскрикнул Максим.

— Да, да! — с удивлением подтверждал Андрео.

— Что это значит?

Действительно, парус спускался, корабль замедлял ход.

До корабля уже было рукой подать.

— Ну, синьор, через пять минут вы будете взбираться на корабль.

— Молодцы! — ответил на это довольный Максим.— Вот вам.

Максим заплатил больше, чем обещал.

— О, щедрый синьор! Да поможет вам Пресвятая Дева в вашем предприятии.

При этом рыбаки поспешно сняли шляпы, а потом восторженно ударили веслами и лодка вмиг была у борта.

Корабль шел медленно; оттуда сбросили лестницу, по которой Максим собирался взобраться.

Рыбаки сложили весла и весело махали ему шляпами.

Максим благодарил, что его подождали, извинялся, что задержал почтенное общество и обещал поблагодарить за это капитана.

— Помилуйте, синьор,— с довольно заметным неудовольствием сказал какой-то хорошо одетый господин, мы предполагали, что вы догоняете нас, чтобы сообщить о какой-нибудь опасности, так как, наш капитан впервые в этих водах, или, может быть, пираты...

— Еще раз прошу извинить меня, у меня такое спешное дело... наконец, синьор, я ведь не звал, никаких зна-

ков не подавал, чтобы корабль остановился,— в свою очередь с неудовольствием отвечал Дука.

— Этот корабль не пассажирский, мы не можем вас взять.

Максиму оставалось просить. Но тот, с которым он говорил, был категоричен. Как ни тяжело было Дуке, но он стал снова спускаться в лодку.

Между тем капитан, прельщенный благодарностью, стал просить за синьора.

— Максим, Максим! — раздался вдруг чей-то голос с корабля.

Максим быстро повернулся, это был кардинал Виссарион.

— Максим, куда это ты? Мы тебе очень рады!

Обрадованный Максим бросился на лестницу и через минуту с благодарностью пожимал руку кардинала. Кардинал поспешил сгладить неловкость и представил Максима Дуку камергеру папы.

После обычных расспросов, кардинал Виссарион посадил Дуку в стороне и тихо сказал ему:

— Я везу наследников византийской короны, тут у меня широкие планы. У меня завязались сношения с Россией — там много князей и княжен. Так вот я рассчитываю кого-нибудь из Палеологов или женить на какой-нибудь из них, или выдать замуж за русского князя и, может быть, нам удастся возложить тяжкий, но великий венец византийских императоров на голову православного князя. Конечно, будет много работы, но будет зато цель жизни и деятельности.

На пятый день, утром, Максим Дука оставил папский корабль. Через час он был у Гихара.

В этот день, вечером, старый Гихар послал сказать во дворец, что он не может прийти и отправился, когда уже стемнело, на террасу, выходящую в сад, поговорить с Инесой, и в особенности с Максимом, с которым за целый день не успел наговориться. Был хороший, теплый вечер. Когда старый Гихар вышел на террасу, было тихо, только нежный шепот слышался из угла, скрытого тенью деревьев. Он немножко постоял, ожидая, что его окликнут, но не дождавшись, махнул рукой и ушел.

— Бедный отец,— с нежной улыбкой прошептала Инеса,— он оказался лишним.

Старый Гихар отправился к королю.

— А я думал, что мой дорогой Гихар от семейной радости заболел! — встретил король своего друга.

— Нет,— отвечал тот несколько недовольно,— я дома лишний.

Король весело расхохотался.

— Ну, чего сердишься, старина! Так и быть должно. А отчего же жениха с невестою не привел во дворец.

— Очень им нужен дворец вашего величества, когда они в раю.

— Это ты остроумно сказал. Я от души радуюсь за дорогую Инесу.

— Я тоже от души люблю Максима,— искренно сказал старый Гихар; — жаль только, что он не испанец и не католик.

— Что за фанатизм, старина! Религиозного фанатизма не одобряю, а тем более национального; в первом случае я еще могу оправдать фанатика, что он соболезнует о своем ближнем, что он не верует тому, что истинно; но если кто не родился испанцем, то при всем его желании сделаться испанцем, при всей его симпатии к Испании, он изменить своей крови не может.

— Да, да,— оправдывался Гихар.— Все совместить на земле нельзя.

## XXVII

В Фессалониках, направляясь к гавани, шли два синьора.

— Так вы, синьор Трущи, говорите, что из Каффы привезли около тысячи пленных русских?

— А что вы, синьор Батичелли, хотите покупать?

— Да, думаю.

— Неужели, чтобы отпустить на свободу? Мы знаем, что вы богаты, но ведь тут нужно быть крезом, чтобы так бросать деньгами. Мы просто теряемся.

— Неужели, синьор, вы находите, что это бросать деньги?

— Конечно, это доброе дело; но разве всех выкупите?

— Выкупить одного есть доброе дело, двух — два, итак далее.

— Да, но надо иметь слишком много денег, чтобы совершать такие добрые дела. А вот я еще хотел спросить у вас, правда ли, что вы оставляете Каффу?

— Оставляю, синьор Трущи,— отвечал Батичелли.

— Большому кораблю большое плаванье, хотите в самой Генуе господствовать,— немножко язвительно заметил Трущи.

— Нет, синьор, я в Каффе оставляю контору, а сам подальше от турок, дальше от Азии. К тому же, хочу расширить дело и выбираю более центральный город, может быть Геную, может быть Флоренцию. Мне флорентийцы приятны своею гуманностью и тем, что изгнали из своей торговли торг невольниками.

— Впрочем, это хорошо, синьор Батичелли, мы вас выберем в директоры банка св. Георгия, нам в банке нужно иметь человека деятельного, который сам знает торговое дело, который испытал все его тернии и опасности.

— Охотно понесу труд для общества, среди которого я составил себе состояние.

— Это приятно, а я думал, что вы откажетесь, как отказались от консульства.

— С консульством сопряжено много почестей, я это предоставлял другим, более честолюбивым, чтобы не наживать врагов; здесь дело другое...

Между тем пришли на невольничий рынок. Синьора Батичелли встретили низкими поклонами несколько работорговцев евреев, переселившихся из Испании маминов, греков и венецианцев.

Среди покупателей пронесся ропот неудовольствия.

— Это богатый синьор, опять, вероятно, гуртом заберет.

— Этот генуэзец тысячами отпускает на волю рабов,— заметил кто-то из посторонних.

— Откуда? — спросил Батичелли у работорговца.

— Из Московии; хотя и плутоватые, но зато способные рабы.

— Сколько?

— Двести.

— Откуда? — спросил он у другого.

— Из Литвы сто человек, смирные, послушные и простоватые как овцы, и с Кавказа двадцать.

— Я заберу всех по существующим ценам, со скидкою десять процентов.

Довольные, что сбывают весь товар разом, работорговцы охотно согласились.

Батичелли приказал позвать своего приказчика. Явился Елевферий; он еще постарел и гораздо больше, чем можно было бы постареть за прошедший промежуток времени. Произошло это из-за тяжелого плена у турок. Если бы рабство его продлилось еще месяц, он не выдержал бы, при его старости, но в Наполи-ди-Романья, работая на берегу, он увидел сходившего с галеры Николая, вскрикнул от радости, чем обратил на себя внимание синьора Батичелли и был выкуплен за бесценок, как негодный раб. Николай предложил ему остаться у него приказчиком, на что преданный Елевферий с радостью согласился.

— Послушай, Елевферий,— обратился к нему Батичелли,— зафрахтуй судно для перевозки пленных в Хаджибей, этот путь более безопасен, а там выдай им немного денег, чтобы было на что добраться до родины, а горцев оставь до первой оказии, с которой препроводи их в Тамань.

— В какую Тамань, кирие?

— Ну, по нашему в Метрагу; я дам письмо к генуэзскому представителю в Метраге, он окажет им там покровительство.

Когда пленным передали приговор их нового хозяина, они бросились к великодушному синьору, простирали к нему руки и слезы благодарности текли по их измученным лицам.

— Благодетель наш! Господь наградит тебя! Ты деткам возвращаешь нас! — раздавались возгласы несчастным русских пленных.

Батичелли не знал русского языка, знал он только

слово «дитя», которое часто слышал от Агриппины, называвшей своего маленького Максима «дитя мое»; ему почему-то оно очень нравилось. Это слово Батичелли только и понял из крика рабов.

— Елевферий, зафрахтуй судно, если и переплатишь,— ничего, они о детях что-то говорят... слышишь, слышишь, сейчас же... сейчас. Да ведь и у горцев есть дети, зафрахтуй и для них...

— О кирие, стоит ли! Они, канальи, многоженцы, у их детей все равно отцов нет, а только матери; стоит ли такие деньги тратить на двадцать человек, на эти деньги немало можно выкупить людей.

— Пожалуй, что так. Но ты все-таки постарайся и горцев скорее отправить; не прозевай оказию.

Между тем, уже наступал осенний вечер. Батичелли ехал верхом за город. С ним рядом афонский монах, проживавший в Фессалониках.

— Кирие, ты хочешь отслужить панихиду на могиле у разрушенной церкви за городом по рабам Божиим Арсению и Афанасии?

— Да. А откуда это тебе известно, отец?

— Я так догадываюсь. Недавно возвратился один из наших монахов из России, куда он со сбором ходил. Там его очень хорошо принимали в одном богатом доме, а когда узнали, что он с горы Афона, то хозяйка просила, чтобы каждый год из монастыря посылали бы монаха служить панихиду вот на этой самой могиле. При этом сделала щедрый вклад монастырю.

Батичелли понял, что это за богатая русская женщина, он вспомнил Агриппину; нежная и задумчивая улыбка оживила его серьезное лицо при этом воспоминании.

Вскоре они подъехали к разрушенной церкви; это было за городом, густая зелень закрывала топкое, сырое место, где были могилы. Между двумя могилами лежал большой камень, на котором были вырезаны имена почивших Арсения и Афанасии.

Монах и Батичелли сошли с лошадей и панихида началась. Заунывно звучало пение монаха. Задумчиво стоял Николай, изредка крестясь. Когда панихида окончилась, солнце уже садилось; багровый запад предвещал на завтра бурю. Всадники возвращались в город. Нико-

лай попрощался с монахом и повернул к морю. Уже стемнело. Крупные валы ходили по его поверхности и оно зловеще хмурилось и шумело. Пред Николаем вставало прошлое. Отец и мать, братья... Агриппина с малюткой... Воспоминание о ней всегда вызывало у него улыбку и отрадное спокойствие духа; умирающий отец Арсений вставал пред ним со своими проклятиями, с которыми и у могилы не захотел расстаться. А волны плескались, нагоняя одна другую и рассыпаясь у ног его коня, обдавали его солеными брызгами. И все, все разные; ни об одной волне нельзя сказать, что она еще раз придет к берегу... Она только будет основанием другой, которая также ударится о берег, и больше никогда не появится, и каждая пережитая минута уйдет в прошлое и уже никогда более не возвратится.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Ч. МИЯТОВИЧ

# КОНСТАНТИН,

## ПОСЛЕДНИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР

ПЕРЕВОД С СЕРБО-ХОРВАТСКОГО

# ГЛАВА I

В течение целого столетия (1365—1465 г.) на Балканском полуострове происходили события глубоко трагические по своему характеру и имевшие важное историческое значение.

Произошел полный переворот общественных и политических условий, среди ужасных потрясений, сопровождаемых кровопролитием и несказанными страданиями. Иноземное племя, исповедавшее чуждую религию и находившееся на низшей степени культуры, овладело прекрасными землями между тремя морями, где когда-то культурные народы образовали и поддерживали независимые государства.

Это одна из самых интересных и неразрешимых загадок истории,— каким образом нецивилизованному и отнюдь не многочисленному племени удалось победить три христианских царства, стоявших на высокой ступени культуры и создать на их месте обширную могущественную империю.

Этот грандиозный факт получает значение общего закона, доказывающего, что организованные силы, хотя бы они казались незначительными сами по себе и низменными в своих побуждениях, однако, всегда одерживают верх над силами неорганизованными, пришедшими в расстройство, даже если последние велики и стоят выше по своему индивидуальному характеру.

Турки не были лишены известных добродетелей и природных дарований, когда покинули Туркменские степи и пришли в Армению сторожить восточную границу сельджукских султанов; но по принятии ими ислама, их национальный характер подвергся значительному изменению. Искра, зароненная в вулканическую почву великим пророком Аравии, воспламенила пылких сынов азиатских пустынь; их первоначальный характер переплавился в новую форму национальной индивидуальности, способной к осуществлению новой задачи, предназначенной им Провидением. Подобно неудержимой лавине, они устремились на запад, разрушая все политические и национальные организации, эластичность которых была ослаблена и силы надорваны целыми веками злоупотреблений и дурного управления.

Ислам не только побуждал своих последователей быть праведными перед Богом,— он внушал им еще и политические идеи, превращая племя кочевников в общину воинов, способных создать великую империю. Приняв ислам, они прониклись верой, что служить Богу — значит покорять неверных и завоевывать мир. Эта главная идея служила между ними связующим звеном, создавая им политические цели и организацию.

Но одной этой энергией юного и стойкого народа, одной их удивительной организацией и духом ислама все-таки нельзя было бы объяснить быстрого распространения турецкой власти в Европе. Если бы храбрые, восторженные последователи Магомета встретили хоть одно действительно сильное, здоровое и хорошо устроенное государство по эту сторону Геллеспонта, то возможно страницы истории не украсились бы повестью о поразительном росте Оттоманской империи. Чтобы понять тайну этого триумфального шествия, мы должны прочесть эту повесть не только при мрачном сиянии победо-

носного ислама, но также и при бледном отблеске, бросаемом умирающим византизмом.

Нелегко определить в нескольких словах — что такое византизм. История как будто желала испытать, что произрастет, если посеять семена христианской цивилизации на полуострове между Азией и Европой, оросить их западными дождями, пригреть восточным солнцем на нивах, заброшенных эллинской культурой и лишь отчасти тронутых римскими учреждениями. Быть может, божественная идея братства соединить горячее сердце нового Рима с практическим благоразумием Рима древнего и получится дивная гармония, способная поднять человечество на недосягаемую высоту?

Но опыт не удался. Великие силы, от слияния которых можно было ожидать так много, оказались бесплодными. От духа Востока были заимствованы краски и формы, но при этом не усвоены ни его глубина, ни пылкость, ни природное благородство. Из восточной философии кое-какие туманные идеи мистического характера; а что было позаимствовано из римских учреждений, то не пустило прочных корней, потому что римские учреждения предполагают сознание ответственности, а также инициативу и гражданское чувство. Глубже всего пустили корни формы и дух автократического правления худших времен римского владычества, делавшие невозможным существование личной свободы. Христианская религия была слишком отвлеченна, слишком возвышенна для полного понимания; она была отодвинута назад, а на первый план выступила Церковь. Церковь же очень скоро отожествилась с тесно сплоченной корпорацией невежественных, суеверных, эгоистичных, честолюбивых монахов, превозносивших императора для того только, чтобы использовать его как своего пособника и сводивших христианство к поклонению мощам, к купле и продаже молитв за упокой души умерших. Народ, отторгнутый от чистых источников евангельской истины, нигде не находил новой идеи, которая могла бы побудить его к великим, славным деяниям. Императоры и церковная иерархия стали союзниками и оставались ими до самого конца.

Под напором такого могущественного союза быстро

потухли искры личной свободы. Восстания только ухудшили дело, доставляя случай разгулу грубой силы, жестокости, низкопоклонству и измене; в конце концов, только укрепляли автократическую власть. Всякий благородный порыв подавлялся в пользу низкого эгоизма и подлой неблагодарности. Народ стал косной, бездушной массой, лишенной инициативы и воли. Перед императором и священнослужителями он пресмыкался во прахе, но за глаза он плевал на них и старался свергнуть их грубую власть. Вверху — тирания; внизу — ненависть и трусость, и лицемерие всюду, как в высших, так и низших слоях. Наружный лоск заменял истинную культуру; фразеология скрывала недостаток мысли. Как политический, так и социальный строй,— оба были одинаковы гнилы; дух нации стал вялым, лишенным всякой эластичности. Эгоизм взобрался на трон общественных интересов, пытаясь скрыть свое безобразие под маской ложного патриотизма.

Такая политическая и социальная система, где открытость и мужество сменяются хитростью, лицемерием и подлостью, между тем как соблюдаются все-таки изящные формы и утонченные приемы,— такая система, где государство является обыкновенно в священнических одеждах, и есть византизм.

Некоторая доля византизма должна была неизбежно проявиться в политической и социальной организации славянских народов на Балканском полуострове. Действительно они обращались к византийским грекам, чтобы научиться политической и социальной мудрости, подобно тому, как они заимствовали у Константинополя его веру. Путем медленного, тягучего процесса византийские понятия сместили славянские традиции среди сербов и болгар. И эта борьба, естественно, способствовала ослаблению славянских государств. В известном смысле она подготовляла путь к турецкому нашествию.

В особенности заслуживает внимания то, что мы видим так много недовольных сербов и болгар в лагере и при дворе оттоманских султанов. Общественные и политические порядки в славянских государствах были крайне неудовлетворительны. Дворяне были надменны и замкнуты. Они ревниво следили за царями и осуждали вся-

кую попытку к реформе. Они были жестокими, требовательными господами для крестьян, поселившихся на их землях; те обязаны были служить им и отдавать значительную часть своих заработков. Власть, сосредоточенная в лице государей, была не настолько сильна, чтобы препятствовать всевозможным злоупотреблениям со стороны привилегированных классов. Император Стефан Душан пытался установить законодательным путем повинности крестьян по отношению к их феодалам. В парламенте, собравшемся в 1349 году в Скопии, он заручился согласием дворян и высшего духовенства на такой закон, и крестьянству было оказано известное покровительство со стороны центральной власти. Но после смерти этого замечательнейшего человека во всей сербской истории, авторитет центральной власти пошатнулся, и если помещик поступал несправедливо, то некому было защитить обиженного крестьянина. В Боснии даже до начала XV столетия некоторые помещики сводили своих крестьян с земли и продавали их.

Последствием такого положения дел было то, что крестьяне, главная масса населения, ненавидя своих владельцев, становились все более равнодушными к судьбе своего отечества. Первые султаны с своей стороны систематически, с самого начала водворения в Европе, покровительствовали крестьянству, никогда не упуская случая заявлять о своем желании оказать помощь беднякам. В то же время султаны беспощадно истребляли национальную аристократию. Поэтому, когда миновали ужасные вторжения, крестьянство быстро примирилось с турецким господством, которое в известном отношении, по-видимому, принесло перемену к лучшему. В подтверждение этого заявления, как бы оно ни показалось парадоксальным, можно привести множество доказательств.

В письме Стефана, последнего короля боснийского, написанном в 1463 г. к папе Пию II, мы находим следующие знаменательные слова: «турки дают обещания всем, кто является сторонником свободы, и грубый ум крестьян не понимает лукавства подобного обещания; крестьяне воображают, что такая свобода продлится навеки; поэтому может случиться, что сбитый с толку

народ отвернется от меня, если только вы не окажете мне поддержки». И в самом деле, когда султан Магомет II, император константинопольский, вторгся в Боснию в 1464 году, крестьянство не захотело идти против него, говоря: «не наше дело защищать короля — предоставим это дворянам!»

До сих пор сохранилось письмо, где передается разговор, происходивший в декабре 1455 г. между посланником герцога миланского и королем Альфонсом неаполитанским. В этом письме сказано, что албанские крестьяне предпочитают господство турок господству своих дворян! Король Альфонс боялся, чтобы албанцы не покинули Скандербега и не сдались снова туркам, потому что «Люди этого края очень преданы туркам, которые являются добрыми и гуманными властелинами».

Это слова самого короля.

Церковь Болгарии и Сербии, представляла собою лишь иную форму аристократии: она требовала труда, службы и известной части плодов земли. Монахи составляли привилегированную касту; они не платили податей государству и не несли никаких общественных тягот. Число их постоянно умножалось. Тысячи церквей и монастырей, построенных набожными королями, королевами и дворянами, не могли вместить их. Они ютились в городах и селах в частных домах, постоянно подвергаясь светским соблазнам и часто поддаваясь им. Очень немногие из них были святые люди, большинство своими поступками подрывали уважение народа не только к самим себе, но и к церкви. Великий преобразователь и законодатель, Стефан Душан, законом воспретил монахам и монахиням селиться иначе, как в монастырях, но монахи оказались сильнее могущественного царя. Народ верил в чудодейственную силу мощей и реликвий, но не любил иноков. Эта нелюбовь объясняет отчасти быстрое распространение, в особенности в Болгарии и Боснии, секты богумилов или парфаренов. Православная церковь оказывала яростное сопротивление этим первым протестантам в Европе. История религиозных войн, свирепствовавших на Балканском полуострове в течение двух столетий (1250—1450), до сих пор еще не написана; но результаты этой борьбы отозвались в упадке ре-

лигиозной жизни и в ослаблении политической организации в государствах Болгарском, Сербском и Боснийском. В Албании, где борьба между православным и католическим духовенством свирепствовала всего сильнее, и в Боснии, где столкновение между православной церковью и богумилами тянулось всего дольше, ислам скоро стал вербовать новообращенных.

Характерной чертой настроения народа в том периоде (1360—1460) является то, что калабрийский монах Варлаам, разоблачив невежество и леность монахов афонских монастырей, нашел горячих сторонников среди греков и в самом Константинополе. Еще характернее то, что Гемистос Плефон, друг императора Иоанна Палеолога, один из величайших богословских и философских умов среди греков, на Флорентинском соборе счел нужным образовать новую религию! Несомненно, что он был не единственным человеком, которого не удовлетворяло христианство в том виде, в каком представляла его тогдашняя церковь.

Кроме условий общественной и религиозной жизни, были еще другие влияния, подрывавшие жизненные силы христианских государств.

Почти всегда было несколько претендентов на императорский престол в Константинополе и на королевские короны Болгарии, Сербии и Боснии; эти претенденты рассчитывали на помощь турок для достижения своих честолюбивых целей. Понятно, что они всегда встречали радушный прием у султанов. Очень часто даровитые сербы, болгары или греки, которые на своей родине не могли возвыситься над тем положением, в котором родились, находили путь к богатству, почестям и власти, на посту бейлер-бея-главнокомандующего или великого визиря, или же, наконец, в браке с одной из дочерей или сестер самого султана. На первый взгляд кажется парадоксальным, если сказать, что турки открыли новые горизонты населению Балканского полуострова. Однако, их политическая система — комбинация абсолютного деспотизма с самой широкой демократией, заключала в себе много нового. По понятиям заурядного грека, а еще более по понятиям серба или болгарина, такая система была не менее естественной и приятной, нежели феодальная си-

стема, предоставлявшая все блага мира исключительно дворянам и духовенству.

Присутствие недовольных христиан — перебежчиков, претендентов и авантюристов — в турецком лагере и при султанской Порте материально помогало турецкой политике и турецкому оружию одерживать победу за победой. Не будь их, турецким визирям и генералам едва ли удалось бы приобрести такие точные и подробные сведения о людях и положении дел в христианских странах, сведения, часто удивлявшие современников. Таким образом Порта скоро узнавала о планах христианских государей и могла противодействовать им. В сущности, руководящая роль в новой империи быстро перешла в руки христианских ренегатов, и в этот период почти все великие государственные люди и полководцы султанов были греческого, болгарского и сербского происхождения. Это обстоятельство является одной из самых трагических черт в истории балканских народов. Плачевное положение дел еще ухудшилось вследствие роковой путаницы, в которую попали христианские нации на полуострове; их искусно заставляли истреблять друг друга в пользу расширения турецкого могущества. В турецкой армии, уничтожившей сербскую армию на Коссовом поле (1389 г.), было множество греческих, болгарских и сербских воинов. Между прочим, деспот Константин Драгаш — дед с материнской стороны последнего греческого императора, последовал за султаном Мурадом I с вспомогательным войском. В сражении при Никополе в 1396 году, когда французские рыцари, при содействии польской и венгерской кавалерии, обратили в бегство янычар Баязета, султанский резерв, состоявший из нескольких сот сербских кирасиров, под началом князя Стефана Лазаревича, ринулся в бой и вырвал победу у христиан.

Турки показали замечательную ловкость в этот ранний период своей истории, употребляя главным образом христианские деньги и христианское оружие, чтобы покорять, а потом и разрушать христианские же государства. В своей политике они держались правила не занимать сразу страну побежденного христианского государя, а налагали на него дань и обязательство поставлять

лучшие войска для борьбы с врагами султана, даже если эти враги были дружескими христианскими соседями вассального государя.

Король Марко, герой многих сербских и болгарских национальных песен, метко охарактеризовал чувство, с каким славяне сражались в рядах турецкой армии. В начале боя при Ровине, между турками и валлахами (в 1394 г.) король Марко обратился к своему родственнику деспоту Константину Драгашу и сказал ему: «Молю Бога, чтобы Он дал победу христианам, хотя я поплачусь за это собственной жизнью!»

Эти слова — лишь отголосок страданий, испытываемых всяким христианским воином, когда он, оказавшись в таком положении, вынужден был обнажать меч за магометан-турок, против своих братьев по вере.

Византизм подготовил путь турецкому нашествию. Он ослабил балканские народы, уничтожил их нравственную устойчивость и породил эгоизм, который был источником всевозможного зла. С одной стороны византизм, а с другой стороны юношеская энергия племени врожденных воинов объясняют многое, но далеко не все: следует также принять во внимание отношение Византийской империи к западу Европы.

Когда произошло разделение церкви на Восточную и Западную (1053 г.), они разлучились не с чувством скорби, а с взаимным гневом и горьким озлоблением. Но не разделение церквей послужило началом отчуждения,— оно было скорее результатом более глубокого разлада чувств и воззрений. Древний Рим и Рим новый не были одинакового характера, одинакового склада и темперамента. Разделение только усилило их взаимное отвращение. Духовенство и монахи изо всех сил старались усилить скрытую антипатию и раздуть ее яркое пламя. Источник озлобления, открытый руками духовенства у самого подножия алтаря, превратился в глубокую реку, затопившую каналы, вырытые политическими событиями.

Норманны, занявшие южную Италию, сочли необходимым перебраться в Албанию, провинцию Византийской империи. С благословения папы Григория VII, Роберт Гюискар, «герцог по милости Божией и Св. Петра», оса-

дил Дураццо (Дирахиум) в 1081 году. Это укрепленное место на Албанском берегу Адриатического моря служило ключом к древнему Римскому пути, который, пересекая Албанию и Македонию по диагонали, вел в Салоники, где соединялся с другой стратегической дорогой, ведущей в Константинополь. Можно сказать, что Дураццо служил западными воротами в Византийскую империю.

Замечательно, что даже при этой первой попытке стать твердой ногой на Балканском полуострове, разыгрались враждующие интересы. Пока Роберт Гюискар и папа Григорий VII пытались овладеть древней Византийской империей, Венеция послала свой флот, чтобы помочь императору отразить их нападение. И хотя норманны разбили византийскую армию, взяли Дураццо и завоевали множество городов и крепостей в Эпире и Фессалии, однако в конце концов они вынуждены были приостановить свое продвижение, так как германский император Генрих IV вторгнулся в Италию.

Норманны, однако, не отказались от своего замысла. В течение почти целого столетия Византийской империи пришлось защищаться от их нападений. За походом Гюискара следовали походы Богемунда (1107 г.), короля Рожера (1146) и наконец, Танкреда (1185). Танкред не только завладел Дураццо и Салониками, но вступил во Фракию, на пути в Константинополь.

Победы норманнов имели важные последствия. Они помогли разрушить силу византийского оружия в глазах сербов, болгар и албанцев. Они потрясли ослабленную империю и положили начало ее медленному распаду. Они доказали Западной католической Европе, что завоевание Восточной империи возможно. И эта уверенность воспламенила честолюбие пап, внушив им желание обратить Восток в католичество,— оружием, если не помогут аргументы,— и заставить его подчиниться Риму.

Знаменательно, что папа Григорий, в письме 1073 г. к Эбули де Росси, заявил, что «гораздо лучше для страны оставаться под владычеством ислама, нежели быть управляемой христианами, которые не хотят признавать прав католической церкви». Ответ Востока на эти

слова мы узнаем впоследствии от взволнованных греков, за несколько дней перед великой катастрофой.

Урок, преподанный норманскими походами в Албании и Эпире, стал приносить плоды уже к концу XII столетия. Сербы, вассалы византийских императоров, стали искать союза с Западом, с очевидным намерением установить самостоятельное сильное государство на развалинах Византийской империи. Стефан Неманя, основатель сербской королевской династии Неманичей, пытался сблизиться с германским императором Фридрихом Барбароссой, а в 1189 году с большим радушием принимал его с крестоносцами в Нише. В мемуарах Ансбертуса, секретаря императора, говорится, что сербский государь убеждал Фридриха Барбароссу овладеть Византией, обещая ему свою помощь. От другого хроникера мы узнаем, что Стефан Неманя делал эти предложения не только от своего имени, но и от имени своих союзников, Петра и Ивана Асенов, вождей болгарского народа. Фридрих не был расположен участвовать в широких замыслах сербского государя. Тем не менее они остались искренними друзьями. Ансбертус упоминал о Стефане Немане, называет его «нашим другом, великим князем сербским».

Прохождение многочисленных армий крестоносцев через византийские страны ни мало не улучшило прежних чувств и не уничтожило старых предрассудков. Напротив, оно дало возможность западным воинам — «латинянам», как называли их греки, подметить слабость империи и недружелюбие народа. С другой стороны грубость и необразованность крестоносцев усилили презрение, с которым греки относились к «западным варварам».

Озлобление греков, разумеется, еще сильнее разгорелось после неожиданного появления крестоносцев под стенами Константинополя и завоевания ими столицы (1204 г.). В течение 57-ми лет (1204—1261) латиняне удерживали за собой Константинополь и европейские провинции империи. Пятьдесят семь лет католические священники служили мессы у алтаря св. Софии к великому сокрушению и обиде православных греков. В продолжение этих долгих, тяжелых лет у греков, в особенно-

сти у простого народа в столице, накоплялась ненависть к латинянам, ненависть такая жестокая, что даже испытание, вынесенное ими двести лет спустя, не показалось им столь горьким.

Михаилу Палеологу удалось в 1261 году прогнать латинян из Византии. Но он не мог отвоевать островов и укрепленных городов Фессалии и Мореи. Вместо деспотов и князей со старинными греческими фамилиями, мы видим некоего Гюи де ля Тремуль — бароном Хилландарским, Гильома де ля-Рош — герцогом Афинским, Николая де Сент-Омер — князем Фиванским, Ричарда — графом Кефалонийским, Гильома Альмана — бароном Патрасским, Виллена д'Онуа — бароном Аркадским, Бертрана де Бо — маршалом Ахейским и т. д. Такое смешение французских фамилий и феодальных титулов с классическими именами Афин, Фив, Аркадии, Ахеи, даже в наше время звучит почти карикатурно. Но оно, вероятно, сводило с ума греческих патриотов той эпохи, внушая им ненависть и отчаяние. Высшие, наиболее культурные слои в Константинополе, те, которые управляли империей при новой династии Палеологов, чувствовали себя оскорбленными при одной мысли о французских баронах в классических областях Пелопонеса. Точно также греки не могли видеть без тревоги, что энергичная, умная фамилия Анжу, французская династия королевства Неаполитанского и Сицилии, предъявила притязания на императорский престол в Константинополе. Катерина Валуа, жена Филиппа II Анжуйского, гордо носила титулы: императрицы константинопольской, деспотиссы румынской, герцогини Дураццо, принцессы ахейской...

Дипломатические и военные приготовления Карла I к завоеванию Византийской империи, уступленной его дому Балдуином II,— были так обширны и грозны, что Михаил Палеолог нашел лишь одно средство предотвратить опасность: он принял приглашение, сделанное ему папой Григорием X, и послал представителей греческой церкви на Лионский собор. Там 19 июля 1279 года было торжественно провозглашено примирение церквей, Восточной и Западной.

Действительно, это помогло отвести опасность и по-

мешало сборам честолюбивого короля неаполитанского. Греческие дипломаты были очень довольны успехом, а монахи и народ константинопольский только посмеивались над церемониями собора. В конце концов эта неискренняя попытка к примирению произвела только еще большее отчуждение, усилив в латинянах отвращение к тому, что они называли «лицемерием и двоедушием греков».

Но что для смущенных и недальновидных византийских вождей конца XIII столетия казалось лишь ловкой политической находкой стало неизбежной необходимостью с половины XIV столетия.

Иоанн Кантакузен, даровитый государственный человек, несмотря на свое тщеславие и промахи, сразу понял, что турки представляют собой гораздо большую опасность для Византийской империи, нежели латиняне и соседние славяне. Он первый открыто высказал, что один лишь союз с воинственными народами Запада может спасти империю от турок. С этих пор союз с латинянами стал неизменной политикой византийских государственных людей. То была политика, вызываемая силой государственных обстоятельств. Православные государи Болгарии, Сербии и Боснии в силу тех же обстоятельств, принуждены были искать союзов с католическими королями, венгерскими и польскими.

Некоторые греческие, а в особенности русские историки осуждают Рим за то, что он воспользовался опасностью, угрожавшей Восточной империи, для того, чтобы навязать ей папское владычество. Но весьма естественно, что папы ухватились за удобный случай, чтобы совершить слияние обеих церквей. Они не могли действовать иначе. Для них это было простое и неизбежное выполнение священной обязанности. С их точки зрения было очевидно, что Провидение избрало оружием неверных, чтобы сломить упрямство жестоковыйных греков и чтобы заставить их склонить головы перед преемниками св. Петра. Совершенно искренно папы считали своим прямым долгом содействовать Провидению в достижении такой прекрасной цели. Словом, Рим исполнял свой долг, и это придавало еще более грустный характер совершавшейся великой драме.

С другой стороны, весьма естественно, что массы православного населения Боснии, Сербии, Болгарии и Греции не понимали мотивов, которые обусловливали кажущуюся непоследовательность их государей и политических деятелей. Они были воспитаны в твердой уверенности, что римская церковь заклятый враг их собственной, истинной православной церкви, и что папа воплощенный антихрист. Они давали своим собакам кличку «Папа римский»; искони их учили, что латиняне обманщики, воры, лжецы, изнеженные, вероломные, расслабленные существа, которые едят лягушек, кошек и крыс. А теперь вдруг их повелители говорят им, что вследствие опасности со стороны турок, они, православные, должны слиться с еретической римской церковью, признать антихриста наместником Христа на земле и братски обнять нечестивых латинян.

Нелегкой задачей было для императоров Византии подавить свои личные чувства, победить свои собственные предрассудки и добровольно принять то, что казалось им неизбежным. Однако, они сделали над собой усилие. На Флорентинском соборе (в 1438 г.) видна была готовность греков пожертвовать своими личными убеждениями и привязанностями в пользу политических интересов своей страны. Но никакая земная сила не могла изменить сердце народной массы и рассеять тучи предрассудков, накопившихся в продолжение стольких поколений. Чернь ненавидела союз, на который пошел император и его сановники — светские и духовные. На аксиому Григория VII: «лучше ислам нежели схизма!» константинопольские греки теперь отвечали: «лучше ислам, нежели папа!». А ислам только восхвалял единого истинного Бога, не дозволявшего гяурам заключить между собой союз.

Для наблюдательных турецких султанов было совершенно ясно, что союз между балканскими и западными народами был бы равносилен смертному приговору всем их честолюбивым устремлениям. Поэтому помешать подобному союзу всеми силами — стало для турок предметом первостепенной важности.

Иногда это удавалось при помощи быстрых военных действий. Когда Мураду I донесли, что король Шишман

болгарский вошел в переговоры для союза с царем Лазарем сербским и королем Сигизмундом венгерским, турки неожиданно вторглись в Болгарию, истребили армию, обезглавили Шишмана и всех членов королевской фамилии в Никополе (1386 г.). Нет сомнения, что большое сражение на Коссовом поле (15 июня 1389 г.) имело целью парализовать Сербию, прежде чем ее союзник, король венгерский мог подоспеть ей на помощь. Несколько лет спустя, когда Вук Бранкович, властелин области, лежавшей между Боснией и Македонией, возобновил переговоры с Венгрией, турки помешали осуществлению его планов; они неожиданно схватили его и отравили (1395 г.). Вскоре после этого молодой сербский царь, Стефан, сын Лазаря, отправился лично приветствовать Баязета, и султан предостерегал его от опасности опираться на Венгрию, «потому что не может быть добра для тех, кто ищет опоры с этой стороны; подумай, что сталось с королем Шишманом и другими государями, искавшими союза с Венгрией!» Эти слова приводятся Константином, придворным духовником Стефана Лазаревича; он слышал их, по всей вероятности, от Стефана или, может быть, из уст самого султана.

То что турки старались воспрепятствовать образованию христианской конфедерации путем дипломатической умеренности и соглашений,— видно из советов, данных императором Иоанном V своим сыновьям на смертном одре:

«Если бы турки стали беспокоить вас, тотчас же отправляйте посольства на Запад, предлагайте союз и вступайте в долгие переговоры. Турки так боятся подобных союзов, что сразу образумятся; а все-таки союз не состоится вследствие тщеславия латинских народов!»

Далее мы увидим, что Халиль-паша, великий визирь Магомета Завоевателя, действовал также в духе традиционной дипломатии своих предшественников.

Однако, со времени смерти Иоанна V (1391 г.) и до смерти Иоанна VII (1448 г.), турки стали значительно сильнее, сведуще, организация их улучшилась. Они имели случай успешно помериться силами с венгерскими, польскими, германскими и французскими рыцарями. Они были свидетелями упадка последних сил древней

империи и начали подозревать, что угрозы о соединении всех западных народов против них — не более как пустой звук. Они были настолько проницательны, что не могли не заметить, что задача слить все христианские нации почти безнадежна. Покуда греки ничему не учились, турки успели стать сильнее в военном отношении и богаче практическими знаниями, изучив истинное положение политических условий в Европе.

И действительно, то самое средство, которым мудрейший из греческих государственных людей надеялся оградить свою страну от опасности, а именно слияние церквей, принятое на Флорентинском соборе, оказалось лишь источником слабости. Оно не принесло никакой помощи от Запада, мало того,— оно разъединило и парализовало те небольшие силы, что оставались еще в государстве. Около 1450 года Константинополь был в сущности очагом, терзаемым внутренними раздорами и осужденным на разорение.

Христиане Запада должны были бы оказать помощь христианам Востока. Но какой-то странный рок тяготел над христианством между XI и XV столетиями. Миры византийский и латинский были в постоянной вражде в течение этих веков. Разделение церквей, крестовые походы, завоевание Константинополя латинянами, честолюбие пап и сицилийских королей, даже попытки к примирению церквей — все это способствовало расстройству жизненных сил Византийской империи. Не только западные христиане не пришли на выручку своим восточным братьям в час нужды, но папская политика даже расшатывала фундамент древней империи Востока и ненамеренно, но тем не менее несомненно положила основание прочному водворению магометанского владычества в Европе.

## ГЛАВА II

Многие нравственные и политические причины способствовали той замечательной быстроте, с какой христианские государства на Балканском полуострове были покорены турками.

Но главным орудием турецких побед и христианских поражений было несомненно превосходство военной организации у турок.

Ни у одного из христианских государств на Балканском полуострове не было регулярной армии. Государи Боснии, Сербии, Болгарии и Греции обыкновенно окружали себя отрядом телохранителей, по большей части солдат, нанятых заграницей — немцев, итальянцев, норманнов, а иногда и турок, в особенности в XIII и XIV столетиях. Верность этих наемных воинов обеспечивалась только высокой платой, получаемой ими, и это обстоятельство исключало возможность иметь постоянно значительные войска. Лейб-гвардия императора или короля редко превышала 3000 человек. Эти войска из всех христианских войск более всего приближались к понятию регулярной армии, вплоть до половины XV столетия, когда король Карл VII французский учредил у себя «вольных стрелков», первую регулярную армию в христианском государстве (1449 г.).

Когда христианскому государю приходилось защищать свою страну или идти войной на неприятеля он созывал своих дворян, а те приводили с собой столько людей из числа своих слуг, сколько могли собрать и вооружить. Это войско, может быть, и отличалось храбростью, но оно обыкновенно было плохо вооружено и не дисциплинированно. В сущности, чем многочисленнее были эти отряды, тем пестрее и хуже была их экипировка и тем менее они проявляли готовности повиноваться приказам. Политические беспорядки, господствовавшие по всему полуострову накануне турецкого нашествия, ослабили эту феодальную военную организацию, уже и ранее слабую по своему существу. Царь Лазарь сербский счел нужным прибавить к своему военному манифесту пространное и страшное проклятие тем, кто откажется следовать за ним на Коссово поле.

Турки сохранили эту военную систему, определив более точным образом число вооруженных людей, которых обязан был выставить каждый феодальный властитель под знамя султана.

Независимо от этой армии турки с 1326 года имели постоянное регулярное войско. Орхан и его брат, визирь

Ала-ед-дин, впервые ввели систему, замечательную по своей полноте и успеху, свидетельствовавшую о великой психологической проницательности и политической дальновидности ее организаторов. Они не только превратили военную службу в постоянную профессию, но подготовляли и обучали людей военному делу уже с детства. Мало того, с изобретательностью, которая была достойна восхищения, эти организаторы и не думали заимствовать людей для постоянной армии из самих турок. Они решили, что сила, которая должна была покорить христианские государства и империи, должна быть предоставлена врагами ислама.

Из числа христианских детей, взятых в плен в войнах и беспрестанных пограничных набегах, выбирались наиболее здоровые и понятливые и посылались в специальные школы. Их воспитывали в духе ревностного мусульманства и делали из них бесстрашных воинов. Когда они оказывались достаточно подготовленными, из них формировались полки знаменитых янычар.

В случае, если достаточно физически здоровых мальчиков нельзя было набрать среди пленных, то их получали, взимая жесточайшую повинность в покоренных христианских областях. Таким образом применялся принцип отбора неслыханным до сих пор способом, с целью освежить и укрепить Турецкую империю лучшей кровью христиан.

Янычары, «новое войско», были учреждены как постоянное регулярное войско Орханом в 1326 г. Их преобразовал сын его, Мурад I, и поэтому многие историки считают его первым учредителем янычар. Насколько прочны и здравы были основы этого учреждения видно из перечня правил, предписанных Мурадом I и изложенных Ахмет-Джевад беем.

1. Первая обязанность каждого янычара есть безусловное повиновение приказаниям офицеров, хотя бы последние были освобожденными рабами.

2. Среди людей, принадлежащих к Одъеку (турецкое название корпуса янычар, означающее «очаг»), должно господствовать полное единение и согласие, поэтому они обязаны постоянно жить вместе.

3. Как истинно храбрые и мужественные люди, они

всегда должны воздерживаться от всякой роскоши, избегать всяких предосудительных поступков и соблюдать простоту во всем.

4. Они никогда не должны пренебрегать учениями святого Хаджи Бекташа в своих молитвах и в точности соблюдать обязанности истинных мусульман.

5. Начальники обязаны строго наблюдать за тем, чтобы в Одъек допускались лишь те, кто был взят и воспитан согласно закону о девширме (закон о дани, уплачиваемой детьми).

6. Производство в Одъеке всегда должно следовать порядку старшинства.

7. Янычар может быть наказан или получать выговоры только от своего начальствующего офицера.

8. Янычары, неспособные к службе, по болезни или по старости лет, получают пенсию от Одъека.

9. Янычары не должны носить бород; им не разрешается жениться.

10. Они никогда не должны слишком удаляться от своих юрт.

11. Янычару воспрещается учиться ремеслам, или работать в качестве мастерового. Исключительным занятием его должно быть упражнение в военном искусстве.

Янычарам были даны некоторые особые привилегии, с целью возвысить их корпоративный дух. Одна из этих привилегий состояла в том, что в военное время палатки их ставились непосредственно перед палаткой султана, так что падишах должен был каждый раз проходить мимо их палаток, выходя из своей или возвращаясь в нее. Другой привилегией было то, что казнь янычара никогда не происходила днем, или публично, а всегда в полночь, в присутствии немногих офицеров; пушечный выстрел извещал весь Одъек, что один из его членов устранен из мира сего, по воле правосудия.

В течение XIV и XV столетий корпус янычар не превышал 12 000 человек. Но по физическому состоянию, дисциплине, храбрости ни одно войско в Европе не могло сравниться с ними. Все янычары были пехотинцы, и главное их оружие состояло из лука. Некоторые из них снабжены были, кроме того, ятаганом, а другие — копьем.

Кроме регулярной пехоты, султаны издавна имели корпус кавалерии, называемой «спаги» и набираемой таким же путем, как и янычары. В XV веке они были вооружены ятаганами, железными палицами (в 20 или в 25 фунтов весу) и луками.

Величайшее внимание было посвящено состязаниям на мечах, как у янычар, так и у спагиев. Их ятаганы были из гораздо лучшего металла, чем тот, который обыкновенно употреблялся для европейского оружия, и благодаря постоянной практике, янычары и спагии научились владеть оружием с удивительной ловкостью. Турецкая поговорка, что они завоевали свою империю «мечом», справедлива буквально.

Греки превосходили турок только в морских маневрах и в употреблении «греческого огня»; секрет этого изобретения ревниво охранялся.

Два современника-христианина авторитетно писали о турецкой армии в половине XV века; это итальянец Франческо Филельфо и француз — Бертрандон де ля Брокьер.

Филельфо, рыцарь и государственный чиновник, жил некоторое время в султанской Порте в качестве греческого посланника. Конечно, он имел достаточно возможностей, чтобы изучить истинное положение турецких военных сил и описал их в докладе королю французскому (14 ноября 1461 г.) и к дожу венецианскому (10 февраля 1464 г.). По его словам, армия султана состояла из 12 000 янычар, 8 000 ассабов (получавших регулярную плату), 25 000 феодальных войск, завербованных в Европе и 15 000 человек, завербованных в Азии,— всего-навсего 60 000 человек. Янычары были стрелками из лука; они носили также небольшие щиты, а некоторые из них были вооружены длинными копьями. Феодальные войска были исключительно кавалеристами, вооружение их состояло из ятагана, палицы и маленького щита; у иных были также и луки. «Но», прибавляет Филельфо, «в военное время регулярные войска султана всегда сопровождаются бесчисленными отрядами иррегулярных войск, состоящих главным образом из пастухов Фракии, Фессалии и Мизии, и эти отряды, не знающие никакого удержу, являются самым лютым бичом турецких втор-

жений. Вооружены они только кривыми турецкими саблями. Они носят с собой множество веревок, которыми вяжут жителей сел и городов, чтобы затем гнать их на невольничьи рынки. Города и села они жгут и разоряют еще до того, как появляется регулярная армия султана».

Георгий Кастриот Скандербег (+ 1468) косвенно подтверждает данные Филельфо о численности турецкой армии. По словам его биографов, он часто говорил, что «вся армия Албанской лиги едва ли равняется численностью четвертой части султанской армии». Так как албанцы лишь в немногих случаях могли выставить 15 000 человек, обыкновенно же имели не больше 12 000 войска, то из этого можно заключить, что Скандербег определял численность турецкой армии приблизительно в 60 000 человек.

Но настоящим знатоком в военных вопросах был Бертрандон де ла Брокьер, владелец Вьё-Шато, советник и первый конюший герцога Бургундского, Филиппа Доброго. Он посетил в 1423 году святые места Палестины и вернулся оттуда сушей, проехав через Константинополь, Адрианополь, Болгарию и Сербию. Он составил для герцога описание своих путешествий, с приложением памятной записки о средствах к изгнанию турок из Европы. Его замечания вообще очень остроумны и, по-видимому, справедливы, а суждения носят отпечаток беспристрастия. Приведем некоторые его замечания, касающиеся турок и их армии.

«Разговор этот (происходивший в Белграде между ним и германскими офицерами) сильно удивил меня, и внушил мне кое-какие размышления о странном подчинении, в котором турки держат Македонию, Болгарию, императора константинопольского, греков, деспота сербского и его подданных. Такая зависимость показалась мне весьма прискорбной для христианства; а так как я жил с турками, ознакомился с их бытом и способом сражаться, а также посещал общества сведущих людей, близко наблюдавших турок в осуществлении их предприятий, то я беру на себя смелость писать о них.

Начну с их наружности,— это довольно красивый народ, длиннобородый, но среднего роста и средней силы. Есть поговорка, гласящая: «силен как турок», тем

не менее, я видел множество христиан, превосходящих их силой в случае надобности, и я сам,— далеко не из самых сильных,— убеждался иногда, что многие турки слабее меня.

Они трудолюбивы, охотно подымаются рано, живут немногим, довольствуясь плохо пропеченным хлебом, сырым мясом, вяленым на солнце, свежим и кислым молоком, медом, сыром, виноградом, фруктами, овощами и даже пригоршней муки, из которой они делают похлебку, в достаточном количестве, чтобы накормить шесть или восемь человек в день. В случае, если у них окажутся лошадь или верблюд безнадежно больные, они режут их и съедают. Им все равно, где спать; обыкновенно они ложатся на голую землю. Платье их состоит из двух-трех одежд из бумажной ткани, ниспадающих до пят. Поверх их они носят войлочный плащ, называемый «капинат». Хотя последний очень легок, но он не пропускает дождя, и некоторые капинаты очень тонки и красивы. Сапоги у них доходят до колен, и они носят широкие шаровары, из красного бархата, или из шелку, или же, наконец, из бумазеи и других простых материй. На войне, или в путешествиях, для того, чтобы им не мешали длинные одежды, они затыкают их в шаровары.

Лошади у них хорошие, прокормление их стоит недорого; скачут они отлично и очень выносливы. Турки кормят их только к ночи, да и тогда всыпают им не больше пяти-шести пригоршней ячменю с двойным количеством рубленой соломы. На рассвете они седлают, взнуздывают и чистят коней, но никогда не поят их раньше полудня. В послеобеденное время они пьют где попало, а также и вечером там, где турки располагаются лагерем; останавливаются они на ночлег рано и, по возможности, возле реки. Ночью лошадей покрывают войлочными попонами. Седла у них обыкновенно очень богаты, но с выемкой, имеющие седельные валики сзади и спереди, с короткими широкими стремянами. Люди сидят в седле глубоко, как в кресле, и колени их вздернуты очень высоко,— положение, при котором они не могут выдержать удара копьем, не будучи выбитыми из седла. Оружие военных, имеющих некоторые средства, состоит из маленького деревянного щита, сабли, тяжелой палицы

с короткой рукояткой и толстым концом, вырезанным углами. Это очень опасное оружие, если им ударить по плечу или по незащищенной руке. Некоторые употребляют небольшие деревянные щитки, когда стреляют из лука.

Повиновение их старшим безгранично. Никто не осмеливается ослушаться, даже если бы это стоило жизни. Главным образом благодаря этому безусловному повиновению и были совершены ими такие великие подвиги и одержаны такие важные победы.

Меня уверяли, что когда бы христианские государства ни вооружались против турок, последние всегда получали предупреждение во время. У султана были особые люди, которые наблюдали за передвижениями неприятеля, и он сам ожидал его со своей армией на расстоянии трехдневного пути от того места, где предполагал дать сражение. Если же он находил случай благоприятным, то нападал на неприятеля неожиданно. Для этих случаев у них был особый марш, исполняемый на большом барабане. По этому сигналу находящиеся во главе без шума идут вперед, а остальные следуют за ними в таком же глубоком молчании, и вереница не прерывается: так уж дрессированы люди и лошади. Десять тысяч турок в подобных случаях делают меньше шуму, чем 100 солдат христианской армии.

В своих походах они всегда идут шагом, но в этих случаях они бегут рысью; а так как они легко вооружены, то таким путем способны пройти от вечера до рассвета больше, чем другие в три дня. Они выбирают лошадей, которые способны делать большие переходы и могут идти галопом долгое время, между тем как мы выбираем лишь тех, которые галопируют быстро и с легкостью. Благодаря таким форсированным маршам, туркам удавалось застигать христиан врасплох и окончательно разбивать их в различных битвах.

Их способ сражаться изменяется смотря по обстоятельствам. В благоприятных случаях они разделяются на несколько отрядов и атакуют различные части неприятельской армии. Такой способ применяется обыкновенно в лесах и горах, вследствие легкости снова соединять свои силы. В других случаях они устраивают заса-

ды и посылают конных разведчиков для наблюдения за неприятелем. Если разведчики донесут, что неприятель не настороже, тогда турки немедленно составляют план, чтобы воспользоваться этим обстоятельством. Если же окажется, что армия стянута и приведена в боевой порядок, то они скачут вокруг неприятеля на расстоянии выстрела из лука и в то же время стреляют в людей и лошадей. Маневр этот они проделывают до тех пор, пока не приведут неприятеля в расстройство. Если неприятельская армия начнет преследовать их, они бегут врассыпную, даже если бы за ними гналась сила, вчетверо меньшая их собственной. Именно во время бегства они очень опасны и почти всегда тогда-то и разбивали христиан. Спасаясь бегством, турки ухитряются стрелять так метко, что их стрелы каждый раз попадают в человека или в лошадь. У каждого кавалериста имеется на седле барабан. Когда командир или один из его офицеров заметит, что преследующий неприятель пришел в расстройство, он трижды ударяет в этот инструмент; остальные, услыхав этот звук, делают то же и моментально окружают своего начальника и затем, смотря по обстоятельствам, они или встречают нападение преследующих, или же сами нападают на них отдельными отрядами, одновременно в разных местах. В правильном бою они прибегают к военной хитрости, состоящей в том, чтобы бросать ракеты среди кавалерии и пугать лошадей. Турки часто выставляют впереди фронта множество верблюдов, которые смелы и храбры; затем гонят их на неприятельскую конницу, вызывая этим сумятицу и беспорядок.

Политика турок заключается в том, чтобы их армии всегда были вдвое многочисленнее христианских. Это превосходство численности подстрекает их мужество, дозволяет им образовать несколько корпусов и совершать нападение одновременно на несколько частей неприятельских сил. Стоит им только открыть брешь, и они бросаются сквозь нее бесчисленным стадом, и тогда было бы чудом уцелеть против них... Турецкие копья никуда не годятся; стрелки — это лучшие их войска, да и те стреляют не так метко и не так далеко, как наши. У турок многочисленная кавалерия; а лошади их хотя и уступают

нашим в силе и неспособны носить такие тяжести,— но галопируют быстрее и могут участвовать в стычках долго, не утомляясь. Я должен сознаться, что в различных случаях я всегда находил турок честными и искренними, а когда требовалось проявить мужество, они никогда не пасовали... Их войско, насколько мне известно, обыкновенно состоит из 200 000 человек, но большинство его пехотинцы без деревянных щитов, шлемов, сабель и палиц; немногие, в сущности, хорошо вооружены. Кроме того, между ними множество христиан, принужденных служит — греков, македонян, албанцев, славян, валахов, сербов. Все они ненавидят турок, потому что те держат их в строгом подчинении, и если бы они увидали, что христиане, а в особенности французы выступили против султана, то я не сомневаюсь ни малейшим образом, что все они обратились бы против него и наделали бы немало вреда».

В старинных сербских рукописях есть интересное описание жизни Георгия Кастриота Скандербега. Оно во многом согласуется с сочинением Маринуса Барлециуса о Скандербеге, но в нем есть кое-какие добавления и изменения, которые не только обогащают наши исторические сведения, но придают повествованию местную, национальную окраску. В обоих сочинениях рассказывается, что султан Магомет, желая рассеять беспокойство своих визирей и пашей, вызванное слухами о великой европейской коалиции против турок, произнес речь, в которой сравнивал христиан с турками. Возможно, что Магомет никогда и не произносил приписываемой ему речи, но такое сравнение, очевидно, было сделано в эпоху, когда писалась книга Барлециуса (около конца XV стол.) и сделано лицом, хорошо знакомым с обстоятельствами.

«Вы слышали»,— будто бы сказал султан,— «что христиане заключили союз против нас. Но не бойтесь! Ваше геройство окажется выше их. Вы хорошо знаете немытых гяуров, а также их свычаи и обычаи, далеко не хорошие. Они ленивы, сонны, недеятельны, обидчивы; они любят много пить и много есть; в беде они нетерпеливы, а в счастье — надменны и самонадеянны. Они обожают покой и спят не иначе как на пуховых перинах; когда

при них нет женщин, они мрачны и грустны, а без большого количества доброго вина они неспособны держать совет между собой. Они не сведущи по части военных уловок. Они держат лошадей для того только, чтобы охотиться на них с своими собаками. Когда им нужна хорошая боевая лошадь, они посылают покупать ее у нас. Они неспособны выносить голод, холод, жар, напряжение и черную работу. Они возят за собой женщин в своих походах и когда дают пиры, сажают их на верхний конец стола, им нужны всегда горячие блюда. Словом, в них нет никакого добра.

Зато вы, мои славные воины, вы можете проявить много хороших качеств. Вы мало заботитесь о своей жизни и о своей еде. Спите вы немного и для этого не нуждаетесь в постелях; голая земля служит вам столом и ложем. Ничто не кажется вам тяжелым, нет ничего такого, что вы сочли бы невозможным.

К тому же, христиане постоянно дерутся между собою, потому что каждому хочется быть царем, князем, или первенствовать между всеми. Не бойтесь их,— между ними нет согласия. Каждый заботится только о себе и никто не помышляет об общем благе. Они задорны, сумасбродны, своевольны и непослушны. Они совершенно лишены чувства повиновения к старшим; дисциплины у них нет никакой, а от этого, однако, зависит все!

Когда они проигрывают сражение, они говорят: «мы были не подготовлены!», «такой-то изменник предал нас!» или «мы были слишком малочисленны, а турок было гораздо больше!» или же наконец: «турки нагрянули на нас врасплох изменническим образом, без предварительного объявления войны! Они заняли нашу страну, обратив наши внутренние неурядицы в свою выгоду!

Вот, что они говорят, не желая признаться прямо и правдиво: «Бог на стороне турок, Бог помогает им, поэтому они и побеждают нас!»

# ГЛАВА III

Когда история приподнимает завесу, чтобы показать нам одну из самых поразительных трагедий в жизни народов — завоевание высшей цивилизации низшей,— то наш интерес естественно сосредоточивается на личностях, приводящих в исполнение приговор судьбы. Но великая историческая картина, в которой Константин Палеолог так благородно олицетворял древнюю, высококультурную империю, падающую с честью, а великий завоеватель Магомет II — являлся типом своего дикого, грубого, однако, энергичного и глубоко религиозного племени,— такие картины еще более выигрывают, если припомнить, что они окружены были обстановкой дивной красоты, какова природа Босфора.

Мы желали бы изобразить перед читателями чудную картину холмов и долин, озаренных солнцем просек и тенистых бухт, небес и моря, восхищавших всех, кто только видел их. Еще более желали бы мы представить глазам читателей истинную картину Константинополя, той политической и общественной жизни, которая развертывалась в его стенах еще накануне его геройской обороны и окончательного падения. Хотя красоты Босфора являются неистощимым источником вдохновения для художников, однако, рисунки и описания жизни и окрестностей Константинополя в половине XV века чрезвычайно редки.

Мы имеем, впрочем, «вид города Константинополя с птичьего полета 1422 года» и план города 1493 г.

Вид Константинополя с птичьего полета был сделан флорентинским инженером Христофором Буондельмонти. С него имеется три копии — одна в Ватикане, одна в Венеции, опубликованная г. Сатасом, и третья в Париже, напечатанная в 1711 году некиим Бандури.

По словам Критобула, греческого биографа Магомета II, султан, некоторое время спустя после завоевания Константинополя, поручил знаменитому греческому географу Георгиосу Амируцесу из Требизонда, составить для него карты различных стран света. Считают, что

Амируцес в то же время составил большую карту города Константинополя. Полагают также, что Джентиле Беллини, проведший некоторое время в серале, пока писал портрет с султана Сулеймана, привез с собой в Венецию копию с этого плана. С этой копии снято было еще несколько копий и напечатана карта в различных изданиях в течение XVI века.

Весьма вероятно, что между городом Константинополем во время завоевания его турками в 1453 году и между городом в том виде, как он изображен на плане 1422 года,— почти не было существенной разницы. Все средства византийских императоров с 1420 до 1453 года главным образом употреблялись на ремонт и укрепление городских стен. На некоторых камнях, взятых со стен, когда разрушены были ворота Харсиас, и теперь хранящихся в константинопольском арсенале, найдены надписи, гласящие, что император Иоанн Палеолог обновил все укрепления города. Эти работы были предприняты после осады города Мурадом II в 1432 г. На одном из камней под именем императора видно имя Мануила Тагариса (также Палеолога),— думают, что он был главным инженером, которому поручен был ремонт. Георгий Бранкевич, сербский государь, друг и союзник императоров, перестроил в 1448 году две башни на стенах Константинополя,— одну по стене, идущей вдоль Мраморного моря, у ворот, называемых в настоящее время Кум-Капу, а другую на стене вдоль Золотого Рога. Все эти работы, однако, не произвели никакого существенного изменения в главных очертаниях и общем характере укреплений и самого города в том виде, каким он был, когда Буондельмонти набрасывал свой план, и каким он остался, по всей вероятности, во время осады 1453 г.

Не менее интересно заглянуть во внутреннюю жизнь древней столицы, накануне ее падения. К счастью, мы можем удовлетворить это желание, по крайней мере, до известной степени. Бертрандон де ла Брокьер провел некоторое время в Константинополе в 1433 году и написал о всем, что там видел.

Вот картина Константинополя в том виде, как он наблюдал его, в январе 1433 года:

«Мы прибыли в Скутари, город, лежащий на проливах, напротив Перы. Турки стерегут это место и взимают пошлину со всех проезжающих. Мои спутники и я переправились на двух греческих судах. Владельцы моей лодки приняли меня за турка и показывали мне всевозможные почести; но по высадке, когда они увидали, что я оставляю свою лошадь у ворот Перы и когда они осведомились у одного генуэзского купца,— к кому у меня рекомендательные письма, они заподозрили, что я христианин. Двое из моряков поджидали меня у ворот, и когда я вернулся за лошадью, они потребовали у меня свыше той платы, насчет которой я условился за проезд. Кажется, они способны были бы побить меня, если бы смели, но у меня был меч, а живущий поблизости генуэзец башмачник выразил готовность придти мне на помощь, так что они принуждены были ретироваться. Упоминаю об этом в виде предостережения путешественникам, которые, как и я, могут иметь дело с греками. Все те, с кем мне приходилось входить в сношения, делали меня все более и более подозрительным, и я находил больше честности в турках. Эти греки не любят христиан Римской церкви и подчинение их этой церкви, вероятно, более вынуждено личными интересами, чем искренностью.

Пера — большой город, населенный греками, евреями и генуэзцами. Последние властвуют в нем под предводительством герцога Миланского, именующего себя «властелином Перы». Оживленная торговля ведется с турками. Турки пользуются странной привилегией,— если убежит от них один из рабов и найдет убежище в Пере, его обязаны немедленно выдать.

Я встретил в Пере посланника герцога Миланского,— некоего Бенедикто де Фурлино. Герцог, нуждаясь в поддержке императора Сигизмунда против венецианцев, и видя, что Сигизмунд с своей стороны занят обороной своего царства Венгрии против турок,— отправил к Амурату посольство с целью вести переговоры о мире между обоими государствами. Синьор Бенедикто, в честь герцога Бургундского, оказал им самый любезный прием. Он даже сказал мне, что с целью нанести вред венецианцам, он содействовал тому, что они лишились Сало-

ник, взятых у них турками, и в этом он несомненно поступил дурно, ибо с тех пор мы видим, как многие города отрекались от Иисуса Христа и принимали магометанскую веру.

Два дня спустя по приезде в Перу, я переправился через гавань в Константинополь, желая осмотреть город. Он велик и обширен и имеет форму треугольника; одна сторона граничит с проливом св. Георгия, другая обращена на юг вдоль бухты и тянется до Галлиполи, а третья — северная сторона — есть сам порт. Говорят, существует всего три больших города на земле и в каждом по семи холмов — это Рим, Константинополь и Антиохия. Рим, мне кажется, обширнее Константинополя и гуще населен.

Окружность города Константинополя определяют в восемнадцать миль; треть этого протяжения обращена к суше, на запад. Он хорошо огражден стенами, особенно со стороны суши. Это пространство, определяемое в шесть миль от одного угла до другого, снабжено также глубоким рвом, за исключением протяжения около двухсот шагов у одной из его оконечностей, близ Влахерны. Уверяют, что туркам не удалась их попытка овладеть городом в этом слабом пункте. В пятнадцати или двадцати шагах впереди рва находится прочная, высокая стена. На одной из оконечностей этой линии были прежде красивые дворцы, также укрепленные, если судить по их теперешним развалинам.

Константинополь состоит из нескольких отдельных частей, так что в нем находится много открытых пространств, более обширных, нежели застроенные. Самые крупные суда могут бросать якорь под его стенами, как и в Пере. Кроме того, он имеет маленькую внутреннюю гавань, где помещается три-четыре корабля. Она лежит к югу от ворот, где виднеется курган из костей христиан, которые после завоевания Иерусалима и Акры Годфридом Булонским, возвращались домой через эти проливы. Когда греки перевезли крестоносцев, они завели их в это уединенное место и там перебили всех... Но это старая история, и я знаю о ней не более того, что мне рассказывали.

В городе много красивых церквей, но главный и са-

мый замечательный храм св. Софии, где проживает патриарх с другими каноническими чинами. Этот храм имеет круглую форму и состоит из трех частей: подземной, другой над землею и третьей, лежащей над последней. В прежнее время он окружался монастырями и имел, как говорят, три мили в окружности. Теперь же он имеет не столь значительное протяжение и при нем состоит всего три монастыря; все они выложены и вымощены белыми мраморными плитами и украшены разноцветными колоннами. Ворота, замечательные по своей ширине и высоте, сплошь из меди. В этой церкви хранятся, как мне рассказывали, одна из одежд Спасителя, конец копья, которым был прободен Его бок, губка, в которой Ему подавали пить, и тростник, вложенный в Его руки. Могу только засвидетельствовать, что за хорами мне показывали решетку, на которой поджаривали св. Лаврентия, и большой камень в виде бассейна, где, говорят, Авраам подавал пищу ангелам, когда они собирались разорять Содом и Гоморру.

Мне было очень любопытно видеть, как греки совершают богослужение, и я нарочно отправился в церковь св. Софии в тот день, когда служил патриарх. Присутствовал сам император Иоанн Палеолог со своей супругой Марией Комнен дочерью Алексея Комнена, императора Требизондского со своей матерью и братом, Димитрием деспотом Мореи. Представлена была мистерия о трех юношах, ввергнутых Навуходоносором в печь огненную.

Молодая императрица показалась мне очень красивой, и я пожелал взглянуть на нее поближе. Мне хотелось также видеть, как она ездит верхом, ибо она приехала в церковь на лошади, в сопровождении всего двух дам, троих пожилых господ и троих людей из разряда тех, кому турки обыкновенно поручают охранять своих жен. Выйдя из храма св. Софии, императрица отправилась в соседний дом обедать, что заставило меня прождать, покуда она вернется в свой дворец, и следовательно провести целый день без еды и питья.

Наконец она появилась. Подставили скамейку к ее лошади, которая была великолепна и украшена роскошным седлом. Когда она взобралась на скамью, один из

стариков взял длинный плащ, и зайдя по ту сторону лошади, держал его развернутым, как только мог выше,— в это время она вдела ногу в стремя и села на лошадь по-мужски.

Тогда старик накинул плащ ей на плечи и ей подали одну из тех высоких остроконечных шляп, столь употребительных в Греции; на одной стороне шляпа была украшена тремя золотыми перьями и очень шла ей к лицу. Я подошел так близко, что мне приказали попятиться, поэтому я мог любоваться общим видом.

В ушах ее были широкие, плоские серьги, усыпанные драгоценными каменьями, в особенности рубинами. Она казалась молодой и красивой, еще лучше чем в храме, и я нашел бы ее безукоризненной, не будь лицо ее расписано, в чем она даже не нуждалась. Дамы, сопровождавшие ее, также сели верхом на коней; обе были красивы и одеты в такие же плащи и шляпы, как у императрицы. Все общество вернулось во дворец Блакерн.

Против храма св. Софии находится обширная квадратная площадь, обнесенная стенами, где в древние времена происходили игры. Я видел брата императора, деспота Мореи, упражнявшегося там вместе с двумя десятками других всадников. У каждого было по луку, и они скакали в загороженном месте, бросая перед собой свои шапки; проезжая мимо, они стреляли в них, и кому удавалось пронзить свою шапку стрелою, тот считался наиболее ловким. Это упражнение они заимствовали от турок и более всего старались изловчиться в нем.

По сю сторону, возле угла, расположен храм св. Георгия, имеющий башню на самом узком месте пролива, против Азиатской Турции. По ту сторону, к западу, высится большая квадратная колонна, вся испещренная надписями, с конной бронзовой статуей Константина на вершине. В левой руке он держит скипетр, а правую простирает к Азиатской Турции и к дороге в Иерусалим, как бы показывая этим, что вся эта область под его господством. Возле этой колонны находится еще три, поставленные в ряд и высеченные каждая из цельного камня. Здесь же стояли и три вызолоченных коня, которые ные в Венеции.

В красивой церкви Пантеократора, занятой греческими монахами, мне показывали разноцветную плиту, приготовленную Никодимом для своей могилы и на которую он положил тело Спасителя, вынув Его из пещеры. В это время Пресвятая Дева плакала над Телом, и Ее слезы падали на камень, где они видны до сих пор. Сперва я принял их за капли воска и затем нагнулся, чтобы посмотреть на них горизонтально, против света, и они показались мне словно каплями застывшей воды. Это многие видели, точно так же, как и я. В том же храме находятся могилы Константина и матери его, св. Елены, приподнятые на 8 футов над уровнем земли, в виде колонны; вершины их оканчиваются острием и обрезаны с четырех сторон, как алмаз. Говорят, что в те времена, когда венецианцы обладали Константинополем, они вырыли тело св. Елены из могилы и перенесли в Венецию, где оно хранится до сих пор. Рассказывают, будто они пробовали сделать то же самое с телом Константина, но им не удалось. Это весьма вероятно, ибо до сих пор видны две сломанные части гробницы, там, где венецианцы делали свою попытку. Гробницы обе из красной яшмы.

В храме св. Апостолов показывают разбитую колонну, к которой был привязан Спаситель в то время, как Его били, по повелению Пилата. Этот обломок, приблизительно вышиной около роста человеческого, из такого же камня, как две колонны, виденные мною в Риме и Иерусалиме, только эта выше обеих других, взятых вместе. В этой же церкви хранится множество святых мощей в деревянных раках и всякий, кто пожелает, может видеть их. У одного из святых была отсечена голова и к его туловищу приставлена голова другого святого. Впрочем греки не питают такого благоговения к святым мощам и реликвиям, какое питаем мы. То же самое замечается и по отношению к камню Никодима и к столбу Спасителя; последний просто огорожен досками и поставлен у одной из колонн главного входа в церковь.

В числе множества прекрасных церквей, упомяну лишь о той, которая зовется Блакерн, вследствие того, что находится близ императорского дворца того же имени. Эта церковь хотя невелика, но имеет несколько цен-

ных картин и вымощена мраморными плитами. Не сомневаюсь, что найдутся в Константинополе еще другие замечательные храмы, но я не имел возможности посетить их всех. Латинские купцы имеют церковь напротив прохода в Перу, и там ежедневно служится месса по римскому обычаю. Много есть купцов всех наций в этом городе, но могущественнее всех — венецианцы; у них свой особый управляющий их делами, независимо от императора и его министров. Этой привилегией они пользовались очень долгое время. Говорили даже, что они при помощи своих галер дважды спасали город от турок, но с своей стороны я полагаю, что они щадили город больше ради содержащихся в нем святых мощей, нежели по какой-нибудь другой причине. Турки также имеют должностное лицо, надзирающее за их торговлей и которое, подобно венецианскому старосте, независимо от императора. Этот государь вероятно находится в большом подчинении у турок, так как платит им дань в 10 000 дукатов ежегодно. А эта сумма считается только для одного Константинополя, ибо вне этого города он ничего не имеет кроме крепости, лежащей милях в трех к северу, да небольшого городка Салубри, в Греции.

Я жил с одним каталонским купцом и тот рассказал одному из дворцовых офицеров, что я принадлежу к свите герцога Бургундского; тогда император приказал спросить меня, правда ли, что герцог захватил Орлеанскую деву, чему греки не хотели даже верить. Я рассказал им по правде все, что случилось, и они были очень удивлены.

Купцы уведомили меня, что в праздник Сретения Господня будет совершено торжественное богослужение, и повели меня в церковь. Император сидел в конце храма на подушке, а императрица смотрела на церемонию из верхнего окна. Придворное духовенство, служившее обедню, было своеобразно и богато одето; оно пело службу наизусть.

Несколько дней спустя меня пригласили на празднество бракосочетания одного из родственников императора! Там был турнир, по обычаю этой страны, показавшийся мне очень странным. В середине площади был вбит большой шест, к которому была прикреплена доска,

в три фута шириной и в пять футов вышиной. Сорок всадников подъехали к этому месту, не имея иного оружия, кроме короткой палки. Сперва они забавлялись тем, что преследовали друг друга; эта потеха продолжалась с полчаса. Затем принесли 60 или 80 прутьев из бузины. Жених первый взял один из прутьев и на всем скаку старался сломить его об доску; а так как прут дрожал в его руке, то он сломал его без труда: раздались радостные крики и заиграли музыкальные инструменты, подобные турецким накэрам. Другие всадники сломили свои прутья таким же образом. Затем, жених связал два из них. Тем окончилось празднество; все вернулись домой здравы и невредимы. Император с императрицей смотрели на зрелище из окна.

Я намеревался выехать из Константинополя с Бенедиктом Фурлино, послом от герцога Миланского, посланным к туркам. В свите его находились некто Иоанн Висконти и еще семеро дворян. При нем было десять коней, нагруженных багажом, ибо, путешествуя по Греции, необходимо возить с собой все нужное. Мы выехали из Константинополя 23 января 1433 года.

С этим очерком греческой столицы сопоставим описание султанского двора в Адрианополе и турок вообще, сделанное тем же Брокьером. Французскому рыцарю пришлось дважды проезжать по всей Македонии, так как случилось, что султан Мурат II находился в то время в Лариссе, в Фессалии. Картина, изображенная Брокьером в его дневнике, крайне печальна. На всем протяжении от Бургаса на Черном море до Иениге-Базара, страна была покрыта развалинами городов и замков; большинство селений оказались пустынными и заброшенными. Это было после того, как волна турецкого нашествия пронеслась по этой когда-то счастливой и густо населенной стране. Но предоставим самому французскому рыцарю продолжать рассказ:

«Мы не поехали в Лариссу, услыхав, что султан возвращается назад, и ждали его в селении Иениге-Базар, построенном его подданными. Когда султан путешествует, эскорт его состоит из четырех или пятисот коней; но так как он страстно любит охотиться с соколами, то большая часть его свиты состояла из сокольни-

чих и ястребиных помытчиков, которых он очень ценит. Мне рассказывали, что он их держит при себе до двухсот человек. Одержимый этой страстью, он путешествует очень медленно, и эти дни составляют для него развлечение и удовольствие. В Иениге-Базар он вступил под проливным дождем, с пятнадцатью всего всадниками эскорта и дюжиной рабов-стрелков, шедших впереди. Одет он был в пунцовый бархатный камзол, отороченный соболем, а на голове его, как у большинства турок, красовалась пунцовая шапка. Чтобы предохранить себя от дождя, он накинул на свою одежду другую, вроде плаща, по моде той страны.

Он расположился в шатре, привезенном с собою, так как домов нигде нельзя найти, да и провизии также, кроме разве больших городов, и путешественники принуждены все таскать за собою. У султана было множество верблюдов и других вьючных животных. После полудня он вышел из своей палатки купаться, и я мог свободно рассмотреть его. Он был верхом, в той же пунцовой одежде, и его сопровождали шесть пеших конвойных. Я слышал, как он говорил с приближенными, и голос его показался мне глубоким и басистым. Ему было в то время двадцать восемь или тридцать лет, и он уже был очень дороден.

Посол отправил одного из своих приближенных осведомиться, может ли султан принять его в аудиенции, и вместе с тем переслал ему привезенные с собою подарки. Он дал ответ, что теперь занят своими удовольствиями и не расположен слушать о делах; кроме того, его паши в отсутствии, и посол должен или дождаться их возвращения, или ехать обратно в Адрианополь. Синьор Бенедикт согласился на последнее предложение и поэтому вернулся в Кармиссин, откуда мы опять переправились через высокую гору и выбрались на дорогу, проложенную между двух скал, и по которой течет река. Сильно укрепленный замок, называемый Колунг, построен на одной из скал, но теперь он в развалинах. Горы отчасти покрыты мхом и населены злым племенем головорезов.

Наконец прибыли мы в Траянополь, город, построенный императором Траяном; он очень обширен, лежит на

берегу моря и реки Марицы; но теперь в нем мало жителей, так как он почти весь в развалинах.

К востоку от него высится гора, а к югу находится море. Одно из его купаний носит название Святых вод. Далее лежит Вира, древний замок, отчасти разоренный Один грек рассказывал мне, что прежде при церкви состояло триста человек духовенства. Клир до сих пор существует, но турки превратили церковь в мечеть. Они также окружили замок значительным городом, где живут вместе с греками. Он расположен на горе, возле Марицы.

Покинув Виру, мы встретили наместника Греции (бейлер-бея Румелийского), за которым послал султан и который теперь вел с собою сто двадцать всадников, чтобы примкнуть к своему властелину. Он красивый мужчина, родом из Болгарии, был прежде рабом, но так как выказал способность здорово пить, то султан возвысил его на пост губернатора Греции, с доходом в 50 000 дукатов.

Нам пришлось прождать в Адрианополе одиннадцать дней. Наконец прибыл султан в первый день поста. Муфтий, заменяющий у них папу, выехал ему навстречу в сопровождении городских чинов, образовавших длинную процессию. Султан уже находился вблизи города, когда они встретили его, но остановился закусить и послал вперед некоторых из своих приближенных. Он въехал в город не ранее наступления ночи.

Во время моего пребывания в Адрианополе я имел случай познакомиться с разными лицами, жившими при турецком дворе и следовательно хорошо знавшими султана,— они то и сообщили мне о нем много подробностей. Но я и сам часто видел его и скажу, что это человек низкого роста, плотного сложения, с татарским типом лица. У него широкая смуглая физиономия, выдающиеся скулы, круглая борода, большой крючковатый нос и маленькие глазки. Но я слыхал, что он добр, ласков, великодушен и охотно дарит земли и деньги. Доходы его равняются $2^1/_2$ миллионам дукатов, включая и 250 тысяч, получаемых в виде дани. Кроме того, когда он собирает войско, это не только ничего не стоит ему, но даже приносит барыш, ибо войска, которые приводятся к

нему из Азии, платят за провоз в Галлиполи по 3 аспера с каждого человека и по 5 асперов за каждую лошадь, это то же самое, что за переправу через Дунай. Когда солдаты отправляются в поход и берут в плен рабов, султан имеет право выбирать себе по одному из пяти. Несмотря на это, он, говорят, не любит войны, и мне кажется, это сведение основательно. Он в сущности до сих пор встретил так мало сопротивления со стороны христианства, что если бы он употребил всю свою власть и все свое богатство для этой цели, ему было бы легко завоевать большую часть христиан. Любимые его развлечения — охота и соколиная охота, и мне говорили, что у него более тысячи собак и две тысячи дрессированных соколов различных пород. Он любит крепкие напитки и тех, кто их употребляет. Что касается до него самого, то он в состоянии осушить от десяти до двенадцати кубков вина, то есть шесть или семь кварт. Когда он много выпьет, он становится великодушным и делает щедрые подарки, и его приближенные всегда очень рады, когда он приказывает подать вина. В прошлом году один мавр вздумал проповедывать ему об этом предмете, напоминая, что вино запрещено пророком, что кто пьет его, тот нехороший мусульманин. Единственным ответом султана было приказание заключить мавра в тюрьму; затем он изгнал его со своей территории с запрещением когда-либо вступать на нее.

Он очень любит женщин, у него триста жен. Родную сестру свою он выдал замуж за одного из своих пажей, дав им доход в 25 000 дукатов. Некоторые лица определяют его сокровища в полмиллиона дукатов, а другие в целый миллион. Сюда не входит его драгоценная утварь, его рабы, драгоценные украшения для его жен,— последняя статья одна оценена в миллион золотом. Я убежден, что если бы он в течение целого года воздерживался от такой слепой расточительности, то он бы мог отложить целый миллион дукатов, никому не повредив.

Время от времени он являет замечательные примеры правосудия, и это обеспечивает ему полное повиновение. Он также умеет держать свою страну в великолепном состоянии обороны, не обременяя турок налогами и дру-

гими вымогательствами. Его охрана состоит из пяти тысяч человек, включая всадников и пехотинцев. Но в военное время он не увеличивает им жалованья, так что он тратит не более чем в мирное время, в противоположность тому, что бывает в других странах. Главные его сподвижники четверо пашей или визирей. В распоряжение этих сановников предоставлено все, что касается его самого и его штата, и никто не может говорить с султаном иначе, как через их посредство. Когда султан находится в Греции, то греческий наместник имеет начальство над армией, когда же он в Турции, то есть в Малой Азии, то начальство над войском принадлежит турецкому наместнику Анатоли Бейлер-бею. Султан роздал много больших владений, но он может вернуть их по произволу. Вдобавок те, кому он дал эти владения, обязаны служить ему во время войны с известным количеством войск на свой счет. Таким образом Греция снабжает его тридцатью тысячами людей, которых он может вести куда ему угодно, а Турция десятью тысячами, для коих он обязан только поставлять продовольствие. Если бы ему понадобилась более значительная армия, то одна Греция, как меня уверяли, могла бы выставить ему еще 120 тысяч войска,— но за эти он уже должен платить. Пехота получает по пяти асперов, а конница — по восьми. Я однако слыхал, что из этих 120 тысяч только половина, то есть конница, вооружены мечами и щитами; остальная часть войска состоит из пехотинцев, в жалких одеждах; кто имеет щит без меча, кто меч без щита, кто наконец без всякого оружия, кроме дубины. То же самое и с пехотой, поставляемой турками,— половина ее вооружена дубинами. Турецкая пехота однако ценится гораздо выше греческой, так как турки обыкновенно считаются лучшими воинами.

Другие лица, свидетельство коих я признаю авторитетным, сообщили мне впоследствии, что войска, которые обязаны поставлять Турция, когда султану необходимо сформировать армию, равняются 30 000 человек, а Греция — 20 000 человек, не считая двух-трех тысяч его собственных рабов, которых он хорошо вооружает. В числе этих рабов много христиан. Попадаются также христиане среди войск из Греции — это албанцы, бол-

гары, а также жители других местностей. В последней греческой армии были три тысячи сербских всадников, посланных деспотом сербским под начальством одного из своих сыновей. Эти люди пришли служить султану с великим сокрушением, но не посмели отказаться.

Паши прибыли в Адрианополь три дня спустя после своего повелителя и привели с собою часть его подданных и болгар. Для перевозки всей клади было употреблено до ста верблюдов и до двухсот пятидесяти мулов и лошадей, так как у этого народа повозки не в ходу.

Синьор Бенедикт с нетерпением ждал аудиенции и осведомлялся у пашей, может ли он видеть султана. Ответ был отрицательный; причина этого отказа заключалась в том, что паши пили с султаном и были все пьяны. На другое утро, впрочем, они дали знать послу, что они могут принять его, и он сейчас же отправил к ним подарки: таков здесь обычай, что никто не может говорить с ними иначе, как принеся подарок. Даже рабы, сторожащие у ворот, не изъяты из этого правила. Я сопровождал посла в его визите на следующий день; он один был верхом, а мы все пешие.

Перед двором мы застали множество людей и коней. Ворота охранялись тридцатью приблизительно рабами, вооруженными дубинами, и под начальством особого командира. Если бы кто-нибудь попробовал войти без разрешения, они приказывали ему удалиться, в случае же ослушания они гнали его своими дубинами. Всякий раз, как султан принимает посольство или получает послание, что случается почти ежедневно, у него сторожат ворота.

Когда посол вошел, его усадили возле дверей вместе со многими другими лицами, ожидавшими, чтобы султан вышел из своих покоев и открыл прием. Сперва вышли трое пашей с правителем Греции и другими важными сановниками. Покои султана выходили на очень широкий двор, и правитель вышел туда, чтобы ждать его. Наконец появился и султан, одеяние его состояло по обыкновению из пунцового атласного камзола, поверх которого было накинуто в виде плаща, другое одеяние из зеленого узорчатого атласа, обшитое соболем. Отроки сопровождали его, но только до входа, и затем верну-

лись обратно. При нем никого не было, кроме карлика и двух молодых людей, исполнявших роль шутов. Он пересек угол двора к галерее, где был приготовлен для него трон. Это был род ложа, покрытого бархатом, с ведущими к нему четырьмя — пятью ступенями. Он сел на это ложе, в такой позе, как сидят у нас портные, а все трое пашей остановились поодаль. Остальные офицеры также вошли в галерею и встали у стен на сколько могли дальше от султана. Снаружи, но обращенные к нему лицом, восседало двадцать человек валашских дворян, которые были удержаны в качестве заложников, чтобы их соотечественники вели себя хорошо. В галерее стояло до ста жестяных блюд с бараниной и рисом. Когда все разместились, вошел господарь из Боснии, имевший притязание на корону Боснии и следовательно явившийся сюда с намерением поклониться султану за эту корону и просить его покровительства против ныне царствующего короля. Его отвели на место рядом с пашами, и когда появилась его свита, тогда послали и за послом из Милана. Он явился со своими людьми, несущими подарки, которые положены были возле жестяных блюд. Лица, особо назначенные для принятия подарков, высоко подняли их над головами, чтобы султан и двор могли их видеть. Пока все это происходило, синьор Бенедикт медленно расхаживал по галерее. Появилось высокопоставленное лицо, чтобы представить его. Войдя, синьор Бенедикт поклонился, не снимая однако шляпы, и очутившись около трона и около особы султана, он отвесил другой, очень низкий поклон; тогда монарх встал, сошел две ступени на встречу послу и взял его за руку. Посол хотел поцеловать ему руку, но султан отказался от этой чести, и чрез посредство переводчика, знавшего языки еврейский и итальянский, спросил его, как поживает его брат и сосед — герцог Миланский. Посол, быстро ответивший на этот вопрос, был отведен к креслу возле босняка, все время пятясь назад, то есть лицом к султану, согласно этикету. Султан подождал, пока сядет посол, и уже затем занял свое место; лицо, введшее самого посла, вернулось тогда за нами, его свитой, и поместило нас возле босняков.

В то же время принесли шелковую салфетку, подвя-

зали ее султану и перед ним был положен круглый кусочек тонкого красного сафьяна, так как у них обычай есть только с сафьянных скатертей. Затем перед султаном поставили два золоченых сосуда с мясом. Когда ему подавали мясо, упомянутые чиновники взяли жестяные миски, расставленные по галерее, и роздали содержимое в них всем присутствовавшим — по миске на четыре человека. В каждой миске было немного баранины с рисом, но не было ни хлеба, ни питья. Я заметил однако в углу галереи высокий поставец с полками, и на них между прочим большую серебряную вазу в форме кубка; многие из нее пили, но что именно,— вино или воду — не могу определить. Что касается мяса в мисках, то некоторые отведали его, другие же не ели вовсе; но прежде даже, чем успели всем подать, пришлось совсем унести кушанье, ибо султан не был расположен есть. Он никогда ничего не ел при народе, и немногие могут похвастаться, что видели его говорящим или кушающим и пьющим. Когда он уходил, заиграла музыка, а также и пели хором песни о подвигах турецких воинов. Когда что-либо особенно нравилось публике в галерее, она выражала удовольствие по своему, страшными криками. Не зная, на чем играют музыканты, я отправился на двор и увидал, что они играют на струнных инструментах большого размера. Потом музыканты вошли в приемную и принялись есть что осталось. Наконец все было убрано и все встали; посол еще не сказал ни слова о своем поручении; это не в обычае на первой аудиенции. Существует еще другой обычай, что после представления посла султану, последний должен снабжать его известной суммой на ежедневные расходы до тех пор, пока не пошлет ему окончательного ответа, до двух сот асперов в день. Поэтому, на другой день, один из чиновников казначейства, тот самый, что ввел синьора Бенедикта ко двору, прибыл с упомянутой суммой. Вскоре после того, появились и рабы, охранявшие ворота, получать что им полагается. Впрочем, они довольствуются безделицей.

На третий день паши уведомили посла, что они готовы выслушать от него предмет его поручения к султану. Синьор Бенедикт немедленно отправился ко двору, и я сопровождал его. Но султан уже закрыл свою ауди-

енцию и уходил; оставалось только трое пашей с бейлер-беем, правителем Греции. Пройдя в ворота, мы застали этих четверых чиновников сидящими на бревнах, случившихся возле галереи. Они тотчас же пригласили посла изложить причину своей миссии и велели положить перед собой ковер, на котором тот и уселся, как подсудимый перед своими судьями, хотя при этом присутствовало много народу. Он объяснил предмет своей миссии, состоявшей в том, чтобы просить их властелина от имени герцога Миланского, чтобы он уступил Римскому императору Сигизмунду Венгрию, Валахию, Болгарию до Софии, Боснию и часть занимаемой им теперь Албании, зависимой от славянских земель. Паши отвечали, что пока они не могут дать решительного ответа, но что они уведомят о том султана, и посол получит его ответ в течение десяти дней. Существует еще другой обычай, что посол не может говорить с султаном лично; это постановление сделано после того, как дед нынешнего султана был убит послом из Сербии. Посланец этот прибыл с целью вымолить облегчение судьбы его соотечественников, которых султан хотел обратить в рабство. Доведенный до отчаяния тем, что ему не удавалось достигнуть цели, он пырнул султана кинжалом, и сам был растерзан минуту спустя.

В назначенный, десятый день, мы отправились ко двору за ответом. Султан опять был там и восседал на своем троне; но с ним были в галерее лишь те, которые накрывали его стол. Я не видал на этот раз ни буфета, ни музыкантов, ни господаря Боснийского, ни валахов, а только Магнолия, герцога Кефалонийского, обращавшегося с султаном с почтением покорного слуги. Даже паши стояли за дверями, в некотором отдалении, а также и лица, замеченные мною на первой аудиенции, только что число их было теперь гораздо меньше. Пока мы дожидались снаружи, главный кади со своими помощниками правил суд у наружных ворот дворца, и я видел, как многие иностранцы-христиане приходили к нему излагать свои дела. Но когда султан встал, все судьи окончили свое заседание и разошлись по домам. Я видел, как султан проходил со своей свитой в главный двор, которого я не имел случая видеть в прошлое мое посещение.

На нем был кафтан зеленого цвета с золотом, довольно роскошный, и мне показалось, что походка у него торопливая. Когда он вернулся в галерею, паши поместились, как и в прошлый раз, на деревянной завалинке; их ответ был таков, что повелитель их поручает им передать поклон его брату, герцогу Миланскому, и сказать, что он очень желал бы исполнить желание герцога, но что его теперешнее требование просто неблагоразумно; именно, из уважения к нему, султан воздерживался от распространения своих завоеваний дальше в Венгрию, что́ он легко мог сделать, и такая жертва должна бы удовлетворить его (герцога Миланского), но было бы слишком многого ожидать от султана, чтобы он отдал все, завоеванное мечом; что при теперешних обстоятельствах ни у него, ни у его войск нет другого театра для военных действий, как территория императора, и что ему тем тяжелее отречься от своих замыслов, что он до сих пор никогда не встречал сил императора, не побеждая их или не обращая в бегство, и это хорошо известно всему миру.

Посол прекрасно знал, что все это правда и был свидетелем последнего поражения Сигизмунда при Голубаце; в ночь, предшествовавшую битве, он даже покинул лагерь императора и отправился к султану.

Получив такой ответ от пашей, посол вернулся в свою квартиру. Но едва успел он прийти туда, как получил от султана 5000 асперов и платье из пунцового штофа, обшитое золотой парчой. Тридцать шесть асперов стоят венецианский дукат Но из этих пяти тысяч асперов султанский казначей удержал себе 10 процентов, в виде вознаграждения за свою службу.

Во время моего пребывания в Адрианополе мне случилось видеть еще один подарок, сделанный султаном одной невесте в день ее свадьбы. Эта невеста была дочерью бейлер-бея, правителя Греции. Дочери одного из пашей было поручено вручить подарок невесте. Ее сопровождала свита в тридцать женщин. Ее платье было из пунцовой материи, затканной золотом; лицо ее покрыто, согласно обычаю, очень богатым вуалем, украшенным алмазами. У дам ее свиты были также роскошные покрывала и платья из пунцового бархата и золо-

той парчи, но без меховой опушки. Все они ехали верхом как мужчины и у иных были очень красивые седла. Во главе процессии ехало 13 или 14 всадников и двое музыкантов также верхами, как и прочие музыканты, снабженные трубой, огромным барабаном и до восьми пар кимвалов, при помощи коих они производили страшнейший шум. За музыкантами ехали носители подарков и наконец уже дамы. Подарки состояли из семидесяти широких жестяных подносов, нагруженных разными сластями, и двадцати других подносов, с положенными на них баранами, расписанными красной и белой краской и имеющими серебряные кольца, продетыми в ноздри и уши.

Находясь в Адрианополе, я не раз имел случай видеть христиан в цепях, привезенных сюда для продажи. Несчастные просили милостыню на улицах; сердце мое обливается кровью при одном воспоминании о выносимых ими страданиям.

Брокьер выехал из Адрианополя вместе с синьором Бенедиктом 12-го марта. Мы не будем следовать за ними в их путешествии по Македонии, Болгарии и Сербии, хотя эти описания очень интересны и полны очень ярких очерков страны, ее обитателей и событий, бросающих свет на истинное положение дел на Балканском полуострове незадолго до падения Константинополя.

## Глава IV

В октябре 1400 года, Эмануил Палеолог, император византийский, был в гостях у Генриха IV, короля английского. Все, что известно об этом посещении, сводится к словам старого Гэклюита, который цитирует Томаса Вальзенгэма: «император константинопольский прибыл в Англию искать помощи против турок; король в сопровождении своего дворянства встретил его в Блэкхите в день св. Фомы апостола, принял его как подобает такому государю, привез его в Лондон и по-царски угощал его продолжительное время, осыпая многочисленными

подарками. Немного спустя император очень довольный выехал из Англии, король почтил его многими дорогими подарками».

Прежде чем приехать в Англию, император гостил у короля Карла VI в Париже. Французский королевский историограф, анонимный монах из Сен-Дени, оставил много интересных подробностей о посещении императора. Он говорит, что император был облечен в одежду из белого шелка, что он ехал верхом на белом коне, с которого слез с необыкновенной грацией, как только узнал о приближении короля французского.

«Император»,— прибавляет хроникер, «человек среднего роста, но его широкая грудь, мускулистые члены, благородные черты лица, его длинная борода и седые волосы привлекали все взоры; всякий соглашался, что он действительно достоин носить императорскую корону!»

Этот человек, красота и благородство которого произвели такое глубокое впечатление на парижан 1400 года, был отец Константина, последнего императора византийского. Его мать, Ирина, была дочь Константина Драгаша, занимавшего некоторое время северо-восточную часть Македонии в качестве независимого, а затем вассального владетеля. Через отца Ирина была в близком родстве с сербской королевской династией Неманичей, знаменитой своим умом, похвалявшейся тем, что получила приток свежей, благородной французской крови через посредство принцессы Елены де Куртнэ, которая, будучи сербской королевой (1282—1308), оказывала большое влияние на политику Балканских государств.

До сих пор не найдено ни одного подлинного портрета последнего императора византийского. Но так как он наследовал чистейшую благородную кровь от своего красивого, даровитого отца, истого Палеолога, а от своей, по всей вероятности, также красивой, и без сомнения талантливой, добродетельной матери он мог наследовать только физические и умственные качества, которыми так изобиловал величайшей из сербских государей — царь Стефан Душан,— то надо думать, что его наружность была столь же благородна, как его жизнь и кончина. Современник его и личный друг, Франциско Филельфо дает о нем лучшее описание в письме к королю фран-

цузскому (от 13 марта 1450 г.), называя Константина человеком «благочестивой и возвышенной души». Константин родился 9 февраля 1404 года, восьмым из десяти детей Эмануила Палеолога и Ирины Драгаш. Все сыновья их оказались более или менее богато одаренными природой; но в то время как Иоанн, Андроник, Феодор, Димитрий и Фома были очень честолюбивы и даже эгоистичны, Константин был прост, честен, не себялюбив и прямодушен. Братья его преимущественно отличались в дипломатии, а он был единственным воином изо всей семьи своей. Когда слабость империи и разлад во внутренней политике усилились, благодаря ненасытной алчности его братьев, он, насколько известно, старался умиротворить их, и всегда был готов пожертвовать собственными благами в пользу ближних, недовольных своими. Его преданность военной карьере, его бескорыстие и серьезность, а также и хорошо известная любовь его к справедливости доставили ему решительное влияние над семьей и народом. Так и случилось, что когда император Иоанн VII принужден был осенью 1417 года выехать на собор в Ферраре (позднее перенесенном во Флоренцию), то регентом империи выбран был не Феодор, второй брат императора, а Константин, бывший гораздо моложе его. Без сомнения, этот выбор мотивировался тем соображением, что уже тогда он пользовался славой хорошего воина, и что считали желательным поставить во главе правления кого-нибудь, кто внушил бы народу доверие, в случае, если б турки внезапно напали на Константинополь в отсутствие императора.

Хорошо понимая недостаточность военных сил своей страны и превосходство турецких сил по численности и организации, Константин был глубоко убежден, что без военной помощи со стороны западных держав грекам не удастся удержать на долгое время даже тень своей древней монархии. В таком убеждении он горячо и искренно желал объединения церквей — греческой и латинской. В этом он решительно не соглашался с большинством греческого народа и с некоторыми из своих родных братьев. Его политические взгляды получили практическое применение, когда он стал управлять Пелопонесом во второй раз, почти как независимый власти-

тель. Предполагаемый наследник, принц Феодор, в 1443 году, неожиданно пожелал обменять свои владения в Пелопонесе на Селимврию, где правил Константин. Последний, всегда готовый оказать услугу, с удовольствием исполнил желание своего брата и с 1444 года мы уже застаем его деспотом Мизитры.

Сочувствуя проекту лиги христианских держав против турок, он сразу начал собирать войско в Пелопонесе и усиливать свои укрепления, воздвигнув стену на узком перешейке Гексамилионе. Уведомленный папой, что король Владислав венгерский и польский и знаменитый Гуниади идут на Андрианополь, Константин немедленно напал в северной Греции на сосредоточенные там турецкие силы. Он одержал победу в различных столкновениях, и шел с целью очистить Ахею и от турок, и от власти последнего французского ее владельца, герцога Нерио; но вдруг до него дошло известие, что венгерская армия разбита турками при Варне (10 ноября 1444 г.) и он должен был снова отступить в Пелопонес.

Император Иоанн и его советники были слишком хитры, чтобы скомпрометировать себя в глазах султана. Они не послали вспомогательного отряда на помощь христианской армии под начальством Гуниади, а также не сделали ни малейшего усилия, чтобы помешать переходу турецких сил из Азии в Европу. В Константинополе была сильная туркофильская партия, и ей часто удавалось навязывать свою программу императору. Эта программа состояла в соблюдении пассивного образа действия, с целью избегать нападения со стороны султана. В доказательство мудрости своей политики, туркофильская партия могла указать не только на венгерскую катастрофу при Варне, но также и на бедственные последствия, постигшие антитурецкую политику простого патриотического воина Константина. Султан Мурад произвел нашествие на Грецию (осенью 1446 г.), штурмовал крепости на перешейке (4 декабря) и распустил по полуострову свою вольную кавалерию, которая грабила, резала и разрушала все, попадавшееся на ее пути. Греки громко заявляли, что сражение при Гексамилионе было проиграно только вследствие измены албанских волонтеров. Как бы то ни было, Константин принужден был просить мира

у султана, выражая готовность занять положение вассала и платить ежегодную дань. Мир был заключен, а весною 1447 года Константин и брат его Фома лично ездили в Фивы выражать верноподданические чувства султану Мураду II.

Народ Мореи страшно страдал под игом турецкого нашествия. Не менее 60 000 мужчин и женщин были уведены в плен. Пострадавшие возлагали всю ответственность на Константина; туркофилы в Константинополе громко выражали свое негодование по поводу западнической латинофильской политики Константина. И даже те, кто ни на минуту не сомневался в искренности патриотических мотивов Константина и вообще в разумности его программы, не могли не признать, что какой-то странный рок был единственным результатом его патриотизма и мудрости. Тогда-то и начало распространяться между суеверными греками впечатление, будто Константин родился под «несчастной звездой».

Впечатление, что он «человек несчастный», подтверждалось вероятно несчастиями, случившимися с ним лично. На двадцать четвертом году он женился на Феодоре Токко (1-го июля 1428 г.), принесшей ему в приданое наследственное владение городом Кларенцой. Но уже в ноябре 1429 г. жена его умерла, оставив Константина вдовцом вплоть до лета 1441 года, когда он, по настоянию брата своего, императора Иоанна, женился на Катарине Гаттилузио, племяннице Франческо Гаттилузио, принца Лесбийского. Но и эта вторая жена умерла скоропостижно на острове Лемносе в августе 1442 г. по пути в Константинополь со своим мужем. В период между 1444 и 1448 годом Константин не раз пытался вступить в третий брак, но ни сватовство его на Изабелле Орсини дель Бальцо, сестре принца Тарентского, ни на дочери дожа Венецианского не оказались успешными. Потом император намеревался жениться на Анне, дочери Луки Нотараса, адмирала греческого флота, но план этот был оставлен, потому что Константин был призван к более возвышенным судьбам.

Император Иоанн VII умер 3-го октября 1448 года. Константин был теперь старшим из оставшихся в живых сыновей Эмануила II, и не было ни малейших сомнений

насчет его законных прав на престолонаследие после покойного императора. Но его младший брат, беспокойный, честолюбивый, недобросовестный Димитрий один присутствовал у смертного одра императора Иоанна, и его сторонники стали серьезно подумывать о провозглашении Димитрия императором, вопреки правам Константина. Законным предлогом они выставили то обстоятельство, что Димитрий родился порфирородным — был сыном царствующего императора, между тем как Константин родился прежде, чем отец его вступил на престол. Независимо от этих соображений, были и другие обстоятельства, подбодрявшие сторонников Димитрия. Принц Димитрий был хорошо известен в Царьграде и Адрианополе своими туркофильскими симпатиями, между тем как деспот Константин слыл за ревностного приверженца союза с латинянами. И когда, несколько дней спустя после похорон покойного императора, султан сокрушил венгерскую армию под начальством Гуниади при Коссове (18 октября 1448 г.), шансы туркофила Димитрия значительно пересилили шансы злополучного друга разбитого венгерского героя христианской лиги. Без сомнения, императрица Ирина, уважаемая мать Палеологов, все еще пользовавшаяся большим влиянием в кружке императорской фамилии, отстаивала права своего сына Константина, к которому была сильно привязана. Наиболее влиятельные государственные люди, например, Эмануил Кантакузен и Лука Нотарас также держали сторону Константина. Также вел себя и Фома, младший брат, приехавший в Константинополь 13 ноября. Но аргументы сторонников принца Димитрия основывались не столько на личных, сколько на общественных основаниях, на политическом благе государства. Наконец пришли к соглашению: к султану решили немедленно послать гонца с вопросом— намерен он или нет признать деспота Константина императором? Быть может, это было единственным средством, чтобы предотвратить междоусобную войну, или же нападение со стороны турок, но эта мера явно доказывает возрастающую слабость империи и недостаточно сильное чувство достоинства.

Султан Мурад II был человек безусловно честный и прямодушный. Он терпеть не мог недобросовестности и

за все свое царствование славился честным выполнением всех обязательств Порты. Было бы прямой политической выгодой для Турции возбудить раздоры в Константинополе, или по крайней мере посадить на престол государя, который был доказанным, признанным туркофилом. Однако султан Мурад, не колеблясь, заявил, что признает Константина императором, потому что греческий престол по праву принадлежит ему.

Принц Димитрий и его сторонники были сильно смущены, но они были настолько благоразумны, что сочли вопрос окончательно решенным. В декабре выехала из Константинополя в Пелопонес специальная депутация, под начальством старца Эмануила, который вез с собою знаки императорского сана. В день св. Крещения, 6 января 1449, Константин был коронован в Мизитре базилевсом всех греков.

12-го марта того же года он вступил в Константинополь и был горячо приветствован гражданами. Он сразу выказал свой примирительный дух. Брату Фоме он отдал титул деспота, самый высокий после титула базилевса, а брату Димитрию уступил Мизитру, со всеми провинциями, которыми он раньше управлял. Прежде чем эти два принца покинули Константинополь, их потребовала к себе их мать, императрица Ирина, и заставила поклясться, что они будут жить в братском согласии и взаимной верности. Это была последняя драматическая церемония, в которой престарелая императрица, уже облеченная в темные монашеские одежды, явилась центральной фигурой, окруженной своими тремя сыновьями и всей пышностью византийского двора. Она умерла вскоре после этого, 23 марта 1450, и хотя деспот Фома и принц Димитрий скоро позабыли о своих торжественных клятвах, но император Константин всегда отзывался о матери не иначе, как с высоким уважением и искренней любовью.

Константин доказал свой примирительный дух и осторожность. Когда он вступил в Константинополь, многие советовали ему повторить церемонию коронования в св. Софии, так как иные сограждане столицы могут не поверить, что он провозглашен базилевсом. Это была одна из тех тем, в которых были тесно перепутаны политические и богословские вопросы, и обсуждение которых

было особенно дорого византийскому уму. Но Константин отказался последовать этому совету; положение его было законно с канонической точки зрения и церемония посвящения на царство, совершенная в скромной церкви Мизитры, была также действительна, как если бы она была совершена с подобающей пышностью у алтаря св. Софии. Политические мотивы, приведенные им в подкрепление своего отказа, кажутся нам еще более интересными: вторичное коронование в Константинополе снова открыло бы распрю между сторонниками союза с латинской церковью и его противниками. Император желал прочного установления внутреннего мира и согласия с султаном и поэтому хотел избегнуть щекотливого вопроса о сношениях Восточной церкви с римским престолом.

Эта политика воздержаний от всего, что может растревожить турок, была вызвана обстоятельствами того времени. За последние пять лет венгерские войска, пытавшиеся сломить могущество султана, все были отражены с большим уроном, и королевству Венгерскому, единственному безопасному базису против турок, требовалось время, чтобы привести в порядок свои собственные силы. И потом, не могло быть и речи об образовании христианской лиги, пока Англия и Франция воевали между собой!

Эта выжидательная, пассивная политика, преследуемая не только последними и новыми императорами Константинополя, но также и деспотом Георгием сербским, была встречена сочувственно политикой султана Мурада и его великого визиря Халила-Паши-Чендерли. Обоим государственным деятелям казалось, что интересы Турецкой империи прежде всего требуют упрочения ее положения в Европе; по их мнению, она должна была прочно укрепить свою власть на обширных территориях, покоренных ею с такой поразительной быстротой, и окончательно поработить соседние балканские народы установлением административного и военного управления. Всего этого они думали достигнуть с помощью политики умеренности и соглашений, которая внушит грекам и сербам уверенность, что им не угрожает непосредственной опасности от турок, что соглашение будет добросовестно соблюдаться, и следовательно нет никакой надобности спе-

шить с образованием лиги христианских наций против мусульманской власти в Европе.

При таких обстоятельствах первые два года царствования Константина прошли мирно. Он оставил в стороне вопрос о воссоединении церквей и поддерживал дружеские отношения с Оттоманской Портой и православной Сербией. Он делал все, что было в его силах, чтоб удержать своих беспокойных братьев в Пелопонесе от открытого столкновения и подумывал о приискании себе супруги. Его верный друг, Францез, уже в октябре 1449 выехал из Константинополя с целью отыскать супругу для императора при дворах Требизонды и Иверии.

Однако, это идиллическое спокойствие не могло долго продержаться. Султан Мурад умер 5 февраля 1451 года и на престол вступил его старший сын, Магомет II.

Новый султан, совсем еще молодой человек, не достигший и двадцати одного года, был вообще признан неспособным и слишком преданным удовольствиям. Такое мнение составилось о нем на том основании, что он раз уже был на престоле, и когда в 1444 году наступил момент великой опасности, то его собственный великий визирь Халил счел своим долгом снова призвать к власти старого султана Мурада.

Государственные деятели, однако, близко знакомые с событиями и людьми при оттоманском дворе, например, сербский деспот Георгий, греческий министр Францез и послы из Венеции и от герцога миланского, хорошо знали, что Магомет пылкий, честолюбивый юноша с большими личными дарованиями.

Под влиянием своей мачехи, Мары Бранкович, одной из самых культурных женщин той эпохи, и нескольких греческих ренегатов, бывших при турецком дворе, Магомет II приобрел страстную охоту к чтению и очень ценил греческие и латинские сочинения об Александре Македонском, Кире, Юлии Цезаре и Феодосии Великом. Мара принимала такое живое участие в воспитании наследника, и цивилизующее ее влияние было так велико, что многие современные писатели считали ее родной матерью султана Магомета.

Но у Магомета была пеласгийская кровь в жилах, так как он был сыном красавицы, албанской рабыни. В

сущности он был типом высокообразованного восточного государя, выросшего под влияниями, идущими из возрождающейся Европы. К знанию языков, он изучил арабский, греческий, латинский и славянский, и к природной склонности к историческим сочинениям он присоединял любовь к персидской поэзии, к астрономии. Он пробовал свои силы в персидском стихотворстве и глубоко заинтересовался предсказаниями астрологии. Он был темперамента холерического, следовательно впечатлительный, но лишь только выступали на сцену вопросы политические, он выказывал себя большим мастером по части хитроумной скрытности. Юношей он был глубоко религиозен, но потом очевидно попал в кружок турецких вольнодумцев и в их обществе часто позволял себе шуточки на счет великого пророка. Полный благородного честолюбия, умный, храбрый, он справедливо считается одним из величайших людей среди оттоманских турок.

Первые поступки юного султана имели весьма примирительный характер. Он удержал у себя Халила-пашу на посту великого визиря и этим доказал желание продолжать отцовскую политику. Когда прибыли послы от императора константинопольского и деспота сербского с обычными подарками и поздравлениями, Магомет принял их очень милостиво. Он торжественно взял на себя обязательство жить в мире с их государями и добросовестно блюсти договоры, заключенные с ними его отцом. Он отделил своей мачехе, султанше Маре, богатые владения в Македонии и дал ей разрешение вернуться к своему отцу. Грекам он обещал выплачивать ежегодно 300 000 асперов (10 000 венецианских дукатов), чтобы они содержали приличным образом Орхана-эфенди, оттоманского принца, внука Баязета Ильдерима, нашедшего убежище в Константинополе. Для обеспечения таких взносов, некоторые города в Македонии получили приказание платить свои подати непосредственно особым сборщикам, назначенным греческим императором. Это подало повод к слухам, будто юный султан так желает заручиться расположением соседей своих, греков, что уступил императору известные части Македонии.

Другим доказательством такого расположения была просьба султана к старому деспоту Георгию, чтобы он

водворил прочный мир между Портой и Венгрией. Послав нескольких уполномоченных в Смедерево, столицу Сербии, султан сам, летом 1451 г., переправился в Малую Азию, для усмирения мятежа беспокойного оттоманского вассала, эмира Карамании.

Князь Георгий Бранкович сербский или вернее «деспот» Георгий сербский, как он был известен своим христианским современникам, был одним из самых замечательных людей того времени. Кавалер де ла Брокьер, посетивший его в 1433 г., говорит с восторгом о его почтенной наружности, великом богатстве и пышном дворе. Другой современник, Франциско Филельфо, в своих письмах к дожу венецианскому и к французскому королю, описывает Георгия, как «одного из самых разумных и могущественных государей своего века». Третий, столь же знаменитый современник Эней Сильвий Пикколомини, впоследствии папа Пий II, говорит о нем, что и по своей наружности и в других отношениях, он заслуживал полного уважения,— жаль только, что он принадлежал к греческой церкви!

Владея множеством обширных земель в Венгрии, он состоял членом венгерской палаты господ и был почти выбран регентом Венгрии вместо Яна Гуниади (1445). Его считали чуть ли не членом императорской фамилии в Греции, так как его первая жена, Мария Комнена была дочерью императора Алексея Комнена Требизондского, вторая жена, Ирина, дочерью Эмануила Кантакузена, а сын, Лазарь, женился в 1445 г. на дочери деспота Фомы Палеолога, племяннице императора Константина Драгаша. Деспот Георгий имел значительное влияние также и на Порту, частью благодаря дочери своей Маре, вышедшей в 1436 г. за султана Мурада II, а частью вследствие богатых подарков, часто делаемых пашам и визирям султана. По вступлении на оттоманский престол Магомета II, Георгий Бранкович был самым влиятельным и могущественным повелителем между Карпатами и Босфором и в виду этого венгерские и турецкие уполномоченные встретились в его столице, чтобы вести переговоры о мире под его руководством.

В турецкой свите находился один грек, по всей вероятности, в качестве переводчика. Он был пылким пат-

риотом и одарен истинной политической дальновидностью. Когда бы он ни встретился наедине со старым деспотом Георгием, он всегда умолял его помешать заключению мира, «ибо если султан заручится миром с венгерцами, он будет иметь свободу ударить по Константинополю!» Францез рассказывает этот факт, но прибавляет, что «деспот никогда даже не поворачивал головы на это замечание, а тем менее желал рассуждать на эту тему!»

Невероятно, чтобы опытные государственные люди, о которых Филельфо и Эней отзывались так высоко, не понимали всех этих обстоятельств. Но по-видимому рок тешится, одурачивая самых разумных людей. В августе месяце, когда происходили переговоры в Смедереве, не было решительно никаких оснований опасаться немедленного нападения на Константинополь. Разве султан не дал достаточных доказательств своего искреннего желания жить в мире с соседями? Не представлялось даже никакого предлога к подобному нападению, и не было вероятности, чтобы греки затеяли пустую ссору. Кроме того султан удержал у себя великим визирем Халила, старинного, личного друга деспота Георгия и греческих императоров, мудрого государственного человека, очень хорошо знавшего, что ускорить такое нападение значило бы ускорить образование европейской христианской коалиции, и таким образом скорее причинить упадок юной Оттоманской империи в Европе, нежели привести к завоеванию Византийской столицы.

Однако, хотя все эти признаки и вероятные аргументы и указывали на долгий, мирный период, но деспот Георгий, человек исключительно компромиссов, счел лучшим дозволить заключение только двухлетнего перемирия между Портой и Венгрией, вместо мирного трактата.

Среди греческих государственных людей и вообще в Константинополе преобладало мнение, что нельзя ожидать непосредственной опасности. Положение так мирно, небо так безоблачно, что единственным вопросом, достойным внимания, казалось бракосочетание самого императора.

Константин уже достиг того возраста, когда браки по страсти часто уступают более прочным и разумным союзам. Народ ждал, что его дважды овдовевший император

снова женится благоразумно и рассудительно. Услыхав некоторые намеки от протостраторисы Палеологины, тетки султанши Мары, он задался вопросом, не может ли в самом деле султанша, с ее семейными связями и по своему влиянию при Порте, принести значительные политические выгоды греческому престолу? Конечно, она была уже не молода,— Франдез считал ее на два — три года старше Константина, но она была все еще красива, полна достоинства, высоко образована и вследствие своей благотворительности любима и уважаема бедняками и духовенством. Вдобавок ко всему этому, отец Мары был известен всему Востоку своим громадным богатством и, как мачеха царствующего падишаха, она считалась очень богатой сама по себе. Однако, как часто случается с людьми меча, теряющими мужество перед тенью женщины, Константин не проговаривался о своих мечтах и намерениях ни перед кем из придворных. К счастью, он получил два интересных сообщения, одно от своего друга и посла Франдеза, а другое от самого деспота Георгия.

Письмо от Франдеза было бы достаточно интересно, даже если бы в нем не заключалось ничего иного кроме разговора автора с королем иберийским. У короля была дочь — красавица. Франдез пожелал узнать, как велико будет ее приданое, если император женится на этой принцессе. Король возразил, что если он не даст денег за дочерью, то он надеется получить деньги через ее посредство, и Франдез не мог удержаться от величайшего удивления.— Хорошо, возразил король, известный своей обширной начитанностью,— сколько ты хочешь? Ведь в каждой стране свои обычаи и привычки.

Но были и другие интересные вещи в этом письме. Прибыв ко двору императора Алексея Комнена Требизондского, который имел нескольких взрослых дочерей, посол отправился однажды во дворец для частной аудиенции с императором. Алексей встретил его вопросом: ну, что скажешь мне нового? И затем известил его, что султан Мурад II умер, и что новый султан Магомет II послал с большими почестями свою мачеху Мару к отцу ее, деспоту Георгию. Алексей, будучи двоюродным братом Мары, действительно знал все касающееся ее. Франдез позабыл об иберийской красавице и невестах-дочерях

Комнена, и счел что самым подходящим браком для его господина и друга будет союз с Марой Бранкович.

Не подозревая личной склонности Константина, он написал пространное письмо, в котором выставлял ему все выгоды, приобретаемые этим браком и отвечающие заранее на все возможные возражения. Одним из возражений было их близкое родство, но Францез рассудил, что так как Мара всегда была щедра к церкви и духовенству, то нет сомнения, что церковь скоро даст требуемое разрешение.

Сообщение от деспота Георгия было в таком же духе. Старик был чрезвычайно честолюбив и положительно желал бы видеть дочь свою императрицей Константинополя. Он предложил Константину богатое приданое и другие преимущества.

Константин не колебался долее. Он отправил своего родственника, протостратора Эмануила Палеолога к сербскому двору формально просить руки Мары. Эмануил был очевидно выбран потому, что имел родственные связи с Кантакузенами и следовательно будет принят не только как друг, но как родич при дворе, где царила с большой пышностью Ирина Кантакузен, сравнительно молодая жена старого деспота.

Но комбинация, так тщательно продуманная двумя дальновидными государственными людьми, была разрушена волей женщины. Мара, хорошо известная своей деликатностью, тонким тактом и политической дальновидностью, с большим достоинством объявила своему отцу и послу императора, что она намерена посвятить остатки дней своих Богу и поэтому должна отказаться от руки императора. Многие думали, что она сделала это из уважения к чувствам своей кузины, Анны Нотарас, покинутой невесты Константина.

Этот эпизод, со своими радостными надеждами и окончательным разочарованием, мог также служить признаком мирного настроения в первые месяцы царствования султана Магомета II.

Но уверенность общественного мнения, что нечего опасаться непосредственной опасности, дала повод грекам предпринять шаг, который внезапно и неожиданно изменил положение вещей.

Финансы греков были в очень плохом состоянии. Существовал громадный общественный долг, с короткими сроками платежей, между тем как доходы империи были не велики и не надежны. Казна была не в состоянии аккуратно выдавать жалованье государственным чиновникам и платить немногим постоянным полкам личной охраны императора. Эта неаккуратность и бедность были причиной того, что знаменитый литейщик пушек венгерец Орбан, покинул службу императора и поступил на службу к султану, давшему ему жалованье вчетверо больше против того, что он требовал от греческого правительства.

Видя пустую императорскую казну и слушая донесения о примирительных намерениях нового султана, греческие государственные люди пришли к заключению, что они недостаточно воспользовались для финансовых выгод очевидным желанием султана жить с греками в мире и согласии. Иные утверждали, что не поздно еще поправить дело, и что кампания султана в Караманию лучший случай, чтобы представить ему, что 300 000 асперов недостаточная сумма для поддержания подобающего достоинства оттоманского принца, а тем менее достаточная чтобы сделать опасного претендента недоступным честолюбивым соблазнам. Казалось, это самое простое ближайшее средство, чтобы увеличить императорские доходы. По этому поводу были отправлены послы в Бруссу, главную квартиру султана, и там были приняты великим визирем, Халилом-пашой.

По словам Франческо Филельфо, Халил был сын серба и матери-гречанки. Попав в плен еще ребенком, он был обращен в мусульманскую веру и воспитан с тем, чтобы служить Оттоманской империи. Благодаря его политике разумной умеренности, однако весьма решительной, когда требовалось действие, империя успешно прошла сквозь все кризисы в течение царствования Мурада II. Но алчность к наживе была его существенным недостатком, и в связи с его постоянной примирительной политикой по отношению к грекам и сербскому двору, возбудила подозрение, что он подкуплен греками и богатым, старым Вук-оглу, как называли турки деспота Георгия. Неугомонная, воинственная партия не любила Халила за его умеренность и терпение, а простой народ

мстил ему за его терпимость и скаредность прозвищем гяур-иолдаш или гяур-ортаг, что означает товарищ или приятель неверных. Этот старый друг греков был поражен, услыхав о цели греческого посольства. Посол вероятно полагал, что ему будет легче обеспечить успех своей миссии, если он намекнет, что в случае отказа, греческое правительство перестанет ограничивать действия Орхана-эфенди. Оказалось, что именно этот намек возбудил негодование престарелого великого визиря.

— Глупые греки! воскликнул он, давно уже я узнал ваше двоедушие и вашу хитрость! Пока еще царил Мурад II, вы могли продолжать жить как следует потому, что он был справедлив и добросовестен. Но султан Магомет — совсем иной человек. Если Константинополь избегнет его пылкости и его могущества, это будет значить, что Бог не наказывает вас за ваши проделки и грехи. Дураки! Еще не высохли чернила на документе мира, заключенного между нами, а вы уже приходите сюда с нелепыми угрозами! Но вы ошибаетесь. Мы не глупые неопытные дети, чтоб нас можно было так скоро застращать. Если вы действительно думаете, что можете что-нибудь сделать, так делайте! Если желаете провозгласить Орхана султаном Румынии, то ступайте и провозглашайте. Если хотите призвать венгерские войска из-за Дуная, призывайте их! Если вы желаете вернуть потерянные вами владения,— попробуйте! Будьте уверены, однако, в одном: вы только потеряете то немногое, что осталось в вашей власти!

Этот ответ так согласуется с характером Халила, что Дукас, сообщающий его в своей истории, вероятно слышал его из уст самих послов. В этом ответе сквозит возможность того, что судьба Константинополя определится, прежде чем Венгрия или вся Европа придут к нему на выручку. Такого мнения очевидно держались люди, окружавшие султана Магомета II летом 1451 года. Оно очень быстро распространилось и приняло более определенную форму.

Сам султан принял греческих послов очень вежливо. Он, обыкновенно столь горячий и порывистый, не высказал ни малейшего неудовольствия, когда ему передали цель их миссии. Напротив, он выразил полную готов-

ность сделать все, что они сочтут правильным и справедливым, и выразил желание рассмотреть их предложения, как только он вернется в Адрианополь.

В начале осени 1451 года султан вернулся в свою европейскую столицу с готовым ответом на требования греков. Немедленно были посланы распоряжения об отсылке императорских сборщиков из Македонии и прекращении уплаты содержания Орхану-эфенди. Венгерец Орбан, начальник турецкого пушечно-литейного завода, получил приказ поспешить с поставкой тяжелых орудий; в добавок к этим приготовлениям было объявлено, что султан изъявил о своем намерении построить замок на Европейском берегу Босфора, напротив самого форта Анадоли-Гиссар, на Азиатском берегу.

Пункт, выбранный для нового укрепления, находился на греческой территории, всего в 4—5 милях к северу от Галаты, в Лоемокопии, где были развалины старого замка и ветхая церковь во имя Михаила Архангела. Согласно легенде, Александр Великий переправлялся в Азию в этом месте.

В истории еще не бывало примера, чтобы какой-нибудь государь насильно завладел частью территории соседнего государства, с которым находился в мирных отношениях и построил там форт! Эта новость произвела громадное впечатление среди легко волнующихся греков столицы, в особенности, когда стало ясным, что оба форта могут, когда угодно, отрезать подвоз пшеницы из Черного моря!

Халил старался соблюсти дипломатические формы, отправив к императору посла, с вежливым требованием позволить соорудить форт в данном месте. Он объяснил, что решение султана объясняется главным образом желанием покровительствовать торговле, так как каталонские корсары не отважатся отправиться в проливы, когда узнают, что каждое приближающееся судно обязано остановиться у фортов султана, заплатить за проход и показать свои бумаги.

Император и его советчики пришли в сильное волнение. Весь вопрос теперь заключался в том, как бы вежливо ответить на дипломатию Халила. Они ничего не могли придумать, кроме старой уловки, так часто выручавшей

их. Они понадеялись, что призрак Запада окажет свое прежнее действие на султана. Поэтому турецкий посол получил следующий ответ: «император с радостью одолжил бы своего друга султана, но, к несчастью, он давно уже уступил упомянутую территорию франкам Галаты и опасается, чтобы постройка форта на французской земле не привела султана в столкновение с Франкистаном!

Греческий дипломат, приготовивший этот ответ, несомненно гордился своей ловкостью. Но опытный государственный человек, восседавший на бархатной подушке великого визиря, «улыбнулся себе в бороду» над ловкостью греков. Он повернул ответ против них самих: «султан, не желая оскорблять чувств своего доброго друга императора, конечно не начал бы строить без его формального разрешения; но так как земля, по словам императора, принадлежит франкам, то султан, которому решительно все равно что касается франкских чувств, начнет строить форт без дальнейших отлагательств!»

Таким образом греки попали в свою же собственную ловушку. Император и его советчики должны были тщательно обдумать положение. Все слухи о великом честолюбии юного султана, все россказни, ходившие на базарах о завете султана Мурада, который будто бы на смертном одре возложил на своего сына обязательство покорить Царьград, все намеки великого визиря о решительном характере и вероятной политике своего нового властелина теперь подтверждались суровым фактом, что султан намерен выстроить форт у самых ворот Константинополя. Никто не мог ни на минуту согласиться с объяснением Халила о миролюбивых мотивах султана, якобы для покровительства интересам торговли. Греки не спрашивали себя даже, каково окончательное намерение Магомета и все чувствовали, что это вероятно начало конца.

Все эти соображения вели только к одному заключению: о необходимости какой-нибудь перемены в иностранной политике. Пассивность греческого правительства, его склонность оставлять невыполненными решения Флорентинского собора, его небрежность в установлении прочных отношений с западными державами были возможны только под условием соблюдения соглашения турками. Но теперь эта основа их иностранной политики по-

шатнулась вследствие внезапного, грубого движения нетерпеливой, жадной руки нового султана. Для Константина и его советников оставалось теперь только одно — обратиться к западу Европы за советом.

Для Константина было особенно унизительно обращаться теперь к папе, после того, как он более двух лет совершенно игнорировал постановления Флорентинского собора. Ему приходилось объяснять политику греческого правительства и извиняться, что не были исполнены торжественно принятые обязательства. Письмо императора не сохранилось, зато из ответа папы очевидно, что император входил в объяснения и извинения. Греческий посол, Андроник Бриенний Леонард или Леонтарас, вероятно был принят в Риме в конце 1451 г., так как ответ папы к императору помечен 5 декабря того же года.

В своем ответе папа напоминает императору о торжественно провозглашенном во Флоренции союзе, свидетелями которого были все христианские страны, между прочим Англия, Шотландия и Ирландия; только одни греки по-видимому игнорируют постановления союза. Папа не скрывал своего негодования по поводу поведения греков. Последние фразы его письма имеют даже угрожающий характер: «Если вы, ваши дворяне и народ константинопольский согласны выполнить постановления союза, то вы найдете нас и наших почтенных братьев кардиналов вместе со всей западной церковью всегда готовыми действовать в пользу вашей чести и вашего государства; но если вы и народ ваш отказываетесь выполнять постановления союза, то вы заставите нас совершить все, что мы сочтем подходящим для спасения вас и своей собственной чести». В доказательство честных намерений императора, папа требует, чтобы патриарх Иосиф, изгнанный вследствие добросовестного отношения к союзу, был бы призван назад и водворен в своем сане. С этим письмом Леонард вернулся в Царьград в конце осени 1451 года.

Зимой 1451—1452 года император продолжал свои старания склонить Порту, чтобы она отказалась от своих намерений относительно форта. Но все его попытки не оказали действия. Магомет только еще усерднее занялся приготовлениями. Он созвал каменщиков со всей импе-

рии; масса строительных материалов свезена была на берега Босфора. Множество христианских церквей и разоренных замков служили каменоломнями. Первой разрушили церковь Михаила Архангела в Лоемокопии. Составили несколько планов для сооружения замка и наконец выбрали один в форме треугольника. Некоторые предсказывали успех постройке, вследствие этого треугольного кабалистического знака. Другие думали, что форт строится во имя султана, так как первая буква его имени — треугольная. Но по всей вероятности, просто технические соображения легли в основе этого плана, так как в то время треугольные форты были очень популярны.

26 марта 1452 года султан выехал из Адрианополя и распределил свое путешествие так, чтобы на седьмой день прибыть на место, выбранное для форта, где ждали его до пяти тысяч каменщиков. Немедленно заложили фундамент с большими празднествами Курбана — зарезано несколько баранов и кровь их смешана с известкой для первых слоев.

Когда первые сведения о сооружении форта достигли Константинополя, император, казалось, намеревался сделать вылазку и с мечом в руках остановить работы. Константин Драгаш был скорее простой, честный солдат, чем искусный дипломат. Но его советники убедили его оставить эту мысль и попытаться послать вторую миссию к султану.

Отправили новых послов. На этот раз греки заговорили откровенно: если султан будет настаивать на сооружении форта, он фактически нарушит мир с греками и трактаты, которые его предшественник соблюдал добросовестно и которые он сам подкрепил торжественной клятвой. Далее они заявили, что Царьград не может наслаждаться миром, и мир не имел бы никакой цены для граждан, до тех пор пока голодная смерть, то есть прекращение подвоза хлеба будет висеть над их головами. Император готов уплачивать ежегодную дань, но он считает своим долгом настаивать, чтобы султан отказался от сооружения форта.

Интересно, что Магомет II объяснил свой поступок сыновним повиновением. Он рассказал греческим послам,

что восемь лет тому назад, когда венгерская армия под начальством короля Владислава и Гуниади стояла под Варной, готовясь идти на Адрианополь, отец его, испытавший большую трудность в переправе из Азии в Европу, дал обет построить форт на Европейском берегу с целью обеспечить своей армии свободный проход. Смерть помешала отцу исполнить свой обет, и теперь сыну необходимо осуществить это дело! «Неужели вы думаете, что остановите меня?» — спросил султан в заключение. «Эта земля не принадлежит императору, так почему же мне не сделать по своему? Ступайте и скажите своему повелителю, что я способен сделать то, чего не могли сделать мои предшественники, и что я намерен исполнить то, чего они не хотели делать! И заметьте еще, что я прикажу сажать на кол всякого посланника, который придет ко мне с подобным поручением!»

Этот ответ вызвал панику во всем городе. Толпы народа собрались на рынках и других площадях города, иные имели вид людей, пораженных ужасом, другие же напротив с жаром повторяли слова султанского ответа; некоторые ударяли себя в грудь, говоря: «Настали последние дни! Времена антихриста и нашей гибели! Что станется с нами! Лучше, о Господи, дай нам умереть от чумы, чтобы глаза наши не видели падения нашего города, чтобы уши наши не слышали, как враги наши спросят с насмешкой: «Где же святые угодники, охраняющие этот город?»

Но было множество людей без семьи и дома, которые смотрели с презрительной улыбкой на рабочих и лавочников, спешивших в церкви, чтобы осенить себя крестным знамением и положить сотни земных поклонов. Мелкие трактиры были переполнены этими бездомными, которые над кубками вина громко смеялись над испугом жителей. Из таких людей образовались небольшие отряды добровольцев, которые сами по себе отправились на вылазку через Северные ворота, чтобы прогнать султана и его каменщиков. Никто из них не вернулся в город. Все они были или изрублены на куски, или взяты в плен турками.

Са'ад-ед-дин рассказывает, что султан повелел Магомет-бею, сыну Ак-Чайлу, опустошить ближайшее сосед-

ство Константинополя и что этот командир овладел множеством скота и забрал в плен всех греков, каких он встретил в полях, вне города. Тот же историк упоминает, что среди неверных распространилось страшное волнение после ответа султана. «Они не знали что делать,— прибавляет он,— и выдумали послать своему другу, Халилу, несколько крупных рыб, наполненных червонцами. Халил, разумеется, сделал все возможное, чтобы султан по крайней мере успокоил императора, возобновив уверения в своих миролюбивых намерениях. Но султан счел лучшим отложить выполнение этого предложения до возвращения своего в Адрианополь.

Весьма вероятно, что Халил дал этот совет не столько ради полученных им золотых рыб, сколько ради политических соображений. Он хорошо знал, что отправлены посланцы императора к европейским дворам и что отчаяние иногда служит источником великой силы. Как человек осторожный, он добросовестно и искренно советовал своему повелителю не доводить дела до крайности.

После четырехмесячной усердной работы форт был совершенно окончен. Стены его имели 25 футов толщины; на каждом углу были возведены башни, вооруженные пушками, которые могли бросать снаряды из гранита или базальта огромных размеров. Несколько меньших башен сообщались с этими главными тремя. Султан назвал новый форт «Богази-Кезен», то есть фортом, отрезающим проливы, и посадил туда гарнизон в 400 янычар под начальством Фирудин-бея. Затем он с сильным эскортом проехал вдоль стен Константинополя, осматривая его укрепления. Первого сентября он достиг своей резиденции на Марице.

Император Константин со своей стороны был усердно занят обороной столицы. Он вызывал волонтеров, заготовлял боевую амуницию и запасы, но эти приказы отдавались с некоторой тревогой, так как казначейство было почти пусто. Он отправил письма и гонцов к своим братьям, царившим в Пелопоннесе почти самостоятельно, с просьбой прислать войска для защиты Византийской столицы. Без сомнения, он вошел в сношения с такой же целью и с Георгием Скандербегом, и с князем албанским, и с деспотом Георгием сербским, и с Гуниади венгерским.

В январе 1452 года чрезвычайные послы султана опять выехали из Константинополя по пути в Венецию и в Рим. В известном отношении миссия их удалась у дожа венецианского. Как первая морская и торговая держава того века, Венеция имела большие интересы в Константинополе и Леванте. Ее правительство получало независимые, достоверные извещения о действиях и планах султана, и поэтому было вполне доступно представлениям греческих послов. Оно тотчас же отправило приказ губернатору Крита нанять греческих волонтеров за счет венецианской казны и немедленно препроводить их в Константинополь. 24 февраля дож Морозини подписал письма к папе Николаю IV, к императору Фридриху германскому, к королю Альфонсу сицилийскому и к Гуниади, в то время регенту Венгерского королевства. Дож описывал в мрачных красках положение Константинополя и убеждал всех немедленно послать помощь тесниому городу.

Генуя, владевшая всей Галатой, получила также подробные извещения о положении дел на Востоке. Правительство ее в письме к королю Альфонсу сицилийскому, весною 1452 г., заявляло что двое специальных послов прибыло из Галаты в Геную и привезли достоверные извещения, что будущей весной султан двинется с большими силами на Константинополь. Они очень обрадовались, узнав, что такой же посол от греческого императора только что прибыл ко двору Альфонса, и уведомляли, что они также делают приготовления для отправки весной того же года судов с людьми и оружием на выручку Константинополя; короля они убеждали сделать то же самое.

Между тем греческие послы достигли Рима. Там они были приняты с почетом, так как привезли положительные уверения о готовности империи формально, добросовестно и серьезно согласиться на слияние обеих церквей. Папа и кардиналы были очень довольны и тотчас же принялись за дело. Ко всем важнейшим европейским дворам были разосланы специальные легаты; особенную важность придали миссиям в Париж и Лондон.

В то время в Европе преобладало мнение, что если предпринять новый крестовый поход против турок, то он должен быть предпринят и руководим Францией. Первый

публицист того времени, признанный авторитет по всем вопросам, касающимся Востока, Франческо Филельфо, выразил это мнение достаточно ясно в мемории, адресованной им к королю французскому, 13 марта 1450 г. Он уговаривал короля предпринять этот подвиг, потому что он единственный монарх, могущий это сделать, и поэтому весь христианский мир возлагает на него надежды. По его мнению, единственным серьезным аргументом против этого может быть то, что враждебность Англии помешает королю исполнить великий подвиг. «Но ведь невероятно,— продолжает Филельфо,— чтобы англичане помешали вам затеять такое священное предприятие; англичане — народ набожный и гораздо вероятнее, что они захотят сопровождать вас, по примеру своих предков, которые всегда сопровождали французских королей и помогали им, когда бы последние ни выступали против неверных.

Филипп, герцог бургундский, считавшийся первым героем у восточных христиан, делал все возможное, чтобы привлечь короля французского в общее движение, для спасения Константинополя. В тот момент, когда он получил в 1451 г. уведомление, весьма вероятно через посредство писем от императора Константина, об изменившемся положении на Босфоре, он послал сира Жана де Круа и кавалера Жака де Лалэнг в качестве специальных послов к королю Карлу и приглашал его вместе с ним и королем сицилийским защищать Константинополь.

В начале 1452 г., вскоре после того, как новое посольство Константина сделало надлежащие заявления Риму, папа послал кардинала д'Этутвилль к королю французскому, а архиепископа равеннского к королю английскому, Генриху, с инструкциями склонить их заключить мир и совместно обратить оружие для поддержки Константинополя против турок. Король французский отвечал, что он готов заключить мир и поспешил на выручку Константинополя, но король Генрих английский возразил папскому легату, что пожалуй он согласен заключить мир, если Англия вернет все потерянные ею пункты во Франции. Кардинал д'Этутвилль остался во Франции по требованию короля Карла, для ведения нового следствия по делу об Орлеанской деве, но архиепископ равеннский вер-

нулся из Англии, потеряв всякую надежду на заключение мира».

Итак результаты этих важных миссий были неутешительны. Папа вероятно увидел, что ему придется одному оказывать помощь. Как честный человек, он сразу объявил греческим послам, что в худшем случае, если ему надо будет одному помогать императору, то эта помощь не может быть велика и не пойдет дальше нескольких судов с вооруженными людьми и деньгами. Он посоветовал послам самим отправиться к наиболее важным дворам Европы, чтобы убедить их в необходимости оказать помощь Константинополю и обещать ему искреннюю поддержку в этом деле.

Послы, действуя согласно этому совету, посетили все дворы Италии, потом отправились в Париж, и всюду, со слезами на глазах, молили о помощи, как рассказывает папа Николай в своем духовном завещании. Затем все они вернулись в Рим с добрыми словами и обещаниями, «что все возможное будет сделано». Эней Сильвий, говоря об этих стараниях папы Николая и греческого императора, выражается так: «К стыду нашему, следует сказать: «уши наших государей — глухи, а глаза их слепы!»

В том же году император Фридрих прибыл в Рим для торжественного коронования «Римским императором». Он уже получил письма от императора Константина, а также от дожа венецианского и папы Николая, в которых выражалась необходимость какого-нибудь совместного действия. В Риме он нашел атмосферу Ватикана пропитанной греческими жалобами и католическим честолюбием. Папа и император считали нужным доказать свое доброе расположение, и в Риме состоялась конференция всех находившихся там кардиналов под председательством папы, для выслушивания декларации Энея Сильвия от имени императора Фридриха. Сильвий, один из самых блестящих ораторов того времени, живыми красками описал страдания христиан со времени переселения турок в Европу. Он напирал на равнодушие и холодность европейских государей, спокойно смотревших, как развивается магометанская власть в ущерб христианам. «К несчастью,— продолжал он,— сарацины, так называл он турок, более пылки в своем неверии, не-

жели мы усердны в своей вере. Мы смотрим на насилия, совершаемые над христианами, и остаемся спокойными; наша религия попирается их ногами и подвергается опасности, а мы обращаем глаза в другую сторону!»

В заключение своей речи Сильвий заявил, что император Фридрих твердо решил повести свои войска против турок, но он естественно ждал поддержки со стороны папы, так как только слова последнего могут соединить всех верующих в этом «святом предприятии» и обеспечить ему успех.

Папа дал свое благословение, но ответ его был несовсем удовлетворителен. Он заявил, что для себя он не желал бы ничего лучшего, как видеть серьезный крестовый поход против турок, но прежде чем давать какие-либо обещания, связывающие святой престол, он сперва должен осведомиться о намерениях и желаниях остальных христианских дворов. После конференции Фридрих вернулся в Вену и по-видимому очень скоро забыл обо всем, что было обещано от его имени в Риме.

Греческий посол, потеряв надежду на серьезную помощь со стороны западных держав, попросил папу по крайней мере прислать то, что он со своей стороны обещал. Папа отвечал, что он готов действовать лишь тогда, когда соединение церквей действительно состоится и константинопольский патриарх с греческим духовенством торжественно признают над собой верховное главенство папы.

Греки изъявили согласие принять какие угодно условия, лишь бы папа прислал войск и денег для обороны их столицы. Вслед затем кардинал Исидор был назначен папским легатом, со специальной миссией в Константинополь.

Исидор был грек по происхождению. Многие ученые греки и сербы в XV столетии приезжали в Россию, чтобы составить себе карьеру. Исидору, благодаря его учености и энергии, удалось увенчать свою голову митрой архиепископа и митрополита московского. Будучи в то время самым ученым русским духовным сановником, он был послан представителем русской церкви на Флорентинский собор. Там он изъявил согласие на союз церквей.

Но как восточная церковь, так и русский двор принуждены были отказаться от его поступка, и он должен был, покинув Россию, искать убежища в Риме. Там он был принят с большими почестями, возведен в сан кардинала и ему была доверена самая щекотливая, деликатная миссия.

По пути в греческую столицу, кардинал останавливался на многих островах Архипелага и созывал волонтеров под папское знамя. Но он потерпел неудачу. Очень немногие присоединились к нему (говорят, не больше пятидесяти человек). С ними он прибыл в Константинополь в начале ноября 1452 года.

Там он застал весьма грустное положение дел; торговля была совершенно парализована и недавними событиями, и общим сознанием неизбежной катастрофы. Народ очутился почти без куска хлеба. Он находился в состоянии постоянной тревоги, вследствие слухов о появлении турецкой кавалерии, которая делала набеги, грабила имения и уничтожала жатвы под стенами самого Константинополя. Все чувствовали, что если не будет скорой, деятельной помощи от Запада, столица должна рано или поздно пасть жертвой громадных турецких сил; тем не менее большинство граждан были озлоблены и возбуждены против всего латинского. Низшие чины духовенства, монахи, монахини, а ими был полон Константинополь, находили, что лучше уж пусть султан поселится в старом императорском дворце, лучше пусть св. София превратится в мечеть, нежели имя папы будет произноситься на богослужениях. И многие из них даже не верили, что опасность турецкого завоевания была так неминуема. Некоторые, претендующие на большую ученость, распространяли в народе старую поговорку, будто «тогда только старая столица императоров перейдет к иным владельцам, когда народ увидит корабли, идущие на всех парусах по сухому пути, что означало «никогда». К чему же народу, погибающему из-за воображаемого страха — бросаться в объятия антихриста!

Но двор, большинство дворян, высшее духовенство узнали нечто другое. Император и новый патриарх, Григорий, подписали декларацию, принимающую союз церквей, но с непременным условием, что после того, как

минует теперешняя опасность, все пункты объединения церквей будут подвергнуты новому тщательному пересмотру в виду окончательного установления их. Это условие было как бы предохранительным клапаном для подавленной совести патриарха, духовенства, может быть и самого императора.

Двенадцатого декабря был отслужен торжественный молебен в храме св. Софии. Кардинал Исидор и патриарх Григорий служили вместе; провозглашены были «многие лета» папе Николаю среди подавленных вздохов и скрытых слез.

Между тем чернь под предводительством монахов и священников бегала по улицам, предавая анафеме изменников церкви и выражая свое крайнее негодование по поводу церемоний, происходивших в св. Софии. Кто-то упомянул имя Генадия; немедленно тысячи людей повторили его и массы народа стекались к монастырю Пантократора.

Монах Генадий был одно время сенатором и человеком известным своею ученостью и патриотизмом; это он сделал любопытное толкование надписи на могиле Константина Великого, уверяя, что в ней заключается предсказание завоевания Константинополя турками; Генадий сопровождал императора Иоанна на Флорентийский собор и своею ученостью произвел глубокое впечатление на латинских ученых. Он подписал соединение церквей, но, вернувшись в Константинополь, проклял свое собственное деяние, отказался от своих должностей и удалился от мира. В «качестве отца Генадия» он жил в монастыре Пантократора и оттуда направлял свою агитацию против примирения с Римом.

И вот в этот день, двенадцатого декабря густые толпы народа окружили стены и теснились в двери знаменитой обители, вызывая Генадия нетерпеливыми голосами. Пятнадцатого ноября он имел мужество говорить с кафедры в присутствии императора и его двора против союза церквей. Теперь он не явился народу лично, а приказал пригвоздить писанную декларацию к воротам монастыря. Все проходившие мимо могли прочесть следующие слова: «О, греки, достойные всякой жалости! Куда увлекли вас ваши заблуждения? Вы неверны вашему

Богу и возлагаете всю надежду на помощь франков, и вместе с вашим городом вы отдали также вашу веру на погибель! Господь да сжалится надо мною! Я не беру ваш позор на душу! Несчастные! Остановитесь на минуту и сообразите, что вы делаете. Вместе с вашим городом теряете вашу веру, оставленную вам отцами вашими, и переходите к неверным! Горе вам в день судный».

Этот ответ Генадия оказал действие масла, подлитого в огонь! Возбужденный народ покинул площадь еще более озлобленный, чем вначале. Иные, более умеренные горожане отважились заметить, что как бы то ни было, без помощи латинян город будет взят турками. На это чернь сердито кричала: «Пусть лучше нами владеют турки, чем латиняне!»

Речи, произнесенные в этот день одним чехом в разных частях города, еще более усилили возбуждение народа. Он был прежде католиком, потом обратился к Яну Гуссу. Он рассказывал толпе, собравшейся его слушать, разные истории одна нелепее другой о дурных наклонностях пап.

Всем было известно, что один из придворных Кир Лука Нотарас, генерал-адмирал всего флота и родственник императора, всеми силами противился объединению церквей. Он не отказался присутствовать при церемонии в храме св. Софии, но громко выражал свое мнение всем и всякому, что он предпочитает видеть в Царьграде турецкие чалмы, чем латинские шлемы.

Все это производило тягостное впечатление на императора Константина. Он слышал проклятия, которыми осыпали его, в ту самую минуту, когда он жертвовал даже своими личными чувствами, чтобы по возможности, спасти древнюю империю. Он не пытался подавить беспорядки, и позволял несчастному народу кричать до сипоты. Когда народ, истощенный своими собственными усилиями, смолкал, в Константинополе воцарялось мрачное затишье, быть может еще более невыносимое, чем самые яростные крики.

После 12-го декабря грустное запустение царило в великолепном храме св. Софии. Большинство так называемых вечных лампад, перед мощами и святыми иконами, были потушены задолго до появления турецких

имамов. Даже свое имя св. Софии возбуждало нетерпеливое раздражение среди невежественных и фанатичных греков, которые теперь считали этот храм не лучше «еврейской синагоги» или «языческого храма».

Никто уже не хотел принимать Св. Причастия из рук священников, служивших в день соединения церквей. Им не позволяли также хоронить мертвых и крестить младенцев. Какое-то истерическое возбуждение господствовало среди монахинь. Одна из них, высоко чтимая за свою святость и ученость, заявила, что она больше не намерена поститься, что она будет есть мясо, носить турецкую одежду и приносить жертвы Магомету. Ненависть и возбуждение против католиков до того усилились, что, по словам Дукаса, «если б сошел ангел с небес и заявил, что он спасет город от турок, если народ соединится с римской церковью, то и тогда греки отказались бы!»

Это плачевное положение еще ухудшилось от недостатка патриотизма и политического благоразумия среди дворянства и высших классов вообще. Трудное положение, в котором очутился император Константин, лучше всего описано его же словами. В ноябре 1451 г. он писал своему другу Францезу: «Если исключить тебя, то я не найду здесь ни одного человека, с кем бы мне можно было посоветоваться; всякий заботится исключительно о своих частных интересах. Вскоре после твоего отъезда за границу умерла моя мать, а после нее умер и Кантакузен, способный давать беспристрастные советы. Лука Нотарас громко уверяет, что он один знает что делать и что нет ничего хорошего и умного кроме его собственных слов и поступков. Великий Доместикос сердится на сербов и идет рука об руку с Иоанном Кантакузеном. С кем же мне советоваться? С монахами? Или с людьми столь же невежественными, как они. Или с дворянами? Но каждый из них принадлежит к особой партии и выдаст другим тайну, которую я мог бы доверить ему».

Однако, среди этих смут и тревог Константин не забывал своей обязанности как можно лучше приготовиться к обороне столицы. В государственных складах были собраны разного рода припасы: хлеб и масло. У всех

принцев и независимых владетельных князей потребовали военной помощи; особые лица были назначены для исправления городских стен и произведен был рекрутский набор. Так как казначейство стало истощаться, и так как воззвание к патриотизму высших классов не имело никакого действия, то император, по совету тайного совета, приказал церквам и монастырям доставить на императорский монетный двор все свое золото и серебро, чтоб перелить их в деньги для нужд государства и выдал им письменные обязательства возвратить вчетверо больше против взятого, когда минует опасность, угрожающая городу.

Все это время Константин продолжал в Адрианополе свои дипломатические попытки предотвратить опасность. Халил-паша, хотя и принужденный быть вдвойне осторожным, ввиду влияния, приобретаемого военной партией, работал неустанно в пользу мира; то же самое делал и деспот Георгий Бранкович.

Но все эти влияния были напрасными. Мысль захватить Константинополь крепко засела в ум султана. С детства будучи поклонником великих завоевателей, он мечтал о том, чтобы увековечить свое имя каким-нибудь крупным подвигом.

Он держался этой идеи с религиозным усердием, и это, вероятно, дало основание народному поверью, будто султан Мурад на смертном одре завещал сыну покорить Константинополь.

Истощение естественных союзников греческой империи, сербов и венгерцев, беспорядки в Пелопоннесе и Албании, слухи о предстоящей войне между Францией и Англией, а может быть и сознание, что папский престол в Риме занят стариком, который предпочитал собирать книги и великолепно переплетать их, чем предпринять новый крестовый поход,— все это ободрило честолюбивые планы Магомета. Он советовался с астрологами, и то что они ему предсказали, а также и то, что он сам прочел по звездам, только побудило его смело идти вперед. Но он советовался также с опытными военными людьми, обсуждал с ними план похода и сам продумывал предполагаемую диспозицию армии.

Он занимался этим вопросом и денно, и нощно и даже

лишился сна, до того он был поглощен мыслью, как лучше овладеть древней, знаменитой столицей греческих императоров. Однажды около полуночи он послал за Халилом-пашой. Старый визирь никогда еще во всю свою долгую жизнь не испытывал, чтобы его тревожили в такой поздний час. Несмотря на его чистую совесть, он мог ожидать какой-нибудь яростной выходки со стороны увлекающегося султана, который иногда слушался интриг и клеветы окружающих. Халил появился перед султаном, неся на голове кубок, наполненный золотыми монетами, султан, увидав своего старого визиря входящего в комнату, спросил его: «Что это значит, мой лала? (мой дядя)».— «Это значит, ваше величество, отвечал тот, что не в обычае входить к его величеству в непривычные часы с пустыми руками». «Оставь это,— сказал султан,— мне не нужно твоего золота, мне нужно только, чтобы ты помог мне овладеть Константинополем!»

Великий визирь благоразумно согласился со своим повелителем и сказал, что он не сомневается, что Бог, сделавший султана господином всех провинций Греческой империи, сделает его также господином ее столицы. Халил прибавил, что он готов пожертвовать своей жизнью и прочими благами ради исполнения воли своего господина.

Султан отвечал: «Взгляни на мою постель! Каждую ночь я ворочаюсь на ней с бока на бок. Я желаю только напомнить тебе, чтобы ты не позволял подкупать себя ни золотом, ни серебром. Будем с твердой волей и настойчивостью сражаться с греками, будем работать над тем, чтобы завоевать столицу императоров».

Возможно, что вскоре после этого разговора, было послано какое-нибудь сообщение от султана к императору.

Характер этого послания нам неизвестен, но текст императорского ответа сохранился: «Ясно,— писал Константин Магомету,— что ты больше желаешь войны чем мира и так как я не могу удовлетворить тебя ни своими мирными уверениями, ни моей готовностью поклясться в верноподданнических чувствах, то пусть будет по твоему желанию. Теперь я уповаю только на Бога. Если такова Его воля, чтобы город этот был твой, то кто в силах вос-

препятствовать Его велениям? Если Он может внушить тебе желание мира, я буду только счастлив. Как бы то ни было, я освобождаю тебя от всех твоих клятв и трактатов, заключенных со мною и, запирая ворота моей столицы, буду защищать народ мой до последней капли крови! Царствуй в счастии до тех пор, пока Верховный Судия не призовет нас обоих к Своему престолу!»

Письмо это проникнуто замечательной простотой и достоинством. В нем сквозит душа храброго воина, преданного христианина и императора, глубоко сознающего свой долг по отношению к народу и величию своего имени.

## ГЛАВА V

Последнее письмо императора Константина к султану производит такое впечатление, как будто это ответ на формальный ультиматум.

Официальная дата объявления войны не сохранилась. Но из некоторых выражений Кира Луки, приведенных ниже, видно, что война началась, вероятно, в декабре 1452 года. Без сомнения, обе стороны открыто готовились к ней в течение зимних месяцев.

В самом начале 1453 года производились опыты с чудовищной пушкой, отлитой Урбаном, к великому удовольствию султана. Ее назвали «Базиликой». Караджебею был отдан приказ двинуться с 10 000 регулярных войск, чтобы доставить громадную пушку к стенам Константинополя. Эта экспедиция выступила в феврале месяце, и ей потребовалось не менее шести недель для достижения своего назначения. Пушку везли 60 пар волов; по обе стороны шли люди для поддержки, а целый отряд саперов выступал впереди, чтобы ровнять дороги и сооружать мосты. Летучий отряд Караджи тем временем носился по окрестностям Константинополя. Хроникеры упоминают, что замок Сан-Стефано был взят и предан разграблению. Вокруг Адрианополя, на равнинах собирались вооруженные банды, под начальством Тимара и Зиамета-беев, в первые дни марта месяца. Во второй по-

ловине этого же месяца султан производил смотр своим войскам. По этому случаю самые любимые улемы, шейхи и потомки пророка, облеченные в белые одежды, читали среди войск молитвы за благополучный исход кампании.

В пятницу 23 марта, султан Магомет выехал из Адрианополя с 12 000 янычаров и несколькими тысячами спагиев — своих лучших войск. План осады был установлен, во всех подробностях. Каждый командир знал в точности, какое место он займет под стенами Константинополя. Небольшой отряд был отправлен, чтобы держать в страхе Селимврию и мешать ее народу и гарнизону посылать помощь в столицу, Турачан-паша имел обширную армию в Фессалии, с целью сдерживать Скандербега в Албании и братьев императора в Пелопонесе. Чтобы воспрепятствовать последним оказывать помощь Константинополю, Турачан-хан отправил своего сына Ахмета с соответствующим корпусом делать набеги на Пелопонес, и несколько столкновений произошло летом 1453 года между Ахметом и Матвеем-Ассаном, командиром войск князя Димитрия.

К концу марта можно было видеть корпус кирасир человек в 1500 едущим по дороге, ведущей из Филиппополя в Адрианополь. Это был вспомогательный корпус, посланный султану сербским князем Георгием, согласно принятому им обязательству. Войско находилось под начальством знаменитого полководца, воеводы Якши Брезницкого. Но даже и командир едва ли ясно понимал свое назначение. Ходили слухи, будто султан намерен переправиться в Азию, чтобы усмирять мятежников в Карамании. Когда кирасиры достигли селения по ту сторону Филиппополя, их настиг гонец из султанской главной квартиры, с приказом спешить кратчайшим путем в Константинополь и там соединиться с оттоманской армией!

Михаил Константинович, сам находившийся в вспомогательном корпусе, описывает негодование, возбужденное этим приказом среди сербских офицеров. Первым их движением было не идти дальше, а вернуться в Сербию. После некоторого размышления, однако, воевода Якша нашел, что такой поступок повредил бы интересам его государя и страны, так как некоторые дружески расположенные христиане по соседству известили его, что

гарнизоны городов, по которым он должен пройти, получили приказание не пропускать назад его корпуса; таким образом оставалось только продолжать поход к лагерю султана, расположенному под самыми стенами Константинополя.

6-го апреля султан и его свита прибыли в местечко, лежащее на расстоянии одной итальянской мили от Константинополя. Издали ясно виднелись башни и купола великого города. Как истый мусульманин, Магомет прежде всего велел развернуть свой ковер, затем обратился лицом к Мекке и простерся на ковре в молитве. Встав, он послал глашатаев — теллалов — провозгласить по всему лагерю, что «осада города началась». Улемам приказано было отправиться к каждому полку, чтобы побуждать истинно-правоверных бодро браться за дело, так как пророк ясно предсказал, что этот знаменитый, богатый город будет собственностью турок.

На рассвете 7-го апреля линии были ближе придвинуты к городу, и каждый командир привел свои войска на место, заранее предназначенное ему.

Шатер султана был разбит на восточном склоне небольшого холма, известного под именем Маль-Тепе и лежащего несколько впарво от ворот Св. Романа.

Впереди и по обе стороны султанской палатки стояли янычары, а еще впереди их огромная «Базилика» и три гигантских орудия, образуя грозную батарею.

В четырнадцати пунктах были воздвигнуты батареи по четыре обыкновенных пушки каждая. Девять из них были подкреплены еще одним более тяжелым орудием, так что со стороны сухопутных стен Константинополя было поставлено 56 обыкновенных и 12 тяжелых орудий помимо «Базилики», всего это составляло 69 пушек. Ни одна современная держава не могла бы выставить что-либо похожее на грозную артиллерию султана во всем ее величии.

11-го апреля все эти батареи были готовы.

Кроме пушек, представлявших новейшее орудие того века, были поставлены между батареями катапульты, метавшие крупные камни в стены и в самый город. В турецкой истории «Пач-ул-Теварри» говорится следующее: «Камни, бросаемые катапультами и арбалетами, посыла-

ли перед Вечного Судию врагов, защищавших форты и башни Стамбула». Употребление этих машин также упоминается у Джиакомо Тетарди, который был одним из добровольных защитников города.

Правое крыло турецких позиций было занято войсками, набранными в Малой Азии, под начальством Мустафы-паши, анатолийского бейлер-бея. Левое крыло состояло из войск, набранных на Балканском полуострове румелийским бейлер-беем, Турачаном. Позади центра позиции помещался сильный резерв. По ту сторону Золотого Рога Заган-паша и Караджа-бей занимали холм и поле, где впоследствии раскинулись предместья Перы. Заган и Караджа держались начеку; итальянское предместье Галаты и пушки их, стоявшие на вершине холма, господствовали над западной частью Золотого Рога.

Ни один из предыдущих султанов не располагал такой многочисленной армией, как та, которая была собрана Магометом II под стенами Константинополя. Однако очевидцы и современники не согласны между собой относительно ее численности; Халкохондилас определяет ее в 400 000 человек; архиепископ Леонардо — в 300 000 человек, Дукас говорит, что она имела до 250 000 человек, Францез определяет численность армии в 258 000 человек, а автор «Триноса» рассказывает, что воинов было всего 217 000 (прибавив однако, что настоящих турок находилось в том числе не более 7 000 человек). Эвлий-Хелеби уверяет, что добыча, взятая в Константинополе была поделена между 170 000 воинами; венецианец Барбаро вычислил цифру сражающихся в 200 000, флорентинец Терарди — в 200 000 человек, но последний прибавляет, что из этого числа только 140 000 были настоящие воины, остальные же портные, пирожники, мастеровые, мелкие торговцы и бродяги, следовавшие за армией в надежде поживиться грабежом. Турецкий историк Шейррулах говорит, что осаждающая армия имела не более 80 000 сражающихся. По всему вероятию, Магомет привел с собой около 70 000 войск, но по мере продолжения осады войска увеличились примкнувшими к ним людьми, о которых говорит Тетарди. Тому же наблюдательному итальянцу мы обязаны некоторыми подробностями об общем виде турецкой армии. Его очерк, писанный со стен Кон-

стантинополя, во многом согласуется с тем, что мы уже почерпнули из рассказов кавалера Брокьера. «Около четверти турецкой армии,— говорит Тетарди,— была облечена в панцири; некоторые солдаты были вооружены на французский, иные на венгерский лад, а иные еще иначе, у одних были железные шлемы, у других луки, а у некоторых не было другого оружия, кроме деревянных щитов и ятаганов».

Одно из самых важных сведений, доставленных Тетарди, это то, что турецкая армия содержала в себе множество христиан из Греции и других стран. Анонимный автор, дает даже точную цифру этих участников,— их было 30 000! Эта подробность подтверждается архиепископом Хиосским. «Кто же осаждал город,— вопрошает он,— кто учил турок военному искусству, как не сами христиане? Я видел собственными глазами, как греки, латиняне, немцы, венгерцы перемешаны были с турками и с ними штурмовали стены!»

Этот факт наглядно доказывает нравственное смятение, господствовавшее среди христиан Балканского полуострова, и он вдвойне печален, если сопоставить его с положением дел в самом Константинополе.

Император Константин употребил все усилия, чтобы заручиться подкреплениями и поставить столицу в наилучшее состояние обороны. Папа побеспокоился лишь после того, как получил от своего легата известие, что слияние церквей формально и торжественно провозглашено. Но представления, с которыми он обращался к другим державам, не имели почти никакого практического результата. Только Венеция и Альфонс, король неаполитанский, решили снарядить по десяти галер для соединения с десятью военными судами, какие обещал поставить папа на свой счет. На снаряжение этого флота было потрачено много времени. Не ранее 27-го апреля, т. е. после того, как осада продолжалась уже три недели, папа подписал документ, формально уполномочивающий Иакова, архиепископа рагузского, заняться снаряжением обещанных галер. 7-го мая венецианская эскадра отплыла из Венеции. Прошло еще немало времени, покуда соединились флоты, и они прибыли к острову Евбей лишь на второй день после падения Константинополя!

Ремонт городских стен, к несчастью, был поручен надзору двух монахов, искусных инженеров, но жадных и бесчестных. Думают, что часть денег, предназначенных для укреплений, попала в карманы этих строителей. Как бы то ни было, состояние стен, когда появились турки, было так плохо, что греки опасались ставить на них тяжелые орудия.

Наружная стена была исправлена императором Иоанном Палеологом в промежуток времени приблизительно от 1433 до 1444 года. Но внутренняя, более высокая стена со стороны суши соединявшая не менее 112 квадратных башен, не была основательно исправлена уже несколько веков. Большинство этих 112 башен были построены в IX-м и X столетиях. Стены и башни вдоль Золотого Рога все ведут начало от времен императора Феофила (829—841).

На одной из башен со стороны Мраморного моря, между Кум-Капу и Иени-Капу, сохранилась греческая надпись, гласящая, что эта башня и примыкавшая стена были построены в 1448 году, на деньги деспота сербского, Георгия Бранковича. Какая страшная ирония судьбы! — всего пять лет спустя, тот же самый христианский князь помогал султану со своими кирасирами штурмовать Константинополь!

Дольфин упоминает, что башня Анемандра, возле ворот Кило-Порта, была исправлена кардиналом Исидором, вероятно на средства, доставленные папой.

По словам Тетарди, внутренняя стена была вышиною в семь сажен, а наружная несколько ниже.

Самым слабым местом считалось пространство позади дворца Гебдомона, где была всего одна стена, без рва. По требованию императора, венецианский капитан, Алоис Диедо, привел туда людей со своего судна, чтобы вырыть ров. Работа была начата 14-го марта, с большими церемониями, в присутствии императора и государственных сановников 31-го марта работа была окончена. Ров Диедо имел 62 сажени в длину, откос его имел 15 футов глубины, а контр-эскарп — 13 английских футов. В то время стало известно, что двигается турецкая армия и в тот же день, 31-го марта сам император сторожил со своими воинами на соседнем холме, чтобы не допустить ту-

рецкую конницу внезапно нагрянуть на рабочих во рве.

Император повелел произвести набор всех граждан, способных носить оружие. Француз, которому было поручено это дело, заявляет, что он отыскал только 4 973 греков и около 2 000 иностранцев, годных к обороне стен. Архиепископ Леонарди говорит, что имелось на лицо от 25-ти до 30-ти тысяч людей, способных носить оружие, но собственно сражалось от 6 000 до 7 000. Его сообщение вполне подтверждает данные Француза.

С наскоро собранными и плохо обученными войсками, числом в семь, самое большое в девять тысяч человек императору Константину приходилось защищать слабые стены своей столицы против армии, в десять раз многочисленней и располагающей 69 пушками! И в то время как нашлось не более девяти тысяч христиан для защиты ключа к трем материкам, славной резиденции древних властителей мира, в султанской армии набралось тридцать тысяч христиан, готовых пролить кровь свою ради того, чтобы свергнуть крест со святой Софии и заменить его полумесяцем!

Несчастный император был сильно разочарован результатами набора. Во избежание паники в самом начале обороны, он распорядился держать втайне подробности ополчения и в то же время приказал задерживать при входе в гавань все суда, и заставлять, в случае надобности, их экипажи принимать участие в защите стен. Когда ему сообщили, что некоторые дворяне и кое-кто из народа покинули город, император ничего не сказал, но глубоко вздохнул.

На большом военном совете под председательством императора, совете, который должен был принять окончательные решения насчет обороны, первым и самым важным вопросом был следующий: «кому поручить оборону ворот св. Романа?» Турки поставили свои самые тяжелые орудия и лучших солдат напротив этих ворот и очевидно намерены были произвести на этот пункт самое отчаянное нападение.

Когда император возбудил этот вопрос, никто из греческих и латинских полководцев по-видимому не расположен был нарушить молчание и предложить что-либо. Вдруг Жуан Джустиниани ди Лонго, генуэзский полко-

водец, явившийся в январе с 500 волонтерами, хорошо вооруженными итальянскими стрелками из лука, поднялся с места и, поклонившись императору, сказал: «Надеясь на помощь Божию, я готов встать там с моими людьми, и во имя Христово защищать ворота против нападений неприятеля!»

Эти простые, благородные слова были встречены громкими приветствиями всех присутствовавших. Император поблагодарил говорившего и обещал предоставить ему остров Лесбос с княжеским титулом, если турки будут отбиты.

Император решил установить свою главную квартиру в церкви св. Романа, по близости от ворот, и находясь в самом почетном, опасном месте, взял под свое начальство 3 000 лучших греческих и латинских воинов.

Направо от ворот св. Романа, в северном направлении находились ворота, называемые Харзиас. Там император поставил небольшой отряд греков, под предводительством знаменитого стрелка из лука Федора Каристоса.

Следующие ворота назывались Полиандриум или Милиандриум. Оборона этой позиции была поручена трем братьям генуэзцам,— Паоло, Антонио и Троило Бочиарди, с небольшим отрядом соотечественников.

От этих ворот стены тянулись к востоку, по направлению к Золотому Рогу, защищая часть города, называемую Влахерной, по имени обители, находящейся в той местности. Эта позиция была вверена венецианцу Джероламо Минноти, командовавшему корпусом, состоявшим из венецианских уроженцев и иностранцев.

Далее к северу не было рва для защиты стен. Эта позиция называлась Каллигарией, по имени соседнего предместья. Ожидали, что турки здесь попробуют пробить брешь, подкопавшись под стены. В виду этого император поручил оборону этого места немецкому горному инженеру Иоанну Гранту.

Командование на северо-западной стороне укреплений, у ворот, называемых Цинегионом, было доверено папскому легату, кардиналу Исидору.

От центральной позиции, у св. Романа влево был расположен небольшой отряд венецианцев под начальством их соотечественника Дольфино.

Недалеко от них были ворота, называемые Силиврией или Пили, защита их была вверена ученому, греческому математику, Феофилу Палеологу, при содействии генуэзца, Маврикия Катанео и венецианца, Никколо Мосениго.

У следующих ворот,— имя их не сохранилось — командование было в руках венецианца, Фабричио Корнеро.

Юго-западная оконечность укреплений была занята сильной башней, или скорее замком, называемым Циклобиан. Вход в эту башню обыкновенно назывался «Золотыми воротами» и это были последние ворота к югу в стене, простирающейся от Золотого Рога до Мраморного моря.

Позиция эта была вверена венецианцу Контарини и генуэзцу Эмануэло, имевшим под своим начальством 200 итальянских стрелков.

Неизвестно, кому была поручена позиция между Циклобианом и следующими воротами, Гипсоматией. Вероятно, набрали известное число молодых монахов из городских и окрестных монастырей, в том предположении, что в этом месте нельзя ожидать серьезного нападения.

Джиакомо Контарини, с небольшим отрядом венецианских соотечественников, занял ворота, называемые Контоскалиум.

Следующие ворота были названы, вследствие их близости к церкви св. Софии, Ходегетрией. Начальство над позицией между Контоскалиумом и Ходегетрией было отдано испанскому консулу, дону Педро Джулиано. Ходегетрия — были самые восточные ворота в стене, омываемой Мраморным морем.

В Акрополь был поставлен злополучный претендент на оттоманский престол Орхан-эфенди, с небольшим отрядом своих турецких приверженцев.

Все позиции, от Акрополя до Цинегиона, вдоль Золотого Рога были поставлены под верховное начальство Кира Луки Нотараса, генерал-адмирала, который не только обладал высшим военным чином в Византийской империи, но вообще считался храбрым, опытным офицером, хотя был мало любим вследствие вспыльчивого характера.

При входе в гавань возвышалась башня, где расположился венецианец Габриелло Тревизо с пятидесятью воинами.

Через вход в гавань была протянута крепкая железная цепь. Часть этой цепи сохранилась в константинопольском арсенале. Она состояла из огромных продолговатых колец дубового дерева, заключенных в листы железа и скрепленных между собой меньшими железными кольцами.

Вдоль этой цепи, внутри гавани были выстроены в несколько рядов 15 галер и множество меньших судов, и поставлены под начальством венецианского капитана, Антонио Диедо. Всего в гавани было 26 галер: из них 5 — генуэзских, 5 — венецианских, 3 — критских, 1 — анконская и 10 — греческих.

Ближе к центру города, на свободном пространстве, окружавшем церковь Св. Апостолов, расположился отряд в 700 человек, навербованных преимущественно из монахов, и запасной отряд, под начальством Димитрия Кантакузена и его зятя, Никифора Палеолога.

При всех отрядах у стен состояли монахи и священники, с тем, чтобы постоянно возносить молитвы и служить обедни.

Во всех церквах денно и нощно шла служба, почти без перерыва. Утренняя служба обыкновенно заканчивалась крестными ходами по улицам и вдоль стен.

Император Константин обыкновенно присутствовал на заутренях в церквах, в то время как он делал утренний смотр стенам; он часто слушал также торжественные богослужения около полудня. В промежутках между молитвами он садился на арабского коня и в сопровождении небольшой, но избранной свиты, делал объезд укреплениям, посещая все позиции, внушая солдатам «священный долг все претерпеть ради славы Божией». Затем он возвращался в главную квартиру за воротами св. Романа и после краткого отдыха под сенью большой палатки, снова начинал производить осмотр. В этой добровольно наложенной на себя обязанности, император всегда имел спутниками своего друга, Француза и отдаленного родственника, испанца Дон-Франческо ди Толедо.

Предместье Галата, по ту сторону Золотого Рога, са-

мо по себе представлявшее укрепленный город, было населено главным образом генуэзцами. Они образовали общину под управлением синдика, были независимы от юрисдикции императора и находились в тесных сношениях с великой республикой, своей метрополией. Граждане Галаты были большей частью торговцы, не слишком заботившиеся о соображениях высшей морали или политики, но всегда помышлявшие о том, чтобы из всего извлечь как можно больше выгод для себя лично. Греки от души ненавидели их как католиков, дерзких иностранцев и беззастенчивых соперников в торговле, а генуэзцы отплачивали им такой же враждой.

Услыхав от соотечественников из Адрианополя об обширных приготовлениях султана, галатские генуэзцы сочли вполне согласным со своими обязанностями с одной стороны относительно братьев христиан, а с другой — относительно самих себя действовать энергично по двум направлениям. Они послали в Геную вести об опасности, угрожающей Константинополю, и требовали, чтобы была послана немедленная помощь императору. Одним из результатов этих стараний был желанный приезд их соотечественника Джустиниани с итальянскими стрелками из лука. В то же время галатские генуэзцы отправили специальных послов в Адрианополь, чтобы напомнить султану, что Галата независима от императора. Они предлагали сохранять нейтралитет, нисколько не помогать императору, за то требовали, чтобы султан признал их независимость и обязался не вредить их городу. На это султан с радостью согласился и прежде, чем выступил против Константинополя, дал торжественное обещание уважать нейтралитет Галаты.

Вследствие этих сделок, пока греческая столица подверглась жестокой борьбе, Галата оставалась спокойной, жители ее пользовались случаем, чтобы наживать большие барыши, снабжая ту и другую сторону провиантом и товарами по неслыханным ценам.

При таких обстоятельствах началась осада Константинополя.

# ГЛАВА VI

«Дневник», который вел Николай Барбаро, венецианец, сражавшийся на стороне греков, «Мемуары» друга императора и постоянного его спутника, Франциза, доклад, представленный папе другим защитником города, архиепископом хиосским, Леонардом и «Славянский дневник», написанный по всей вероятности очевидцем,— все это вместе составляет достаточный материал для воспроизведения истории этой борьбы изо дня в день.

Турецкая канонада началась 11-го апреля. Сигнал был подан первым выстрелом из исполинской «базилики». Казалось, внезапный удар грома потряс землю и разверз небеса, до того оглушителен был выстрел и так далеко разнеслись его раскаты. С сотворения мира ничего подобного не слышали на берегах Босфора. В городе не только испуганные женщины с детьми, но даже и мужчины выскакивали из домов на улицы, ударяли себя в грудь и восклицали: «Кирие элейсон! что-то с нами будет?»

Жители конечно еще более встревожились, когда разнеслись из уст в уста преувеличенные толки о громадных размерах турецких каменных снарядов. Греческая пушка, называемая гелеполи, самого крупного калибра, метала снаряды, весившие не более полукентенара или 150 греческих фунтов. Самые же мелкие турецкие снаряды, бросаемые против стен, имели весом не меньше 200 греческих фунтов. Большинство же их имело вес от 200 до 500 фунтов, а главная турецкая батарея, против ворот св. Романа, метала ядра весом от 800 до 1 200 фунтов. К счастью, требовалось много времени, чтобы чистить и снова заряжать орудия, так что из этих гигантских пушек можно было делать не более 7-ми выстрелов в день.

12-го апреля, около часу пополудни, турецкий флот показался в виду Константинополя. Но он ничего не предпринимал. Суда бросили якорь близ Азиатского берега, напротив Диплокиниона, флот казался грозным не столько благодаря размеру галер, сколько вследствие многочисленности мелких судов. Караульные с высоты константинопольских башен насчитали 145 судов больших и меньших, образовавших флот султана.

Между 12-м и 18-м апреля не случилось ничего, достойного внимания. Бомбардировка продолжалась изо дня в день. Но она почти не оказывала никакого действия. Турки не умели метко прицеливать орудий. Они принуждены были также исправлять Урбанову гигантскую «базилику», которая на второй же день пришла в негодность. Говорили, что Урбан увеличил силу ее сопротивления заряду, скрепив ее дуло несколькими железными обручами.

Греки старались ослабить действие больших каменных снарядов, сыпля со стен смесь извести с кирпичной пылью.

Обе стороны метали стрелы и палили из длинных, тяжелых ружей. Но эти ружья были еще редкостью, их было очень немного и у греков, и у турок. Однако, по словам Барбаро, греки все-таки были лучше вооружены, чем турки. Большинство стрелков из ружей были поставлены у ворот св. Романа, где, как уже упомянуто, сосредоточились самые отборные войска, под начальством Джустиниани, для того, чтобы они сражались на глазах императора.

Хотя первые восемь дней осады были не важны с военной точки зрения, но они не лишены своеобразного интереса.

Вскоре после открытия канонады, в турецкий лагерь прибыл посол от Иоанна Гуниади, регента Венгрии. С почтительным приветом «великому султану», Гуниади извещал Высокую Порту, что он перестал быть «правителем Венгерского королевства» и что он передал свою власть и управление в руки молодого короля Владислава. Желая возвратить полную свободу действия новому королю, он возвращал документ, подписанный Тугрой султана и одобряющий перемирие, заключенное в Смедереве в 1451 г., и требовал, чтобы ему вернули его собственную подпись.

Очевидно, это была дипломатическая уловка, чтобы помочь грекам испугать султана, намекнув ему, что венгерская армия может, в случае надобности, пойти против турок. Это было действие, рассчитанное на подкрепление доводов Халила-паши в пользу мира. Сам Гуниади был скорее бравый солдат, чем тонкий дипломат.

Этот дипломатический план мог зародиться только в голове итальянского кардинала, или в опытном гибком уме старого деспота сербского, который вообще считался чрезвычайно искусным дипломатом, точно так же как и способным воином. Как мы видели, деспот Георгий, по требованию нового султана и вопреки предостережениям одного греческого патриота, успешным посредничеством достиг трехлетнего перемирия между Венгрией и Турцией. Весьма вероятно, гнев Кира Луки Нотараса и Кантакузена против деспота, о чем свидетельствует письмо императора к Францезу, был возбужден его вмешательством в это перемирие. Если правда, что перемирие предоставляло султану произвести нападение на Константинополь, то следовательно уничтожение его могло бы считаться средством заставить его отказаться от осады.

Но все меры, предпринимаемые Георгием Бранковичем, как бы они ни были ловко задуманы, почти никогда не достигали цели и приводили к другим неожиданным, нежелательным результатам. Однажды, в памятном разговоре с францисканским монахом Иоанном Капистраном, сам Георгий сказал: «Господь дал мне мудрость, но не дал удачи, и народ мой будет помнить меня, как разумного, но несчастного государя». Несомненно, что народ имел о нем такое мнение и даже вообще думал, что его несчастия являются Божеским наказанием за измену, в которой провинился, как предполагают, отец его, Вук Бранкович, по отношению к царю Лазарю в великом сражении на Коссовом поле, в 1389 году.

Итак, эта венгерская миссия в лагерь султана была роковой для Георгия Бранковича. Послам дозволено было посетить большую батарею, расположенную против ворот св. Романа. Когда венгерские офицеры увидали, как турки стреляют из пушек, они громко рассмеялись и заявили им, что несмотря на их тяжелые снаряды, им никогда не удастся пробить брешь в стенах. И затем эти христианские офицеры, пришедшие нарочно для того, чтобы отвлечь султана от стен Константинополя, стали учить турецких артиллерийских офицеров, как наводить орудия. Все современные писатели рассказывают об этом факте. Францез дает объяснение, очевидно ходившее среди народа в городе. Он говорит, что венгерцы действи-

тельно желали, чтобы Константинополь пал как можно скорее, так как один сербский отшельник, известный своим пророческим даром, сказал Гуниади, что христианство ни за что не отделается от турок, пока они не овладеют Константинополем!

18-го апреля канонада продолжалась весь день по обыкновению, прерываемая залпами из ружей и луков, как только выставлялся неприятель. Погода стояла прекрасная. Тихо спускались вечерние тени, и полный месяц озарял бледным сиянием дивную красоту Босфора. Вдруг, в девять часов звуки больших барабанов, рожков и зурн разнеслись по всей линии турецкого лагеря, и массы турецких воинов с громкими криками двинулись на стены.

В этот час в большинстве церквей города служили вечерни; народ толпился в храмах и наружных дворах, с зажженными свечами в руках и часто падая на колени, по знаку поданному из алтаря. Соблазненные прекрасным вечером, жители высыпали на улицы. Внезапно со стен раздался звон набата, немедленно начался трезвон со всех колоколен. Народ выбежал из церквей в испуге и расселся в смятении. Славянский летописец так описывает эту сцену: «Ружейная пальба, звон колоколов, лязг оружия, крики дерущихся людей, вопли женщин и плач детей,— все это производило такой шум, что казалось, земля дрожит. Облака дыма стояли над городом и лагерем, так что сражающиеся наконец перестали видеть друг друга».

Бой затянулся на несколько часов после полуночи. Барбаро говорит в своем «Дневнике», что император сильно опасался, чтобы неприятелю не удалось ворваться в город. Но турки откладывали решительную попытку и вернулись в свой лагерь, оставив во рве много убитых и раненых. Около трех часов утра снова господствовала тишина, прерываемая только воплями раненых, просивших воды или помощи.

Защитники стен были до того изнурены боем, что император, осматривая позиции перед рассветом, застал во многих местах часовых и караульных спящими глубоким сном.

19-го апреля турки убрали своих раненых с откоса;

они также унесли и сожгли тела убитых. Согласно славянскому летописцу, сожжение убитых солдат было обычаем турок во время осады.

В Константинополе отслужено было молебствие о том, чтобы Господь помог отразить осаждающих.

После церковной службы император держал совет с главными командирами и несколькими государственными сановниками. Многие из них думали, что приступ прошлой ночи имел нечто общее с уничтожением венгерцами перемирия, и что султан, может быть, снимет осаду. Для того, чтобы облегчить такое решение, сочли разумным перекинуть для него золотой мост и дать ему возможность отступить с честью. Поэтому решено было отправить посольство к султану и просить мира на каких условиях он и пожелал бы, кроме только сдачи города.

20-го апреля, часов около десяти утра, четыре парусных судна появились на южном горизонте и быстро стали приближаться к Константинополю. Одно из них было сейчас же узнано, как принадлежащее к императорскому флоту, а остальные три оказались генуэзскими коммерческими судами. Все они были нагружены пшеницей, купленной императором для общественного продовольствия.

Вскоре затем увидали, что весь турецкий флот направляется на встречу этим судам. На виду у греков и латинян, толпившихся на южных стенах, произошло в этот памятный день первое морское сражение между турками и христианами. Часть правого крыла турецкой армии также была свидетельницей сражения. Сам султан с пышной свитой визирей и пашей подъехал верхом к самому берегу Мраморного моря и повернул назад лишь тогда, когда волны стали омывать копыта его коня.

Четыре христианских корабля приняли сражение с турецким флотом в 145 судов. Толпы народа на стенах конечно трепетали за неизбежную, как они думали, гибель своих друзей.

Но греческая и генуэзская команда состояла из опытных моряков. Они так искусно пользовались греческим огнем, что через короткое время стало заметно сильное смятение в турецком флоте. Султан был очень смущен таким оборотом сражения, и когда его флот повернул назад и направился к Диплокиниону, он не мог сдержать

своего гнева. Он грозил кулаком трусам, проклинал адмирала Балта-оглу и в исступлении погнал своего коня в море.

Но все эти меры ни к чему не повели. Балта-оглу препроводил свои суда обратно на прежнюю якорную стоянку, а христианские суда продолжали свой путь до тех пор, пока не бросили якоря под стенами города, к великой радости граждан. Поздно вечером цепь, заграждавшая гавань, была опущена, две галеры, под начальством венецианских капитанов Гавриила Тревизани и Захария Гриоти, вышли из гавани и привели туда четыре судна, капитаны и команда которых сделали такую честь своим соотечественникам в этот день. Капитаном императорского корабля был Флантанелас, а трех генуэзских капитанов звали: Катанео, Новаро и Баланере.

21-го апреля под жестоким, непрерывным огнем с большой турецкой батареи, вдруг рухнула одна из башен, защищавших ворота св. Романа. Барбаро, бывший сам на этом месте, писал в своем «Дневнике», что если бы турки пошли тотчас же приступом только с 10 000 человек, они могли бы войти в город.

К счастью, турки, не ожидая такого действия своего огня, не сделали никаких приготовлений к немедленному приступу. Случилось также, что султан не находился на своем обычном месте, на холме Маль-Тепе. Рано утром он отправился с 10 000 всадниками в Диплокинион. Там он призвал к себе Сулеймана-бея, Балта-оглу, злополучного адмирала своего флота, резко упрекал его за постыдное поведение, затем приказал посадить его на кол.

Эта ужасная сцена потрясла визирей, пашей и других государственных и придворных сановников; движимые состраданием, они пали ниц перед султаном, умоляя его пощадить Сулеймана-бея. Магомет смягчился, заменил первый свой приговор другим: в присутствии всего флота, которым он до тех пор командовал, на глазах всадников, сопровождавших султана, Балта-оглу получил 100 розог; один удар нечаянно повредил ему глаза. Имущество его было также конфисковано, а вырученные от продажи деньги распределены между янычарами.

После этой тягостной сцены султан председательствовал на большом военном совете, нарочно созванном в

Диплокинионе. Накануне прибыло посольство от императора Константина и теперь перед советом вопрос был поставлен так: принять или отвергнуть предложения императора о мире?

Великий визирь Халил энергично советовал воспользоваться этим случаем, чтобы совершить почетное отступление из-под стен. По его словам, приступ 18-го апреля и вчерашнее морское сражение ясно доказывали, что не так-то легко овладеть Константинополем, и хотя никто не может предвидеть, как долго продлится осада, но всем известно, что чем дольше она затянется, тем большая является опасность, что в тылу может появиться христианская армия. Он напомнил всем присутствовавшим, что Венгрия уже потребовала назад свободу действий, что в Италии подвигаются приготовления и что венецианский флот того и гляди может прибыть на место. Убеждение его таково, что Константинополь все равно когда-нибудь попадет в руки султана, как спелый плод падает с дерева, но он, Халил, думает, что этот золотой плод еще не созрел. Он предлагает заключить мир с императором на таких условиях, чтобы вытянуть все жизненные соки из Константинополя и таким образом ускорил созревание плода и с этой целью предлагает потребовать 70 000 дукатов, уплачиваемых императором падишаху, в качестве ежегодной дани.

Согласно Саад-ед-дину, шейх Ак-Шемзеддин-эфенди, ученый улем Ахмед-Курани и Заган-паша энергично воспротивились доводам Халила: Едва ли можно было ожидать, чтобы в этот момент командиры войска подали голос в пользу мира. Поэтому неудивительно, что совет подавляющим большинством высказался в пользу продолжения осады.

Императорским послам дали ответ, что мир может быть заключен в том случае, если император немедленно сдаст город. В таком случае султан уступит императору весь Пелопонес и гарантирует ему нерушимый мир и господство в этом государстве, между тем как братьям императора — Димитрию и Фоме можно будет дать территориальные вознаграждения где-нибудь в другом месте.

Доводы великого визиря только убедили военачальников в необходимости ускорить завоевание. До сих пор

было произведено нападение на город лишь с одной стороны, и поэтому, как ни мал был гарнизон, греки могли сосредоточить все свои силы для отражения осады. Ясно было, что шансы на успех несравненно увеличатся, если нападение будет произведено с двух сторон.

Так как военные советники султана очевидно затруднялись в практических решениях, то султан представил им план, который он тоже изучал некоторое время. Он обратил их внимание на тот факт, что с берегов Босфора, от одного пункта, между Диплокинионом и Галатой открывается долина в юго-западном направлении, огибая западное подножие холма, возвышающегося над Галатой, и отлого спускаясь к Золотому Рогу; через эту-то долину, по его мнению, возможно было бы перенести суда из Босфора в гавань. Все расстояние не превышало семи или восьми верст.

Трудно сказать, была ли эта идея замыслом самого султана. Барбаро настойчиво утверждает, что Магомет заимствовал ее от одного христианина. Архиепископ Леонардо полагает, что кто-нибудь рассказал султану о подвиге, совершенном четырнадцать лет тому назад венецианцами, которые перенесли свои суда из Эча в озеро Гарда.

Как бы то ни было, но султан был убежден в исполнимости этого плана и немедленно отдал приказания для его осуществления.

Несколько тысяч человек наскоро очистили долину от кустарника и молодых побегов. Вырыт был узкий канал во всю длину долины, выложен крепкими досками, обильно смазанными салом, дегтем и жиром, купленными в большом количестве у генуэзских торговцев Галаты. На доски были положены валы, а на них поставлено небольшое судно для опыта. Везомое буйволами и подталкиваемое солдатами, небольшое судно пошло легче чем ожидали.

Султан приказал, чтобы на всех судах, которые надо было препроводить таким образом, распущены были паруса и выкинуты флаги, и чтобы на каждом из них играла музыка воинственные мотивы. Янычар Михаил рассказывает, что в эту ночь все батареи вели канонаду. Эта подробность объясняет, почему греки, а в особенности,

почему флот в Золотом Роге не помешал турецким судам проскользнуть в гавань. Непрерывного огня из батареи Загана-паши, на холме над Галатой было достаточно, чтобы препятствовать всякому судну приблизиться к тому месту, где построенный канал выходил в Золотой Рог.

В ночь с 21-го на 22-е апреля туркам удалось перетащить таким образом в залив Золотого Рога до тридцати судов.

Джустиниани и его солдаты были заняты в эту ночь исправлением разрушенной башни у ворот св. Романа, заполняя бреши бочонками с землей, связанными вместе. Работа шла, и войска с надеждой ждали наступления дня.

Граждане Константинополя, в особенности торговцы и мастеровые, обыкновенно вставали рано. С раннего утра 22-го апреля распространилась весть, что турецкий флот очутился в заливе! Народ, оставив работу, бросился к Золотому Рогу, увидал множество турецких судов, стоявших в углу гавани ближе к Галате, под охраной батареи Загана-паши. Многие в этот день окончательно упали духом. Но император не отчаивался. Он был в высшей степени озабочен необходимостью послать еще войск к северо-восточной стене, для защиты ее, в случае нападения.

23-го апреля. Канонада со стороны суши продолжалась, по обыкновению, без перемены.

Венецианские морские капитаны собрались на галере Антонио Диедо для совещания на счет способов, чтобы истребить турецкие суда в бухте. Этот вопрос был тем более настоятелен, что в этот день турки начали сооружать плавучую батарею, или, как многие думали, понтонный мост через бухту. После долгих совещаний было принято предложение капитана Джиакомо Коко напасть на турецкие суда ночью и сжечь их.

24-го апреля. Канонада продолжалась весь день с большой силой.

У турок сооружение понтонного моста успешно подвигалось вперед. Они употребляли пустые бочонки, скрепляя их прочными железными цепями.

Капитан Коко приготовил два корабля для ночной

экспедиции. Он окутал борта их тюками пакли и шерсти, надеясь, что это парализует действие турецких пушек..

В полночь морские командиры встретились на корабле Диедо, чтобы определить последние подробности. Приготовления были почти окончены, и некоторые из командиров настаивали на немедленном нападении. На это совещание было допущено несколько генуэзских капитанов, и они требовали, чтобы попытка была отложена до следующей ночи, с тем, чтобы и они могли в ней участвовать. Отказав этому требованию, венецианцы могли бы подвергнуть себя упреку, что даже в эти минуты великой общей опасности они не могли преодолеть свою старинную зависть к генуэзцам, своим исконным соперникам в торговле и морском могуществе. Поэтому предложения их были приняты и экспедиция отложена.

В следующие дни — 25, 26 и 27 апреля не случилось ничего особенного. Перемежающаяся канонада и отрывочная стрельба из луков и ружей продолжались по-прежнему.

Туркам удалось пробить в разных местах бреши; но греки и латиняне быстро заделали их. Но было уже очевидно, что защитники с каждым днем истощаются все более и более. Турецкие стрелки из лука и ружей, поставленные в первой линии, сменялись ежедневно, и на их места заступали свежие войска из лагеря; но на стенах стрелки из ружей и луков не могли быть сменяемы.

Вдобавок к этому в последние дни апреля стали носиться слухи о недостаточности запасов продовольствия.

Приготовления к морской экспедиции продолжались. Генуэзцы очевидно исполняли свою работу не так скрытно, как бы следовало. Некто Фаиуццио, узнав цель непривычной деятельности на некоторых генуэзских судах, перебежал в турецкий лагерь и выдал планы венецианских командиров.

Несколько опытных артиллеристов с четырьмя пушками были немедленно посланы на турецкие корабли в бухте и их командирам приказано было быть настороже.

28-го апреля. Часа за два до рассвета в этот день небольшая эскадра покинула свою позицию у цепи, заграждающей гавань, и беззвучно двинулась к западному углу бухты. Она состояла из двух больших галер Гав-

рила Тревизани и Захарии Гриотти и из трех мелких судов, с командирами Сильвестро Тревизани, Джироламо Морозини и Джиакомо Коко. Были взяты на буксир еще два небольших судна, нагруженных порохом, греческим огнем, смолой и другими горючими веществами.

Условлено было, чтобы две больших галеры, обложенные тюками пакли и шерсти, предшествовали другим и охраняли их. Но нетерпеливый Коко дал своему кораблю быстро проскользнуть вперед. Несколько минут спустя с турецких судов стали палить изо всех пушек, корабль Коко был поврежден и быстро пошел ко дну; Коко и его экипаж старались спастись вплавь.

Галера Тревизани быстро подвигалась вперед сквозь клубы дыма, но ее встретил новый залп, тогда и она потонула, Тревизани и большинство его команды спаслись вплавь. Затем другие капитаны медленно стали отступать, бросая снопы греческого огня. Но только одно из турецких судов загорелось и потонуло.

Некоторые из моряков, пытавшихся спасти свою жизнь вплавь, в смятении поплыли прямо к берегу и попали в руки турок. Их захватили в плен и на другой день обезглавили на глазах солдат и народа на стенах. Эта жестокость до крайности раздражила граждан и константинопольское правительство. В городских тюрьмах было заключено до 260 турок, их всех вывели на стены и казнили на виду у турецкой армии. Сам Франдез рассказывает об этом варварском возмездии.

29-го апреля. После возбуждения, господствовавшего накануне, в этот день все обошлось сравнительно спокойно и в турецком лагере, и в городе.

Неудавшаяся экспедиция венецианцев разумеется продолжала служить темой всех толков у греков и латинян. Венецианцы, потерявшие около 90 человек матросов и солдат, глубоко чувствовали эту потерю и открыто, с горечью обвиняли генуэзцев в измене. Генуэзцы возражали, что причинами неудачи было невежество венецианцев и безрассудство Коко. Взаимные укоры скоро превратились во взаимные угрозы и так как даже венецианские и генуэзские волонтеры готовы были драться между собой, то император собрал командиров и офицеров обеих национальностей и сказал им: «Прошу вас, братья,

будьте дружны и работайте сообща. Не довольно разве беды, что мы принуждены сражаться с этими страшными противниками по ту сторону стен? Ради Бога, пусть не будет никаких раздоров между вами по сю сторону.

30-го апреля. Славянский летописец заметил, что в «этот день выстрел из гигантской турецкой пушки против позиции св. Романа сильно расшатал стену, которая была очень ветха и несколько низка; второй выстрел, около полудня, снес верхнюю часть стены, пробив брешь в пять футов шириной; но третьего выстрела не последовало, так как настала ночь, прежде чем турки были готовы».

1-го мая. По словам того же летописца, турки сосредоточили огонь из нескольких орудий обыкновенной величины против того места, где накануне была пробита брешь, но за ночь Джустиниани заполнил ее «землей и фашинником».

«Когда они таким образом достаточно сокрушили стену»,— продолжает хроникер,— они нацелили большую пушку и дали еще выстрел. Но снаряд был намечен слишком высоко и попал в стену ближайшей церкви, которую разнес совершенно. В полдень, только турки приготовились сделать второй выстрел, как вдруг Джустиниани снарядом из своего собственного орудия попал в большую турецкую пушку и сбил ее. Султан, увидав случившееся, воскликнул в ярости: «ягма! ягма!» то есть на штурм, вся армия повторила за ним «ягма!», солдаты бросились к стенам и наполнили ров.

В городе тотчас же ударили в набат. Император, поспешно прибывший, поощрял войска держаться стойко. Славянский летописец подробно описывает борьбу, окончившуюся тем, что турки отступили со стен после наступления сумерек.

Другие свидетели также рассказывают о сражении этого дня (Франдез, Барбаро, Леонардо) и рассказы их несколько расходятся только в начале, однако не существенно. По их словам, многие солдаты имели привычку покидать свои позиции в полдень и ходить обедать со своими семействами. 1-го мая большее число чем обыкновенно отправились домой для этой цели. Турки, увидав лишь незначительное число солдат на стенах у во-

рот св. Романа, спустились в ров и стали длинными крючьями тащить вниз фашины и корзины с землей, при помощи которых брешь была наскоро заделана; затем завязался бой. Джустиниани жаловался императору на подобные порядки в армии.

2-го мая. Не случилось ничего особенного. Обычный обмен выстрелов.

Однако император, в виду того, что случилось накануне, собрал греческих солдат и упрекал их в том, что они подвергали город опасности нападения врасплох, отправляясь по домам обедать. Многие греки отвечали, что они принуждены уйти совсем, так как ни им, ни их семействам дома нечего есть. Это заявление бросает печальный свет на плохую организацию и на страдания претерпеваемые народом.

Император, пораженный этим заявлением, немедленно приказал, чтобы неспособные сражаться носили пищу и питье солдатам на стены и чтобы семьи, кормильцы коих были заняты защитой города, получали пропитание от правительства. Командир резерва Димитрий Кантакузен в то же время получил приказание производить осмотр позициям несколько раз в день, чтобы удостовериться, что все люди на местах.

Ему также дана была инструкция разыскивать местожительство людей, которые, хотя и способны были носить оружие, но нарочно прятались, чтобы избавиться от обязанности защищать императора, империю и свои собственные дома. Эти трусы созрели для турецкого рабства. Но по-видимому, не мало было людей в городе, которые порицали всякую попытку защиты и громко бранили императора. Друг императора, Францез, сам прибавляет эту темную черту к мрачной и без того картине угасающей империи.

3-го мая. Греки установили три пушки на башне, господствующей над бухтой, и открыли огонь по турецкой флотилии. Несколько дней продолжался в этом пункте обмен выстрелов, не причиняя особенного вреда.

В городе было известно, что Венеция и Неаполь, точно также, как и папа, обещали прислать помощь, и день и ночь жители наблюдали южный горизонт, ожидая, не покажется ли союзный флот. Однако, дни проходили за

днями, и не появлялось никакого паруса; наконец император пожелал послать кого-нибудь на поиски за латинским флотом и поторопить его прибытием в Константинополь. В ночь на 3-е мая небольшое судно покинуло гавань и вышло в Мраморное море. На ней развевался турецкий флаг, и команда была одета в турецкие костюмы. Это рассказано в «Дневнике» Барбаро, а в «Славянской хронике» говорится, что в этот день «император послал людей в Морею, на острова и в страны франков, чтобы просить помощи».

В тот же самый день император председательствовал на большом совете, состоявшем не только из военных командиров, но также из сановников государства и церкви. Командующие позициями единогласно заявили, что движения в турецком лагере указывают на приготовления к общему штурму. Принимая во внимание состояние стен и утомление оборонительных сил, постепенно убывавших, никто не мог высказать с уверенностью — есть ли надежда отразить турок? Сенаторы и прелаты, с патриархом во главе посоветовали императору покинуть город и удалиться в более надежное место. Некоторые из них уверяли, будто народ в провинциях, услыхав, что император здрав и невредим вне осажденной столицы, пошлет туда множество волонтеров и что эти, вместе с войсками принцев Димитрия и Фомы и с албанцами, которых не приминет привести Скандербег, могут произвести атаку достаточно серьезную, чтобы встревожить султана и заставить его отступить из-под стен города.

Сам Джустиниани энергично поддерживал эти представления и предоставил все суда свои в распоряжение императора.

«Император»,— продолжает хроникер — и выслушал все это очень спокойно и терпеливо. Наконец, после глубокого раздумья он заговорил: «Благодарю вас всех за поданный мне совет. Я знаю, что отъезд мой из города принес бы мне выгоду, тем более, если верно все то, что вы предвидите. Но мне невозможно удалиться! Как мог бы я покинуть церкви Господни и его служителей — духовенство и престол и народ мой в такой беде? Что сказал бы обо мне свет? Прошу вас, друзья мои, впредь говорите мне лишь одно: «Нет, государь, не покидай

нас»! Никогда, никогда я вас не покину! Я решил умереть здесь с вами»! Сказав это, император отвернулся, так как глаза его были полны слез; с ним прослезился и патриарх и все присутствовавшие»!

То были слова, вылившиеся из глубины благородного, великодушного сердца, слова, достойные императора. Константин Драгаш даже и в этом случае сделал честь занимаемому им престолу и народу, которым он управлял.

4-го мая. По обыкновению шла канонада и ружейная перестрелка. Ничего особенно замечательного не произошло в этот день.

Но в ночь с 4-го на 5-е мая сделана была другая попытка истребить турецкие суда в бухте. На этот раз атака была предпринята капитаном с одного из кораблей Джустиниани. Турки однако зорко наблюдали и когда генуэзская галера приблизилась, ее встретили выстрелами и сразу потопили.

5-го мая. В городе ходили оживленные толки о несчастии прошлой ночи. Говорили, будто сам Джустиниани находился на злополучной галере и спасся с трудом. Опять-таки рассказывали, что турки были заранее предупреждены одним изменником.

Общее возбуждение еще более усилилось новым обстоятельством,— внезапным открытием огня с батареи Загана-паши против христианских судов, расположенных в гавани вдоль цепи. С этой целью Заган получил несколько более тяжелых орудий, нежели те, которыми он располагал до сих пор.

Тяжелый снаряд ударил в генуэзское торговое судно, нагруженное шелком и другим дорогим товаром, оцененным в 12 000 дукатов. Судно быстро пошло ко дну. Христианский флот принужден был оставить свою позицию и двинуться по ту сторону цепи, вне выстрелов из пушек Загана.

Генуэзцы Галаты послали султану формальный протест против убытка, наносимого нейтральной стороне. Великий визирь отвечал витиеватыми извинениями и обещал, что после завоевания города, убытки будут сполна уплачены.

6-го мая. Турки установили новые пушки против ворот св. Романа. Весь день они поддерживали упорный огонь. К вечеру возле ворот была пробита широкая брешь. Чтобы помешать защитникам заделать ее, турки продолжали стрелять всю ночь. Джустиниани однако не пытался заполнять брешь, но несколько дальше, с внутренней стороны возвел баррикады и башню.

7-го мая. Турки продолжали расширять брешь сосредоточенным огнем со своей большой батареи. К вечеру стрельба прекратилась.

Часов около одиннадцати ночи многочисленные отряды турок ринулись с откоса, спустились в ров и бросились к бреши. Барбаро говорит, что до 30 000 турок участвовали в этом приступе.

Славянский летописец сообщает много интересных подробностей о сражении. По его словам, греки и латиняне храбро вышли на встречу нападающим и сражались с ожесточением. Джустиниани командовал лично и чуть не был убит янычаром исполинского роста. К туркам прибыли подкрепления в лице знаменитого турецкого героя, Омера, бея Романского санджака. В то же время Джустиниани также получил подкрепление, в виде отряда греков, под начальством популярного командира, стратига Рангабе и храбрым натиском согнал турок с бреши в ров. Рангабе, воодушевляя своих воинов, шел впереди, расчищая себе дорогу мечом и вдруг очутился лицом к лицу с храбрым, знаменитым Омер-беем. «Рангабе» — рассказывает летописец — «немедленно напал на него и, уперевшись одной ногой в камень, поднял свою саблю обеими руками и рассек Омер-бея пополам. Турки, разъяренные потерей такого героя, окружили Рангабе и буквально изрезали его в куски. Тогда греки отступили за стены.

Всюду распространилась великая скорбь по случаю смерти Рангабе, храброго, бесстрашного рыцаря, очень любимого императором».

8-го, 9-го, 10-го и 11-го мая не случилось ничего примечательного.

Турецкая канонада продолжалась по обыкновению. По словам Тетарди, кроме множества мелких снарядов (весом от 200 до 500 фунтов) было пущено против стен

и в самый город около 100 или 120 более тяжелых снарядов (от 800 до 1200 фунтов).

В самом Константинополе с каждым днем усиливалось уныние. В церквах происходили беспрерывные слезные моления. Огромные толпы беспрестанно теснились прикладываться к иконе Божьей Матери, которая, согласно легенде, однажды уже спасла город от врагов. Эта чудотворная икона была выставлена для поклонения и пожертвований благочестивого народа в церкви Богородицы Ходогетрии, возле Акрополя и св. Софии.

Так как выяснилось, что флот не может оказать помощи обороне, то венецианцы начали разоружать свои суда. 9-го мая Габриэло Тревизани покинул свои две галеры и их командой, насчитывающей около 400 человек, усилил позицию св. Романа, где потери людьми были понятно самые тяжкие.

12-го мая. Турецкие пушки пробили брешь в стенах близ императорского дворца Гебдомона. Прежде чем греки могли начать починку, вечером несколько тысяч турок штурмовали этот пункт. Барбаро определяет численность штурмовавших войск в 50 000 человек, но по всей вероятности эта цифра преувеличена.

По свидетельству Славянской хроники, турецкий приступ был произведен с такой яростью, что греки принуждены были отступить от бреши. Успехи турок были остановлены Палеологом, «стратигом Сингурлы», многие писатели объясняют, что это означает «начальник кавалерии», а другие думают, что это «помощник начальника». Очень возможно, что это был Никифор Палеолог, помогавший своему тестю Кантакузену в командовании резервами. Главная квартира резервов находилась недалеко от дворца Гебдомон, и поэтому помощь под начальством Никифора Палеолога подоспела во время. Но хотя Палеолог отразил турок на время, однако они вскоре опять стали теснить его, «потому что — как говорит хроникер — «Мустафа паша, бейлер-бей анатолийский, прислал свежих войск».

На помощь к Палеологу прибыл Федор, начальник тысячи вместе с Джустиниани. Этот командир, Федор, был по всей вероятности никто иной как Федор Карис-

тос, занимавший позицию Харзиас. Положение дел в Гебдомоне оказалось столь критическим, что стало необходимо не только призвать резерв, но и войска с других позиций. Но несмотря на эту поддержку, «турки стали одолевать греков» по словам того же славянского хроникера.

В тот же вечер император присутствовал на всенощной в св. Софии.

После вечерни, продолжавшейся два — три часа, император удалился в одну из зал, смежных с храмом св. Софии и там встречен был членами синклита и некоторыми из высших военачальников. Они открыли военный совет. Один из генералов, поддерживаемый Логофетом, Георгием Францезом, предложил произвести в благоприятный момент общую вылазку, под предводительством самого императора. Они указывали на два преимущества, сопряженные с этой вылазкой: во-первых, на нравственную выгоду и затем на возможность добыть немного продовольствия.

Против этого предложения восстали Кир Лука Нотарас и префект города, Николай Гудели. Они полагали, что было бы неразумно отваживаться на такое смелое предприятие, но осторожнее оставаться за стенами и ограничиваться защитой против неприятельского нападения. «Можно сказать,— рассуждал Кир Лука,— что мы сражаемся теперь уже пять месяцев и, с Божьей помощью, можем сражаться так еще много месяцев; но если на то не будет Божьей помощи, мы все падем, и город погибнет». Очевидно, по расчетам Кира Луки, война началась в декабре.

Покуда они таким образом обсуждали это важное предложение, явился гонец с известием, что турки на стенах позади Гебдомона. Император немедленно поспешил на опасный пункт. На улицах он встретил толпы народа и даже вооруженных людей, бежавших прочь от стен. Император остановил их и приказал им вернуться на свои посты, но его телохранителям пришлось пустить в ход свои сабли и копья, чтобы заставить охваченных паникой солдат вернуться назад, к стенам.

Прибыв в Гебдомон, император увидал, что турки прорвались сквозь брешь и уже сражались с греческими

и латинскими волонтерами в смежных улицах! Появление императора с свежими отрядами подняло дух сражавшихся христиан и, сделав отчаянное усилие, они отбросили турок за ров. «Если б не подоспел император с свежими силами, в ту же ночь мы погибли бы окончательно»,— говорит славянский летописец.

К этому же сражению вероятно относится другой случай, сообщаемый хроникером. Сам император был до того возбужден этой отчаянной борьбой, что пришпорил своего коня и бросился к бреши, очевидно намереваясь перескочить в ров, где происходил рукопашный бой, «но сановники императорской свиты и немецкая гвардия остановили его и принудили повернуть назад».

Урон, понесенный турками в этом приступе, на другой день определили в 10 000 человек. Сообщают, что префект города приказал все тела убитых турок выбросить за укрепления, с тем, чтобы их подобрали командиры ближайших турецких позиций.

14-го мая. Видно было, как турки перетаскивали пушки с батареи Загана-паши, с холма над Галатой, как полагали, с намерением усилить батареи напротив Кинегиона. Но они остановились там только на некоторое время, отдохнуть и затем перетащили на позицию, расположенную против ворот св. Романа.

Это сосредоточение артиллерии служило указанием того, что главная атака будет направлена против позиции, защита которой поручена Джустиниани. Поэтому греки сформировали новый отряд в 400 человек, хорошо вооруженных и взятых с кораблей и других менее опасных позиций на стенах и поставили их в распоряжение Джустиниани.

15-го мая. День прошел без особенных приключений.

16-го мая. Несколько турецких галер приблизилось к христианскому флоту, по-видимому снова занявшему свою прежнюю позицию за цепью. После обмена несколькими выстрелами турецкие суда вернулись к месту своей якорной стоянки.

17-го мая. За некоторое время перед тем в греческой главной квартире было получено извещение о прибытии в турецкий лагерь «саксонских рудокопов». Эти рудокопы были из Нового брода, известного также под име-

нем Новой горы, знаменитого серебряного рудника в Сербии, который с половины XIII-го века разрабатывался колонией саксонцев. Прибыли они с целью предпринять энергичную попытку подкопаться под стены. И действительно в ночь на 17-е мая, Иоанну Гранту удалось открыть и уничтожить турецкую мину, где было заживо похоронено множество солдат и рабочих.

18-го мая. На рассвете часовые у ворот Харзиас заметили какое-то необыкновенное сооружение по ту сторону рва.

На расстояние 8—10 сажен от рва придвинули высокую деревянную башню из крепких досок и бревен, обтянутых буйволовой шкурой и поставленную на колеса. Башня имела два этажа; бока нижнего этажа были обшиты толстыми досками, а пространство между ними заполнено землей! Верхний этаж, куда можно было взобраться по нескольким лестницам, был особенно тщательно защищен буйволовыми шкурами. В башне находилось три отверстия, вроде широких окон; оттуда стрелки легко могли попадать в людей на стенах.

Вообще этот день, 18-го мая, был полон злоключений для греков. Турецкие стрелки с Буйволовой башни нанесли им большой урон в позиции Харзиас; одна из башен ворот св. Романа и часть смежных стен рухнули в ров под действием усиленного огня большой батареи.

В бухте турки окончили свой понтонный мост, ведущий к Северо-восточным воротам Кинегиона. Он был длиною в 150 сажен, а шириною в $1^1/_2$ сажени. Очевидно у турецкого главнокомандующего было намерение штурмовать в одно и то же время два отдаленных друг от друга пункта — ворота св. Романа и ворота Кинегиона; он надеялся таким образом разделить силы осажденных.

В ночь на 18-е мая император Константин и Джустиниани сделали почти нечеловеческие усилия. Им удалось заделать брешь в воротах св. Романа и соорудить новую башню для защиты этой позиции; они организовали отряд из храбрых волонтеров, которые взобрались на контр-эскарп и, бросив греческий огонь на Буйволову башню, обратили ее в пепел. Величайшие смельчаки среди турок, даже сам султан не могли сдержать своего

удивления и открыто обнаруживали свое восхищение ловкостью и энергией защитников. Говорят, султан так выразился по этому поводу: «Если б вчера все тридцать семь тысяч пророков сказали мне, что возможен такой подвиг, я бы этому не поверил».

19-го и 20-го мая не случилось ничего достойного внимания.

21-го мая. Очень рано утром затрубили в рога на кораблях турецкого флота, стоявшего на якоре близ Диплокиниона, и корабли медленно поплыли к входу в Золотой Рог. В городе был подан сигнал тревоги, солдаты высыпали на стены; народ наполнил улицы. Но около семи часов турки вдруг отступили назад на свою прежнюю позицию.

В тот же день, после полудня турецкая пушка пробила новую брешь и снесла башню. Барбаро узнал об этом, но не разобрал, в каком это случилось месте. Он только упоминает этот факт, прибавляя, что в следующую ночь греки исправили нанесенный вред.

22-го мая. Саперы Гранта отыскали две турецких мины в Каллигарии и уничтожили их. С одной из них они вступили в рукопашный бой с турецкими рабочими и солдатами и перебили их всех до единого.

Хотя вследствие свойства почвы, не дозволявшей прорыть ров перед Каллигарией, неудобно было прокладывать мины, однако саперы с обеих сторон выказали немало искусства и смелости в этом особом роде ведения войны. Насколько они были деятельны, можно видеть из сообщений Тетарди. Он говорит: «Заган-паша, со своими людьми, привыкшими работать в золотых и серебряных рудниках, подкопался под укрепления в 14-ти различных пунктах, начав копать на большом расстоянии от стен. Христиане, с своей стороны, стали прислушиваться, открыли положение турецких мин и стали рыть контрмины. При помощи дыма, они задушили турок в подземных галереях. В некоторых местах они потопили их, напустив в ходы воды, а в других сражались с ними в рукопашную.

Славянский летописец рассказывает, что греки часто по ночам спускались в ров и через кирпичные верки контрэскарпа подкапывались под гласис. Он красноре-

чиво описывает взрыв в одной из мин: «Это было — говорит он — как будто туда ударила молния, земля заколебалась и с великим треском зеленоватый вихрь взбросил турок на воздух. Останки людей и обломки досок падали в город и в лагерь. Осажденные бросились прочь от стен и от рва».

## ГЛАВА VII

23-го мая несколько турецких всадников подъехали к воротам св. Романа, трубя в рог, и с развевающимися знаменами, давая понять страже на башне, что они хотят сделать какое-то сообщение. Чрезвычайный посол султана желал передать послание императору лично. Спустя некоторое время последовал ответ со стен, что посол может войти в город.

Этот посол, Измаил-Хамза, повелитель Синопа и Костамболи, сын покойного Исфендиар-хана, вследствие женитьбы своей породнился с самим падишахом. Одно время Исфендиар-ханы были независимыми владельцами, энергично сопротивлявшимися поглощению их государств обширной Оттоманской империей; но наконец они принуждены были признать над собой верховную власть султана и примириться с неизбежным. Исфендиар-ханы в продолжение многих поколений были в дружеских отношениях с греческими императорами, и Измаил-Хамза был принят императором, как старый друг.

Хамза передал поручение султана. Так как положение города неоспоримо безнадежное, рассуждал он, то какая надобность императору затягивать бедствия войны и подвергать свой народ страшным последствиям осады? Султан питает искреннее, глубокое уважение к императору и дозволит ему удалиться без вреда со своим двором, свитой и сокровищами, куда бы он ни пожелал. Мало того, султан снова предлагает императору сюзеренство над Пелопонесом. Жители Константинополя также получат разрешение уйти, если они захотят, со своим движимым имуществом, император должен счи-

тать это последним приглашением султана к сдаче. В случае отказа, город не может быть избавлен от ужасов резни и разграбления.

Тогда Хамза, более в качестве друга императора, чем султанского посла, пытался убедить Константина отдаться на волю судьбы. Стены со стороны суши были проломлены во многих местах, четыре башни разрушены совершенно, небольшой гарнизон не мог не быть истощенным, и не было никакой надежды на скорое прибытие помощи извне.

Все эти аргументы были, к несчастью, неоспоримыми фактами. Положение города было еще более плачевным. Запас продовольствия с каждым днем становился все скуднее; народ впал в состояние мрачного отчаяния; он считал императора и его правительство ответственным за страдания, уже вынесенные им, и за те еще большие несчастия, которые предстояло ему пережить. Очевидно, Пресвятую Деву Марию ни слезами, ни молитвами нельзя заставить явиться снова на стенах и рассеять врагов. «Но — спрашивали многие православные греки — удивительно разве, что после осквернения св. Софии и ужасов 12-го декабря, небо не внемлет их молитвам»? Другие говорили: «Без сомнения, наши отцы и праотцы грешили, мы сами также грешили, и справедливо, чтобы Провидение наказало нас. Все эти несчастья — очевидно «кара Божия». К чему стараться избежать ее? Хорошо ли продолжать сражаться и идти наперекор воле Божьей?»

Не только обвалившиеся стены, но еще более упадок духа в массе народа и неосуществившиеся обещания помощи извне — все это могло бы оправдать Константина, если бы он согласился на почетную сдачу города.

Но у Константина было более возвышенное понятие о своем достоинстве и о своих обязанностях. По словам Дукаса, он сообщил Хамзе следующий ответ для передачи султану:

«Я восхвалю Бога, если ты захочешь жить в мире с нами, как жили твои праотцы; они относились к моим предшественникам с сыновним почтением, а к этому городу с величайшим уважением. Кто бы из них ни обратился к нам, в беде он всегда находил у нас надежное

прибежище, но кто бы ни поднял руку против нашего города, никогда не знал счастья. Удержи за собой, как твои законные владения, земли, несправедливо отнятые тобою у нас, назначь сумму дани, которую мы постараемся уплачивать тебе ежегодно, и ступай с миром. Помни, что посягая на захват чужих владений, ты сам можешь стать добычей других! Сдать город — не в моей власти и ни в чьей здесь власти. Мы все приготовились умереть и умрем без страха!»

Рано утром 24-го мая небольшое судно подошло к цепи, загораживавшей гавань. Команда его была по-видимому турецкая, однако после обмена сигналов с венецианскими кораблями, сторожившими вход, цепь была спущена и корабль вошел в гавань.

Оказалось, что это судно, отправленное дней двадцать тому назад на поиски за союзным флотом. Командир корабля заходил на многие острова Архипелага, всюду наводил справки и оставил союзникам поручение поспешить в Константинополь. Но нигде он не встретился с ними. Некоторое время ни он, ни его люди не знали что предпринять, так как возвращаться было почти безнадежно. Но в конце концов они почувствовали, что долг их требует вернуться и не оставлять долее своего доброго императора в состоянии тревоги и неизвестности. Итак они вернулись с самыми неутешительными донесениями и как раз во время, чтобы умереть. К несчастью, имя храброго командира этого корабля не сохранилось.

В этот день Иоанн Грант открыл и уничтожил очень опасную мину, тянувшуюся на шесть сажен под стенами Каллигарии.

Турецкая канонада продолжалась целый день без перерыва. После заката турецкий лагерь был освещен, множество фонарей было зажжено на мачтах кораблей в Диплокинионе. На кораблях и в лагере происходило шумное ликование. Турецкая музыка, с преобладающими в ней большими барабанами и цимбалами, раздавалась по всей местности между Золотым Рогом и Мраморным морем.

Император Константин, по обыкновению, выехал осматривать позиции своего войска. В различных пунк-

тах он сходил с лошади, поднимался на стены, наблюдая огромный огненный пояс, оцеплявший императорскую столицу.

Он прислушивался к монотонному звуку барабанов и к дикому шуму в турецком лагере. Константин и немногие храбрые люди, разделявшие с ним бремя и ответственность обороны, догадались, что это зрелище предвещает общий штурм. Говорят, что глядя на шумный лагерь, император стоял молча, погруженный в задумчивость, между тем как слезы катились по щекам его. Он не стыдился своих слез, ему нечего было их стыдиться, так как он твердо решился исполнить свой долг до конца.

Некоторые граждане, возвращаясь из церкви, со всенощной, заметили внезапное появление красного света у основания купола св. Софии. Свет тихо скользил вверх и вокруг купола, покуда не достиг позолоченного креста. Там он помешкал несколько мгновений, затем яркий отблеск стал бледнеть, подрожал некоторое время над великолепным зданием и исчез. Словно солнце, запоздавшее на западе, выглянуло снова из-за черной завесы ночи, чтобы приласкать нежным лучом прекраснейший храм христианского мира и приветствовать своим сиянием крест, которому суждено было быть скоро замененным полумесяцем.

Однако, это было не более как отражение ярких огней в турецком лагере, которых не могли видеть люди на константинопольских улицах. Им это казалось знамением с небес, полным значения. Два очевидца, Николай Барбаро и автор Славянской хроники, говорят, что граждане, видевшие отраженный свет на куполе, проникались страшными предчувствиями. Барбаро описывает эту сцену, как бы похожую на лунное затмение, и напоминает народу старинное пророчество, согласно которому город должен пасть в те дни, когда луна покажет знамение».

По известиям Славянской хроники, монахи истолковали это «страшное знамение» народу таким образом: «Святое сияние, осенившее храм св. Софии, и ангел, которого Господь приставил во времена императора Юстиниана стеречь святую церковь и город, в эту ночь отлете-

ли на небо среди сияния, виденного многими. То было знамение, что Господь предает город в руки врагов».

В ту же ночь посланный императором гонец скакал по улицам, созывая всех сановников и командующих офицеров явиться к императору рано на следующее утро.

25-го мая. Совет собрался очень рано, под председательством императора. У иных заметны были на лицах следы усталости после ночи проведенной на стенах, а у других признаки полного отчаяния. Никогда еще не случалось, чтобы перед несравненной красотой Золотого Рога и в теплое благоуханное майское утро на Босфоре собиралось совещание при более мрачных, отчаянных условиях. При всей их любви к своему отечеству, они с горечью сознавали, что Византийская империя, окруженная славными и великими традициями, ныне угасает в их трепещущих объятиях.

Совету предстояло в это утро обсуждать меры в виду ожидаемого штурма.

Император Константин, простой, добрый, храбрый, прямодушный снискал сочувствие и восхищение всех, кто только видел его удивительное терпение, выдержку и неутомимую преданность общественным интересам. Все присутствовавшие на последнем совете были проникнуты глубоким чувством уважения к несчастному государю.

Некоторые снова возбудили на совете вопрос, что интересы империи требуют немедленного удаления из города императора и его двора, тем более, что до тех пор, пока император будет оставаться там, нет надежды вернуть когда-нибудь столицу, если ею овладеют теперь.

Глава духовенства патриарх Григорий, по-видимому отказавшийся в то время от своего поста, с большой твердостью поддерживал это предложение; он сказал: «служители алтаря видели несомненные признаки того, что, по воле Божией, город должен ныне пасть; но Провидение Господне неисповедимо и Ему угодно было смилостивиться над своим народом. Если нельзя спасти императорский город, то пусть спасется император! Пусть останется жив император, ибо в его особе сосредоточены все надежды его народа. Все мы должны преклонить-

ся перед волей Всемогущего, который в милосердии своем может вернуться к народу нашему, как обратился снова к народу Израилеву, в ветхозаветные времена».

Слова патриарха глубоко тронули всех присутствовавших. Император, услыхав, что церковь также считала падение города неизбежным, был так сильно потрясен, что упал в обморок, и нужно было приводить его в чувство с помощью ароматической воды». Бессонные ночи, неустанный труд, подавляющие тревоги и вдобавок строгий пост, которым он сопровождал свои молитвы, как истый грек,— все это отозвалось на его организме. Однако он оправился через несколько минут. Тогда духовенство стало убеждать его покинуть город безотлагательно, и весь совет умолял его последовать этому совету. Когда все наконец замолкли, император обратился к собранию спокойным, но решительным тоном:

«Друзья мои, если угодно Богу, чтобы город пал, то можем ли мы избегнуть Его гнева? Сколько императоров до меня, великих и славных, должны были страдать и умереть за свое отечество! Неужели я буду единственным, который убежит от него? Нет, я останусь и умру здесь, вместе с вами».

Решимость императора остаться верным тому, что он считал своим долгом, делала дальнейшие рассуждения об его отъезде бесполезными. Но вероятно тогда же было решено выслать из города принцессу Елену, вдову деспота Димитрия, с придворными дамами. Когда после взятия города султан осведомился, что стало с высокопоставленными дамами, ему сказали, что их увезли на одном из кораблей Джустиниани.

Совет перешел затем к обсуждению других вопросов. Решено было, чтобы все без различия звания помогали заделывать бреши в стенах. Это решение было принято, после того как Джустиниани горько жаловался на то, что греки отказываются помогать в исправлении стен св. Романа, уверяя, что это обязанность латинских воинов, которыми он командовал.

После этого Джустиниани заявил о настоятельной необходимости усилить его позицию добавочной артиллерией и предложил, чтобы некоторые пушки были перевезены с позиций на Золотом Роге, не подвергавшихся

большой опасности. Кир Лука Нотарас, главнокомандующий этих позиций, положительно отказал дать свои пушки. Между обоими дошло до резких слов и чуть было не произошла прискорбная сцена, но вмешался император со своей обычной кротостью. «Друзья мои — сказал он — теперь не время ссориться; лучше будем снисходительны друг к другу и помолимся Богу, чтобы Он спас нас от пасти турецкого змия».

Но надменные замечания Кира Луки подзадорили честолюбие храброго и энергичного Джустиниани. Он вернулся на свой пост и при помощи некоторых людей, в числе которых архиепископ Хиосский особенно указывает на некоего Ивана Далматского, в течение суток успел исправить стены так хорошо, что и друзья и враги его удивились. Султан, говорят, воскликнул: «отчего нет у меня таких людей?»

В тот же день, поздно вечером была открыта и уничтожена турецкая мина в Каллигарии.

26-го мая. Неприятель продолжал стрельбу по обыкновению. В городе шли лихорадочные приготовления к ожидаемой атаке.

В тот же день происходил прием в просторной палатке султана. Посольство от нового короля венгерского Владислава было принято в торжественной обстановке. По правилам турецкого этикета, послу не дозволялось прямо обращаться к султану насчет предмета его миссии, но после аудиенции он имел свидание с великим визирем, в присутствии двух пашей. Посол сделал официальное сообщение о восшествии на престол короля Владислава и выразил дружеское желание, чтобы султан увел свои войска из-под Константинополя, так как в противном случае Венгрия не может не примкнуть к лиге, образованной папой против турок. Если великий визирь не знал раньше того факта, что венецианская эскадра на пути в Константинополь, то услышал об этом теперь от венгерского посла.

Немедленно после этого свидания в турецком лагере разнеслись очень тревожные вести. Ходил слух, что венгерский посол привез объявление войны и что «грозный белый рыцарь, воевода Янко (так турки прозвали Яна Гуниади) уже переправился через Дунай с большой ар-

мией и идет на Адрианополь, между тем как могущественный «латинский флот» не далек от Дарданеллов. Францез говорит, что собственные агенты Халила пытались возбудить встревоженных солдат против неопытного, молодого султана, благодаря беспечности которого их прекрасная, но ныне почти истощенная армия может очутиться меж трех огней.

В этот вечер снова турецкий лагерь сиял огнями. Но хотя большие барабаны били еще громче, а зурны взвизгивали еще пронзительнее, однако беседы вокруг многочисленных огней были невеселые. Сам султан, по словам Францеза, провел ночь тревожно. Поручение, переданное венгерским послом, известия о приближающемся флоте, неудовольствие среди солдат — все это не давало ему заснуть. Неизвестность насчет решений большого военного совета, созванного им на следующее утро, одна эта неизвестность способна была причинить бессонницу человеку даже менее честолюбивому, чем султан Магомет.

27-го мая. Совет собрался в собственном шатре падишаха. Все чувствовали, что наступает кризис.

Халил-паша изложил перед султаном и советом свой взгляд на дела. Нельзя не пожалеть этого старика, очутившегося в таком странном положении. Он хорошо знал, что окружен завистливыми и недоверчивыми людьми, зорко подстерегавшими малейший ложный шаг визиря, которого они уже прозвали «гяуръиолдаш». Все же Халил не был изменником. Он искренно верил и имел мужество высказывать, что риск больше, чем шансы на успех. Как старый, верный слуга оттоманского престола, он откровенно выражал свои опасения, не заботясь о том, каковы будут последствия для него самого.

Халил заявил, что согласно полученным им известиям, вся Европа подымается на помощь Константинополю. Раз союзные франки достигнут города, они не удовольствуются тем, чтобы прогнать турок из-под стен столицы, но весьма вероятно выгонят их совсем из Европы. Постоянные попытки овладеть Константинополем только приносили усиливающийся для турок риск потерять все европейские провинции, завоеванные их предками. «Я часто говорил вашему величеству — добавил великий визирь в заключение — о вероятном исходе этого предприя-

тия. Я указал даже на риск, которому вы подвергаетесь; но вы не обращали внимания на мой совет. Теперь я в последний раз осмеливаюсь умолять вас: снимите осаду, иначе нас постигнут величайшие беды!» Халил говорил с большим смирением, но с решимостью. Его согбенная фигура, седая борода, изможденное заботами лицо и серьезные темные глаза,— все это было олицетворением заботливого, мудрого государственного человека, желающего верно служить своей родине. В эту минуту, по крайней мере, султан не заподозрил честности своего старого слуги, и его усердие видимо произвело на него сильное впечатление.

Заган-паша сознавал великую важность момента. Отступить из-под Константинополя означало удаление от двора, если не шелковый шнурок для него самого и его друзей, поощрявших султана предпринять осаду. Независимо от этих личных соображений, Заган был человеком с сильной, непоколебимой волей, знакомый с истинным положением дел не только на Балканском полуострове, но и во всей Европе.

«Что касается уверения великого визиря — говорил Заган — будто франки идут на помощь Константинополю, то я не верю этому нисколько. Точно также невероятно, что скоро покажется латинский флот. Ты знаешь, о падишах, какие внутренние раздоры свирепствуют в Италии и вообще во всем Франкистане. Под влиянием распрей гяуры неспособны на единодушное действие против нас. Христианские государи никогда не соединятся между собой. Если после великих усилий им удастся заключить мир, он никогда не бывает продолжителен. Даже когда они связаны союзными трактатами, это не мешает им захватывать друг у друга владения. Они постоянно боятся друг друга и поглощены взаимными интригами. Без сомнения, они много размышляют, много говорят, много объясняют, но в конце концов действуют очень мало. Когда они решили что-нибудь сделать, они тратят много времени даром, прежде чем начнут действовать. Предположим, что ими даже начато что-нибудь, они не могут далеко подвинуть дело, потому что наверное повздорят между собой относительно способа действия. И теперь, по всей вероятности, дело обстоит также, то есть,

являются новые причины несогласия между ними. Итак, нам нет основания их бояться. Допустим даже, что латинский флот может прибыть в Константинополь. Что это может значить для нас, если вся их морская сила равна лишь половине или даже четверти нашей? Поэтому, о падишах, не теряй мужества, а отдай нам приказ штурмовать город!»

Заган был истый воин; султан вполне сочувствовал ему и по характеру, и по честолюбию.

В речах обоих советников было много разумного и справедливого. Султан пришел к заключению, что лучше всего соединить и то, и другое посредством сделки. По его предложению совет решил попытать общий приступ 29-го мая рано утром; если удастся приступ,— отлично, если же нет, то осада будет снята немедленно.

По словам Францеза, на следующую ночь прибыл из турецкого лагеря в город надежный вестник и подробно донес императору обо всем, что говорилось и что было решено в шатре султана. В то же время императору советовали не терять мужества, а надеяться на лучший исход, выставить на стенах копьеносцев со стороны суши и сражаться с твердостью.

В воскресенье вечером 27-го мая турецкий лагерь и флот были снова в огнях. По всем направлениям бегали теллалы, выкрикивая приказ султана: «правоверные могут веселиться сегодня, сколько угодно, завтра же они должны поститься и молиться, так что каждый, предназначенный попасть в рай, должен приготовиться умереть мучеником за веру, в будущий вторник, утром!»

Известие, что штурмование города начнется послезавтра, вызвало новое возбуждение в лагере. Всю ночь дервиши и улемы переходили от одной группы солдат к другой, подстрекая их энтузиазм своими фанатическими речами. Сам Заган-паша, по повелению султана, переодетый ходил между палаток, прислушиваясь к разговору солдат, и представил султану утром 28-го мая удовлетворительное донесение о состоянии духа среди армии.

Понедельник, 28-го мая. Рано поутру затрубили трубы в турецком лагере, подавая сигнал, чтобы все вой-

ска заняли назначенные им позиции, и чтобы ни один солдат не отлучался из строя.

Эскадра в Золотом Роге выстроилась в линию, лицом к бухте.

Весь флот в Диплокинионе покинул свою якорную стоянку и выстроился в форме полумесяца, простиравшегося от пункта напротив гавани к воротам Феодосии.

Турецкие батареи стреляли по обыкновению до четырех часов пополудни, тогда только стрельба их прекратилась.

Вскоре после приостановки канонады в турецком лагере раздались громкие крики восторга. Султан в сопровождении блестящей свиты производил смотр войскам на их позициях. То там, то здесь, он останавливался, обращаясь к солдатам. Затем был обнародован следующий манифест к войскам:

«Согласно неизбежному закону, много солдат должно пасть во время приступа. Но помните слова писания: тот, кто падет, сражаясь за веру, пойдет в рай. Кто же останется жив после завоевания города, будет получать двойное жалованье пожизненно. Если город будет взят, вам дано будет разрешение грабить его в течение трех дней. Все богатства — серебро, золото, шелковые ткани, сукно и женщины — буду ваши; только здания и стены должны быть сохранены для султана».

Возбуждение между турками значительно усилилось после того, как был прочитан этот «дневной приказ». И в то время как вечерние лучи в последний раз золотили крест на св. Софии, от Золотого Рога до Мраморного моря раздавались крики тысячи воинов: «Ла Аллах иль Аллах, Магомет-рессуль Аллах!» (Один Бог — Аллах и Магомет — его пророк!).

Увы, предчувствовал ли кто-нибудь из людей, наблюдавших турецкий лагерь со стен Константинополя, при свете заката, что это последний вечер для христианского Константинополя?

# ГЛАВА VIII

В предыдущие два дня, 26-го, 27-го мая усердно производилось исправление стен. Император лично наблюдал и руководил работами, напоминая людям, что нельзя терять ни одной минуты.

В понедельник утром императору снова пришлось употребить свое терпеливое и кроткое вмешательство между латинянами и греками. Венецианец Джероламо-минноти соорудил несколько переносных деревянных прикрытий для своих стрелков. Он попросил греков перенести эти деревянные изгороди на венецианские посты, но греки согласились на это лишь с условием, если им заплатят вперед. Венецианцы пришли в негодование, в особенности подозревая, что греки отказали вследствие своей ненависти к латинянам. Но в этом случае просто недостаток пищи побудил греков дать такой ответ. Император прекратил ссору и нашел средства удовлетворить рассерженных венецианцев.

Большую часть утра император был занят обучением своих войск на стенах. Дукас говорит, что в то время осталось не больше 4000 сражающихся в городе.

Рано утром выступил крестный ход из храма св. Софии, при торжественном звоне колоколов, заходя во все церкви по пути к городским стенам. Священники, в своих древних парчовых облачениях, несли чудотворные иконы, мощи святых, золотые с каменьями кресты, содержавшие.«частицы честного древа», и множество других святынь, коими были богаты византийские храмы.

Густая толпа народа, стар и млад, мужчины, женщины, дети следовали за крестным ходом; большинство босиком, со слезами, воплями, колотя себя в грудь; народ вместе с духовенством пел псалмы.

В каждом важном пункте процессия останавливалась на короткое время. Священники читали особые молитвы, чтобы Господь укрепил городские стены и даровал победу своему верному народу. Тогда епископы подымали распятие и благословляли воинство, окропляя его святой водой, с пучков сухой базилики. Многие из присутствовавших без сомнения думали с глубокой грустью, что это

вероятно последнее благословение христианской церкви христианским воинам на стенах Константинополя.

После полудня, перед вечерней, император собрал вокруг себя командиров войск и именитых граждан. Он обратился к ним с трогательными словами, прося всех и каждого не щадить себя и проливать кровь свою в защиту славного древнего города. Обращаясь к венецианцам, стоявшим по правую его руку, он напомнил им, что Константинополь всегда приветствовал их, как родных сыновей. «Молю вас теперь,— продолжал император,— покажите нам в этот трудный час, что вы действительно наши товарищи, наши верные союзники, наши братья!»

Обратившись к генуэзцам, он коснулся их славного прошлого и просил их доказать еще раз в этом важном случае свою известную всему миру храбрость. Император закончил следующими словами, обращенными ко всем присутствовавшим: «Будем трудиться вместе, товарищи мои, братья мои, постараемся отстоять свою свободу и доставить себе славу и память вечную! В ваши руки отдаю я свой скипетр. Вот он! Спасите его! Венцы ждут вас на небесах, а на земле имена ваши будут вспоминаться с почетом во веки!»

«Умрем за веру и за отечество! Умрем за церковь Божию и за тебя, нашего императора!» — было восторженным ответом собравшихся вокруг Константина. Все были глубоко растроганы. Француз, присутствовавший при этом, рассказывает: «Защитники города обнимались, целовались сквозь слезы, просили друг у друга прощения; никто не думал о своих женах, детях, имуществе, все помышляли только о славной смерти, которую они готовы были принять за отечество!»

Колокола заблаговестили к вечерне. Император отправился в св. Софию. Церковь была переполнена молящимися. Для императора было вполне естественным думать, что он, быть может, в последний раз стоит под этим великолепным куполом, где молилось столько православных императоров в счастливые и несчастные дни.

Константин молился с глубоким усердием. Он покинул императорское кресло и, приблизившись к иконостасу, отделявшему алтарь от церкви, пал ниц перед боль-

шими иконами Спасителя и Божией Матери, по правую и левую руку от царских врат.

Помолившись, он подходил к каждому священнику в церкви, просил прощения, если он кого-либо обидел, затем обнял каждого и вошел в алтарь причаститься св. таин. Как христианский император и как христианский воин, он торжественно, на глазах своего народа готовился предстать перед Господом.

Когда он выходил из церкви, все собрание плакало навзрыд. В обширном храме отдавались эхом громкие рыдания мужчин и вопли женщин. И среди этих выражений сочувствия, исходивших из глубоко потрясенных человеческих сердец, Константин, сам видимо взволнованный, медленно прошел по церкви, которую соорудили его предшественники, как величавый памятник своей славы и благочестия.

После этого император отправился в свой дворец. Там он велел всем сановникам, всем царедворцам и слугам ожидать его. «Никто не может предугадать, что принесет с собой ночь»,— сказал он им. У каждого он просил прощения за малейшую резкость или несправедливость со своей стороны и трогательно простился со всеми. Францез, всюду сопровождавший императора, говорит, что невозможно описать последующую сцену; плач и рыдания огласили древний дворец. «То была сцена, способная размягчить даже каменное сердце!»

Поздно вечером Константин покинул дворец, сел на арабского коня и в сопровождении свиты поехал к стенам в последний раз сделать смотр храбрецам, мужественно ждавшим конца.

*
* *

По словам Славянской летописи, вечер 28-го мая был пасмурный и мрачный. По мере наступления ночи темные, грозные тучи стали собираться над городом, точно покров, брошенный с неба на этот великий мавзолей из мрамора и золота.

Султан Магомет, страдавший бессонницей, был поражен ужасом, когда выглянул на небо из своего шатра. Он

позвал одного из самых ученых своих улемов, посвященного в тайны неба, и спросил его, не предвещают ли чего эти густые тучи, нависшие над городом? «Да,— отвечал улем,— это великое знамение; оно предвещает падение Стамбула!»

«И затем,— продолжает хроникер,— из туч полился не простой дождь, а необыкновенно крупные капли воды, каждая величиной почти с воловий глаз». Впоследствии, некоторые из переживших катастрофу рассказывали, будто кровавый дождь оросил город незадолго до начала отчаянной предсмертной борьбы.

К полуночи все огни в турецком лагере были потушены.

Казалось, что Босфор проводит свою последнюю ночь в глубоком сне и что теплая майская ночь не может оторваться от чудного города христианских императоров. Глухая и немая ночь как будто медлила приподнять темный облачный покров с турецкого лагеря, чтобы утренняя звезда не пробудила слишком рано роковой день, которому суждено было впервые увидать мусульманский Стамбул.

В городе царила тишина. Только на мощеных улицах возле стен раздавался по временам стук лошадиных подков. Около часу пополудни у позиции возле ворот Каллигарии остановилось несколько всадников. Спешившись, они взошли на стены. Это был император с несколькими преданными приближенными. Напрягая зрение в темноте, они наблюдали турецкий лагерь, но ничего не могли различить. Впрочем, они отлично слышали какие-то звуки и заглушаемые голоса. Император осведомился у часовых, что означают эти звуки; ему сказали, что турки кажется выступили всей первой линией и что вероятно трескотня происходит от установления лестниц во рву. Император стал тревожно всматриваться в потемки, молча прислушиваясь. Вскоре петухи пропели в первый раз.

Император спокойно поехал назад к позиции св. Романа. По всей линии он нашел бдительность, готовность сражаться и решимость.

Второе пение петухов раздалось из дворов, пронеслось из улицы в улицу и по всему турецкому лагерю.

Вдруг пушечный выстрел потряс воздух и пробудил

эхо на далеком пространстве. С замирающим грохотом смешались воинственные крики из 50 000 уст, вдоль всей турецкой линии, и тысячи воинов проворно соскользнули в ров и поспешно приставили 2000 лестниц к стенам города. Христианские солдаты бросились к оружию и началась отчаянная последняя борьба.

Согласно установленному обычаю турецкого ведения войны в те времена, нападающие колонны были сформированы в три линии. В первую линию были поставлены худшие войска лагеря, недисциплинированные, плохо обученные солдаты Зиямета и Тимариота беев. Наемные войска, из коих многие были воинами по профессии, образовали вторую линию. Третья состояла из хорошо обученных янычар и спагиев.

После жаркого боя, продолжавшегося около часа, защитники успешно отразили первый приступ. Со стен метали широкими струями греческий огонь в густую толпу осаждающих, с еще более убийственным действием, нежели град камней, стрел и ружейных пуль. Наконец турки во рву, пораженные паникой, в ужасе взобрались назад и бежали через гласис.

Но несчастные беглецы были встречены линией «чаушей», которые, при помощи железных палиц и цепей, прогнали их назад в ров. Немногие, спасшиеся от свирепых чаушей, были встречены обнаженными ятаганами янычар, и так как им пришлось выбирать между двумя смертями, то они предпочли вернуться к приступу.

Между тем второй линии отдан был приказ двинуться вперед. Она выступила быстро и в добром порядке при звуке труб и барабанном бое.

Ужасно было видеть при бледном утреннем свете эти густые колонны, которые подобно яростным волнам разбивались о стены, подавались назад и с новой силой взлетали еще выше по лестницам. Смятение было ужасно. Все колокола в городе трезвонили, все барабаны били в лагере; из города и против города поминутно раздавались выстрелы из пушек и ружей, и тысячи возбужденных, почти обезумевших людей дико кричали, сражаясь и падая.

Часов около трех пополуночи пушечным ядром снесло часть наружной стены близ ворот св. Романа, в том пунк-

те, где расположены были венецианцы. На эту брешь турки немедленно сосредоточили атаку.

Венецианцы с помощью греков отразили первое нападение. В следующий момент другой снаряд расширил брешь. Тогда новая колонна янычар кинулась вперед, пробралась через наружную стену, наполнила все пространство между нею и внутренней стеной и, подвергаясь великой опасности, приставила лестницы и взобралась по ним.

Храбрецы, уже более двух часов оборонявшие позицию св. Романа, начали подаваться. Император послал за подкреплениями. Феофил Палеолог и Димитрий Кантакузен поспешили на помощь со своими людьми, и снова турецкая волна отхлынула.

Император видел, как отступили турки, он стал воодушевлять солдат, громко крича им: «Держитесь храбро, Бога ради! Я вижу, неприятель отступает в беспорядке! Если угодно будет Богу, за нами останется победа!»

Пока он говорил, ружейная пуля ударила в руку Джустиниани.

Рана причиняла ему страшную боль; он побледнел и, сказав несколько слов двум генуэзским офицерам, поручая одному из них взять на себя командование, собирался покинуть позицию.

Император, стоявший в нескольких шагах, был поражен, увидав, что храбрый Джустиниани покидает свой пост. «Куда идешь ты, брат? — спросил он». «Я иду,— отвечал побледневший Джустиниани,— просить, чтобы мне перевязали рану и потом вернусь!»

Император подошел к нему, осмотрел рану, сказал, что она не опасна, и умолял его остаться.

Джустиниани приостановился на минуту, мрачно установил взор свой в пространство и с выражением сильного физического страдания на лице, удалился, не говоря ни слова.

Крайнее утомление и сильная физическая боль поколебали в этот страшный час геройский дух человека, так много сделавшего для обороны Константинополя и лишившегося бессмертной славы только благодаря этой минутной слабости.

Группа турок заметила смятение среди христиан. Хас-

сан-Улубадлы, янычар гигантского роста, поспешно позвал своих товарищей, чтобы они следовали за ним и взбежал по одной из лестниц. За ним кинулись вслед человек 30 янычар, громко восклицая имя Аллаха. Под градом камней и стрел, половина их повалилась назад в ров раненые или убитые. Но Гассан вскочил на стену с несколькими товарищами и яростно размахивал своим ятаганом. Новый град каменьев и стрел посыпался на него, но он встал на одно колено и дрался до тех пор, пока, наконец, покрытый ранами не упал.

Во многих других пунктах на суше свирепствовал бой с дикой, отчаянной отвагой. Порою казалось, что все усилия отборных войск султана не могут одолеть величавых древних стен и стойкого мужества их защитников.

Но вдруг какой-то человек, по-видимому пораженный ужасом, поспешно поскакал к тому месту, где стоял император, и издали закричал, что турки вступили в город и скоро будут осаждать позицию императора!

Вот как это случилось.

В стенах, защищавших дворец и окрестности Гебдомона, были древние ворота, очень низкие и на одном уровне с дном рва, называемые Керкопорта. Один из византийских императоров давным-давно приказал замуровать их, как гласит легенда, потому что кто-то предсказал, что через эти ворота неприятель войдет в город. Во время последней войны греческий штаб, рассматривая план вылазки против турецких позиций, нашел, что легко было бы для большого отряда войск выйти из этих старых ворот и незаметно напасть на левое крыло турок. В виду этого ворота были отперты и там были поставлены часовые.

Однако проект вылазки был оставлен и за великими тревогами последних дней Керкопорта была совершенно забыта.

Покуда главная сила осаждающих сосредоточивалась против позиции св. Романа, корпус турок, пробираясь в овраге вдоль стен, неожиданно набрел на эти ворота и нашел их отпертыми. Турки ворвались в них, перебили немногих часовых, поспешно взобрались на стену и выставили копье с лошадиным хвостом на ближайшей башне! Другие турки последовали за ними, бегом и кри-

ча от восторга; вскоре тысячи их хлынули в город через роковые ворота. Кир Лука Нотарас тщетно пытался остановить хлынувший поток; его храбрые греки были отражены, он принужден был отступить и с остатками войск заперся в своем собственном дворце, который был вроде укрепленного замка.

Турки овладели дворцом Гебдомона и поспешили по улицам к позиции ворот св. Романа.

Путь их был залит кровью и усеян ранеными и умирающими.

## IX

Весть о том, что турки вступили в город, пронеслась как искра.

Солдаты и народ были охвачены паникой при неожиданном появлении неприятеля среди них. Многие итальянцы сразу покинули свои посты и бросились к гавани, где некоторым из них удалось пробраться на суда.

Толпы народа поспешили в церковь св. Софии и заперли все двери. По улицам бегали толпы взад и вперед, не зная в своем отчаянии, куда деваться и что делать.

В некоторых более отдаленных улицах можно было видеть женщин, расхаживающих с восковыми свечами в руках; они спешили к заутрене в церковь св. Феодосии, чья память праздновалась в этот день. Вскоре они были встревожены отдаленным гулом, остановились прислушиваясь, пока не подоспели запыхавшиеся мужчины и женщины, крича в ужасе, что турки пробрались в город. Тысячи полуодетых женщин и детей бежали в диком смятении по улицам. Крики ужаса и вопли отчаяния несчастных христиан неслись к небу, смешиваясь с восторженными криками победоносных турок.

Узнав о случившемся, император несколько минут простоял как громом пораженный. Бегство итальянцев к гавани дало кому-то из императорской свиты мысль, что император может еще успеть достигнуть гавани в безопасности.

Константин ответил просто: «Сохрани меня Бог, чтобы я остался императором без империи! Падет моя столица, паду и я вместе с нею!»

Дикие крики турок были ясно слышны; они приближались по соседним улицам.

Константин обратился к своей свите и сказал: «Кто желает спастись, пусть спасается, если может; кто же готов взглянуть в лицо смерти, то пусть следует за мною!»

Феофил Палеолог отвечал на последние слова императора, воскликнув: «Я предпочитаю умереть!»

Константин пришпорил коня и поехал вперед, с мечом в руке навстречу туркам, показавшимся в ближайшей улице. Около двухсот греческих и итальянских дворян последовали за императором. Дон Франческо Толедский ехал по правую руку императора, а Дмитрий Кантакузен — по левую.

Несколько минут спустя они вступили в яростный бой с надвигающимися толпами турок.

Иван Далматинский пустил свою лошадь в средину турецкого отряда и, по словам Француза, «стал косить их направо, налево, словно траву». Скоро он пал, покрытый ранами, и умер смертью героя.

Феофил Палеолог, который столь благородно предпочел смерть жизни, упал с лошади, смертельно раненный. Храбрый испанец, дон Франческо, мужественно сражался еще некоторое время.

Среди возбуждения боя, император был вскоре разлучен со своей свитой. Его арабский конь упал под ним, обливаясь кровью и покрытый ранами. Император продолжал отчаянно сражаться пеший. Один ассаб ударил его в лицо, император сразил его саблей, но через мгновение сам упал, смертельно раненный. Никто из турецких солдат в этом месте не знал в ту минуту, кто такой этот удалец, павший в бою.

Бой продолжался некоторое время, покуда груда убитых не покрыла землю, навеки освященную геройской смертью последнего византийского императора.

*
* *

В первые минуты возбуждения турки косили направо и налево все, что им попадалось под руку. Но по мере того, как приближался рассвет, они убеждались, что в главных улицах не оставалось более сражающихся, но лишь толпа перепуганных людей, по-видимому неспособных думать или действовать, и женщин, вскрикивавших и падавших в обморок при виде турок и их окровавленных ятаганов. Тогда турки перестали убивать и стали забирать людей в плен, чтобы сделать из них рабов, связывая без разбора мужчин, женщин и детей.

Многие из янычар не хотели забирать пленных на улицах, но спешили в храм св. Софии. Большинство верило в старинное предание, распространившееся в лагере, будто в катакомбах церкви был спрятан богатый клад золота, серебра и драгоценных каменьев.

Прибывшие первыми нашли все двери запертыми. Они выломали главный вход. Внутренность великолепного священного здания не произвела никакого впечатления на этих людей, жаждавших крови и алчных к добыче. Они сразу начали грабить церковь, сверкавшую золотыми и серебряными украшениями, и делить между собой пленных,— тысячи мужчин и женщин, надеявшихся найти убежище в доме Господнем, но теперь ставших рабами турок, перед ликами святых икон. Мужчин грубо вязали веревками в присутствии их плачущих жен, матерей и сестер. Женщин просто скручивали их собственными поясами и длинными шарфами. Печальнейшие сцены людского страдания разыгрывались под этим величественным куполом, среди сверкающих мрачных колонн и на прекрасном мозаичном полу великолепного храма.

До появления турок, часть церкви, где находился алтарь, была полна духовенством; многие из духовных лиц служили раннюю обедню. Когда янычары ворвались в главную дверь, священники таинственно исчезли. Впоследствии распространилась легенда, что с приближением янычар стены церковные у алтаря чудесным образом раскрылись, пропустили священника, несшего чашу со

св. дарами, и снова сомкнулись за ним. Согласно легенде, тот же священник появится снова из той же стены, чтобы продолжать прерванную службу в тот день, когда православный император снова завоюет Константинополь от турок.

Штурм города начался 29-го мая часов около двух утра. Около 8-ми часов Константинополь был уже в полной власти завоевателей. В более отдаленных улицах, вокруг некоторых церквей и укрепленных домов продолжался бой, но это нисколько не изменяло великого события. Рано утром, 29-го мая турки овладели Константинополем.

На рассвете этого рокового дня для большинства защитников города самой волнующей загадкой был вопрос, как им удастся спасти свою жизнь и свободу.

Эти короткие утренние часы вероятно были полны страшных эпизодов. Но лишь два-три из них занесены в хронику.

Флорентинец Тетарди с некоторыми другими итальянцами сражался часа два после того, как турки вступили в город и, поняв, наконец, истинное положение дел, старался спастись, подвергаясь бесчисленным опасностям, прежде чем добрался до гавани. Достигнув ее, он бросился в волны, как делали многие другие, и к счастью был скоро вытащен на венецианскую лодку.

Капитаны судов в гавани неутомимо заняты были спасением погибающих. Для этой цели они оставались в Золотом Роге несколько часов после взятия города и отплыли лишь в полдень.

Многие беглецы в небольших лодках переправились в Галату. Между ними было трое братьев Браччиарди, командовавших позицией Харзиас.

Кардинал Исидор, с помощью верных слуг, сложил с себя пурпуровые одежды и облекся в платье простого солдата. Затем тело одного латинского волонтера одели в одежды кардинала и оставили его лежащим на улице. Турки скоро набрели на тело, отрезали голову мнимого кардинала и торжественно понесли ее на копье по улицам. Тем временем Исидор попал в руки других турок; но он показался своему турецкому владельцу столь жал-

ким и бесполезным как раб, что скоро он отпустил его на свободу за небольшой выкуп.

Злополучный претендент на турецкий престол, Орхан-эфенди спустился на берег моря из башни Акрополиса, переодетый греческим монахом. Он бродил там вместе с некоторыми беглыми греками, в ожидании, чтобы его приняли на какой-нибудь христианский корабль. Действительно, прибыл корабль, но он был полон турками, которые немедленно захватили беглецов в плен. Один несчастный грек купил свою свободу, выдав туркам, кто такой этот человек в монашеских одеждах. Орхан-эфенди был тотчас же убит, а голова его послана султану.

Турецкие хроники упоминают, что многие греческие монахи— их было около трехсот, обитатели одного монастыря, убедившись, на чьей стороне Бог и чья вера — правая, изъявили готовность принять ислам; конечно, это был день тяжких испытаний для многих сердец, когда-то полных веры, но ныне пришедших в отчаяние среди развалин империи.

*

* *

Около полудня Магомет вступил в город через ворота Полиандриум. Его сопровождали визири, паши, улемы и эскортировала лейб-гвардия, состоявшая из людей, выбранных за их силу и мужественную красоту.

Султан прямо направился к храму св. Софии. Там он спешился. На пороге он остановился и, набрав щепотку земли, посыпал ею свою голову, покрытую чалмою, в знак уничтожения перед Богом, даровавшим ему победу.

Затем он вошел в храм, но у двери остановился на несколько мгновений и молча устремил взор перед собою. Огромные размеры храма, его красота и гармония, по-видимому, оказали ошеломляющее впечатление на его душу, даже в этот час торжества.

Идя далее, он увидал одного турка, разбивавшего топором мозаичный пол. «Для чего ты это делаешь?» — спросил султан. «Ради веры!» — отвечал фанатик. Магомет, в порыве гнева, ударил его и проговорил сердито: «Довольно вы разграбляли город и уводили граждан в рабство! Здания — мои!»

Он направился далее к алтарю, проходя мимо солдат и христиан, обращенных в рабство. Вдруг отворилась дверь в иконостасе и из нее вышло множество священников навстречу султану. На некотором расстоянии от него, они упали на колени и воскликнули: «Аман: смилуйся над нами!»

Магомет взглянул на них с жалостью. Хроникер рассказывает об этом так: «Он подал священникам знак рукою, чтобы они встали, и сказал им: не страшитесь более моего гнева, ни смерти, ни разграбления!» Обратившись затем к своей свите, султан приказал им немедленно послать глашатаев, чтобы запретить дальнейшее разграбление и убийство. Народу, собравшемуся в храме, он сказал: «Теперь пусть все вернутся по домам!»

Этот замечательный эпизод, описанный Славянской летописью, совершенно согласуется с характером Магомета и всеми другими обстоятельствами. Весьма вероятно, что священники, с приближением янычар, спрятались в потайном ходе, в стенах храма и лишь по прошествии некоторого времени решились воспользоваться появлением султана в храме, чтобы выйти и умолять его о покровительстве. То, что они скрывались некоторое время в соборных стенах, может также объяснить происхождение легенды, упомянутой выше.

«Султан» — продолжает летописец,— «подождал немного, покуда народ стал выходить из церкви, однако не мог дождаться конца и сам удалился».

Из других источников мы узнаем, что прежде чем удалиться, он приказал своим придворным улемам взойти на кафедру и прочесть молитву. Сам он влез на мраморный стол, служивший христианским жертвенником в храме св. Софии, и там совершил свой первый Рика'ат, обряд, сопровождающий мусульманскую молитву.

С этой минуты св. София христианского Константинополя первратилась в Ая-Софию мусульманского Стамбула.

Выйдя из храма, Магомет осведомился у своей свиты, среди которой было много государственных сановников, знаете ли кто-нибудь, что стало с императором? Никто не мог сообщить никаких сведений. Думали, что он пал в сражении; другие предполагали, что он, может быть, уве-

зен на итальянских кораблях, уже ушедших из гавани. Ходили даже слухи в этот момент, будто император был в числе людей, раздавленных насмерть, когда охваченная паникой толпа теснилась сквозь одни из ворот.

Когда султан проезжал по одной из улиц, ведущих из св. Софии в Акрополь, сербский солдат, несший в руках человеческую голову, встретил императорскую кавалькаду. Он поднял кверху свой окровавленный трофей, громко воскликнув. «Великий государь! вот голова царя Константина!»

Кавалькада остановилась. Кир Лука Нотарас и несколько других греческих сановников приблизились, чтобы взглянуть на голову. При первом же взгляде греки разразились плачем, некоторые из них громко рыдали. Это была голова императора.

Серб повел приближенных из свиты султана, чтобы показать им тело, от которого была отрезана голова. Его тождественность можно было установить по императорским двуглавым орлам, вышитым на пурпурных башмаках.

Султан приказал, чтобы голова императора была выставлена некоторое время на порфирной колонне, стоявшей на площади перед императорским дворцом. Он желал, чтобы народ константинопольский убедился, что император действительно убит. Но в то же время султан дал разрешение греческому духовенству похоронить тело императора со всеми почестями, подобающими императорскому сану. И чтобы еще более показать свое уважение к Константину, он приказал, чтобы масло на лампаду, которая теплилась на могиле последнего греческого императора, покупалось из его собственной казны.

На другой день султан расположился во дворце, где жили византийские императоры в течение веков. Солдаты уже успели разграбить дворец и унести все, что было возможно. Большие залы, сиявшие золотом и пурпуром, были голы и разорены.

Scan Kreider

## СОДЕРЖАНИЕ

Г. ЛЕ РУ. **Норманны в Византии.** Перевод с французского 5
К. ДИЛЬ. **Византийская императрица.** Перевод с французского 117
И. ПЕРВАНОГЛУ. **Андроник Комнен.** Перевод с немецкого 245
П. БЕЗОБРАЗОВ. **Император Михаил** . . . . . 335
П. ФИЛЕО. **Падение Византии** . . . . . 435
Ч. МИЯТОВИЧ. **Константин, последний византийский император.** Перевод с сербо-хорватского . . . . . 601

**Литературно-художественное издание**
«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ»:
«ПАДЕНИЕ ВЕЛИКИХ ИМПЕРИЙ»

Г. ЛЕ РУ. **Норманны в Византии.** Перевод с французского.
К. ДИЛЬ. **Византийская императрица.** Перевод с французского.
И. ПЕРВАНОГЛУ. **Андроник Комнен.** Перевод с немецкого.
П. БЕЗОБРАЗОВ. **Император Михаил.** П. ФИЛЕО. **Падение Византии.**
Ч. МИЯТОВИЧ. **Константин, последний византийский император.**
Перевод с сербо-хорватского

Редактор Ю. Серов
Художник Н. Егоров
Технический редактор Б. Шаргородская
Корректоры З. Кириллова, Л. Суркова

ЛР № 0071084 от 22.09.94 г.

Сдано в набор 26.7.94. Подписано к печати 25.10.94. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 23,0. Усл. кр.-отт. 38,64. Тираж 50 000 экз. Заказ № 4885. Цена договорная.

Издательство «Новая книга». Москва, ул. Академика Челомея, 4, а/я 489.

Полиграфическая фирма **«Красный пролетарий»**
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

